М.П. АЛЕКСЕЕВ

М.П. АЛЕКСЕЕВ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

М.П. АЛЕКСЕЕВ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

М. П. АЛЕКСЕЕВ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ответственные редакторы
В. Н. БАСКАКОВ, Н. С. НИКИТИНА

ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1989

В томе представлены исследования академика М. П. Алексеева, посвященные русской литературе эпохи средневековья, XVIII и XIX вв. В них рассматриваются проблемы биографии и творчества Радищева, Бестужева-Марлинского, Достоевского, а также мировое значение русской литературы, ее выдающихся представителей (Гоголь, Тургенев). В томе впервые печатаются речи М. П. Алексеева о Тургеневе, Достоевском, Л. Толстом, о русской литературе и Отечественной войне 1812 г.

Книга рассчитана на всех интересующихся русской литературой, ее международными связями.

Издание подготовили

В. Н. Баскаков, Н. С. Никитина

Рецензенты

Г. А. Бялый, И. Г. Ямпольский

А $\frac{4603020101\text{-}573}{042(02)\text{-}89}$ 479-89

ISBN 5-02-027901-3

ЯВЛЕНИЯ ГУМАНИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ (XVI—XVIIвв.)

1

Возрождение — одна из центральных проблем в истории европейской культуры и искусства нового времени. От того широкого культурного движения, которое зародилось в Италии, постепенно вовлекло в свою орбиту все страны Европы и уже в XVI в. получило наименование Ренессанса и Возрождения, ведет свое начало новая эра человеческой мысли и творчества. Поэтому понимание сущности Возрождения как исторически закономерного и обусловленного явления культуры, основным ферментом которого было стремление к обновлению и преобразованию во всех сферах материальной и духовной жизни, в значительной мере определяет как периодизацию исторического процесса в Новой Европе, так и типологическую характеристику ее идейных движений.

Литература, посвященная Возрождению, необозрима и сама по себе давно уже стала одним из его исторических следствий, подлежащих особому научному истолкованию. Тем не менее характерной особенностью этой огромной литературы является то, что центральное понятие, которым она пользуется и которое кладет в основу своего исследования, доныне остается еще зыбким, колеблющимся, расплывчатым, меняющим свой объем и смысл. Это вызвано многими причинами: сложным и многосторонним характером данного явления или целого комплекса их, определяемых одним общим термином; свойствами самого термина, сложившегося в исторических условиях XVI в., пережившего многие кризисные эпохи европейской мысли и удерживаемого по-прежнему в историографии, — то по традиции, то ради удобства, допускающие очень произвольные его применения;[1] в нечеткости, многозначности термина «Возрож-

[1] *Лазарев В. Н.* Проблема Возрождения в освещении ренессансных писателей и «просветителей»//Из истории социально-политических идей. М., 1955. С. 130—140; *Гуковский М. А.* К вопросу о сущности так называемого «итальянского Возрождения». Л., 1933; см. также статьи М. В. Алпатова «В защиту Возрождения» и В. Н. Лазарева «Против фальсификации истории культуры Возрождения» (Против буржуазного искусства и искусствознания. М., 1951. С. 106—154), а также Введение к книге Б. Р. Виппера «Борьба течений в итальянском искусстве XVI века. К проблеме кризиса итальянского гуманизма» (М., 1956).

дение» и той свободе, с которой им пользуются, нельзя, однако, не усмотреть также признак того, что историческое явление, которое анализирует посвященная ему научная литература, еще не исчерпало себя, не превратилось в мертвую схему, что оно способно еще вызывать к себе не только научный интерес, продолжает воздействовать на общественную мысль, порождает весьма различные реакции — положительные и отрицательные; в литературе о Возрождении, от кого бы она ни исходила — от историков философии, искусства и литературы, науки или техники, — мы встречаемся также с разнородными методами исследования и прежде всего с глубокими противоречиями в понимании сущности исторического процесса. Необходимо поэтому начать с напоминаний и подсобных определений, которые в состоянии были бы разъяснить, с какой точки зрения следовало бы рассматривать явления Возрождения и гуманизма в русской культуре и письменности XVI—XVII вв.

Длительные споры вызывали — и продолжают вызывать и доныне — несогласия исследователей относительно того, следует ли понимать Возрождение как явление *историческое*, строго обусловленное хронологическими пределами, локализующими его во времени и пространстве, или как явление *типологическое*, возникавшее в разных местностях, общественной среде и государственных образованиях и повторявшееся в типических формах в различное историческое время, в том числе и в средневековье, задолго до наступления «Нового времени». Особенно нечетким и допускающим недостаточно обоснованные истолкования оказывался термин «Возрождение» в применениях его к различным странам и национальным культурам. Хронологические и национальные ограничения лишали понятие «Возрождение» его общего значения; при этом ряд стран выключался из общего процесса развития ренессансных идей, оказывался за пределами воздействия ренессансной культуры.

Мы исходим из утвержденных еще наукой XIX в., но остающихся справедливыми и непоколебимыми, положений, что родиной и первоисточником всего европейского Возрождения явилась Италия, где в XIV—XV вв. создались особо благоприятные предпосылки для развития этого движения в раннем расцвете городов и новой городской культуры, и что именно оттуда Возрождение и гуманизм распространились по всей Европе — в Германии, Нидерландах и Франции, Англии, Испании и Португалии. В каждой из этих и во многих других странах Западной и Восточной Европы это движение принимало своеобразные национальные формы, сохраняя, однако, с Возрождением в Италии не только черты внешнего сходства, но и глубокое генетическое родство. Специфические условия исторического развития каждой из этих стран определяли и особенности развития в них гуманистических идей, приобретавших то больший, то меньший размах, порождавших то крупные явления национальной литературы и искусства, то сказывавшихся в более ограниченной сфере. Те же условия развития отдельных стран определили различия исторического осуществления Возрождения во времени: в некоторых странах Возрождение проявилось позже, чем в других, но запазды-

вающий или замедленный характер движения (как было, например, во Франции или Англии) не означал его коренных, принципиальных отличий от движения в целом; и задача исторического, в широком смысле, исследования заключается в том, чтобы раскрыть специфические отличия Возрождения в каждой отдельной стране и культурной среде, а не отрывать их друг от друга или приуменьшать значение этого явления, суживая сферу его распространения, сосредоточивая его в его первоначальных узких национальных границах. Славянские страны также, как известно, не остались в стороне от этого общеевропейского движения и пережили свой «ренессансный» этап каждая по-своему, где раньше и более интенсивно, с более яркими результатами, где позже и менее бурно, но с итогами, имевшими не менее важное историческое значение. Нельзя, наконец, рассматривать Возрождение как поступательный процесс, в движении которого не было отклонений, зигзагов, тяжелой борьбы, грозившей порой обессилить его, исчерпать его жизненную способность. А. Н. Веселовский в свое время с полным основанием вскрывал противоборствующие силы в самом итальянском Возрождении, «противоречия практики и теории, язычества и христианства, христианской и языческой нравственности, этики и эстетики»;[2] эти и многие другие противоречия сказывались гораздо сильнее и на другой исторической почве, везде, где новые ренессансные идеи вступали в решительную борьбу со старым мировоззрением, где они принуждены были временно уступать место новому напору косных, но все еще сильных идейных традиций.

Немаловажными для установления общей точки зрения представляются также несогласия исследователей относительно терминов «Возрождение» и «гуманизм», которые то отождествлялись, то противопоставлялись друг другу: в последнее время противопоставления их встречаются чаще, чем в старой литературе.[3] По нашему мнению, обобщающий термин «Возрождение» включает в себя более узкое и специализированное понятие «гуманизм», не растворяя его, но и не вступая с ним в противоречие; поэтому оба понятия не должны быть разделяемы, как обозначающие одно и то же явление. Сами деятели эпохи Возрождения, создающие оба термина, называли себя «гуманистами», т. е. представителями знаний, обращенных к человеку, его нуждам и запросам. «Studia humana» и «Studia divina» противопоставлялись именно потому, что, создавая новую светскую культуру, гуманисты сознательно отказывались от стеснительной опеки религии и церкви, защищали принцип развития автономной человеческой личности, освобожденной от подчинения церковным авторитетам. В этом сознательном и обоснованном про-

---

[2] *Веселовский А. Н.* Противоречия итальянского Возрождения (1887)// Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., 1938. С. 256.

[3] *Brecht W.* Neue Literatur zum italienischen Humanismus//Deutsche Vierteljahrschrift für Literatur und Geistesgeschichte. 1928. H. 4; *Sainati A.* Il probleme dell'umanesimo nella critica contemporanea. Ann. d'istruzione. Media. 8, 1; тенденции к разграничению этих терминов намечались и в советской историографии (см.: *Гуковский М. А.* Итальянское Возрождение. Л., 1947. Ч. 1. С. 331).

тивопоставлении феодально-церковной культуре средневековья новой светской культуры и заключался объективный исторический смысл того явления, которое мы именуем Возрождением.

Еще Бурхгардт (Культура Возрождения в Италии. 1860) считал, что Возрождение было эпохой пробуждения «себя осознавшей личности», утверждавшей свое право на свободное развитие; Возрождение привлекало его как эпоха отрицания «средневековой связанности человеческого духа»; гуманизм он рассматривал как секуляризацию образованности, как освобождение итальянской мысли от схоластических и мистических влияний. Действительно, едва ли можно сомневаться в том, что «открытие мира и человека» и составляет основу и сущность того гигантского всемирно-исторического сдвига в области мысли и творчества, который мы называем «Возрождением», или «гуманизмом», — по отношению к главной направленности и устремленности его созидательных усилий.

В средневековом сознании человек являлся промежуточной и подчиненной частицей незыблемой небесно-земной иерархии; передовые деятели Возрождения — гуманисты — объявили его самостоятельной и активно действующей силой. Для них человек явился одним из высших творений, плоть которого создана из лучшей материи и имеет самые совершенные формы, а разум является высшей духовной силой, способствующей познанию природы, сущности и законов бытия. Мир бесконечно разнообразных вещей земли и космоса, в их понимании, также не был заранее определившейся данностью, в ее воображаемой сущности, но выступал в конкретной, чувственно воспринимаемой человеком форме, в реальных связях и соотношениях вещей, постигаемых на опыте. Здесь и возникла пропасть между средневековым спиритуализмом и мировоззрением Возрождения, критическим и реалистическим в своем подходе к действительности.[4]

Не забудем, наконец, что в своем первоначальном, более узком значении «Возрождение» означало главным образом возрождение античности, идейного и эстетического наследия античного мира. Но античный мир, со всеми созданными им материальными и идейными ценностями, потому и оказался в центре внимания мыслителей и художников Возрождения, что он впервые создал гуманистическое мышление, подчинившее себе науку, философскую мысль и искусство. Сила и жизненность античного наследия, таившего в себе потенциальные возможности для своего возрождения, лежала в его гуманистической направленности, которая и стала неотразимо привлекательной в период Ренессанса. Понятие «Возрождение» шире представления о возвратившихся к новой жизни элементах античной культуры. Возрождение не ограничивалось восприятием их или усвоением, но существенно переработало и приумножило их; в этом смысле античная, классическая струя в общем потоке Возрождения

---

[4] Ср.: *Mabilleau P.* Philosophie de la Renaissance en Italie. Paris, 1881. P. 220; *Olgiati A.* L'anima dell'umanesimo e del rinascimento. 1924; *Martin A.* Sociologie der Renaissance. Zur Physiognomik und Rythmik bürgerlicher Kultur. Stuttgart, 1932.

как культурного движения была не только не единственной, но и не всегда определяющей его цели и устремления; мощными стали тогда подземные ключи, бившие непосредственно из народной почвы; независимо от античных учений, самопроизвольно, стихийно могли возникать и новое отношение к природе, и новая антропоцентрическая концепция человека. Античное наследие, возрожденное к жизни в новых исторических условиях, оказывало существенную поддержку в борьбе за новое мировоззрение, но не препятствовало постановке и решению более широких национальных культурных задач.

2

О проникновении гуманистических идей в допетровскую московскую Русь издавна принято было говорить с недоверием, опаской или чрезмерной осторожностью. Долгое время это отрицалось вовсе. Уже в XVIII в., в начальную пору русского просветительства, когда принято было прославлять Возрождение как зарю новой жизни — «умопросвещение», по терминологии В. Н. Татищева, — противопоставленную многовековому периоду бездеятельности мысли и застоя, казалось, что идеи Возрождения не коснулись русского общества, не заметившего их в силу особо сложившихся условий русской исторической жизни. Тот же В. Н. Татищев, у которого мы находим очень отчетливое представление об историческом значении Возрождения, Кантемир, Ломоносов о русской образованности в период средневековья судили с известным пренебрежением, с высоты стоявших перед ними просветительских задач, а не в той перспективе, которая стала доступна более поздней поре русской исторической мысли. Такая же недооценка восприимчивости и творческих сил русской средневековой мысли чувствуется в суждениях о ней Пушкина или Белинского. В одной из своих замечательных критических статей (условно называемой «О ничтожестве литературы русской», 1834), основная тема которой совпадает со многими положениями «Литературных мечтаний» Белинского, Пушкин писал: «Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства из Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния...». Сходные, но гораздо более категорические утверждения мы находим и в первом «философическом письме» П. Я. Чаадаева, писавшего, что «мы не вмешивались в великое дело мира», потому что «были оторваны от общего семейства: «Свергнув иго чужеземное, мы могли бы воспользоваться идеями, которые развивались между тем у наших западных братий... Сколько светлых лучей прорезало в это время мрак, покрывший всю Европу! Большая часть познаний, которыми ум человеческий теперь гордится, были уже предчувствуемы тогдашними умами; характер новейшего общества был уже определен; миру христианскому не доставало только форм прекрасного, и он отыскал их, обратив

взоры на древность язычества». Мы же якобы, — как полагал Чаадаев, — «уединившись в своих пустынях <...> не видали ничего происходившего в Европе». Впрочем, в отличие от Чаадаева Пушкин оправдывал эту кажущуюся отторженность и действительную замедленность нашего умственного развития на пути от средних веков к Возрождению той исторической жертвой, которую русская государственность принесла общеевропейской образованности: «России определено было высокое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией...».

Русскую культуру допетровской поры знали у нас тогда немногие; ранняя эпоха представлялась в еще более смутных очертаниях. Правда, раздавались отдельные голоса, настораживавшие критическую мысль против огульного осуждения отсталости старорусской культуры и недооценки ее самостоятельных успехов, но для уверенных суждений по этому поводу не было еще приготовленных материалов. Когда в 1825 г. Ф. П. Яковлев выпустил в свет свою диссертацию, представленную Московскому университету — «Обозрение XVI столетия в отношении к успехам в науках и словесности» (М., 1825) — и посвященную преимущественно итальянскому Возрождению (отрывок из этой работы был напечатан в «Вестнике Европы», 1824, № 22 под заглавием «Заря XVI в. в Италии»), анонимный рецензент русского библиографического журнала выразил сожаление, «что трудолюбивый автор в круг своих изысканий не включил самую Россию. Тут усердию к наукам открылось бы новое поприще, ибо и у нас в XVI в. много приготовлено такого, что могло принести плоды токмо в последствие времени».[5] Тем не менее и здесь еще не было речи о контактах русской мысли периода образования русского централизованного государства с гуманизмом или русского изобразительного искусства того же времени с исканиями художников раннего итальянского Возрождения. Об этих контактах не подозревали еще ни славянофилы, ни западники, посвоему толковавшие отрешенность старорусской жизни от западных культурных движений в своих историософских построениях, в недостаточной степени обязанных еще знанию действительных фактов. Этих сближений не делали еще и ранние исследователи древнерусской письменности, например С. П. Шевырев (специально изучавший также итальянское Возрождение) или М. П. Погодин; хотя среди рукописей, собранных последним в его «Древлехранилище», было уже немало таких, которые свидетельствовали о сходстве идейных исканий на Руси и за ее рубежами, он все еще предпочитал настаивать на обособленности их путей и писал в своих «Историко-критических отрывках», противопоставляя Запад и Московскую Русь (1846): «...у них пропаганда, у нас сохранение,

[5] Библиографические листы. 1825. № 23. С. 324.

у них движение, у нас спокойствие...». И только Ф. И. Буслаев едва ли не первым у нас открыл, что итальянские влияния в миниатюрах русских рукописей становятся заметными уже с XV в. и что хотя ни Псков, ни Новгород, ни тем более Москва не видели соблазнов римской или венецианской живописных школ, но некоторые из произведений, писанных по заказу Сильвестра псковскими живописцами Останею и Якушкою, оказались удивительно близкими к оригиналам Чимабуэ и Перуджино.[6]

Углубленному научному обсуждению интересующий нас вопрос мог быть подвергнут не ранее второй половины XIX в., когда началось более интенсивное и широкое изучение рукописного наследия старой Руси и вещественных памятников ее культуры. В это время действительно не раз заводилась речь о пересекавшихся в XVI—XVII вв. путях русской и западноевропейской образованности, но большей частью с отрицательными результатами: слишком сильны были в нашей историографии сложившиеся ранее представления о «неподвижности» русской мысли в течение нескольких столетий, об оторванности ее от тех источников, которые в состоянии были возбудить ее деятельное брожение, например от античного наследия или современной европейской, в первую очередь итальянской ренессансной культуры. В полном соответствии со старой историографической традицией Е. Е. Голубинский говорил, например, об отсутствии подлинного просвещения в старомосковской Руси; В. С. Иконников, со своей стороны, утверждал, что «в строгом смысле, до XVII века у нас не было науки», что «наша литературная деятельность до того времени верно характеризуется словами: „книжность"», а свой «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» (1869) открывал словами, выражавшими распространенную в то время точку зрения: «В развитии научных понятий древняя Россия и Западная Европа представляли резкий контраст: в то время как на Западе остатки древней образованности послужили основанием, из которого развилась культура новой Европы, а латинский язык, распространенный религией, облегчил доступ к пониманию древней науки, Россия не имела подобных условий. Правда, получив религию из христианской Византии, при содействии греческого языка, она могла бы усвоить образованность древней Греции, во многом превосходившей римскую, но ограниченное влияние Византии и нераспространенность греческого языка <...> постоянно препятствовали развитию научных знаний». Когда высказано было мнение, что вместе с Максимом Греком «в первый раз проникло к нам европейское просвещение, тогда уже зачинавшееся, и бросило хотя еще и слабые лучи на густой мрак невежества, облегавший Россию» (митрополит Макарий), то некоторые исследователи готовы были признать, что Максим Грек послужил первым звеном, соединившим русскую «книжность» с западной научной школой (А. Н. Пыпин). Ближайшее знакомство

[6] *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. М., 1861. Т. 2. С. 72, 288—289, 327—328.

с материалом, однако, не подтвердило этих предположений. Оказалось, что Максим Грек, этот «русский гуманист XVI века», побывавший в Венеции, Падуе и Милане, знакомец Анджело Полициано и Альдо Мануция, остался совершенно чужд гуманистическому движению в Италии: в своей «Повести страшной и достопамятной» он прославил Савонаролу как образец всех совершенств; самое внимательное сопоставление писаний Максима Грека с сочинениями итальянских гуманистов открыло лишь следы его поверхностного и, вероятно, случайного сходства с воззрениями Петрарки и К. Салутати.[7] Сколь ни очевидным казалось, что брак Ивана III с Софьей Палеолог должен был поставить Москву в ближайшие и тесные связи с Италией,[8] но культурные результаты этого события усматривались прежде всего в некоторых новшествах материального быта, проникших в Москву, и не ощущались вовсе в каких-либо идейных сдвигах. Все простодушные отзывы русских людей, побывавших в Италии в связи с Флорентийским собором (1437), — рассказ Симеона о Флоренции, Авраамия о благовещенской мистерии, которую он видел в одном из флорентийских монастырей, или, например, сказания о богоматери в Лорето, записанные послами Василия Ивановича к папе Клименту «Еремием Трусовым с товарищи»[9] и другие подобные явления русской письменности, — толковались исследователями как очевидные доказательства того, как чужда и непонятна была представителям русских образованных кругов возникшая в Италии ренессансная культура: в городах, кипевших жизнью, создававших великие творения нового светского искусства, русские путешественники якобы увидели только то, к чему они уже привыкли у себя дома.

Можно было бы привести также много других примеров, свидетельствующих, что русская историческая наука того времени не

---

[7] *Гудзий Н. К.* Максим Грек и его отношение к эпохе итальянского Возрождения//Университетские известия. Киев, 1911. № 7. С. 1—19. Об итальянских впечатлениях Максима Грека писал, правда сильно преувеличивая их значение, Б. И. Дунаев (Максим Грек и греческая идея на Руси в XVI веке. Историческое исследование//Труды Славянской комиссии императорского Московского археологического общества. 1916. Т. 4, вып. 2; отдельное издание: М., 1916) и В. С. Иконников во втором издании своей книги «Максим Грек и его время» (Киев, 1915). Более новое ценное исследование: *Denisoff Elie.* Maxime le Grec et l'Occident, Contribution à l'histoire de la pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis (Paris; Louvain, 1943) — не только впервые раскрыло мирское имя Максима Грека, которое носил он до принятия монашества, но и очень расширило данные для истории его жизни. Особый интерес представляют для нас те главы книги, в которых раскрыты его отношения с гуманистами («A l'école des humanistes» и «Au service de la Renaissance»); к сожалению, автор исходит из заранее принятого им тезиса о враждебности русского общества XVI в. к культуре итальянского Возрождения.

[8] На самом деле можно было говорить о возможности итальянских культурных влияниях на Руси и до XV в.; итальянцы-сурожане упоминаются в Москве уже 1356 г.; женитьба Ивана III не открывала, но в известном смысле завершала сношения Москвы с Италией (*Хрептович-Бутенев Гр.* Флоренция в связи с двумя событиями русской истории XV в. М., 1909).

[9] *Кирпичников А. И.* Русское сказание о Лоретской богоматери//Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1896. Кн. 3. С. 1—15.

была еще достаточно способной к тому, чтобы вывести интересующий нас вопрос из тупика. И объем данных, которыми она располагала, не позволял еще сделать свежие обобщения, принуждал к повторениям старых истин, и вновь открываемые сведения подбирались и группировались тенденциозно, в угоду распространенным мнениям. В лучшем случае признавалось, что редкие проблески новых идей, родственных тем, которые утверждались на Западе, проявлялись на северо-западных окраинах русских земель, в Новгороде и Пскове. Общепринятой становилась та точка зрения, что идеи западноевропейского Возрождения проникали к нам только в XVII в. через Украину и Польшу. Но и в этих случаях делались постоянные оговорки и предупреждения. Если речь заходила, например, о Юрии Крижаниче, ярком представителе западноевропейской образованности, который в своей сибирской ссылке мог читать «Мемуары» Филиппа де Коммина, трактаты Пико делла Мирандолы или «Историю Флоренции» Макьявелли, то исследователи, обнаружившие эти факты, подчеркивали при этом, что Крижанич не оказал никакого влияния на русскую письменность, потому что якобы «чисто русские, московские люди не принимали участия в результатах века Возрождения классических наук»;[10] в этом согласны были представители крайне противоположных воззрений — и «западники» конца XIX в., и представители «славянофильства»,[11] возрожденного в то время в своей крайней и реакционной форме.

Изучение русской старины шло быстрыми шагами; публикации рукописных источников были обильными и непрерывными; в музеях накапливались произведения русского искусства и памятники вещественного быта прошлых веков; старая русская культура обследовалась вдоль и поперек. Лишь общие исторические концепции сохраняли свои прежние очертания и в них редко обнаруживались робкие сдвиги или малозначительные смещения.

Для преодоления предрассудка о косности и бездеятельности старорусской мысли или недостаточной силе любопытства русских книжников ко всему, что думалось или делалось за пределами русской земли, уже к концу XIX в. подобралось особенно много данных. Уже в это время исследователям стали хорошо известны, например, результаты огромной переводческой работы, непрерывно шед-

---

[10] *Брикнер А.* Юрий Крижанич//Русский вестник. 1887. № 7. С. 37.

[11] Так, К. Н. Леонтьев в сочинении «Византизм и славянство», напечатанном московским Обществом истории и древностей российских (Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1875. Кн. 3), бравший под свою защиту «византизм» как политический и государственный принцип, утверждал, что «этот же самый XV век, с которого началось цветение Европы, есть век первого усиления России, век изгнания татар, сильнейшего противу прежнего пересаждения к нам византийской образованности», но что Россия «не вступала тогда в период цветущей сложности и многообразного гармонического творчества, подобно современной ей Европе Возрождения», и что «нашу эпоху Возрождения, наш XV век, начало нашего более сложного и органического цветения <...> надо искать в XVII веке, во время Петра I или по крайней мере первые проблески при жизни его отца» (с. 3—4).

шей по Руси в XVI—XVII вв. и все шире захватывавшей также и литературу европейского Возрождения. Немалую помощь в первом ознакомлении с этими переводами оказал предварительный их список, составленный А. И. Соболевским[12] (уже давно, впрочем, нуждающийся в дополнениях, существенных поправках и особенно в проверке по отсутствующим еще публикациям значительной части только перечисленных им рукописей), но даже на основе этого, важного и для наших целей труда создавалось прочное представление о сильно запаздывающем характере русских реплик на движение западноевропейского Ренессанса, представление, препятствовавшее новым обобщениям и содействовавшее по следующим попыткам переместить «русское Возрождение» в XVIII в.[13] или даже еще позже — на следующее столетие.[14] Еще С. Ф. Платонов, стремившийся в специальной работе доказать, что «связь московской Руси с европейским Западом завязалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать», оговаривался тут же, что это общение было «более всего заметно в области материальных и практических заимствований и сношений», но мало обнаруживалось в идейной области, и прибавлял: «Правда, с Запада на Русь в XV—XVI веках проникали и те идеи, на которых вырастало миросозерцание эпохи Возрождения, но там, на Западе, это миросозерцание имело блеск и силу утреннего солнца, ярко светившего пробужденному разуму; здесь же, на Руси, оно пока мерцало редкими зарницами, не разгонявшими ночного мрака и страшившими косное суеверие массы».[15] Как видим, это была незначительная уступка стародавней ученой традиции; не приходится поэтому удивляться, что подобная точка зрения охотно распространялась даже на XVII столетие; еще недавно утверждалось, например, что

---

[12] *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVIII вв. Библиографические материалы. СПб., 1903.

[13] *Иоффе И. И.* Русский Ренессанс//Ученые записки Ленингр. гос. ун-та. Сер. филол. наук. 1945. Вып. 9. С. 236—285.

[14] *Pusino I.* Die Kultur der Renaissance in Italien und Russland. Versuch einer vergleichenden Analyse//Histor. Zeitschr. 1929. Bd 140. H. 1. S. 23—56. Эта статья представляет собой наивную и явно внеисторическую попытку доказать, что «русское Возрождение» типологически якобы удивительно сходствует с итальянским, с той лишь разницей, что итальянское относится к XV—XVI вв., а русское к XIX в.; автор серьезно рассматривает эти сходства, разбив их на 11 пунктов, разумеется, совершенно произвольных.

[15] *Платонов С. Ф.* Москва и Запад в XVI—XVII вв. Л., 1925. С. 36. П. Н. Сакулин назвал «эпохой русского Возрождения» период, начавшийся во второй половине XVII в., когда в русской литературе обнаружился резкий разрыв с «хмурым аскетизмом средневековья и переливчатый смех невозбранно водворился в беллетристике» (*Сакулин П. Н.* Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей. М., 1929. Ч. 2. С. 45). Б. В. Михайловский и Б. П. Пуришев в книге «Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV до начала XVIII века» (М.; Л., 1941. С. 88) также отмечают, что у нас «в XVII веке достигла пышного расцвета реалистическая литература, во многом близкая литературе раннего европейского Возрождения. В ней царствует дух ренессансной новеллистики, с ее апофеозом человеческой смекалки, радостным культом здешней „земной“ жизни, шумным весельем».

о подлинном проникновении гуманизма в Россию этого времени не может быть и речи, что «с гуманизмом в собственном смысле этого слова Россия не имела ничего общего».[16]

3

Приведенные выше справки и напоминания, как легко заметить, не преследовали историографических целей; задача заключалась лишь в том, чтобы на нескольких характерных примерах подчеркнуть устойчивость представлений о старорусской культуре и наметить затем перспективу внесения в них известных коррективов. Кроме того, более подробные и систематические указания историографического и библиографического характера были бы более уместны в специальном труде, который еще не может быть написан в том объеме и с той широтой документации, каких он несомненно заслуживает. Мы можем в настоящее время лишь надеяться на то, что такой труд будет осуществлен в недалеком будущем, когда закончены будут все необходимые для него предварительные изыскания; настоящий доклад пытается оправдать их и тем самым способствовать их продолжению.

Данные, которыми ныне располагает наука о русской культуре XVI—XVII вв., — о движении русской научной мысли в эту пору, о сложной и жестокой идейной борьбе в различных общественных слоях той поры, о пытливых эстетических исканиях и т. д. — значительно отличаются от тех, какими располагала историография прошлого времени; они не только очень обогащены в своем объеме, но имеют и качественные различия с теми, какие накапливались прежними исследователями. Мы в состоянии теперь утверждать, что то самое «открытие мира и человека», которое определяет западноевропейское Возрождение, и на русской почве произошло задолго до того, чем предполагалось. Сделаны были попытки очертить содержание и процесс развития в древней Руси представлений о природе в широком естественноисторическом смысле; намечены были с гораздо большей отчетливостью этапы идейно-философской борьбы, захватившей широкие общественные массы; подчеркнуто было, что она выходила за рамки феодально-церковной идеологии, достигая значительной самостоятельности и силы в суждениях о человеке, его социальной сущности и назначении в мире. Внесены были, наконец, важные поправки в вопрос о том, действительно ли русский мыслящий человек, притом не только из высших кругов, но и из мира «средних», посадских людей, был долго отторжен, по условиям своего исторического существования, от тех источников мысли и творчества, которые содействовали на европейском Западе выработке гуманистического движения. Переоценке подверг-

---

[16] *Braun M.* Das Eindringen des Humanismus in Russland im 17. Jahrhundert//Die Welt der Slaven. Vierteljahrschrift für Slavistik. 1956. H. 1, S. 34—49.

лись и проблема античного наследия в древнерусской письменности, и вопрос о книжных путях и источниках, раскрывавших для грамотных русских людей XVI—XVII вв. передовые идеи европейского Возрождения. Именно в такой последовательности мы и постараемся ниже рассмотреть важнейшие результаты исследований, которые велись в указанных направлениях в последнее время. Необходимо лишь предварительно оговориться, что несмотря на многие новые черты, которыми обогащает новейшая наука изучение каждого из указанных вопросов, не следует предполагать, что они в состоянии в корне изменить картину старорусской культурной жизни, сложившуюся в результате упорного научно-исторического труда, осуществлявшегося в течение нескольких столетий. Бесплодной и совершенно лишенной смысла была бы задача не только поставить знак равенства между русской культурой XVI—XVII вв. и культурой любой другой страны Западной Европы того же времени, но даже утверждать их относительное единство, доказывать сходство там, где налицо явное, исторически закономерное и обусловленное различие; предполагать возможность воздействия в тех случаях, когда самостоятельность национальной формы культурного явления бьет в глаза и не должна подлежать спору; обосновывать, наконец, хронологические совпадения параллельных культурных процессов в нескольких странах, там, где на самом деле наличествует их несовместимость: отставания или убыстрения, всяческие перебои ритма в культурном процессе естественны и вполне объяснимы. Он не может совпадать даже на малых соседних территориях и в сходных социальных и государственных образованиях.

Историки общеевропейской науки подчеркивают, что в средние века обобщение знаний о природе, выраставшее из ограниченного житейского опыта, было иррациональным, схоластическим; «схоластическое естествознание прошло последовательные этапы своего зарождения, господства и кризиса, начавшегося в XVI веке».[17] Следующие два века, однако, составляют уже период, когда формируются «новые принципы научного исследования»: это — период возрождения античной науки, непосредственной борьбы со схоластикой, провозглашения принципов экспериментального изучения и попыток целостного механического объяснения природы.[18] Основной движущей силой развития естествознания (в широком смысле) в этот период были «начавшаяся в конце XV в. техническая революция, великие географические открытия, мировая торговля, развитие архитектуры, фортификации, кораблестроения, строительство дорог и каналов, а также борьба новых общественных классов против феодальных сил, политические и культурные явления, связанные с реформацией, включавшие крушение духовной диктатуры церкви».[19]

---

[17] *Кузнецов Б. Г.* Развитие научной картины мира в жизни XVII—XVIII вв. М., 1955. С. 3.
[18] Там же. С. 3—4.
[19] Там же. С. 5.

Русская культура периода образования централизованного государства, рассматриваемая с такой общей точки зрения, представляет множество свидетельств того, что в ней шли эти самые процессы, в некоторых отношениях с чрезвычайной интенсивностью, подготовляя заранее то великое дело обновления мировоззрения и культурного уровня, которое именуется Возрождением. Новейшие историки древнерусской науки подчеркивают, что и «в течение XIV—XVII столетий она приобщалась к разным типам и элементам развития западноевропейской, а через нее и общечеловеческой культуры, исходя при этом из своих внутренних потребностей и разрешая свои органически выраставшие задачи»;[20] «одним из отрадных впечатлений от изучения истории русской науки XI—XVII вв.» новейшего ее исследователя было ощущение ее непрекращавшегося движения, «осознанное и оправданное признание творческого участия русского народа в развитии науки даже в те отдаленные времена».[21] Основное отличие процесса развития русской науки от западноевропейской заключалось лишь в том, что на русской почве этот процесс имел более *скрытый* и в то же время более *практический* характер. Русские рукописи, где излагались итоги этой огромной творческой работы, или не дошли до нас в достаточном количестве, или, может быть, даже отсутствовали вовсе. Во всяком случае они не могли идти ни в какое сравнение с первенцами ренессансной европейской печати и по своему внешнему виду, и по блеску своего литературного изложения; по содержанию же своему они составляли зачастую очень важное звено даже в истории европейских открытий периода Возрождения. «Обычно от нас ускользает, — справедливо отмечает историк древнерусской науки, — что эта колоссальная работа имела естественнонаучный аспект. Правда, это естествознание долго не воплощалось в книгах гениальных физиков, химиков и биологов, но оно создавало для них широчайшую практическую основу, оно накопляло для них элементы в проявлениях неписанной профессионально-технической мудрости. Механика дровосеков, прокладывавших пути в густых непроходимых лесах, механика и метеорология отрядов смелых поморов и казаков, обходивших материки и завоевавших Ледовитый океан на утлых суденышках, физика и химия освоителей лесных и степных земель — это звенья единой цепи, которая в другом конце дала возможность прорубить „окно в Европу“, на технически освоенных невских болотах создать петровские мануфактуры, Академию наук, проект Северо-восточного плавания Ломоносова и осуществить экспедицию XVIII в. для изучения производственных сил страны».[22]

Если великие географические открытия стали одной из движущих сил для выработки нового мировоззрения европейского Воз-

---

[20] *Райнов Т.* Наука в России XI—XVII вв.//Очерки по истории донаучных и естественнонаучных воззрений на природу. М.; Л., 1940. С. 8.

[21] Там же.

рождения, то они в такой же степени содействовали и у нас расширению горизонта, умножению сведений о морях и землях, климатах и природных условиях, удивительному разнообразию сведений о богатствах физического мира и пригодности их для человеческих нужд. Уже колонизационная деятельность Великого Новгорода влекла за собой расширение сведений о природе и населении приобщаемых им земель; решающим оказался, однако, более мощный московский центр колонизационного движения на север и восток страны. Интенсивное освоение территорий европейского Севера и активное продвижение за Уральский хребет позволили присоединить к русскому государству новые огромные пространства, дотоле почти неведомые культурному миру и географической науке; накопление и обобщение реальных сведений о них составило важный вклад в мировую географическую литературу XVI—XVII вв. — основной по отношению к северо-востоку Европы, Уралу, Западной и Восточной Сибири.[23] Сочинения иностранцев XV—XVI вв. создают впечатление, что основная масса географических сведений обо всех этих обширных областях была добыта из русских источников.[24] Напомним хотя бы знаменитые и столь часто цитируемые слова немецкого гуманиста Ульриха фон Гуттена, лирически выразившего мироощущение новой эпохи: «О, что за время! Как движутся умы, как цветут науки! Прочь варварство и невежество! Получив свою награду, ступайте в изгнание на вечные времена!» — сказанные после расспросов им Герберштейна, только что вернувшегося из Москвы (речь шла о том, существуют ли в действительности Рифейские горы).[25] Нужно действительно прочитать многочисленные книги иностранцев о России XVI в. — итальянцев и французов, немцев, нидерландцев и англичан, — чтобы увидеть, как велик был русский вклад в познание мира, какое значение имели русские «чертежи» в истории мировых картографических знаний, как обогатили сведения, добытые иностранцами прямыми и окольными путями в русском государстве, европейскую науку; впрочем, и не только науку: суждения о русских и их обширном государстве поразили воображение многих европейских писателей эпохи Возрождения — Ариосто, Рабле и Шекспира, Сервантеса и Лопе де Веги.[26] Не забудем при этом, что речь идет не только об устных сведениях, передававшихся через различное посредство, и не только относительно русских территорий, но и о многих отдаленных концах земли: реляции русских послов XVI—XVII вв. в иноземные государства Запада и Востока представляют собой столь же важные географи-

---

[23] *Лебедев Д. М.* Очерки по истории географии в России XV и XVI веков. М., 1946. С. 12—13, 117—128.

[24] *Алексеев М. П.* Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей. 2-е изд. Иркутск, 1941.

[25] *Strauss D.* Ulrich von Hutten. 1894. S. 304.

[26] *Алексеев М. П.* Эпизоды из русской истории в «Опытах» Монтеня//Романо-германская филология. Л., 1957. С. 32.

Эту статью см. также в книге М. П. Алексеева «Сравнительное литературоведение» (Л., 1983. С. 21—42). — *Ред.*

ческие и культурно-исторические источники,[27] как и литературные памятники, оставленные нам русскими путешественниками. Вспомним «Хожение за три моря» тверитина Афанасия Никитина (1466—1472), «рожденное тем ярким оживлением, какое мы наблюдаем в Восточной Европе и, конечно, на Руси с конца XV в.»,[28] предприимчивостью, широтой интересов и любознательности русских людей той поры, «Хожение» в Иерусалим Василия Познякова и Трифона Коробейникова (1559—1560); менее оцененные доныне русские путешествия в Турцию, Иран и Афганистан; и нас не может удивить, что и об открытии Америки у нас знали уже в начале XVI в.

Одновременно возрастал интерес и к новой науке и технике. Исследователи отмечают сильно повысившийся на Руси, именно к концу XV и началу XVI в., интерес к математическим знаниям — к геометрии («землемерии»), к счету и числу, торговой арифметике; хозяйственные задачи обостряли в ту пору внимание также к ботанике, химии, практической биологии, медицине[29] и т. д. Все эти факты, взятые сами по себе, не имели бы для наших целей особого значения как естественные признаки хозяйственного и культурного роста, если бы мы не имели прямых свидетельств о том, что в этом, казалось бы, стихийном процессе была также разумная воля с очень ярко выраженной направленностью. Русские зодчие, например, и ранее этого времени умели решать весьма сходные задачи по статике, динамике и строительному мастерству, но московское правительство зорко и своевременно разглядело результаты совершавшейся на Западе технической революции и сумело правильно оценить ее значение и выгоды; поэтому в увеличившихся в это время случаях вызовов на службу в русское государство иноземных технических специалистов всякого рода не было никакой случайности; наоборот, московские цари умели находить новую технику «с удивительным знанием дела — прежде всего там, где раньше всего начали складываться капиталистические отношения, — в городах северной и средней Италии».[30] Стоит вспомнить хотя бы историю приглашения в Москву Иваном III в 1475 г. болонского инженера и архитектора Аристотеля Фиораванти и ряд подобных этому фактов, чтобы признать, что непосредственная практическая заинтересованность техникой Возрождения начала проявляться у нас очень рано.

Однако и помимо собственно техники на Руси в конце XV—начале XVI в. обнаруживался особый интерес к «светским» наукам, который, как это все отчетливее выясняется из новейших исследований, не обязательно носил узкопрактический характер. В кругах так называемых «жидовствующих», например, усердно занимались математикой, астрономией, логикой, медициной и, по замечанию

[27] Путешествия русских послов XVI—XVII вв. Статейные списки. М.; Л., 1954.

[28] Хожение за три моря Афанасия Никитина. 2-е изд. М.; Л., 1958. С. 73.

[29] *Райнов Т.* Наука в России XI—XVII вв. С. 125, 128, 143, 149—151.

[30] Там же. С. 361.

Д. О. Святского, «должны были в то время иметь представление о мироздании, ничем не отличающееся от тогдашнего западноевропейского».[31] Математика, в частности, далеко вышла тогда за пределы торговых арифметик и землемерных задач. Во второй половине XV в. сделан был русский перевод «Метафизики» Ал-Газали из его книги «Стремление философов», содержащий в себе ряд тонких математико-философских определений.[32] В одном из русских списков «Космографии» (начало XVI в.) упоминаются Евклид («премудрый Клидас») и автор «Сферики» («премудрый Феодосий»), дается изложение начал математической астрономии, описание измерительного астрономического прибора и т. д. В конце XV в. из кругов тех же «еретиков» вышел и русский перевод (с еврейского) трактата Иммануэля-бен-Якоба (XIV в.) «Шестокрыл» — шесть таблиц для исчисления вперед лунных фаз и затмений.

Широкая переводческая деятельность, развертывавшаяся у нас со второй половины XVI в. и особенно усилившаяся в следующем столетии, создает еще более отчетливое впечатление, что интерес к науке Возрождения повышался в русском государстве от десятилетия к десятилетию; при этом он получал уже и новые черты, утрачивая постепенно слишком узкий, «прикладной» характер: пытливость и любознательность становились признаками нового складывающегося «светского» мировоззрения, вырабатывавшегося хотя медленно, но неуклонно. Конечно, и в образовавшейся среди грамотных людей старой рукописной литературе, да и в новопереведенных сочинениях многое еще тянуло читателей к старому неизжитому преданию и традициям; научные пристрастия, как и литературные вкусы, находились в разброде и непрестанных столкновениях; налицо был, однако, процесс постепенной секуляризации научной любознательности. Даже относительно переводившихся у нас еще в XVII в. произведений средневековой литературы, вроде трактата Альберта Великого или «Великой и предивной науки» испанского схоласта XIII в. Раймунда Люллия, трудно сказать, что преимущественно обусловило внимание к ним русских переводчиков и читателей и не заключалась ли привлекательность подобных произведений за пределами их теологическо-философской направленности. Осуществленный же у нас в XVII в. перевод «Физики» Аристотеля, при всей противоречивой роли, какую этот труд играл в истории философских исканий в период Возрождения, уже явно свидетельствовал об «обмирщении» русских философских интересов и о внимании к возрождению к новой жизни наследия античной науки.[33]

---

[31] *Святский Д. О.* Астрономическая книга «Шестокрыл» на Руси XV века// Мироведение. 1927. Т. 16, № 2. С. 66.

[32] *Зубов В. П.* Вопрос о «неделимых» и бесконечном в древнерусском литературном памятнике XV века//Историко-математические исследования. М.; Л., 1950. Вып. 2. С. 407—430. Известен у нас был и перевод первой части («Логики») того же «Стремления философов» («Маккасид ал-филасифи») Ал-Газали. Он был распространен у нас под названием «Логики» Авиасафа.

[33] *Зубов В. П.* «Физика» Аристотеля в древнерусской книжности//Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1934. № 6. С. 635—652.

Новая же ренессансная наука в старой Москве встречала уже живые отклики и находила распространение. В XVII в. у нас переведены были многие важные памятники научной мысли периода Возрождения, выбранные разборчиво, со вкусом и пониманием; они открывали новые горизонты и прежде всего новый аспект в изучении мира о человеке. Перевод знаменитой «Космографии» Меркатора знакомил с результатами географической науки, возникшей после великих открытий; перевод зоологического трактата Улисса Альдрованди содействовал ликвидации средневековых представлений о животном мире, а перевод анатомического труда Везалия — новому взгляду на телесную природу человека; «Селенография» Гевелия, с ее завлекательными картинами лунных ландшафтов, изученных с помощью новой оптики, раскрывала звездные миры.[34]

В области космологических представлений новая латинская традиция боролась с византийской; астрономия побеждала старые астрологические пристрастия. Хотя в XVII в. господствующей оставалась у нас геоцентрическая система в духе натурфилософии перипететиков, но в высокой степени примечательно, что уже в 50-е гг. этого столетия у нас сделана была первая попытка изложения учения великого польского ученого Коперника.[35]

4

Еще важнее, однако, что в эту пору у нас особое внимание привлек к себе *человек* — не как символическая частица некоей призрачной иерархии, а как живое существо, наделенное плотью и кровью, со всеми его страстями и пороками, во всех его социальных связях, — ищущий, борющийся за свои права, утверждающий себя не в мечтаемом, но вполне реальном мире социальных и бытовых отношений.

Следует иметь в виду, что историческая и литературная науки открыли это довольно поздно. Русская публицистика XVI в., например, сравнительно недавно стала предметом серьезного научного анализа, и многие связанные с ней частные вопросы все еще подвергаются спорам. Важнейшие сдвиги в истории русской философской мысли этого периода рассматривались преимущественно с точки зрения официальной церковной истории; религиозный отпечаток, который действительно носит на себе большинство русских философско-публицистических трудов этого периода, долго препят-

---

[34] *Соболев С. А.* Оптические инструменты и сведения о них в допетровской Руси//Труды Ин-та истории естествознания АН СССР. М.; Л. Т. 3. С. 160.

[35] *Райков Б.* Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. 2-е изд. М.; Л., 1947. С. 117 и след. Обо всех названных выше переводах см. также указанную книгу Т. Райнова, где специальные главы посвящены русским переводам античной научной литературы, трактатам эпохи Возрождения и «социальным корням и пружинам возрожденчества в русской науке XVII в.», и статью В. П. Зубова «Литературный памятник итальянского Возрождения в русском переводе конца XVII в». (Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 433—439).

ствовал видеть в них яркие памятники общественной мысли, основу которой составляли вполне «мирские» вопросы, всецело выросшие из социальной практики, теснейшим образом связанные с общественной борьбой. А. Н. Пыпину представлялось, что «для древней Руси остались чужды те великие движения в области веры и мысли, какие волновали Запад еще с половины средних веков и результатом которых явилось Возрождение и затем целый новый период Просвещения».[36] Еще более категорических взглядов придерживался П. Н. Милюков, считавший, что в XVI в. «ни идея критики, ни идея терпимости, ни идея внутреннего духовного христианства не были по плечу тогдашнему русскому обществу; для огромного большинства эти идеи были просто непонятны».[37]

Новейшие исследования показали совершенно противоположную картину, полную красок и оживления. Еретические движения XV—XVI вв. на Руси, имевшие антифеодальный характер, развернулись настолько широко, что оказались в сущности неистребимыми для официальной русской церкви.[38] Народные истоки «еретических» учений обеспечивали им широкое распространение и поддержку; они расшатывали не только догматику общепризнанного церковного учения, но и авторитет византийских теологическо-политических теорий, принятых в правительственных кругах, и расчищали почву для восприятия гуманистических идей. Характерно, что некоторые ранние еретические учения, например «ересь жидовствующих», новейшие исследователи готовы были считать — в полном противоречии со старой традицией — чем-то вроде русского «Возрождения» или «Реформации», идейным явлением, типологически сходным с ним или даже связанным с ними генетически. Н. К. Гудзий писал, например, о «ереси жидовствующих»: «...есть основание думать, что в этой ереси мы имеем отзвук идей, зародившихся в эпоху Ренессанса», а Д. С. Лихачев отмечал со своей стороны: «Это была не столько „богословская ересь“, сколько умственное светское антиклерикальное течение, связанное своим происхождением и направленностью с ранним европейским гуманизмом».[39]

Может быть, преждевременно было бы заходить столь далеко, пока мы еще слишком приблизительно представляем себе начальный процесс развития этих ересей и их возможные книжные источники, но что эти ереси действительно были родственны тем самым «великим движениям веры и мысли» на европейском Западе, с которыми сходство их отрицал А. Н. Пыпин, в этом теперь не может быть никакого сомнения. Широкий разлив вольнодумных идей, тревожные блуждания беспокойной, ищущей мысли действительно

---

[36] *Пыпин А. Н.* История русской литературы. СПб., 1898. Т. 2. С. 72.

[37] *Милюков П. Н.* Очерки по истории русской культуры. СПб., 1897. Ч. 2. С. 31.

[38] *Казакова Н. А., Лурье Я. С.* Антифеодальные еретические движения на Руси. М.; Л., 1955.

[39] Цит. по: *Лурье Я. С.* Вопрос об идеологических движениях конца XV—начала XVI в. в научной литературе//Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. 15. С. 149.

очень типичны для русского XVI в. Русские публицисты этого времени обсуждали разнообразные проблемы; некоторые из них затрагивали государственные и социальные вопросы, касаясь существа мирской власти и взаимоотношений разных общественных слоев, иные возвышали свой голос в защиту крестьянства, усматривая в нем самый полезный для общества класс (Ермолай Еразм), иные шли и дальше, проповедуя всеобщее равенство всех людей, не исключая ни иноземцев, ни иноверцев;[40] русские вольнодумцы высказывали, наконец, смелые материалистические догадки, шедшие вразрез с учением церкви, например о «безначальности» существования мира, о естественном круговороте в смене жизни и смерти, о невозможности бессмертия для человеческой души[41] и т. д. Все эти искания и догадки подготавливали почву для восприятия рационалистических идей и во многих отношениях смыкались с идейными исканиями гуманистов.

Характеризуя становление в русской общественной мысли конца XV и XVI вв. идеи утверждения человека или, как говорили тогда, «самовластия» человека, А. И. Клибанов пришел к выводу, что «в русской жизни, по крайней мере с конца XV века, наличествовали объективные предпосылки для становления гуманистической мысли».[42] Черты гуманизма усматривали также в мировоззрении Ф. Карпова и у самого «светского» из русских публицистов этого времени Ивана Пересветова. А. А. Зимин, в недавнее время ставивший этот вопрос, подчеркнул, правда, что и в этих случаях наше внимание обращает на себя «незавершенность процесса высвобождения человеческой личности из пут церковной идеологии», и писал дальше: «Становление нового светского миропонимания в ряде случаев происходило в форме противопоставления духовной диктатуре церкви не человека вообще, а политического человека, т. е. светского суверенного государства. Мудрый и сильный человек в таких условиях выступает или в качестве монарха, или его сподвижника, или просто „воинника“. И в других европейских

---

[40] Религиозная терпимость явственно проявилась уже у «торговых гостей» Московского государства, ездивших в далекие заморские страны и привыкших к общению с людьми разных исповеданий. У Афанасия Никитина или гостя Василия (совершившего в 1465—1466 гг. путешествие в Малую Азию, Палестину и Египет) чувствуется пытливый интерес к людям далекого Юга и Востока, к особенностям их быта и религиозных воззрений. В XVI в. идею равенства вер отчетливо сформулировал Феодосий Косой, проповедовавший, что «вси людие едино есть у бога, и татарове, и немци, и прочие языци» (см.: *Клибанов А. И.* У истоков русской гуманистической мысли (Исторические традиции идеи равенства народов и вер)//Вестник истории мировой культуры. 1958. Кн. 2. С. 45—61.

[41] *Клибанов А. И.* Самобытийная ересь//Вопросы истории религии и атеизма. М., 1956. Сб. 4. С. 223.

[42] *Клибанов А. И.* У истоков русской гуманистической мысли. Кн. 1. С. 22—37. В этой статье автор произвел интересное сопоставление анонимного русского литературного памятника XVI в., вышедшего из еретических кругов, — «Написания о грамоте», в котором, между прочим, идет речь о неограниченности познавательных сил и творческих возможностей человеческого разума, с одним из важнейших теоретических произведений Джованни Пико делла Мирандолы — «Речью о достоинстве человека».

странах гуманистические кружки создавались при дворах державных покровителей, а из среды гуманистов вырос не один из идеологов сильной монархической власти. В России, где элементы гуманистического мировоззрения получили распространение среди представителей дворянства, эти черты выступали наиболее рельефно».[43] Признавая всю справедливость этих утверждений, нельзя все же согласиться с тем, что специфические черты русской гуманистической мысли следует искать прежде всего в мировоззрении представителей «дворянской бюрократии», а не тех бюргерских кругов, удельный вес которых «как в общественно-политической, так и в культурной жизни по сравнению с передовыми странами Западной Европы был невелик». Решение этого вопроса составляет еще задачу будущего исследования. «Проблема особенностей русской гуманистической мысли только ставится в советской исторической литературе», — замечает по этому поводу А. А. Зимин, с полным основанием указывая на «многосторонность и трудность решения этой проблемы».[44]

Если гуманизм ориентировался на реального, земного человека, то направленность русской мысли XVI и особенно XVII в. на всестороннее изучение именно такого человека представляется в свою очередь очень знаменательной. Эта направленность сказывается всюду, куда бы мы не направили свой взор. В переводных и оригинальных русских сочинениях XV—XVI вв. мы можем, например, отыскать следы специального интереса к вопросам «физиономики»,[45] столь сильно привлекавшей к себе в эпоху Возрождения и ученых, и художников. В «Устав» о «мысленном делании» Нила Сорского включен замечательный для своего времени психологический трактат о человеческих страстях, в котором дается хорошо разработанная классификация основных типов человеческих страстей и описание их отличительных признаков во все существенные моменты их развития в человеке — от зарождения до апогея;[46] мы находим здесь трезвое, реалистическое понимание психической жизни, основанное на житейских наблюдениях.

Столь же примечательны новые педагогические идеи, складывавшиеся в это время. Сделана была попытка доказать, что находящееся в 40-й главе «Степенной книги» правило учить «не яростию... но радостовидным страхом и любовным обычаем и сладким поучением, и ласковым рассуждением» отразило взгляды итальянских гуманистов XV в. — Л. Бруни, Верджьери и Викторана Фельтрского.[47] Может быть, и здесь мы имеем дело с преувеличением или с

[43] *Зимин А. А.* И. С. Пересветов и его современники //Очерки по истории общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958. С. 404—405.

[44] Там же. С. 405.

[45] См., например, осужденную Стоглавым собором, но и позже оставшуюся читаемой «отреченную» книгу «Аристотелевы врата, или Тайная тайных»; полный текст этой книги издан М. Н. Сперанским в его исследовании «Из истории отреченных книг» (СПб., 1908).

[46] *Соколов М. В.* Психологические воззрения в древней Руси//Очерки по истории русской психологии. М., 1957. С. 91—101.

[47] *Рыбников В. П.* Два темных места в нашей педагогической литературе XVI—XVII вв. Киев, 1913.

единичным случаем, не дающим права на обобщение. Но для XVII в. гуманистические черты в русских педагогических учениях отрицать уже не приходится: на Яна Амоса Коменского ссылаются Симеон Полоцкий и его подражатели; довольно широкое распространение получает у нас знаменитый педагогический трактат Эразма Роттердамского, в русском переводе озаглавленный «Гражданство обычаев детских».[48]

Необходимо указать также на широкое развитие у нас в эту пору «гуманитарных» знаний (истории, языкознания), «гуманистических» в то же время, — заново созданных Возрождением и в основе своей направленных на изучение того же реального человека и его судеб. Эта область знаний изучена много лучше, чем те, на которые указано было выше, и изложение ее потребовало бы в особенности много времени и места; я ограничусь поэтому, как и ранее, только несколькими примерами, заслуживающими внимания.

В развитии исторических знаний на Руси в XVI—XVII вв. много общего с развитием у нас знаний географических. Одна из особенностей их — универсальный размах, широта горизонта. Уже А. А. Шахматов и М. Н. Сперанский отметили в свое время сделанную около 1520 г. попытку «превратить русский хронограф в историю Западной Европы»,[49] и это действительно показательно. Русские исторические труды XVI—XVII вв. заключают в себе много данных об исторической жизни западноевропейских государств, и попытки целостного изучения этих данных для истории какой-либо одной страны, например Англии или Испании, приводят к интересным результатам: объем познаний об истории этих стран оказывается довольно обширным, а отдельные подробности заслуживают и специального изучения, в частности об источниках информации русских историков той поры. Существенно, например, что в числе их книжных источников оказываются труды писателей европейского Возрождения, самое знакомство с которыми могло бы вызвать удивление, если бы мы уже заранее не подготовлены были к этому другими фактами того же ряда. Интересно, например, что в один из русских хронографов была включена в русском переводе повесть о взятии Царьграда гуманиста Энея-Сильвия Пикколомини,[50] что в другом труде мы находим сделанный, правда, тяжеловесным языком перевод «Британии» Вильяма Кемдена (1586) с топографическими и археологическими данными о Британских островах, причем автор рекомендован читателю именно как археолог — «муж, старовечности британской изобильно обученный».[51] Доказано, что у нас хорошо известны были польские исторические

---

[48] *Алексеев М. П.* Эразм Роттердамский в русском переводе XVII века// Славянская филология. М., 1958. Вып. 1. С. 275—330.

[49] Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 194.

[50] *Соболевский А. И.* Эней Сильвий и Курбский//Serta Boristhenica. Киев, 1911. С. 1—17.

[51] *Алексеев М. П.* Англия и англичане в памятниках московской письменности XVI—XVII вв.//Ученые записки Ленингр. гос. ун-та. Сер. ист. наук. 1947. Вып. 15. С. 68.

труды, вроде «Всемирной хроники» Мартына Бельского 1550 г., но недостаточно подчеркнуто, что у нас своевременно или с небольшим запозданием перевели все важнейшие сочинения иностранцев о России — от книг Герберштейна и до Олеария включительно. Правда, эти переводы хранились в дипломатических архивах и были под запретом, но некоторые из них могли находить своих любознательных читателей и за пределами приказных канцелярий.[52] Систематическое и подробное сопоставление русской и западноевропейской историографии XVI—XVII вв. представляется еще не завершенным и нуждающимся в дальнейшем изучении.

Равным образом история развития интереса к языкознанию в этот период, начатая еще И. В. Ягичем и продолженная С. К. Буличем, нуждается ныне в пересмотре в соответствии с новыми рукописными открытиями и данными культурно-бытовой истории. И. В. Ягич издал ряд русских рукописей лингвистического содержания в своем классическом труде «Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке» (1895). С тех пор было издано много новых русских рукописей лингвистического содержания, примечательных не только тонкостью обнаруженного в них лингвистического анализа, но и тем, что авторами их являлись миряне: назовем в качестве примера хотя бы послание подьячего Агафоника к Иакову по грамматическим вопросам (середина XVII в.).[53] Многочисленные ряды русских азбуковников, обращавшихся у нас в разных общественных кругах, также оказались интересными с точки зрения языковых горизонтов и практики их составителей. В одном из таких азбуковников нашлись составленные русским посадским человеком XVII в. словарики нидерландского и английского языков,[54] и это лишний раз подтвердило, что интерес к иностранным языкам сказывался тогда не в одних лишь верхах русского общества.

---

[52] *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XVI—XVIII вв. С. 73—74, 77—78; известны были также переводы Гваньини (*Шляпкин И.* Дм. Ростовский и его время. СПб., 1891. С. 56, 80, 83); в конце XVII в. дважды был переведен дневник Г. Корба, один раз Спафарием (Сборник Отделения русского языка и словесности. Пб., 1908. Т. 84. № 3. С. 20—21; Русский вестник. 1866. № 12. С. 530—531). И. И. Соколов предположил даже, что сочинение о России С. Коллинза (1671) «много способствовало пробуждению наблюдательной пытливой русской мысли как в правительственных сферах, так и в частных образованных кружках» (*Соколов И. И.* Отношение протестантизма к России в XVI и XVII вв. М., 1880. С. 221—222); это утверждение, впрочем, встретило возражения Д. В. Цветаева (Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразования. М., 1890. С. 760).

[53] *Никольский Н. К.* Послание Агафоника к кирику Иакову по грамматическим вопросам//Историко-литературный сборник, посвященный В. И. Срезневскому. Л., 1924. С. 390—400.

[54] *Алексеев М. П.* Западноевропейские словарные материалы в древнерусских азбуковниках XVI—XVII вв.//Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию: Сборник статей. М., 1956. С. 25—42; см. также: *Алексеев М. П.* Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века. Л., 1968.

5

Вопрос об античном наследии в русской письменности, его «открытии» и переосмыслении на Руси в XV—XVI вв. также нуждается в полном пересмотре. Касаясь «сопоставлений между использованием духовного наследия западноевропейской культурой, с одной стороны, и русской культурой — с другой, между западноевропейской и русской гуманистической мыслью», А. И. Клибанов вполне справедливо заметил, что «такие сопоставления только тогда станут научно плодотворными, когда они будут исходить не из „сплошных" оценок, а из конкретно-исторического изучения».[55] Такое изучение, однако, может вестись — и действительно ведется — с различных сторон. Зарубежное византиноведение, например, энергично, хотя и без достаточных оснований, настаивало на необходимости изучить «византийское Возрождение» в конце XII в. как основу итальянского XIV—XV вв. (*Neumann C.* «Byzantinische Kultur und die Renaissancekultur»; *Heisenberg B.* «Das Problem der Renaissance in Byzanz») и тем самым могло бы поставить в несколько иной ракурс не только проблему античного наследия на русской почве, но и вопрос о возможных византийских источниках русской гуманистической мысли. В последнее время заново возникали также проблемы наличия «ренессансных» элементов в византийских (и славянских) церковных учениях.[56] А. И. Клибанов в цитированной статье ставил новые в нашей исследовательской литературе вопросы о патристических сочинениях и их значении для древнерусского общества как посредствующего звена в его ознакомлении с античным миром; он указывал также на псевдо-Дионисия Ареопагита, писания которого возрождены были к новой жизни итальянскими гуманистами и представили немалое значение и для русских мыслителей интересующего нас периода.[57] Все это не исключает, конечно, реальной необходимости заново пересмотреть вопросы о непосредственном знакомстве в России с античными авторами, о распространенности их среди читателей XV—XVIII вв., о посредствующей роли для них в этом процессе европейской светской литературы Возрождения.

Не подлежит никакому сомнению, например, что все еще загадочная цитата из Гомера в ипатьевском списке русской летописи под 6741 (1233) годом: «О лесть зла есть! яко же Омир пишет: „до обличенья сладка есть, обличена же зла есть; кто в ней ходить, конець зол прииметь; о злее зла зло есть"», — которую возводят (пока без достаточных доказательств) к «Илиаде» (IV, I,

---

[55] *Клибанов А. И.* К проблеме античного наследия в памятниках древнерусской письменности//Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 159.

[56] *Onasch K.* Renaissance und Vorreformation in der Byzantinischslawischen Orthodoxie. Aus der Byzantinischen Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik, 1. Berlin, 1957. S. 288—301.

[57] Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1957. Т. 13. С. 158—184.

333),[58] фресковые изображения «Омироса» в древнерусских храмах, в одном ряду с Сибиллой Дельфийской, Платоном и Еврипидом,[59] упоминаемая боярским сыном В. М. Тучковым в оставленном им в 1537 г. житии Михаила Клопского книга «Тройского пленения, в ней же многия похвалы плетены еллином от Омира же и Овидия»,[60] или, наконец, вполне реальная «Книга Омира философа, в полдесть, харатейная», названная в описи личной библиотеки Никона,[61] — представляют собой факты совершенно различного порядка. Они отразили разные исторические эпохи, различную культурную среду, многообразие путей, которыми античная культура шла на Русь в течение многих веков и откладывалась в историческом предании. Все указанные выше явления не могут быть сложены в единую картину, не составят целого вне критического анализа каждого из них, взятого в отдельности. Роль древнерусских «Пчел» как передатчиков цитат из античных авторов или «Троянской притчи», вошедшей в хронограф из южнославянского источника, связана со средневековой традицией и не имеет никакого отношения к гуманистической культуре. Не связаны с ней и упоминания «Омира и Овидия» В. М. Тучковым, который под книгой «Тройского пленения» имел в виду повесть итальянца Гвидо де Колумна, писанную по латыни (1287) и переведенную скорее всего в Новгороде во второй половине XV в.,[62] хотя Тучков и признается,

---

[58] *Burgi R.* A History of the Russian Hexameter. Connecticut, 1954. P. 177. Автору, к сожалению, осталась неизвестной старая русская литература вопроса. Еще П. П. Вяземский, не найдя подходящего места в «Одиссее» и «Илиаде», предлагал сопоставить эту цитату с тремя стихами из «Трудов и дней» (364—366) Гесиода, но они слишком далеки от летописного текста *(Вяземский П. П.* Замечания на «Слово о полку Игореве». СПб., 1875. С. 86). В. Н. Перетц в статье «Сведения об античном мире в древней Руси XI—XIV вв.» (Гермес. 1917. № 17—18. С. 245—246) ссылается на поиски этой цитаты Б. Барвиньским в византийской литературе (Записки наукового товариства ім. Шевченка. Рік 1913. Львів, 1914. Т. 117—118. С. 60), которые также не привели к ощутительным результатам. Напомним, однако, что «Послание к князю», полученное пресвитером Фомою, Климент Смолятич писал от «Омира, и от Аристотеля (sic!), и от Платона, иже в елинских нырех славне беша» (*Никольский Н.* О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII века. СПб., 1892. С. 87—89).

[59] Сборник Отделения русского языка и словесности. Пг., 1922. Т. 99, № 4. С. 26.

[60] *Дмитриев Л. А.* Повести о житии Михаила Клопского. М.; Л., 1958. С. 164.

[61] Временник Общества истории и древностей. Кн. 15. Материалы. М., 1952. С. 127.

[62] *Орлов А. С.* Переводные повести феодальной Руси и Московского государства XII—XVII вв. Л., 1934. С. 45; *Геппенер Н. В.* К истории перевода повести о Трое Гвидо де-Колумна//Сборник статей, посвященных акад. А. С. Орлову. Л., 1934. С. 358. О роли Овидия в создании средневековых славянских сказаний о Трое см. интересные замечания в кн.: *Ringheim Allan.* Eine altserbische Trojasage. Text mit linguistischer und literarhistorischer Charakteristik (Publications de l'Institut Slave d'Upsal. Prag; Uppsala. 1950. T. 4. S. 293). Судьбу Овидия в средневековой русской письменности стоило бы проследить особо. Следы знакомства с Овидием В. Н. Бенешевич нашел в славянском переводе астрономического трактата «Великого книжника антиохийского о коля-

что он был учен и в философии и «навык» риторским словесам. Однако близкие по времени упоминания того же «Омира» и следы знакомства с Овидием в латинском подлиннике в писаниях Ф. И. Карпова ведут нас уже к другой культурной традиции, родственной гуманистической или прямо совпадающей с ней. В послании Ф. И. Карпова к митрополиту Даниилу нашлось несколько строк, которые толкуют как дословный перевод двустишия из «Метаморфоз» Овидия;[63] возможные припоминания из классических авторов есть и в других посланиях Карпова.[64] В этом нет ничего удивительного: блестящая образованность, знание нескольких иностранных языков, дипломатическая деятельность открыли Карпову доступ к гуманистической культуре.

Нас не может также удивить хорошее знакомство с латинскими классиками кн. Курбского. Источники его классического образования были сходными, но более широкими, чем у Карпова, если вспомнить существенное различие во времени, в которое они жили и действовали, и особенности окружавшей их культурной среды. Но вот еще пример, подтверждающий, до какой степени критический анализ в вопросе об усвоении у нас античного наследия должен предшествовать любым обобщениям.

Павел Иовий (Джовио) в своей знаменитой «Книге о посольстве Василия Великого, Государя Московского, к папе Клименту VII» (Рим, 1525), со слов русского посла Дмитрия Герасимова, утверждает, что русские помимо «отечественных летописей» и истории Александра Македонского читают «историю Римских цезарей и Антония и Клеопатры, писанные также на их отечественном

дех и о нонех и о идех...» (Spuren der Werke des Ägypters Rhetorios, des Livius Andronicus und des Ovidius in altslavischer Übersetzung//Byzantinische Zeitschrift. 1925. Bd 25, H. 3—4. S. 310—312).

[63] Известия АН. 1914. № 15. С. 1105; *Балухатый С. Д.* Переводы кн. Курбского и Цицерон. Пгр., 1916. С. 4.

[64] *Ржига В.* К вопросу о западном влиянии в русской литературе первой половины XVI в.//Ювілейний збірник на пошану акад. М. С. Грушевського. Київ, 1928. С. 290—236; *Зимин А. Н.* Общественно-политические взгляды Ф. Карпова//Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1956. Т. 12. С. 160—173.

Широкое знакомство с поэзией Овидия наблюдается у нас в XVII в. Как известно, Мелетий Смотрицкий в своей славянской грамматике (1619) дал «просодию стихотворную»; необходимость ее он обосновывал, в частности, ссылкой на то, что Овидий сочинял славянские стихи: «Овидия славного оного латинского пииту в заточении сарматских народов бывша, славянским диалектом стихи или вирши писавши» (*Первольф И.* Славянская взаимность с древнейших времен. СПб., 1877. С. 130—131). Цитаты из Овидия в русской письменности в XVII в. становятся довольно многочисленными как в переводных, так и в оригинальных памятниках. Известны подражания «Тристиям» Овидия у Феофана Прокоповича (*Грузинський Ол.* «Elegia Alexii» Теофана Прокоповича//Записки Українського наукового товариства в Києві. 1909. Кн. 4. С. 20—40). «Метаморфозы» переведены Дм. Ростоцким (*Снегирев И.* Памятники московской древности. М., 1842—1845. С. 191); *М[изко] Н.* Овидий в русской литературе//Москвитянин. 1854. Т. 4, № 14. С. 83—90; *Шляпкин И. А.* Дм. Ростоцкий и его время. СПб., 1891. С. 94, 264, 407; *Соболевский А. И.* Переводная литература московской Руси XVI—XVIII вв. С. 183; *Алексеев М. П.* Эразм Роттердамский в русском переводе XVII века. С. 319.

языке». Это свидетельство повторено было затем в многочисленных иностранных сочинениях о России и получило широкую известность. О чем здесь, однако, шла речь? Еще Карамзин предположил, что под «историей римских цезарей» имелась в виду книга Светония и что она существовала, по-видимому, в русском переводе. Подтверждение этому усматривали в том, что Светоний упоминался среди книг в том богатейшем собрании античных авторов, которое, по легендарным известиям, будто бы хранилось в библиотеке московских государей. Тщательные поиски следов этого собрания, которое, если верить разнообразным источникам, вызывало зависть и надежды на Западе в XVI—XVII вв., не привело ни к каким результатам. Значит ли это, что и свидетельство Дм. Герасимова, сохраненное Иовием, следует сдать в архив с легендой об античных рукописных сокровищах, якобы хранившихся в Москве в XVI в., как это предположил С. Белокуров?[65] Под историей «римских цезарей», читавшейся широким кругом русских книголюбов, не имел ли в виду Герасимов какой-нибудь средневековый источник, издавна обращавшийся на Руси, из которого можно было почерпнуть и сведения из римской истории (вроде хронографа Иоанна Зонары, хроники Симеона Логофета, «Еллинского и Римского летописца» или русского хронографа редакции 1512 г.)? Ответом на такие вопросы может быть только специальное исследование.

Тем не менее свидетельство Дм. Герасимова заслуживает внимания исследователя, если оно не было сознательной ложью из хвастовства и если его понимать в том смысле, что широкому кругу русских читателей уже в его время могли быть доступны в переводах кое-какие античные авторы, в том числе и возрожденные гуманистами. Аналогичные сведения можно извлечь и из книги С. Герберштейна.

Ссылаясь на русские летописи («annales eorum», по контексту — новгородские), С. Герберштейн в своих «Записках о московских делах» (1549) рассказывает анекдот античного происхождения, локализовавшийся в Новгороде и, по-видимому, широко здесь распространенный уже в первой половине XVI в.: речь идет о новгородских холопах, которые во время долгого отсутствия их хозяев, осаждавших Корсунь, женились на их женах, а затем были изгнаны возвратившимися мужьями; устрашенные и обращенные в бегство холопы укрылись в одной местности, которая и ныне называется Холопьим городом (Choloppigrod).

Литература об этом «новгородском» анекдоте в связи с поисками как летописного источника Герберштейна, так и местоположения древнего «Холопья городка» чрезвычайно велика, и мы не будем

[65] *Белокуров С.* О библиотеке московских государей в XVI в. М., 1898. С. 277—278. Отметим также любопытную запись разговора француза с русским толмачом в конце XVI в., сохранившуюся во французской рукописи этого времени: «Говори про Александра писание и про Цезаря и Помпея и <...> про город Картаны и про воеводы Сипиана Африканского земли», однако остается неясным, вполне ли хорошо толмач понимал то, что его просили перевести (*Ларин Б. А.* Парижский словарь московитов 1586 г. Рига, 1948. С. 126).

ее касаться; нас интересует лишь источник этого анекдота и пути, которые привели его в Новгород. Что этот анекдот устойчиво держался здесь с местным приурочением, подтверждают свидетельства Николауса Витзена в его письмах к Х. Кюперу (1693) и Лейбницу (1699); в этих письмах Витзен в почти тождественной форме вспоминает, что, находясь в Московии, недалеко от Новгорода, он видел «Холопью гору» (Cholopgora), что значит «гора рабов»: когда он осведомился, откуда происходит это название, ему рассказали «ту же историю, какую мы находим у Юстина о скифских рабах, кои противились возвращению домой своих господ». «Надобно знать, — прибавлял к этому Витзен, — что эти люди не понимают ни по гречески, ни по латыни, и не имеют никаких сведений в древней истории. Из этого я замечаю, что страна около Новгорода составляла часть Скифии».[66] Наивность вывода, к которому пришел знаменитый голландский путешественник и географ XVII в., не лишает интереса его свидетельство о сходстве новгородского анекдота с новеллой о скифских рабах у Юстина. М. Н. Бережков в своем исследовании о Холопьем городке на Мологе, касаясь рассказа у Герберштейна (но не зная свидетельство Витзена), справедливо признал, по нашему мнению, что источник новгородского предания был книжный: «Русские книжные люди старого времени, — писал он, — на мой взгляд, задавались не праздным вопросом, когда допытывались узнать, откуда произошли и что значат эти прозванья Холопьих городков и городищ. Но они решили вопрос слишком по-книжному; они взяли Геродотовский рассказ о сражении скифов с рабами... да и стали приурочивать его то к одному, то к другому Холопьему городку».[67] Таково было решение задачи, представленное русским историком. Легко видеть, что и оно не исчерпывает вопроса: откуда все же был заимствован новгородскими книжниками этот рассказ — из Геродота или Юстина? Как могли они узнать об этом источнике, если, по высокомерному отзыву Витзена, они не знали ни греческого, ни латинского языков, ни древней истории?

Скифское предание действительно находится и у Геродота (IV, 1—4), и у Юстина,[68] притом в очень сходной форме, но едва ли «История» Геродота могла быть известна в Новгороде в первой четверти XVI в., если не ранее (Герберштейн ссылается на русский *летописный* источник); с бо́льшим вероятием могла быть известна латинская «epitoma historiarum» Юниана Юстина, так как его сочинения уже в средневековье имели свою рукописную традицию и в славянских странах: древнейшие польские списки Юстина идут

---

[66] *Gebhard J. E.* Het leven van N. C. Witsen. Utrecht, 1882. Vol. 2. P. 287; *Пекарский П.* Переписка Лейбница о славянских наречиях и древностях// Записки императорской Академии наук. СПб., 1863. Т. 4, кн. 1. С. 11—12.

[67] *Бережков М. Н.* Старый Холопий городок на Мологе и его ярмарка// Труды седьмого Археологического съезда в Ярославле. М., 1890. Т.1. С. 41.

[68] *Латышев В. В.* Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. СПб., 1904. Т. 2. С. 58—59; возможно, что Геродот почерпнул этот рассказ из «репертуара новелл греческих поселенцев Северного Причерноморья» (*Доватур А.* Повествовательный и научный стиль Геродота. Л., 1957. С. 73).

из Каринтии.[69] Но, может быть, не потребуется добираться и до Юстина: та же самая история о рабах, но в приурочении к польской местности и обстановке, находится у польского хрониста Винцента Кадлубка,[70] которого хорошо знали и русские летописцы. Это как будто приводит к отрицательному результату все наши поиски. Тем не менее близость новгородского рассказа к Юстину (из которого черпал и Кадлубек) говорит сама за себя: теми или иными путями, но античное предание, в его новеллистической форме, сумело пустить свои корни в Новгороде, в местном обличии, и в XVII в. еще раз попасть в рукопись Тимофея Каменовича-Рвовского.[71] Правда, несмотря на свой сатирический оттенок, новгородский анекдот не имел еще никакого «гуманистического» колорита: острие его было направлено против холопов, а это указывает на социальную среду, где он первоначально прижился.

Однако и в городской среде в XVI—XVII вв. несомненно в ходу были рассказы античного и гуманистического происхождения. Характерно, однако, что они известны нам преимущественно в записях иностранцев: таковы, например, некоторые из анекдотических рассказов об Иване Грозном в записи С. Коллинза, ходившие по Москве в обрусевшей форме.[72] Таков, может быть, рассказ о «замерзших словах», слышанный нидерландцем И. Бохом в русском государстве в 1578 г.: в античной литературе он встречается у Плутарха и Антифана, но его разработал и Рабле в двух главах (LV и LVI) 4-й книги «Пантагрюэля», и еще ранее — Бальтассаре Кастильоне в своем «Придворном» (1528).[73]

Все приведенные выше примеры могли бы быть умножены много раз, но цель их, как уже говорилось, иная: они стремятся не исчерпать поставленный нами вопрос, но лишь иллюстрировать несколько положений, которые представляются, с нашей точки зрения, желательными для дальнейшей исследовательской разработки. Важнейшее из них заключается в том, что русская культура XV — XVII вв., в разнообразных ее проявлениях, была вовсе не так далека от гуманистической культуры эпохи Возрождения, как это обычно считается, и что мы имеем полное право говорить о явлениях гуманизма на русской почве в этот период.

---

[69] *Rüthe F.* Die Verbreitung des Justins im Mittelalter. Leipzig, 1871. S. 14—15.

[70] *Зенгер Г.* Заметки к средневековым латинским текстам//Журнал Министерства народного просвещения. 1905. № 5. С. 128.

[71] *Титов А.* Т. Каменович-Рвовский//Библиографические записки. 1892. № 3. С. 175.

[72] *Алексеев М. П.* К анекдотам об Иване Грозном у С. Коллинза//Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. Л., 1983. С. 43—48.

[73] *Schmid* G. Johannes Boch in Moskau im J. 1578//Russische Revue. 1887. Bd 27. S. 331—332; Записки Академии наук. Сер. 8. СПб., 1901. Т. 5, № 3. С. 2; *Ruge S.* Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte der Erdkunde. Dresden, 1888. S. 29; Mélanges F. Baldensperger. Paris, 1930. Vol. 1. P. 313—320.

К ИСТОЛКОВАНИЮ ПОЭМЫ РАДИЩЕВА «БОВА»

1

«Бова» Радищева, эта «богатырская повесть в стихах», как она обычно именуется в изданиях его сочинений, несмотря на ряд имеющихся в нашей литературе попыток дать ее научно-критическое истолкование, все еще принадлежит к числу его мало и плохо объясненных произведений. Усилия исследователей радищевской «повести» были до сих пор направлены главным образом на то, чтобы выяснить ее связь с мотивами распространенной у нас в XVIII в. повести-сказки о Бове-королевиче. Однако эта связь далеко не определяет замысел даже основного сюжетного развития поэмы Радищева, поэтому и весь сложный идейный строй поэмы, которому сказочно-повествовательные элементы служили, по-видимому, лишь простым прикрытием, и все ее густо зашифрованные автобиографические намеки и признания пока еще в значительной степени остались в тени и безусловно подлежат дальнейшему изучению. Немало загадочных мест содержит в себе даже самый текст поэмы, может быть, не везде исправный: для того, чтобы быть понятным вполне, он требует возможных поправок, особых пояснений.

Напомним прежде всего, что поэма Радищева дошла до нас только в отрывке, лишь в своей небольшой части. В первом томе его «Собрания сочинений» 1807 г., где она появилась впервые, напечатаны лишь «Вступление» и первая песнь «Бовы», относительно же остальных «известие» от редакторов этого издания сообщает: «Одиннадцать песней Бовы были уже написаны, двенадцатая и последняя начата; но по смерти сочинителя нашлася только первая песнь, изготовленная к тиснению». Заметим, что последние слова приведенной фразы не следует понимать в том смысле, что сохранившиеся фрагменты самим автором были предназначены или «обработаны» для опубликования. Речь идет, конечно, лишь о том, что редакторами издания эти фрагменты были приведены в годный для печати вид; как далеко простиралась редакторская работа по «изготовлению» данной рукописи к печати, этого мы не знаем. «Может быть, причтут нам в пристрастие, но, кажется, потеря забавной сей поэмы достойна сожаления», — добавляют лица, трудившиеся над выпуском ее в свет.

Издание «Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» (1807—1811), давшее первопечатный и единственный текст «Бовы», как известно, предпринято было сыновьями писателя не без содействия «радищевцев» из «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Это дает нам право отнестись с полным доверием к словам издателей о судьбе этого произведения Радищева. Один из этих редакторов, Николай Александрович Радищев (1779—1829), сам являлся автором сходного произведения, «Богатырских повестей в стихах» в двух частях («Альоша Поповичь» и «Чурила Пленковичь»), изданных в Москве в 1801 г., т. е. еще при жизни отца, который (как свидетельствует семейное предание) даже выбрал к этим «богатырским повестям» сына эпиграф — начальный стих «Энеиды» Вергилия.[1] Николай Радищев несомненно не только читал отцовского «Бову» в рукописи, но, создавая свои две поэмы, безусловно находился под влиянием произведения отца.[2] Поэтому указание «Собрания сочинений» 1807 г. на то, что в «Бове» Радищева должно было быть двенадцать песен, а написано было одиннадцать, не должно вызывать у нас сомнений. Знал рукописного «Бову» и другой сын писателя, Павел Александрович Радищев (1783—1869). В своей биографии отца, написанной, правда, в поздние годы, П. А. Радищев указывает на время создания «Бовы» — около 1799 г., а также сообщает, почему поэма дошла до нас в столь неполном виде: «В своем сельце Немцо́ве он [А. Н. Радищев] написал 11 песен из поэмы в белых стихах, взятой из народной сказки Бова Королевич»; однако напечатана лишь «первая песнь Бовы», ибо «прочие он сам истребил перед смертью».[3]

Вот, следовательно, основная причина того, что до нас дошел лишь отрывок из поэмы, а не вся она в целом. Сообщить об этом в 1807 г., при публикации фрагмента, издателям было, по-видимому, неудобно по разным тактическим основаниям, прежде всего потому, что факт уничтожения автором этого произведения набрасывал тень и на ценность той его песни, которая оказалась в их распоряжении; поэтому, может быть, скрывая этот факт от читателей и публикуя сохранившуюся часть рукописи, издатели подчеркнуто выразили свое сожаление об утрате всего остального. В свидетельстве П. А. Радищева, впрочем, остаются для нас некоторые

---

[1] *Радищев П. А.* Александр Николаевич Радищев//Русский вестник. 1858. Декабрь. Кн. 1. С. 432. Отметим, впрочем, что Николай Радищев в своей краткой биографии отца о «Бове» упоминает лишь попутно, говоря, что в ней «много веселости» (Русская старина. 1872. № 11. С. 581).

[2] Поэты-радищевцы. Л., 1935. С. 498. Стоит напомнить, что Пушкин, хорошо знавший «Бову» Радищева, приписал его же перу поэму об Алеше Поповиче Николая Радищева, найдя в обоих произведениях общие черты, и даже выразил удивление по поводу того, что последняя не включена в «Собрание сочинений» А. Н. Радищева. «Богатырские повести» Н. Радищева сложны по своему составу и, несмотря на свои заглавия, имеют в общем слабое отношение к русскому былевому эпосу. Интересно, что в «песнетворении» об Алеше Поповиче отразилось знакомство автора с польскими легендами о пане Твардовском.

[3] *Радищев П. А.* Александр Николаевич Радищев. С. 424.

неясности. Так, например, говоря о «Бове» дважды в своем очерке, он приводит различный счет количеству песен поэмы,[4] далее, как явствует из первоначального рукописного варианта указанной биографии, написанной П. А. Радищевым,[5] все сведения о «Бове» вставлены были им в очерк лишь в тот его текст, который напечатан в «Русском вестнике». Однако все это не колеблет нашей уверенности в том, что П. А. Радищев знал многое о гибели отцовской поэмы и что с сообщаемым им фактом необходимо считаться.

Если поэма Радищева должна была состоять из двенадцати песен, из коих одиннадцать уже были написаны полностью, а двенадцатая, хотя и начата, но не доведена им до конца, то несомненно, что Радищев уничтожил одно из самых больших своих произведений. Об объеме утраченного может дать понятие простое вычисление: в сохранившейся первой песне — 582 стиха, вместе с «Вступлением» — 785 стихов; следовательно, речь идет о гибели поэмы более чем в семь тысяч стихов! (Мы принимаем за вероятное, что и остальные десять несохранившихся, но уже написанных песен должны были содержать в себе приблизительно такое же число стихов, как и первая, т. е. около 600 стихов каждая).

Чем вызвано было уничтожение его отцом столь крупного по объему произведения, П. А. Радищев не сообщает. Нам остается лишь гадать о причинах этого поступка. Было ли это следствием разочарования автора в результатах его творческого труда, «помрачения духа», когда его «беспокойство и волнения» — по словам П. А. Радищева — «усиливались» и дело быстро шло к трагической развязке? Может быть, это было одним из результатов тех опасений, что «до него добираются», страхов, которые охватили его после недвусмысленного упрека, что «слишком восторженный образ мыслей уже раз навлек на него несчастие», — как рассказывает нам тот же П. А. Радищев на той же странице его биографии, где речь шла о «Бове».[6] Между прочим, П. А. Радищев нигде не говорит о том, что уничтожению вместе с «Бовой» подверглись другие сочинения Радищева, поэтические или прозаические, хотя мы могли бы предположить существование таковых. Не объясняет П. А. Радищев и другого, также очень неясного для нас обстоятельства, почему от гибели спаслись только вступление и первая песнь «Бовы». И в этом вопросе, к сожалению, возможны лишь догадки. Естественнее всего было бы предположить, что существовала не одна, а несколько рукописей «Бовы» и что, уничтожив полный текст всех одиннадцати песен поэмы, А. Н. Радищев упустил из виду другой вариант начала поэмы, который не попался ему под руку, случайно остался забытым; таким образом, у нас есть основания

---

[4] П. А. Радищев на с. 422 своего очерка рассказывает о том, что в сельце Немцове после возвращения из Сибири, в 1799 г., его отец «занимался экономиею, написал поэму „Бова“ в 16 песнях, взятую из старинной сказки»; едва ли, впрочем, мы имеем дело не с простой опиской или опечаткой.

[5] Напечатан в кн.: *Семенников В. П.* Радищев: Очерки и исследования. М.; Пг., 1923. С. 215 и след.

[6] *Радищев П. А.* Александр Николаевич Радищев. С. 422.

считать уцелевший отрывок начальным, черновым вариантом поэмы, текст которого не был отделан до конца.

Естественно, что и первые издатели «Бовы» должны были обойти молчанием все эти вопросы, тем не менее и они почувствовали что публикация сохранившегося фрагмента в «Собрании оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» нуждается не только в оправдании, но и в особом пояснении. В цитированном уже «известии» издания 1807 г. сказано по этому поводу следующее: «Мы читали все одиннадцать песней и скажем, что все были не хуже первой, а некоторые далёко ее превосходили. Чтоб дать читателям понятие о всей поэме, прилагаем план оной, хотя в первой песне и сделаны против него некоторые перемены». Этот «План богатырской повести Бовы» и сейчас воспроизводится во всех изданиях сочинений Радищева [7] и служит одним из важнейших источников для суждения о поэме в целом. Между тем, говоря по существу, из приведенных слов не обязательно следует, что этот план принадлежит перу самого Радищева: недаром же издатели ссылались на то, что они «читали все одиннадцать песней». Правда, из их же указания, что в первой песне «Бовы» «сделаны против него [плана] некоторые перемены», необходимо заключить, что Радищев писал его сам, так как при наличии «перемен» в тексте первой песни издателям не было бы никакой нужды отклоняться от них в своем изложении ее содержания. Именно это и позволяет нам думать, что издатели воспроизвели подлинную авторскую рукопись «плана», хотя это и не решает вопроса, насколько полно и точно она ими воспроизведена. Если «план», как мы предполагаем, принадлежит Радищеву, то его написание должно было предшествовать возникновению самой поэмы, в противном случае откуда получились бы констатированные издателями несовпадения его с текстом первой песни? Если оказалось бы, что он был составлен издателями специально для издания 1807 г. и в пояснение к опубликованному ими отрывку, то неизбежно было бы допустить, что они сделали это по воспоминаниям о том, как шло развитие поэмы во всех уничтоженных одиннадцати песнях, притом весьма приблизительно. Но и в том, и в другом случаях, очевидно, этот «план» не мог бы служить надежным источником для реконструкции утраченной поэмы. Мы предпочитаем считать его первоначальным наброском замысла поэмы, сделанным Радищевым «для памяти», для личных авторских целей, отклонения от которого были неизбежны и необходимы, или записью «дядькиной сказки», которая подлежала переработке. В подлинной рукописи он, однако, должен был иметь более черновой вид: очень возможно поэтому, что, готовя его для печати, издатели подвергли его некоей редакционной правке и что они, наконец, дали ему также собственное заглавие, в рукописи отсутствовавшее. Обратим в связи с этим внимание на то, что термин «богатырская повесть»

[7] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 22—27. В дальнейшем ссылки на тексты и комментарии этого издания, выходившего в 1938—1952 гг., даются в тексте с обозначением тома римской цифрой, страницы — арабской.

нигде А. Н. Радищевым в «Бове» не употребляется, но вполне совпадает с заглавием и жанровым определением, данным Николаем Радищевым его собственным поэмам об Алеше Поповиче и Чуриле Пленковиче.[8] Это незначительное, на первый взгляд, наблюдение также может иметь некоторое значение для определения особенностей поэмы Радищева.

Обратимся теперь к еще более убедительным сопоставлениям. Нельзя не заметить, что указанный «План богатырской повести Бовы» не совпадает полностью с той «экспозицией» поэмы, которую сам Радищев дает в сохранившемся стихотворном «Вступлении» к ней (стихи 120—200), начиная со слов

120 На Пегаса я воссевши,
Полечу в страны далеки,
В те я области обширны,
Что Понт черной облегают.

Что, собственно, задумывает Радищев? Описание странствований своего героя или воображаемое собственное путешествие по весьма обширным областям российского государства и прилегающим к нему странам? Вспомним, что по замыслу Радищева, изложенному им во «Вступлении», действие его поэмы должно было начаться на кавказском побережье Черного моря, «в Арменьи» (стихи 125—127), далее переброситься в Грузию (стихи 128—135), затем в Крым (стихи 136—147). Но какой странный зигзагообразный путь «езды на Пегасе» представляется Радищеву еще далее!

148 Из Тавриды в Таман прямо,
А с Тамана чрез Кавказски
Горы съеду я на Волгу,
Во Болгарах спою песню;
Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну...

Следовательно, с Таманского полуострова путь идет на северо-восток — к Каспийскому морю, на среднее течение Волги, в направлении Западной Сибири. Это еще лишь малая часть задуманного воображаемого путешествия «на Пегасе», но остановимся пока в этом его пункте. Что же дает нам «план»? Бова также непрерывно странствует (напомним, что только его авантюры и излагаются в «плане»), но — как это и полагается сказочному герою — местности, в которые он попадает, совершенно фантастические: первое указание в плане сделано на «остров похотливости», которому дол-

[8] Каждое из этих произведений Н. Радищева названо им «богатырским песнотворением», но на шмуцтитуле ко второй части оба они именуются «богатырскими повестями в стихах». А. Н. Радищев нигде, кажется, не говорит и о «богатырях»; в «Бове» (стихи 176—177) рассказано, что князь Владимир Киевский был окружен толпою «славных рыцарей российских» и что потомство знает об этом «из сказок»; в «Плане» же слово упомянуто дважды («...чтобы все рыцари, царевичи и сильны богатыри съезжались на турнир», «собираются многие царевичи и богатыри»).

жно было быть сделано «описание». Реальная географическая номенклатура в «плане», естественно, отсутствует, если не считать мимолетных и совершенно случайных ссылок на то, что Бова «проехал многие земли и царства, путь продолжая на восток», что он достиг «подошвы Тавра» и что, уже под самый конец своих приключений, он оказался «близь града Испагани». Мы не знаем, конечно, охватил ли «план» предполагаемое содержание всех одиннадцати песен поэмы (в чем позволительно выразить сомнение), ни того, как распределялись по песням отдельные авантюры Бовы, но все же совершенно несомненно, что «езда на Пегасе» автора и путь его героя шли в различных направлениях. Лишь с натяжкой можно допустить, что «тихое плавание» Бовы, описанное как в «плане», так и в сохранившейся первой песне, происходит на «Черном Понте», но уже совершенно немыслимо, что образ «Лукопера, сына хана Болгарского», соперника Бовы на турнире, мог дать повод Радищеву «спеть песню во Болгарах» и мысленно перенестись для этого на среднее течение Волги! Совершенно ясно, что мы имеем здесь два полностью противоречивших друг другу идейных замысла. Речь идет не только о «планах» повествования, несовпадениях «географических маршрутов», но о самом характере изложения: излагая свою «езду на Пегасе», Радищев забыл про Бову; он рассказывал о себе самом, он касается глубоко личных, горестных, интимных переживаний:

152 Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы
Был блажен, и где оставил
Души нежной половину.
Воздохну, что нет уж силы,
О Ермак, душа велика,
Петь дела твои!

Это — строки из лирического дневника, и остается загадкой, могли ли они быть вплетены в ткань рыцарской или даже «богатырской», притом сугубо эротической поэмы, какой представляет ее нам указанный «план». Но воображаемый путь Радищева «на Пегасе» после этого краткого лирического «интермеццо» продолжается, только резко повернув в другую сторону, на юго-запад — к Дону, Днепру, Дунаю:

162 ...я с Волги
Перейду на Дон...
. . . .
169 Сошед с Дона, к Ворисфену
Мы стопы свои направим.
. . . .
181 Со Днепра пойдем к Дунаю;
На могиле древней мшистой
Мы несчастного Назона
Слезу жаркую изроним.

И снова резкий поворот на юг, к Константинополю и Средиземному морю:

185 От Дуная морем Черным
Поплывем ко Геллеспонту
И покажем ту дорогу,
По которой плывши смело
Войны росские возмогут,
Византии стен достигши,
На них твердо водрузити
Орлом славно росско знамя.

Заключается же все это «Вступление» к поэме, как известно, следующей интригующей концовкой:

199 Я к Бове теперь отправлюсь,
А ты, милой друг читатель,
Если лучшее познанье
О странах сих иметь хочешь,
Читай Бишинга — от скуки.

Все — от первой до последней строки — подлежит объяснению в этом «воображаемом путешествии», в этом загадочном «итинерарии», который сам Радищев предлагает своему читателю, как тот мысленный путь, по которому придется за ним следовать. Это не только «приступ» к поэме, а нечто большее, своего рода проекция будущих песен, и это во всяком случае не остаток первоначального замысла, впоследствии резко изменившегося. Это, как мы думаем, основная канва поэмы, по отношению к которой второй план повествования, связанный с приключениями «Бовы», если он был осуществлен вполне, являлся лишь прикрытием, маскировкой, отдохновением от более философско-содержательных частей в тех же песнях поэмы.

2

Присмотримся ближе к указанным строкам «Вступления». Трудно было бы думать, что весь зигзагообразный, но точно очерченный Радищевым путь его воображаемой «поездки на Пегасе» набросан им в этих стихах случайно, по прихоти воображения, что он не имеет серьезного идейного обоснования. Радищев, бывший в своей жизни путешественником и по доброй охоте, и по принуждению, более чем кто-либо другой, знал цену путешествиям и того и другого рода и отчетливо представлял себе их значение в жизни всякого человека.

«С малолетства во мне жила страсть к дальним путешествиям», — писал он однажды А. Р. Воронцову из Илимска (июнь 1794 г.) и прибавлял с горечью: «Желание мое исполнилось, хотя и весьма жестоким путем» (III, 462). «Все, что в путешествии есть полезного, бывает не потеряно, — писал Радищев другой раз в своем «Письме о китайском торге» (1792), — ...и если, скитаяся по свету, изучаемся нередко худому, изучаемся однако же и доб-

рому» (II, 33, 34). Кто знал это лучше автора «Путешествия из Петербурга в Москву» — произведения, определившего его путь как писателя и его личную судьбу? В особенности ясно представлял себе все это Радищев, уже совершив гигантский возвратный путь из Сибири в калужскую деревеньку, в сельцо Немцово, где в часы невольного досуга он набрасывал на бумагу строфы «Вступления» к своему «Бове». Говоря об этой поэме, мы вообще не должны забывать, что она создавалась после того, как ее автор изъездил около двадцати тысяч верст на перекладных, да и сам Радищев дважды приглашает своего читателя не забывать о том, что автор побывал в Сибири и вернулся оттуда (см. стихи 37—40, 155—159). Подобные путешествия обычно меняют отношение человека к географической карте. Иными словами, мы не можем допустить, что в «поездке на Пегасе», как она изложена во «Вступлении» к «Бове», есть недостаточно мотивированные блуждания и что вся прихотливость ее маршрута не обусловлена в достаточно сильной степени ее основным идейным замыслом и вместе с тем артистическими расчетами художника. В том же «Письме о китайском торге» Радищев написал: «В отношении торга все равно, что справа едут налево, что слева направо, но не все равно в рассуждении образования и научения» (II, 33). Так и здесь: направление воображаемого пути и его извивы имеют прямое отношение к замыслу Радищева в целом, который требуется разгадать.

«Поездка на Пегасе» в «Бове» представляет собою не только географический маршрут: имена городов, рек или областей сопровождают в поэме исторические припоминания, небольшие экскурсы в область древней и новой истории, имена исторических деятелей разных времен. Все эти сжатые «исторические эпизоды» поэмы, если их можно так назвать, вводят свой материал в текст не по единому плану, весьма разнообразно, по-видимому с различной мотивировкой, но всякий раз они неизменно фиксируют как бы круг тех исторических представлений, которые надлежит вспомнить в соответствующих местах повествования. Характерно при этом, что хронология непрерывно смещается, всякое историческое имя вызывает свой круг представлений исторического или мифологического содержания. Начало поэмы должно было развернуться там,

125 Где стояло сильно царство
Славна древле Мифридата,
Где Тигран царил в Арменьи...

Затем поэт должен был заглянуть

128 ...во Колхиду,
Землю страшну и волшебну,
Где Ясон, обняв Медею,
Укротил сурово сердце
Сей волшебницы ужасной.

Таврида вызывает в памяти поэта целую серию исторических событий. Радищев набрасывает в этом месте, вкратце, но в наиболее существенных чертах, всю многовековую историю Крымского

полуострова от скифской поры до своего времени включительно, так как в относящихся сюда стихах он имеет в виду не только присоединение Тавриды к России, но даже бегство в Турцию последнего из крымских ханов Шагин-Гирея (1787), ставленника русского правительства:

136 Посещу я и Тавриду,
Где столь много всегда было
Превращений, оборотов,
Где кувыркались чредою
Скифы, греки, генуэзцы,
Где последней из Гиреев
Проплясал неловкой танец...

Естественно, что в подобных исторических пробегах современность не исключалась из сферы внимания Радищева, но, наоборот, должна была, по-видимому, иметь определяющее значение для всего идейного замысла его поэмы. И русская старина, и всемирная история (например, в изложении «Песни исторической») никогда не отделяли Радищева от современности, но либо служили ему отправными точками для ее лучшего понимания, либо маскировали повествование о ней. Поэтому и в интересующем нас вступлении такие сочетания, как «древле — ныне» (стихи 164—165), должны были играть весьма важную конструктивную роль. Укажем, например, на, казалось бы, парадоксальный переход от «могилы Овидия» к будущему «завоеванию» «российскими воинами» Царьграда.

Таким образом, «Вступление» к «Бове» открывает читателю столь же широкие географические горизонты, сколь и углубленные исторические перспективы. Вся поэма, насколько об этом можно судить по ее экспозиции в анализируемом «Вступлении», отнюдь не должна была являть собою прихотливую череду не связанных никакой общей мыслью эпизодов, лирических отступлений, случайных припоминаний всякого рода; напротив, в ней должна была быть своя логическая последовательность, свое обусловленное идейное развитие. При всем схематизме и краткости изложения своего замысла Радищев во «Вступлении» коснулся весьма обширного круга проблем; мы невольно чувствуем, что это его произведение должно было содержать в себе весьма важные признания, размышления, историко-философские обобщения, что он, наконец, несомненно касался в нем таких предметов, которые неоднократно и раньше привлекали к себе его внимание, хотя и в другой связи и по иным поводам.

К ряду слегка очерченных или намеченных во «Вступлении» мыслей можно, по-видимому, подобрать ряд параллельных мест в других сочинениях Радищева: он пользуется иногда теми же примерами, воспроизводит те же исторические факты, высказывает близкие суждения. Так, о Митридате, в «сильном царстве» которого должно было начаться повествование «Бовы», довольно подробно говорится также в «Песне исторической» 1801—1802 гг. (стихи 890—891), где он служит примером «зыбкости счастья» и обреченности властолюбивых стремлений. Упоминание в «Бове» Язона и

Медеи находит себе близкую даже в текстуальном отношении аналогию в той же «Песне исторической» (стихи 141—145) — в произведении, как нам думается, родственном по замыслу с «Бовой», равно как и рассказ о «чудесном подвиге» Алкида, т. е. Геракла («Бова», стихи 239—245 и «Песнь историческая», стихи 220—227). Причины смерти Рафаэля изложены в «Бове» (стихи 257—259) в полном соответствии с тем, как об этом же рассказывается в первой книге трактата Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии», да и вообще (как это еще придется отмечать нам ниже) в этом замечательном философском произведении Радищева можно найти ряд интересных идейных параллелей к отдельным местам «Бовы». Очевидно, Радищев вводил в свою поэму не только тот фактический материал из истории, географии и других областей знания, который прочно удерживался в его памяти и поэтому мог встречаться в его писаниях на протяжении ряда лет. Радищев облекал в метрическую форму ряд таких своих мыслей, которые уже отстоялись в его сознании, были хорошо им обдуманы, уже получили письменное выражение. Отсюда и возникает некоторая возможность, рассматривая «Бову» в ряду других произведений Радищева, глубже вникнуть в содержание ее замысла.

Трудно, конечно, догадаться о том, что задумывал Радищев, когда он предупреждал своего читателя: «Во Болгарах спою песню» (стих 151), но для нас все же существенно отметить, что о древнем государстве волжских булгар он не только читал в исторических сочинениях, но собирал даже и устные данные: на обратном пути из Сибири, плывя по Каме, он вышел на берег против г. Елабуги, чтобы осмотреть «Чортово городище» и его булгарские развалины с неким тамошним «молодым чичероне», очевидно, любителем древностей и преданий; одна из местных легенд даже записана от него Радищевым.[9] Таким образом, хотя у нас и нет ключа к этой «песне» «Бовы», но мы ясно представляем себе, что историческая судьба волжских булгар живо интересовала Радищева, входя как часть в общую сумму его исторических интересов.

Гораздо более определенные ассоциации вызывает у нас упоминание в «Бове» Ермака и его дружины (стихи 152—155). Желая представить себе, о чем здесь могла идти речь, мы должны иметь в виду радищевское «Сокращенное повествование о приобретении Сибири», с его замечательным во многих отношениях рассказом о Ермаке и его товарищах, «Записки путешествия в Сибирь», где чувствуется тот же напряженный интерес Радищева к знаменитому атаману (напомним хотя бы краткую, но выразительную запись Радищева, сделанную при проезде через г. Кунгур, где «в сарае» он видел «пушечки Ермаковы и ружья весом в пуд или 1 1/2 по

---

[9] *Луппов П. Н.* А. Н. Радищев о Вятском крае//Труды Вятского научно-исследовательского ин-та краеведения. Вятка, 1928. С. 108—109.

крайней мере...»), наконец, и замыслы поэмы «Ермак», от которой сохранились лишь отрывки и которая, очевидно, была лишь едва начата Радищевым. О последнем мы догадываемся именно из стихов 160—163 «Бовы»:

Воздохну, что нет уж силы,
О Ермак, душа велика,
Петь дела твои!

Не предполагал ли Радищев в указанном месте «Бовы» воспользоваться кое-какими материалами, собранными им для этой неосуществленной поэмы о Ермаке? Во всяком случае, представление об этом герое у Радищева оказалось устойчивым: характеризуя Ермака еще в «Сокращенном повествовании...», Радищев подчеркивает именно «величие его духа:» «...ибо, если нужно всегда утвержденное и наследованное мнение, чтобы владычествовать над множеством, то нужно величие духа, или же изящность почитаемого какого-либо качества, чтобы уметь повелевать своею собратиею. Ермак имел первое и многие из тех свойств, которые нужны воинскому вождю, а паче вождю непорабощенных воинов» (II, 152). Представляется вполне закономерным в задуманной поэме дальнейший переход от подобного круга мыслей прямо к донским казакам, к тем «непорабощенным воинам», из среды которых вышел Ермак:

163 ...Я с Волги
Перейду на Дон, где древле
(Так, как ныне) коней быстрых
Табуны паслися многи,
Где отечество удалых
Молодцов, что мы издавна
Называли козаками.

Не забудем, что интерес Радищева к казакам на Дону, Волге и Урале, был связан не только с Ермаком, но и Разиным и с Пугачевым. Истории донского казачества, его воинской организации, походам и переселениям Радищев посвятил интересные страницы в том же своем «Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» (II, 152).

Следующий эпизод о Киевском государстве кн. Владимира ведет нас к двум источникам, указанным самим Радищевым в стихе 179 (Летопись и «сказки»), интерес к которым засвидетельствован им неоднократно. Характерно, что и здесь на первом месте упомянуты бранные подвиги великого князя киевского, заботившегося о приращении своей державы:

171 Там Владимир, страны многи
Покорив своей державе,
В граде Киеве престольном
Княжил в блеске пышна сана

Над обширным царством Русским,
Окружен всегда толпою
Славных рыцарей Российских...[10]

Радищев и на этот раз не скрывает своего личного отношения к этому историческому деятелю древней Руси, восклицая:

О блажен, блажен сугубо!

Особого внимания заслуживают дальнейшие стихи — несколько неожиданный в контексте «вздох» над могилой «несчастного Назона». Случайное ли это припоминание или и оно должно было находиться в тесной идейной связи со всеми предшествующими эпизодами? Комментарий к академическому изданию обходит молчанием вопрос о том, откуда Радищев знал о могиле опального римского поэта и почему он поместил ее на берегу Дуная. Между тем для раскрытия всего хода мыслей «Вступления» этот вопрос представляется довольно существенным, почему мы и позволим себе несколько задержаться на нем.

Овидий интересовал русских читателей XVIII в., о чем свидетельствует ряд вышедших в это время переводов, среди них и отдельно изданный перевод «Тристий» И. Е. Срезневского под заглавием «Плач Овидия Назона» (М., 1795).[11] Между 1795 и 1798 гг. в Петербурге распространялись рассказы о новонайденной могиле Овидия — на берегу Днестровского лимана,[12] но Радищев, живя в Немцове, едва ли знал об этом в тот момент, когда он писал «Вступление» к своему «Бове». Вероятнее знакомство Радищева с известием о могиле Овидия, исходившим от Иоганна-Бенедикта

---

[10] Интересно сопоставить эту характеристику Владимира с той, которую дает ему Николай Радищев в своем «Чуриле Пленковиче». Владимир, «мудрый князь, России просветитель»

На лаврах отдыхал,
Что мощною рукою
В дни чуждые покою
Сбирал во всех странах,
У Понта на брегах,
Во Севере на льдах,
В Таврических горах,
В кочующих ордах
Народов Волгских и Закамских.
. . . .
Победами венчан, премудрый сей герой
С вельможами вкушал веселье и покой.

[11] Ср.: *Черняев П. Н.* Следы знакомства русского общества с древнеклассической литературой в век Екатерины II. Воронеж, 1906; *Неустроев А. Н.* Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. СПб., 1898. С. 447—449 (Овидий).

[12] Известие исходило от русского военного инженера Ф. П. Деволана, который, возводя укрепления на левом берегу Днестра, обнаружил древнюю могилу римских времен, принятую им за могилу Овидия. В 1795 г. петербургский доктор — англичанин Мэтью Гётри (Guthrie), получив известие об этом открытии от самого Деволана, послал обстоятельный доклад о находке лондонскому обществу антиквариев, читанный там 20 ноября того же года. Гётри несколько лет занят был изучением этого вопроса и свои дополнительные разыскания послал тому же обществу из Петербурга 20 и 25 августа 1798 г. Все эти материалы с относящимися сюда рисунками и перепиской хранятся в архиве М. Гётри, находящемся в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде; частично сам Гётри изложил их в своей позднейшей книге «Поездка по Тавриде» (1802).

Шерера (1741—1824), бывшего некогда членом петербургской юстиц-коллегии, потом французским дипломатом, а в интересующее нас время профессором университета в Тюбингене. Но Шерер также помещает эту могилу не на Дунае, а в шести днях пути от Борисфена (Днепра), среди равнины, где, по его словам, можно доныне видеть древний камень с надписью, которую он и приводит.[13] Для нас значительно интереснее тот факт, что на тему о могиле Овидия есть и большое русское стихотворение, написанное в конце XVIII в. Оно принадлежит С. Боброву, поэту, которого Радищев и лично знал в Петербурге до ссылки по «Обществу друзей словесных наук», членом которого он был, и по журналу «Беседующий гражданин», где они вместе сотрудничали.[14] Известно, что Радищев ценил произведения Боброва и что его поэму «Таврида» (1798) он прочел незадолго до того, как взялся за своего «Бову».

Стихотворение С. Боброва озаглавлено: «Баллада. Могила Овидия, славного любимца муз». Оно открывается картиной многоводного устья Дуная, волны которого впадают в Черное море и —

Простерши полосы там неки,
Бегут к Стамбулу будто реки.

Упоминание о Стамбуле у Боброва не случайно: он помещает могилу римского поэта у стен Темешвара, где в 1669 г. австрийцы были разбиты турками. «Весьма достоверно, что Овидий погребен в сей стороне, — замечает Бобров в примечании к своему стихотворению, — ибо Темесвар есть тот самый Томитанский город, о коем он так часто упоминает в элегиях своих». Поэтому поэт («Росс... воин соплеменный») и оплакивает Назонов прах, «срацинской кровью омовенный»:

Нет, — тень любезна, тень нещастна!
Не возмущу твоих костей. —
Моя камена тихо-гласна; —
Пусть по тоске и мраке дней
Они с покоем сладким, чистым
Почиют под холмом дернистым.[15]

---

[13] *Scherer J. B.* Annales de la petite Russie ou l'histoire des cosaques saporogues. Strasbourg, 1788. T. 1. S. 9. Приводимая Шерером эпитафия на этой могиле была обнаружена еще в 1508 г. в Штайне в Австрии и оказалась подделкой (см.: *Christophe Mathieu.* Dictionnaire pour servir à l'intelligence des auteurs classiques grecs et latins. Paris, An. 13 (1805). T. 2. P. 152. Радищев несомненно был знаком с «Критической историей российской коммерции» Шерера (1788) и с другими его сочинениями.

[14] *Семенников В. П.* Литературно-общественный круг Радищева//А. Н. Радищев: Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 240.

[15] Стихотворение Боброва написано около 1798 г., в бытность поэта в г. Николаеве; мы цитируем его по книге Боброва «Рассвет полночи» (СПб., 1804. С. 127—137). Иван Срезневский в посвящении упомянутого выше перевода «Тристий» И. Хераскову также помещает могилу Овидия на Дунае:

...тень его с Дуная
От стран несносных отлетая
Направила сюда полет.

См.: Плачь Публия Овидия Назона. М., 1795. С. 6.

«Баллада» Боброва представляет собой интересную аналогию к стихам Радищева не только потому, что в обоих случаях предполагаемая могила Овидия помещена на Дунае, а не в другом месте. Еще существеннее то, что, подобно Боброву, мысль которого от Овидия непосредственно обращается к Турции и к ее кровавым столкновениям с христианским миром, Радищев также устремляет свои взоры к стенам византийского Царьграда. У Радищева:

182 На могиле древней мшистой
Мы несчастного Назона
Слезу жаркую изроним.
От Дуная морем Черным
Поплывем ко Геллеспонту
И покажем ту дорогу,
По которой плывши смело
Войны росские возмогут,
Византии стен достигши,
На них твердо водрузити
Орлом славным росско знамя.
Но то скоро ли свершится? —
Будто время уж настало,
Мне то снилося недавно —
Хотя снилось, но не знаю,
Когда будет; — не пророк я,
Но то знаю — оно будет.

Эти стихи имеют весьма любопытную параллель в письме Радищева к А. Р. Воронцову от 4 апреля 1792 г. «Мир с турками, — писал здесь Радищев, — является событием, которое всем должно принести радость, а крестьянам особенно. Последние имеют к тому особые причины, ибо видят лишь одни худые следствия войны. Границы империи еще отодвинулись. Карфаген разрушен был в третью Пуническую войну; у нас же было две войны с турками, в третью, которая начнется не сегодня-завтра, русских увидят под стенами Константинополя; и, может быть, через 1000 лет (если считать со времени первой осады русскими этого города) столице Восточной империи суждено подпасть под владычество потомков славян». И Радищев прибавляет: «*Не берусь, впрочем, быть пророком*, но это французский посол в Константинополе, тот самый, что развязал войну, окончившуюся Кайнарджийским миром, предсказал и падение полумесяца» (III, 440. Курсив мой. — *М. А.*).[16]

Текстуальная близость некоторых выражений этого письма Радищева к приведенным выше стихам из «Бовы» неопровержимо свидетельствует, что Радищев, дописывая стихотворное вступление к своей поэме, вспомнил если не об этих своих словах к Воронцову, то, во всяком случае, обо всем комплексе содержавшихся в них мыслей. Ему пришли на память и первая русско-турецкая война, за всеми событиями которой он следил с вниманием со

[16] Полагаем, что Радищев несомненно имеет в виду знаменитый разговор, происшедший в апреле 1772 г. между русским послом в Париже Хотинским и французским министром иностранных дел (а не «послом») герцогом д'Эгильоном, объяснившим, почему Франция будет бороться против России на Востоке: «Европейское равновесие легко могло бы быть нарушено, если бы вам [русским] удалось предписать туркам мир на следующих трех условиях: свободное плаванье по Черному морю, порт на Черном море и независимость татар. Обеспечив за собой такие преимущества, вы скоро очутитесь в Константинополе, и кто мог бы вас оттуда удалить?» (*Тарле Е. В.* Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. М.; Л., 1945. С. 12).

времени своих студенческих лет (I, 176),[17] и слова герцога д'Эгильона, и победоносный для России Кучук-Кайнарджийский мир 1774 г., приобщивший к ее владениям Керчь, Азов и Кинбурн, и вторую русско-турецкую войну, и Ясский мирный трактат 29 декабря 1791 г. (о котором он узнал уже в изгнании, в Илимске), отдававший России Крым и все черноморское побережье от Северного Кавказа до Бессарабии.

Не от этих ли слов письма к А. Р. Воронцову, словно переложенных в стихи через несколько лет в «Бове», не от невольного ли «прорицания», вырвавшегося у Радищева по поводу вспомнившихся ему опасений французского дипломата, и следует начинать распутывать клубок идей, легших в основу замысла уничтоженной поэмы? Не бросает ли приведенное сопоставление неожиданный свет также и на казавшийся нам загадочным маршрут «поездки на Пегасе»?

Нам представляется возможным установить ход мыслей Радищева приблизительно в следующем виде. Он вернулся из Сибири и живет в сельце Немцове в ожидании поприща; вынужденное бездействие усиливает его литературно-творческие силы. Радищев рисует себе возможные перспективы дальнейшего служения любезному его сердцу отечеству. Он хочет представить себе это отечество во всей широте его нынешних государственных границ; его мысль невольно обращается не только к тем далеким краям, из которых он только что возвратился и с историей приобщения которых к российскому государству он ознакомился на месте; теперь мысль его влечет в те края, которые стали российскими владениями лишь в недавнее время, прежде всего на Черноморское побережье — от Кавказа и до Днестра, в те «области обширны, что Понт Черной облегают». Он как бы заново изучает карту российского государства и припоминает основные этапы в истории ее отдельных областей. Так представляется нам ход мыслей Радищева в период создания «Бовы». При таком понимании замысла поэмы нас перестанет удивлять маршрут «поездки на Пегасе» и для нас станут объяснимыми детали ее построения. «Бова» Радищева это прежде всего «поэма-путешествие», философская поэма о современной ему России, о том, как создавалась российская держава.

Прежде чем мы пойдем дальше по тому же пути гипотетического раскрытия замысла уничтоженной поэмы, остановимся вкратце на концовке «Вступления», которая, с нашей точки зрения, может лишь подтвердить правильность сделанных выше наблюдений.

189 Я к Бове теперь отправлюсь.
А ты, милой друг читатель,
Если лучшее познанье
О странах сих иметь хочешь,
Читай Бишинга — от скуки.

---

[17] Напомним, что самой ранней из дошедших до нас литературных работ Радищева является его перевод итальянской брошюры «Желания греков» (1771), автором которой был албанский князь Антон Гика, служивший во время русско-турецкой войны в штабе гр. Г. А. Орлова (там же. Т. 2. С. 404—407).

Это — заключительные слова «Вступления», и в них вложен особый смысл, истолковывающий и как бы завершающий сказанное ранее. В комментарии к академическому изданию разъясняется, что Радищев будто бы указывал здесь на один из двух многотомных трудов Антона-Фридриха Бюшинга, изданных на немецком языке: «Землеописание или Всеобщая география» (Erdebeschreibung oder Universal-Geographie, 1754—1792), в 11 томах, или 25-томный «Магазин новой истории и географии» (Magazin für die Neue Historie und Geographie, 1767—1793), и добавляется: «...скорее второй, чем первый, так как он содержит чрезвычайно разнообразный и богатый материал для чтения от скуки» (I, 452). С таким предположением согласиться невозможно. Едва ли Радищев мог серьезно рекомендовать своему читателю для чтения «от нечего делать» большой двадцатитомный сборник исторических материалов о географических открытиях, к тому же еще изданный на *немецком языке!* Этот труд Бюшинга отнюдь не был предназначен для любителей легкого занимательного чтения; подобной цели более удовлетворяли другие книги, имевшиеся тогда и на русском языке, вроде «Всемирного путешествователя» аббата де-ла Порта (СПб., 1779—1794, 27 частей). Бюшинг же создал свой «Магазин» с помощью архивных документов и ученых к ним пояснений, не всегда доступных среднему читателю, но имевших значительную научную ценность, которую они сохраняют и в настоящее время.[18] Надо полагать, что Радищев имел в виду более популярную книгу, чем «Магазин», притом имевшуюся на *русском языке:* об этом, в частности, может свидетельствовать и написание в цитированных стихах имени Бишинг (вместо Бюшинг), принятое в русских изданиях XVIII в.

Русскому читателю того времени не нужно было объяснять, кто такой Бишинг; он хорошо знал его «Землеописание», выходившее на русском языке отдельными книжками более десяти лет подряд (1766—1778), иногда по нескольку книг в год, благодаря трудам различных переводчиков. В 1766 г. появилась книга «О Европе и о Российской Империи», долго сохранявшая свое значение (она была еще в библиотеке Пушкина и он ссылался на нее в «Истории Пугачева»), а между 1770 и 1778 гг. появилось в той же серии и множество других описаний различных стран, начиная с «Описания Османского государства в Европе и республики Рагузской». Все эти переводы изданы в Петербурге и составляют одно целое издание.[19] «Землеописание» Бишинга в течение долгого времени сохраняло у нас значение и как учебник географии, и как универсальный геог-

---

[18] *Брикнер А.* Антон-Фридрих Бюшинг//Исторический вестник. 1886. № 7. С. 24. Отметим, что, живя некоторое время в России, Бюшинг сумел широко воспользоваться для своего «Магазина» материалами историко-географического характера из русских архивов и различных сочинений, относящихся к России.

[19] *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии. 2-е изд./Ред. В. Н. Рогожина. СПб., 1904. Ч. 2. № 2235—2244; *Весин Л.* Исторический обзор учебников общей и русской географии, изданных со времени Петра Великого по 1876 г. СПб., 1876. С. 34—35, 37—39; Сводный каталог русской книги XVIII века. М., 1962. Т. 1. С. 138—139.

рафический справочник, на фактической основе которого составлялись и другие учебные пособия.[20] Мы думаем, что именно этот труд (и, в частности, входящее в него описание Российского государства, изданное отдельной книгой, в исправном переводе, под редакцией и с «предуведомлением» Г. Ф. Миллера[21]) Радищев и имел в виду, отсылая к «Бишингу» своего читателя. Вполне вероятно, впрочем, что эта ссылка имела и еще более общий характер, так как имя Бишинга употреблялось в XVIII в. почти как имя нарицательное, синонимическое слову «географ» вообще. Таким образом, обращение к «другу читателю» могло иметь у Радищева приблизительно такой смысл: для того чтобы как следует понимать меня, запасись-ка элементарными сведениями о «сих странах» из какого-нибудь популярного учебника географии!

В конце первой песни «Бовы» Радищев также говорит:

742 ...Кто не знает,
Не читал кто во исторьи
Древней, повести народов,
Тому слог наш непонятен.

Радищев, естественно, подразумевал при этом, что освещение, которое он дает в своей поэме некоей сумме фактов из истории и географии, не совпадает с общепринятым.

Стих «Читай Бишинга — от скуки» не нужно понимать буквально. Свое воображаемое путешествие по различным областям Российского государства Радищев совершил не «от скуки»: в таком грехе человека, не знающего, как занять свое время, он, вероятно, скорее мог бы упрекнуть своего читателя... Напомним, однако, другие стихи Радищева из того же «Вступления» к «Бове»:

68 Обольщен я, но желаю
Обольщен быть... и *от скуки*
Я потешуся с Бовою.

---

[20] См.: *Весин Л.* Исторический обзор учебников общей и русской географии. С. 37—39; *Зябловский Е. Ф.* Курс всеобщей географии. СПб., 1818. Ч. 1. С. 11 (см., например, его высказывание: «Бишинг между известными географами всегда останется отличным»).

[21] Д. Антона Фредерика Бишинга из сокращенной его географии три главы о географии вообще, о Европе и о Российской империи, переведенные с немецкого на российский язык Иваном Долинским. М., 1766. О переводе Г. Ф. М. [Миллер] в «Предуведомлении» говорит: «...сие учинено с надлежащим прилежанием, и ничего не оставлено, что к удовольствию российского читателя служить может». Бóльшая часть книги посвящена российским губерниям, причем Бишинг, согласно своему пониманию географии («...география есть основательное уведомление о естественном и гражданском состоянии земного шара, нами обитаемого», с. 1), рассматривает их всесторонне: даны исторические справки, подробно перечислены города, крепости, остроги, реки, описаны занятия населения и т. д. На с. 78 и след. — особый раздел: «В XVIII веке завоеванные земли», но здесь, естественно, нет ни Тавриды, ни Причерноморья. Они есть, однако, в немецком подлиннике, где рассмотрены и «российская империя, Пруссия, Польша, Венгрия», и «европейская Турция с принадлежащими к ним странами» (Büsching's. Neue Erdebeschreibung. Des Ersten Theiles zweiter Band).

И в данном случае слово «скука» не является синонимом праздности, а скрывает в себе другой, иронический смысл. Радищев, с нашей точки зрения, словно хочет сказать: я потешусь с Бовой потому, что все остальное в моей поэме должно быть спрятано поглубже, для наиболее догадливых читателей, а недогадливые пусть думают, что в моей поэме идет речь о легкомысленных похождениях сказочного героя.

Для того чтобы убедиться в том, что здесь, т. е. в начале «Вступления», почти каждое слово зашифровано Радищевым, имеет особый, тайный смысл, полно каких-то содержательных, но действительно трудно разгадываемых, непонятных намеков, нужно лишь внимательно перечесть первые семьдесят стихов поэмы. Возможно, что в этих загадочных стихах и находится ключ к поэме в целом, ко всему ее замыслу, ко всему ее идейному богатству, в том числе и к «поездке на Пегасе» и к ее соотношениям с приключениями Бовы. Этот «ключ» запрятан глубоко. Нельзя ли, однако, попытаться найти к нему дорогу с помощью тех, уже полученных нами выводов, которые, думается, отчасти приоткрыли нам смысл «поездки на Пегасе»?

Основное впечатление, получаемое от первых семидесяти стихов вступления, сводится к тому, что Радищев хочет обосновать перед читателем два независимых друг от друга и друг с другом не совпадающих плана своего повествования. Один план — это приключения Бовы, «сказка древних лет», которую он слышал от своего дядьки и которую он пересказывает «от скуки» для недогадливых; но это *второй* план, прикрывает собою другой, более серьезный замысел. Когда о нем заходит речь, то Радищев сразу же становится непонятным и предоставляет каждому истолковывать по-своему то, о чем он говорит. Таинственность речи тут же оправдана указанием на сибирскую ссылку автора, коему не надлежит говорить то, что он думает, ибо в его положении — человека, вернувшегося из изгнания, — следует говорить лишь то, что «льстить лишь будет слуху», но не больше. Стремление не сказать лишнего, не раскрыть читателю до конца свою заветную мысль настолько владеет Радищевым, что он не избегает в этом месте даже легких синтаксических неправильностей. Вчитаемся, например, в эти строки:

33 ...Да еще же
Я намерен рассказать вам,
Как то свойственно и нужно,
Чуть не вымолвил я — должно
Для того, кто в гости ездил
Во страны пустынны, дальны,
Во леса дремучи, темны,
Во ущелья — ко медведям.

Они полны убийственной иронии. Рассказ,— предупреждает Радищев, — будет вестись им так, как его полагается вести писателю, испытавшему ссылку; он чуть не сказал «как его *должно* вести», ибо это означало бы признание им основательности существующих

на этот счет официальных требований, а он хочет чувствовать себя независимым. Между понятиями «должно», «нужно» и «свойственно», с его точки зрения, — целая пропасть.

41 И как только расскажу вам
То, что льстить лишь будет слуху,
Что гораздо слаще меда
Для тщеславья и гордыни;
А все то, что чуть не гладко,
То скорее мы поставим
В кладовую или в погреб.
И проклятие положим,
Если дерзкой кто рукою
Сняв покров прельщенья наша,
Обнажит протекше время.

О чем здесь идет речь? Едва ли не о том, что поэт проклянет всякого, кто неосторожно вскроет истинный смысл повествования, «все то, что чуть не гладко», все то, что поэт старается скрыть от нескромных взоров, упрятать «в кладовую или погреб»; все то, наконец, что объявит его истинный писательский облик, облик прежних лет,— до разразившейся над ним катастрофы. Ничто не мешает нам принять уже однажды высказанную догадку, что речь здесь идет об его знаменитой книге, за которую он поплатился ссылкой в Сибирь, — о «Путешествии из Петербурга в Москву».[22] Иными словами: Радищев говорит, что он наложит проклятие на всякого «дерзкого» читателя, который под покровом «прельщения» (т. е. по предлагаемому нами толкованию) под внешне занимательной повестью о приключениях «Бовы» обнаружит «подземный», скрытый от глаз мир идей, одушевлявший его и сейчас, но подавленный, запрещенный. Писателю громко можно говорить лишь то, что «льстить лишь будет слуху», т. е. именно эти приключения, на все же остальное он сам налагает «запрет». Эта же мысль и то же проклятие повторены и в дальнейших стихах, заключающих в себе, однако, чрезвычайно тонкий логический ход:

52 Мы проклятье налагаем,
Хоть из моды оно вышло,
Но мы в силах наших скудны;
А когда б властитель мира
Я Тиверий был иль Клавдий,
Тогда б всякой дерзновенной,
Кто подумать смел, что дважды
Два четыре, иль пять пальцев
Ему в кажду дал бог руку,
Тот бы пал под гневом нашим.

Чтобы понять вполне, какой смысл придан несколько неожиданно возникшему здесь образу Тиверия, нужно вспомнить, что Радищев говорит об этом «мрачном тиране», «тиране согбенна Рима» в своей «Песне исторической» (стихи 1214—1266). Они могут

---

[22] *Павлова Н. Г.* Сказки «Бова» у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры//Звенья. М.; Л., 1932. Т. 1. С. 531.

нам подсказать, что в «Бове» образ этот возник не случайно: он служит здесь не только для контраста, для противопоставления собственного бессилия бесправного писателя, даже находящегося в гневе, всеобъемлющей и всемогущей власти тирана. Тиверий является в «Бове», как и в «Песне исторической», примером особой подозрительности, недоверия, которые не считались бы с самоочевидной истиной: недоверие, а не логика вещей могли быть причиной опалы и казни. В «Песне исторической» читаем:

1216 ...тогда не злодеянье
В злодеяние вменялось;
Но злодей — кого Тиверий
Ненавидел или думал,
Что опасен он быть может.
Действие, невинна шутка,
Одно слово, знак, иль мысли
Все могло быть преступленьем.

В «Бове» характеристика «подозрительного тирана» (образ которого, кстати сказать, был столь приложим и к конкретному облику тогдашнего тирана на российском престоле Павла I) еще усилена. Радищев, очевидно, хочет сказать, что его гнев против «дерзкого», кто совлек бы покровы с его повествования, бессилен, а проклятие вышло из моды, но, будь он подозрительным и всемогущим тираном, он обрушил бы свой гнев на того, кто посмел бы доказывать ему даже самоочевидные истины, а не такою ли же самоочевидной истиной для внимательного читателя являлось наличие скрытого смысла в «Бове»? При Тиверии даже «невинная шутка» вменялась в злодеяние; не «подозрительны» ли и забавные приключения Бовы, которыми «для виду» тешится сам Радищев и которыми он собирается развлекать читателей? Но вообразить самого себя «тираном» Радищев не может; поэтому ему остается лишь констатировать собственное бессилие против соглядатаев его тайных мыслей, против нескромных разоблачителей скрытого смысла его поэмы:

62 А как не дал нам бог власти,
Как корове рог бодливой,
То мы к дерзкому воскликнем:
Отойди, пожалуй, дале,
Поди вон ты, оглашенной;
Мне здесь нужно суеверье;
Обольщен я, но желаю
Обольщен быть... и от скуки
Я потешуся с Бовою.

Только теперь эти стихи приобретают для нас некий реальный смысл: Радищев говорит, что он не может, не властен покарать «дерзкого», который хотел проникнуть в его замысел, у него, как у бодливой коровы, у которой нет рогов,[23] отняты все средства самозащиты, и поэту остается лишь одно средство — убеждение.

[23] По пословице: «Бодливой корове бог рог не дает».

«Мне здесь нужно суеверье», т. е. (согласно смыслу понятия «нужно» в стихе 34-м) мне пристало, мне положено писать лишь легкомысленную повесть, тебе же, непосвященный, нет дела до совершаемого мною творческого таинства («оглашенный» становится синонимом «дерзкого»): поди прочь и не мешай мне тешиться с Бовою! Так, думается, следует понять эти зашифрованные строки. Нужно ли прибавлять ко всему сказанному, что весь этот воображаемый разговор автора с «дерзким» читателем придуман Радищевым именно для того, чтобы *привлечь* внимание этого читателя к скрытому смыслу его повествования?

Отметим еще одно, с нашей точки зрения очень интересное совпадение в «Бове» с «Путешествием из Петербурга в Москву», где мы в первый раз у Радищева встречаем упоминание основных героев повести о Бове-королевиче. В знаменитой главе «Спасская полесть» Радищев рассказывает, что, заночевав по случаю непогоды в почтовой избе, он сделался невольным свидетелем разговора присяжного с женою: «Два голоса различить я мог, которые между собою разговаривали. — Ну муж, расскажи-тка, — говорил женский голос. — Слушай, жена. — Жил-был; — и подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить, сказала жена вполголоса, зевая ото сна; поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей разбойник. — Да кто тебя толкает в шею, верь коли хочешь. Но то правда, что встарину силы телесныя были в уважении и что силачи оныя употребляли во зло...» (I, 242). Вспомним, что и в начальных стихах «Бовы» (стихи 15—18) Радищев писал, что он хотел бы «рассказать старинную повесть» из трех «преславных» рыцарских времен, когда

16 ...кулак тяжеловесный
Степень был ко громкой славе,
А нередко — ко престолу...

Интересно здесь не только сходство в обеих характеристиках «рыцарских» времен, конечно, издевательски названных в «Бове» «преславными».[24] Для нас особенно существенно, что этот сказочный «зачин» в «Путешествии» с умыслом прикрывает рассказанную дальше и вовсе не «сказочную» повесть о причудах и злоупотреблениях властью «государева наместника», в котором комментаторы усматривают намек на Г. А. Потемкина (I, 481), и что «недогадливая» жена по началу рассказа действительно готова подумать, что речь пойдет о Бове и Полкане. Но присяжный продолжает: «Вот тебе Полкан. А о Соловье разбойнике читай, мать моя,

[24] К анализу понятия «рыцарский», «рыцарские времена» в представлении Радищева интересно привлечь его замечания в «Письме о китайском торге» (1792), например: «Я говорю не о той старине, когда с приехавшего гостя хозяин брал по своему произволению и силе, когда не было пощады самому бедствию, когда остатки кораблекрушения алчный спаситель присвоял себе все, в мокрой пучине не погрязшее без остатку. *Не о сем рыцарских времен мое слово...*» и далее: «Итак, кажется, между старым рыцарским всеграбительным и новым, *не меньше рыцарским, ни до чего не касающимся,* мнениями желали найти посредство...» (II, 6—7. Курсив мой. — *М. А.*).

истолкователей Руских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. — Не перебивай же моей речи. И так, жил был где то Государев Наместник» (I, 242). И рассказ незаметно переходит в скверный анекдот, характеризующий произвол и самоуправство высшего чиновника, которому вменено в обязанность следить за исполнением законов. Полкан и Бова не случайно оказались в начале рассказа присяжного: в старину, говорит Радищев, во зло употребляли силы телесные; ныне же во зло употребляют административную власть; и самому читателю предоставляется судить, какое из этих злоупотреблений хуже. В «Бове» (стихи 19—33) дается противопоставление нынешнего времени — временам «бывшим и протекшим»: Радищев готов извинить «ироям» тех дальних лет некоторые человеческие слабости («хоть грешишки кой-какие попадались»), но он уверен, что

...грехов распутства умна,
Грехов хитрого Софисма
Там не знали...

Очевидно, «умное распутство», с его точки зрения, было грехом, свойственным лишь другому периоду общественного развития.[25] Приведенное сопоставление параллельных мест из «Путешествия из Петербурга в Москву» и «Бовы», думается, лишний раз свидетельствует о том, что в поэме Радищева, как она была им задумана и в значительной части написана, авантюры «Бовы» не составляли центрального стержня повествования. Они лишь прикрывали другой план развития сюжета, теснейшим образом связанный с основными взглядами Радищева на государство, на русскую историю, на проблемы власти. Не в этом ли была основная причина уничтожения Радищевым этой поэмы? Не хотел ли он обезопасить себя от слишком «дерзкого» читателя, который мог усмотреть в ней мысли, слишком «крамольные» для писателя, только что возвращенного из Сибири? Во всяком случае ясно, что рамки сказочной повести о Бове, с ее подчеркнуто эротическим содержанием, не могли охватить большого и разнородного содержания задуманного Радищевым произведения.

Мы имеем все основания думать, что от «Бовы» находились в тесной зависимости и другие стихотворные произведения Радище-

[25] Л. М. Лотман в статье „Бова" Радищева и традиция жанра поэмы-сказки» (Ученые записки Ленингр. гос. ун-та. Сер. филол. наук. 1939. Вып. 2. С. 143—144) толкует эти стихи как пародический намек на «Бахариану» Хераскова, где (гл. IV—V) изображено «царство софистов», которые «проповедуют наслаждение жизнью, смеются над аскетизмом и рыцарскими идеалами», причем Херасков будто бы «подразумевает под софистами французских просветителей». Как бы ни относиться к подобному предположению (требующему во всяком случае доказательств), очевидно, что Радищев противопоставляет «умное» (т. е. «умственное») распутство — физическому, «хитрые умствования» — грубой физической силе, но ниоткуда не видно, что он берет под защиту тот «рыцарский идеал», на который нападали «софисты» у Хераскова, или самих этих «софистов», понимая, в кого метил автор «Бахарианы». С нашей точки зрения, мысль Радищева яснее без допущения будто бы заключающегося в ней «пародического намека».

ва, написанные им после возвращения из ссылки, прежде всего неоконченная «Песнь историческая» (1801) и также неоконченные «Песни, петые на состязаниях» (1800—1802). Обоим этим произведениям присущи широкие историко-географические горизонты, роднящие их с «Бовой». «Песнь историческая» еще более расширяла историко-географические экскурсы «Бовы», превращаясь в стихотворное обозрение всемирной истории: в «Песнях, петых на состязаниях» должны были быть выведены певцы от всего славянского мира, от всех «колен славянских» — от Ильменя и Новгорода, от холмистых берегов Клязьмы, до Галича, Дуная и Адриатического моря, что имеет некоторое соответствие с кругом областей, об историческом прошлом и будущем которых Радищев намеревался говорить в «Бове», недаром в «Песнях» находятся знаменитые пророческие слова о «поздних потомках» славян.

В «Бове», наконец, было, вероятно, немало философских или, лучше сказать, историософских обобщений, подобных тем, которые даны в оде Радищева «Осмнадцатое столетие» (1801). Не забудем, что «Бова» писался в 1799 г., когда кончало свой век «столетье безумно и мудро», когда «омоченно в крови», оно «ниспадало во гроб». Единственно, что отличало «Бову» от всех этих произведений, — это присущая ей, по словам Н. Радищева-сына, «веселость», ее заметный местами сатирический колорит.

Если наше истолкование поэмы идет по правильному пути, то остается решить тот вопрос, который был поставлен на первых страницах этой работы: какое отношение имела поэма к тому «Плану богатырской повести Бовы», который был ей предпослан в первом посмертном издании сочинений Радищева?

До сих пор, по-видимому, никто не сомневался в том, что именно этот «план» и должен служить основным источником для реконструкции утраченной поэмы, что он представляет ее *важнейшую часть, главный стержень повествования.* Так, основываясь именно на этом «плане», Н. Г. Павлова пыталась разгадать скрытый смысл в образах Бовы и других традиционных персонажей лубочной повести, которыми якобы Радищев воспользовался в политико-сатирических целях, придав им собственный иносказательный смысл. Наблюдая, по ее собственным словам, как «искажалась» старинная повесть у Радищева, т. е. привлекая для сличения с этой повестью прозаический «план», Н. Г. Павлова приходила к заключению, что «основная особенность любопытной обработки повести о Бове Радищевым заключается в сильнейшем развитии иносказательного элемента, сообщившего ей характер политической сатиры». Как далеко завела исследовательницу эта предвзятая мысль увидеть «иносказание» прежде всего в трактовке приключений Бовы, видно хотя бы из поистине удивительного ее утверждения, что будто бы поэма Радищева могла иметь значение «политической признательности Павлу I» (!) и что «история сватовства двух королей имеет в виду Григория Орлова и Петра III» (!).[26]

[26] *Павлова Н. Г.* Сказка «Бова» у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры. С. 512—539.

Л. М. Лотман, основываясь на том же «плане» как на авторском свидетельстве о не дошедшей до нас поэме, рассматривает ее на традиционном фоне других «поэм-сказок» XVIII в. «в народном стиле». То обстоятельство, что указанная работа пытается доказать, что Радищев борется в своей поэме «против реакционного искажения идеи народности и народной старины» в дворянской литературе и «против самого жанра поэмы-сказки, как наиболее яркого проявления этого течения», не меняет дела: и на этот раз «Бова» Радищева рассматривается прежде всего в связи с сюжетом лубочной повести (т. е. с «планом»), в трактовку которой Радищев якобы вносит элементы литературной полемики против жанра подобных «поэм-сказок» в русской литературе XVIII в.[27]

Наконец, и статья В. Д. Кузьминой рассматривает поэму Радищева прежде всего на фоне разнообразных редакций повести о Бове, известных в русской письменности и в печатных изданиях.[28]

С нашей точки зрения, во всех этих работах «плану» придается слишком большое, едва ли даже не решающее значение. Мы думаем, напротив, что этот найденный в бумагах Радищева «план» (и, вероятно, озаглавленный его первыми издателями, скорее всего Н. А. Радищевым) представляет собой сделанную им рабочую, черновую запись тех «вставных эпизодов» о Бове, которые должны были внешне связать отдельные песни поэмы некоей условной канвой и тем самым «прикрыть» многочисленные содержавшиеся в ней отступления, т. е. «второй план» повествования, на самом деле являвшийся *основным*. Как уже было отмечено нами выше, есть все основания предполагать, что то, что называется теперь «План богатырской повести Бовы», было лишь сделанным Радищевым для памяти конспектом той «сказки древних лет», которую он некогда слышал от своего дядьки, Петра Сумы, как свидетельствует и сам автор в стихах 71—74. Но в дальнейших стихах Радищев, думается нам, совершенно точно сам указывает на соотношение этой «сказки», которую он собирается рассказать со слов дядьки, по памяти, и основного «сюжета» его поэмы:

Петр Сума, приди на помощь
И струею речи сладкой
Оживи мою ты повесть.
Без складов она, без рифмы.
В след пойдет творцу Тавриды;
Но с ним может ли сравниться!!

Радищев не говорит здесь, что свою поэтическую задачу он хочет ограничить пересказом некогда слышанной «сказки»: он призывает дядьку на помощь только для того, чтобы тот «оживил» его собственную повесть. Можно думать, что слово «оживи» следует здесь понимать буквально: функция эпизодов о Бове заключалась,

---

[27] *Лотман Л.* «Бова» Радищева и традиция жанра поэмы-сказки. С. 134—147.

[28] *Кузьмина В. Д.* Сказка о Бове в обработке Радищева//Проблемы реализма в русской литературе XVIII в. М., 1940. С. 257—291.

по-видимому, именно в «оживлении» совершенно другого повествования. Именно это «другое» повествование и должно было пойти «в след творцу Тавриды», т. е. С. С. Боброву. Нужно ясно представить себе, что такое «лиро-эпическое песнотворение» Боброва, чтобы понять, как поэма Радищева, написанная ему «вослед» смогла быть «оживлена» передачей дядькиной «сказки».

3

Связь «Бовы» с «Тавридой» С. С. Боброва в исследованиях о Радищеве до сих пор получала не только недостаточное, но и прямо неправильное освещение. Еще В. П. Семенников толковал соотношение обоих произведений в сугубо формалистическом духе: Радищев будто бы заинтересовался «Тавридой» только как поэмой, написанной белым стихом: «В 1798 г. появляется поэма С. С. Боброва „Таврида", имеющая несомненное историко-литературное значение в деле дальнейших успехов белого стиха <...>. Относительно рифм Бобров говорит...» и т. д.[29] Совершенно в том же стиле трактуется этот вопрос и в комментариях к академическому изданию «Бовы»: «Существенное значение в развитии безрифмия имела поэма Семена Боброва „Таврида" <...> Это — поэтическое путешествие по Крыму. Поэма написана без рифм, четырехстопным ямбом, причем автор выступает в предисловии с защитой своего отказа от рифмы. В отношении безрифмия Радищев сам указывает на пример Боброва, он говорит в своей повести: „Без складов она, без рифмы. В след пойдет творцу Тавриды" <...>. Ниже — опять похвала Боброву» (I, 451).

То обстоятельство, что «Таврида» дважды упомянута Радищевым в «Бове» и притом как «образец», которому он хотел следовать, во всяком случае обязывало исследователей к более внимательному отношению к этому произведению. Трудно было бы допустить, чтобы Радищев готов был взять в свое воображаемое путешествие поэму Боброва «в услаждение» («Бова», стих 147) только ради ее «безрифмия» или только потому, что «теоретические взгляды» Боброва на белый стих в русской поэзии «во многом совпадали с мнениями Радищева».[30] Дважды подчеркнутый Радищевым интерес к поэме Боброва должен был иметь и другие, более веские основания. Действительно, Радищева, с нашей точки зрения, заинтересовал и замысел поэмы Боброва, и обработанный в ней материал, и некоторые конструктивные ее особенности.

Поэма Боброва состоит из восьми песен и заключения, которым предпосланы «предварительные мысли» сочинителя.[31] «Вот некото-

[29] *Семенников В. П.* Радищев. С. 294—295.

[30] Там же. С. 304.

[31] Цитируем по первому изданию, которое Радищев только и мог иметь в виду: Таврида или мой летний день в Таврическом Хермонисе. Лиро-эпическое песнотворение, сочиненное капитаном Семеном Бобровым. Николаев, 1798. Во втором издании (1804) поэма получила новое заглавие, и предисловие к ней было переделано.

рое изображение Таврии! — говорит здесь С. С. Бобров. — Неоспоримо, что многие мысли здесь уже не новы и давно известны, но сыщется ли в природе вещь, которая бы когда обладала телом совсем новым и отменным от своего естественного? Покрой одежды различен, а сущность в наготе своей всегда постоянна». Далее Бобров старается обосновать особенности «покроя» своей поэмы и объясняет ее задачу.

Основная цель поэта — дать по возможности полное описание Тавриды — ее природы, климата, ее флоры и фауны, ее истории с древнейших до нынешних времен, ее будущего. Десятки страниц поэмы представляют собою переложенные в стихи ботанические или минералогические трактаты, руководства по ихтиологии, виноградарству или даже сочинения об атмосферном электричестве. Характерно, например, что Бобров, описав грозу над таврическими горами, посвящает затем несколько страниц опытам Ломоносова по «испытанию электрической силы», излагая их его устами и даже довольно близко придерживаясь текста его прозаических ученых сочинений, переложенных здесь, кстати сказать, в довольно тяжеловесные стихи.[32] Ломоносова же поэт вспоминает, увидев радугу после дождя.

...остроумный Ломоносов!
Списатель таинств естества!
Сии растопленные тучи
Влечась против лица светила
Тебе в дождях явили призму
И в поясе желто-зеленом
Те показали нити света,
Которых седмеричны роды
Ты столько тщился развязать...[33]

В описании таврической природы сделаны ссылки на естествоиспытателей, исторические части поэмы пестрят указаниями на античных поэтов (например, Овидия) и цитатами из них в примечаниях. Тем не менее «Таврида» — не описательная поэма в точном смысле этого слова. Она не только дает свод данных о Крыме, почерпнутых из разнообразных источников («многие мысли здесь уже не новы»), она пытается «оживить» их неким связным повествованием, т. е. имеет «особый покрой». «Сей одежды, — пишет Бобров в том же предисловии к своей поэме, — требовала самая вводная повесть о магометанском мудреце, который составил из утра, полудня и вечера для воспитанника своего нравственную жизнь человека, а свойство же Азиатских бесед подкрепило мое намерение, хотя и оно не новое... Всякому известно, что вместо того было бы сухое и скучное описание красот Таврического дня, есть ли бы тут лица, не взирая, что они худо или хорошо вымышлены, сколько-нибудь не оживляли его сочинения тенями своими».

[32] *Бобров С.* Таврида. С. 183—188.
[33] Там же. С. 198.

Для нас особый интерес в «Тавриде» представляет не самая «вставная повесть» или, лучше сказать, повести, так как их несколько и они мало связаны друг с другом, но то обстоятельство, что сам автор считает их как бы второстепенными в общем своем замысле, предназначенными лишь для того, чтобы придать повести некое движение, сюжетный ход. При этом движение самого описания Тавриды и развитие вставного повествования в поэме не совпадают: они развиваются независимо друг от друга. «Вводная повесть о магометанском мудреце», как это видно и из вышеприведенного авторского признания, составляет вторую, подсобную задачу; основной является описание Тавриды и ее исторических судеб. Чтобы удобнее обозревать и то и другое, поэт взбирается на гору Чатырдаг, ибо с высокого места лучше рассматривать окрестности. Восхождением на Чатырдаг и заканчивается первая песня «Тавриды».

Оставь свои холмы любезны
Божественна моя Камена!
Пусть будет Чатырдаг высокий, —
Сей дивный слепок естества, —
Твоим любимым храмом песней!
Здесь зришь ты в ясном глазоеме
Весь край вечерней сей страны
Окрестны горы осененны
И униженны их верхи
. . . .
Все прелести сии открыты
Тебе в единой точке зрения...[34]

Радищев внимательно читал поэму Боброва но, конечно, не потому, что он видел в ней образец «безрифмия» в русской поэзии и не потому, что считал совершенными ее белые стихии, а прежде всего потому, что он интересовался Тавридой, ее природой и естественными богатствами, ее историей и ее значением для русского государства. Он внимательно прочел, в частности, и те страницы, где речь идет о восхождении на Чатырдаг, может быть потому, что он и сам был бы непрочь совершить такую экскурсию, весьма увлекательно описанную Бобровым. Но сила традиционного представления о поэме Боброва только как об образце «безрифмия» была такова, что она служила причиной весьма досадных недоразумений. Приведем лишь один пример.

Радищев говорит о «Бове»:

143 Чатырдаг, гора высока,
На тебя, во что ни станет,
Я вскарабкаюсь; с собою
Возьму плащ я для тумана,
А Боброва в услажденье.

Цитируя эти стихи, Н. Г. Павлова пишет: «Весь рассказ сознательно заключен Радищевым в иносказательную форму («Возьму плащ я для тумана...»). Радищевым руководила политическая осторожность ссыльного, только что возвращенного из Сибири, но все

[34] Там же. С. 37.

еще подозреваемого... Но „плащ" плохо держится на плечах поэта-гражданина, позволяя угадать всем знакомую фигуру».[35] Однако «плащ» Радищева в данном случае совсем не иносказательный, как и упоминаемый им «туман» на вершине Чатырдага. Иносказание и намеки в «Бове» следует искать совершенно в других направлениях: плащ Радищева на этот раз совершенно реальный, и его нужно объяснять непосредственно из тех стихов Боброва, где он говорит об изменениях температуры по мере приближения к вершинам Чатырдага:

Уже другой здесь воздух веет,
Всегда прохладен, здрав и свеж...

Недалеко было то время, когда Радищев, страстный путешественник, живя в Сибири, сам предпринимал экскурсии, подобные той, которая описана в «Тавриде»: можно сослаться здесь хотя бы на описание путешествия к устью Илима, сделанное Радищевым в письме к А. Р. Воронцову от 22 ноября 1794 г.: «Я не могу описать своей радости, когда, добравшись до окрестностей Тунгуски, я мог вдоволь созерцать горы, называемые первозданными (я видел, однако, лишь их отроги); поднимаясь на эти громады, я переносился воображением в отдаленные времена, когда голая и бесплодная земля являла собой лишь страшное обиталище и огромную пустыню, или, переносясь в позднейшие времена, мне казалось, что я вижу, как природа, медленная в своем поступательном движении, собрав все силы, сметает с поверхности земного шара все явно устаревшее и, сотрясая глубинные слои земли, представляет ее в совершенно новом обличии» (III, 467). У Боброва рассказ о Тавриде начинается с тех отдаленных времен, когда Чатырдаг был только островом, и он посвятил немало торжественных и выспренних стихов для описания того, как действие вулканических сил совершенно изменило местность, ставшую затем поприщем борьбы народов и людских страстей.

Несомненно, что все «Вступление» к «Бове» написано под свежим впечатлением от прочтенного Радищевым «лиро-эпического песнотворения» Боброва. Это явственно видно из уже цитированных стихов «Вступления» (стих 136 и след.: «Посещу я и Тавриду, где столь много всегда было превращений, оборотов...»). Здесь Радищев не случайно говорит, что он возьмет с собою «Боброва в услажденье»: в этих стихах Радищев явно вспоминает исторические части «Тавриды». В авторском резюме, предпосланном пятой песне поэмы, Бобров предупреждает читателя, что здесь «изъясняется о населении полуострова скифами, греками и генуесцами;— о боготворении там Дианы; о ее храме, где жрицею дочь Агамемнона, Ифигения; — о приключении брата ее, Ореста; о набегах татар; о владении Таврии оружием их; о бедствии островлян и затворников, и напоследок о присоединении оной к Российской державе»; конча-

[35] *Павлова Н. Г.* Сказки «Бова» у Радищева и Пушкина как вид политической сатиры. С. 530.

ется же эта песня «благомысленным заключением, где изъясняется чистое желание щастия России».[36]

Вся последовательность первых исторических припоминаний и образов в «Бове» Радищева имеет близкое сходство со стихами «Тавриды» Боброва.

Если Радищев обещает «заглянуть» в Колхиду,

129 Землю страшну и волшебну,
Где Ясон, обняв Медею,
Укротил сурово сердце
Сей волшебницы ужасной,

то и Бобров начинает свой рассказ также с аргонавтов.

Пусть взор испытный углубится
В глубоку древности пучину,
Отколе тридесять два века
Свои колеса обернувши
На шумных осях прогремели,
Как древле славны Аргонавты
Пучину черну рассекая
Познали полуостров сей;
Уже под ним гремела слава,
Когда Язон на корабле,
Наполненном полубогами,
В Колхиду ехал за руном...
. . . .
Издревле жители здесь дики
По свойству обоготворяли
Колчаноносную богиню
Двурогу Фебову сестру,
Которую в Колхидском царстве
Под именем Гекаты страшной
Медея ночью призывала...[37]

О «сильном царстве славна древле Мифридата» («Бова», стихи 125—126) в «Тавриде» также идет речь не раз. Бобров рассказывает, например, что

Воспорцы помощи искали
В царе Понтийском, Митридате,
Сей славный сопротивник римлян,
Не редкий бич царей вселенной
Все скифски полчища изгнав
Воспорско царство основал. —
Места, где царствовали жены,
Где девы побеждали сильных
И дерзостных богатырей,
И седоглавого Кавказа,
Высоки снежные хребты,
Отколе Фазис и Гипанис
В валах ревут, и в Понт бегут,
И часть восточна Херсониса
Вмещались в царство Митридата...[38]

В конце XVIII в. этот круг заимствованных у античных писателей мифологических или исторических имен и представлений, связанных с Тавридой, становился устойчивым и традиционным в русской поэзии (ср. еще у Пушкина, в отрывках из путешествия Онегина: «С Атридом спорит там Пилад, там закололся Митридат...»). Однако Бобров им не ограничивается. Он набрасывает свою историю Тавриды, весь ряд пережитых ею «превращений», «оборотов» («Бова», стих 138) и всячески стремится связать ее с российской историей:

Там ходят призраки Фоантов,
Или ужасных Митридатов,
Или растрепанных Медей,
Или Фалестры копьеносной.
Здесь тень является Мамая,
Что зверским оком озираясь
Терзает с стоном грудь власату,
Где раны те еще горят,
Которые впечатлены
Десницей страшною Донского,
Тогда, как с грубою гордыней
Мамай из Перекопа мчась
Хотел в Куликовских долинах
Нещастных Россов подавить...[39]

[36] *Бобров С.* Таврида. С. 118.
[37] Там же. С. 120—121.
[38] Там же. С. 130.
[39] Там же. С. 240.

И многократно из истории Тавриды, рассказанной Бобровым, тянутся исторически нити и к Азову, и к Дону, и к Кавказу, и к Астраханским степям, с одной стороны, и к Днепру, Дунаю, Константинополю — с другой. Нельзя не вспомнить при этом «поездку на Пегасе» во «Вступлении» к «Бове»: она приобретает еще более реальный смысл и становится гораздо лучше объяснимой.

В написанных в том же 1798 г., что и «Таврида», «Стансах на учреждение корабельных и штурманских училищ, при адмиралтействах» Бобров предрекал, что «российски юноши отважны» в своих будущих плаваниях «имя Россов пронесут» «сквозь вихри, пламень и туманы», там,

Где под Гесперовой звездою
Алкид постановил столпы,
Где с юною Язон толпою
В Колхиду направлял стопы
    К Руну, или — к Медее...
Где Митридат был Понта славой
И римлян иногда бичем;
Где в жертве чуть не пал кровавой
Орест под сестриным мечем,
    Сей древний Крыма гость;
И там, где ты, Овидий страстный
Уснул, — как жалкий человек;
Или, где хлеба вождь нещастный
Просил, но в нем остался в век
    Великий Велисарий...

Радищев не мог читать эти стихи,[40] а между тем и здесь, в направлениях плаваний русских мореходцев (Гибралтар — Кавказ — Таврида — устье Дуная — Константинополь) и в связанных с ними исторических образах, можно также усмотреть сходство с «воображаемым» путешествием во «Вступлении» к «Бове». Дело, очевидно, идет не о «подражании» Радищева Боброву, а о некоей близости их творческих замыслов и круга поэтических представлений, возникших почти в одно время («Таврида» — 1798, «Бова» — 1799) и внушенных той же действительностью.

Мы представляем себе, что при создании «Бовы» «Таврида» Боброва, только что прочитанная Радищевым, могла дать ему некоторые творческие импульсы. Может быть, и самая мысль написать поэму «в двух планах», с повествовательными эпизодами, «оживляющими» самостоятельный ход историко-философской мысли или «прикрывающими» ее, могла быть подсказана Радищеву «Тавридой» Боброва. Тем не менее между «Тавридой» и «Вступлением» к «Бове», да, конечно, и всей поэмой Радищева в целом, лежит целая пропасть: отмеченные выше сходства и аналогии в обеих поэмах объясняются прежде всего тем, что и Бобров, и Радищев основывались на тех же материалах, которые давала им окружающая жизнь и поставленные ею проблемы, но освещали они эти проблемы совершенно различно.

В 70—90-е гг. XVIII в. русский правительственный и общественный интерес к тем странам, что «Понт Черной облегают», чрезвычайно усилился. В результате победоносной первой русско-турецкой

[40] «Стансы» напечатаны в книге С. Боброва «Рассвет полночи или созерцание славы, торжества и мудрости порфироносных, браноносных и мирных гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов» (СПб., 1804. Ч. 1. С. 41). Во второй части этого же издания напечатана и измененная «Таврида».

войны Россия не только добилась провозглашения «независимости» Крыма, но и получила право навигации на Черном море, в чем Турция последовательно отказывала всем державам. Этой навигации требовали интересы русской внешней торговли, сильно страдавшей в то время от иностранного, прежде всего английского, «засилья»; в особенности важную роль играл при этом вопрос об экспорте железа, одного из главных предметов русского вывоза в XVIII в. (не говорим уже о пшенице, канатах, соли, пушнине). Поэтому уже в 80-х гг. — после соглашения с Турцией 1779 г. — черноморская торговля серьезно обсуждалась в петербургских правительственных кругах. В 1779 г. основан был новый порт — Херсон, во время русско-турецкой войны 1788—1791 гг. началось строительство Николаева и его верфей, в 1794 г. была основана Одесса. Весь причерноморский край устраивался заново; хозяйственные интересы и те же проблемы экспорта влекли мечты правящих классов России и далее, к Кавказу. Но завоевания России на юге и ее серьезные торговые успехи на Черном море прежде всего укрепляли здание феодально-крепостнического государства. На завоеванные земли сгоняли крепостных крестьян; для заселения этих областей крестьян в широких размерах «покупали» в центральных губерниях, для административного и хозяйственного произвола возможности были неограниченны.

С. С. Бобров в своей «Тавриде» и в других произведениях, написанных в бытность его в Николаеве, преисполнен веры в прогрессивность хозяйственных и политических начинаний русской государственной власти. В правительственной программе как внутреннего хозяйственного развития, так и завоевательной политики Бобров видит залог дальнейших успехов российской империи. «Таврида» посвящена Н. С. Мордвинову, а стихотворения Боброва, объединенные им в его «Рассвете полночи», безоговорочно прославляют «порфироносных, браненосных и мирных гениев России», т. е. царскую власть, ее армию и флот и всевозможных деятелей процесса «капиталистического» развития русской феодально-крепостнической державы. Здесь точки зрения капитана Боброва, бывшего не только поэтом, но и активным деятелем по строительству новых портов на Черноморском побережье, и Радищева, опального писателя, только что возвратившегося из продолжительной и тягостной ссылки, не могли совпадать.

Радищев, как нам уже приходилось отмечать, с напряженным вниманием еще со студенческих лет присматривался к «черноморской проблеме». В период своей службы в таможне он чрезвычайно интересовался теми самыми вопросами ввоза и вывоза, которые направляли русскую правительственную политику на быстрейшее разрешение проблемы отечественной навигации на Черном море. Вопросы внешней торговли весьма живо интересовали Радищева и тогда, когда он изучал «китайский торг», и позже, по возвращении из Сибири. Но Радищев видел дальше своих современников. Для него, в частности, была ясна изнанка многих явлений хозяйственного «прогресса» в новоприобретенных областях русского государства,

развития промышленности, торговли и столь связанной со всеми этими проблемами внешней политики России. Характерно, что в уже цитированном письме Радищева к А. Р. Воронцову, где идет речь о заключении мира с турками, он упоминает, что «крестьяне видят лишь одни худые следствия войны» и что он придерживается особого взгляда на завоевательные войны (III, 440). Нам представляется очень вероятным, что Радищев много и серьезно думал над этими вопросами именно в период создания своего «Бовы» и что именно отсюда и возникло определяющее замысел географическое приуроченье поэмы — к Черноморью.

У Радищева был еще один круг источников, который позволил ему, даже в период его жизни в Сибири, внимательно присматриваться ко многим процессам русской народнохозяйственной жизни, притом в таких краях, которые были достаточно отдалены и от столиц, и от места его ссылки. Еще в 1768—1774 гг. русская Академия наук организовала ряд экспедиций для изучения отдельных, преимущественно окраинных областей русского государства. Работы этих экспедиций велись в крупном масштабе значительными научными силами и дали весьма ценные результаты. Экспедиционная деятельность Академии наук, теснейшим образом связанная с хозяйственными проблемами русской действительности XVIII в., продолжалась и в последующие годы. В 80—90-е гг. XVIII в. в печати появились основные труды, созданные в результате этих экспедиций, — капитальные исследования Палласа, Гмелина, Гюльденштедта, Лепехина, Георги, Фалька, равно как и более мелкие работы, выполненные позднее как названными учеными, так и лицами, занявшими в эти годы видное место в русской науке (В. Зуевым, Н. Рычковым, Н. Озерецковским и др.). Все эти сочинения надолго стали основным фондом данных о производительных силах России.[41] Названные экспедиции велись в разных направлениях, но для нас весьма существенно, что маршруты значительной их части не случайно направлялись на юго-восток и на юго-запад, все шире захватывая с разных сторон черноморское побережье и все районы, связанные с ним в хозяйственных отношениях. Так, Паллас первоначально обследовал Заволжье, Урал, Алтайский край, Сибирь, но в конце концов перенес свою научную деятельность в Крым; Гмелин обследовал Прикаспийские края, Донецкую область, северо-восточное Предкавказье и погиб, захваченный в плен в кавказских горах; Гюльденштедт ездил в Астраханский край и причерноморские степи, но побывал и на Кавказе, в Осетии и в Грузии, доехав до Тифлиса.[42] Естественно, что в 1780-е гг. изучение всех этих областей велось еще интенсивнее; ряд экспедиций в Причерноморье открыл в начале 1780-х гг. адъюнкт Академии, потом академик, В. Ф. Зуев: он отправлен был в южные области России и в Крым,

[41] *Гнучева В. Ф.* Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX вв.: Хронологические обзоры и описание архивных материалов. М.; Л., 1940.

[42] *Полиевктов М. А.* Из истории русского академического кавказоведения XVIII в.//Известия АН СССР. Отд. обществ. наук. 1935. № 8. С. 759—774.

на русском фрегате ездил в Константинополь и вернулся оттуда сухим путем через европейскую Турцию, Молдавию и Валахию в Херсон.[43]

Радищев хорошо знал литературные труды, явившиеся в результате всей этой экспедиционной деятельности; он читал важнейшие из них и, между прочим, еще живя в Илимске, просил доставить ему те из них, которые появились вновь или случайно ускользнули от его внимания в предшествующие годы.[44] Неудивительно, что в «Бове» есть несомненные следы чтения Радищевым этих сочинений. В этом мы усматриваем лишнее свидетельство в пользу того, что изложенная во «Вступлении» к Бове «поездка на Пегасе», как своего рода эксплуатация будущей поэмы, была Радищевым глубоко продумана и вполне обоснована. Нам представляется очень правдоподобным, что Радищев собирался поделиться с читателями своими мыслями о тех краях, которые он основательно изучал, между прочим, и по «трудам академиков», вообще по русской литературе 1780-х и 1790-х гг., посвященной физико-географическому и народнохозяйственному описанию различных областей современной ему России и сопредельных стран. И это еще раз убеждает нас в том, что легкомысленные приключения героя «дядькиной сказки» далеко не определяли замысел произведения Радищева и что вовсе не ради них была написана его поэма, им в конце концов уничтоженная. Если нам когда-либо удастся разгадать замысел Радищева до конца, то в этом нам меньше всего окажет помощь изучение «сказки» о Бове и Полкане.

4

До сих пор мы имеем дело главным образом со «Вступлением» к «Бове» и мало касались дошедшей до нас ее первой песни. Изучение этой песни, думается, подтверждает сделанные выше предположения. Хотя в этой песне и начинается рассказ об авантюрах Бовы, но это повествование осложнено столь длинными авторскими отступлениями, не имеющими никакого отношения к главному герою, что и здесь явственно чувствуется, что для Радищева главный

[43] Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона. СПб., 1787. Впечатления от пребывания Зуева в Херсоне и в Константинополе отразились на его статье «О российской торговле по Черному морю» (Месяцеслов исторический и географический на 1784 г. С. 9—33). Ср.: *Сухомлинов М. И.* Академик В. Ф. Зуев и его путешествие по России//Древняя и Новая Россия. 1879. № 2. С. 96—111; *Соловьев М. М.* Академик В. Ф. Зуев//Вестник АН СССР. 1933 № 7. С. 25—30; *Фрадкин Н. Г.* Путешествия И. И. Лепехина, Н. Я. Озерецковского, В. Ф. Зуева. М., 1948.

[44] В письме к А. Р. Воронцову (15 марта 1791 г.) Радищев называет труды Палласа, Георги, Лепехина, в другом письме (17 февраля 1792 г.) просит выслать ему с оказией «путешествия академиков» Штеллера и Гмелина: «...я знаком с произведениями других авторов и даже с книгой самого Гмелина, имеющейся на русском языке...»; в письме от 24 марта 1792 г. Радищев вновь просит о доставке ему путешествий Фалька и Гюльденштедта на немецком языке (III. 357, 429, 435).

интерес заключался именно в этих отступлениях, а не в повествовании, подчеркнутая «веселость» которого лишь прикрывала глубокую содержательность его размышлений на самые разнообразные темы. С этой стороны особое внимание могут привлечь к себе развернутый эпизод о тибетском Далай-Ламе и «злостяжанном богатстве», а также весьма характерное описание богини Славы и ее дворца. Эти вставные эпизоды нуждаются в специальном комментарии, без которого они не очень понятны для читателя, попытки же подойти к их истолкованию, исходя из представления о поэме в целом как о пародической «поэме-сказке» в народном стиле, явно неудачны и лишь затушевывают значение указанных мест.

Вставной эпизод о Далай-Ламе изложен Радищевым в стихах 488—547 первой песни «Бовы»; идейным центром эпизода являются слова о «злостяжанном богатстве» или о богатстве, «злостяжанном неправдой»:

О, сколь счастлив был бы смертной,
Если б все богатства в свете,
Злостяжанные неправдой,
Обращалися чудесно
В вещество сие изящно,
Далаи-Лама которо
Всем в подарок правоверным
Для десерту рассылает...

Во всех существующих изданиях «Бовы», вплоть до «однотомника» избранных сочинений Радищева 1949 г., указанные стихи оставлены без всяких пояснений,[45] и читателю предоставляется самому догадываться, о чем здесь идет речь. Между тем даже при беглом чтении указанных стихов в них чувствуется не только зловещая насмешка, намеренно зашифровывающая центральную мысль Радищева, но и то, что эта мысль принадлежит к числу полюбившихся автору, хорошо им обдуманных, очень его занимавших: последнее, между прочим, видно из того, что весь ход этой мысли повторен Радищевым дважды (стихи 504—511, 531—547), то в более сжатом, то в более развернутом виде, с новыми подробностями из областей тибетского ламского культа и алхимии. Это обязывает исследователя: мы должны возможно яснее понять аргументацию Радищева в данном месте его поэмы, смысл, вложенный им в отдельные слова.

Нам известны лишь две попытки объяснить указанные стихи, но ни та, ни другая не представляются нам удовлетворительными. Так, В. Д. Кузьмина считает эпизод о Далай-Ламе попросту «за-

[45] Лишь в не вышедшем в свет издании сочинений Радищева под редакцией П. А. Ефремова в примечании к стиху «...вещество сие изящно» было указано: «...намеки на человеческие отбросы, из которых Брант и Кукель (sic!) добывали светильный газ» (!), — что требует дальнейших пояснений и, кроме того, неверно по существу. Это примечание воспроизведено при переиздании «Бовы» в «Русской поэзии» С. А. Венгерова (СПб., 1897. Т. 1. «Примечания и дополнения». С. 336).

вуалированным» «антиклерикальным выпадом» Радищева, который будто бы имел в виду здесь не столько реального властителя Тибета, сколько христианских церковников. «В „Бове", — пишет она, — антиклерикальные насмешки над церковным учением о бессмертии облечены в форму дерзкого издевательства над Далай-Ламой» и поясняет далее, что «эзоповский язык был необходимость в сатирической литературе XVIII в.»; «...в „Бове" Радищев облекает свои антиклерикальные выпады в завуалированную форму насмешки над бессмертием и благодатью Далай-Ламы, но в „Кратком повествовании о происхождении цензуры" (Путешествие, глава «Торжок») выражается гораздо более определенно и резко...».[46] Л. М. Лотман, в свою очередь пытаясь доказать, что в «Бове» «все традиционные мотивы поэм-сказок поданы Радищевым в насмешливых тонах» и что «насмешка эта не имеет ничего общего с тонкой салонной насмешливостью, характерной для дворянских богатырских повестей», ссылается в качестве примера на то, что, «описывая статую Славы, считавшейся древнерусской богиней, по имени которой названы славяне, Радищев позволил себе снизить первоначальное, как бы сочувственное изображение ее, добавив сравнение с Далай-Ламой, крайне вольное и уничтожающее всю серьезность предшествующего повествования».[47] Таким образом, и здесь эпизоду о Далай-Ламе придается лишь второстепенное, «композиционное» значение, «снижавшее» якобы серьезность предшествующих стихов. Нам представляется удобным начать наше истолкование именно с этих «предшествующих» стихов о богине Славе, так как несколько попутных замечаний о ней Радищева могут дать верное направление дальнейшим разысканиям.

Следует сразу сказать, что никакого сравнения богини Славы с Далай-Ламой у Радищева нет. Он говорит лишь, что в изображении богини («в верьху свода» посвященного ей храма) были характерные черты, например «безволосый затылок» —

477 Зане так же как фортуна,
Сестра Славы, легконога;
У ней волосы тупеем
Ростут с переди косою,
А затылок весь плешивой...

и добавляет не без улыбки:

482 Они моде сей учились
(Мы здесь скажем мимоходом
Для того, кто не читает
Путешествиев всемирных)
У Мунгалов иль Китайцев,
Иль в Тибете иль Бутане...

Чтобы понять образ, который рисует нам Радищев, следует иметь в виду, что «тупеем» в XVIII в. назывался «пучок волос»

[46] *Кузьмина В. Д.* Сказка о Бове в обработке А. Н. Радищева//Проблемы реализма в русской литературе XVIII в. М., 1940. С. 281, 285, 287.

[47] *Лотман Л.* «Бова» Радищева и традиция жанра поэмы-сказки. С. 140—141.

на передней части головы, взбитый на манер «хохла», «чуба» или зачесанный назад,[48] и что, с другой стороны, с аналогичной прической изображалась в то время и античная Фортуна (греч. Τύχη). Эта манера взбивать волосы вверх, конусообразно, называлась древними «кробюлос» или «корюмбос» и описана еще Фукидидом.[49] Варианты подобных причесок для изображения «легконогой» Фортуны, которую Радищев именует сестрою Славы, рекомендовались художниками мифологическими и иконологическими лексиконами XVIII в.[50] На что, однако, Радищев намекал, говоря, что «они» (т. е. Фортуна и Слава) «моде сей учились» у «мунгалов иль китайцев»? Представляется наиболее правдоподобным, что Радищев, желая представить себе образ богини Славы, вспомнил виденные им изображения буддийских божеств — бурханов. Все изображения таких божеств, почитание которых составляет основу буддийского вероучения, «имеют у себя волосы, всчесанные в один пучок на макушке (уснӣр)».[51] Таким образом, несмотря на улыбку, Радищев говорит совершенно серьезно: он обобщает в образе своей богини Славы некоторые черты античных и буддийских изображений божества. Монголы и китайцы вызывают в его памяти представления о Тибете и Бутане, а эти страны прямо приводят его мысли к Далай-Ламе: невозможно представить себе, что ход его мысли был иной.

Длинный рассказ о Далай-Ламе начинается в «Бове» непосредственно вслед за упоминанием Тибета и сопредельного с ним Бутана (Bhutan), государства, расположенного на юго-восточных склонах Гималайских гор. Именно название этой малоизвестной в ту пору страны, возникшее в памяти Радищева по прямой ассоциации с Тибетом, и дает нам ключ ко всему последующему его рассказу о владыке Тибета и приверженных ламайского культа. Однако прежде чем мы обратимся к непосредственному источнику Радищева о Далай-Ламе, необходимо пояснить, как возник его интерес к буддизму и ламаизму.

---

[48] Ср. в сатирической поэме М. Д. Чулкова «Плачевое падение стихотворцев»: «Жених ей кажется складнее всех людей. Получше у нево причосан и тупей» (*Венгеров С. А.* Русская поэзия. Т. 1. С. 879); «Мне остригли начинавший отрастать тупей, причесали в малые букли» (Записки С. А. Тучкова, 1766—1808. СПб., 1908. С. 8). В «Словаре иноязычном», помещенном в «Письмовнике» Н. Курганова (8-е изд. СПб., 1809. Ч. 2. С. 319), — «тупей-зачос». Слово встречается еще в «Горе от ума» Грибоедова: «Раскланяйся — тупеем не кивнут»; напомним также «Тупейного художника» Н. С. Лескова.

[49] *Rich Antony.* Dictionnaire des antiquités romaines et grecques. Paris, 1859. P. 198, 205; Thukydides/Ed. J. Classen, bearb. J. Steup. Berlin, 1897. P. 332 etc. («Die attische Haartracht»).

[50] В «Иконологическом лексиконе» Ивана Акимова (СПб., 1763. С. 313—315) написано о фортуне: «...стихотворцы представляют ее лысою, с завязанными лентою глазами», а Нестор Амбодик в кн. «Емвлемы и символы избранные» (СПб., 1788. С. XXXIII) пишет: «Фортуна, богиня счастья и случаев, изображается лысою, с завязанными очами», но здесь же на картинке (№ 680. С. 170) она представлена с развевающимися на макушке волосами.

[51] *Позднеев А.* Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии. СПб., 1887. С. 47.

Живя в Сибири, Радищев серьезно интересовался этнографией и внимательно изучал исторические судьбы и современный быт многих сибирских народностей. В его распоряжении были не только книги, в частности труды, возникшие в результате упомянутых выше академических экспедиций: он имел возможность производить и разнообразные собственные наблюдения. О том, насколько поучительной и содержательной была для Радищева та пестрая этнографическая картина, которая развернулась перед ним при проезде на место ссылки, в глухие края восточной Сибири, свидетельствуют уже веденные им в то время «Записки путешествия в Сибири». Жизнь в Иркутске и Илимске дала ему возможность познакомиться с монголами и китайцами не из книг, а прежде всего ближе присмотреться к скотоводам-бурятам и таежным охотникам-тунгусам. Религиозный быт всех этих народностей входил в программу этнографических изучений Радищева. Еще по пути из Иркутска в Илимск он обращал внимание на места, где совершались жертвоприношения бурятов-шаманистов (III, 264). В Илимске в 1794 г. ему довелось быть свидетелем «религиозного обряда тунгусов, который они выполнили по моей просьбе... называемый шаманством», как он писал об этом А. Р. Воронцову (III, 463).[52] Тогда же он мог ближе познакомиться и с вариантом буддизма — ламаизмом. Следы отчетливого знакомства Радищева с религиями Индии, и в частности с буддийским учением о метемпсихозе, находятся в его трактате о «Человеке, его смертности и бессмертии», написанном в Илимске. Обычно указывают, что источником данных об этом служил Радищеву Гердер (II, 383), но забывают о тех мощных возбудителях интереса к буддизму и ламайскому культу, какими являлись для Радищева его сибирские впечатления, а, кстати, и о том, что основной запас сведений о тибетских ламаитах, их обрядности, их верховном главе европейская наука получила из рук русских ученых XVIII в. и прежде всего из трудов участников академических экспедиций.

Быстрое утверждение в Сибири ламаизма, столь тесно связанного с Монголией и Тибетом, и вытеснение им шаманизма становилось все очевиднее с начала XVIII в., в особенности со времени прихода в бурятские кочевья 150 лам из Тибета (1712). В середине XVIII в. в бурятских степях Восточной Сибири было уже свыше 300 лам и связь их с Монголией и Тибетом укреплялась во все последующие годы.[53] Это было в ту пору, когда европейцы располагали еще самыми скудными данными о таинственном государстве Далай-Ламы. Характерен следующий случай. В 1767 г. для участия в «Комиссии по составлению нового уложения» от бурятских родов в Москву был отправлен бурят Заяев. Он получил свое начальное образование в Монголии и закончил его в тибетской

---

[52] Интересным комментарием к этому письму может служить рассказ П. А. Радищева (см.: Русский вестник. 1858. Декабрь. № 2. С. 414—415).

[53] *Позднеев А.* К истории развития буддизма в Забайкальском крае// Записки Восточного отделения имп. Русского археологического общества. СПб., 1886. Т. 1, Вып. 3. С. 169—171.

столице — Лхасе. Явившись в Москву, он был представлен Екатерине II и поднес ей описание своего путешествия в Тибет.[54]

Уже Гмелин и Г. Ф. Миллер обращали серьезное внимание в своих трудах на «монгольские религиозные обычаи».[55] Еще в 1766 г. Э. Лаксман между Иркутском и Селенгинском собирал данные для не дошедшей до нас его работы «Описание мунгальского богослужения» и очень интересовался этим вопросом и в последующие годы своей жизни в Сибири.[56] Стоит подчеркнуть, что это был тот самый Лаксман, с которым Радищев состоял в переписке, живя в Илимске, и смерть которого он столь искренне оплакал в письме к А. Р. Воронцову от 9 июня 1796 г. (III, 487). Отметим далее, что П. С. Паллас в 1772 г. смог в Восточной Сибири собрать так много данных о Тибете и ламаизме, что уже после издания первого тома своего капитального труда «Собрание исторических известий о монгольских народностях» (1776) он опубликовал и особую статью о Тибете, основанную на расспросах бурят.[57] Тибетский язык интенсивно изучался у нас в течение всего XVIII в., и уже в это время в Петербурге собрана была довольно значительная коллекция тибетских («тангутских») рукописей.[58] В 90-х гг. XVIII в. Академия наук обсуждала организацию специальной научной экспедиции в Тибет. Ходили слухи об отправлении туда ботаника Сиверса, служившего в Иркутске и здесь умершего (весной 1795 г.):[59] очень вероятно, что Радищев был с ним и лично знаком. Наконец, отметим, что в 1780—1790-е гг. кое-какие известия о Тибете появлялись в России не только в научной литературе: укажем хотя бы на любопытное путешествие Филиппа Ефремова.[60]

---

[54] Там же. С. 171—172; *Ольденбург С. Ф.* Новейшая литература о Тибете// Журнал Министерства народного просвещения. 1904. № 11. С. 142; *Бартольд В.* История изучения Востока в Европе и в России: 2-е изд. Л., 1925. С. 225—226.

[55] *Лагус В.* Эрик Лаксман. СПб., 1890. С. 369; *Бартольд В.* История изучения Востока в Европе и в России. С. 227.

[56] *Лагус В.* Эрик Лаксман. С. 40—41, 59, 123.

[57] *Паллас П. С.* Известия о королевстве Тибетском, собранные большею частью от монгольцев, живущих в окружностях Селенгинска (Месяцеслов исторический и географический на 1782 г. С. 105—137; перепечатано в «Собрании сочинений, выбранных из месяцесловов», СПб., 1790. Т. 5. С. 119—145; оригинал в «Neue Nordische Beyträge». St. Petersburg, 1781. Bd 1. S. 201—222). Ср.: *Маракуев В.* П. С. Паллас, его жизнь, ученые труды и путешествия. М., 1877. С. 54—56; *Кеппен Ф. П.* Ученые труды П. С. Палласа//Журнал Министерства народного просвещения. 1895. № 4. С. 429.

[58] *Булич С. К.* Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. 1. С. 219—220, 412—413.

[59] *Лагус В.* Эрик Лаксман. С. 293—294.

[60] В книге «Российского унтер-офицера Ефремова <...> десятилетнее странствование и приключение в Бухарии, Хиве, Персии и Индии» есть рассказ и о Тибете, куда автор проник через Кашгар и Яркенд (*Бартольд В.* История изучения Востока в Европе и в России. С. 224). Книга Ф. Ефремова выдержала три издания: 1786, 1794, 1811 гг. Об интересе к Тибету в русском обществе в конце XVIII в. см. также в статье Д. Ф. Кобеко «Поездка митрополита Хрисанфа к Далай-Ламе в 1792 г.» (в кн. «XXV лет. Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». СПб., 1884. С. 385—389).

В XVIII в. начались также попытки англичан вступить в сношения с Тибетом из Индии. В первой половине этого столетия в Тибет через Китай удалось проникнуть лишь нескольким европейцам, преимущественно католическим миссионерам, иезуитам и капуцинам, но уже около 1760 г. последние были окончательно изгнаны из Лхасы, с конца же XVIII в. всем иностранцам и вовсе закрыт был доступ во владения, подчиненные тибетскому правительству. Понятен поэтому тот интерес, который во всей Европе вызвала случайная удача того посольства, которое в 1774 г. снаряжено было в Тибет английским генерал-губернатором Бенгалии Гастингсом. Этому посольству, во главе которого поставлен был Дж. Богль, удалось проникнуть в Тибет через Бутан. Целью трудного путешествия было восстановить прежние «дружеские» отношения между Индией и Тибетом, нарушенные столкновениями между англичанами и правителем Бутана, стоявшим в известной вассальной зависимости к Тибету и искавшим заступничества у тибетского банчаня (Пан ч'эн ринпоче) — второго по достоинству в Тибете лица, правившего страною по малолетству Далай-Ламы.[61]

Дневник Дж. Богля, проникшего к Лхасу, оставался неизданным до 1876 г., когда он был издан полностью с историческими комментариями К. Маркхема.[62] Однако еще в 1777 г. член лондонского «Королевского общества» Джон Стюарт, возвратившийся из Индии, в форме письма к Дж. Принглю представил интересный отчет о путешествии Богля: это письмо читано было на заседании «Королевского общества» 17 апреля 1777 г. и вскоре напечатано было в его «Отчетах».[63] Это было первое и единственное на протяжении ста лет печатное известие о посольстве Богля в Тибете, основанное на рассказах самого путешественника.

Неудивительно, что этим известием заинтересовались также и в России. В первой части петербургских «Академических известий» за 1779 г. переводчик Академии наук П. И. Богданович, издававший этот журнал по поручению С. Г. Домашнева,[64] поместил полный перевод письма Дж. Стюарта из «Отчетов» Королевского общества, озаглавив его так: «Новейшее и достоверное описание Тибетского государства, доселе европейцам столь мало известного, но столь часто ими упоминаемого, о Далай-Ламе, его законах и поклонниках».[65] Вскоре в «С.-Петербургском вестнике» за тот же год (1779) напечатан был и другой перевод письма Стюарта, со следующим примечанием от редакции: «Настоящее описание сея мало из-

---

[61] *Ольденбург С. Ф.* Новейшая литература о Тибете. С. 147—150; *Кюнер Н. В.* Описание Тибета. Владивосток, 1907. Ч. 1. С. 46.

[62] *Markham Clements R.* Narratives of the Mission of George Bogle to Tibet and to the Journey of Th. Manning to Lhasa. 2nd ed. London, 1876; 1879.

[63] An Account of the Kingdom of Thibet in a Letter from John Stewart. Esq., F. R. S., to Sir John Pringle, Bart., F. R. S. «Philosophical Transactions». 1777. Vol. 17. P. 2. P. 465—488.

[64] *Семенников В. П.* Материалы для истории русской литературы и для словаря писателей эпохи Екатерины II. Пг., 1915. С. 21—23.

[65] Академические известия. 1779. Ч. 1. С. 257—280, 379—393 (подпись: «с аглинского П. Б.»).

вестныя земли [Тибета] заслуживает место в ежемесячных наших листах тем больше, что оная, не взирая на отдаленность ее от нас, есть Российской Империи смежна».[66] Не подлежит никакому сомнению, что именно это известие (притом по переводу П. Богдановича) обратило на себя внимание Радищева и что именно его вспомнил он в своем «Бове», рассказывая о Далай-Ламе. В этом убеждает прежде всего прямая ссылка Радищева на Бутан, впервые столь подробно описанный именно в этом источнике, а также текстуальные совпадения у Стюарта и Радищева ряда подробностей о процессе «перерождения» Далай-Ламы и о благоговейном почитании его в далеких «татарских» краях (Стюарт, вероятно, имел в виду Монголию или Сибирь). Радищев говорит сначала о Тибете.

488 ...той стране благословенной,
Где живет тот царь священной,
На востоке столько чтимой...

а затем излагает ламаистскую теорию «перерождения» в полном соответствии с тем, как она рассказана у Стюарта со слов Богля.

491 Его бабка повивальна
Рассказала, и все верят,
Что он выше всех на свете,
Никогда не умирает;
Его смерть не есть кончина,
Его смерть есть прерожденье,
Что в мгновенье то ужасно,
Как дух жизни непостижной
Обветшалое жилище
Мертвой труп наш оставляет,
Божество сие двуножно
Преселяется в младенца
Или в юноша любезна...

В переводе П. Богдановича: «Главная сила тибетской веры состоит в том, что великий Лама никогда не умирает, но душа его в старости или немощи оставляет токмо обветшалое свое жилище и открывается паки в теле младенца или юноши».[67] Дальнейшие стихи Радищева были бы непонятны современному нам читателю, если бы на помощь не приходил тот же источник. У Радищева:

504 Чтоб счастливым правоверным
Опять в знак щедрот небесных
Рассылать (но на закуску
Для десерта в день торжествен)
Своих сладких яств останки,
Что в священных его недрах
Благодатная природа
В млеко жизни претворила.

---

[66] Описание Тибетского государства, сообщенное в письме г. Жона Стуарта к Жону Принглю//С.-Петербургский вестник. 1779. Ч. 3. Март. С. 175—187; Апрель. С. 255—269.

[67] Академические известия. 1779. Ч. 1. С. 272.

У Стюарта (по переводу П. Богдановича): «Сказывают, что многие татарские владельцы получают от него [Далай-Ламы] некоторые подарки, состоящие в маленьких катышках из самой презрительнейшей в природе человеческой вещи, которые они хранят с великим благоговением в золотых ковчегах, и примешивают иногда в свои кушанья для здравия. Но самая справедливость требует здесь объявить, что Далай-Лама, по свидетельству г. Богела, никогда не делает таковых подарков, но раздает он священной хлеб, в маленьких шариках состоящий, кои суеверие и невежество сих татар идолопоклонников может после преобразить во что хочет».[68] Это свидетельство обратило на себя внимание П. Палласа, который в упоминавшейся выше статье своей о Тибете, основанной на рассказах сибирских ламаитов, сообщил следующее: «Святость Далай-Ламы в таком между всеми сими народами уважении, что по объявлению самих монгольских и калмыцких ламов, как я в рассуждении сего спрашивал, не стыдятся они раздавать вместо мощей и ладанок свою одежду и даже самой кал. Англичанин г. Богль, которому мы обязаны последними известиями о королевстве Тибетском, поистине неправо поступил, что хотел защитить последователей Далай-Ламы от оного злохуления. Действие сие неоспоримо, и для большего уважения сих даров жрецы удостоверяют, что Далай-Лама мало употребляет пищи. Старые обноски сего духовного правителя, равно как обрезки от ногтей и волос, за свято у них почитаются...».[69]

Радищева настолько позабавил рассказ о святости Далай-Ламы и о позорном благоговении к нему его приверженцев, что он повторил его дважды и тут же развил его дальше, обставив новыми подробностями, в свою очередь требующими пояснения. Что под наименованием «вещество сие изящно» Радищев разумел то, что в переводе П. Богдановича названо «самой презрительнейшей в природе человеческой вещью», явствует и из следующих стихов:

509 Что в священных его недрах
Благодатная природа
В млеко жизни претворила.

Кстати, под «млеком жизни» Радищев разумеет здесь, соответственно медицинским познаниям и терминологии своего времени, «млечный сок», или «хил», — жидкость, вырабатывающуюся в ки-

---

[68] Там же.

[69] *Паллас П.* Известия о королевстве Тибетском//Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов. СПб., 1790. Ч. 5. С. 139. Сколь ни удивительным кажется это заявление (речь идет, по-видимому, о «Ринчин-ирелу», «зелено желтых изумительных свойств пилюлях», как их иронически называет арх. Нил в книге «Буддизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири» (СПб., 1858. С. 354—357), или шариках земли, хранившихся у лам вместе с зернами ячменя в амулетных ящиках (см.: *Schlagintweit E.* Buddhism in Tibet. Leipzig; London, 1863. P. 175—176)), но в русской литературе о буддизме подобные свидетельства встречались до конца XIX в. Так, И. А. Подгорбунский, рассказывая о Далай-Ламе, сообщал: «Даже экскременты его, по мнению верующих, имеют силу исцелять от всех болезней» (Каталог буддийской коллекции Вост.-Сиб. одела Русского географического общества. Иркутск, 1898. С. 20).

шечнике и после смешения с продуктами пищеварения питающую кровь.[70]

Поразительная особенность ламайского культа, к которой Радищев отнесся с полным доверием, хотя и с очевидным отвращением (что явствует из зловещей иронии его рассказа, легко уловимой даже из применяемой им в данном случае лексики), тут же напомнила ему не менее забавную историю открытия одного из химических элементов — фосфора, и он не замедлил пересказать ее своим читателям со свойственной ему эрудицией в области истории химии. Все это понадобилось Радищеву для того, чтобы извлечь из этого пестрого, разнородного, полуанекдотического материала серьезный общественный урок. Почему-то относящиеся сюда стихи во всех изданиях «Бовы» также остались без комментариев, между тем они в свою очередь едва ли понятны без необходимых пояснений.

Стихи 512 и след. свидетельствуют, что Радищев основательно был знаком с современными ему химическими теориями.

512 Вещество сие изящно,
В чем алхимик остроумной
Парацельс иль Авицена
Или Бехер иль Алберты
Злата чистого искали;
В чем счастливой Брант и Кункель,
Светоносной луч открывши,
Пред очами изумленных
Возжигали (без огнива)
Огонь в трубках и курили
Траву пьяну некоцьянску,
Табаком что называют.

Не беремся судить, составлен ли первый ряд названных здесь имен (стихи 514—516) из случайно вспомнившихся Радищеву имен выдающихся «алхимиков» наиболее раннего времени или же он имел в виду какие-либо специальные их сочинения.[71] Следует, однако, отметить, что в конце XVIII в. «таинствами» алхимии принято было интересоваться в русских масонских кругах: сатирическая литература не оставила без внимания причуды и фокусы доморощенных шарлатанов, которых в средневековых алхимических трактатах привлекал лишь непонятный язык и «мистическая» целеустремлен-

[70] Ср. в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии»: «...когда избыточные соками питательными обильный хил влиют в твои жилы и естественность в тебе обновляться начнет» (II. С. 93 и 380); здесь уподобление тела «химической лаборатории, в коей происходят разного рода амальгамы сложения, разделения»; см. также статью «Краткая опись состава человеческого» в «Письмовнике» Н. Г. Курганова (8-е изд. 1809. Ч. 2. С. 224).

[71] Радищев говорит о замечательном таджикском враче конца X начала XI в. Авиценне (Ибн-Сине) и о немецком ученом начала XVI в. Теофрасте Парацельсе, создателе ряда химических и физиологических теорий; далее несомненно назван Иоганн Иоахим Бехер (1635—1682), который исследовал физическую природу горения, разработал технологию получения каменноугольной смолы и спирта из картофеля; затрудняемся, однако, сказать, кого имеет Радищев в виду под именем «Алберты» — знаменитого ли Альберта Великого (XIII в.), трактат которого «Об алхимии» опубликован был лишь в XVII столетии, или же своего современника, В. Альберти (W. E. Alberti), награжденного Петербургской Академией наук в 1779 г. за сочинение о способах получения нашатырного спирта (*Любименко И. И.* Ученая корреспонденция Академии наук XVIII в. М.; Л., 1937. С. 331, 348), или наконец их обоих вместе.

ность.[72] Наряду с этим крупнейшие русские химики XVIII в. уже в то время пытались искать рациональное зерно в некоторых алхимических теориях и пробовали применить отдельные алхимические эксперименты к задачам новейшей химической технологии. О последнем Радищев мог знать хотя бы из «Истории химии» И. Ф. Гмелина (1747—1797) и других трудов, печатавшихся в петербургских академических изданиях, — недаром П. А. Радищев писал про своего отца: «...химия была одно время его любимым упражнением».[73]

Во всяком случае упоминаемые Радищевым далее имена «счастливого Бранта» и Кункеля, открывших «светоносный луч», имеют в виду вполне конкретные факты из истории химических открытий в XVII в., известные ему в подробности из какого-либо специального сочинения, скорее всего из статьи Лейбница «История изобретения фосфора» (1710) или ее пересказов. Эти данные с большим остроумием применены Радищевым к поразившему его известию о тибетском Далай-Ламе.

О том, как фосфор был открыт в 1669 г. гамбургским алхимиком Брандом (Brand), мы знаем главным образом из статьи Лейбница,[74] сохранившего кое-какие сведения и о полутемной для нас личности этого типичного алхимика-авантюриста, которому лишь счастливая случайность помогла сделать важное открытие. В юности Бранд был солдатом, затем купцом, благодаря женитьбе приобрел большое состояние, вскоре, однако, растратил его в бесплодных алхимических экспериментах. Бранд стремился путем различных химических процессов «облагородить» некоторые металлы и придерживался того мнения, что «облагораживающая сила человеческого тела», претворяющая питательные вещества, получаемые человеком в пище, в части организма, может также производить и materia prima.[75] Исходя из этой теории, он хотел представить мочу как жидкость, способную превращать серебро в золото и случайно открыл при этом фосфор, выделив его из мочи при ее сухой перегонке в смеси с песком. Бранд дорожил своим секретом, лишь частично поделившись своими сведениями с немногими современниками за большую сумму денег; поэтому десять лет спустя другому химику-технологу, Иоганну Кункелю (1630—1703), пришлось вторично сделать это открытие, о котором он оповестил в своей брошюре «Открытое письмо об удивительном фосфоре» (Offentliche Zuschrift von den Phosphor mirabili. Leipzig, 1678).[76] Еще в первой половине XVIII в. фосфор был элементом крайне редким. Лишь

---

[72] Покоящийся трудолюбец. 1785. Ч. 3. С. 242; С.-Петербургский Меркурий. Ч. 2. С. 213 и др. В трактате «О человеке...» Радищев упомянул, что «сокровенные качества алхимиков» «порастут мохом забвения и презрения».

[73] *Радищев П.* Александр Николаевич Радищев. С. 399.

[74] *Leibnitz G. G.* Opera omnia/Ed. L. Dutens. Genevae, 1768, T. 2. Part 2. P. 102—108 («Historia inventionis phosphori»). Ср.: *Beckmann J.* Physikalisch-oekonomische Bibliothek. Bd 15 (Gottingen, 1794). S. 209.

[75] Allgemeine Deutsche Biographie. Bd 3. Leipzig, 1876, S. 236.

[76] Ibid. Leipzig, 1883. Bd 17. S. 376—377.

в 1769 г. он был найден в составе костей, в 1771 г. был разработан метод получения его из золы. Как химический элемент фосфор был охарактеризован Лавуазье, изучавшим его горение (1777);[77] физиологическое же значение фосфора, который, как оказалось, входит в состав важных органических веществ в живых организмах, изучено было значительно позднее.

«Светоносный луч», открытый Брандом и Кункелем, упоминаемый Радищевым в стихах 516—517, это и есть фосфор, «светоносец» (от греч. φωζ свет и φερειν нести), со времен Бранда получивший свое наименование от свойства светиться в темноте и самовоспламеняться.[78] Именно об этих свойствах фосфора, лишь во время Радищева получивших научное объяснение, и говорится в «Бове», в стихах 518 и след.

Этот пример из истории алхимии был несомненно гораздо более известен читателям XVIII в., чем в настоящее время.[79] Он и заставил Радищева, умевшего с передовых позиций материалистического мировоззрения отличать подлинную науку от бесплодного искательства и шарлатанства, высказать свои сожаления о напрасных усилиях алхимиков прежних времен, искавших чистого злата, но добившихся лишь потери своих состояний, накопленных трудами или «злостяжанием». Бранд и Кункель были, с его точки зрения, конечно, «счастливцы», ибо им удалось, хотя и случайно, все же добиться некоторых практических результатов. Но

524 ...меньше их счастливцы
Все отеческо наследство,
Накопленно и стяжанно
Кровью, потом и трудами,
Иль грабительством, мздоимством,
Иль другим путем превратным,
Пережгли, передвоили.

В этих стихах Радищев, однако, не только сожалеет о бесплодности человеческих усилий, плохо направленных, излишних, себя не оправдывающих; он высказывает более значительную и более дорогую для него мысль о гибельности для человека жажды богатства, страсти к золоту и серебру, которые, как писал Радищев ранее, с изобретением денег «преображены стали в знаки, всякое стяжание представляющие», «...тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая яко пламень, вся пожирающий, усиливается получая пищу». «...Человек предал живот свой свирепым волкам или, презрев глад и зной пустынный, протекал через оные в неведомыя страны, для снискания богатств и сокровищ». «...Желаешь ли снискать вящшее искус-

[77] *Фесте Г.* История химической техники. Харьков, 1938. С. 171—173; *Старосельская-Никитина О.* Очерки по истории науки и техники периода французской буржуазной революции (1789—1794). М.; Л., 1946. С. 46.

[78] *Васильев А. М.* Происхождение названий химических элементов. Казань, 1912. С. 24.

[79] Об изобретении Брандом «искусством делаемого фосфора» говорится даже в «Письмовнике» Н. Курганова (Ч. 2. С. 224).

ство извлекати сребро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло?» (I, 383—384). Так писал Радищев в «Путешествии». В «Бове», десятилетие спустя, Радищев высказывает не менее страстную ненависть к приобретательству, к стяжанию, к богатству, но облекает свою мысль в причудливые образы, которые могли бы показаться нам непонятной фантастикой, если бы мы не знали теперь, что каждая подробность в них имеет реальнейшее значение и что Радищев мечтает здесь в сущности о гигантском «химическом эксперименте», с помощью которого — как в русских народных сказках — всякое богатство, добытое «путем превратным», чудодейственно обращалось бы в прах:

531 О, сколь счастлив был бы смертной,
Если б все богатства в свете,
Злостяжанные неправдой,
Обращалися чудесно
В вещество сие изящно,
Далаи-Лама которо
Всем в подарок правоверным
Для десерту рассылает;
Если б в нем фосфор блестящей
Раз сверкнул и превратился б
В пары светлы исчезая;
И исчезнув бы оставил
Лишь уханье Амвросийно, [80]
Столь известное в природе;
Дабы знали, сколь есть смрадно
Злостяжанное богатство,
Хотя блещет лучезарно.

Нет необходимости прибавлять, сколь значительна эта мысль Радищева и насколько существенно представить ее себе во всех деталях, во всем процессе ее зарождения и развития. Едва ли нужно также подчеркивать, как мало указанные стихи имеют общего с теми толкованиями, какие им предлагались. Рассказ о Далай-Ламе — не «антиклерикальный выпад» и имеет под собой строго фактическую основу; упоминание «светоносного луча» — фосфора — не случайный фантастический мотив, так как он обнаруживает в авторе и начитанность в специальной литературе, и знакомство с техникой химического опыта; образ богини Славы с «безволосым затылком» и пучком волос на макушке — не стремление внести «снижающий» комический элемент в произвольные литературные представления из области древнерусской мифологии, а всего лишь отчетливое воспоминание о виденных Радищевым в Сибири буддийских «бурханах». И все это не случайные следы его житейского опыта или многочисленных и разносторонних чтений, но творческий метод, вполне последовательно примененный в «Бове» на всем протяжении первой песни.

В «Бове» есть великолепная строфа, уподобляющая страсть царевны Мелетрисы металлургическому процессу в доменной печи (стихи 632—647), описанному с такой отчетливостью, что у нас не остается сомнений в том, что Радищев видел его собственными глазами и что воспоминание об этом и было первоосновой его поэтического сопоставления; [81] чувствования царевны интересовали Радищева значительно менее. Было бы совершенно излишним де-

[80] Здесь в ироническом смысле — «зловоние».

[81] Ср. аналогичное уподобление «душевного процесса» плавке металла в трактате «О человеке, его смертности и бессмертии».

лом для описания в «Бове» дворца царя Кирбита или «рыцарских игр», им устроенных, искать каких-нибудь аналогий в рыцарских лубочных повестях или сказочной литературе. Радищев представлял себе все это по-своему. Описав амфитеатр с «дубовыми скамьями», окружавший ратное поле, Радищев делает характерное замечание:

409 Хитрость зодчества, ваянья
Превыщала тут богатство...

Он был весьма последователен, когда, изображая устроенный на этом амфитеатре престол для царицы с дочерью, также уклонился от описания «богатства» постройки, но подчеркнул «искусство» зодчих. В хорошо известном Радищеву «Письме о пользе стекла» Ломоносов восклицал:

Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, ни злату, но стеклу...

Подобного же рода «похвалу» мы видим и в «Бове»:

419 На столпах кристальных твердых,
На сафир во всем похожих,
Что огнем искусство хитро
Из сожжена в пепел древа,
Из песка, иль камня бела,
Зной сугубя, сотворило,
Возвышался свод порфирной...

Не нужно быть особенно проницательным, чтобы догадаться, что в этих стихах скорее всего идет речь о знаменитом ломоносовском цветном стекле: Радищев перечислил даже основные «стеклообразующие» материалы, употреблявшиеся для плавки стекла при Ломоносове: золу, кварц, мел или мрамор.[82] Вспомним также своеобразный «жертвенник» Славы (стихи 454—410), сделанный «из твердой стали», который «блещет зе́ркальным сиянием» и около него точило («брус сланцова черна камня»): здесь не курится фимиам,

463 Ибо нет *попов* с причетом,
Ни *жрецов* у ней священных,
Кто грудь смелую имеет,
Твердый дух в бедах на брани,
Кто храбр, мужествен, отважен,
Тот есть жрец сея богини.

Из всех этих подробностей, думается нам, лишний раз явствует, насколько второстепенна и незначительна в общем замысле поэмы сюжетная канва о «Бове», значение которой для понимания поэмы мы заподозрили в самом начале настоящих разысканий. Под-

[82] *Безбородов М. А.* М. В. Ломоносов и его работы по химии и технологии силикатов. М.; Л., 1948. С. 210—211, 237 (о слове «кристальный», под которым следует разуметь «хрустальный»).

водя им итоги, мы можем вновь, но с еще большей убежденностью, утверждать более близкое родство «Бовы» с «историческими поэмами» Радищева последнего периода его жизни («Песнью исторической» и «Песнями, петыми на состязаниях»), чем с опытами стихотворных обработок «рыцарских» или «богатырских» повестей в современной ему русской литературе. От «исторических поэм» Радищева «Бову» отличает «веселость» ее тона, отмеченная Н. А. Радищевым как характерная особенность для всех ныне утраченных ее частей; но эту «веселость» прежде всего нельзя понимать буквально, в прямом смысле: поэму нельзя причислять ни к числу просто «эротических», ни даже к числу просто «сатирических» поэм. Это было сложное и насыщенное глубоким идейным содержанием произведение Радищева зрелых лет его жизни. Включенный в него легкомысленный иронический рассказ об авантюрах популярного «сказочного» героя, столько раз и воспроизведенных и осмеянных современниками Радищева (достаточно вспомнить здесь издевательский выпад против В. И. Майкова в «Стихах на качели» М. Д. Чулкова: «...всю прозу уморю и храброго Бову в поэму претворю»), был в данной поэме ее случайной составной частью.[83] Он прикрывал собою иное, более существенное для автора повествование, имевшее свое собственное логическое развитие и безусловно оправдывавшее включение в него таких строф, которые были полны лирических медитаций или глубокого философского раздумья.

Мы попытались раздвинуть несколько ту плотную завесу, которая скрывает от взоров читателя весь этот замысел Радищева после утраты почти всех песен поэмы (притом, как можно догадываться, наиболее важных и значительных в идейном смысле), и наметить те пути, по которым должно будет идти их дальнейшее изучение и гипотетическая реконструкция, если она окажется возможной.

Как известно, восстановление утраченного произведения по случайно уцелевшим от него отрывкам представляется делом и трудным, и ответственным. Но в данном случае оно облегчается тем, что среди дошедших до нас частей поэмы сохранилась полностью вся вводная песня, в которой сам автор раскрыл свои намерения и цели и поделился с читателями своими соображениями о том, как ему удобнее будет вести свой рассказ; за «введением» же сле-

[83] Отметим, кстати, что популярности Бовы как сказочного «русского» королевича в русской литературе XVIII в. несомненно способствовала академическая речь Г. Ф. Миллера «О народах, издревле в России обитавших» (СПб., 1773), первоначально напечатанная в Бишинговом «Магазине» (т. 15), в которой он отождествил Бову с мифическим Бусом, по сказанию Саксона Грамматика — сыном Отина и «русской царевны» Ринды. «В России, — говорит он, — есть также одна древняя сказка о некоем Бове королевиче и об отце его Додоне, какое сходство имен заставляет думать, что об одних лицах говорится. Главная сила состоит в том, что Ринда, мать Бусова, была российская принцесса» (с. 10). Об этих «бреднях» Миллера с возмущением писал еще И. Сахаров (Сказания русского народа. 3-е изд. СПб., 1841. Т. 1, кн. 1. С. 16).

дует первая песнь, дающая нам некоторое представление о том, как авторский замысел начал воплощаться в самом произведении.

Таким образом, в нашем распоряжении оказались два документа: тот, который первыми издателями поэмы назван «Планом богатырской поэмы Бовы», и тот «ключ» к поэме, который, хотя и в несколько замаскированной форме, вручает читателю сам Радищев в вводной песне к «Бове», излагая будущее развитие своего повествования. Задача сводилась прежде всего к тому, чтобы из двух указанных свидетельств выбрать наиболее достоверное в качестве главной опоры для дальнейшего исследования. Мы выбрали последнее из этих свидетельств — автопризнание стихотворного текста, и отказались от первого, не имея достаточных оснований для того, чтобы считать его основным и определяющим, и, напротив того, полагая, что оно является второстепенным и маловажным. Естественно, однако, что задача этим не исчерпывается, не может считаться решенной до конца. «Бова» — не малое и не случайное произведение Радищева, и оно еще явно нуждается в дальнейшем раскрытии его идейных богатств. Свою цель мы будем считать достигнутой и в том случае, если настоящий опыт истолкования ее текста поможет дальнейшему раскрытию поэмы с других, здесь еще не освещенных сторон.

ЭТЮДЫ О МАРЛИНСКОМ*

I

ЛЕГЕНДА О МАРЛИНСКОМ

Литературная деятельность А. А. Бестужева в первой половине 1820-х гг., широко развернувшаяся на разнообразных поприщах — романиста и критика, издателя и журналиста, быстро принесшая ему популярность в читательской среде, а также друзей и врагов в литературном мире, как известно, внезапно прервана была катастрофой 14 декабря. Арест, судебное следствие, заключение в крепость и, наконец, ссылка не только оторвали его на некоторое время от литературной работы, но и навсегда отняли у него его литературное имя, пользовавшееся уже достаточным влиянием и авторитетом. Оно осталось за ним до самой смерти в инструкциях секретных канцелярий, в приказах по полкам кавказской армии, но в печати уже появиться больше не могло и его с опаской произносили у нас вплоть до 1860-х гг. Бестужев перестал существовать как писатель.

Следствие по делу декабристов еще не было окончено, приговор еще не был произнесен, но для всех уже было ясно, что участников восстания ждет суровая кара. В *литературной* смерти писателей, привлеченных к суду по этому делу, во всяком случае не приходилось сомневаться, как бы ни были велики надежды на смягчение предвидимого наказания. Бестужев был в первых рядах восставших. Имя его было у всех на устах в первые же дни после события на Сенатской площади. Иные пожалели о нем, другие презрительно отвернулись; но характерно, что и в тех сожалениях, и в тех укорах, которые высказаны были по адресу Бестужева его современниками, почти решающим моментом и в том и в другом случае являлось то обстоятельство, что он был писатель: это то служило к его оправданию, то, напротив, еще более усугубляло его

---

* Три предлагаемых здесь этюда представляют собой извлечения из большой работы: «Марлинский. История одной литературной репутации», законченной уже несколько лет назад. Опубликование ее в полном объеме представляется затруднительным, но автор не теряет надежду в недалеком будущем напечатать и другие части своей книги.

вину. Обилие литераторов в рядах декабристов многим вообще показалось тогда очень знаменательным. «В этом заговоре принимали участие все журналисты, все просвещенные и светлые головы России, до сих пор выделявшиеся своими произведениями в русской литературе», — говорит один из современников.[1] Другие резко разграничивали политическую сторону заговора и свое сочувствие к его главарям и деятелям, сожалея только о том, что литературная деятельность декабристов прервалась в самом расцвете их дарований. Так, С. А. Хомяков писал сыну, впоследствии известному писателю-славянофилу, 3 мая 1826 г.: «Не скрывая отвращения, которое я питаю к задуманным Бестужевым злодеяниям, я чувствую, тем не менее, утрату его литературных талантов и его „Полярной звезды". Нынешний год заставил особенно почувствовать утрату такого человека, который променял служение Музам на борьбу Титанов и навлек перуны на себя и своих последователей».[2] И таких любителей отечественной литературы, знавших Бестужева только по его выступлениям в журналах и альманахах, которые искренно оплакивали причастность его к тайному обществу и неизбежный отрыв от литературной работы, как известно, нашлось не мало. Они свидетельствуют во всяком случае о том, что Бестужев успел составить себе прочную и солидную литературную репутацию.

Во всех этих отзывах и сожалениях интересно подчеркнуть уверенность, что его литературная деятельность завершилась и более не возобновится. Очень типичны в этом отношении письма одного из второстепенных деятелей эпохи А. П. Бочкова к А. А. Ивановскому, бывшему следователем по делу декабристов, также литератору и любителю поэзии: «Письма Бестужева, мой любезнейший друг, я читал почти со слезами. Мысль, что он погиб навсегда для нас и что эта потеря не скоро вознаградится, убивала меня. Его заслуги важны для нашей словесности». «Бестужевы, Рылеев, Корнилович, Кюхельбекер — сколько надежд погибло! Безрассудные! Зачем вы поставили свой жертвенник под древо вольности?» В другом письме к тому же Ивановскому, Бочков в пространной и цветистой аллегории разъясняет значение Бестужева для истории русской словесности, заключая ее характерной припиской: «Прошу вас, ради самого неба, любезнейший Александр Андреевич, для славы родины сохранить все, что осталось от нашего молодца-вожатого; если бы и вздумали опять своротить назад, тогда покажите нам этот маяк, и мы кое-как опять след найдем».[3] Так говорят только о мертвых. Очевидно, Бестужева навсегда уже вычеркнули из литературных рядов; он перестал быть активно действующей лите-

---

[1] Записки П. Ф. Гаккеля от 14 декабря 1825 г.//Летопись занятий Историко-археографической комиссии. 1927. Вып. 1. С. 248—250.

[2] *Хомяков А. С.* Сочинения. СПб., 1900. Т. 8. Приложение. С. 26. Ср. также: А. Д. Боровков и его записки//Русская старина. 1898. № 11. С. 340—341.

[3] Русская старина. 1889. № 8. С. 116—117.

ратурной силой: вождем, застрельщиком литературных споров, с которым могли не соглашаться, но с мнением которого нужно было считаться, наконец, неутомимым редактором и организатором литературных изданий.

В таком убеждении была значительная доля правды. Сент-Бев, говоря однажды о причинах сравнительной непопулярности Шенедолле среди поэтов романтической группы, готов был объяснять ее исключительно индивидуальными особенностями его личности. По его мнению, этот тихий и скромный мечтатель, всегда старавшийся быть незаметным, болезненно-застенчивый и безразличный к прославлениям, меньше всего заботился об упрочении своей поэтической славы и этим сильно повредил ей. «Произведения, взятые сами по себе, — писал Сент-Бев, — ничего или немного значат для утверждения литературного имени: нужно еще, чтобы при этом присутствовала личность автора, их защищающая или объясняющая, которая могла бы внушить безразличным интерес к своим произведениям или наоборот, отвратить от этого. У человека, которого встречаешь каждый вечер, который обладает умом или располагает деньгами, — у него не спрашивают его титулов; ему охотно доверяются; его имя у всех на устах». Действительно, в разыскании источников и оснований какой-либо литературной репутации всегда приходится учитывать и этот момент личного, порой даже внелитературного участия писателя в деле создания им своей популярности. Но здесь дело обстояло еще и так, что в лице Бестужева сходил с литературной сцены не только повествователь, но и критик, стоявший во главе боевого литературного направления, вступившего в открытую борьбу с еще сильными старыми традициями и требовавшего непрерывных схваток и настоящих сражений. Совершенно очевидно, что авторитет Бестужева как литературного критика и журналиста мог быть создан только его *личным* влиянием, в потоке непрерывной журнальной работы, в смелых выпадах против отдельных лиц, в побеждающей остроте его «ответов» на «ответы», в отважной и стойкой защите своих литературных позиций; натиск кончился с устранением главного действующего лица. Продолжай Бестужев свою критическую деятельность в ссылке, она не вызвала бы уже столь страстных споров, поскольку за своими статьями не стоял он сам, ежеминутно готовый к обороне и нападению; вынужденное отдаление от столиц, фактическое прекращение участия в текущей журнальной работе, наконец, потеря литературного имени, были равнозначны полному устранению из литературы. Казалось, что для такой деятельной, страстной, неутомимой натуры, каким был Бестужев, это должна была быть поистине физическая смерть.

Во всяком случае имя его, как имя «государственного преступника», сначала заточенного в крепости, а потом сосланного в Сибирь, не смело больше появляться в печати. Правда, о произведениях его осторожно и глухо вспоминали несколько раз, боясь называть автора, но такие упоминания были случайны и

редки.[4] Имя Бестужева стало постепенно забываться. Уже в ближайшее к восстанию десятилетие немногие помнили о том, что с именем этим связывались когда-то первые успехи романтической критики в России, громкие некогда споры и победы в журнальных баталиях, но и для тех, кто на заветных полках своих книжных собраний берег томики «Полярной звезды», ставшей «опасной» книгой, Бестужев был прежде всего другом и соратником Рылеева, одним из деятельных участников 14 декабря.

Мы знаем теперь, что литературная деятельность Бестужева прекратилась в сущности на самое короткое время, что после тревог следствия и суда он вскоре возвратился к ней, как к единственному влечению сердца. Но это не было средством успокоения, проявлением умственной деятельности, единственно возможной в тяжелых условиях изгнания, как было со многими декабристами, которые сделались писателями, исследователями, учеными, когда другой род деятельности стал для них невозможен. Для Бестужева литературная работа была органически необходима. Признание в одном из его якутских писем, что он не желает готовить произведений «на обклейку стен» (письмо братьям 25 декабря 1828 г.) свидетельствует, однако, что сам по себе творческий акт не мог его удовлетворить. Ему нужно было видеть свои произведения в печати, поэтому уже в 1828 г. Бестужев подумывал о пристройстве своих «пустячков» в столичных журналах. Хотя сношения с редакциями, даже через третьих лиц, не были совсем безопасны, но в попытках этих он имел некоторый успех. Известную роль, впрочем, могли здесь сыграть его старые, еще не совсем заглохнувшие литературные связи.

Уже в заключении в Финляндии (в «Форте Слава»), в обстановке, далеко не благоприятной для творчества, Бестужев начал поэму «Андрей, князь Переяславский», которую продолжал писать и в Якутске.[5] Здесь же был им написан ряд стихотворений, которые

---

[4] Так, например, «Московский телеграф» (1827. Ч. 18. С. 70) для доказательства плохой осведомленности европейской журналистики в русской литературе отметил как курьез, что в «Journal général de la littérature étrangère» за 1827 г. объявляется о недавнем (?) выходе в свет «Поездки в Ревель», напечатанной в 1821 г., т. е. шесть лет тому назад. В следующем году П. П. Свиньин напечатал в «Отечественных записках» (1828. Ч. 33. № 93) свою статью «И моя поездка в Ревель» с таким примечанием: «В 1821 году издано было описание Ревеля, под названием: „Поездка в Ревель". Но как сочинитель оной был там в зимнее время и внимание свое преимущественно обращал на изыскание или обозрение древностей и достопамятностей города, то главное достоинство его книжки и заключается в цветистом слоге и игре воображения». Мы можем указать только на один случай полного упоминания его имени, относящийся, впрочем, уже к началу 1830-х гг. В предисловии к роману своему «Клятва при гробе Господнем» (М., 1832. Ч. 1. С. XI—XII) Н. Полевой говорит: «Первые опыты настоящих исторических повествований явились еще в 1822 году (sic!) в Полярной звезде. Разумею здесь повести А. Бестужева „Роман и Ольга", „Ревельский турнир", „Замок Нейгаузен". Это были первые опыты настоящего исторического русского романа».

[5] Русский вестник. 1861. № 3. С. 293; *Якушкин И. Д.* Записки. СПб., 1905. С. 124; Русский вестник. 1870. № 5. С. 240, 258.

тогда же попали в печать, разумеется без подписи.[6] В то же время увидели свет и другие его произведения, как старые, так и новые. В «Невском альманахе» (1827) Егора Аладьина была перепечатана повесть из не вышедшей в свет «Звездочки» (1826),[7] а в 1828 г., благодаря посредству А. А. Ивановского, отдельной книжкой, без ведома автора, был напечатан и «Андрей, князь Переяславский». Все эти произведения были, конечно, безымянны, но любопытно, что поэма обратила на себя некоторое внимание и, следовательно, заставила гадать об ее создателе. Интересное указание находим в рецензии на эту книгу «Московского вестника».[8] «Об авторе этой повести в Москве ходят разные слухи. Мы, по нашему обыкновению, будем смотреть на произведение, а не на лицо». Любопытно было бы знать, какие именно слухи носились вокруг этой книги и кого узнавали в ее сюжете и слоге. Несомненно, что сам Бестужев еще больше усилил их, обратившись, также анонимно, в редакцию «Московского телеграфа»[9] с протестом против опубликования отрывка своей поэмы в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (1831. № 31) за подписью некоего Петрова. Писатель, и здесь себя не назвавший, заявлял о своих литературных правах. Естествен был вопрос, что именно заставляет его так тщательно скрывать свое имя? Что заинтересовавшиеся этой литературной историей в конце концов могли узнать, кто был настоящим автором поэмы, показывает ответ Бестужеву Н. Петрова, напечатанный в следующей книге того же журнала.[10] Принося свои извинения и приписывая «наглый поступок» издателю «Инвалида» А. Ф. Воейкову, Петров спешил уверить Бестужева, что он принадлежит к числу «усерднейших почитателей его литературных произведений, как прежних, так и нынешних». Но как бы там ни было, совершенно очевидно, что этот случайный эпизод журнальной по-

---

[6] Написанные в Сибири стихотворения Бестужев посылал родным с просьбой устроить их для печати (Русский вестник. 1870. № 5. С. 248, 249, 251). В письме к Ф. Булгарину из Дагестана (1830) Бестужев признавался: «...некоторые стихотворения, рассеянные в периодических изданиях, написаны мною» (Русская старина. 1901. № 2. С. 397), а Полевому (1831) он писал: «В „Сыне отечества" по временам печатаются мои стиховные грехи»... (Русский вестник. 1861. № 3. С. 302). Все эти стихотворения печатались без подписи и найти их очень трудно, за исключением тех, которые позднее вошли в XI часть его Собрания сочинений. В 1830-х гг. Бестужев окончательно обратился к прозе. Но в «Московском телеграфе» (1831. Ч. 12) без подписи еще напечатан «Шебутуй» (Водопад Саянского хребта), с датой: «1829, Иркутск», представляющий вариант к перепечатке в сочинениях, где изменен и подзаголовок (Водопад Станового хребта) и прибавлена новая заключительная строфа.

[7] Когда было замечено, что в «Невском альманахе» были перепечатаны и другие произведения «Звездочки», возникло цензурное дело. См. о нем в статье: *Н. Д.* «Полярная звезда» и «Невский альманах» (Русская старина. 1901. № 11. С. 265—269), в статье М. И. Семевского «Альманах „Звездочка"» (1826), в «Сборнике статей, недозволенных цензурой в 1862 г.» (СПб., 1862. Т. 2. С. 221—225) и в журнале «Русский архив» (1869. № 7. С. 53—60).

[8] Московский вестник. 1828. Ч. 10. С. 298.

[9] Московский телеграф. 1832. Ч. 44. С. 293.

[10] Там же. Ч. 45. С. 216—218.

лемики бросился в глаза только профессионалам и любителям литературных сплетен. Обвинение Воейкова в недобросовестности было делом обычным и не могло составить сенсации, да и самая книга Бестужева, бывшая недолгое время предметом разговоров и обсуждений, не могла остановить на себе слишком пристального внимания читателя. Бестужев сам остроумно вышутил свое произведение, не считая его ни удачным, ни достойным критического разбора. Не забудем также, что на этот раз Бестужев появился в далеко не свойственной ему роли — создателя исторической повести в стихах. Все это, таким образом, свидетельствует о том, что Бестужев был еще не совсем забыт.

Но и для таких толков и предположений, какие вызвал «Андрей, князь Переяславский» — пусть только в узкой профессиональной среде, — должен был вскоре наступить конец. С 1830 г. Бестужев стал появляться в печати под именем Александра Марлинского, впоследствии столь знаменитым. Вместо анонимных или подписанных интригующими инициалами произведений под статьями его стояло теперь настоящее имя, нисколько не похожее на псевдоним. Первые крупные произведения Бестужева, посланные им в столичные редакции после катастрофы, носят еще неопределенные обозначения: так, «Испытание» и «Вечер на кавказских водах» в «Сыне отечества» 1830 г. подписаны А. М.; в следующем году, в том же журнале, «Наезды» отмечены инициалами А. Б., но уже «Лейтенант Белозор», первая повесть, имевшая большой успех и заслужившая себе всеобщее признание, имеет полную подпись: «Александр Марлинский». «...Если вы в „Сыне отечества“ будете читать что-нибудь с подписью Марлинского, это мое», — сообщает Бестужев своим братьям.[11]

«Вторая слава» приходит к нему чрезвычайно быстро; через несколько лет после своего возвращения к регулярному сотрудничеству в журналах, Бестужев уж пишет брату: «За меня журналисты чуть не дерутся на перехват... Читал ли ты *Аммалата*, *Белозора* и другие?».[12] И что это не пустое хвастовство, показывает хотя бы история с «Библиотекой для чтения», включившей его имя в состав сотрудников, без его позволения.[13] Читатель также скоро отметил

---

[11] Русский вестник. 1870. № 6. С. 500.

[12] Отечественные записки. 1860. № 5. С. 158.

[13] Уведомляя об издании в 1834 г. «Библиотеки для чтения», журнала, произведшего большой эффект и быстро распространившегося в публике, издатель его Смирдин выставил в числе сотрудников всех знаменитейших писателей своего времени — Пушкина, Гоголя, Крылова, Вяземского, Давыдова и т. д., в том числе и Марлинского. Узнав об этом, Бестужев рассердился не на шутку. В резких выражениях он сообщал об этом брату, а также К. Полевому: «Прилагаю мой ответ на выходку Смирдина. Мерзавец! Как смел он играть мною! Или думал не известя меня даже о своем издании, купить мое слово или молчание деньгами!» (Отечественные записки. 1860. № 6. С. 339, а также с. 328, примеч.). В бумагах последнего отыскался и текст этой «апелляции», в которой говорилось между прочим: «Хотя я и считаю себя не более, как червячком в печатном мире, но все-таки не хочу, чтобы меня вздевали г-да спекуляторы на уду для приманки подписчиков, без моего спроса и согласия»; поэтому он просит «пропечатать в „Телеграфе“», что «не только не

новое литературное имя и выделил его из десятка других. В увлечении писателем сыграло на этот раз некоторую роль то обстоятельство, что ряд его крупных произведений был напечатан одно за другим в сравнительно краткий промежуток времени. Популярность создается частым упоминанием имени и тем прочнее, чем это имя мелькает чаще; плодовитость, разлив творческих сил всегда вызывает удивление и в конце концов может победить самое упорное равнодушие. Но здесь успеху способствовали и удачный выбор темы, и новизна сюжетов, и своеобразие творческой манеры. Его повести появились в момент напряженного интереса к прозе, почти одновременно с «Повестями Белкина» и «Вечерами на хуторе...», в тот период нашей литературы, когда стали падать лирические жанры и вся она, по выражению Белинского, «превращалась в роман или повесть». Бестужев сразу же занял господствующее положение и стал в первые ряды. У него выпрашивают статьи в альманахи, его сотрудничества добиваются, перед нам заискивают. Та же журнальная братия, к которой он льстиво и покорно обращался несколько лет назад с осторожным напоминанием о себе и предложением сотрудничества, славит его как «первого прозаика» и «нашего лучшего повествователя». В литературу вошел новый писатель — Александр Марлинский.

Позволительно теперь задать вопрос, в каком соотношении находилась эта «вторая слава» к первому периоду его деятельности, столь же богатому успехами и победами на литературном поприще? Связывались ли в сознании читателей в одном живом лице эти два имени, одно — опороченное и запретное, и другое — получившее столь неожиданную и быструю славу? Стоял ли за именем Марлинского образ Бестужева, напоминающий о себе и разъясняющий многое в его теперешних писаниях? Тщательный анализ литературной обстановки приводит нас к убеждению, что о настоящем имени Марлинского в 1830-е гг. знали только немногие, и опять прежде всего лица, стоявшие близко к журнальным сферам. Рядовая читательская масса — а именно ей был на этот раз обязан Бестужев своей долгой и завидной популярностью — едва ли об этом догадывалась. В начале 1820-х гг. Бестужев был известен главным обра-

буду, но и не хочу быть сотрудником г-на Смирдина», что «не только из сочинений моих, но из моего имени даже не продавал и не обещал я ему ни буквы» (Русский вестник. 1861. № 4. С. 452—453). Это внушительное заявление не увидело света; от напечатания его отказался сам Бестужев, узнав, что его сестра дала Смирдину согласие на участие брата в его журнале. «Как ни досадно было мне это, — писал Бестужев по этому поводу Е. П. Торсон, — но там, где ссылаются на слово сестры, я — пас» (Русский вестник. 1870. № 7. С. 52—53). Не отказываясь теперь от сотрудничества, Бестужев, однако, ставит свои условия: вместо 300 рублей за лист, которые предлагает ему Смирдин, он требует 5000 погодно и «если он при каждом первом числе просрочит три дня уплатою, я считаю договор разорванным» (там же. С. 53). Смирдин согласился на эти условия, и Марлинский сделался постоянным сотрудником его журнала. Я. И. Костенецкий, вспоминая об этой истории, приводит несколько иные цифры, а самые переговоры Бестужева относит не к Смирдину, но к редактору журнала — О. И. Сенковскому, замечая при этом: «Так дорого ценились тогда сочинения Марлинского» (Русская старина. 1900. № 12. С. 448).

зом как критик и публицист; несколько его исторических повестей были, правда, также замечены, но именно к «вальтерскоттовскому» жанру он теперь более не обращался; романтические повести, с сильным бытовым и этнографическим уклоном, писались в совсем иной манере. Пока сам Бестужев не перепечатал свои старые произведения в собрании своих сочинений, трудно было думать, что автор «Ревельского турнира» и «Аммалат-Бека» — одно лицо. Но и тогда, когда эта перепечатка как будто напомнила о настоящем авторе «Русских повестей и рассказов», имя Бестужева не могло больше играть никакой роли: альманахи были забыты, а в книжках старых журналов могли справляться только библиофилы. Лишь очень начитанные в старой журнальной литературе должны были знать, что и самый псевдоним был придуман Бестужевым не теперь и что, создавая себе новое имя, он воспользовался своим старым прозванием, которое шутя, но не без тайных полемических целей он сам присвоил себе в начале 1820-х гг. Оно было употреблено им тогда несколько раз,[14] но он не любил им злоупотреблять, предпочитая выходить на турниры с открытым забралом, и вскоре оставил его; мы не встречаем его по крайней мере после 1822 г., с тех пор как один из его злейших противников П. А. Катенин в своей полемике с О. Сомовым упомянул о «критике, скрывающемся иногда от любопытных под именем Марлинского» (Сын отечества. 1822. Ч. 77. С. 124). Едва ли кто помнил теперь об этих случайных эпизодах старой журнальной перебранки; характерно, что об этом забыли и последующие критики, и перемену его имени связывали именно с арестом и ссылкой: «Il se nommait Bestoujeff, — пишет о нем Делаво, корреспондент и переводчик Герцена и Тургенева, пропагандировавший в 1850-х гг. русскую литературу во Франции, — mais compromis dans la révolte du 14 décembre il reçut le nom de Marlinsky en Sibérie ou il avait été exilé».[15]

Итак, нужно думать, что превращение Бестужева в Марлинского осталось тайной редакционных и журнальных кругов. Для рядовых читателей эпохи Бестужев безвозвратно исчез из литерату-

---

[14] Бестужев М. (Воспоминания бр. Бестужевых. Пгр., 1917. С. 81) указывает, что псевдонимом «Марлинский», взятым от имени Марли под Петергофом, где стоял Бестужев со своим полком, подписана его первая критическая статья. Это не точно. М. И. Семевский свидетельствует, что этот псевдоним появился впервые под статьей Бестужева в «Сыне отечества» (1821. Ч. 68. С. 263—265), см.: Отечественные записки. 1860. № 5. С. 131; ср. разъяснения А. Н. Креницына (там же. № 7. С. 56—57). В действительности же он употреблялся Бестужевым и раньше: под стихотворением его «К некоторым поэтам» (Благонамеренный. 1820. № 7. С. 58) стоит: А. М-ий. Ср. «Письмо к Марлинскому» (Благонамеренный. 1820. Ч. IX), а также «Письмо к Марлинскому» (О. Сомова)//Невский зритель. 1821. Ч. 5. С. 56—65. П. А. Плетнев писал Гроту в 1841 г. по поводу рисунка дома Марли близ Петергофа: «Кстати: отсюда явилось прозвание Марлинского, употребленное им за несколько лет до роковой истории, потому что он, служа в конных гренадерах, жил в Петергофе» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 414).

[15] Journal pour Tous. 1856. № 77. P. 399. Перевод: «Его фамилия была Бестужев, но, скомпрометированный в восстании 14 декабря, он в Сибири, куда был сослан, стал называться Марлинским».

ры в 1826 г.; читателю нового поколения, который знал и любил Марлинского, имя Бестужева было чуждо. Недаром в одной из своих поздних критических статей (о «Клятве при гробе Господнем» Н. Полевого) Марлинский свободно мог с похвалой говорить о повестях Александра Бестужева, не боясь обвинений в нескромности или авторском тщеславии. В. Богучарский даже поставил вопрос: «...знал ли Белинский истинное имя и судьбу того, кто скрывался под именем Марлинского?»[16] и отвечал на него не без колебаний. Но если Белинский действительно «вращался в слишком осведомленной в литературных и общественных делах среде, чтобы этого не знать», то это было простительно рядовому читателю. М. И. Семевский подтверждает это на основе своих юношеских воспоминаний: «Не зная нередко подлинной фамилии Марлинского, — говорил он, — читательницы слагали о нем разные баснословные рассказы».[17] «Кстати о Марлинском, — почему никто не смеет назвать его по имени?» — спрашивал Николай Бестужев своего брата Павла в 1838 г., т. е. уже после смерти А. Бестужева.[18] Он недооценивал, видимо, строгостей русской цензуры, не помнил о той ненависти, с какой к этому имени относился сам Николай, написавший однажды на рапорте о смягчении участи ссыльного солдата, задыхавшегося в обстановке казарм и унижений: «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью».[19] Вспомним, что даже в пору его наибольшей популярности портрет его не обращался среди публики и что еще в 1839 г. неосторожная попытка обнародовать изображение всеобщего любимца вызвала правительственную бурю и громкое цензурное дело.[20]

---

[16] *Богучарский В.* Из прошлого русского общества. СПб., 1904. С. 83—84. Утвердительно отвечал на этот вопрос И. И. Ясинский (Марлинизм//Ежемесячные сочинения. 1903. № 1. С. 47, 48).

[17] Отечественные записки. 1860. № 5. С. 122.

[18] Бунт декабристов. Л., 1926. С. 370.

[19] *Щеголев П.* Из резолюций имп. Николая I о декабристах//Голос минувшего. 1913. № 11. С. 199.

[20] К первому тому альманаха Смирдина «Сто русских литераторов» (СПб., 1839) был приложен портрет Бестужева, гравированный с акварели, которая была сделана каким-то его «добрым приятелем на Кавказе» и прислана им К. Полевому (Русский вестник. 1861. № 4. С. 467). Появление портрета вызвало целый переполох. По воспоминаниям Р. М. Зотова, книгу привез государю вел. кн. Михаил Павлович и показал, что вместе с портретом Михайловского-Данилевского здесь был и портрет Бестужева. «Цензура пропустила эту книгу, и III отделение не видало, что вместе с генералом поместили и бунтовщика», — жаловался вел. князь (Исторический вестник. 1896. № 9. С. 594). Дело началось расследованием. А. В. Никитенко записал в своем дневнике 15 марта 1839 г.: «Получен грозный высочайший запрос, кто осмелился пропустить портрет Бестужева... Книга подписана мною, но портрет пропущен в III отделении Собств. Канц. Государя. Неизвестно, чем кончится суматоха». На следующий день Никитенко узнал, что портрет подписан Ольдекопом, но «беда, кажется, обрушится на Мордвинова», ближайшего помощника Бенкендорфа (Записки и дневник. Ч. 1. С. 293—294). Так действительно и случилось: Мордвинов был отставлен от службы. Портрет Бестужева был вырезан из книги, но публика нашла выход из положения: «У многих почитателей памяти Бестужева, — свидетельствует Семевский, — я видел картинку, приложенную к заключению повести „Мулла-Нур" (она напечатана в этом же смирдинском

Тем интереснее подчеркнуть, что сам Марлинский всячески старался открыть своему читателю свое настоящее имя и осторожно напомнить о своей прежней деятельности. Это желание сквозит иногда между строк его повествований.

Учитывая сравнительно малое распространение журналов, Бестужев вскоре же после первых одобрительных отзывов критики стал мечтать об отдельном издании своих произведений. Он пишет сестре 11 декабря 1830 г.: «...попроси к себе Смирдина или Сленина, предложи им: не хочет ли купить их, для напечатания вместе трех: „Замка Эйзена", „Испытания" и „Вечера на Кавказских водах"».[21] Характерно, что в предполагаемую книгу включена и старая повесть из «Звездочки» («Замок Эйзен»), о цензурной истории которой Бестужев не мог не знать. В таких мечтах и проектах материал для переизданий все более увеличивался за счет его старых произведений: это нужно объяснять сознательным желанием напомнить о первых годах своей популярности. Первые томики «Русских повестей и рассказов» явились в свет только в 1832 г., однако без имени и даже без псевдонима. Здесь мы находим не только новые произведения, но и ряд старых, эпохи «Полярной звезды»; хотя Бестужев и говорил, что включил в это издание свои «изношенные повести» ради денежных выгод, но в письме к сестре сквозит иное настроение: «Почему не все мои сочинения напечатаны — не ведаю, но я дал доверенность Полевому на издание остальных». Отсюда же его разочарование, что книга вышла без имени автора: издатели «обещали, наверное, издать под собственным именем, уверяли, что это уже позволено, и потом молчок».[22]

Эта борьба писателя за право своей личности должна была, конечно, оставить следы и в его творчестве. Надежда на восстановление своего настоящего имени не сбылась; осталось напоминать о себе самом, о пережитой трагедии, об условиях теперешней жизни.

Бестужев охотно и часто говорил о себе в своих произведениях. Чем сильнее подавлялась его личность в обстановке изгнания и солдатской жизни, тем ярче становилась индивидуалистическая

альманахе). Дело в том, что изображенного здесь кавалерийского офицера они принимали за портрет Бестужева» (Отечественные записки. 1860. № 7. С. 98). Свободное распространение портрет Бестужева получил только в 1860-е гг., но связанная с ним цензурная история долго не забывалась. Когда в 1843 г. группа литераторов возымела желание издать биографию М. Ф. Орлова и приложить к книге его портрет, П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Разве не знаете, что здесь цензора пострадали и что сам Мордвинов был отставлен за портрет Марлинского-Бестужева?» (Остафьевский архив. 1899. Т. 4. С. 234). Причина отставки А. Н. Мордвинова глубоко врезалась в память деятелей III отделения и не была забыта ими еще в 1862 г., когда всю эту историю помянули вновь ввиду прошения издателя сочинений М. Л. Михайлова, уже осужденного на каторгу, приложить к изданию портрет Бестужева: это, разумеется, не было разрешено (подробности см. в кн.: *Поляков А. С.* О смерти Пушкина. Пб., 1922. С. 75).

[21] Русский вестник. 1870. № 6. С. 502.

[22] Русский вестник. 1861. № 4. С. 433. Ср. в письме Н. Гречу 9 марта 1833 г. (Голос минувшего. 1917. № 1. С. 268—269).

тенденция в его творчестве. Отсюда все его страстные попытки к подвигу, ко всему, что нарушило бы привычный до нестерпимого однообразия строй жизни. В сфере литературной то же настроение разрешалось цепью беллетристических произведений, проектировавших на бумаге его личную, идеально воображаемую жизнь. Страстность его героев, непрерывно произносящих длинные лирические тирады, находила причину в нем самом. «Мои повести, — писал он однажды, — могут быть историей моих мыслей. Я положил себе за правило не удерживать руки». Любопытно, что об этом догадывалась и современная ему критика, подчеркивая родство автора с его героями, «которые все носят фамильное сходство, — все, как две капли воды, похожи на отца».[23]

Такая тенденция сказывалась, конечно, и в прежних его произведениях, потому что была ему органически присуща, но она стала еще сильнее в годы ссылки и службы на Кавказе. Неудивительно, что в одном из своих ранних опытов, «Поездке в Ревель», Бестужев бросает ряд автобиографических указаний:[24] в основе рассказа лежат воспоминания о действительно совершенном путешествии. Когда одну из своих критических статей Бестужев заканчивает словами: «Далее писать некогда: мне пора на дежурство»,[25] — мы понимаем, что это просто бравада, юношеская шалость, своего рода кокетство и поза. Недаром «драгунская полемика» Бестужева, по слову Рылеева, так раздражала его противников не столько своей запальчивостью и смелостью своих отдельных приговоров, сколько просто даже самым фактом выступления молодого офицера в качестве литературного судьи. Основное возражение его противников сводилось к тому, что Бестужев, еще «недавно вылезший из пелен рассудка», уже «осмеливается судить и рядить о русской литературе и производить в великие люди».[26] «Я предвидел, — писал сам Бестужев, — что старожилы на меня возопиют за неслыханную дерзость: в моих летах рассуждать вслух».[27] Десяток лет спустя аналогичная сплетня о «недоучившемся студенте» Белинском, как известно, сильно вредила распространению его взглядов. Литературная сплетня вообще чаще всего пользуется биографическим материалом: вспомним, что «карловская мыза» Булгарина была в 1820-е гг. столь же известна, как и «винный завод» Н. Полевого. Пушкин не раз протестовал против таких приемов борьбы, но нужно помнить также, что в эту эпоху сранительно небольшая русская литературная семья сама шла навстречу любопытству читателей, невольно делая и публику соучастницей своих литературных бесед: отсюда распространенный тип приятельских посланий, с разъяснением в примечаниях лишь беседующим понятых намеков и автобиографических признаний, с прозрачными звездочками вместо имен,

---

[23] Северная пчела. 1833. № 39.

[24] *Марлинский А.* Второе полн. собр. соч. СПб., 1847. 4-е изд. Т. 2, ч. 6, С. 11, 14.

[25] Сын отечества. 1823. Ч. 83. № 4. С. 174.

[26] Русская старина. 1890. № 8. С. 382.

[27] Сын отечества. 1823. Ч. 83. № 4. С. 174.

которые подсказываются рифмой. Все это было в традициях эпохи, в обычаях литературных нравов. Но в 1820-е гг. Бестужев был у всех на виду; его встречали в театре, на заседаниях литературных обществ; он сам хотел быть замеченным. Поэтому и в его ранних произведениях автобиографический элемент был не слишком силен и едва ли мог привлечь к себе особенное внимание. Не то было теперь. Перед читателями было только имя автора и его произведение; автобиографические признания имели другой смысл и значение. И если учесть психологию читателя романтической эпохи с ее интересом к личности автора, с ее исканиями прототипов для действующих лиц повествований (см., например, предисловие к «Герою нашего времени»), то не будет ошибкой предположить, что и литературный успех Марлинского и некоторая таинственность, все же окружавшая его имя, и отсутствие в публике достаточно несомненных о нем биографических фактов, — все это только способствовало интересу к его личности, возбуждало разнообразные слухи, плодило сплетни и анекдоты и в конце концов сложилось в прочную и своеобразную легенду о нем. Анализ ее источников и составит предмет дальнейшего изложения, но сейчас важно подчеркнуть, что Бестужев сам немало способствовал ей своими писаниями. Из его рассказов и повестей без труда можно было реконструировать личность автора: он давал для таких усилий воображения самый подходящий материал. Приведем лишь несколько примеров.

О брате своем Николае Бестужев вспоминает в эпилоге «Лейтенанта Белозора» и, начиная с этого времени, часто рассказ или описание прерывают у него декламативные монологи насыщенного лирического стиля, в котрых он вспоминает и свое детство, и свою юношескую мечту о карьере моряка, притом всегда от своего имени, в первом лице. Характерный пример дает нам «Фрегат Надежда»: «И ты, море, бурный друг моей юности! Как горячо любил я тебя в старину, как постоянно люблю доныне! Отрок, я играл твоими всплесками; юноша, я восхищался твоими зеркальными тишинами и грозными бурями с вышины мачты. Праздники были мне те дни, те недели, которые мог я проводить на палубе, вырвавшись из душной столицы, сбросив свинцовые цепи педантизма» и т. д. Писатель не останавливается на этих намеках, автобиографический смысл которых слишком ясен, но идет дальше, увлекая читателя с собой в область своих воспоминаний: «Море, море! Тебе хотел я вверить жизнь мою, посвятить способности. Я бы привольно дышал твоими ураганами; валы твои побратались бы с моим духом <...> Статься может, моя молодость проспала бы, как чайка на твоих бурунах; статься может, отшельник света в плавучей келье, не знал бы я душевных гроз в заботе от гроз океана... но судьба решила иначе». И писатель, забывая о своем повествовании, незаметно для себя, от этих волнующих воспоминаний о детстве и юношеских исканиях поприща обращается к настоящему, описывая себя и свою теперешнюю жизнь. Весь смысл этого лирического монолога именно в этом сопоставлении. «Ты не моя, прекрасная стихия, но я все еще люблю тебя, как разлученного со мной брата,

как потерянную для себя любовницу! Сколько раз <...> сожалел я, в грязи биваков, о зыбкой койке на кубрике, в которой засыпал, внимая журчанию скользящей вдоль борта воды над самым ухом и повременному оклику вахтенного лейтенанта на рулевых: Держи вест-зюд-вест! — Есть так. — Полшлага еще! — Есть. — Держи так! — Есть так. И теперь, с холодным сердцем, не могу я глядеть на зыбкую степь твою, по коей рыщут дружины волн, внимать твоему реву и ропоту; ты говоришь мне родным языком, ты веешь мне стариною. Люблю я мечтать, склонясь над тобою, и переживать то, чего давно нет; люблю вскачь пускать коня моего вдоль песчаного берега, разбрызгивая твою пену, и любоваться — как волны смывают мгновенный след мой! — Это мое былое и будущее».[28]

Тирада кончена, тяжелым и слишком искусственным кажется возвращение к прерванному повествованию. Как бы навязывая эти мысли своему герою, автор в эту минуту забывает, что его идеальный моряк никогда не знал «грязи биваков» и что в сцене любовного vis-à-vis так некстати третий — хотя бы и сам автор — со своими юношескими мечтами и сокрушенными надеждами. Но читатель может воспользоваться этим отступлением, и образ автора на минуту заслонит для него образ стоящих перед ним героев повести. Морские воспоминания, особенно яркие и устойчивые,— потому что с ними слились лучшие надежды юности — особенно часто попадаются в его произведениях. Но столь же часто он вспоминает о родине, с которой разлучен не по своей воле. Ветер с Каспия своими «гармоническими переливами» напоминает ему «говор родных, давно разлученных со мной», «голоса друзей, давно погибших для сердца, пение соловьев над Волховом, звон столичного колокола» («Прощание с Каспием»).[29] Его лирические монологи пользуются всеми темами его жизни, как прошлой, так и настоящей; мы найдем в них глухие намеки даже на то событие, которое оказалось для него особенно роковым — восстание 14 декабря. Как иначе истолковать эти слишком для нас прозрачные указания в том же «Прощании с Каспием»? «Ты был моим единственным другом в несчастии... Как обломок кораблекрушения выброшен был я бурею на пустынный берег природы, и, одинок, я... научился бескорыстно наслаждаться ею. Но, кроме того, меня влекло к тебе сходство твоей судьбы с моею судьбою. Ниже других и горче других твои воды. Заключенное в песчаную тюрьму диких берегов, ты — одинокое — стонешь, не сливая волн твоих ни с кем. Ты не ведаешь ни прилива, ни отлива, и даже в порыве гнева не можешь перебросить буруна своего за черту, указанную тебе перстом довечным». «Да, Каспий! во мне есть много стихий твоих, в тебе много моего, много — кроме воли и познания вещей. Ты не можешь быть иначе как есть, — а я мог! Скажу вместе с Байроном: Тернии, мной пожатые, взлелеяны собственной рукою; они грызут меня, кровь брызжет. Пускай! Разве не знал я, каковы плоды должны созреть

---

[28] *Марлинский А.* Второе полн. собр. соч. Т. 3. Ч. 7. С. 104—105.
[29] Там же. Т. 4. Ч. 10. С. 10—12.

от подобного семени! [«Child Harold's pilgrimage»] <...> Не охотно расстаюсь я с тобой, но свидеться опять не хочу... Разве ты постелешь волны свои широким путем на родину?».[30]

Не потому ли эти страницы так восхитили А. Дюма? Он увидел здесь не риторику, но прочел в них подлинное волнение многострадавшего сердца и, рассказывая о трагедии декабриста, привел именно эти страницы в своем переводе.[31]

Подобные примеры можно было бы значительно увеличить, но это не составляет нашу задачу. Среди всех этих автобиографических признаний, сознательно или бессознательно включенных в повествование, — в данном случае это безразлично — особенно интересно отметить попытку Бестужеваа опубликовать свое *частное* письмо, в котором Бестужев немало внимания уделил себе самому. Речь идет о «Письме к доктору Эрману» — немецкому исследователю, с которым он познакомился в Якутске в 1829 г., — напечатанном в самом начале его «второй популярности» в «Московском телеграфе» (1831. № 17. С. 37 и след.). Включение его в собрание сочинений Марлинского заставляет предполагать, что Бестужев дорожил им как биографическим документом, вручаемым в руки читателю. В самом деле, чем вызвано его опубликование? В отношении собственно литературном оно отнюдь не значительнее многих других личных писем Бестужева братьям, сестрам, Полевым, не предназначавшихся для печати. Правда, именно Полевой находит, что это живописное описание путешествия по Сибири является «ярким, блестящим, неподражаемым очерком» и что в известной степени благодаря ему «нынешний путь от Иркутска до Якутска довольно известен»,[32] но оно дает гораздо больше, чем только описание дорожных впечатлений; его собственно научная часть, с изложением геологических теорий, гипотезой о происхождении ледников, пересыпанной солью шуток и острот, производит впечатление искусной маскировки автобиографических признаний. В конечном счете оно представляется мне возможно подробным описанием его сибирской жизни и переезда на Кавказ, т. е. рассказом о весьма важном, переломном моменте его жизни. «Признаюсь, сам не подозревал я, чтобы из Якутска, где с Вами виделся, так быстро перелетел на берега Каспия <...> Но вы, господа ученые, любите хронологический порядок». И потому Бестужев подробно рассказывает о своем пути. Зашла речь о спутнике Эрмана, лейтенанте Дуэ, который позже остался в Сибири для магнитных наблюдений; он, бедный, скучал по своей невесте, и они говорили с Бестужевым «о счастии в супружестве»: «Прекрасная душа!.. блажен, кто так горячо верует надежде! Когда-то и я гонялся за этой бабочкой, не видя камня преткновения, брошенного под ноги рукой судьбы... Но не в этом дело». «Долг звал меня за тридевять земель <...> Я в 23 дня проехал верхом 2600 верст и еще двести на повозке. Ровно

---

[30] Там же.
[31] *Dumas A.* Impressions de voyage. Le Caucase. Paris, 1889. T. 1. P. 328.
[32] *Полевой Н.* Очерки русской литературы. СПб., 1839. Ч. 2. С. 191—192.

через месяц от холмов Саянских я уже был под тенью Эльбруса и Бештау. Оттуда обновилась боевая жизнь моя <...> Теперь я живу, т. е. дышу в Дербенте <...> Если б из учтивости вы спросили меня: что я делаю? По совести я отвечал бы: ничего. Да и как делать? Ни книг, ни досуга. По четкам памяти перебираю, что знал, что любил; на крыльях воображения порываюсь порой в то, что хотел бы узнать». «Мыслящему существу отрадно беседовать с человеком, понимающим его: это для меня же такой редкий праздник!.. Я считаю себя счастливым, встретив ученого минералога Гессе в Иркутске, встретив вас и Дуэ в Якутске. Ганстеена едва не застал я в Красноярске. С Гумбольдтом... разъехался ночью близ Ишима».[33]

Что нужно еще для биографии его за три с лишним года? Здесь даны намеки и на недобровольное пребывание его в Сибири, мотивирован переезд его на Кавказ («долг звал меня...») и очень недвусмысленны жалобы на то, что для него слишком редким праздником является возможность беседовать с человеком, его понимающим... Приходится удивляться тому, как «Письмо к доктору Эрману» увидело печать в те самые годы, когда так следили за тем, чтобы произведения декабристов не появлялись в печати. Помещение в том же «Московском телеграфе» невинной баллады декабриста Чижова «Нуча» на Якутскую тему (эта баллада послана была в журнал, кстати, вероятно, Бестужевым же), вызвало целое цензурное дело.[34] Еще в 1847 г. просьба некоего Н. Александрова о разрешении ему напечатать некоторые произведения Марлинского, не вошедшие в прежнее издание его сочинений, среди них и несколько писем к братьям и Н. А. Полевому, не была удовлетворена на том основании, что «первые три письма писаны из Якутска, а в четвертом [Бестужев] описывает путешествие его на Кавказ», т. е. как раз то, что составляло содержание письма к Эрману. «Хотя в письмах сих нет ничего важного, но они напоминают о ссылке и жизни Бестужева как политического преступника... Также о своем изгнанничестве и разные неуместные мысли».[35] Читатель бывал порой искуснее цензора в чтении между строк; если же он искал автобиографических указаний, он и в сочинениях Бестужева мог найти их с избытком.

Со времени выхода в свет «Аммалат-Бека» (Московский телеграф. 1832) имя Марлинского тесно связалось с Кавказом. «Кавказские очерки», в течение ряда лет печатавшиеся в «Библиотеке для чтения» (1834, VI; 1835, XII; 1836, XV, XVII), а также и другие его повести на кавказские темы вплоть до «Муллы-Нура» должны были еще более усилить это впечатление. Отныне в его произведениях Кавказ занял первенствующее место. Описания военных действий русских войск, явно сделанные их свидетелем и участником, щегольство знанием туземного быта и языков, частые экскурсии в

---

[33] *Марлинский А.* Второе полн. собр. соч. Т. 1. Ч. 3. С. 139 и след.
[34] *Кубалов Б.* Декабристы в Восточной Сибири. Иркутск, 1925. С. 65.
[35] Былое. 1925. № 5. С. 114—115.

область кавказской истории и этнографии — все это были указания на местопребывание автора и на характер его теперешней жизни и занятий. Читатели смогли сделать только один вывод — Марлинский непременно должен был быть кавказским офицером; на это наталкивало множество подробностей в его сочинениях. А это в свою очередь должно было еще прибавить любопытства к его личности. Герои кавказской войны были тогда вообще в большой моде: вспомним хотя бы Лермонтова, который получил громкую известность, побывав в Грузии и Дагестане; «...с наступившим зимним сезоном (1838 г.) его вырывали друг у друга», — свидетельствует его биограф.[36] А. Н. Муравьев, близкий свидетель, вспоминает о том же, замечая по этому поводу: «Вообще юные воители, возвращавшиеся с Кавказа, были принимаемы как герои. Помню, что конногвардеец Глебов (друг Лермонтова), выкупленный из плена горцев, сделался предметом любопытства всей столицы. Одушевленные рассказы Марлинского рисовали Кавказ в самом поэтическом виде».[37] Соединение в одном лице писателя и участника кавказских событий, таким образом, должно было показаться особенно счастливым и сделать Марлинского объектом всеобщего внимания. И в его страстно лирическом описании кавказских красот, и в специальном подборе автобиографических указаний, столь щедро рассыпанных в его сочинениях, не без основания заставлявших предполагать, в какие отважные экспедиции пускался повествователь, в какие рискованные положения он только ни попадал, — для читателей его эпохи заключалась особенная привлекательность. Его кавказскими повестями зачитывались и увлекались поминутно думая об авторе их. «Его собственная личность возводилась в какой-то идеал героя, — вспоминает М. И. Семевский,— в него влюблялись заочно прелестные почитательницы таланта автора „Аммалат-Бека"».[38] Недаром Бестужеву однажды пришло в голову даже заочное сватовство.[39]

А этот отважный искатель приключений, храбрый офицер, неутомимый наблюдатель, незаметно внушал своему читателю свой идеальный, героический образ. В «Мулла-Нуре», например, в описании переправы Искендер-Бека через бушующий горный поток вставлена целая страница — практическое руководство для тех, кому доведется совершать подобные переправы, и весь отрывок заканчивается характерными словами, которые должны были бросить в трепет его поклонниц: «Говорю об этом вместо маяка для тех, кого судьба проведет на Кавказ. Я потерял одного товарища детства,

---

[36] *Висковатов П.* М. Ю. Лермонтов. М., 1891. С. 308—309, 342—343.

[37] *Муравьев А. Н.* Знакомство с русскими поэтами. М., 1871. С. 26.

[38] Отечественные записки. 1860. № 5. С. 122. Ср. свидетельство С. С. Шашкова: «Не одно сердце провинциальной барышни пылало романтической любовью к таинственному автору „Аммалат-Бека"» (Дело. 1880. № 11. С. 116).

[39] Отечественные записки. 1860. № 7. С. 73. Н. Котляревский не без основания предполагает, что героиней этого романа была одна из восторженных поклонниц Марлинского (Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев. СПб., 1907. С. 205).

оттого что он не сумел управить конем в ничтожной речонке; он был измолот».[40] Вот жизнь, полная опасностей и тревог, посреди суровой природы, среди врагов явных и тайных! Вот идеал романтического героя, любителя сильных ощущений, страстного искателя житейских бурь и новых впечатлений, с лавой вместо крови, поэмами вместо ответов на житейские вопросы! Такова была жизнь, к которой неудержимо влекло и его читателей; Марлинский не только увлекал, но и заражал своим примером. «Мне было 17 лет, — рассказывает А. Л. Зиссерман, — когда, живя в одном из губернских городов, я в первый раз прочитал некоторые сочинения Марлинского. Не стану распространяться об энтузиазме, с каким я восхищался Аммалат-Беком, Мулла-Нуром и другими очерками Кавказа; довольно сказать, что чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю, с ее грозною природою, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом, высокими, вечно покрытыми снегом горами и прочими прелестями, неминуемо воспламеняющими воображение семнадцатилетней головы».[41] И, воспламененные рассказами Марлинского, на Кавказ летели юные романтики, забывая о том, что действительность была часто неприглядней повествования. «Увлекала меня мечта попасть на Кавказ, — рассказывает В. Л. Марков, — с его героями-горцами и русскими удальцами, с его поэзией опасности, воспетой музой Марлинского и Лермонтова»; и что же: «...я встретил зверообразного поручика, фухтеля, гауптвахту, требующую жертв дисциплины и никогда не сытую ими, школьничающих юнкеров и безответных солдат».[42] Так умирала легенда, так нежданно заканчивались романтические мечтания. Фон-дер-Ховен, встретившийся с Марлинским на Кавказе, так описывает свою с ним встречу. «Благодаря вашим чудным описаниям природы Кавказа я попал сюда, — сказал он Марлинскому, садясь с ним в лесу за импровизированный завтрак во время привала. — С восторгом читал я их в Петербурге, и настроенное воображение мое жаждало убедиться в действительности. Я просился сам в командировку на Кавказ, и теперь, находясь подле вас, творца прелестной повести „Мулла-Нур", восклицаю вашими же словами: „Кто мне даст голубиные крылья взлететь на темя Кавказа!" Вот я здесь, на темени кавказских гор, без голубиных крыльев, и взошел я на него, вполне разочарованный. Что мне все эти прелести природы, когда я, измученный трудами кавказской войны, не в силах ими восхищаться? Не хочу ни крестов, ни чинов, — а только бы отпустили душу мою на покаяние; — предвидя такие труды, я никогда бы сюда не за-

[40] *Марлинский А.* Второе полн. собр. соч. Т. 3, ч. 9. С. 77—78.

[41] *Зиссерман А. Л.* Отрывки из моих воспоминаний//Русский вестник. 1876. № 3. С. 52. Литературные указания относительно воздействия, какое оказал Марлинский на своих читателей, я собрал в статье «Тургенев и Марлинский» (Творческий путь Тургенева/Под ред. Н. Л. Бродского. Пгр., 1923. С. 167—201; см. также наст. изд., с. 135—162. — *Ред.*).

[42] Николаевский офицер [Марков В. Л.]. Воспоминания уланского корнета//Наблюдатель. 1895. № 10. С. 229.

глянул! Бестужев с улыбкою внимал правдивому рассказу моему и хотел ответить, но в это время раздался сигнал: „вперед!“ Я поспешил в цепь, а он остался на месте».[43]

Рассказы о тяготах кавказской жизни в столицах прибавляли воителям ореол мученичества и героизма. Приезжавшие в отпуск офицеры смешивали в своих рассказах вымысел с действительностью, хвастовство с подлинными воспоминаниями. В представлении обывателей Кавказ сделался в конце концов страной людей долга и чести, чудаков и разочарованных мечтателей, куда ехали для того, чтобы потопить свое горе, в поисках смерти или обновляющих душу впечатлений. Но Марлинский в столицах не появлялся, и о нем циркулировали странные рассказы.

Источниками сведений о нем были теперь уже не только его собственные произведения. Рассказы о Марлинском попадали в Россию двумя путями: благодаря офицерам, ездившим в отпуск, и через Кавказские воды, с их курортными сплетнями и толками любопытствующих обывателей. На роль этих курортных разговоров в передаче о нем фантастических рассказов указывал уже и сам Бестужев. История Ольги Нестерцовой, по неосторожности убившей себя на квартире Бестужева выстрелом из револьвера, и слухи о возникшем по этому поводу судебном разбирательстве достигли столиц в приукрашенном виде. Узнав об этом, Бестужев писал Ксенофонту Полевому: «Не дивлюсь, что слух об этом происшествии достиг до вас, — *это через Кавказские воды.* Воображаю, какое раздолье было вышивать по этой канве досужим рассказчикам: люди так любят все чудесное. Естественный ход вещей для них не в угоду. Впрочем, и признаться надобно, что в судьбе моей столько чудесного, столько таинственного, что и без походу, без вымыслов она может поспорить с любым романом Виктора Гюго».[44] Через Кавказские воды или иными путями, но подобные слухи о Марлинском часто попадали в Россию и быстро распространялись в публике. Когда в 1832 г. проносится слух о том, что он убит, он тотчас же получает тревожные запросы от своих столичных доброжелателей.[45] Свидетельством того, как быстро доходили в столицу иногда даже самые интимные подробности о его жизни, может служить следующий эпизод.

В 1835 г. в «Библиотеке для чтения», в хронике журнала, помещена была небольшая заметка: «Мы получили прискорбное известие, что А. Марлинский был долгое время болен и что здоровье его еще не восстановилось. Одно это обстоятельство доселе лишает наших читателей удовольствия наслаждаться в Библиотеке для Чтения трудами этого блистательного писателя. Мы надеемся, однако ж, скоро получить от него несколько статей».[46] Известие это

---

[43] *Фон-дер-Ховен И.* Мое знакомство с декабристами//Древняя и новая Россия. СПб., 1877. Т. 1. С. 221.

[44] Русское обозрение. 1894. № 10. С. 827.

[45] Русский вестник. 1861. № 3. С. 322.

[46] Библиотека для чтения. 1835. Т. 9. С. 55 (книга вышла в конце марта).

с такой скоростью облетело столицу, что уже через несколько дней по выходе в свет книги Бенкендорф специально запросил кавказского корпусного командира, бар. Г. В. Розена, — «известно ли ему, что Бестужев страдает биением сердца и что ему несколько раз уже пускали кровь?» (3 апреля 1835 г.). Бар. Розен, находившийся тогда в Петербурге, в тот же день отвечал, что до него действительно доходили сведения, что Бестужев страдает означенною болезнью, но что о кровопускании ему ничего неизвестно. Между тем слухи, занимавшие столичных читателей, не замедлили оправдаться: письмом от 13 мая 1835 г. Бестужев уведомлял командующего кавказской линией, что «с января сего года явились во мне судорожные биения сердца, которые сам я и доктор приписывали излишеству крови» и просил разрешения уехать в Пятигорск для лечения, что и было ему разрешено, но повлекло, впрочем, новые для него неприятности.[47]

Такую исключительную осведомленность столичных читателей приходится объяснять в данном случае простой случайностью: источником ее была, по-видимому, заметка в «Библиотеке для чтения», быть может, также приезд Бестужева на модный курорт. Но обычно он жил в кавказской глуши и был недосягаем для тех, кто любопытствовал его видеть; немногие лица, ведшие с ним переписку, также едва ли охотно оглашали признания его частных писем и раскрывали таинственность, окутавшую его имя.

Главными агентами в распространении известий об авторе «Аммалат-Бека» являлись кавказские офицеры. Именно им принадлежит формирующая роль в развитии легенды о Марлинском. «Помню, как теперь, — рассказывает В. Савинов, — что являвшиеся на Кавказ, в какой бы то ни было край его, тотчас же, при первом знакомстве, заводили со старыми офицерами беседу о Марлинском; явишься ли, бывало, погостить на месяц в столицу — и до крайности или через край блажен; девы, особенно девы, перестают бросать томные взгляды, даже забывают, что им необходимо выдать себя замуж, роем обступают вас, молодеют, глаза у них превращаются в глазенки, и после вопроса: вы с Кавказа? Да? давно? — Несколько дней! — Скажите, там ведь ужасно: умирают и убивают? — Случается.— Опасно там? — И не ожидая рассказа об удивительных ужасах, которых в самом-то деле, по совести, и нет, уж прямо спрашивают: А что Марлинский? Ах, милашка Марлинский! Ах, Аммалат-Бек... бедный полковник! Скажите: Салтанета еще жива?.. Но сам-то Марлинский, сам-то он где теперь? Правда, что он главнокомандующим у Шамиля? — Фи, Варя! замечает одна из любопытных; брат писал, что он только командует там артиллерией! — А вот и неправда, перебивает какая-нибудь назойливая спорщица; он занят только своим собственным, ему сродным делом — издает в горах газету. — Скажите, замечает старая мечтательница,

---

[47] Изложение этого эпизода см. в статье: *Берже А. П.* А. А. Бестужев в Пятигорске в 1835 г.//Русская старина. 1880. № 10. С. 417—422.

поправляя свой парик, — воображаю, сколько в этой газете пламенем писанных рисунков с природы... вот бы почитать!».[48]

Другой современник вспоминает, что когда он вернулся с Кавказа, его забросали вопросами: «Правда-ли, что Шамиль — это Марлинский, устроивший так, что будто он убит в сражении, а между тем бежавший к горцам и ставший их предводителем?».[49] Третий, также кавказский офицер, записывает в своем путевом дневнике впечатление от маленького домика, «некогда занимаемого Марлинским», куда случай привел его ненадолго поселиться, во время стоянки батальона: «...две комнатки, из которых одна разделена перегородкою и освещена окном, обращенным к морю, служили для него полным помещением. Здесь он предавался мечтам своим, давал волю воображению, подслушивая жизнь природы Кавказа, смело и небрежно рисовал своим волшебным пером дикие красоты его, знакомил нас с нравами и образом жизни горцев, забавляя, увлекая живостью и остротою своего рассказа».[50]

В середине 1830-х гг. в Петербурге появился молодой кавказский офицер — П. П. Каменский, быстро получивший известность как беллетрист и, между прочим, вызвавший к себе интерес именно благодаря знакомству своему с Марлинским. Он вскоре появился в доме гр. Ф. П. Толстого и одержал победу над его дочерью. «Умный малый и, кроме того, красивый собой, Каменский очень понравился отцу моему, — вспоминает М. Ф. Каменская. — Я тоже заинтересовалась этим юным литератором, который добровольно из Петербургского университета отправился служить юнкером на Кавказ, получил там солдатский георгиевский крест и сделался закадычным другом Марлинского <...> У нас по воскресеньям собирались литераторы, а с появлением в нашем доме кавказской новинки, молодого друга Марлинского, их стало собираться еще больше». Увлечение это кончилось свадьбой. О друге и учителе мужа было немало рассказов, хотя он и не стоит в центре воспоминаний: «Александра Марлинского я совсем не знала; мне на память о нем достался после его смерти только серебряный эполет».[51] «Друг Марлинского» — кавказский офицер — был в эти годы достаточно типичной фигурой.

В повести Е. А. Ган «Любинька» (1841) изображен некий Заркин, который, «послужив всю жизнь в военной службе» и выйдя в отставку, «при случае декламировал отрывки из „Аммалат-Бека“ о диких красах Кавказской природы; часто намекал о геройских подвигах своих в экспедициях против горцев и называл себя задушевным другом Марлинского, как все служившие в последнее десятилетие на Кавказе, в доказательство чего показы-

---

[48] *Савинов В.* Куда девался Марлинский//Семейный круг. 1858. № 1. С. 11—12.

[49] Русский вестник. 1877. № 3. С. 82.

[50] *А. Б.* Дагестан в 1841 г.//Кавказ. 1846. № 8. С. 29.

[51] *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 51, 365. Воспоминания М. Ф. Каменской//Исторический вестник. 1894. № 10. С. 55; № 12. С. 632.

вал собственноручную записку его, в которой покойный литератор просил выслать ему из Тифлиса сахару и чаю».[52]

Не один из таких рассказов о Марлинском подвергся тогда же и литературной обработке. В 1830-х гг. в рукописных копиях ходила по рукам апокрифическая страница «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина, якобы не увидевшая света за описание встречи с Бестужевым на Кавказе: «Я кочевал с утеса на утес, ободряя то шпорами в бока, то гладя по шее моего борзого горца. Привыкший ко всем ужасам Кавказских картин, конь мой, прядая ушьми и осторожно переступая с ноги на ногу, морщил свои огненные ноздри. Я завидел вдали всадника в чудной одежде. Он летел и, казалось издали, падал со скалы на скалу. Мы поровнялись — то был Бестужев! Целованья, обниманья, безответные вопросы и ответы не на вопросы были следствием этой неожиданной и приятной для нас обоих встречи. Мы еще — и в сотый раз обнялись, и пошли дельные друг другу вопросы. Бестужев рассказал мне о своем житье-бытье. Я его слушал, читая половину его жизни в этих слезах, которые нежданно оросили его огненные очи. Я понял, каково его существование, я понял, что жизнь ему не дороже полушки. Он говорил мне, что давно уже ищет возможности окончить со славой и честью свое опятнённое плавание по океану жизни. „Я жажду ветров, говорил он, я жажду бурь, где бы мог явить себя спасителем существ, счастливых более, чем я... О, если эта рука когда-нибудь могла бы покрыться кровью врагов отечества и смыть печать заблудшегося сердца, я с радостью, с благоговением к тому, кто мне послал бы этот случай, принес бы в жертву самого себя, а что мне жизнь теперь!“ Он не окончил еще рассказа, я не успел еще стряхнуть с себя слезу ребячества, несносно щекотавшую мне глаз, — как всадник мой исчез. Гляжу, оглядываюсь — нет его! В пять прыжков конь вынес меня на острие скалы: внизу, в ужасной глубине шумит река, и в волнах плещется Бестужев! Я обмер от страха. Он рухнулся стремглав в чернеющую бездну, я испугался, а он, шалун Бестужев, он махает шапкой и кричит: „Не бойся, Пушкин, я не умер... Я жив еще, к несчастью моему... но вот, мой друг, как дорого ценю я жизнь!“».[53]

Л. Н. Майков доказал, что мы имеем дело с подлогом: путешествовавший по Кавказу Пушкин не мог в первых числах июня 1829 г. встретиться с Бестужевым, который в это время был еще в Иркутске.[54] Но интерес этого литературного документа этим не ослабляется; перед нами одна из читательских легенд о Бестужеве, носящая на себе, кроме того, следы несомненного подражания самому Марлинскому: стоит сравнить этот рассказ с эпизодами «Мулла-Нура» или «Андрея, князя Переяславского». Уже это сопостав-

---

[52] *Ган Е. А.* (Зенеида Р—ва). Полн. собр. соч. СПб., 1906. С. 634—635.

[53] *Мартьянов П. К.* Встреча А. С. Пушкина с А. А. Бестужевым на Кавказе//Исторический вестник. 1885. № 11. С. 413; без изменений перепечатано в его книге «Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки: Статья и заметки» (СПб.,1893. Т. 1. С. 162—164).

[54] *Майков Л. Н.* Пушкин. СПб., 1899. С. 383—385.

ление может убедить, что приведенный рассказ записан только в конце 1830-х гг., притом лицом, несомненно хорошо осведомленным о том стремлении Бестужева «вывести себя в расход», которое все сильнее овладевало им в последние годы перед смертью. Мы знаем, что желание свое Бестужев в конце концов привел в исполнение. 8 октября 1836 г. Бестужев был переведен из 5-го Черноморского батальона в 10-й, а первого июня следующего года при высадке у мыса Адлера во время одной из схваток с горцами он был поражен пулями и изрублен шашками: тела его не нашли. Это было замаскированное самоубийство.

Таким образом, и смерть его облечена была такой загадочностью, что должна была вызывать недоверие, недоумения и сбивчивые рассказы. Случай и здесь содействовал тому, чтобы таинственность, окружавшая его имя, еще сильнее сгустилась вокруг его безымянной могилы. Обстоятельства сложились так, что о смерти его узнали только лишь близкие ему лица и что поэтому долгие годы о ней рассказывались самые фантастические предания.

Известие о смерти Бестужева быстро облетело Кавказскую линию и всех его наиболее близких друзей: раньше других извещены были его братья. «Любезный Павел Александрович, — писал 3 июля 1837 г. офицер Николай Титов. — Так как вы мужчина, то с вами церемониться нечего и приготовлять вас к горестным известиям не нужно. По последнему донесению бар. Розена, в списках убитых при десанте на мысе Адлере значится: прапорщик линейного № 10 батальона Бестужев. Об этом мне сейчас сказал Пейкер, служащий в военно пехотной канцелярии». Через день (5 июля) Павел Бестужев сообщил об этом своим старшим братьям в Петровский острог: «Не стану долее скрывать от вас горькой для нас всех новости: брат Александр убит. Что мне еще прибавить к этому известию? Довольно трех букв этого ядовитого слова, чтобы прожечь и не братнюю душу».[55] М. А. Бестужев свидетельствует в своих «Записках» о потрясающем впечатлении, какое произвело на них это известие, несмотря на то, что «все, а особенно мы с братом были уже к этому подготовлены и письмами его, в которых пробивалась его решимость — искать смерти, и уже заметным намерением правительства *вывести его в расход*».[56] Сохранилось письмо Николая Бестужева, полное самого искреннего горя, в котором он старался утешить старуху-мать: «Говорить нечего, любезная матушка, сколько мы были поражены общим нашим несчастьем, — писал он здесь. — <...> Если потеря его ничем не может быть заменена ни для вас, ни для нас, — будем, по крайней мере, искать утешения в той высокой и честной памяти, которую он оставил по себе нам и всем соотчичам своим. Здесь все его оплакивают, как родного; мы уверены, что и у нас память его не умрет безгласна. И в самом деле: поставленный судьбою в положение самое трудное для сил

---

[55] Русский вестник. 1870. № 7. С. 83.

[56] Русская старина. 1881. № 1. С. 603. Ср.: Воспоминания Бестужевых. М., Л., 1951. С. 223.

человека и моральных и физических, он силою ума и твердостию поведения одержал совершенную победу над удручавшими его моральными обстоятельствами; под чужим именем сделал себе имя; под гнетом судьбы устроил семейство; в изгнании сделался любимцем публики».[57] Н. И. Лорер в письме от 20 ноября 1837 г. кратко сообщал об этом А. Ф. Бриггену,[58] а бар. В. Штейнгель писал М. А. Бестужеву: «Александра для нас, Марлинского — для русских не стало! Горько, Михайло! Какая-то благородная рука сильно выразила в журнальном листке эту неизгладимую потерю для всех». Это была статья упомянутого выше П. П. Каменского, в которой, между прочим, говорилось: «Вот еще разбитая лира, еще исчезнувшая знаменитость литературная; еще утраченный писатель: Марлинский умер...». «Не станем пересчитывать произведений этого цветистого, радужного пера, не станем называть поименно его живых, огненных рассказов, его роскошных, очаровательных повествований. Кто их не знает, кто не читал и не перечитывал?». И свою краткую характеристику творчества Марлинского Каменский заключал следующими словами: «И все это было, и всего этого не будет более... Марлинского нет! Он скончался в поре зрелого мужества. Русская литература долго не забудет такой утраты!».[59]

Анонимная статья Каменского, затерявшаяся в малораспространенном издании, была единственным фактическим указанием на смерть Марлинского, тогда же появившимся в печати;[60] мы знаем, впрочем, что она была прочтена и оставила впечатление. Один из его юных почитателей записал в своем интимном дневнике после выписки из этой статьи: «Вот первый отчаянный вопль над свежим прахом царя прозаиков. Бестужева нет! Все, что составляло европейскую славу нашу, — погибло! Пушкина нет! Взгляни, как плачет русская земля! За что караешь ее так жестоко? В непродолжительном времени даровал ты нам трех великих Александров. Все они были царями в своем назначении. Александр I — спаситель наш, царь народа русского; Александр Пушкин — царь поэтов; Александр Бестужев — царь прозаиков. Сколько отрады пролили они в души людей! Сколько счастья готовили еще нам! Но ты, Боже, отнял их! Они угасли на заре жизни! Жестоко! Несправедливо!».[61]

А. В. Никитенко 5 июля записал в дневнике: «Новая потеря для нашей литературы: Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литература!».[62] Мать жены декабриста Н. Д. Фонвизиной —

---

[57] Русское обозрение. 1894. № 10. С. 834. О письме этом упоминает и М. И. Семевский (Отечественные записки. 1860. № 7. С. 81), но оно тогда осталось неразысканным.

[58] Литературный вестник. 1901. № 7. С. 234.

[59] Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1837, 7 августа. № 32. С. 315.

[60] Глухо упомянул о ней, впрочем, и Н. Полевой в своем «Очерке русской литературы на 1837 г.» (Сын отечества. 1837. № 1, отд. 4. С. 61).

[61] *Абрамов И.* К характеристике читателя пушкинского времени//Пушкин и его современники. Пб., 1913. Вып. 16. С. 104.

[62] *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 201.

Мария Павловна Апухтина — оплакивала смерть Марлинского в следующих выражениях: «Ах, как жаль этого прекрасного и достойного любви человека! Кроме того, что он был отличный литератор, он еще был человек редких качеств душевных и благодетель всего семейства. И я хотя не знала его лично, но много любила его сочинения, прелестные и очаровательные. Сердечно жалею о нем. Свалились у нас в России маковки поэтические: жаль обоих! [т. е. Пушкина и Марлинского]».[63] В стихотворении М. Демидова «На смерть Пушкина» вновь сопоставлены их имена:

Вот и другой питомец шумной славы
На высоте Кавказа снеговой
Пал жертвою войны кровавой
За славу родины святой.[64]

Но несмотря на эти случайно проскользнувшие в печать сведения о его смерти и на такие факты, как посвящение В. Зотовым своей поэмы «Последний Хеак» (СПб., 1843) «Памяти Пушкина, Марлинского и Лермонтова», в конечном результате о смерти его были осведомлены очень немногие. В приказах по полкам Кавказского корпуса в официальном сообщении «Русского инвалида» значился Бестужев, а не Марлинский, каким его знали все; но и в самой смерти его было что-то странное и таинственное, располагавшее к догадкам и размышлениям.

Один из сослуживцев Бестужева, записав рассказ о его смерти еще в 1844 г., замечает между прочим: «...почти ежедневно случается мне слышать рассказы о его смерти, не заключающие в себе ни малейшей истины», и потому ему было бы весьма приятно, «если б эти очень простые строки истины дошли до почтенной матери Марлинского, которую он нежно любил, до его братьев и друзей».[65] Известно несколько рассказов о подробностях этой трагической гибели, не только не совпадающих в деталях, но иногда вполне исключающих друг друга: в них пробовал разобраться М. Семевский, обращением которого большая часть их и была вызвана.[66] Впоследствии опубликованы были дополнительные материалы, не только не разрешающие вопрос, но запутывающие его еще больше. М. М. Федоров свидетельствует, что на Кавказе вскоре после смер-

---

[63] *Шенрок В. И.* Одна из жен декабристов//Русское богатство. 1894. № 11. С. 129, примеч.

[64] *Демидов М.* Ау. М., 1839. С. 65.

[65] *К[авелин] Л.* Последние минуты Марлинского//Иллюстрация. 1848. Т. 6. № 24. С. 376—378.

[66] Известен рассказ очевидца его смерти, отставного капитана Ф. Д. К. (Отечественные записки. 1860. № 7. С. 99—100); этот рассказ вызвал другое сообщение подпоручика К. А. Давыдова в Московских ведомостях (1861. № 24) и был также перепечатан Семевским с комментариями (Русский вестник. 1870. № 7. С. 80—82). Составляя эти противоречивые рассказы, Семевский сожалел о том, что «подробностей о смерти Бестужева крайне недостаточно» и обращался к еще живым в 1870 г. свидетелям его смерти с просьбой сообщить ему некоторые подробности (там же. С. 78—83). Выдержки из этих рассказов см.: *Богучарский Б. Я.* Из прошлого русского общества. СПб., 1904. С. 77—80.

ти Марлинского пошли рассказы о его славной смерти. Говорили, что «цепь Бестужева, одушевленная его примером, занеслась слишком далеко в лес и, будучи окружена внезапно появившеюся толпою горцев, легла на месте», когда же подоспевший секурс собрал убитых и раненых, Бестужева между ними не оказалось: «Это обстоятельство породило много нелепых о нем слухов и толков. На четвертый день после десанта, в набеге нашем на ближайший аул, при одном убитом мулле нашли пистолет Бестужева, о котором лазутчики рассказывали, что горцы, уважая его храбрость и необыкновенную ловкость при защите себя шашкою, взяли его тяжело израненного в аул, где он, от большой потери крови, на другой день умер». «Это извещение заслуживает полного вероятия», — прибавляет рассказчик.[67] По известию Фон-дер-Ховена, однажды «горцы принесли в укрепление Навагинское, устроенное на мысе Адлер, богатое золотое кольцо для продажи, которое признано знавшими покойного [Бестужева] за принадлежавшее ему. Они же говорили, что тело нашли уже так разложившимся и палец раздутым, что снимать кольцо не старались, а отрубили палец вместе с кольцом».[68] С течением времени таких рассказов прибавлялось все больше и больше. «Как туманна для публики была жизнь этого писателя в последние 11 лет его жизни, — пишет Семевский, — так безвестны были подробности и его кончины. Между тем личность его, а следовательно и судьба, интересовала всю грамотную читавшую Россию. Мудрено ли после этого, что о смерти этого любимейшего в свое время романиста пошли всевозможные рассказы и басни? Иные говорили как лица, слышавшие от очевидцев, другие как бы самоличные свидетели смерти Бестужева».[69] Подобные рассказы долго обращались особенно среди кавказских офицеров. Еще в 1858 г. А. Дюма слышал рассказ о смерти Бестужева со слов некоего кн. Тарханова, объяснявшего ее самоубийством на романтической подкладке после эпизода с Ольгой Нестерцовой.[70] Составлялись целые циклы подобных легенд, которые попадали и в печать: одно из таких преданий В. Савинов обработал в увлекательный рассказ «Куда девался Марлинский».[71]

В. Савинов начинает с указания, что «в минуту его смерти или лучше сказать *пропажи* все девицы и дамы, гусары и чиновники, друзья и недруги жадно желали знать: куда девался горячий умница-инженер, увлекавший всех своими рассказами», но все «курьезные и странные» слухи об этом, которые ему пришлось слышать и записать, по его мнению, только «усиливают мрак, в котором исчезает до сих пор истина о последних минутах Марлинского».

---

[67] *Федоров М. М.* Походные записки на Кавказе 1835—42 гг.//Кавказский сборник. 1879. Т. 3. С. 80—81.

[68] *Фон-дер-Ховен И.* Мое знакомство с декабристами//Древняя и Новая Россия. 1877. Т. 1. С. 221—222.

[69] *Семевский М. М.* А. Бестужев на Кавказе//Русский вестник. 1870, № 7. С. 78, примеч.

[70] *Dumas A.* Impressions de voyage. Le Caucase. Paris, 1889. T. 1. P. 291.

[71] Семейный круг. 1858. № 1. С. 1—21.

Застигнутая непогодой группа офицеров на Кавказе заходит искать приюта на хуторе некоего Петранди, где встречается с сумасшедшей девушкой — воспитанницей Марлинского. Разговор, естественно, начинается о нем и об его загадочной смерти. Радушный хозяин передает об этом все, что ему довелось слышать. Петранди возмущен небылицами, которые до сих пор с охотой повторяют о нем кавказские офицеры: «Перво-наперво рассказывали, что Марлинский передался, бежал в горы... Такие я вам доложу находились сказочники, которые уверяли, что на следующий год его бегства глазами своими бессовестными не раз видели, что будто разъезжает себе на белом коне наш Искендер, одни говорили, что он в папахе абрека, другие узнали его в рукопашном деле, где будто бы он с отборными наездниками бросался рубить наши каре, сам, как рак закованный в стальную и медную шелуху... Дело это раз покончилось очень невыгодно для одного болтуна. Товарищ и большой друг Марлинского, капитан З—в, убил под Темир-Хан-Шурой на дуэли этого рассказчика. Некий Владимирский мещанин, коробочник, в Ставрополе уверял, что видел Марлинского в Лезгистане, где он будто бы женился и живет домком, часто в тайне от наших пленных выкупая их на свободу». «Тут уже пошло, кто во что горазд: любовишку, изволите видеть, присочинили, да мало этого: рассказывали, что он с шайкой молодцов разбойничает в горах Лезгистана». «13-го линейного батальона, стоявшего в Анапе, штабс-капитан, теперь слепой П—й, за самую истину выдавал, что де он сам у лейтенанта Р—на видел в спирте спрятанный мизенец от правой руки Марлинского». Много было таких рассказов, но Петранди, отвергнув чужие вымыслы, предлагает свой: сумасшедшая девушка-черкешенка, которая живет у Петранди, была взята девятилетним ребенком после убийства ее родителей на воспитание Марлинским и потеряла рассудок после смерти ее приемного отца. Один из слушателей его рассказа, молодой офицер Ганф, очень похожий на Марлинского, в конце концов женился на Нине: он был убит в 1844 г., и в этот же день умерла и Нина, не выдержав второго удара. Приведены выдержки из его дневника с таким примечанием: «Сам ли писал эти строки Ганф или почерпнул их из какой-нибудь нечаянной найденной рукописи Марлинского — этого мы положительно сказать не можем».

Впоследствии тот же рассказ о девочке, спасенной Марлинским из разграбленного аула и помешавшейся после его загадочного исчезновения, с несколькими новыми подробностями передал и П. В. Быков со слов своего отца, прибавив к нему ряд других легенд, ходивших о Марлинском.

Рассказ о «Владимирском мещанине», ездившем в Лезгистан и видевшем там Марлинского, принял здесь такую форму: «Досужая фантазия умудрилась даже отыскать какого-то разносчика, который забрел к лезгинам и в одной богатой сакле встретил русского, доброго и приветливого. Он купил у торговца весь товар, дал ему провожатых и записку, велев ее показать главнокомандующему нашей армии. И главнокомандующий прочел эту удивительную запис-

ку, которую затем послал с фельдъегерем некоему высокопоставленному лицу. Вот что она гласила: „Я в плену. Меня зорко сторожат. Я опутан какой-то сетью. Но мне хорошо, меня ласкают и лелеют; у меня пять жен. Вере отцов моих я не изменил и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, которое даст мне славу и заставит побледнеть моих врагов. Привет братьям и всем, кто в счастье не забыл подневольного изгнанника Александра Бестужева“. Разносчик был вытребован куда следует; ему выдали солидную сумму на дорогу и приказали вернуться в Лезгистан и передать Бестужеву запечатанный пакет. А в листе бумаги было написано всего несколько слов: „Александру Бестужеву не сметь возвращаться до полного покорения Кавказа, иначе он сгниет в крепости“».[72]

Среди таких легенд у Быкова заново рассказана и та, о которой писал и В. Савинов, но с прибавлением некоторых новых подробностей; здесь сохранено и имя Нины, воспитанницы Бестужева, спасенной им в горском ауле, и весь рассказ об ее спасении. Но П. Быков прибавляет, что чем больше росла Нина, тем чаще Бестужев признавался ее крестному отцу, «что его чувство к ней растет с каждым днем, что он любит ее больше жизни и все меньше и меньше любовью отца». «Однажды приехал он пасмурный и на себя не похожий — сердитый, неласковый. Сухо поздоровался с Ниной, слегка оттолкнул любимую собаку, ползавшую у его ног, и скоро ушел в свою комнату. Целую ночь он что-то писал, что-то жег; вскакивал со стула, мерил комнату учащенными шагами. И Нина и ее крестный отец не спали, страдая за него. А когда, истомленные, они задремали и с первыми лучами рассвета проснулись, стали прислушиваться, что делается в комнате Бестужева, — их поразила мертвая тишина, царившая в ней. Не сговариваясь, они на цыпочках подошли к его двери, приотворили ее — и остолбенели. Комната была пуста... Масса сожженной бумаги валялась в разных местах — и только. Никакой записки не было. Марлинский исчез невидимкой, исчез навеки... Нина в тот же день сошла с ума... Собака исчезла навсегда».[73]

Подведем итоги. Изучая источники и основания какой-либо литературной репутации, приходится иметь дело со сложными процессами общественной психологии. Существенно бывает определить и момент личного, внелитературного участия писателя в деле создания им своей популярности, и то отношение к его личности, какое складывается в среде его читателей. Формы литературного успеха поддаются сейчас лишь самому приблизительному исследованию и описанию, но именно в этом вопросе может помочь разыскание следов того воздействия, какое писатель оказал на своих современников не только своими произведениями, но и своей личностью, историей своей жизни. Последняя в представлении читателей часто не

---

[72] *Быков П. В.* Загадка (Из легенд о Бестужеве-Марлинском)//Нива. 1912. № 52. С. 1039.

[73] Там же. С. 1010.

совпадает с действительной, как она раскрывается историку и биографу, но процесс сложения такой биографической легенды может многое объяснить в устойчивости и длительности влияния произведений, которым она сопутствует и дополнением которых она служит. С такой точки зрения изучение легенды о Марлинском представляет особый интерес. На этом примере острее и ярче можно проследить один из типичных путей, по которым идет развитие всякой вообще литературной легенды. Но этот писатель, потерявший свое имя и дважды создававший себе литературную славу, одинокий государственный преступник, в борьбе за право своей личности победивший преграды, которые ставило ему наказание и общественное равнодушие, имеет полное право и на наше внимание.

II

ИСТОЧНИКИ ПОВЕСТИ „АММАЛАТ-БЕК"

В специальной литературе по кавказоведению прочно установилось мнение, что сочинения Марлинского сыграли незначительную роль в деле популяризации в русском обществе исторических и этнографических сведений о Кавказе. «Очерки Марлинского, — пишет, например, Е. И. Козубский в своей обширной «Библиографии Дагестанской области», — равно как и некогда знаменитые повести его из жизни дагестанских горцев («Аммалат-Бек», «Мулла-Нур»), способствовали только распространению ложных понятий о Кавказе вообще и о Дагестане в частности. Марлинский был только в Тарках и в Дербенте; все же почти, что он рассказывает о горах, составляет плод его воображения. К тому же очерки крайне бессодержательны».[1] Отзыв этот кажется пристрастным и слишком суровым. Нельзя отрицать прекрасного знакомства Бестужева с бытом и природой того края, где ему пришлось провести с лишком семь лет; осведомленность его в кавказских наречиях и его сильные этнографические интересы — несомненны.[2] О горах и горцах, в частности о Дагестане, Бестужев для своего времени знал больше, чем кто-нибудь другой; свои личные впечатления, полученные им во время многочисленных походов и опасных экспедиций (например, в Табассаранские горы), он систематически и даже с некоторой долей педантизма проверял и обосновывал в чтении специальной литературы, как ни затруднительно

---

[1] Памятная книжка Дагестанской области. Темир-Хан-Шура, 1895. Приложение. С. 38. В своей позднейшей «Истории города Дербента» (Темир-Хан-Шура, 1906. С. 183) Е. И. Козубский говорит о Марлинском: «...сохраняя как будто местный колорит, благодаря частому употреблению местных выражений на татарском языке и т. п., он дает широкий полет своей фантазии, так что в общем знакомство со страною по его сочинениям является рискованным».

[2] Об этнографических интересах Марлинского см. статью: *Васильев М.* Декабрист А. А. Бестужев как писатель-этнограф//Научно-педагогический сборник. Казань, 1926. Вып. 1. С. 56—76.

было ее получение в глуши кавказских захолустий. Каталог прочтенных и цитируемых им исторических, географических и иных книг о Кавказе производит внушительное впечатление и оставляет нас в удивлении к его трудолюбию и настойчивости.

Несомненно также то, что и сам Бестужев вполне уверен был в своих познаниях и сознательно подсказывал своему читателю отношение к себе как к авторитету и знатоку. Его кавказские письма и очерки полны полемических выпадов против разнообразных описателей Кавказа, нападками на легкомыслие суждений и поверхностную поспешность путешественников, цитатами и выдержками из древних и новых авторов. Иногда он прямо берется за перо, чтобы «вывести из заблуждения» читателей, имеющих «смешанные, неясные понятия о предметах самого близкого к нам интереса».[3]

И современники его действительно охотно доверялись ему во всем, где дело касалось описания Кавказа, его истории и быта. Его «Кавказские очерки», в течение трех лет (1834—1836) печатавшиеся в «Библиотеке для чтения», долгое время сохраняли свое значение занимательных фельетонов на кавказские темы, но ценились также и своей фактической стороной. Ими охотно пользовались, например, как источником для написания истории кавказской войны. Так, ориенталист И. Березин, путешествовавший в начале 1840-х гг. по Дагестану с научной целью, прямо отказывается от описания некоторых достопримечательностей Дербента и его окрестностей под тем предлогом, что они уже описаны Марлинским, а по поводу осады Дербента Кази-Муллою в 1831 г. пишет: «Я сам заранее утверждаю, что описывать эту осаду после красноречивого автора *„Русских повестей и рассказов"* нет никакой возможности».[4] Другие, как, например, Л. Кавелин, пользуются его очерками и повестями и без подобных оговорок.[5] Ф. Боденштедт свою известную книгу о кавказской войне основывает также, между прочим, на сочинениях Марлинского.[6] Именно славой

---

[3] Замечания на статью «Путешествие в Грузию» см.: Сын отечества. 1838. № 1, отд. 4. С. 1—15. Эта статья по недоразумению не попала в полное собрание его сочинений, если не ее имеет в виду Николай Бестужев в письме от 7 марта 1838 г. (см.: Бунт декабристов: Юбилейный сборник/Под ред. Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева. Л., 1926. С. 369); в последнем случае она принадлежит не Марлинскому, именем которого подписана, но его брату — Павлу Александровичу.

[4] *Березин И.* Путешествия по Дагестану и Закавказью. Казань, 1850. 2-е изд. Т. 2. С. 13—14, 34. Рассказ Марлинского об осаде Дербента интересно сопоставить также с очерками: *Зиссерман А.*//Русский вестник. 1864. № 12. С. 698—733; *Карякин И.*//Там же. 1865. № 12. С. 648—671; *Пржецлавский О.*// Военный сборник. 1864. № 2. С. 155—178.

[5] *Кавелин Л.* Отрывок из дневника закавказского офицера//Маяк. 1845. № 1. С. 36—37. Ср. «Мулла-Нур» Марлинского.

[6] *Bodenstedt Fr.* Die Völker des Kaukasus und ihre Freiheitskämpfe gegen die Russen. Frankfurt am M. 1848. В этой книге цитируются «Кавказские очерки» «выдающегося Марлинского» (S. 107), а извлечение из его «Рассказа офицера, бывшего в плену у горцев» сопровождается следующим характерным замечанием Боденштедта: «Имя знаменитого изгнанника, который провел свои лучшие годы на Кавказе и был прекрасно знаком с языком, бытом и нравами кавказских горцев, служит достаточным поручительством за правдоподобность этого рассказа» (S. 103).

Бестужева как хорошего знатока края объяснялось желание умного М. С. Воронцова «употребить его по гражданской части» с тем, чтобы досуг его был отдан литературным трудам описательного и краеведческого характера.[7] С. В. Сафонов, один из чиновников Воронцова, подтверждает, что Бестужев, плывший с ними в 1836 г. на корвете «Ифигения» вдоль кавказских берегов в качестве большого знатока страны и быта туземцев, служил прекрасным гидом для всего общества, собравшегося на корабле.[8]

Авторитет Бестужева как «кавказоведа» стоит подчеркнуть именно потому, что интерес читателей 1830-х гг. к его кавказским повестям и очеркам в известной степени вызван был всевозраставшим в русском обществе того времени любопытством к Кавказу вообще. В его произведениях современный читатель знакомился с тем малоизвестным краем, на фоне которого развертывалась тогда полная драматизма эпопея кавказской войны. Природа Кавказа, нравы его исконных обитателей, их отношение к завоевателям — все это требовало зарисовок, описаний и комментариев. Напомним, что и Пушкин в предисловии ко 2-му изданию (1828) «Кавказского пленника» отметил, что поэма «обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов». Читатель искал не выдумки, не пленительных вымыслов и фантазий, но реальных фактов и указаний.

Прекрасно понимая запросы и требования этого читателя, Бестужев однажды в письме к Полевому набросал программу, которой, по его мнению, должен бы придерживаться всякий, кто писал о Кавказе, и которой, конечно, он хотел следовать сам: «...пусть будет меньше порядка, но больше живости, менее учености, но больше занимательности; облеките все в драматическую форму. Из романов В. Скотта выносишь больше знания о Шотландии, чем из самой истории». Осуществлением такой задачи были и его кавказские повести, написанные, очевидно, с намерением содействовать распространению по возможности верных сведений о Кавказе и искоренению некоторых предрассудков о нем. Но Бестужев вообще более склонен был к воспроизведению, чем к измышлению. Эта склонность проявлялась у него столь отчетливо и живо, что иные страницы его повестей порой превращаются в настоящие трактаты по отдельным вопросам кавказоведения, и рассказчик уступает здесь место историку и публицисту, этнографу и лингвисту. Простейший прием сопоставления употребляется здесь с тою же целью: наставить и поучить. Среднему русскому читателю, никогда не бывавшему на Кавказе, конечно, интересно было узнать, что «дербендские женщины пляшут с нукерами только в русской словесности, в действительности же никогда», что татары при чихании здравствуются точно так же, как и по-русски,[9] что «тумана-

---

[7] *Оксман Ю. Г.* О последней попытке «облегчения участи» Бестужева// Сборник Пушкинского Дома «Декабристы». Неизданные материалы и статьи. М., 1925. С. 89—96.

[8] *Сафонов С.* Поездка к восточным берегам Черного моря на корвете «Ифигения» в 1836 году. Одесса, 1837. С. 22.

[9] *Марлинский А.* Второе полн. собр. соч. 1847. Ч. 9. С. 62, 36, 158, 43.

ми» в Дагестане называются женские шальвары, что мусульманки почти совсем не носят поясов, что «шамаей» называется жирная рыба вроде селедки, «альма-дольмой» — яблоко, начиненное мясным фаршем, и т. д. Все эти и сотни подобных им мелочей, вкрапленные в повествование, не только усиливают «местный колорит», но нужны писателю как материал образовательного воздействия, потому что он хочет быть настоящим исследователем, точным в своих описаниях и выводах. Он рассчитывает на то, что читатель, простодушно сравнивающий свои привычки, кушанья и наряды с дербентскими, будет не только заинтересован непривычным для него укладом горского быта, но в некотором роде получит также урок из истории и географии.

Иногда, особенно в последних повестях («Мулла-Нур»), которые удобнее всего обозначить термином «повести этнографические», эти мелкие детали развертываются в целые исследования; многочисленные отступления и вставки прерывают повествование, замедляют и останавливают действие. Как относился к ним современный читатель? Н. А. Котляревский в своей известной монографии о Бестужеве полагает, что писатель, в ущерб себе, слишком увлекался этой описательной исследовательской стороной дела.[10] Но, думается, что он не совсем прав. Насколько мы можем предполагать, в повестях любимого беллетриста в 1830-х гг. искали не только занимательной фабулы и эффектов действия, но также жизненной и исторической правды. Бытовые, этнографические наблюдения, нравоописания вперемежку с историей и археологией, весь тот hors d'œuvre, за который его упрекала позднейшая критика, пришелся по вкусу именно потому, что и самые повести Бестужева были лишь литературной обработкой действительных событий. Не только в «Аммалат-Беке», но и в «Мулла-Нуре», наиболее романтической из его повестей, не без основания искали реалистически верной основы — исторической и бытовой.[11] Интересовались тем, насколько правдивы его описания, в

[10] *Котляревский Н. А.* Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев. СПб., 1907. С. 240, 242.

[11] С легкой руки Белинского (Отечественные записки. 1840. № 8. С. 57) «благородного разбойника» Мулла-Нура считали бледной тенью шиллеровского Карла Моора и тщательно подыскивали для него аналогии в западноевропейской литературе, вплоть до «Жана Сбогара» Нодье. Между тем из путевых заметок И. Березина по Кавказу (1842) видно, что Мулла-Нур был действительно историческим лицом и что Марлинский довольно близко воспроизвел дербентские сказания и легенды о нем (*Березин И.* Путешествие по Дагестану и Закавказью. Т. 2. С. 125—127). В «Рассказе лезгинца Асана» В. Н. Даля, приуроченном к концу 1830-х гг. и основанном на подлинной исповеди (*Шестаков Д. П.* В. И. Даль//Чтение в Обществе любителей российской словесности Казанского ун-та. 1901. Вып. 14. С. 9), горец Асан становится разбойником в неурожайный год из желания помогать голодным своего аула. Однажды Асан удачно ограбил целый караван, прикрывшись именем Муллы-Нура: «В это время, в тех местах, на большом пространстве, славился известный разбойник Мулла-Нур, — замечает рассказчик, — смелость его и неустрашимость были ведомы всякому, и его боялись все»; через несколько дней Асан встретил настоящего Мулла-Нура и сделался его товарищем (Современник. 1848. № 1, отд. 1. С. 19). Впоследствии вышла книга «Лезгинец Асан. Написано под его диктовку» (СПб., 1865) в двух частях; в первой помещен слегка видоизмененный рассказ Даля.

изображениях отдельных лиц узнавали портреты современников, друзей и знакомых. Читатель 1830-х гг. лучше, чем читатель позднейшей поры, чувствовал эти реалистические склонности беллетриста, который любил напоминать, что изображает не вымысел, а правду, и не раз сознавался в том, что страдает отсутствием дара изобретательности и охотнее развивает чужое начало, чем свое. В этом может убедить история одной из наиболее любимых и прославленных его повестей — «Аммалат-Бека».

Повесть Бестужева действительно была «кавказской былью», как гласил ее подзаголовок. На это еще не было обращено внимания, а между тем это весьма существенно для истории ее популярности и усвоения русским читателем романтической эпохи. Позднейшая критика совершенно напрасно усомнилась в правдивости рассказанных в ней происшествий. Бестужев воспользовался здесь одним из эпизодов русско-кавказской войны, о котором он слышал из уст его очевидцев и свидетелей. Для того чтобы сделаться темой повести, он должен был пройти через обычный сложный процесс художественного усвоения и творческой переработки, быть видоизмененным в согласии с личными навыками писателя и обязывающими традициями и шаблонами повествовательных схем, но все усилия Бестужева были направлены на то, чтобы возможно точнее и ближе изложить ту историю, которую он положил в основу своего повествования и которая в его время была достаточно широко известна. Недаром в «Северной пчеле» (1834. № 39) «Аммалат-Бек» был назван «былью действительною, которую за Кавказом знает всякий».

Напомним вкратце историю создания повести. Замысел ее относится к лету 1830 г. 10 июля этого года Бестужев пишет Ф. Булгарину из Дербента: «...в непродолжительном времени доставлю повесть „Аммалат-Бек“. Она ознакомит вас с Прикаспийской стороной Кавказа».[12] Обещание это, однако, оказалось преждевременным. Работа двигалась медленно; год спустя (9 июня 1831 г.) Бестужев упоминал о повести в письме к Н. Полевому как о вещи, еще не завершенной: «...теперь пишу для вас повесть „Аммалат-Бек“; кончил 4 главы, но мало досуга. Какова выльется, не знаю; рамы, впрочем, довольно свежие, из горного дерева».[13] Пятая глава была окончена только к августу и вместе с заново отделанными первыми четырьмя отослана Полевому для напечатания. «При сем письме получите пять глав повести „Аммалат-Бек“, — писал Бестужев в сопроводительном письме. — Остальные непременно через две недели пришлю. Это истинное происшествие, и я от себя прибавил только подробности; дело кончится тем, что Аммалат убьет своего благодетеля... Как и за что? позвольте вам помистифировать (sic!) до поры до времени».[14] В конце сентября 1831 г. повесть была наконец окончена, и автор, видимо, остался ею доволен. «Не знаю, как покажется она вам?.. — писал Бестужев Полевому. — Сдается мне, что характер Аммалата выдер-

---

[12] Русская старина. 1901. № 2. С. 398.
[13] Русский вестник. 1861. № 4. С. 302.
[14] Там же. С. 305.

жан с первой главы, где он застреливает коня, не хотевшего прыгать, до последних, в которых он совершает злодейское убийство друга. Правда, что рамы не позволили мне развернуть его, но что же делать?».[15] Полевой, получив окончание повести, тотчас же напечатал ее в «Московском телеграфе» (1832. Ч. 43. С. 19—84; 179—210; 313—369; 478—548. Подпись: 1831. Дагестан).

История, которую Бестужев сделал сюжетом своей повести, разыгралась в Дагестане в 1823 г. О ней много говорили тогда не только на Кавказе, но и в столице. Современные известия о ней сохранились в письме с Кавказа И. Т. Радожицкого к П. П. Свиньину (1823).[16] Впоследствии из огромной рукописи «Воспоминаний Радожицкого о Кавказе и Закавказьи», переданной Н. П. Коровиным редакции «Древней и Новой России»,[17] была опубликована как раз та их страница, где подробно описано все это происшествие.[18]

«Амулат-Бек, — рассказывает Радожицкий, — по смерти отца своего, как законный наследник, думал быть обладателем богатой области Дагестана в подданстве России. Одаренный от природы отличным умом и воинскими способностями, он хорошо знал состояние наших войск и образ войны. Главнокомандующий Грузии, опасаясь вверить ему народ и без того буйный, предпочел этому молодцу миролюбивого пожилого дядю. Амулат-Бек, узнав о том, пристал к партии возмутившихся дагестанцев вместе с аварцами, но после Акушинского поражения явился добровольно с покорностью к победителям. Генерал Ермолов, хоть сделал вид прощения, однако, желая показать дагестанцам правосудие русских — отдал его под суд.[19] Презусом суда был назначен полковник Верховский, окружной воинский начальник в Дагестане, который нашел средство оправдать Амулат-Бека и через то приобрел себе его горячую дружбу. Честолюбивый азиатец надеялся, что Верховский, по своему влиянию в

[15] Там же. С. 307. Рукопись повести находится ныне в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. См.: Отчет имп. Публичной библиотеки за 1912 г. Пгр., 1917. С. 117.

[16] Письма с Кавказа к П. П. Свиньину И. Радожицкого//Чтения императорского Общества истории древностей российских. 1874. Кн. 2. С. 120, 122 (Смесь).

[17] Древняя и новая Россия. 1877. Т. 2. С. 239.

[18] Амулат-Бек (из неизд. записок генерала Радожицкого)//Древняя и новая Россия. 1879. Т. 1. С. 84—85. И. Т. Радожицкий (1788—1861), известный впоследствии автор «Походных записок артиллериста» (1835), в 1820-х гг. служил на Кавказе. Состоя в переписке с П. П. Свиньиным, он посылал ему военные корреспонденции, которые последний печатал в «Отечественных записках». Среди них есть и «черкесская повесть» «Кыз-Бурун» (Отечественные записки, 1827). В 1830-х гг. Радожицкий был командиром Тульского оружейного завода. См. о нем: Русский биографический словарь. СПб., 1910. С. 391—392. Любопытно, между прочим, что этот Радожицкий был большим почитателем Марлинского. К. Полевой рассказывает о том, как Бестужев заказал однажды на Тульском заводе мушкетон и как Радожицкий, узнав, кто заказал, приложил все усилия, чтобы изготовить для любимого беллетриста чудо искусства и мастерства (Русский вестник. 1861. № 4. С. 477).

[19] См.: Акты Кавказской археологической комиссии. Т. 6, ч. 2, № 14. Ср.: *Дубровин Н.* История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1888. Т. 6. С. 352—356.

Дагестане, поможет ему истребить дядю и овладеть законным наследством. Он старался своим усердием вкрасться в его доверенность, жил вместе в одном доме и слушал наставления. Верховский, замечая в Амулат-Беке большие способности, думал образовать его, укротить пылкие чувства и со временем сделать полезным подданным России. Обманутый покорностью и привязанностью Амулат-Бека, он почитал его лучшим своим другом, который ему обязан спасением чести и жизни. Амулат видел, однако, что он оставался в Дагестане незначащим лицом и Верховский вовсе не расположен был содействовать его интересам против дяди. Тогда чувство мщения закипело в сердце азиатца, и вместо благодарности он стал снова возмущать приверженных к себе дагестанцев; тайные недоброжелатели его доносили Верховскому о предательстве, но последний не хотел верить и, почитая Амулата преданным себе другом, поехал однажды вместе с ним в Тарки, восстановил там спокойствие и опять возвращался к своей штаб-квартире в Кубу. На пути конвойные казаки отстали от Верховского, и он подъезжал к горам только с одним Амулат-Беком. Несчастный Амулат был в страшном волнении, несколько раз отставал от Верховского, заглушая чувство мщения, и опять подъезжал к нему с нерешимостью. Между тем Верховский спокойно ехал, погруженный в крупные думы: может быть, его сердце давило горькое предчувствие. Наконец, когда конвойные далеко отстали, мщение превозмогло чувство дружбы и благодарности: Амулат-Бек в последний раз налетел на Верховского, поразил его смертельным пистолетным выстрелом и скрылся в горы.[20] Из этой-то истории наш красноречивый Марлинский сделал превосходную повесть».

Очень возможно, что Радожицкий, хотя и близкий свидетель всей этой истории, записал ее в свои мемуары не только по своим личным воспоминаниям, но и под воздействием повести Бестужева, которую он, конечно, хорошо знал. Это могло сказаться и в мотивировке убийства, и в описании заключительного акта драмы. Однако о факте убийства Верховского сохранились рапорты Ермолову майора Ашеберга от 20 июня 1823 г. и Краббе от 22 июля того же года, которые подтверждают точность рассказа и дают некоторые новые подробности, из которых видно, как близка к действительности повесть Бестужева.[21]

---

[20] Именно эту заключительную сцену, в согласии с тем, как она описана в повести Марлинского и с прямым указанием на нее, воспроизвел Лермонтов в двух рисунках своей школьной тетради. См.: *Бильдерлинг А.* Лермонтовский музей в С.-Петербурге//Русская старина. 1890. № 2. С. 591—592. Вполне вероятно также, что иллюстрацией к повести Марлинского является и третий рисунок той же тетради, № 169 (л. 105) (см.: *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. СПб., 1913. Т. 5. С. 224—225), он изображает горца верхом, стреляющего в русского конного офицера.

[21] Выдержки из этих документов и точное изложение событий см. также: *Дубровин Н.* История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 6. С. 488—499, 501, 503. Ср.: *Потто В.* Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. 2-е изд., 1897. Т. 2. С. 59—60.

Еще интереснее с этой стороны записки Н. Н. Муравьева, в той их части, которая написана в 1823 г., следовательно, под свежим впечатлением происшествия, и содержащие такие факты, которые не могли иметь место в служебных донесениях, но особенно охотно обсуждались среди офицерства. Из этих записок мы, между прочим, узнаем, что в основе любовной истории убитого Верховского, которая в повести Бестужева занимает немало места, лежит также действительный факт: убитый был накануне женитьбы. Отправляясь в свою последнюю экспедицию, Верховский, уверенный в «совершенном повиновении края», по словам Муравьева, донес Ермолову, что «вслед за сим приедет в Тифлис для женитьбы»: «...ибо невеста его, Пузыревского вдова, уехавшая самым оскорбительным для него образом из Тифлиса, когда они уже были помолвлены, раскаявшись в своем поступке, возвращалась. Верховский посылал за нею офицера в Митаву, и она прибыла в Тифлис в один день почти со смертью жениха своего». Муравьев был вообще прекрасно осведомлен обо всех подробностях этой истории; записки его дают еще ряд интересных указаний: он подробно останавливается на дальнейшей судьбе Аммалата, рассказывает об его бегстве в Аварию, где его провозгласили ханом по случаю смерти тамошнего хана Султана-Ахмета, упоминает о женитьбе его на дочери шамхала. Самый факт убийства приводит его в негодование, и он записывает об Аммалате: «В Тифлисе, в походах, Верховский его всегда при себе имел, помогал ему деньгами, содержал его и слуг с лошадьми, ласкал, обучал несколько русской грамоте и берег его как сына, полюбив в нем казавшееся благородство души. Он примирил Алексея Петровича (Ермолова) с ним, доставил ему чин прапорщика и жалованье, наконец, перед отъездом в Дербент, выпросил позволение взять его и держать при себе, защищая его от обид шамхала. И кто бы мог думать, что сей изверг, облагодетельствованный Верховским, мог быть его убийцею, по наущению горцев, обещавших принять его себе в ханы?».[22]

Из подобных именно рассказов и сплетен, долго после события служивших предметом обсуждения в офицерских кругах и составилась повесть Бестужева. По приезде своем на Кавказ (1829) он услышал эту историю в изложении очевидцев и свидетелей; заинтересовавшись ею, он, видимо, собирал дополнительные сведения, изучал обстановку действия, биографии действующих лиц; оставалось воспроизвести предание, согласовав толки и разноречивые варианты рассказов и творчески спаять их вокруг единого стержня действия. Нас не интересуют сейчас характер и приемы этой работы; достаточно подчеркнуть, что сопоставление повести Бестужева с данными, приведенными выше, позволяет с уверенностью сказать, в какую сторону направлены были усилия писателя, когда он был занят этой работой. Проникнуть в психологию азиата, показать враждебность двух культур, предельно обостренных в период войны, — такова была основная задача. По замыслам автора образ Аммалата был центральным: «Рамы не позволили мне развернуть его». «Рамы» — это боязнь отсту-

[22] Записки Н. Н. Муравьева//Русский архив. 1888. № 2. С. 328—329.

пить от достоверной передачи событий, стремление остаться точным до конца в описании и характеристике.

Искусно переплетая две параллельные любовные интриги, протекающие в совершенно различной психологической обстановке, Бестужев затушевывает любовную историю Верховского и намеренно сводит ее к традиционной сентиментальной схеме; тем резче противопоставляется ей история другой любви (Аммалата и Салтанеты), любви азиата, не знающей преград и не останавливающейся даже перед предательством и изменой. Политические мотивы убийства остались на заднем плане; не политический расчет, но буйствующая страсть молодого горца движет вперед действие повести. Это открывает возможность насытить ее лирическими монологами и декламациями «Дневника» Аммалата, эффектами встреч и свиданий. В целях эффекта придуманы и такие сцены, как сцена гильотинирования трупа на кладбище, в правдивости которой, однако, современные читатели были уверены совершенно.

Для своего времени свежесть повести заключалась также в ее описательной, пейзажной стороне, в батальных картинах горского быта, написанных с живостью и несомненным знанием дела. Мы знаем, что современники восторженно отнеслись и к этой ее особенности; весь этнографический груз ее тогда не казался лишним. Он как бы подтверждал реальную основу повести, делал ее правдивее и ярче. Даже Белинский одобрительно отозвался о ней с этой стороны, а «смертные песни» аварцев привели его в восхищение.

Характерно, что читатели повести прежде всего подошли к ней именно с точки зрения достоверности изображенных в ней происшествий. Иные заинтересовались портретом Ермолова. Н. Берг однажды даже спросил Ермолова, правда ли то, что рассказал о нем Бестужев в «Аммалат-Беке», будто он ссекал быку голову кинжалом? «Нет, неправда, — отвечал Ермолов, — я никогда не пробовал этого делать; даже, сказать откровенно, едва ли бы мне это удалось. Тут нужна особая сноровка и навык, без навыка никакое богатырство не поможет. А силен я был, это точно, ужас, как был силен».[23]

Знакомый Бестужева и автор воспоминаний о нем Я. И. Костенецкий (1811—1885), в 1830-х гг. служивший на Кавказе, рассказывает в своих «Записках об Аварской экспедиции на Кавказе 1837 года», что желание побывать в Аварии, этой неприступной горной стране, было сильно подогрето в нем «яркими страницами нашего кавказского повествователя». Побывав в Хунзахе, автор засвидетельствовал ряд отступлений Бестужева от действительности, но все они касаются главным образом исторических и топографических мелочей. «Кстати, скажу здесь, — говорит он, — что Марлинский никогда не был в Хунзахе и описанная им его поэтическая местность нисколько не сходна с действительностью». Но все же в основном изображение показалось ему правдивым, и впечатления от путешествия, сливаясь с воспоминаниями о прочитанном, настроили его на романтический лад. Не столь важно, конечно, это аварцы — магометане

[23] Русская старина. 1872. № 1. С. 980.

и что в Хунзахе не было христианских храмов: это был «только вымысел Марлинского, который изобразил такую эффектную сцену между Аммалат-Беком и Салтанетой в развалинах одного древнего храма»; подъезжая к Хунзаху, автор все же чувствовал сильное волнение. «Над пропастью в углу, под горою Гакаро, виднелся Хунзах со своими тусклыми саклями и башнями, тот Хунзах, о котором мы слыхали так много чудесного». Вступая в город, он вспоминал любимую повесть, переживая ее еще раз на месте действия, а странствуя в задумчивости по галереям ханского дворца, он восстанавливал в памяти целые эпизоды романа: «Здесь-то жила красавица Салтанета, душа души пылкого Аммалат-Бека, стоя на этой террасе, над этой бездною, поверяла свою любовь или отдаленному гулу водопада, или дуновению ветерка, или мимолетному облачку».[24]

И. Березин, о путешествии которого уже упоминалось выше, проездом через Тарху шел дальше и непременно хотел собственными глазами увидеть его владетельницу — шамхальшу. «Странное желание, — замечает он, — но всякий на моем месте возымел бы подобную мысль, когда б узнал, что нынешнюю шамхальшу зовут Сюльтанет, что она героиня повести „Аммалат-Бек". Те, которые читали этот рассказ, — а кто его не читал? — конечно, с прискорбием узнают что Сальтанет, та самая Сюльтанет, для которой Аммалат сделался низким убийцей, ныне покинута своим мужем, высокостепенным Шамхалом Тарковским (Абу-Муслимом), и живет одиноко в шамхальском доме в Тарху. В моих глазах такое положение делало Сюльтанет еще интереснее, и видеть ее я имел одной причиной больше». Не без труда добившись свидания, путешественник подробно описал свою встречу с героиней повести Бестужева и не забыл упомянуть об ее природной грации и изяществе ее наряда; но несмотря на ее 30 лет, «похудевшее лицо уже носит признаки довременной старости: единственными свидетелями былой красоты остались выразительные черные глаза и гибкий стан кипариса». «Говорят, покойный поэт Полежаев, при посещении своем шамхальши, спросил ее как-то неловко о любви Аммалат-Бека, а известно, что слово „любовь" изгнано из мусульманского хозяйства. Сюльтанет обиделась нескромным вопросом и с тех пор начала принимать приезжих с большими предосторожностями».[25]

«Красавица Сюльтанета, получившая известность и среди русских благодаря „Аммалат-Беку" Марлинского, — как отзывается о ней один из кавказских офицеров, — была жива еще в 40-х гг. В качестве правительницы мехтулинской она даже не сочувствовала Шами-

---

[24] Современник. 1850. № 10, отд. 2. С. 82; № 11, отд. 2. С. 75, 78—80. В более полном виде «Записки об Аварской экспедиции» появились в отдельном издании в трех томах (СПб., 1851); см. рецензию в «Библиотеке для чтения» (1851. Т. 117. С. 1—16). А. Берже, описывая Аварию и ее главное селение Хунзах, пишет: «...между строениями особенно замечателен ханский дворец, тот самый, с которым соединяется воспоминание о прекрасной Сальтанете, знакомой читателям из „Аммалат-Бека" Марлинского» (Материалы для описания нагорного Дагестана//Кавказский календарь на 1859 г. С. 263).

[25] *Березин И.* Путешествие по Дагестану и Закавказью. Т. 1. С. 73—79.

лю и оказывала существенную помощь русским войскам».[26] Что касается самого Аммалат-Бека, то тот же Березин в другом месте упоминает про селение Буйнаки, «замечательное тем, что здесь гарцевал удалой Аммалат-Бек: доныне существует в Буйнаках его сакля, а жители вспоминают еще об отчаянном наезднике, кончившем дни, по общему признанию, не под Анапою, а в горах своей смертью».[27] Еще ранее некий А. Б. в специальной статье сообщил об этом и более подробные сведения. Он описывает дом Аммалат-Бека и тоже упоминает о том, что «жители по сие время не могут забыть смелого своего наездника; иные при рассказе о нем со слезами вспоминают удачные грабежи, разбои, набеги, которые Аммалат всегда разделял с ними; своим удальством он один умел прятать концы в воду». Особенно интересовала читателей его последующая судьба; о нем наводили справки, расспрашивали горцев. «Марлинский рассказывает, — пишет тот же А. Б., — что он был убит, но это, кажется, несправедливо»; отыскали какого-то старика-горца, который был товарищем Аммалата и долго жил с ним. Он рассказал, что Аммалат был ранен под Анапою и бежал в горы. «Променявши бурную жизнь на мирное жилище, я пас стадо у богатых князей, стриг овец и так добывал скудный хлеб, которым делился с Аммалатом. Не бывши никем преследуемы, мы жили покойно. Но Аллах не хотел, чтобы мы жили вместе, и он умер от оспы на руках моих; тут он взглянул на небо и глаза его наполнились слезами».[28]

Русские читательницы, по свидетельству В. Савинова, долго еще набрасывались на всякого офицера, возвращавшегося с Кавказа, засыпая его вопросами и восклицаниями: «Ах, милашка Марлинский, ах, Аммалат-Бек!.. Бедный полковник! Скажите: Салтанета еще жива?».[29] И долго еще упивались повестью, в которой достаточно было «мужественных и нежных чувств, наилучшего джентльменства и дикой кровавости».[30] Путешествовавший по Кавказу (1857) А. Дюма отметил в своих путевых воспоминаниях интерес к истории Аммалат-Бека и бегло набросал ее в своей записной книжке. Проезжая мимо татарского кладбища, около Дербента, Дюма был очарован живописностью его местоположения. Большой холм в виде амфитеатра, с версту длиной, возвышавшийся над морем, украшен был надгробными камнями, обращенными к Востоку. Спутник Дюма показал ему небольшой памятник, кокетливо окрашенный розовой и зеленой краской. «Вот могила Салтанеты, — сказал он. — Я стыжусь за свое невежество, — отвечал я, — но кто эта Салтанета? <...> Есть предание, легенда? — Даже лучше, целая история; вам расскажут ее в Дербенте.

---

[26] *Т[орнов Ф. Ф.]* Гергебиль//Русский архив. 1881. № 2. С. 439.

[27] *Березин И.* Путешествие по Дагестану и Закавказью. Т. 1. С. 114.

[28] *А. Б.* Дагестан в 1841 году//Кавказ. 1846. № 8. С. 29.

[29] Семейный круг. 1858. № 1. С. 11.

[30] *Стасов В. В.* Училище правоведения//Русская старина. 1881. № 2. С. 409—410. О популярности «Аммалат-Бека» см. также: *Романович-Славатинский А. В.* Моя жизнь и академическая деятельность//Вестник Европы. 1903, № 1. С. 148—152. Н. В. Шелгунов вспоминает также, что «Аммалат-Бек» производил на него «чарующее обаяние своим рыцарским благородством» (*Шелгунов Н. В.* Из прошлого и настоящего//Русская мысль. 1885. № 10. С. 55).

Это самое романическое происшествие. — Хорошо, я напишу из этого целую книгу, — отвечал я. — Вы напишите четыре, шесть, восемь, сколько хотите. Но неужели Вы думаете, что Ваши парижские читатели будут интересоваться любовью аварской ханши и татарского бека, хотя он и потомок персидских халифов?.. Аммалат-Бек, любовник Салтанеты, убивший полковника Верховского, который спас его от виселицы, вырывший труп его из земли, чтобы отрубить голову, и принесший эту голову Ахмет-хану, своему тестю, который за эту цену отдал ему руку своей дочери, навряд ли будет понят графинями Сен-Жерменского предместья, банкирами Мон-Бланской улицы и княгинями улицы Бреда. — Это будет ново, любезный князь, а я рассчитываю на это».[31]

Повесть Марлинского стала исторической действительностью в устах не одного только спутника Дюма. История Аммалат-Бека отныне рассказывалась именно так, как ее записал Марлинский. Легенда стала фактом. Повесть Марлинского и история отношений к ней русского читателя лишний раз доказывает устойчивость всякого вообще литературного предания и его власть над исторической действительностью.

III

МАРЛИНСКИЙ НА СЦЕНЕ

С конца 1820-х гг. театральная критика все чаще отмечала появление на русской сцене драматических переделок модных повестей и романов. Переделки эти заполняли пробелы репертуара и публике, видимо, нравились; критика, напротив, большей частью встречала их враждебно. Обычный упрек критики — признание недопустимости смешения художественных родов. В этом упрекали

[31] Кавказ. Путешествие Александра Дюма//Пер. П. Работовского. Тифлис, 1861. Вып. 1. С. 235—238. *Dumas A.* Impressions de voyage. Le Caucase. Paris, 1889. T. 1. P. 228—305; T. 2. P. 77—86. Впоследствии Дюма действительно переделал повесть Марлинского в роман «Sultanetta». Возвратившись из своего путешествия по России, Дюма писал Дмитрию Нарышкину, в доме которого он жил в Петербурге: «J'aurais bien envie aussi de vous demander un éxemplaire de Marlinsky que j'ai demandé déjà à Petersbourg, mais qui se sera egaré en route et que l'on ne se presse pas de m'apporter» (*Glenel Ch.* Trois manuscrits d'Alexandre Dumas-père//Revue Biblio-Iconographique. 1907. P. 115). Перевод: «Мне также хотелось бы попросить у вас экземпляр Марлинского, о котором я уже писал в Петербург, но он, вероятно, в дороге заблудился, и мне не спешат его доставить». Однако томик «Русских повестей и рассказов» был доставлен ему его приятельницей, французской актрисой, игравшей в Петербурге, — Jenny Falcon (там же. P. 163). Отзыв Дюма о Марлинском и стихотворную эпитафию Ольге Нестерцовой см. еще: *Долинский С. М.* Из прошлого Дербента//Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. 1912. Вып. 1, отд. 4. С. 1—4. Любопытно тут же отметить, что английский перевод «Аммалат-Бека» и «Муллы-Нура» появился еще в начале XX в. («The snow on Shah-Dagh and Ammalat-Bek». London. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent and C°; no date); *Baddeley John.* The Russian Couquest of the Caucasus. London, 1908. P. 114.

кн. А. А. Шаховского, когда он, воспользовавшись широкой популярностью Вальтера Скотта, обработал для сцены несколько его романов. Упреки становились острее, когда речь шла не о знатоке сцены, но о ловких и большей частью анонимных литературных ремесленниках, стремившихся использовать с этой целью каждое новое литературное увлечение, нисколько не заботясь о том, допускает ли сценическую обработку и приспособление вообще всякое литературное произведение. Если оно пользуется успехом у читающей публики, следовательно, оно может вызвать и рукоплескания зрительного зала. И потому для сцены переделывалось все наиболее значительное и наиболее ценимое в русской литературе.

На первом месте стоит Пушкин;[1] переделаны не только все повести, но и все поэмы. Ряд этих переделок открывает «Кавказский пленник, или Тень невесты», балет Дидло с музыкой Кавоса, доставивший возможность со сцены показать романтический пейзаж и перспективу снеговых гор; эта же поэма дала сюжет нескольким романтическим драмам, добавившим к ее основному сюжету ряд новых лиц и эпизодов.[2]

В 1832 г. были поставлены «Цыгане, драматическое представление, взятое из поэмы Пушкина». «Картина Рафаэля, — отзывалась на это представление «Северная пчела», — требует дневного света, сцена, в свою очередь, требует декорации, освещаемой лампами; поставьте на сцене картину Рафаэля, и она потеряет все свое достоинство. То же самое бывает и с литературными произведениями, не предназначенными для сцены, и этим объясняется их неуспех в театре». На самом деле переделка «Цыган», видимо, пользовалась некоторым успехом; «Цыгане» ставились в 1838 и еще в 1845 гг.;[3] резкий отзыв о переделке «Цыган» дал Белинский, видевший ее в Московском театре в 1839 г.[4] Сравнительно большой успех выпал на долю приспособленных для сцены «Барышни-крестьянки», «Евгения Онегина» и переделанного Шаховским «Бах-

---

[1] О переделках произведений Пушкина для сцены см. статью П. Столпянского в «Ежегоднике императорских театров» (1911. Вып. 4) и его же статью в «Русском библиофиле» (1911. № 5. С. 72—81). «Произведения Пушкина и их переделки на Петербургской сцене в Николаевскую эпоху».

[2] Об одной из типичных провинциальных инсценировок «Кавказского пленника» см. в «Письме из Астрахани» (Отечественные записки. 1828. Ч. 33. С. 567—568). Ср. рассказ А. Ф. Писемского «Комик» (Москвитянин. 1851. № 21), где «собрание любителей» переделывает в «драматическую фантазию» поэму Пушкина «Братья разбойники». Смеясь над обилием переделок для сцены повестей и романов, «Московский телеграф» предлагал «Рецепт составления романтической трагедии из Евгения Онегина», замечая при этом: «Должно ли прибавить, что мы шутим, что уродование таким образом творений великого писателя есть больше, нежели литературный грех? Но драматисты не думают так, составляя свои переделки» (1828. Ч. 20. С. 228—229).

[3] *Столпянский П.*//Русский библиофил. 1911. № 5. С. 79. Любопытно, что мысль переделать Пушкинских «Цыган» в «оперу» занимала юношу Лермонтова еще в 1829 г. См.: *Нейман Б.* Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев. 1914. С. 51—54.

[4] *Белинский В.* Московский театр//Полн. собр. соч. М.; Л. 1953. Т. 3. С. 285—286.

чисарайского фонтана».[5] О том, как чудовищны были иногда искажения сюжета и текста, можно судить по переделке «Пиковой дамы», превращенной в драму с увлекательным названием: «Хризомания, драматическое зрелище в трех частях и трех сутках, с прологом и эпилогом, с песнями и танцами».[6] Переделкам для сцены подверглись и баллада В. А. Жуковского («Светлана»),[7] и поэма И. И. Козлова («Безумная»);[8] в то же время с этой же целью использованы были и повести Гоголя,[9] и романы Загоскина.[10] К середине 1830-х гг. обилие этих переделок настолько велико, что определяет репертуар и создает несколько специалистов в этой области.

«С некоторого времени, — писали в «Северной пчеле», — на сцене стали появляться драмы, переделанные из модных повестей и романов с большим или меньшим успехом. Но судьба этих переделок всегда одинакова: после немногих представлений они падают и умирают. Ни искусная игра артистов, ни роскошная обстановка, ни рукоплескания приятелей, никакие усилия не в состоянии спасти этих пьес. Отчего же это? Оттого, что драма повинуется своим законам, а повесть своим... Человек сидит у камина и рассказывает какой-нибудь случай из своей или чужой жизни: это повесть. Другой человек, обуреваемый страстью, борется с людьми, с роком, с самим собою, побеждает или падает: это драма. Господа переделыватели не хотят этого понять и воображают, что сочинили драму, когда переписали повесть в разговоры и разделили их на явления и акты. Такие пьесы не заслуживают название драм: это просто повести, переделанные для сцены. Но как повесть не может существовать на сцене, то она и умирает».[11] Этот обычный упрек не разъясняет нам, однако, почему переделки являлись в те годы в таком множестве и почему некоторые из них, несмотря на свои сомнительные литературные и сценические достоинства, устойчиво держались в репертуаре столичных и провинциальных театров. При всей справедливости утверждений критики относительно недопусти-

---

[5] П. Столпянский предполагает, что эта переделка относится к 1837 г., однако П. Н. Арапов (Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 373—375) упоминает о большом успехе ее до 1825 г. Ср. здесь же о переделке Шаховским «Руслана и Людмилы» в комедию «Финн» (с. 361) и о «Кенильвортском замке», переделанном из романа В. Скотта (с. 359).

[6] *Столпянский П.* Одна из переделок произведений А. С. Пушкина для сцены (Ежегодник императорских театров. 1911. Вып. 3. С. 11—15). «Хризоманию» Столпянский приписывает перу кн. Шаховского, не приводя этому, впрочем, никаких оснований; авторство Шаховского кажется мне очень сомнительным. Ср. рец. П. М[едведского]//Северная пчела. 1836. № 246 (а не № 216, как указано у Столпянского).

[7] *Столпянский П.* Одна из баллад В. А. Жуковского на сцене Александринского театра//Ежегодник императорских театров. 1912. Вып. 4. С. 14—24.

[8] Библиотека для чтения. 1834. Ч. 7. Литературная летопись. С. 52—53.

[9] *Данилов В. В.* К библиографии драматических переделок из Гоголя// Русский филологический вестник. 1911. № 2. С. 331—338.

[10] Из романа «Аскольдова могила» сам М. Н. Загоскин сделал оперу, из сборника «Москва и москвичи» — комедию «Женатый жених»; еще раньше кн. Шаховской переделал и «Юрия Милославского» в «романтическое представление в 5 сценах». О переделках К. Бахтурина см. ниже.

[11] Северная пчела. 1836. № 277.

мости смешения художественных родов, переделки следовали одна за другой и вызывали рукоплескания зрительного зала. Для историко-литературных целей бывает иногда важнее отметить не столько настойчивую оппозицию критики, сколько именно те моменты литературного движения, которые ее вызывают; чем напряженнее и острее нападки, тем, следовательно, устойчивее явление, которое порицают; но интересно выяснить и причины такой устойчивости, которая всегда определяется психологией читателя или зрителя.

Одной из причин появления переделок повестей и романов на русской сцене была, бесспорно, бедность русской драматической литературы, заставлявшая часто обращаться к переделкам и приспособлениям европейского репертуара. Не менее важно учесть в данном случае и психологию театрала, которому нравилась возможность со сцены видеть облеченных в плоть и кровь героев его любимых чтений, непосредственнее ощущать их со всей полнотой жизненного впечатления. Театральные впечатления, вообще говоря, по понятным причинам устойчивее, ярче, длительнее тех, которые доставляет книга и чтение; за ними остается всегда преимущество наглядного и доступности. Это было понято давно, в эпоху мистерий, когда театр сделался проповедью страстей господних и евангельских текстов. С тем же успехом театром пользовались политические партии для пропаганды своих идей. В истории театра мы найдем множество указаний на то, как охотно театр пользовался также всеми литературными увлечениями; десятки драматических переделок гетевского «Вертера», современные его появлению в печати, столь же показательны, как и опыты перенесения на сцену байроновских поэм. В изучении истории усвоения читателем литературного произведения приходится иногда учитывать и моменты воздействия на него сценических переделок этого произведения; широкая популярность хотя бы гетевского «Фауста», не ослабевающая до наших дней, на две трети вызвана оперной вульгаризацией его сюжета.[12] Точно так же «Евгений Онегин», например, лучше известен у нас благодаря своей оперной переработке. Степень популярности писателя определяется не только известностью его среди широких кругов читающей публики: приходится считаться со всем числом разнообразных влияний его в различных областях умственной, художественной и бытовой жизни. Среди них театр кажется наиболее показательным, могущественным и влияющим в силу именно наглядности, устойчивости тех впечатлений, которые он доставляет. Этим оправдывается и интерес исследователя к театральным переработкам повестей и романов, изучение которых не раз может помочь в определении сложных процессов бытования литературного произведения и его воздействия на читательскую массу.

Интерес драматурга к повестям Марлинского вызван был исключительно широкой его популярностью у русского читателя. Им

---

[12] Ср.: *Kilian E.* Goethes Faust auf d. Bühne. Beiträge zum Probleme d. Aufführung und Inscenierung d. Gedichtes. München, 1902; *Waldschmidt S.* Die Dramatisierungen von Fildings Tom Jones. Rostock, 1906, etc.

увлекались все, и потому можно было рассчитывать на успех. Действительно, в 1830-х гг., в пору наибольшей славы писателя, появилось несколько переработок его повестей для сцены, которые шли в столичных театрах, а позднее, вплоть до 1860-х гг., встречались в репертуаре провинциальных трупп.

Марлинский не чувствовал особой склонности к театру. Его детская пьеса «Очарованный лес» — первый опыт самостоятельного творчества — по-видимому, бессознательно воспроизводила ту литературную форму, которая доставила ему несколько особенно сильных впечатлений; в числе его юношеских произведений есть отрывок из комедии «Оптимист» (1819), но он, вероятно, и не предназначался для сцены, так как имел в виду полемические цели. П. Каратыгин сохранил несколько рассказов о совместном увлечении театром Бестужева и Грибоедова в период их знакомства и дружбы.[13] Но ссылка, навсегда оторвавшая Бестужева от живого общения со столичным литературным и театральным миром, долгие годы жизни в солдатской обстановке лишили его остроты и непосредственной живости интереса к театру, который, наверное, сказался бы в нем, если бы он жил в столице.

Однако повести и романы Марлинского давали некоторый материал для сценической обработки уже сильной динамикой своего повествования, драматичностью сюжетов и замечательной живостью своих диалогов. Естественно, что на них пал выбор драматурга в ту пору, когда они еще считались шедеврами русской прозы и вызывали общий восторг.

В 1838 г. в «Северной пчеле» писали: «Кажется, неумолимые судьбы определили всем сочинениям Марлинского, от малого до великого, являться по очереди на нашей сцене для того, чтобы мелькнуть прекрасным метеором на театральном горизонте, сорвать у скупого безжалостного партера несколько рукоплесканий и усмешек его остротам и шуткам и потом падучею звездою скатиться навсегда в пучину, поглощающую неудавшиеся пьесы. Такова участь его игривых своенравных созданий при переходе с веселых страниц в *действия или явления*, с бумаги на сцену, от солнечного света к свету ламп, с будуарного столика на театральные подмостки. И заметьте, как не труден выбор для наших драматургов — им годится все, что первое попадалось под руку: и журнальная статья, и бивуачный рассказ, и морской роман, и рыцарская повесть, — лишь бы это было писано пером Марлинского, увлекательным и блестящим. Таким образом, мы видали на сцене и *Сентябрьскую ночь*,[14] и

[13] *Каратыгин П.* Записки. Л., 1970. С. 127—128, 165—168 (см. также по указателю имен).

[14] Неясно, какое произведение Марлинского имеется здесь в виду; водевиль с этим названием был издан в 1831 г., но к Марлинскому отношения не имеет (Сентябрьская ночь. Водевиль в 2-х отделениях. Сюжет заимствован из «Литературных прибавлений» к «Сыну отечества». СПб., 1831). Автором этого водевиля был П. Каратыгин. Водевиль нравился А. С. Грибоедову, который уговаривал автора поставить его на сцене, на что Каратыгин тогда из скромности не согласился. Впервые он был игран осенью 1830 г. в бенефис Рязанцева, автором дополненный и заново отделанный. Пьеска понравилась публике (Каратыгин П. Записки. Л., 1970. С. 121, 304).

Красное Покрывало, и *Фрегат Надежду*, и наконец, *Замок Нейгаузен*, одно из юношеских вдохновений Марлинского, в котором уже виден будущий автор *Муллы-Нура*. Перо неумолимых его переделывателей, переходя от повести к повести и от рассказа к рассказу, пожалуй, достигнет даже тех прелестных писем, в которых ученые заметки перемешаны с блестящими гипотезами и неистощимым остроумием, и мы когда-нибудь увидим на сцене, в лицах и действиях „*Письмо к доктору Эрману*", с выводом над склонением и уклонением магнитной стрелки, и „*Кавказскую стену*", которую до сих пор считали отделеннòю от театра Китайской стеною».[15]

Названные здесь переделки повестей «Красное Покрывало» и «Замок Нейгаузен» принадлежат К. А. Бахтурину, который в 1830-е гг. заслужил себе популярность специалиста по переделкам и был известен в литературном и театральном мире. Бахтурин был довольно своеобразной фигурой 1830-х гг.; о нем вспоминают как о «горьком пьянице, но не безталанном поэте»,[16] рано умершем вследствие своей пагубной страсти к вину. Он служил в «армейских уланах» и был однополчанином А. Н. Вульфа;[17] в 1833 г. П. В. Нащокин называет его имя в письме к А. С. Пушкину: последний мог знать Бахтурина через своего брата Льва.[18]

Послужив в уланах и гусарах, однажды разжалованный за какой-то проступок в солдаты, Бахтурин в чине поручика вышел в отставку и жил в Петербурге, занимаясь литературой, сильно нуждаясь и попивая горькую; драматургией занимался он по заказу актеров и скончался 19 января 1841 г. Коротенькая некрологическая заметка в «Репертуаре русского театра» была единственной данью всей его литературной деятельности.[19] Интересные воспоминания сохранили о нем записки Н. П. Макарова; о нем рассказывает и Т. П. Пассек в своей известной книге воспоминаний: Бахтурин был другом Вадима Пассека и вместе с Н. П. Огаревым был шафером на его свадьбе. «Да! Бахтурин был настоящий в душе поэт, — говорил о нем Макаров, — сердцем — незлобен и наивен, как младенец, поэтическим талантом и чувством — великан. Не потеряйся он, не упади, не предайся беспутной жизни, дай сосредоточиться своей мысли, своему вдохновению, своей неистощимой фантазии, а не давай им испаряться в отрывках, в бутадах, в беспрерывных экспромптах, то вышел бы из него первоклассный поэт, и

---

[15] Северная пчела. 1838. № 213. «Письмо к доктору Эрману» и «Кавказская стена» — заглавия очерков Бестужева.

[16] Записки гр. М. Д. Бутурлина//Русский архив. 1897. № 2. С. 375.

[17] Там же. С. 375.

[18] Переписка Пушкина. СПб., 1911. Т. 3. С. 1—2. О нем, кажется, справляется и В. А. Корнилов в письме от 20 октября 1836 г., называя его, однако, «драматургом Батуриным» (Русская старина. 1901. № 2. С. 213).

[19] Биография К. А. Бахтурина написана Е. А. Бобровым (Из истории русской литературы XVIII и XIX ст.//Известия Отделения русского языка и словесности АН. 1907. Кн. 12. С. 425—439). Однако здесь использованы не все материалы и источники; ср. также: *Венгеров С. А.* Источники словаря русских писателей. СПб., 1900. Т. 1. С. 189; Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1891. Т. 2. С. 269—271.

много прекрасного, вечного, создал бы он». Эта дружеская характеристика бесспорно идеализирует его как писателя. Бахтурин был рядовым, но очень типичным деятелем эпохи русского романтизма; он помещал стихотворения в альманахах и периодических изданиях 1830-х гг., а в 1837 г. отдельно вышла небольшая книжечка «Стихотворений» К. А. Бахтурина, о которой был благоприятный отзыв Ф. Кони в «Северной пчеле».[20] Ранее была издана поэма «Вступление на престол Александра Тверского». Однако центр творчества Бахтурина лежал в драматургии, к которой его заставила обратиться нужда. К бенефисам и торжественным спектаклям, когда репертуар требовал новинок, Бахтурин одну за другой мастерил драмы и трагедии. «Бахтурин недавно появился на литературном поприще, и начал он с самого трудного шага, шага на сцену, — писал Кони в 1837 г. — Первая и лучшая из его драм была бесспорно *„Пятнадцать лет разлуки"*, которая имела довольно продолжительный успех на Петербургском театре. Но в этой драме, как и во всех последовавших за нею, Г. Бахтурин обнаружил избыток лиризма, который мешал полноте движения и драматическому ходу его пьес... Вот почему драмы Г. Бахтурина не оставляли глубоких впечатлений и он принужден был прибегнуть к театральным эффектам, чтобы возбуждать внимание зрителя там, где недоставало ему драматического движения».[21] Упреки такого рода делались ему постоянно; обстановка, в которой драмы писались, много способствовала их недостаткам. А. Я. Панаева-Головачева передает рассказ о том, как Бахтурин написал драму для бенефиса Брянской: «Был писатель-драматург Бахтурин, которому многие артисты заказывали пьесы для своего бенефиса. Мать моя тоже заказала Бахтурину драму для своего бенефиса. Он был мастер составлять эффектные афиши, — в его пьесах всегда было много действий с разными названиями. Бахтурин взял вперед деньги, но запил и ничего не писал. Тогда мать моя поступила с ним очень энергично. Она пригласила его обедать и заарестовала его у себя. От Бахтурина были отобраны сапоги, сюртук; ему дали халат и туфли отца и заперли в кабинет, посылая для вдохновения утром и вечером по большому графину настойки. Бахтурин в несколько дней напи-

[20] Северная пчела. 1837. № 170. Среди лирических стихотворений этого сборника, выдержанных в обычных романтических тонах, есть и сказка «Нил-царевич», о которой Ф. Кони писал: «В сказке о Ниле-царевиче есть места замечательные по живости и веселости рассказа и по уместному употреблению многих смелых русских оборотов и простонародных слов, но в целом составе она неудовлетворительна. Сказки Пушкина и Ершова в этом отношении так хороши, что им и подражать не должно». По рассказу Я. П. Полонского Бахтурин — «неизвестный свету стихотворец» — был ближайшим другом П. Ершова и В. Бенедиктова. Названные лица составляли интимный бенедиктовский кружок (см.: *Полонский Я. П.* Биография В. Г. Бенедиктова//Бенедиктов В. Г. Соч. СПб., 1902. Т. 1. С. VII). Тут же Полонский приводит четверостишие Бахтурина из несостоявшегося альманаха «Мы — Вам». О Бахтурине см. также в воспоминаниях К. Н. Макарова «Люди старого времени» (Исторический вестник. 1894. № 1. С. 171—176).

[21] Северная пчела. 1837. № 170.

сал драму и был освобожден из под ареста».[22] «План „Руслана и Людмилы", по которому написана опера Глинки, набросан был Бахтуриным в четверть часа, под пьяную руку».[23] При таких обстоятельствах трудно было, конечно, ожидать от драм Бахтурина художественной законченности и сценичности.

Из его драм напечатана только одна: «Кузьма Рощин» в «Репертуаре русского театра» за 1839 г.; остальные не опубликованы.[24] Среди них Е. Боброву по названиям известны и «Красное покрывало», и «Замок Нейгаузен», но он не дает их характеристики и не приводит сведений об их постановках, упоминая, впрочем, что драма «Замок Нейгаузен», «очевидно, есть переделка известной повести Марлинского под тем же заголовком».

Драма Бахтурина «Красное покрывало» шла в Александринском театре в бенефис Григорьева-старшего в начале мая 1836 г. Она не напечатана. В Ширяевской театральной библиотеке, представляющей из себя богатейшую коллекцию пьес, шедших на русской сцене за два века, и в настоящее время хранящейся в Одесской государственной Публичной библиотеке,[25] среди других пьес Бахтури-

---

[22] Русские писатели и артисты. СПб., 1890. С. 54—55; *Панаева (Головачева) А. Я.* Воспоминания. М., 1972. С. 60—61.

[23] *Бобров Е.* Из истории русской литературы XVIII и XIX ст. С. 434; «Записки» М. И. Глинки. СПб., 1897. С. 144—145. Кстати, здесь надо отметить, что Глинка положил на музыку романс Бахтурина «Моя арфа», а Н. А. Титов — «Песнь ямщика» (Русская музыкальная газета. 1900. № 19—20. С. 529).

[24] Е. Бобров устанавливает, что Бахтурину принадлежит 8 драм, таким образом, дополняя неисправные перечни Гербеля (Русские поэты. 1880. С. 685) и Венгерова (Критико-биографический словарь. Т. 2. С. 269), но вопрос остается открытым относительно водевиля «С.-Петербургская мелочная лавка», о котором Бобров не упоминает совсем, но который приписан Бахтурину автором небольшой статейки о нем в «Русском биографическом словаре» (Т. 2. 1900. С. 609). В моих руках нет данных, которые позволили бы приписать эту пьеску Бахтурину (см. рецензию в «Литературной газете» (1841. № 33; автор не назван)); однако, основываясь на вышеприведенном показании Головачевой-Панаевой, можно полагать, что Бахтуриным было написано большее количество драматических произведений, нежели те 8, которые перечислены у Боброва. Быть может, ему принадлежит и названная выше переделка «Пиковой Дамы» Пушкина.

[25] Ширяевская театральная библиотека является одним из лучших провинциальных театральных собраний: книжная коллекция Д. В. Ширяева в 1891 г. была приобретена Одесской государственной Публичной библиотекой и составляет теперь ее специальный «Театральный отдел». По рукописным материалам этого отдела В. В. Данилов написал статью о драматических переделках гоголевских повестей (Русский мифологический вестник. 1911. № 2. С. 331—338). К сожалению, библиотека привлекала к себе до сих пор мало внимания, тогда как по экземплярам Ширяевской коллекции можно было бы написать не одну любопытную страницу из истории русского театра и литературы. Среди пьес 1840—1870-х гг. есть много рукописей; все они, вероятно, вышли из театральной среды, на что указывают режиссерские поправки и заметки на них. Много тетрадок с рукописями 1850—1860-х гг. хранит отметку: «Из библиотеки суфлера В. Ф. Семенова. Кременчуг». Попадаются любопытные списки актеров провинциальных трупп, история которых еще так мало разработана, и ценные рукописные копии драматических произведений и переделок Пушкина, Тургенева, Островского. См. мою заметку о коллекции «Ширяевская театральная библиотека» в журнале «Театр» (Одесса, 1921. № 3. С. 4—5).

на, переписанных чьей-то заботливой рукой, есть и «Красное покрывало». Драма в 3-х действиях и 3-картинах. Последняя сцена на кладбище заимствована из повести г-на А. Марлинского. 1840». Эта дата означает, вероятно, год переписки драмы или ее постановки на сцене; на последней, 121-й странице рукописи отмечено: «переписал С. Пирожков». Рукопись представляет собой театральный текст, потому что в перечне действующих лиц отмечены и их сценические исполнители.[26]

Нетрудно догадаться, почему лишь последняя «Сцена на кладбище» заимствована из рассказа Марлинского. Рассказ этот, названный «сценой из походной жизни», написан в Арзруме[27] и представляет собой распространенное стихотворение в прозе. Автор с карандашом в руке сидел на восточном кладбище, срисовывая красивый надгробник в виде часовни. Осеннее солнце клонилось за далекие горы Лезгистана. Когда косые лучи солнца озолотили стройные минареты мечетей и напомнили ему огромные свечи, теплящиеся перед лицом Аллы, он отбросил карандаш и стал думать о смерти, созерцая прекрасную картину заката. Вдруг на одном из холмов кладбища он увидел женщину, стоящую над могилой: «она была высокого роста, и длинное красное покрывало широкими складками струилось до земли». Желание узнать ее судьбу превозмогло чувство невольного уважения, которое он питал к ее скорби; приблизившись, он вступил с ней в разговор. Она оплакивала близкого. Участие проснулось в его душе; оно окрепло еще более, когда на грубо высеченной плите он мог разобрать полустертое имя покойного: «Поруч... Влад.»; это был его соотечественник. Ему стало жаль оставить ее одну на кладбище, в часы опасных встреч, и он сказал ей: «Милая (ман-азимум), солнце давно уже закатилось!» — «Мое солнце и не взойдет... — горестно возразила она... — Ни крик петуха, ни звон трубы, ни даже мой голос не разбудит его утром... Мои жаркие поцелуи не откроют его очей, щеки не улыбнутся мне, уста не молвят слова радостного». Автор отошел от нее, чтобы не мешать ее горю и предался размышлению. «Но кто там скачет по гробницам, извлекая из них молнии? Это — Осман. Белый конь его мчится, как оседланный вихрь, и полосатый плащ (чуха) клубится во мгле, подобно облаку». «Но всадник вдруг осадил коня, привстав на стременах. Страшно сверкают очи под белой его чалмою... окладистая черная борода объемлет бескровное лицо... Он кого-то ищет... Он нашел свою жертву. Снова конь взмахнул розовой гривой и в три наскока он был уже на могиле русского, над которой на коленях молилась прекрасная незнакомка... Я видел, как взвился на дыбы конь всадника, видел, как сверкнула сабля, подобно рогу луны сквозь тучу — и за ним раздался краткий, но невыразимо-пронзительный стон». Пуля пронзила всадника,

---

[26] Эмир Джиаффар, начальник города Арзрума — Мони; Фатима, вдова — Зелинская; Зюлема и Лейда, ее дочери — Соколова и Зелинская; Мустафа, брат Лейды — Новиков; Мулла — Крушилов; невольник Джиаффара — Вальков, начальник евнухов — Шагар, начальник янычар — Ефимов и т. д.

[27] *Марлинский А.* Второе полн. собр. соч. Т. 2, ч. 2. С. 109—120.

и бешеный конь унес его из виду, упавшего на гриву. Сабельный удар рассек плечо незнакомки до самого сердца, и только лицо ее не было облито кровью. Черные косы рассыпались по гробовой плите, которую она обняла своими руками. «Припав на колени, я долго вглядывался в чело ее, леденеющее постепенно: страх не успел согнать с него грусти глубокой, и уста, казалось, разверсты были не стоном, а вздохом любви». «Прощальный поцелуй мой сошел на холодное ее чело, и я задернул труп красным покрывалом. На утро, с зарей, мы выступили обратно к границе России. Я мог догадываться, кто был любовник убитой красавицы, но кто была она, кто таков был убийца — отец-ли, брат ли, супруг ли ее, не знаю. Все мои разведки были бесплодными».

Так кончается этот маленький лирический рассказ, навеянный Бестужеву Байроном и арзрумскими впечатлениями.[28] Полное отсутствие действия и драматической мотивировки делали его совершенно непригодным для сценической обработки.

Бахтурину пришлось выдумать историю, которая осталась неизвестной Марлинскому. «Красное покрывало» — это была одна из возможных развязок сюжета, в русской литературе впервые обработанного Пушкиным в «Кавказском пленнике», — любви туземки к русскому. Отправляясь от этой развязки, Бахтурин сочинил малоправдоподобную историю, явно рассчитанную на несколько сценических эффектов. Вот почему афиша спектакля гласила, что «только конец драмы выделан из чужого рассказа», а рецензент и не заметил сходства драмы с популярной повестью Марлинского.

«Г. Бахтурин дарит нашу сцену третьей драмой, — писали в «Северной пчеле». — Все три сестрицы имеют удивительное родственное сходство: та же бледность, та же холодность, тот же недостаток чувства; но все три сестрицы говорят звучным, модным стихотворным языком, пушкинским ямбом. Г. Бахтурин чрезвычайно однообразен; он как будто не может создать басни, выдумать происшествия, выводимого им на сцену. Он пишет не вследствие желания показать вам какую-нибудь сторону человеческой жизни в драматической картине: он просто показывает какое-нибудь происшествие с помощью актеров, которые в его так называемых драмах входят и выходят, плачут и режутся без всякой причины, без всякой цели, явной или тайной». Далее приводится содержание самой пьесы: «В „Красном покрывале" содержание очень просто: красное покрывало Зюлемы, жены Эмира, находится между бельем русского

---

[28] В «Библиотеке для чтения» (1838. Т. 30. «Русская словесность». С. 5—9) под псевдонимом М.-А. появилось стихотворение «Красное покрывало», представляющее собой поэтическую переработку рассказа Марлинского:

Потух последний солнца луч,
Склонясь за горы Лезгистана,
И над кладбищем из-за туч
Взошла луна в волнах тумана;

Дыша весенней тишиной,
На землю тихо ночь слетела
И новой дикой красотой
Окрестность спящую одела...

Стихотворение довольно близко к подлиннику и сохраняет многие выражения рассказа Марлинского. Не принадлежит ли эта стихотворная переделка Бахтурину?

офицера. Эмир мстит русскому офицеру, застает его с женою, при слабом блеске луны, хочет его и ее убить, но... чу! барабан! Русский отряд под командою полковника выходит на сцену. Полковник спасен, Эмир убит. И коротко и ясно; в самой драме и длинно и скучно. Ружейные выстрелы, кстати, разбудили заснувших зрителей». [29]

В действительности же содержание драмы Бахтурина, судя по копии ее 1840 г., хранящейся в Ширяевской библиотеке, много сложнее. Последняя сцена, «выделанная из чужого рассказа», мало его напоминает; указание на Марлинского было не больше чем уловкой. Сцена происходит на кладбище, где беседуют Ардатов и Зюлема; их мирная беседа прервана: сюда врывается Джиаффар, отец Зюлемы, с толпой белых и черных невольников. Зюлему убивает ее мать — Фатима, в это время вбегает молоденький юнкер Гремин, который убивает муллу, находящегося в свите Джиаффара, но Джиаффар смертельно ранит Гремина. Вбегает капитан Велин и убивает Джиаффара.

Велин: Отомщена смерть чистая твоя!
Ардатов, ты не все еще узнал:
Не Гремина оплакиваешь ты,
Узнай, как русская любить умеет:
Графиню Вельскую ты видишь пред собой,
Которая отвергнута была
Твоей любовью! Всюду за тобой она
Влеклась, — и в блеске юных лет
Погибла Ольга, за тебя, Ардатов!

(Графине)

Мы все тобой от смерти спасены.
(*Падает перед нею на колена*).

Ардатов *(держит ее в объятиях)*:
Хранитель — Ангел наш... Творец небесный!
За что так тяжко я судьбой наказан?
Графиня *(открывая глаза)*:
О, друг мой! Сладко за тебя погибнуть!
Мои мольбы услышала судьба.
Я на груди супруга умираю.
Димитрий! вот мое последнее желанье:
Пускай одна меня могила скроет
С твоей Зюлемою, она сестра моя.
Она мой друг — тебя, как я любила,
Она, как я, погибла для тебя!
Прощай, Димитрий...
Ардатов *(в отчаянии)*:
И я!.. и я!.. Не мог тебя постигнуть...
Простишь ли ты меня?
Графиня: Любила я тебя, люблю и все прощаю...
Ардатов *(опускает ее на землю. Солдаты возвращаются и, опираясь на ружья, формируют группу)*.

Занавес. [30]

---

[29] Северная пчела. 1836. № 108.

[30] Рукопись Одесской государственной Публичной библиотеки; театральный отдел им. Д. В. Ширяева (XXIV, № 1097). В библиотеке имеются рукописные копии и других неизданных пьес Бахтурина: «Молдавская цыганка» (Рукопись. 1870, № 1375), «Пятнадцать лет разлуки» (Рукопись. 1838 г. № 2024).

Переделывая повесть Марлинского, Бахтурин воспользовался только ее заглавием; сюжет всецело принадлежит самому драматургу.

Два года спустя Бахтурин вновь взялся на переделку повести Марлинского. В 1838 г. он написал «Замок Нейгаузен», «рыцарскую драму в 3-х картинах». Пьеса впервые поставлена была в бенефис Толченова в Александринском театре в сентябре 1838 г.[31] Она также не напечатана, но ее не нашлось и в Ширяевском собрании; однако можно не сомневаться, что она на этот раз точно воспроизводила повесть Марлинского. «Эпохою своей повести, — писал Бестужев в примечаниях к «Замку Нейгаузену» (повесть напечатана впервые в «Полярной звезде на 1824 г.». С. 141—191), — избрал я 1334 год, заметный в летописях Ливонии взятием Риги гофмейстером Эбергардом Монгеймом у епископа Иоанна II». Выбор Бахтурина на этот раз был более удачен: повесть Марлинского полна драматического движения. Новгородец Всеслав взят в плен бароном Эвальдом фон Нордеком. Барон гостеприимно принял врага в своем доме, но с некоторого времени косо смотрит на отношение Всеслава к своей супруге Эмме. Между ними происходит объяснение, и барон вызывает Всеслава на поединок. Но в самое утро поединка барон исчезает, захваченный тайным рыцарским судом. Все обвиняют Всеслава в вероломстве. В следующей главе изображена картина суда над бароном в тайном Аренбургском судилище, в глухую полночь, в лесу. Его обвиняют в измене и в сношениях с русскими. Вырвавшийся из плена Всеслав случайно встречается с отрядом новгородских дружинников, где предводителем его брат — Андрей. Всеслав рассказывает брату свою историю и о том, как великодушный рыцарь фон Нордек, обладатель замка Нейгаузен, приютил его у себя. К барону приехал погостить его старинный приятель — мальтийский рыцарь Ромуальд фон Мей. Воспылав страстно к супруге барона, фон Мей оклеветал Всеслава перед бароном, а кроме того, обвинил и его самого перед тайным судом, для того чтобы получить в обладание Эмму. В минуту бегства из замка Всеслав случайно узнает в Эмме свою сестру: Отто, отец барона, сжалился над малюткой, захваченной рыцарями во время набега на псковские предместья, взял к себе в дом и выдавал ее за свою родственницу. Братья, не теряя ни минуты, вскакивают в ладью и мчатся на остров Эзель, чтобы спасти жизнь приговоренному фон Нордеку. По дороге они освобождают пленную Эмму. Авантюра оканчивается удачно, и барон Эвальд фон Нордек обнимает свою супругу на груди у ее брата Всеслава.

Повесть эта, исполненная «чудесной живости», которую так метко характеризовал Пушкин, была любима современниками; ею увлекался даже Гоголь в эпоху создания своей юношеской идиллии.[32]

---

[31] См.: Северная пчела. 1838. № 213; это опровергает предположение Боброва, что пьесу эту Бахтурин написал в заточении у Брянской (*Панаева А. Я.* Воспоминания. М., 1972. С. 60—61). Речь здесь может идти либо об «Ибрагиме и Роксане», либо, наконец, о «Батые в Рязани».

[32] *Шаровольский И. В.* Юношеская идиллия Гоголя. Киев, 1902. С. 42—43.

Сколько можно судить, не имея под руками пьесы Бахтурина, он в своей переделке рабски придерживался подлинника. Это отмечала и критика. «Г-н Бахтурин при переделке для сцены Замка Нейгаузен следовал старинной системе, — писали в «Северной пчеле». — Он взял каркас повести и переложил ее в разговоры, местами слово в слово. Гоняясь за остротами и шутками Марлинского, он на каждом шагу забывает зрителя и действие, и оттого сцены у него холодны и натянуты. В начале этой рыцарской драмы, пропустив введение: „Летний день западал...", переделыватель приводит целиком весь разговор Ромуальда фон Мея с Конрадом, не забывая ни одной блестки, ни одного острого словца, которыми усыпал его новеллист. У него является тут и кресс-салат для сравнения с любовью, и турецкие огурцы для противоположности с турецкими головами, и мыши на корабле.[33] И все это в стихах, светлых и текучих, как Невская вода. Потом, когда вы прошли через все знакомые сцены этой повести, когда тайные судьи обрекли на смерть Эвальда, Всеслав нашел в Эмме свою сестру. — Развязка с шумом вбегает в темницу Нордека, обезоруживает Ромуальда и соединяет нежных супругов на груди брата Эммы». Относительно же игры актеров здесь сказано следующее: «Каратыгин усиливался оживить бледное лицо Эвальда своею пламенною игрою и теплотою чувства, и успел в этом, сколько позволяла неблагодарная роль его. Девица Толченова, представлявшая Эмму, кажется, не рождена для театра: но мы не будем к ней слишком строги, потому что она в первый и последний раз является на сцене».[34] Обе переделки Бахтурина недолго продержались на столичной сцене, но долго еще не входили в репертуар провинциальных трупп: рукописная копия «Красного покрывала» помечена 1840 г. Другие переделки повестей Марлинского держались на провинциальных сценах и дольше.

В драму переделана была также и повесть «Фрегат „Надежда"», шедшая на провинциальных сценах вплоть до 1860-х гг.[35] В Ширяевской библиотеке хранится именно эта переделка, которая, видимо, также напечатана не была: «*Фрегат „Надежда"*. Драма в 5-ти действиях. Переделана из повести Марлинского Писаревым». Рукопись. Цензурованный экземпляр для Одесского театра 23 июля

---

[33] Вот отрывки этого диалога в повести Марлинского (Изд. 1847. Ч. 3. С. 104—105): «Пусть крапива забьет твои гряды, сказал он мимоходом Конраду, и Конрад, почтительно бросив шапку на землю, отвечал: Благодарю за желание, благородный рыцарь, но у меня и без того плохо идет работа; здешнее солнце светит только по праздникам, а эти башни и совсем не пускают его заглянуть в огород. — Старый дурак! Когда строят корабль, думают ли о привольи мышам?». Далее: «Конрад, меняй свой заступ опять на кинжал: поедем лучше галерою бороздить море! Право, доходнее резать турецкие головы, чем сажать турецкие огурцы <...> Нет, ты не умел, Конрад, посеять в ее сердце соучастия ко мне и взаимности! — Благородный рыцарь! Любовь растет так скоро, как кресс-салат, но и она все же не огородная овощь. Ее возродить в баронессе было ваше, а не мое дело. Впрочем — терпенье! — Терпение — добродетель верблюдов, не людей» и т. д.

[34] Северная пчела. 1838. № 213.

[35] «Фрегат „Надежда"» шла в 1840-х гг. в Тифлисском театре, см.: Кавказ. 1846. № 43. С. 180.

1860 г. (№ 2553). Первые три действия происходят в Петербурге, а последние два — на корабле и на берегу Англии. Автору сценической переделки пришлось прибавить к действующим лицам повести ряд новых лиц (Джемс Белестер, Джордж Ченумер — лейтенанты, граф Дермон и т. д.), но самое крупное отступление — замена главного героя повести Марлинского — капитана Правина Робертом Дравенсоном, командиром английского фрегата. В остальном переделыватель очень близко придерживался своего образца, полностью введя в свою пьесу наиболее эффектные диалоги повести и ее страстные лирические декламации и развернув также в целый акт сцену на корабле во время бури.

Последней из известных нам сценических обработок Марлинского была четырехактная драма в стихах Н. Н. Филимонова «Князь Серебряный, или Отчизна и любовь» (1841). «Рассказывать содержание „Князя Серебряного“ излишне, — писал о пьесе Ф. Кони в «Литературной газете».[36] — Оно известно всем и каждому, кто хотя мало следит за русской литературой, из повести Марлинского „Наезды“. Автор очень хорошо воспользовался главными лицами повести и прекрасно нарисовал, сколько дозволял объем его драмы, характеры кн. Серебряного, стрелецкого головы, польского магната Станислава Колонтая и т. д. «Правда, видно, что это первый опыт автора, еще незнакомого с элевзинскими таинствами сцены, с этой трудной грамотой, которая изучается только с годами; но тем не менее это опыт, отличающий дарование и прекрасное, прямое, художественное направление, которое в наше время так редко стало на сцене». Гораздо строже отнесся к драме В. Г. Белинский, еще раз вернувшийся в своей рецензии к вопросу о допустимости приспособления к сцене повествовательных произведений. «Переделывать повесть в драму или драму в повесть, — писал он, — противно всем понятиям о законах творчества, но есть дело посредственности, которая своего выдумать ничего не умеет, и потому хочет жить по неволе чужим умом, чужим трудом и чужим талантом. Когда такого рода чернильные витязи хватаются за хорошую повесть — оскорбительно видеть, как они уродуют прекрасное произведение; когда они берутся за плохую повесть — досадно видеть их тщетные усилия воскресить забытую нелепость. Повесть Марлинского „Наезды“ в свое время была хороша и стоила своего успеха. Хотя герой ее по своим чувствам, понятиям и поступкам был немец с русским именем, хотя в его русских поговорках высказывался немецкий склад ума, хоть все события повести натянуты и неестественны, страсти поставлены на ходули, характеры составлены по рецептам; однако бойкий, одушевленный рассказ и хороший язык автора всеми были приняты за удивительное мастерство воскрешать „дела давно минувших дней, преданья старины глубокой“, живописать страсти и изображать характеры, да еще какие — глубокие, сильные, идеальные!.. Но теперь иное дело! С тех пор много утекло воды в океан забвенья, а

---

[36] Литературная газета. 1841. № 133. Здесь же (№ 135) напечатаны были и отрывки из драмы Н. Н. Филимонова.

за нею и вода повестей Марлинского... С тех пор причитались, присмотрелись и прислушались ко многому новому и лучше поняли, что такое творчество, народность в искусстве, созданные характеры, истинные чувства и естественно равивающееся действие». Белинский заканчивает свою заметку указанием, что «теперь читать „Наезды“ все равно, что перечитывать страшные романы г-жи Радклиф» и что «видеть же на сцене плохую переделку устаревшей повести — хуже всего худого, что только можно придумать».[37] «Северная пчела», еще благосклонная к Марлинскому, также нашла драму Филимонова очень неудачной. «...Серебряный не удался до того, что эту оригинальную драму ничем иным нельзя почесть, как карикатурой на повесть Марлинского. Бойкость и живость слога Марлинского совершенно исчезла в стихах неизвестного переделывателя, а на место всего этого явились тяжелые вирши и ученические ошибки против русского языка. Переделыватель рассчитывал на эффект и потому в свою оригинальную драму ввел сражения, пожары, разрушения, одним словом, *великолепный спектакль* и вследствие этого вышло *много шуму из-за пустяков*». Пьеса эта была поставлена и для дебюта младшей из сестер Самойловых — Веры. «Артистам в этой так называемой драме играть было нечего, — прибавляет рецензент «Северной пчелы», — мы от души пожалели о г-же Самойловой 3-ей, которая для первого дебюта своего вышла в пустой, бесцветной роли».[38]

Драматические переделки повестей Марлинского очень характерны для 1830-х гг. Они несомненно были отголосками той огромной популярности, какой пользовался у нас этот писатель: нравилась возможность реальнее ощущать его героев, облекавшихся в плоть и кровь, со сцены слышать их живую речь, следить за порывами той мятежной страсти, которая кипела в их сердцах. Столичная театральная критика встречала эти переделки враждебно, но они освоились на провинциальных сценах и вплоть до 1860-х гг. не сходили с репертуара. Марлинский долго еще привлекал к себе драматических писателей и музыкантов: А. А. Алябьев начал было, но не докончил оперу на сюжет «Аммалат-Бека»; либретто было написано А. Вельтманом. Впрочем, по известию редактора сборника, в котором напечатано было несколько сцен этого либретто Вельтмана, опера «Аммалат-Бек» вчерне уже была закончена; по тому же свидетельству, для обработки своей оперы Алябьев воспользовался рядом горских мелодий.[39] Много позднее за тот же сюжет взялся и Н. Я. Афанасьев, причем из повести Марлинского на этот раз сделал либретто В. И. Даль. О том, как у Афанасьева возникла

[37] *Белинский В. Г.* Русский театр в Петербурге//Полн. собр. соч., 1955. Т. 6. С. 76—77.

[38] Северная пчела. 1841. № 275. Ср.: *Крылов В.* Сестры Самойловы//Исторический вестник. 1898. № 1. С. 139.

[39] Отрывки из этого либретто напечатаны в книге «Раут. Литературный сборник» (М., 1851. С. 211—221) с таким примечанием: «...на слова этой оперы музыка была уже готова: ее писал А. А. Алябьев, глубоко изучивший чудные напевы Кавказа». Ср., однако: *Перепелицын П. Д.* История музыки в России. СПб., 1888. С. 161.

мысль претворить в музыке повесть когда-то столь популярного, но в момент написания оперы едва ли широко известного беллетриста, композитор сам рассказывает в своих «Воспоминаниях».[40] Пятиактная опера Афанасьева «Аммалат-Бек», насыщенная экзотическим колоритом и полная эффектных в сценическом смысле драматических положений, дана была первый раз в Мариинском театре 23 ноября 1870 г.[41]

Это лишний раз убеждает нас в том огромном влиянии, которое оказал Марлинский в сфере, далеко выходящей из рамок литературы, и еще раз свидетельствует о том, как продолжительно было это влияние.

---

[40] «Мне хотелось воспользоваться впечатлениями моей поездки на Кавказ, — рассказывает Н. Я. Афанасьев в своих «Воспоминаниях» (Исторический вестник. 1890. № 8. С. 275—276, 268), — и я остановился на повести Марлинского „Аммалат-Бек". Добрейший В. И. Даль написал мне либретто, но будучи чересчур мягким, почти даже женоподобным, сделал таким же и героя моей оперы». В «Русской сцене» (1864. Т. 3. С. 51—52) при известии об опере Афанасьева было сказано: «...сюжет взят из повести Марлинского Вельтманом и исправлен Сенковским (Брамбеусом). Либретто было готово уже 15 лет назад». На оперу возлагали большие надежды, но она успеха не имела. См.: *Кашкин Н.* История музыки в России. М., 1908. С. 190; см. также статью «Н. Я. Афанасьев в „Русской музыкальной газете" (1898. № 7. С. 660). Одним из лучших номеров этой оперы, по-видимому, были танцы с хором, о которых Серов писал тогда же: «В этих танцах есть много нового, своеобразного и весьма хорошего и по мысли, и по красивой, хотя и несложной оркестровке». Ср. также отзыв Ц. А. Кюи (С.-Петербургские ведомости. 1870. № 334).

[41] В. Стасов ошибается, приписывая либретто Вельтману, смешивая, видимо, одноименные оперы Алябьева и Афанасьева (*Стасов В.* Русские и иностранные оперы, исполнявшиеся на императорских театрах в России в XVIII и XIX ст. СПб., 1898. С. 8).

ТУРГЕНЕВ И МАРЛИНСКИЙ

(К истории создания «Стук... стук... стук!..»)

1

Интересной особенностью тургеневской повести является точность ее исторического и бытового фона. Пользуясь приемами исторического живописания, Тургенев сознательно добивается исторически верной передачи времени и места действия. Действие обычно приурочено к определенному году или десятилетию, даже тогда, когда к этому не обязывают ни развитие фабулы, ни характер действующих лиц. Напротив, в некоторых случаях этого точного хронологического приурочения оказывается недостаточно, и рассказ обставляется целой системой очень тонко продуманных исторических и историко-литературных указаний. Действие «Бреттера», например, отнесено к 1829 г., «Первой любви» — к лету 1833 г., «Несчастной» — к зиме 1835 г., «Вешних вод» — к 1840 г.; отдельные части повести «Пунин и Бабурин» вместо заглавия имеют следующие временные обозначения: «1830», «1837», «1849», «1861». Из всех приемов, употребляемых Тургеневым с целью более точно отметить эпоху, к которой отнесен рассказ,[1] чаще других употребляется характеристика литературного движения этой эпохи: Тургенев называет журналы, которые тогда читались, книги, которые вызывали к себе интерес. Эти указания не служат к объяснению внутренней связи повествования — они лишь точно определяют эпоху, на фоне которой развертывается действие. В «Первой любви», отнесенной к 1833 г., Зинаида советует Майданову написать «Ямб» в подражание Барбье и поместить его в «Московском телеграфе»; в «Несчастной», действие которой происходит на два года позже, Фустов перелистывает уже свежую книгу «Телескопа». Чтобы оценить тонкость этих указаний, едва ли уже доступных первым читателям этих повестей, нужно вспомнить, что «Московский телеграф» Полевого, самый распространенный из московских журналов первой половины 1830-х гг., был запрещен в 1834 г. и что «Телескоп» 1835 г. привлекал к себе большое внимание, в нем уже появились первые статьи Белинского. Герои Тургенева вообще много читают и спорят о литературе: иные страницы тургеневского

[1] См.: *Фишер В. М.* Повесть и роман у Тургенева//Творчество Тургенева. М., 1920. С. 9.

повествования напоминают собою критические статьи: по ним одним можно было бы написать историю русской литературы за несколько десятилетий. В «Первой любви» Владимир «только прочел „Разбойников" Шиллера и декламирует Пушкина»; в «Несчастной» читают «Айвенго» В. Скотта и рассказчик идет в театр смотреть Щепкина в «Горе от ума»: «...комедию Грибоедова только что разрешили тогда, предварительно обезобразив ее цензурными урезками»,[2] — поясняет Тургенев. За всеми этими указаниями, столь щедро рассыпанными в каждом его произведении, чувствуется не только живой свидетель и участник русского литературного движения 1830-х гг., но и человек редкой начитанности, сложной книжной культуры, тонкий ценитель и авторитетный критик, отдающий себе отчет в том сложном влиянии, которое оказывает книга на человека: сам усердный читатель, он пережил ряд сложных книжных воздействий. Отсюда, быть может, и нередкое у него изображение такого воздействия — от Пунина, носящего в своей личности определенные следы увлечения Херасковым, Веры («Фауст»), долгие годы сознательно убереженной от отравляющих книжных влияний, до Марьи Павловны («Затишье»), преображающейся под влиянием пушкинского «Анчара». В творчестве Тургенева мы встречаем целую галерею читателей, последовательно развертывающую перед нами все типы увлечения книгой и оказываемого ею воздействия. Отсюда, быть может, и частый у Тургенева прием характеристики образа через книгу, заботливость в подробном описании чтений героя, его оправдывающих и определяющих. Из множества примеров вспомним хотя бы, что романтизм Рудина косвенно поясняется германской поэзией, в которую он был погружен, читая «гетевского „Фауста", Гофмана или „Письма" Беттины, или Новалиса» (Соч., VI, 290), и что даже мистические настроения Мартына Харлова («Степной король Лир») питались и поддерживались статьей «Покоющегося трудолюбца» 1773 г., единственной книги, которая нашлась у него в доме.

С теми же приемами мы встречаемся и в рассказе «Стук... стук... стук!..» (1870), отнесенном ко времени большой славы Марлинского. Этот рассказ или, следуя обозначению Тургенева, «студия», среди прочих его мелких произведений особенно выделяется точностью своего исторического фона. Необычное обозначение («студия») которого Тургенев, однако, придерживался с удивительной настойчивостью,[3] как бы оттеняет его историческую и бытовую достовер-

---

[2] Цитирование произведений и писем Тургенева, производившееся М. П. Алексеевым по разным изданиям, переведено на полное собрание сочинений писателя (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Сочинения. М.; Л., 1965. Т. 10. С. 96). В дальнейшем ссылки на него даются в тексте с указанием римской цифрой тома, арабской — страницы.

[3] «Студией» рассказ уже назван в письме к М. М. Стасюлевичу от 4(16) октября 1870 г. (Письма, VIII, 287). «Вы мне скажете, что моя студия мне не удалась, — пишет Тургенев А. П. Философовой 18(30) августа 1874 г., четыре года спустя после его написания (Письма, X, 282). Тот же термин в письме С. К. Брюлловой 4(16) января 1877 г.: «Это — студия самоубийства» (Письма, XII, 58).

ность; термин употреблен здесь, конечно, в обычном смысле, предполагающем научное изучение, от studere:[4] может показаться, что этот очерк представляет собой экскурс в область психологии русского читателя 1830-х гг.

Верный своему обычному приему, Тургенев не только приурочивает рассказ к определенному десятилетию («Я расскажу вам, господа, историю, случившуюся со мной в тридцатых годах... лет сорок тому назад, как видите»), но и предваряет свой рассказ длинной историко-литературной справкой, мотивирующей и поясняющей действие: «Марлинский теперь устарел — никто его не читает и даже над именем его глумятся; но в тридцатых годах он гремел, как никто <...> Он не только пользовался славой первого русского писателя; он даже — что гораздо труднее и реже встречается — до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение. Герои à la Марлинский попадались везде, особенно в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно — „с бурей в душе и пламенем в крови", как лейтенант Белозор «Фрегата „Надежды"». Женские сердца „пожирались" ими. Про них сложилось тогда прозвище: „фатальный". Тип этот, как известно, сохранялся долго, до времен Печорина. Чего-чего не было в этом типе? И байронизм, и романтизм; воспоминания о французской революции, о декабристах — и обожание Наполеона; вера в судьбу, в звезду, в силу характера, поза и фраза — и тоска пустоты; тревожные волнения мелкого самолюбия — и действительная сила и отвага; благородные стремленья — и плохое воспитание, невежество; аристократические замашки — и щеголяние игрушками... Но, однако, довольно философствовать... я обещался рассказывать» (Соч., X, 266—267).

Этот длинный отзыв, служащий основанием, базисом рассказа, вложен в уста рассказчику повести Риделю, но, конечно, принадлежит самому Тургеневу: таков его обычный прием. Любопытно, что как раз в пору работы над своим рассказом Тургенев писал Я. П. Полонскому в ответ на его замечания о «личном» характере тургеневских повестей: «...я положил себе за правило вперед иначе не рассказывать, как от третьего лица: этак и проще и естественнее» (Письма, VIII, 301). Наконец, у нас есть определенное свидетельство Тургенева, что рассказ ведется от его лица: он писал И. П. Борисову 1(13) октября 1870 г.: «„Степной король Лир" явится, вероятно, в ноябрьской книжке „Вестника Европы" — а я пока настрочил другой небольшой рассказец под заглавием „Стук, стук, стук...". Тоже воспоминание молодости» (Письма, VIII, 285).

---

[4] Таков смысл нем. «Studie», фр. «étude», обозначающих прежде всего научный очерк. Между прочим, у Бальзака, кажется, впервые термин «étude» встречается в применении к беллетристическому произведению. Ср. его романы «Étude de femme» и «Autre étude de femme» или серию его романов под общим обозначением «Études philosophiques»: это вызвано, конечно, взглядами Бальзака на теорию реалистического романа.

И этот рассказ Тургенева, следовательно, уводит нас к впечатлениям его юности, как раз в эту эпоху особенно настойчиво тревожившим его воображение. Год назад Тургенев вспоминал свою дружбу с Белинским, не только эпизодически — в воспроизведении наиболее ярко сохранившихся в памяти встреч, бесед и свиданий, но пытаясь систематизировать материал своих личных воспоминаний, преобразовать их в стройную историческую характеристику, — не только зарисовать любимый образ, но и определенно поставить вопрос о значении его дела: недаром его «Воспоминания» вызвали полемику. Только что окончены были «Литературные и житейские воспоминания», снова дающие нам не только вереницу образов и эпизодов, удержанных памятью во всей свежести непосредственного впечатления, но и ряд историко-литературных пояснений и оценок. Казалось, Тургенев подводил итог своей личной жизни и давал последнюю оценку тому времени, в которое ему пришлось жить и действовать. Эти воспоминания открывают нам путь в его прошлое: на основе юношеских воспоминаний создалась «Несчастная» (1869); «Степной король Лир» (1870), хронологически занимающий место между «Воспоминаниями» и «Стук... стук... стук!..», воспроизводит рассказ из семейных преданий села Спасского-Лутовинова. Отсюда и двойственное значение рассказа «Стук... стук... стук!..»: здесь дана зарисовка одного из его юношеских воспоминаний, но произнесен и строгий суд на ним; центральный образ встал не в своей непосредственной свежести, но осложненный опытом жизни; рассказ носит на себе определенные следы критических воззрений Тургенева и объясняет нам многое в той оценке русского романтизма, какая была им сделана в «Воспоминаниях». С такой точки зрения рассказ может показаться прямо иллюстрацией некоторых положений этих «Воспоминаний», именно тех его частей, где Тургенев дает нам картину литературного движения 1830-х гг.

«Не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики, — писал Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях». — Марлинский все еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал, „Большой выход у Сатаны“ почитался верхом совершенства, плодом чуть не вольтеровского гения, а критический отдел в „Библиотеке для чтения“ — образцом остроумия и вкуса; на Кукольника взирали с надеждой и почтением, хотя и находили, что „Рука всевышнего“ не могла идти в сравнение с „Торквато Тассо“, — а Бенедиктова заучивали наизусть» (Соч., XIV, 16). В «Воспоминаниях о Белинском» дана та же картина: «Стоит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина», — и Тургенев называет имена Марлинского, Загоскина, Бенедиктова и Каратыгина (Соч., XIV, 38).

Эти люди, явившись «и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене», выражали для Тургенева «убеждение, конечно, справедливое, но в ту эпоху едва ли не равноверное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы — великое, вполне овладевшее собою, незыблемо твердое

государство и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском» (Соч., XIV, 37—38). Значение Белинского для русской культуры определялось, по мнению Тургенева, именно страстно напряженной борьбой с этим убеждением, как в сфере литературной, так и в сфере общественной. В особенную заслугу Белинскому Тургенев вменял именно разрушение громких литературных авторитетов Бенедиктова, Кукольника и Марлинского.

В свое время Тургенев подчинился идейному влиянию Белинского и стал на его точку зрения. В начале 1840-х гг. Белинский определенно поставил вопрос о значении Марлинского в русской литературе и дал на него отрицательный ответ: Тургенев принял его целиком и сохранил до той поры, когда писался рассказ «Стук... стук... стук!..». В общей оценке «риторической школы» 1830-х гг., как и в отдельных замечаниях об «отрицательных деятелях» русской литературы, данных в «Воспоминаниях», определенно чувствуется еще не ослабевшее влияние оценок Белинского; они же легко различимы в том отзыве о Марлинском, который положен в основание рассказа Тургенева и определяет характер и развитие повествования.

2

Тридцатые годы — время наибольшей популярности Марлинского. Первые томики «Русских повестей и рассказов» появляются без имени автора в Петербурге в 1832 г., спустя год, как «Лейтенант Белозор» с полной подписью А. Марлинского был напечатан в «Сыне отечества» и вызвал единодушные восторги. Н. Языков не задумался поставить Марлинского выше Пушкина-прозаика; он пишет брату: «Лейтенант Белозор меня восхитил! Какой мастер своего дела Ал. Бестужев, какая широкая кисть и какой верный взгляд и искусство ставить предмет перед глазами читателя живо, ярко и разительно. Что после них Белкин? Суета сует и всяческая суета».

Интересно, что такое убеждение разделяется лицами, близкими к пушкинскому кругу; его вводят в литературный обиход и оно усваивается читателем. Когда в 1837 г. почти вслед за смертью Пушкина, глубоко отозвавшейся по всей читающей России, появляется глухое известие о смерти Бестужева, оно как бы вызывает на сопоставление; тем, кому была раскрыта тайна его псевдонима, оно способно было еще более усилить горечь первой утраты. Никитенко записал в свой дневник: «Новая потеря для нашей литературы: Александр Бестужев убит. Да и к чему в России литерату-

ра!».[5] Для одного из его почитателей — на Руси было три великих Александра: «Александр I — спаситель наш, царь народа русского, Александр Пушкин — царь поэтов, Александр Бестужев — царь прозаиков. Сколько отрады они пролили в души людей! Сколько счастья готовили еще нам! Но ты, боже, отнял их! Они угасли на заре жизни! Жестоко! Несправедливо».[6] Этот юношеский энтузиазм к имени Марлинского не был чем-то исключительным: журнальные статьи 1830-х гг., письма и дневники полны восторженных оценок и признаний; в таком редком единодушии похвал не слышны отдельные голоса его соперников и недоброжелателей, но и здесь, в сущности, отрицательная оценка сводится лишь к вопросам стиля. В числе его поклонников необходимо отметить даже таких убежденных сторонников классиков, как Петр Георгиевский: среди тех, кто «вернейшим образом руководствует вкус и чтения хороших писателей», он называет Марлинского рядом с Карамзиным, М. Муравьевым, Жуковским, Батюшковым и Вас. Пушкиным.[7]

В том же году (Сын отечества. 1835) В. Т. Плаксин доказывал народное направление русской литературы на таких произведениях Марлинского, как «Наезды», «Испытание» и «Лейтенант Белозор». Марлинского прославляют как русского Гофмана и Гюго; называют счастливым, опасным соперником Купера и Евгения Сю, он становится в один ряд с Ж. Жаненом, Виньи, Ж. Полем и Цшокке: «Он равняется в повестях своих с лучшими писателями всех времен и превосходит всех повествователей и сказочников современных. Он оказал Искусству услугу, незабвенную тем, что нашел в отечестве своем образы и язык для рода повествовательного».[8] Популярность Марлинского поддерживают распространенные журналы Булгарина и Греча; и тот и другой дружественно расположены к нему самому. Булгарин гордится своей дружбой с ним, и еще в 1838 г. самолюбиво признается в письме к Ф. П. Толстому: «Бестужев имел советников во мне и в Грече».[9] Большое значение имеет пропаганда его имени в «Московском телеграфе» Полевого, где Марлинский является желанным сотрудником: здесь напечатаны кавказская быль «Аммалат-Бек» и критическая статья о романтизме.

---

[5] *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 201.

[6] *Абрамов И.* К характеристике читателя пушкинского времени//Пушкин и его современники. СПб., 1913. Вып. 16. С. 104. Имена Пушкина и Бестужева вновь связаны в стихотворении М. Демидова «На смерть Александра Пушкина» *(Демидов М.* Ау. М., 1839. С. 66):

Вот и другой питомец шумной славы
На высоте Кавказа снеговой
Пал жертвою войны кровавой
За славу родины святой.

Стихотворение М. Демидова перепечатано Вл. Каллашем (Ежегодник Коллегии Павла Галагана. Год 7-й. Киев, 1902. С. 128—129). О читателе Марлинского см.: *Котляревский Н.* Декабристы. СПб., 1907. С. 285—295.

[7] *Георгиевский П.* Руководство к изучению русской словесности. М., 1835. С. 125—126.

[8] Московский телеграф. 1833. № 1. С. 334.

[9] Исторический вестник. 1894. № 12. С. 633.

Атмосфера шумного успеха создалась не без влияния дружественных связей Марлинского с заправилами журналистики первой половины 1830-х гг.; быть может, именно это обусловило вскоре страстный полемический тон порицаний: в первой статье Белинского многое из его горьких упреков минует Марлинского и обращено прямо к Полевому. Но популярность его все-таки основана прежде всего на действительно страстном личном моменте его повестей, где он давал «разгул восторга дум и поэзии», где буйствовала мятежная сила его мысли, где он вставал во весь свой рост, с неутомимым стремлением к подвигу, невоздержанный в аффекте, неистощимый в диалектике и спорах, непобедимый в манере увлекательного рассказа. Он мог оказать влияние, которого сам, конечно, добивался: естественно, что он не только увлекал всех, но и создавал своего читателя, который подражал ему во всем, и жизнь свою строил в плане своего литературного увлечения. Группы оппозиции Марлинскому создаются около 1835 г., в эпоху его высшего расцвета и влияния: глухая оппозиция намечается в кружке московских шеллингистов, враждебных школе французского романтизма, откуда выходит и Белинский. В «Литературных мечтаниях» (1834) Белинский пытается уже быть органом «нового общественного мнения», вероятно, кружка Станкевича.[10]

«Теперь перед ним всё на коленях, — пишет Белинский, — если еще не все в один голос называют его *русским Бальзаком*, то потому только, что боятся унизить его этим и ожидают, чтобы французы назвали Бальзака *французским Марлинским*»,[11] и критик пытается «похладнокровнее» разобраться в причинах этого успеха. Вывод из

---

[10] Вопрос о том, насколько самостоятельна сделанная Белинским и имевшая историческое значение характеристика Марлинского, еще не решен. С. А. Венгеров в комментарии к «Литературным мечтаниям» (см.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Пб., 1900. Т. 1. Предисловие, примечания) утверждает, что бесспорную личную собственность Белинского составляет только одна характеристика Марлинского. Точку зрения Венгерова справедливой признал Н. К. Козмин (*Козмин Н. К.* Очерки из истории русского романтизма. СПб., 1903, С. 459); против нее — в пользу Станкевича, высказался П. Милюков (*Милюков П.* Надеждин и первые критические статьи Белинского//На славном посту. СПб., 1900. Ч. 2. С. 410). Однако в том же комментарии, в примеч. 157, Венгеров уже отказывается от определенного решения и склонен, скорее, отнести оценку Марлинского на долю влияния Станкевича: «Имя Марлинского в переписке [Станкевича] 1833—34 гг. не встречается. Но отношение Станкевича к Кукольнику. Тимофееву и другим дутым знаменитостям едва ли дает возможность сомневаться в том, что в отношении Белинского к Марлинскому главарь кружка имел свою долю влияния» (с. 444). Некоторый материал дают нам, однако, упоминания Марлинского в письмах Станкевича с Кавказа (1836) к Я. М. Неверову и В. Г. Белинскому, где он говорит о «надутых повестях Марлинского»; в письме Белинскому от 11 августа 1836 г. Станкевич говорит, что очерк Марлинского (в действительности же Панаева) в «Библиотеке для чтения» он начал было читать, но бросил, прочитав, что ветер завивает «пыль в кудри» (Переписка Н. В. Станкевича, 1830—1840. М., 1914. С. 354, 361, 414).

[11] Далее цитирование произведений и писем Белинского, производившееся М. П. Алексеевым по разным изданиям, переведено на полное собрание сочинений писателя: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 83.

ряда наблюдений не имеет еще остроты и силы его позднейшего приговора, но здесь слышится уже затаенное недовольство и намечена программа его будущих нападений: «Марлинский писатель, не без таланта, и был бы гораздо выше, если б был естественнее и менее натягивался».[12] Но для 1834 г. приговором была уже самая форма оценки, ее преднамеренно хладнокровный тон; он мог показаться скорее насмешкой, так мало вязался с согласным хором похвал, ежедневно провозглашавшихся с газетной и журнальной трибуны и тотчас же подхватывавшихся читательской массой. Известно с какой враждебностью встречены были «Литературные мечтания» и как медленно создавался авторитет Белинского; здесь интересно лишь подчеркнуть, что до конца 1840-х гг. оценке Марлинского, сделанной Белинским, безусловно сочувствовали только его близкие друзья и что читательский энтузиазм к имени автора «Аммалат-Бека» нисколько не пострадал от его грозных речей и страстных нападений. В статьях «Телескопа» и «Молвы» Белинский не раз возвращается к Марлинскому, распространяя свое осуждение и на школу, которую он создал; тогда же Белинский вводит в литературный обиход формулу «Каратыгин-Марлинский сценического искусства», которую нужно понимать как определение глубоко враждебной ему в те годы стихии напыщенности и нарядного риторизма. Эту формулу удерживает в памяти и не раз повторяет впоследствии и Тургенев.[13]

Осуждение Марлинского складывается у Белинского именно во второй половине 1830-х гг.: темнеют и сгущаются краски его характеристики и как бы собирается и сосредоточивается в нем та негодующая сила осуждения, которая лавиной прорвется у него в 1840 г. со снеговых вершин его критических прозрений. Взгляд Белинского на деятельность Марлинского окончательное оформление получает в статье по поводу третьего полного собрания его сочинений. На этот раз осуждение сильнее, потому что противодействие еще не ослабело. Поставлен прямой вопрос о значении деятельности Марлинского для развития русской литературы, и на него дан резко отрицательный ответ; его предрешают уже первые ссылки на Тредьяковского, Сумарокова и Хераскова: они «необходимы в историческом развитии литературы как писатели, отрицательно действующие на сознание общества в сфере положительной истины».[14] «К числу таких-то примечательных и важных в литературном развитии отрицательных деятелей принадлежит и Марлинский».[15] Время поставить его на свое место; отныне он — «отставной гений»; его влияние сказывается только на невеждах и лишенных критического чутья; у него нет ни народности, ни остроумия, которые приписаны ему «общим голосом». «Такие мнимо художественные произведения скорее всего захватывают внимание масс, увлекая их

[12] Там же. С. 85.
[13] Там же. С. 187. Можно догадываться, что эта формула внушена Белинскому Станкевичем.
[14] Там же. Т. 4. С. 27—28.
[15] Там же. С. 28.

своею доступностью, которая возможна даже для ограниченности и невежества»; разбор «Испытания». «Фрегата „Надежда“» и «Белозора» должен подтвердить высказанные положения, но ему недостает «ни сил, ни терпения» для выписок «диких фраз и натянутого высокого и страстного слога». В осуждении Марлинского Белинский основывался, как и в первый раз, не на «произволе личного мнения, которое чаще всего бывает личным предубеждением», но опирался на здравый смысл и эстетическое чувство «наших читателей» — «не себе, а им предоставляя право суда».[16] Это было лишь тактическим приемом, отводом от нареканий, которые были неизбежны и к которым он приготовился: «Мы говорили откровенно и прямо, sine ira et studio, но пояснять более не будем, чтоб гусей не раздразнить»; пояснять в сущности было нечего, и Белинский ожидал нападений. «Со 2-го № „Отечественных Записок“, т. е. с статьи о Марлинском, пишу не для вас и не для себя, а для публики», — писал он Боткину.[17] Ему же Белинский писал через две недели: «Статья о Марлинском тебе не понравится, но именно такие-то статьи я и буду отныне писать, потому что только такие статьи и доступны и полезны для нашей публики».[18]

Очевидно, Белинский не рассчитывал на успех статьи даже среди своих друзей: ее действительно встретили очень враждебно. Легенда, создавшаяся о Белинском после «Литературных мечтаний» как о человеке, который «обрушивается на все», которому не дороги русские литературные славы, казалось, получила новый ряд блестящих подтверждений: разрушение литературных авторитетов Бенедиктова, Кукольника и Марлинского сочтено было за оппозицию западника, враждебного вообще всей русской культуре. Перенесенный в плоскость кружковых споров вопрос принял общественную и философскую окраску. Последние гегелианские статьи Белинского были приняты очень враждебно и возбудили к себе почти всеобщее предубеждение: Т. Н. Грановский писал Я. М. Неверову о «гадких, можно сказать, подлых статьях <...> Белинского о Бородине»,[19] Огарев — Герцену о «гнусных статьях Белинского»,[20] Хомяков называл их «сумбуром», а Н. Ф. Павлов в письме к В. Ф. Одоевскому брался доказать, что Белинский — «пишущая машина», этот «мортус отправил похороны „Телескопа“ и „Наблюдателя“» — «все перепутал, все переврал», что он «сам себя не понимает».[21] При таком возбужденном и оппозиционном настроении его аудитории трудно было ожидать полного успеха статьи о Марлинском, непосредственно следовавшей за статьями о Менцеле и Бородине. Несомненно, что и на этот раз голос Белинского прозвучал в пустыне;

---

[16] Там же. С. 21—53. Первоначально статья о полном собрании сочинений А. Марлинского напечатана в «Отечественных записках» (1840. № 2. Отд. 5. С. 57—84).

[17] Там же. Т. 11. С. 438.

[18] Там же. С. 451.

[19] Н. Т. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 403.

[20] Русская мысль. 1889. № 1. С. 2.

[21] Из переписки князя В. Ф. Одоевского. V. Письма Н. Ф. Павлова//Русская старина. 1904. № 4. С. 198, 200.

к нему прислушались не сразу, ему поверили не все. Меньше всего нужно было ожидать успеха этой статьи в русской провинции; Кольцов писал Белинскому из Воронежа в апреле 1840 г.: «За Марлинского все бранят — это еще их кумир, и кумира их вы за ворот ухватили без чинов! Итак, его читают и бранят, бранят и читают!».[22] И долго еще по медвежьим углам русской провинции можно было видеть его страстных поклонников и поклонниц, продолжавших упиваться Марлинским в однообразной обстановке провинциального быта. Упорство читателя не могло не раздражать Белинского: не раз он говорит о «провинциальном идеализме» Марлинского, называет его «идолом петербургских чиновников и образованных лакеев».[23] Ядовитые стрелы направлены уже не столько на него самого, сколько на его читателей и поклонников.

Гоголю Белинский пишет 20 апреля 1842 г.: «...есть люди и притом не совсем глупые, которые, зная наизусть Ваши сочинения, не могут без ужаса слышать, что Вы выше Марлинского и что Ваш талант — великий талант»,[24] а в октябре 1843 г. так отвечает на упрек своей невесте, которая не поняла его: «Если бы это было так, я был бы глуп и пошл, как повесть Марлинского, стихотворение Бенедиктова».[25] Поклонников Марлинского действительно было еще много не только в провинции, но и в столицах. Еще в 1846 г. Валериан Майков, на которого Краевскому указал Тургенев, в статье о Кольцове развивает в отношении к Марлинскому точку зрения Белинского; но противопоставления Марлинский — Гоголь, как два полюса художественного миросозерцания, ощущаются уже не только литературно, поскольку речь идет главным образом о поклонниках того и другого.[26] Действительно, около этого времени русский читающий мир разделился на два лагеря; признавать Гоголя значило отрицать Марлинского; как некогда по традиции его приравнивали Пушкину, так теперь в отрицательном смысле его противопоставляют Гоголю. Источником этой борьбы было не столько творчество того и другого, сколько критические статьи Белинского, к взгляду которого или примыкали, или с которым не соглашались. В осуждении Марлинского и «отживающего строя романтических мечтаний» Белинскому поверили прежде всего его друзья. Членом кружка Белинского становится в это время и Тургенев.

3

Тургенев познакомился с Белинским в конце 1842 или в начале 1843 г. Тургенев вспоминал, как в одну из первых встреч Белинский «сам навел разговор на свои злополучные статьи и, с пре-

---

[22] *Кольцов А. В.* Полн. собр. соч. СПб., 1909. С. 212. Ср. в письме от 1 марта 1841 г.: «И ваши мнения о Марлинском наконец принимают за святую истину, что меня порадовало» (там же. С. 244).

[23] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 12. С. 8.

[24] Там же. С. 108.

[25] Там же. С. 239.

[26] «Положим, например, что два любителя русской литературы завели речь о повестях Марлинского. Давно ли этот писатель производил у нас не-

увеличенной резкостью осудив их, как дело темное, беззастенчиво высказал перелом, совершившийся в его убеждениях».[27] Это, конечно, были статьи о Менцеле и Бородинской годовщине, принятые так резко враждебно; возможно, что разговор тогда же коснулся и статей о Марлинском, еще оживленно обсуждавшихся. У нас нет никаких указаний, читал ли Тургенев статью Белинского во второй книге «Отечественных записок» 1840 г., но Тургенев сам рассказал, какое действие оказала на него статья Белинского о Бенедиктове. Естественно, что и в оценке Марлинского Тургенев должен был примкнуть к взглядам Белинского; за это говорит прежде всего интерес к критической деятельности Белинского, начиная с 1836 г. В Берлине Тургенев спрашивает о Белинском у Станкевича; напечатав «Парашу», относит ее к Белинскому, в надежде услышать веское слово; но к восприятию этой оценки Тургенев уже был подготовлен общением со Станкевичем и членами его кружка и серьезным интересом к Гоголю, влияния которого определенно чувствуются в фантастике его раннего рассказа («Похождения подпоручика Бубнова», лето 1842 г.) и в его «первой» поэме.[28]

К сожалению, мы не знаем в точности литературных симпатий Тургенева начала 1840-х гг.: о них дают косвенные указания лишь его произведения этой поры; ими необходимо воспользоваться. Характерное указание находим мы и в «Параше», вышедшей в свет весной 1843 г. Центральный женский образ поэмы — разработка типа «уездной барышни», который знала русская жизнь первой половины XIX в. и который был мимоходом набросан Пушкиным в «Барышне-крестьянке»: они «воспитаны на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь» и «знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивает чувства и страсти».[29] Мечтательность Параши такого же книжного характера: она развилась и окрепла в атмосфере книжных идей, навеянных, не оправданных внутренне, не пережитых мыслей и чувствований.

истовый фурор? Очень немудрено, что найдется человек, вовсе не принадлежащий по летам к старому поколению, но восхищающийся повестями Марлинского. Заговори же он об этих произведениях с любителем гоголевской школы: обоим придется или замолчать с первых слов, или завести спор с самых первых начал эстетики, иначе, выйдет не спор, а нечто вроде кулачного боя». (*Майков Вал.* Критические опыты. СПб., 1891. С. 4)

[27] Из двух дат, сообщенных самим Тургеневым о начале знакомства с Белинским, первая кажется наиболее вероятной. Ср.: *Ашевский С.* Тургенев и Белинский//Образование. 1901. № 3. С. 4. Она, впрочем, без оговорок принята и в книге Н. М. Гутьяра «Хронологическая канва для биографии И. С. Тургенева» (Пб., 1910), и в работе М. Гершензона «Мечта и мысль И. С. Тургенева» (М., 1919. С. 34).

[28] Известное письмо Тургенева к Никитенко от 26 марта 1837 г. дает нам интересное, но неясное указание: Тургенев работает над произведением «Наш век», «начатым в нынешнем году в половине февраля, в припадке злобной досады на деспотизм и монополию некоторых людей в нашей словесности» (Письма. I, 164). Не Марлинский ли имеется здесь в виду?

[29] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 6. С. 147.

И Тургенев дает в руки своей героине томик Марлинского и заставляет ее уноситься в мир идеальной романтической любви и мечтаний. Параша, одиноко расцветавшая среди старых лип в тени заброшенного сада,

...читала жадно... и равно
Марлинского и Пушкина любила
(Я сознаюсь в ее проступках)... но
Не восклицала: «Ах, как это мило!»
Но любовалась молча.

(Соч., I, 78)

В начале 1840-х гг. Тургенев мог, конечно, видеть деревенских почитательниц Марлинского, но здесь это указание является вместе и оценкой: «равно» любить Пушкина и Марлинского может только деревенская мечтательница — в простоте своего сердца, страстному поклоннику Пушкина не впору такая молчаливая восторженность и обожание созданий Марлинского, и с высоты передовых литературных идей он в шутку назовет эту неразборчивость вкуса даже смешным «проступком» провинциалки. Интересно, что и тот фантастический, идеальный мир, который создавала себе деревенская мечтательница, носит на себе явные следы увлечения кавказской романтикой Марлинского: Тургенев указывает, что взор Параши искал «других небес, — высоких пышных гор»:

Озарена каким-то блеском дивным,
Земля чужая вдруг являлась ей...
И кто-то милый голосом призывным
Так чудно пел и говорил о ней.
Таинственной исполненные муки
Над ней, звеня, носились эти звуки...
И вот — искал ее молящий взор
Других небес, — высоких пышных гор...

(Соч., I, 79)

«Кто-то милый» мыслился, конечно, в образе героя: воображению подсказывала книга. Кавказский офицер или горец, задрапированный буркой, мстительный, воинствующий, любящий; сердце его — океан страстей; слепой к опасностям, глухой к предупреждениям, он бросается в пропасти, вступает в битвы с единственным расчетом сломать себе шею; над ним тяготеет рок, его веселость безотрадна; он никого не любит, на нем печать отверженности и проклятья. Но он не понят и не оценен: женская любовь возвратит мир его душе. Поэма Тургенева построена именно на контрасте воображаемого героя и того, которого дает жизнь; в «Стук... стук... стук!..», возвращаясь к своим юношеским воспоминаниям, Тургенев дает иную комбинацию тех же элементов. Главное действующее лицо рассказа — тоже жертва книжного воздействия, воображаемый герой и фатальный человек; в рассказе несколькими чертами обрисован и предмет его «фатальной» любви: не представлялся ли Теглев этой бедной швейке, случайно умирающей от холеры, такой же избранной натурой, о которых мечтала Параша? Развязки любовных историй, расцветавших на такой книжной почве, бывали раз-

личны: читательниц Марлинского много раз касалась русская художественная литература.[30]

Любопытно, что ее охарактеризовал и Белинский. В статье «Сочинения Александра Пушкина», начатой печатанием в «Отечественных записках» 1843 г., но задуманной много раньше, Белинский подробно остановился на типах русской женщины, которых знала жизнь того времени.

Характеризуя «идеальных дев», их способность к «сентиментальной экзальтации», к «нервическому идеализму», Белинский типическим признаком этих страстных любительниц чтения считает их уверенность, что они понимают то, что читают: «Но как и что читают они, боже великий! <...> Все они обожательницы Пушкина, — что однако ж не мешает им отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иные из них с удовольствием читают даже Гоголя, — что однако ж нисколько не мешает им восхищаться повестями гг. Марлинского и Полевого».[31] Этот отзыв может служить характернейшей параллелью указанному месту «Параши»; если не говорить о зависимости одного от другого, то несомненной все-таки

---

[30] С теми же чертами встречаемся мы в «Машеньке», поэме Аполлона Майкова, открывающей, быть может, неслучайные черты сходства с героиней Тургенева. «Машенька» была напечатана в «Петербургском сборнике» Некрасова (1846) вместе с «Помещиком» и «Тремя портретами» Тургенева, но написана несколько раньше. Поэму Майкова ставят в связь с влияниями кружка Белинского, участником которого он сделался почти одновременно с Тургеневым (*Златковский М. Л.* Аполлон Николаевич Майков. Биографический очерк. СПб., 1888. С. 27—28); она была встречена приветственной критикой А. В. Никитенко (Библиотека для чтения. 1846. № 2. Критика. С. 37—47). Как и Тургеневская «Параша» —

В капоте легком, с обнаженной шейкой
Красавица являлась в садик свой,
Потом в тени, среди семьи цветов,
Как их сестра, садилась и читала.
О, как тогда ее кипела кровь!
Из рук порою книга выпадала,
И в сладком забытье неслась тогда
Ее душа — Бог ведает куда...

И Машенька «творила мир без цели, без границ» и тоже томилась желанием «в глушь уйти», «меж гор и бездн». (О поэме см. также: Русский вестник. 1897. № 12. С. 242). Фантазия героинь Тургенева и Майкова работает в одном направлении и создает, быть может, тождественный образ героя: но пришедший герой оказывается далеко не соответствующим тому идеальному образу, какой рисовался им в мечтах. Не создалась ли поэма Майкова под непосредственным влиянием «Параши» Тургенева? Для характеристики читательницы Марлинского см. еще у И. А. Гончарова («Обыкновенная история»), где Мария Горбатова из провинциальной глуши просит своего братца прислать «сочинения господина Загоскина и господина Марлинского»; у Н. Г. Помяловского («Мещанское счастье»), где героиня получает название «кисейной барышни» и характеризуется так: «Читали они Марлинского, пожалуй, и Пушкина читали; поют: „Всех цветочков боле розу я любил" да „Стонет сизый голубочек", вечно мечтают, вечно играют... Ничто не оставит у них глубоких следов, потому что они не способны к сильному чувству». (*Помяловский Н. Г.* Полн. собр. соч. Пгр., 1918. Т. 1. С. 56, 54).

[31] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 478.

будет близость воззрений Тургенева и Белинского; в это время как раз начинается период их интимной дружбы.

Указанное место «Параши» объясняет нам отношение Тургенева к Марлинскому, если не создавшееся, то окрепшее под влиянием Белинского. Дальнейшие годы дружбы, летние беседы на даче в Лесном, зальцбруннский период их совместной жизни, определивший общественно-политический уклон некоторых рассказов «Записок охотника» и ряд прочно усвоенных от Белинского критических воззрений,[32] могли укрепить эту оценку еще более. Отказ от Марлинского знаменовал тогда отказ от романтизма, байронических увлечений, юношеского гениальничанья, с его энергическими заявлениями личности и попытками вырваться из обычных условий среды и воспитания, коснувшихся и Тургенева не только своей литературной стороной, но и своей психологией: они были изжиты опытом жизни, но и не без влияния Белинского. Его влияние особенно определенно чувствуется начиная с «Разговора», этой романтической поэмы с размышлениями «о жизни <...> об Истине святой, о всем, что на земле на век неразрешимо»[33] (Соч., I, 102), из которой встает нам лицо молодого Тургенева, окончательно утверждающего свое миросозерцание путем отказов, переоценок и сожжений. Роль Белинского в деле выработки тургеневского миросозерцания определяет и окончательное сформирование его литературных симпатий; вступая на путь прозаика в те годы, когда школа Марлинского была еще в полном цвету, Тургенев, следуя Белинскому, сознательно оберегает себя от ее влияния. «В Чертопханове и Недопюскине» (1849), пользуясь своим обычным приемом характеристики чтений героя, Тургенев говорит, что Чертопханов «уважал <...> Державина, а любил Марлинского» и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком (Соч., IV, 310). Едва ли это прибавляет новую черту к характеристике Чертопханова; но это подчеркивает вновь — ироническое и злое отношение Тургенева к еще модному и любимому писателю. Итак, вот читатели Марлинского, которых заметил Тургенев: деревенская мечтательница, еще идеалистически освещенная, в отношениях к которой сквозь элегическую умиленность сквозит лермонтовская насмешка, и странный чудак, в изображении которого чувствуется влияние гоголевского жанра.[34]

---

[32] С. Ашевский в статье «Тургенев и Белинский» (Образование. 1901. № 4. С. 16) отмечает, что влияние Белинского «сказалось не только в художественно-литературной деятельности Тургенева, но и в его критических статьях, где мы часто встречаемся с отдельными мнениями великого критика и даже с его манерой писать и полемизировать».

[33] О влиянии Белинского на эту поэму см.: *Гершензон М.* Мечта и мысль Тургенева. С. 38—41. Отмечу, кстати, что интересный разбор этой поэмы Тургенева помещен в «Jahrbücher für Slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (Leipzig, 1845. Heft 3. S. 124).

[34] См. еще в «Двух приятелях» (1853):

«Скажите, пожалуйста (спросила Софья Кирилловна, обращаясь к Вязовнину), отчего Марлинский в последнее время впал в такую немилость? Это, по моему, в высшей степени несправедливо. Вы какого о нем мнения?

— Марлинский — писатель с достоинствами, конечно, — возразил Борис Андреевич.

Тургенев, как известно, навсегда сохранил любовь к имени Белинского и особенно внимательно относился ко всему, что писалось о нем. Он не мог пройти и мимо тех оценок, какие сделаны были статьями Белинского о Марлинском. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» принимает осуждение Марлинского целиком и за разъяснениями прямо отсылает к статьям Белинского;[35] Ап. Григорьев называет эту оценку «истинно-изумительной», но сравнительно со статьей 1840 г. предпочитает «Литературные мечтания»;[36] Дружинин, отдавая ей должное, все, же признает ее «резкую крайность»: «...в ней слышится какой-то озлобленный голос нетерпимости, вся она будто выговаривает известную фразу: если ты не со мной, значит ты против меня. Если ты не со мной, значит ты никогда не будешь и не можешь быть со мною».[37] Все эти статьи были прочитаны Тургеневым с громадным интересом. «Очерки гоголевского периода» до некоторой степени примирили его с Чернышевским: «радуюсь воспоминаниям о Б[елинском], — писал он Л. Толстому, — выпискам из его статей, радуюсь тому, что наконец произносится с уважением это имя» (Письма, III, 43). Когда же Дружинин выступил со своими возражениями против Чернышевского и указал «слабые стороны критики 40-х годов», «резкость общих приговоров», отсутствие терпимости и хладнокровия, Тургенев, нетерпеливо ожидавший эту статью, был сильно разочарован. «Я больше (даже в дружининском смысле) ожидал от статьи о Белинском. От нее веет холодом и тусклым беспристрастьем. Этими искусно спеченными пирогами с „нетом" никого не накормишь» (Письма, III, 58). В 1860 г., вскоре после выхода в свет первого полного собрания сочинений Белинского, в «Московском вестнике», в виде открытого письма Основскому, появилось «Воспоминание о Белинском» Тургенева. В этом письме Тургенев отвечал всем критикам Белинского: основу письма составляет именно полемический элемент. Здесь Тургенев возражал, между прочим, и Дружинину в упреках Белинскому за «склонность к преувеличению»: это было его достоинство, его заслуга; она — выше тусклого беспристрастия и несправедливой холодности (Письма, III, 84). Можно лишь пожалеть, что не написано было обещанное «второе»

— Он поэт, он уносит воображение в мир... в какой-то очаровательный, чудесный мир: а в нынешнее время все стали описывать ежедневное. Ну, помилуйте, что хорошего в этой ежедневной жизни, здесь, на земле» (Соч., VI, 31). И дальше Тургенев указывает, что Софья Кирилловна «пришла, наконец, в волнение и, почувствовав жар, выражалась очень красноречиво, хотя собеседники ее ей почти не противоречили: она недаром любила Марлинского. Она также умела кстати прибегнуть к украшениям новейшего слога. Слова: артистический, художественность, обусловливать, так и сыпались из ее уст» (Соч., VI, 32).

[35] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 3. С. 201, 240. Чернышевский отсылает к статье Белинского «О русской повести и повестях Гоголя» (Телескоп. 1835. Ч. 26).

[36] *Григорьев Ап.* Сочинения. СПб., 1876. Т. 1. С. 289. «Отношение Белинского к этому, в 1834 г. еще модному, еще любимому писателю, истинно изумительно» (С. 261, 287).

[37] *Дружинин А. В.* Собр. соч. СПб., 1865. Т. 7. С. 206.

письмо, где Тургенев собирался поговорить об отношениях Белинского к Пушкину, Гоголю и Лермонтову и где, конечно, он высказался бы и о статье Белинского о Марлинском. Еще в позднейших «Воспоминаниях о Белинском» (1869) Тургенев возражал Шевыреву, возмущавшемуся тем, что Белинский «принял на себя тяжкую и великую задачу сдвигать с пьедесталов наши литературные славы», и отвечал за Белинского в брошенных тому упреках в западничестве, в неумении или нежелании оценить русское дарование.

Но у нас есть и прямое указание на то, как относился впоследствии Тургенев к статьям о Марлинском. М. М. Ковалевский вспоминает, что в 1879 г., на литературном вечере, устроенном сотрудниками «Критического обозрения», Тургенев много и долго говорил о Белинском: «Сколько задушевной искренности и теплоты», — говорил Тургенев, — «было в этом человеке. За то же и ценили мы каждое его слово. Получить одобрение от Белинского было нелегко, и кто удостоился этой чести, мог назвать себя счастливым. Вы не судите о Белинском по одним его статьям. Он принадлежит к числу тех людей, которые стоят выше своих произведений. Его слог тягуч и подчас скучен, в разговоре же было столько живости и огня! Я мало читал Белинского. Он повлиял на меня своими беседами. Сильная это была натура, большой талант! Вспомните, что немногих страниц его было достаточно, чтобы сразу развенчать Марлинского! А пред Марлинским преклонялись все сплошь да рядом. Белинский дунул на него, и ничего не осталось от Марлинского».[38] Это очень правдоподобно; еще лучше подчеркивают близость Тургенева в оценке Марлинского к взглядам Белинского его отзывы о Брюллове в письмах к П. В. Анненкову: характеристикой Марлинского Тургенев пользуется и для характеристики Брюллова, этого «фразера без всякого идеала в душе», «холодного и крикливого ритора»: «художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский» (Письма, III, 175). О картине А. А. Иванова «Явление Христа народу» Тургенев писал: «...должно надеяться, что она подаст знак к противодействию брюлловскому марлинизму» (Письма, III, 160).

Так, в своих отзывах о Марлинском Тургенев до конца своей жизни остался верен Белинскому; он хорошо усвоил сущность оценки, и его отношение к модному когда-то писателю не изменилось в течение тридцати лет, даже в ту пору, когда имя Марлинского вновь вызывало к себе некоторый интерес.

Начало рассказа «Стук... стук... стук!..» вводит нас в ту же сферу его воззрений и объясняет нам замысел своего произведения. «Марлинский теперь устарел — никто его не читает и даже над именем его глумятся», — пишет Тургенев (Соч., X, 266).

В конце 1860-х гг., однако, над Марлинским уже никто не глумился; началось обратное движение, его реабилитация. Начиная

---

[38] *Ковалевский М. М.* Воспоминания о Тургеневе//Минувшие годы. 1908. № 8. С. 10.

с 1860 г., Семевский печатает ряд материалов для биографии Бестужева, которые сразу же значительно ослабили создавшуюся к нему неприязнь. Легендарного Марлинского вновь заменяют Бестужевым: интересует он сам, страдальческой своей жизнью, судьбой изгнанника и ссыльного солдата, замечательной цельностью своей личности. В «Отечественных записках» 1860 г. (№ 5, 6, 7) Семевский печатает 96 писем Бестужева и дает первую толковую библиографию его произведений; в следующем году в том же журнале Семевский печатает неизданную статью Бестужева «Мое знакомство с Грибоедовым» и отдает в «Русское слово» статью его брата «Детство и юность А. А. Бестужева-Марлинского»; в том же году в «Русском вестнике» (кн. 3 и 4) Ксенофонт Полевой печатает 58 писем Бестужева 1830-х гг.: началось спокойное, историческое изучение. В 1868 г. Семевский пишет М. М. Стасюлевичу о своем желании поместить в «Вестнике Европы» коллекцию писем Бестужева якутского периода его жизни: «...письма бойки, живы, касаются многих вопросов, знакомят с бытом Якутска, со взглядами А. Бестужева на разные вопросы жизни и литературы тогдашней и, наконец, весьма ярко вырисовывают образ этого благороднейшего и даровитого деятеля из кружка декабристов».[39] Статья эта, однако, появляется в майской книге «Русского вестника» за 1870 г.; в следующей июньской книге того же журнала Семевский печатает новую коллекцию писем Бестужева с Кавказа. Как раз около этого времени Тургенев задумывает очерк «Стук... стук... стук!..».

Внимательно следивший за русской журнальной литературой, Тургенев, конечно, знал все эти статьи, но они не вызвали к себе никакого интереса. Характерно, что во вступлении к своему рассказу Тургенев смешал два произведения Марлинского: он говорит о лейтенанте Белозоре «Фрегата „Надежда“», тогда как лейтенант Белозор — герой одноименной повести Марлинского, а героем повести «Фрегат „Надежда“» является капитан Правин. Вспомним также, что в своем знаменитом разборе Марлинского 1840 г. Белинский особенно подробно остановился именно на этих двух произведениях.

Характеризуя героя своего рассказа как человека, образовавшегося по Марлинскому, Тургенев воспользовался именно той характеристикой писателя, которая ему внушена была Белинским. Теглев Тургеневу кажется прежде всего ритором и позером; упоминая о предсмертном его письме, Тургенев не забывает указать, что для сочинения его Теглев «пустил в ход все бывшие тогда в моде нагромождения эпитетов и амплификаций á la Марлинский» (Соч., X, 294); поясняя свой очерк в письме к С. К. Брюлловой, Тургенев писал: «Это — студия самоубийства, именно русского, современного, самолюбивого, тупого, суеверного — и нелепого, фразистого самоубийства» (Письма, XII, кн. 1, 58); «поза и фраза и тоска пустоты» с легкой руки Белинского кажутся Тургеневу признаками, вполне определяющими Марлинского; для характеристики писателя Тур-

---

[39] М. М. Стасюлевич и его современники. СПб., 1912. Т. 2. С. 287.

генев не воспользовался ни одним из тех материалов, какие к тому времени уже были опубликованы и где эта «поза и фраза» получала новое освещение в связи с личной судьбой Марлинского и обстоятельствами его трагической кончины: он принял оценку 1840-х гг. как базис для освещения отрицательного влияния Марлинского на русского читателя. Но в этом смысле портрет Теглева не единственное в литературе изображение читателя Марлинского; он до известной степени установлен традицией; русская художественная литература дает целую галерею таких портретов.

4

Любопытно, что читатель Марлинского — почти всегда офицер, чаще всего кавказский. На Кавказе долго помнили историю трагического удальства Марлинского и его гибели; некий Тарханов рассказывал Дюма, путешествовавшему по Кавказу, во всех подробностях историю его смерти; в 1860-х гг. М. И. Семевский использовал ряд рассказов о нем еще живых его сослуживцев.[40] Среди офицеров о нем помнили долго; имя его окружено было ореолом и сделалось легендарным;[41] немудрено, что в этой среде чаще всего встречались и «марлинисты». В рассказе Л. Н. Толстого «Набег» представлен «один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов».[42]

В Розенкранце рассказа Толстого есть черты, напоминающие Теглева тургеневского очерка. Он известен в полку за отчаянного храбреца; ему идет его азиатская одежда, так подробно описанная Толстым, потому что по всем его движениям, посадке и манерам видно его желание быть похожим на татарина. Он весь обвешан оружием: пистолет за спиной и на плече, кинжал в серебряной оправе, у пояса шашка в красных сафьянных ножнах, через плечо винтовка в черном чехле; его прямолинейность граничит с грубостью; его в глазах товарищей спасают черты добродушия и мягкости, которые прекрасно уживаются в нем рядом с его звериной страстностью, а также и то, что его считают за чудака; он считает непременной обязанностью поворачиваться своей грубой сто-

---

[40] *Dumas A.* Impressions du voyage. Le Caucase. Paris, 1889. T. 1. P. 291—292; Отечественные записки. 1860. № 7. С. 100. Ср.: Русский вестник. 1870. № 6. С. 78, 83.

[41] Говорили, что он передался, бежал в горы, издает там газету; иные даже утверждали будто не раз видели собственными глазами, как он разъезжает на белом коне впереди наших батарей. Ср. конец «Аммалат-Бека», воспроизведенный Лермонтовым в рисунке и в окончании «Бэлы» (Русская старина. 1890. № 2. С. 591—592; *Савинов В.* Куда девался Марлинский//Семейный круг. 1858. № 1. С. 14; здесь же ряд указаний об офицерах, подражателях Марлинского).

[42] *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1979. Т. 2. С. 14.

роной ко всем важным людям, хотя грубит им весьма умеренно (ср. предсмертное письмо Теглева, характеристику отношений к нему товарищей и солдат). «Он был убежден, — пишет Толстой, — что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые поэтические чувства. Но любовница его, — черкешенка, разумеется, — с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось».[43] Если замысел Толстого вызван стремлением к преодолению романтических традиций, сознательной борьбой с устойчивой темой в изображении «литературного» Кавказа,[44] то у многих бытописателей эпохи мы встретимся со стремлением пародировать читателя Марлинского не только на фоне кавказского пейзажа: он предстает перед нами в большом свете, в обстановке провинциального городка и помещичьей усадьбы. Разумеется, портреты не во всем сходны, но они могут дать общий тип; в данном случае нас может интересовать не столько он сам в отношении к своим жизненным прототипам, сколько устойчивость традиции изображения, выработавшая готовую схему пародии. В рассказе Толстого все сведено к несоответствию внутреннего существа героя тем внешним и случайным признакам избранности, которые он себе незаконно присвоил и в которые он играет; здесь и трагичность существования Розенкранца, упорствующего над изучением своей роли и не могущего признать, что она ему не по плечу; на этом же построит и Тургенев свой рассказ. С вариациями этой же схемы мы встречаемся не раз в русской художественной литературе 1840—1860-х гг. В 1851 г. Константин Леонтьев читает Тургеневу свою первую комедию «Женитьба по любви»;[45] здесь среди действующих лиц есть некий Буровцев, «брюнет, красивый, служил и сражался на Кавказе, с красной ленточкой в петлице». Для колеблющегося Киреева он то ритор и офицер à la Марлинский, то пример чести и мужества; для молодой девушки он — идеал мужчины: «...c'est un homme qui a vu la mort de près».[46] В 1852 г. его осмеял Некрасов в сатире «Прекрасная партия»:

То был гвардейский офицер,
Воитель черноокий,
Блистал он светскостью манер
И лоб имел высокий
. . . .
Читал Фудраса и Дюма
И мыслил благородно
[. . . . .]

[43] Там же. С. 15.
[44] *Эйхенбаум Б.* Молодой Толстой. Пб., 1922. С. 92—94.
[45] *Леонтьев К.* Тургенев в Москве. 1851—1852//Русский вестник. 1888. № 2. С. 100—101.
[46] «человек, который смотрел смерти в глаза» (фр.).

Его любимый идеал
Был Александр Марлинский,
Но он всему предпочитал
Театр Александринский.[47]

У Достоевского в «Идиоте» тоже мелькает эпизодическое лицо — тот отставной подпоручик, который прибавился к компании Рогожина, «подобранный на улице, на солнечной стороне Невского проспекта, где он останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения, под коварным предлогом, что он сам „по пятнадцати целковых давал в свое время просителям“».[48] Герцену был знаком особый тип военно-гражданских чиновников, которые «читали Марлинского и Загоскина, знают на память начало „Кавказского пленника“, „Войнаровского“ и часто повторяют затверженные стихи».[49] В рассказе Дружинина «Русский черкес» (1855) «добрый, толстый, белокурый и отчасти плешивый» помещик Матвей Кузьмич Махметов, начитавшись Марлинского и его подражателей из библиотеки своей дочери, воображает себя удальцом-джигитом, едет на Кавказ и не скоро убеждается в том, что на Кавказе нет больше великолепных ужасов, о которых ему сообщили книги.[50] Наконец, характерный эпизод есть в рассказе Г. П. Данилевского «Вечер в черешнях» (1858), где самоубийство пехотного офицера поставлено в прямую связь с влиянием на него Марлинского: «Знаете ли, что в мои студенческие годы, не далее, значит, пятнадцати лет, у нас на Вшивой Горе был свой Вертер? Да! Вы смеетесь? Нет, истинная правда! Вообразите, полюбил пехотный офицер барышню, зачитавшись Марлинского и других сочинителей, свирепствовавших в то время в нашей литературе. Читают они вместе „Фрегат Надежду“, „Капитана Миловзора“, „Торквато Тассо“ и, кстати, „Страдания Вертера“. И что ж бы вы думали? Напечатлели один раз друг другу поцелуй, за чтением наедине, да и поехали на Вшивую Гору. Приезжают ночью, а там есть кладбище. Привел офицер барышню на какую-то могилу, а она в белом платье, и волосы распущены. Поставил ее на колени, велел молиться богу. Поцеловались они еще раз. Он ей и говорит: „Там увидимся, где вечный май?“. А она ему отвечает: „Ах! точно! Там увидимся, где вечный май!“. Приложил изверг ей пистолет к груди и бац. А сам, пока она трепетала в последнем издыхании, взъерошил себе волосы, выкурил трубку и тоже застрелился».[51]

Это не характерно для Марлинского, герои его повестей никогда добровольно не расстаются с жизнью; для него характернее — и это объяснимо психологически из обстоятельств его личной судьбы — страстная жажда жизни и деятельности. Герой его последнего, неоконченного романа Вадимов, зараженный чумой, с его отчаянным, предсмертным подъемом сил, повторяет обычную концепцию

---

[47] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. Л., 1981. Т. 1. С. 107—108.
[48] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 г. Л., 1973. Т. 8. С. 133.
[49] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 228.
[50] *Дружинин А. В.* Собр. соч. СПб., 1856. Т. 2. С. 178—220.
[51] *Данилевский Г. П.* Сочинения. 9-е изд. СПб., 1902. Т. 17. С. 73.

его героического типа, и в то же время отображает и его самого; таковы и его горцы, и ливонские рыцари, до последней минуты охваченные страстью к подвигам, борьбе, к наслаждениям деятельной жизни. Своему читателю Марлинский не смог сообщить и особого интереса к таинственному и фантастическому, хотя сам, следуя традиционным приемам романтики, не мог избежать частых вторжений в область сверхчувственного. Но таинственное и фантастическое его повестей было лишь литературным приемом, средством овладения народным колоритом в повести («Страшное гадание»); обстановка кладбища, закутанного ночью, настраивает не на чувствительный лад, потому что он сам иронизирует над таким настроением; его рассказы о привидениях и призраках имеют обычное реалистическое истолкование, и если его интересует психология суеверий, то не потому, что он изучает себя самого.[52]

Интересно подчеркнуть, что большинство названных произведений было, конечно, хорошо известно Тургеневу, и что ни в одном из них читатель Марлинского или даже человек, «образовавшийся по Марлинскому», не получил свойств своего образца. Именем Марлинского пользовались как готовым этикетом; его привлекали для объяснения совершенно противоположных свойств характера или же его стремились использовать в пародическом смысле. Тургенев не задается целью пародировать читателя Марлинского; по его собственным признаниям, он разрабатывает «психический вопрос», и его очерк представляет из себя студию самоубийства; если основу рассказа действительно составляет юношеское воспоминание, то остается предположить, что для характеристики читателя 1830-х гг., в целях более точного освещения эпохи и интересующего его характера, Тургенев воспользовался Марлинским как шаблонной исторической подробностью, о которой все помнят, но суть которой забылась. У Тургенева остались в памяти лишь общие схемы оценки Белинского и неясное воспоминание о самом писателе; естественно, что и характеристика влияния Марлинского ограничилась общими и не всегда ясными указаниями; там же, где они показались недостаточными, сделаны ссылки на более близкого Тургеневу Лермонтова. К Лермонтову легче возвести и самый тип фаталиста на романтической подкладке, каким представлен Теглев; несмотря на хронологическое несоответствие (рассказ отнесен к началу 1830-х гг.), он мало напоминает Марлинского, его героев и его читателя. Разрабатывая психологию самоубийцы, Тургенев все свое внимание должен был сосредоточить на изображении одного лица: «Стук... стук... стук!..» и представляет из себя единичный портрет. С обычной остротой в манере зарисовки Тургенев начинает с описания наружности Теглева, последовательно развертывает перед читателем его характер, отношение к нему товарищей, наконец, странный конец его жизни. Он верил в судьбу, в звезду, в приметы, предчувствия, счастливые и несчастные дни, в свое собственное

---

[52] О таинственном в повестях Марлинского см.: *Котляревский Н.* Декабристы. С. 230—232.

призвание; мы узнаем его биографию с девятилетнего возраста. Два случая, ознаменовавшие начало его офицерской службы, рассказаны особенно подробно: к удивлению своих товарищей он бросается в Неву, чтобы спасти маленькую собачку, которую проносило мимо на медленно двигавшейся льдине, уверенный в том, что ему на роду написано умереть иной смертью; и на карточном вечере у батарейного командира угадывает три карты подряд. Предчувствие, в которое верил Теглев и которое против воли овладело и рассказчиком, не только лучше объясняет нам героя, но и настраивает на мистический лад; все обусловлено очень странным стечением обстоятельств, хотя и находит себе естественное разъяснение. С этой стороны тургеневский рассказ примыкает к циклу его таинственных повестей, в которых Тургенев подходил к постижению «неведомого», напряженно и тревожно вникая в тайны судьбы и ее предначертаний.[53] Встревоженный ночным стуком и таинственным призывом, поверивший в добровольную смерть Маши, Теглев кончает самоубийством, оставив вычурное письмо, для сочинения которого он «пустил в ход все бывшие тогда в моде нагромождения эпитетов и амплификаций à la Марлинский» (Соч., X, 294) и замысловатую параллель из цифирных выкладок, состоявшую из дат рождения и смерти его и Наполеона. Указание на стиль его предсмертного письма — единственная в течение рассказа ссылка на Марлинского; но Тургенев дважды ссылается на лермонтовского фаталиста: эпизод с картами, между прочим, как уже было указано,[54] напоминает известную пробу судьбы лермонтовским фаталистом Вуличем.

Важно было отметить чисто литературный характер зарождения и развития этого очерка, чтобы поставить под вопрос его автобиографическую основу; несомненно, что юношеское воспоминание, если именно оно составило зерно рассказа, осложнено литературными влияниями, среди которых особенное значение имеет оценка Марлинского, сделанная Белинским, быть может, и лермонтовский рассказ. С другой стороны, несомненно также, что в свой рассказ Тургенев включил множество личных идей и автобиографических признаний, что ставит его в ряды интимнейших произведений писателя: недаром к этому своему рассказу, вопреки довольно холодному приему в публике и критике, в течение долгих лет Тургенев питал самую нежную любовь.

5

«У меня находится совсем готовый и переписанный рассказ, которым я разрешился в течение месяца, — писал Тургенев Анненкову из Баден-Бадена 3(15) сентября 1870 г. — Его можно было бы поместить в „Вестнике Европы“ за будущий год» (Письма, VIII, 278). Придерживаясь этого указания, можно было бы считать, что

[53] *Аммон Н.* «Неведомое» у Тургенева//Журнал Министерства народного просвещения. 1904. Кн. 4. С. 253—255.

[54] Там же. С. 255.

«Стук... стук... стук!..», несомненно имеющийся здесь в виду, написан в августе 1870 г. в Баден-Бадене. Но рассказ мог быть задуман еще летом в Спасском; здесь обновились юношеские воспоминания; в деревне Тургенев лихорадочно работал, словно насыщая себя впечатлениями русской жизни и природы, от которых он несколько отвык. Сообщая Анненкову о своей работе по переделке «Степного короля Лира», которая велась вперемежку с охотами и деревенскими гуляньями, Тургенев писал: «Погружаюсь с головою в волны давно мною уже покинутой русской жизни. Ничего: иные грязны, а все-таки я доволен» (Письма, VIII, 243). «Степной король Лир» действительно насыщен охватившими его впечатлениями народной жизни и описаниями его родной усадьбы; естественно искать тех же следов в очерке «Стук... стук... стук!..», написанном тотчас же по возвращении из России в Баден-Баден. В описании туманной летней ночи, огородов, окруженных плетнями, широкой равнины, которая расстилалась перед воротами избы, мы узнаем зарисовку его деревенского пейзажа; Тургенев не забыл упомянуть и свою лягавую собаку. Одно указание как бы заставляет еще более поверить в автобиографичность рассказа. Рассказчик говорит, что он поехал гостить к брату, товарищу Теглева по полку. Теглев служил подпоручиком в гвардейской конной артиллерии; как известно, и Николай Сергеевич Тургенев, брат писателя, служил конно-гвардейским артиллеристом.[55] Вероятно, в основу типа Теглева Тургенев положил воспоминание об одном из товарищей своего брата; об этом как-будто свидетельствует и точность в описании его наружности, его характерного лица, круглого, свежего, краснощекого, со вздернутым носом, низким, на висках заросшим лбом и глазами «с зелеными зрачками и желтыми ресницами: правый глаз был чуть-чуть выше левого, и на левом глазу века поднималась меньше, чем на правом, что придавало его взору какую-то разность, и странность, и сонливость» (Соч., X, 267—268).[56] За то, что основу рассказа составило далекое юношеское воспоминание, говорит и несомненная близость его к раннему рассказу Тургенева «Похождения подпоручика Бубнова»: здесь Тургенев смеется над офицером, погибающим от скуки и душевной пустоты, любимым размышлением которого было, «чтобы он стал делать, если б он был Наполеоном».[57] В за-

---

[55] *Житова В. Н.* Воспоминания о семье И. С. Тургенева//Вестник Европы. 1884. № 11. С. 77.

[56] Интересно отметить здесь наблюдения специалиста, узнавшего в Теглеве по глазам, описанным Тургеневым, тип вырождающегося невропата (*Чиж В. Ф.* Тургенев как психопатолог//Вопросы философии и психологии. 1899. Кн. IV (49). С. 631).

[57] Русские Пропилеи (Соч., III, 45). Интересно отметить также, что плясовая песенка чертовой бабушки, которую она поет Бубнову, — «Подпоручик, мой амурчик» — целиком попала в «Вешние воды». Аммон отмечает, что в вычислении Теглева Тургенев «делает странную ошибку, без которой, однако, не получилось бы желаемого искомого», — именно, отмечая смерть Наполеона 1825 г. вместо 1821: в этой странности, заметим по пути, также трудно предполагать случайный авторский недосмотр, как и незнание Теглева или же сознательную передержку с его стороны, так как последняя должна была бы

писной книжке Теглева тоже оказалось сложное цифровое вычисление, основанное на сопоставлении дат рождения и смерти его и Наполеона. Возможно, что и в этом вычислении мы имеем отголосок личной цифровой кабалистики Тургенева.[58]

Итак, вызванный к жизни летним пребыванием в России Тургенева, рассказ был написан в августе и сентябре 1870 г. в Баден-Бадене. Еще не зная, куда его поместить, Тургенев писал И. П. Борисову 1(13) октября: «Этот рассказец еще неизвестно куда попадет» (Письма, VIII, 285), но уже через несколько дней сообщил М. М. Стасюлевичу: «Я недавно окончил и переписал небольшую вещь (листа в 1 1/2 печатных), которая озаглавлена „Стук..., стук..., стук". Студия. Я на днях перешлю ее к Вам через Анненкова, и если она окажется пригодной, то прошу Вас поместить ее в январскую книжку <...> так как она должна в феврале месяце поступить в дополнительный том моих сочинений, запроданный Салаеву» (Письма, VIII, 287). Дело несколько затянулось, потому что только через месяц, 3(15) ноября, Тургенев писал Стасюлевичу из Лондона: «Мой рассказец под заглавием „Стук, стук, стук" я отправил к Анненкову и вы его от него получите» (Письма, VIII, 305). Нужно думать, что отвлеченный франко-прусской войной, за ходом которой он следил с таким возрастающим интересом, и отъездом в Лондон, Тургенев в октябре и начале ноября 1870 г. не подвергал свой рассказ каким-либо существенным переделкам. Согласно с желаниями и расчетами автора рассказ появился в первой книжке «Вестника Европы» за 1871 г., откуда без изменений перепечатан в VIII дополнительном томе салаевского издания «Сочинений И. С. Тургенева» и последующих.[59] О своем новом произведе-

---

в его же глазах лишить числовую кабалистику всякого значения, еще гораздо более, чем аналогичная натяжка Пьера Безухова при его апокалипсических вычислениях, также имеющих объектом взаимное отношение между Наполеоном и им самим. Среди офицеров, выведенных Тургеневым, отметим здесь еще характерную фигуру гусара 1830-х гг. — Беловзорова в автобиографической повести «Первая любовь» (1860). Не пародирует ли его имя героя повести Марлинского «Лейтенант Белозор»?

[58] Тургенев писал Л. Пичу 1 декабря 1868 г.: «Я точно знаю год моей смерти: 1881. Мне предсказала его моя мать — во сне: те же цифры, что и в году рождения — 1818 — только переставленные; да, да. Я совершенно определенно умру в 1881 году, если только это не случится раньше — или позже...» (Письма, VII, 244—245, 412). Ср. еще в «Призраках» (1863), в описании ночи, наступающей редко, «когда семь раз тринадцать...».

[59] Вестник Европы. 1871. № 1. С. 50—75, с отметкой: Баден-Баден, 1870. За исключением мелких разночтений в пунктуации, в текстах 1874 и 1880 гг. (самостоятельно просмотренных Тургеневым) сравнительно с журнальным текстом разночтений нет, за исключением следующих характерных слов, прибавленных Тургеневым в виде заключения, — к III главе, после описания карточной игры: «Мне после часто приходило на ум, что не удайся ему фокус с картами — кто знает, какой бы она приняла оборот и как бы он сам взглянул на себя: но эта неожиданная удача окончательно решила дело». «Слово „пукнуло", — писал Тургенев Стасюлевичу 4 (16) декабря 1870 г., — может быть переменено в „стукнуло" — так как прежде всего следует избежать всякого намека на неблаговидный звук» (Письма, VIII, 317). Характерно, что в журнальном тексте замена произведена, в последующих же переизданиях первоначальное «пукнуло».

нии в письмах к друзьям Тургенев отзывался с преднамеренной сдержанностью: таков был его обычный тактический прием. Еще не зная, как примет его П. В. Анненков, его «первый» читатель и критик, Тургенев, как бы маскируя личное отношение к рассказу, в письмах к нему тонко иронизировал над своим героем и подчеркивал чисто финансовые выгоды от его помещения в «Вестнике Европы», «Что касается до моего дурачка (Теглева), то я совершенно на вас полагаюсь: ненапечатание его имеет только ту невыгоду, что лишает меня некоторой пекунии, а литературный гонор тоже чего-нибудь да стоит! Словом, это будет совершенно и бесповоротно зависеть от вас» (Письма, VIII, 310). 20 января 1871 г. Тургенев вновь пишет П. В. Анненкову: «Стасюлевич с обычной своей потрясающей аккуратностью прислал мне 1-й № „Вестника Европы" с моим маленьким вздором. Хорошего в нем только то, что он вышел на целых 8 страниц длиннее, чем я ожидал — стало быть, и пекунии принесет больше» (Письма, IX, 6). Рассказом, кажется, остался доволен один Стасюлевич,[60] Анненкову же он пришелся не по вкусу: еще 1-го мая 1871 г. он писал Стасюлевичу: «...о переводе „Стука" на французский диалект я думаю, и не списываясь с Тургеневым, то же, что и вы, — пускай переводят, тем более, что слабые вещи Тургенева на вкус русской публики оказываются хорошими на вкус французской: témoin Капитан Ергунов».[61] При своем появлении в печати рассказ Тургенева тоже не вызвал к себе никакого интереса. Лучше других к нему отнесся Н. Н. Страхов. Он усмотрел в последних произведениях Тургенева «чуткое, раздражительное недовольство нашим народным характером, неверие в его проявления». По мнению критика, «Тургенев, очевидно, обобщил свою задачу и стал вообще изображать, как в русской жизни проявляются сильные страсти, как в ней встречаются истории, более или менее романтические, более или менее странные. Перед поэтом как бы постоянно носятся образцы западного искусства, Лир, Вертер и пр., и он ищет им подобий в нашей скудной и бледной жизни. Пошлость русского быта, общая низменность нравов и характеров составляют необыкновенно яркий контраст с порывами сильных страстей, с исключительными типами и лицами, в которых как бы открывается иная природа, мир явлений более высокого порядка». С такой точки зрения критик подходит и к очерку «Стук... стук... стук!..»: здесь «выставлен пошлый, тупой, неуклюжий и бездушный офицер, который вздумал разыгрывать из себя героя. Ни на нем самом, ни вокруг него нет ничего героического, необыкновенного, способного возбудить и питать фантазию. Но он выдумывает, сочиняет себе несчастия, действия судьбы, чудесные явления. Эти безмерно упрямые попытки подняться в

[60] «Очень рад, что мой „Стук" вам понравился», — писал Тургенев Стасюлевичу 4(16) декабря 1870 г. (Письма, VIII, 317).

[61] М. М. Стасюлевич и его современники. Т. 3. С. 298. 14 ноября 1871 г. Тургенев писал Л. Пичу, задумавшему перевести «Стук... стук... стук!..» на немецкий язык: «„Стук, стук" переведен дважды. Это меня крайне удивляет» (Письма, IX, 395).

идеальный мир оканчиваются тем, что герой убивает себя без всякой на то причины, единственно из желания выдержать роль рокового человека. Тут изображен контраст между низменною и тупою натурою и идеальными стремлениями. Вот как русские люди иногда пытаются быть героями! Они не имеют на это ни прав, ни способностей».[62] Отрицательную оценку рассказа дал Постный, по мнению которого большинство произведений Тургенева неудовлетворяет требованиям психологической правды, а создаваемые им характеры часто «стоят в разрез с общими психическими законами человеческой природы», вымышлены и нетипичны. «Тургеневский Теглев не имеет в себе ничего типического, и это характер совершенно индивидуальный, в котором меланхолия до такой степени перемешана с его чисто личными свойствами, также не отличающимися никакой типичностью, что трудно даже сказать, меланхолия ли это или только невежественный, суеверный и болезненно-самолюбивый человек».[63] Характерно, что критика ни словом не обмолвилась о Марлинском, о типах его читателя, и как будто прошла мимо указания Тургенева. И Страхов, и Постный, несмотря на различие своих точек зрения, оценивали Теглева как современный им тип русской жизни; не принято было во внимание то, что рассказ отнесен к началу 1830-х гг.; так посмотрела на рассказ и русская читающая публика.

До Тургенева дошли неблагоприятные отзывы об этом рассказе: всегда охотно сознававшийся в своих недостатках, особенно чуткий к голосу читателя и критика, Тургенев не возражал, но затаил чувство глубокой обиды. Через три года, в письме к А. П. Философовой от 6(18) августа 1874 г., Тургенев писал: «Как-то неловко защищать свои вещи — но вообразите Вы себе, что я никак не могу согласиться, что даже „Стук, стук“ нелепость. Что же оно такое? — спросите Вы. А вот что: посильная студия *русского самоубийства*, которое редко представляет что-либо поэтическое или патетическое, — а, напротив, почти всегда совершается вследствие самолюбия ограниченности с примесью мистицизма и фатализма. Вы мне скажете, что моя студия мне не удалась... Быть может; но я хотел только указать Вам на право уместности разработки чисто психических (не политических и не социальных) вопросов» (Письма, X, 282). Еще определеннее Тургенев высказался о своем рассказе в письме к С. К. Брюлловой (Кавелиной) 4(16) января 1877 г.:

---

[62] Заря. 1871. № 2. Цитирую по перепечатке в «Критических статьях об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом». СПб., 1885. С. 163. На точке зрения Страхова стоит и Буренин, отмечающий близость этой оценки к воззрениям Тургенева на свой рассказ: *Буренин В. П.* Литературная деятельность Тургенева. СПб., 1884. С. 203—204.

[63] *Постный.* Неподкрашенная старина//Дело. 1872. № 12. С. 66—67. Критик отмечает близость Теглева к Лучкову («Бреттер»). Под псевдонимом Постного в «Деле» писал П. Н. Ткачев (1844—1885), ближайший сотрудник Г. Е. Благосветлова по «Русскому слову», представлявший из себя довольно заметную фигуру в группе писателей крайнего левого крыла русской журналистики (*Карцов В., Мазаев М. Н.* Опыт словаря псевдонимов русских писателей. СПб., 1891. С. 106).

«Но теперь я должен высказать некоторое несогласие с Вами (Надеюсь, что Вы не припишете это авторской мании, которая с любовью останавливается на более плохих и слабых детенышах). Вы говорите о разных моих незначительных безделках, упоминаете, между прочим, о „Стук... стук!..". Представьте, что я считаю эту вещь не то чтоб удавшейся — исполнение, быть может, недостаточно и слабо — но одной из самых серьезных, которые я когда-либо написал. Это — студия самоубийства, именно русского, современного, самолюбивого, тупого, суеверного — и нелепого, фразистого самоубийства — и составляло предмет столь же интересный, столь же важный, сколь может быть важным любой общественный социальный и т. д. вопрос. Повторяю, я, вероятно, не сумел проанализировать и выставить все это в довольно ярком свете; но я опять-таки утверждаю, что такого рода сюжеты нисколько не уступают каким-либо другим! Не забудьте, что русский самоубийца нисколько не похож на европейского или азиатского; и указать это различие верным, художественным образом — вещь дельная, потому что она прибавляет один документ к разработке человеческой физиономии — а, в сущности, вся поэзия, начиная с эпопеи и кончая водевилем, другого предмета не имеет: „Уф! скажете Вы, какая oratio pro domo sua! [64] И потому — je n'insiste plus"» [65] (Письма, XII, кн. 1, 58).

Два этих отзыва, поставленные рядом, полностью раскрывают нам идею и замысел рассказа. Но как случилось, что одна из самых серьезных вещей, которые Тургенев когда-либо написал, по его же отзывам, «вздор», единственное достоинство которой в том, что она вышла длиннее и, следовательно, оплатится лучше? Источник таких крайностей в автопризнаниях лежит исключительно в том недоверии, какое сложилось у Тургенева по отношению ко всем его критикам и читателям. Для него крайне характерна подозрительная, самолюбивая осторожность в признаниях, болезненная чуткость ко всякому отзыву со стороны; они еще более усилились с конца 1860-х гг., когда Тургенев испытал горький опыт непризнания и неправых укоризн: это необходимо учесть в пользовании его письмами как фактическим материалом. [66] Объяснение рассказа «Стук... стук... стук!..» нужно искать в письмах Тургенева к А. П. Философовой и С. К. Брюлловой; их отделяет промежуток в три года, но они замечательно, почти дословно близки друг другу: здесь Тургенев высказался, конечно, с полной искренностью. Характерно, что Тургенев считает свой очерк студией современного самоубийства: это существенный факт для определения процесса зарождения

[64] «речь о себе» (лат.).

[65] «я больше не настаиваю» (франц.).

[66] В том же 1871 г., когда был напечатан «Стук... стук... стук!...», Тургенев писал Я. П. Полонскому по поводу только что оконченной повести «Вешние воды»: «Если я ошибаюсь, тем лучше. А то Стасюлевич перестанет платить, когда и эта штука хлопнется наподобие „Ергунова", „Несчастной", „Стук-стук" — и прочих уродцев» (Письма, IX, 195). Отзыв Тургенева о своей повести выдержан в его обычной презрительно-иронической манере.

замысла, но для собственно историко-литературных целей именно этот первичный момент и не играет решающей роли. Задумывая свой рассказ, Тургенев мог иметь в виду психологию современного ему самоубийцы, но это не исключает сложного перекрещивания влияний, идущих от книг, и личных юношеских воспоминаний; процесс всякого зарождения темен, не представляется возможным определить последовательность этих наслоений, но важно отметить их, каждое в отдельности, если они ясно различимы в той последней форме, какую произведению придал художник.

При обработке своего рассказа Тургенев центр своего внимания перенес в область психических явлений, он разрабатывает «психический вопрос» в противовес занимающим критику вопросам социально-общественным. Выясняя для себя психологию самоубийцы, Тургенев воспользовался своими личными юношескими воспоминаниями и, чтобы лучше характеризовать своего героя, следуя своим обычным приемам, отнес его к типу читателя Марлинского; указание случайно, неорганично: оно не характеризует и исторического типа 1830-х гг., не поясняет и самого Теглева. Интерес «психологической студии» Тургенева не здесь, и ею нельзя пользоваться как историческим документом: интерес тургеневского рассказа в замечательно тонком анализе душевных движений и в освещении таинственных проблем бытия. Но в то же время указание на Марлинского вводит нас в круг критических воззрений Тургенева и подчеркивает замечательную устойчивость тех его литературных симпатий и антипатий, которые внушены были ему Белинским в начале 1840-х гг.

РАННИЙ ДРУГ ДОСТОЕВСКОГО

Дружба Ф. М. Достоевского с И. Н. Шидловским, история их бесед и встреч известна лишь из нескольких писем Ф. М. Достоевского брату Михаилу Михайловичу, в которых живыми и верными чертами набросан образ его раннего друга. Дружба эта окрепла в атмосфере их общего тяготения к литературным занятиям, страстного интереса к творчеству, книге, культу внутренней жизни. Она была в числе важнейших факторов, определивших первые книжные увлечения Ф. М. Достоевского и все уклоны его юношеского романтизма. В значительной степени она определила также содержание и форму ранних творческих замыслов Достоевского — его драматических опытов, и навсегда осталось для него памятной.

Своему биографу Достоевский говорил в 1870-х гг. : «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто не знает и что он не оставил после себя литературного имени. Ради бога, голубчик, упомяните — это был большой для меня человек, и стоит он того, чтобы его имя не пропало». Шидловский, по рассказам Достоевского, был человек, в котором мирилась бездна противоречий: он имел «„громадный“ ум и талант, не выразившийся ни одним писаным [1] словом и умерший вместе с ним: кутеж и пьянство — и пострижение в монахи». [2]

По свидетельству Анны Григорьевны Достоевской, Федор Михайлович однажды высказал Вл. Соловьеву «причину, почему он так к нему привязан. — Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека, — сказал ему Федор Михайлович, — некоего Шидловского, имевшего на меня в моей юности громадное влияние. Вы до того похожи на него лицом и характером, что мне подчас кажется, что душа его переселилась в вас». [3] В своеобразной личности Шидловского, которая, бесспорно, может показаться значительной и вне тех пределов, какие отведут ему страницы биографии Достоевского,

[1] Здесь очевидная описка Соловьева: следовало сказать — «печатным».

[2] *Соловьев Вс. С.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском//Исторический вестник. 1881. № 3. С. 608.

[3] За сообщение этого любопытного известия и нескольких архивных данных о Шидловском приношу благодарность Л. П. Гроссману. (См.: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 254).

действительно было много неотразимо привлекательного. К сожалению, мы мало знаем и его самого, и странную историю его жизни: эпоху его романтической юности, преображенную в свете бредовых мечтаний; его первые литературные опыты — стихотворения и драмы, обязанные той же сфере романтических идей, годы скитальчества, напряженных религиозных исканий, когда смиренное послушничество в монастыре, самоотречение, проповеди, произносимые по деревням и большим дорогам, сменялись кутежами и вспышками буйного веселья.

Рукописная заметка Л. В. Шидловской, хранящаяся в Московском историческом музее среди бумаг Достоевского, сообщает о нем следующее: «Иван Николаевич Шидловский родился 27 ноября 1816 г., учился в Харькове, где окончил юридический факультет очень молодым человеком, после чего, переехав в Петербург, поступил в Министерство финансов. В это время он и познакомился с отцом М. М. и Ф. М. Достоевских, приехавшим в Петербург для помещения сыновей в учебное заведение. В Петербурге И. Н. Шидловский прожил недолго. Здоровье его не выдерживало петербургского климата, но вскоре он вышел в отставку и поселился в деревне у матери.[4] Дома он занимался какой-то большой работой и говорил, что готовит Историю русской церкви. Но ученая работа не могла всецело поглотить его душевную деятельность. Внутренний разлад, неудовлетворенность всем окружающим — вот предположительно те причины, которые побудили его в 1850-х гг. поступить в Валуйский монастырь. Не найдя, по-видимому, и здесь удовлетворения и нравственного успокоения, он предпринял паломничество в Киев; там обратился к какому-то старцу, который посоветовал ему вернуться домой в деревню, где он и жил до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. По сохранившимся в семье Шидловского воспоминаниям — это был человек выдающегося ума и блестящего остроумия. С умом он соединял обширное образование и глубокие научные сведения. Его странная, исполненная всяких превратностей жизнь свидетельствует о сильных страстях и бурной природе. На окружающих он производил впечатление человека необыкновенного. Его влияние в обществе и частной беседе было неотразимо. Глубокое нравственное чувство Ивана Николаевича стояло нередко в противоречии с некоторыми странными поступками: искренняя вера и религиозность сменялись временным скептицизмом и отрицанием. Эту сторону в характере Шидловского, эту двойственность его натуры верно подметил Ф. М. Достоевский. Умер Иван Николаевич 14 июня 1872 г. у себя в имении».

---

[4] По свидетельству Н. Решетова (Люди и дела давно минувших дней// Русский архив. 1886. № 10. С. 226), Шидловский «в 1840 г. вышел в отставку и поселился вместе с матерью и сестрою в слободе Грушевке, Бирючинского уезда». В хронологии, однако, существует недоразумение: из писем Ф. М. Достоевского к брату видно, что в январе 1840 г. Шидловского давно уже не было в Петербурге; тогда же Достоевский пишет брату: «Ежели бы ты видел его прошлый год. Он жил целый год в Петербурге без дела и без службы» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28, кн. 1. С. 68).

Ряд фактических сведений, сообщенных в этой краткой биографической заметке, опровергает несколько легенд, сложившихся вокруг его имени.[5] Дополнительные сведения дают воспоминания Н. Решетова.[6] По возвращении из Петербурга в деревню Шидловский часто приезжал в город Корочу, к своим братьям, служившим тогда в Рижском драгунском полку, принимал участие в офицерских вечеринках, в кутежах и попойках. К огорчению своей матери, он забросил дела по управлению имением, по временам облекался в странническую одежду, уходил из дому и посещал монастыри. «Личность Ивана Николаевича, — пишет Решетов, — была во многих отношениях весьма примечательна и выдавалась из ряда обыкновенных, начиная с наружности: это был очень высокий, красивый мужчина с прекрасным выражением в глазах, внушавший к себе, при его светлом уме и хорошем образовании, всеобщее расположение. Главное, что привлекало к нему всех, было его замечательное красноречие. Он был идеалист, и любимой его темой для разговоров служили большей частью предметы отвлеченные: к тому же он был поэт, писал стихи так же легко и свободно, как говорил. Впечатление, производимое Иваном Николаевичем на слушателей, действовало обаятельно, что я сам на себе испытал, бывши в то время двадцатилетним юношей. Он обладал удивительной памятью, отлично декламировал стихи, был страстный поклонник Пушкина и многие его стихи знал наизусть». Последний раз Решетов видел Шидловского «при довольно странной, но живописной обстановке»: «...Это было весною, ранним утром, при восходе солнца, в степи, на Муравском шляхе, где стоял на границе Харьковской губернии шинок. Подъезжая к нему, я увидел толпу крестьян, мужчин и женщин, а посреди них человека высокого роста в страннической одежде, в котором я немедленно узнал Ивана Николаевича Шидловского. Он проповедовал Евангелие, и толпа благоговейно его слушала: мужчины стояли с обнаженными головами, многие женщины плакали».

Сопоставление всех этих скудных известий не раскрывает нам вполне образ этого своеобразного человека: нам даны лишь общие очертания, которые все же позволяют говорить об его типичности для 1830-х гг. Судьба его — не единственный пример русского романтика, обратившегося на путь религиозных исканий и пришедшего в келью русского монастыря для того, чтобы сосредоточенностью молитвенного созерцания победить в себе гордыню романтического самоутверждения. Здесь интересно вспомнить хотя бы А. П. Бочкова, блестящего и жизнерадостного светского человека, почитателя Бестужева-Марлинского и романтической литературы, напечатавшего несколько повестей, но впоследствии круто повер-

---

[5] Так, очевидной легендой оказывается следующее известие, сообщенное Вс. Соловьевым якобы со слов Достоевского: «Умирая, он сделал Бог знает что: он был тоже в Сибири, на каторге; когда его выпустили, то из железа своих кандалов он сделал себе кольцо, носил его постоянно и умирая — проглотил это кольцо». (Исторический вестник. 1881. № 3. С. 608).

[6] *Решетов Н.* Люди и дела минувших дней. С. 226—228.

нувшего свою жизнь и поступившего в начале 1837 г. в Сергиевский монастырь, имея лишь 30 лет от роду;[7] судьбу В. С. Печерина, религиозное обращение которого в значительной степени обусловлено было романтической настроенностью его мысли.[8] Интересно подчеркнуть, что 1830-е гг. в русской литературе — момент несомненного религиозного подъема и возбуждения. Страстная тоска по религиозному преображению мира, красной нитью проходящая через всю историю немецкого романтизма, отзывается в России именно в эту пору, в эпоху наибольшего влияния немецкой идеалистической философии, когда такой страстной повышенности достигает ощущение торжественной жизни и томление по иным бытиям. В 1836 г. рецензией на книгу А. Н. Муравьева «Путешествие к святым местам» начинает свою литературную деятельность И. С. Тургенев. Герцен эпохи ссылки в Вятку и дружбы с А. Л. Витбергом в «жизни для водружения креста, для искупления человека» видит «высшее выражение общественности», здесь же в Вятке он вновь принимается за свою «Легенду о св. Феодоре», переработанную из жития мартиролога Метафраста. Религиозное возбуждение звучит в лирике Лермонтова и Огарева; и тот и другой встречают на Кавказе декабриста А. И. Одоевского, религиозной просветленностью своего миросозерцания смягчившего себе тяжесть изгнания; Полежаев с суеверным ужасом признается в своем «атеизме и лжесофизме» («Ожесточенный» и «Провидение»). В то же время Н. А. Полевой, по отзыву его брата, «ищет и находит свое утешение в религии», а Шевырев призывает к нравственной чистоте, закланию страстей, обету и апостольству. В лоне русского романтизма рождается и славянофильская доктрина.

С этой стороны сложный путь подвижничества Шидловского на широком общественно-историческом фоне кажется исторически обусловленным, тесно связанным с корнями русского романтизма. Но мы не знаем личной истории его внутренней борьбы, исканий, сомнений, наконец, тех внутренних причин, которые их вызвали. Портрет Шидловского, набросанный Решетовым, относится к середине 1840-х гг. Достоевский знал, любил и навсегда запомнил Шидловского более молодых лет, почти еще юношу, той поры, когда лишь обозначалась странная антиномичность его души.[9] Незави-

[7] Краткие биографические сведения и указания на литературу об А. П. Бочкове см. в статье Н. Пиксанова «Грибоедов и Бестужев» (Известия Отделения русского языка и словесности АН. 1906. Кн. 4. С. 57).

[8] *Гершензон М.* Жизнь В. С. Печерина. М. 1910.

[9] Знакомство братьев Достоевских с Шидловским относится к концу 1837 г. (вероятно, к августу месяцу). 23 июля 1837 г. Ф. Достоевский пишет отцу: «С Шидловским мы еще не видались и, следовательно, не могли отдать ему вашего поклона». Однако 6 сентября 1837 г. он вновь пишет отцу: «С Шидловским мы не видались долгое время. Только нынче провели с ним час в Казанском соборе». В период особенно интенсивной дружбы Достоевского и Шидловского — зимой 1839 г. — Достоевскому было 18 лет, Шидловскому — 23. Случайные упоминания в письмах не дают возможности восстановить, хотя бы приблизительно, внешнюю историю этой дружбы. Из некоторых намеков между прочим видно, что несколько недружелюбно относился к Шидловскому Михаил Михайлович. Федор Михайлович не раз берет на себя защиту

симый, гордый, измученный любовью и нестерпимой тяжестью противоречий, от вспышек мятежной, буйственной страсти переходивший к покаянному смиренномудрию, он жил еще на своей бедной петербургской квартирке, куда поздними вечерами ходил Достоевский — слушать стихи, вести дружеские беседы, мечтать о будущей славе. Образ Шидловского выигрывает в своей значительности и в своем своеобразии, когда он встает из нескольких ранних писем Достоевского к брату, в оживленной характеристике, согретой чувствами подлинной дружеской приязни и настоящего восхищения перед своим наставником и другом. Несколько страниц этих писем — взволнованный рассказ о совместной петербургской жизни — навсегда останутся лучшим источником наших сведений о раннем друге Достоевского и лучшей данью его памяти, сколько бы мы не отнесли в этом рассказе на счет идеализма освещения, недостоверности слишком дружеских приговоров, неизбежной субъективности характеристики.

В отрывке письма Шидловского Михаилу Михайловичу Достоевскому от 17 января 1839 г. уже ясно различима та двойственность его характера, о которой Ф. М. Достоевский говорил в 1870-х гг. «Ваша поэзия, — пишет Шидловский, — своим изящным характером возвращает меня к младенчеству, к той простоте, чуждой современного суемудрия, байроновского бешеного эгоизма, без которой нельзя внити в Царствие Божие. Полевой чудесно выразился при мне однажды, что на человека надобно смотреть как на средство к проявлению великого в человечестве, а тело, глиняный кувшин, рано или поздно разобьется, и прошлые добродетели, случайные пороки сгинут». Сердце его все чаще «нагревается... теплом веры и смирения», но минутами им овладевает внезапная решимость, и тогда «дно моей милой Фонтанки» манит его страстно, как «брачный одр обрученного». Это письмо относится как раз к той петербургской зиме, когда Достоевский поздними вечерами пробирался к нему на его бедную квартиру, невольно вспоминая при этом о грустной зиме Онегина в Петербурге. «Только передо мною, — пишет он, — не было холодного созданья, пламенного мечтателя поневоле, но прекрасное, возвышенное созданье, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер; но он уже готов был тогда впасть в мрачную манию характеров байроновских. Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем! О, какая откровенная, чистая душа! У меня льются теперь слезы, когда вспоминаю прошедшее! Он не скрывает от меня ничего, а что я был ему? Ему надо было сказаться кому-нибудь; ах! для чего тебя не было при нас». Целыми вечерами он слушает стихотворения Шидловского: «А лирические стихотворения! О, ежели бы

драм и поэтических произведений Шидловского, доказывая брату пристрастность его скептических отзывов. Случайные перерывы во встречах Достоевского с Шидловским относятся лишь к периоду подготовки Федора Михайловича к экзаменам и ко времени его болезни. 1 января 1840 г. Достоевский уже пишет брату: «Теперь он уже давно уехал» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 28, кн. 1. С. 38, 39, 43, 47, 53—57, 61, 62, 68—69).

ты знал те стихотворения, которые написал он прошлою весною. Например, стихотворение, где он говорит о славе. Ежели бы ты прочел его, брат!». «Сколько поэзии! Сколько гениальных идей!» — говорит он в другом месте,[10] вспоминая о стихотворных опытах своего друга.

Случайные обломки поэтического творчества Шидловского, дошедшие до нас,[11] дают ряд характерных образцов того поэтического рода, которым так увлечен был юноша Достоевский. Стихотворения Шидловского вводят нас в знакомую сферу романтизма 1830-х гг., со всеми типичными признаками его поэтики и стиля. Их могут характеризовать риторическая нагроможденность, склонность к употреблению неологизмов, явное пристрастие к утвердившимся в поэзии этой поры формулам страсти и чувства.

Любовь, охватившая душу поэта, становится безмерной. Она достигает предельной, почти стихийной силы, исключает всякую мысль о жизни и смерти:

Ведь я волкан! Огонь — моя стихия!
Захочешь ли, возможешь ли любя,
Отвергнуть все влечения другие?
Я чувствовать иначе не могу,
Я не могу предаться вполовину:
Объятием как молнией сожгу,
Лобзанием из груди сердце выну...
О, полюби ж, не думая куда
Нас поведет сочувствие святое.
Что жизнь и смерть? Какая в них нужда?
И здесь, и там нас двое, вечно двое!

Так и в другом месте Шидловский подчеркивает эту исключительность, безмерность чувства, стирающую грани расстояния и времени:

Ни расстояние, ни время
Все разделяя, все губя
Моей любви святое бремя
Отвлечь не властно от тебя.

«В ее любви сознать себя сполна» — таково желание поэта. Его душа

...как коршун плотоядный
Паря над жертвою его
Повсюду ловит думой жадной
Миг пребыванья твоего.

Мятежная сила любви наполняет все сердце поэта. Он не знает половинных страстей, умеренности чувства. Он любит облака, и, как поэты его поколения,[12] следя за их полетом, прибегает к параллелизму:

---

[10] Там же. С. 68 и 55.

[11] Шесть стихотворений Шидловского помещены в приложении к воспоминаниям Н. Решетова//Русский архив. 1886. № 10. С. 228—232.

[12] Уже И. Мандельштам (О характере Гоголевского стиля. Гельсингфорс. 1902. С. 44) предлагал сравнить «тождественность поэтических выражений» от-

Куда стремитесь вы, гульливые станицы
Прозрачных, бланжевых, румяных облаков?
Какие дальние безвестные границы
Манят вас ласково, как мать своих птенцов?

Вот на краю небес вы тесно состадились,
Остановившися в раздумьи, и на вас
Заката яркие лучи переломились,
Сияньем полося все небо, как атлас.

И рядом бронзовым роскошных изваяний,
Хитона Божьего каймою накладной,
Вы мне являетесь, и на крылах мечтаний
Я посылаю вам привет любви святой.

Но что сдержало вас? Над чем глубокой думой
Вы призадумались в той ясной стороне?
Не над Эльвиной ли, к кому мой дух угрюмый
Стремится наяву, стремится и во сне?..

Столь же типична его склонность к изображению грозовых пейзажей, заставляющая его невольно их образы применять к языку чувства («душевной молнии несчетные рои», «о, расскажите ей палящими громами»).

Буря воет, гром грохочет,
Небо вывалиться хочет;
По крутым его волнам
Пляшет пламя там и сям,
То дробясь в движеньи скором,
Вдруг разбрызнется узором,
То исчезнет, то опять
Станет рыскать и скакать.

Ах, когда б на крыльях воли
Мне из жизненной юдоли
В небеса откочевать,
В туче место отобрать,
Там вселиться, и порою
Прихотливою рукою
Громы чуткие будить
Или с Богом говорить...

Такова дерзновенная мечта романтического поэта, утверждающего свою личность над «жизненною юдолью», неизменно убежденного в том, что божественно прекрасен подлинный образ человека, но презренна и оскорбительна правда действительности.

Но среди стихотворений, отражающих мятежную силу его чувств, есть одно, датированное 6 декабря 1842 г., более спокойное и более значительное по своему философскому смыслу. Оно как бы фиксирует всю трагедию его личности и намечает весь путь его душевных невзгод, мятущегося между двумя полюсами религиозного самоотречения и романтического самоутверждения.

рывка из шиллеровой «Марии Стюарт» («Eilende Wolken, Segler der Lüfte...»), стихотворений Грейфа («Die Wolken wandern so mächtig...») и Лермонтова («Тучки небесные...»). Однако здесь дело не в «заимствованиях», но в той удачной выразительности этого сравнения, какая делает его излюбленным в романтическую эпоху, благодаря чему он становится ходячим и общеупотребительным. Аналогичные примеры таких принадлежащих определенной литературной эпохе и странствующих образов, процесс зарождения и жизнь которых интересно было бы изучить особо: «челнок погибающего пловца в море житейском», «листок, оторвавшийся от родимой ветки», «пролет облаков — судьба поэта» (ср. многочисленные вариации у Лермонтова, «К облаку» Марлинского (Полн. собр. стихотворений. Л., 1961. С. 173), «Облака» В. Бенедиктова (Стихотворения. СПб., 1856. Т. 1. С. 159)).

...Пусть буря страшная извне
Грозит бедой опустошенья
В числе других людей и мне:
В моей душевной глубине
Довольно якорей спасенья.
Я непременно устою
В переворотах всякой бури;
Бог, кормчий мой, стрежет ладью;
Звезду вожатую мою
Он теплит явно так в лазури.
Он не к Себе ль ведет меня.
Отец, всемощный Покровитель?
Дождусь я радостного дня;
И вечность, время заменя,
Отворит мне свою обитель.
И там, в сияющих дверях
Меня приемлющего рая,
Я оглянусь с тоской в глазах
С улыбкой скорбной на устах,
Проплытый путь благословляя.
И перед новостью отрад
Смущаясь робкою душою,
Проситься вздумаю назад,
Прошедшим бурям стану рад,
Вздохну о жизни со слезою...

Этот «вздох о жизни» и радость буре на пороге райской обители преследовали его и в минуты покаяния, и тогда, когда он искал утешения в смиренной молитве. Именно здесь, в этом борении его души — все своеобразие его личности. Отсюда и его стремление согласовать мятежность личной воли с томлением по иному миру, видение которого непрерывно посещает романтическое сознание.

Характерно, что стихотворения Шидловского производили на Достоевского сильнейшее впечатление. Его не мог не поразить и увлечь страстный образ чувствований поэта и вся его сосредоточенная религиозная философия, облеченная в подвижные формы боевого романтизма. Н. Решетов говорит про стихотворения Шидловского, что они «с увлечением читались и выучивались наизусть его поклонниками, хотя и тогда казались несколько восторженными, а некоторые выражения, встречающиеся в них, своеобразными, но и это приписывалось блистательной фантазии и оригинальности поэта и выкупалось звучностью и мечтательным направлением, в то время распространенным в этом кругу».[13] Поколение, рукоплескавшее Полежаеву и Бенедиктову — столь же восторженно должно было отнестись и к творчеству Шидловского. Достоевский, напитанный романтической литературой, не мог составить исключения.

Но то, что не могли ему дать и общие идеи времени, и оценки современников, — восполнили личная дружба, беседы и встречи, которые всегда могут сделать снисходительным к мелким погрешностям стиля.

Но, конечно, не столько поэта, сколько человека и друга любил Достоевский в Шидловском. Влияние личной дружбы может быть сильнее влияния книги; в данном случае оно было бесспорным и сильным. Достоевский хорошо усвоил характернейшую мечту романтического миросозерцания, которая отчетливо высказалась и у Шидловского, — мечту уйти от действительности, однозвучного житейского шума, будничной житейской обстановки, замкнувшись в святилище личной чувствительности или в атмосферу личной страсти. Эта черта неизменно присутствует у Достоевского во всей переписке этого периода. С некоторыми оговорками Достоевский повторяет также идею Шидловского о «байроновском бешеном эгоизме». «Послушай,— пишет он брату, — мне кажется, что слава так-

[13] Русский архив. 1886. № 10. С. 228.

же содействует вдохновению поэта. Байрон был эгоист; его мысль о славе была ничтожна и суетна... Но одно помышление о том, что некогда за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно прекрасная, мысль, что вдохновение, как таинство небесное, освятит страницы, над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась бы в душу поэта и в самые минуты творчества. Пустой же крик толпы ничтожен», — и Достоевский вспомнил два стиха пушкинского «Поэта».[14] Мечта уйти от действительности принимает своеобразную окраску не эгоистического самоутверждения, но некоторой жертвенности. И эта жертва за отказ от действительности и общества — творчество. Но здесь ясно присутствует и другая черта романтического миросозерцания: быть выше толпы профанов дано только поэту, художнику, творцу, и потому — да будем творцами, поэтами, художниками: такова философия любого парижского поэта 1830-х гг. Единственное ремесло, пригодное для романтического сознания, — ремесло писателя, художника, артиста: все прочие осуждены, потому что служат житейской необходимости. Недаром у Достоевского этой поры столько романтического презрения и гордого самопризнания. В центре его мечтаний, посреди частых отвлечений от фортификации, маршировок, фронта — неизменная мечта о большом литературном труде, на который пошло бы много лет упорной и утомительной творческой работы. Наконец труд издается и приносит заслуженную награду — эта мечта типична.[15] Он пишет брату: «Говоришь, что у тебя есть мысль для драмы... Радуюсь... Пиши ее... О, ежели бы ты лишен был и последних крох с райского пира, что тогда тебе оставалось бы».[16] Этот «райский пир» — типическая аллегория литературной работы, единственно достойной, единственно необходимой. Конечно, юному романтику, голову которого все время озаряют мечты о больших литературных работах, в конце концов может опротиветь казарма, учение, ненавистные предметы, фронт, уставы.[17] Он может припомнить молодость Шиллера, и свой «инженерный замок» он невольно приравняет к герцогской Karls-Schule, в которой томился будущий автор «Разбойников». Иные из его выражений, встречающиеся в письмах, типичны для лексикона романтиков: «Хотелось бы раздавить весь мир за один раз», «я был en enragé», «давно я не испытывал взрывов вдохновения», «часто бываю в таком состоянии, как помнишь, Шильонский узник после смерти брата в темнице» и т. д. Даже в отношении

---

[14] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 28, кн. 1. С. 54—55.

[15] Стендаль писал в юности: «Надо, чтобы я дошел до полнейшей беззаботности, чтобы не написать „Двоих". Написав эту пьесу, я имел бы все в изобилии — общество, деньги, славу, я не чувствовал бы недостатка ни в чем». «Мне стоит только написать „Двое" и через год или полтора у меня будет все это». (*Мегрон Л.* Романтизм и нравы. М., 1914. С. 89—90. Ср. у Достоевского: письмо к брату 16 ноября 1845 г.//Полн. собр. соч. Т. 8, кн. 1. С. 106—108).

[16] Там же. С. 54.

[17] См. письма Ф. М. Достоевского 1839—1840 гг.

Достоевского к родственникам сквозит иногда типичная романтическая ненависть к непосвященным.

Дружба Шидловского с братьями Достоевскими навсегда определила их интерес к литературным занятиям. Достоевский восторженно отзывается о драме Шидловского «Мария Симонова», переделкой которой он занят был зимой 1839 г., приветствует драматический замысел своего брата и, как известно, вскоре сам пытается одно за другим создать три драматических произведения.[18] Глубокозначительное настроение громадной ответственности, светлой радости, энтузиазма, лишь изредка прерываемое отвлечениями к презренной реальности, владеет Ф. М. Достоевским в эту пору. Атмосфера напряженного идеализма, в которой жили юные романтики, была еще более усилена их чтениями, в центре которых был Шиллер. Для всего поколения 1830-х гг. он был тем признанным вожатым, творчеством которого питались и в атмосфере которого крепли все тревожные порывы мечтательности и туманного идеализма. Письма и признания Станкевича, Белинского, Огарева, Герцена, Погодина, Печерина полны впечатлений от чтения Шиллера. В «Дневнике писателя» 1876 г. Достоевский с полным правом мог сказать, что Шиллер «в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил».[19] Дружба Шидловского с Ф. М. Достоевским была также освящена, поддержана и закреплена в атмосфере шиллеровского культа. Шиллер был тем центром, откуда выводилась вся система дружеских отношений. Позднее, в эпоху «Времени» (1861), к одной из полемических заметок, писанной в сотрудничестве со Страховым, Достоевский ставит пушкинский эпиграф: «Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви». В этих словах привета, обращенных к Кюхельбекеру, Пушкин начертал как бы программу тех дружеских бесед, какие проходили под общим знаком Шиллера. Ее повторили Достоевский и Шидловский и около того же вре-

[18] Подробнее об этом см. в моей статье «О драматических опытах Ф. М. Достоевского»//Творчество Достоевского. Одесса, 1921. С. 46—47.

[19] Полн. собр. соч. Т. 23. С. 31. Еще в 1857 г. А. В. Дружинин высказывал мнение, что в России влияние Шиллера «не было широким и увлекающим» (*Шиллер.* Собр. соч. СПб., 1865. Т. 7. С. 376—377), но он должен был оговориться, что если оно «не могло назваться великим», то «было все-таки глубоко и плодотворно». По словам Анненкова, «Resignation» Шиллера Станкевич вспоминал беспрестанно; Герцен в героях драм Шиллера узнавал себя самого: «...мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу». Погодин замышлял переводы из Шиллера и, «восхищаясь многими местами», также находил «какое-то сходство Шиллера с собою» (*Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888. Т. 1. С. 234, 287; *Гершензон М.* Жизнь В. С. Печерина. С. 11—12). Об отношении Достоевского к Шиллеру см.: *Гроссман Л.* 1) Достоевский и Европа (Русская мысль, 1915. № 10. С. 65); 2) Библиотека Достоевского. Одесса, 1919 (см. по указателю имен). Сводные данные о шиллеровском влиянии в русской литературе XVIII—XIX вв. содержатся в поверхностной статье Ю. Веселовского «Шиллер как вдохновитель русских писателей» (Литературные очерки. М., 1910. Т. 2); о влиянии Шиллера на развитие идеи дружбы в быту см.: *Kirschner Fr.* Buch der Freundschaft. 1891; *Тихомиров Л. А.* Дружба в изображении Шиллера// Богословский вестник. 1905. № 6—7.

мени Герцен и Огарев, дружба которых была осмыслена и окрепла в атмосфере тех же шиллеровых идей. Достоевский писал о Шидловском: «Он жил целый год в Петербурге без дела и без службы. Бог знает для чего он жил здесь; он совсем не был так богат, чтобы жить в Петербурге для удовольствий. Но это видно, что именно для того он и приезжал в Петербург, чтобы убежать куда-нибудь. Взглянуть на него, это мученик! Он иссох, щеки впали, влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал! Тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую-то девушку! (Marie, кажется). Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии». «В последнее свидание мы гуляли с ним в Екатерингофе. О, как провели мы этот вечер! Вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, о Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали его. Мы говорили с ним о нас самих, о будущем, о тебе, мой милый<...> Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни». «Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им, и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как мне дала узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая *с ним* Шиллера, я поверял *над ним* и благородного, пламенного Дон-Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя, и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний».

Легкий покров таинственности лежит на страницах этих воспоминаний («О, сколько тогда случилось и странного и чудесного в моей жизни. Это предолгая повесть, и я ее никому не расскажу»; «теперь я вечно буду молчать об этом»).[20] В письме, полном самой дружеской откровенности и подлинного лиризма, Достоевский и то как бы не решился с исчерпывающей полнотой рассказать всю недолгую, но внутренне значительную историю своей дружбы... Она укрепила в нем его интерес к романтической литературе, то повышенно страстное настроение мессианизма, страстной порывистости и утонченной чуткости, которые составляют особенность романти-

---

[20] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 28, кн. 1. С. 67—68. (Письмо от 1 января 1840 г.). Ор. Миллер в «Материалах для жизнеописания...» (Биография, письма Ф. М. Достоевского. Пб., 1883. С. 39) относит это место к Бережецкому, другому школьному товарищу Достоевского. Скудные данные сообщают о нем воспоминания А. И. Савельева. Скромный, тихий, незаметный, Бережецкий вполне поддался идейному влиянию Достоевского; у нас, однако, нет никаких указаний на то, насколько значительной для Достоевского была эта дружба. Правильнее было бы это место отнести к Шидловскому, так как его одного он все время имеет в виду, повествуя брату о событиях своей жизни. Нервный тон повествования, вероятно смутивший Ор. Миллера, мог быть вызван общей возбужденностью Достоевского при воспоминаниях о слишком скоро прерванной, но дорогой для него дружбе.

ческого мироощущения и которые с громадной силой звучат в его ранних письмах и в некоторых его первых повестях. Наконец, дружба эта могла укрепить мечту Достоевского о религиозном преобразовании мира, истоки которой нужно искать в том же русском романтизме, отразившем соответствующие движения европейской мысли... Недаром Достоевский не забыл своего раннего друга: он вспоминал о нем и на закате своей жизни, оглядываясь назад и подводя итоги всему своему жизненному пути. Образ Шидловского, быть может, носился перед его глазами еще тогда, когда он создавал свою «Хозяйку» (Ордынов); быть может, некоторые его черты вспомнились Достоевскому при характеристике Кириллова. Н. Л. Бродский находит, что «по-видимому, некоторый материал [для фигуры героя «Жития великого грешника»] давала натура в лице друга юности И. Н. Шидловского, служившего прототипом и для Ставрогина в первой стадии творческой обработки».[21] Во всяком случае в биографии Ф. М. Достоевского история его дружбы с И. Н. Шидловским должна занять свое место. Этого хотел он сам. Но к этому обязывает и своеобразная личность его друга, которая не могла не оставить глубокого следа на впечатлениях юного романтика, каким был Достоевский к концу 1830-х гг.[22]

---

[21] *Бродский Н. Л.* Угасший замысел//Документы по истории литературы и общественности. Вып. 1. Ф. М. Достоевский. М., 1922. С. 53.

[22] Опубликование всех относящихся к Шидловскому материалов было бы очень желательно. М. Е. Слабченко любезно сообщил нам, что связка бумаг Шидловского находится в архиве Харьковского университета. (О Шидловском в связи с братьями Достоевскими см.: *Нечаева В. С.* Ранний Достоевский. М., 1979).

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОГОЛЯ

1

Вопрос о Гоголе как писателе, имеющем мировое значение, был поставлен уже современниками, и прежде всего его первым и лучшим истолкователем — Белинским, еще в 1842 г., в год выхода в свет «Мертвых душ», провозгласившим, что по силе дарования «Гоголь, как и Пушкин, действительно напоминают собою величайшие имена всех литератур».[1] Вслед за Белинским и опираясь на его же суждения, но с еще большей уверенностью в справедливости этой оценки, о всемирно-историческом значении творчества Гоголя говорил и другой великий русский критик — Чернышевский. История раскрытия и утверждения этой формулы о «всеевропейском», «мировом» значении творчества Гоголя, столь естественно и непреложно звучащей в наши дни, сама по себе могла бы представить тему для особого исследования, так много было в этой формуле противоречий, так медленно и затрудненно складывалась она в сознании его ценителей и почитателей.

Формула эта вырисовалась постепенно, в напряженной борьбе за Гоголя передовой русской критики, в непрестанной полемике с его реакционными хулителями, перенесенной в конце концов и в зарубежные литературы и продолжавшейся здесь долгие годы. Велика заслуга русских революционно-демократических критиков, верно и полно определивших огромное, исключительное значение творчества Гоголя для русской литературы; однако весьма важными и существенными были также высказанные ими суждения о той роли, какую творчество Гоголя могло сыграть в отдельных литературах Западной Европы. Многого они еще не могли знать, многое они должны были только предвидеть; тем замечательнее оправдавшаяся в этом случае верность, историческая обоснованность их зоркого взгляда. Раскрывая в творчестве Гоголя великие созидательные силы, утверждая его значение для русской литературы и одновременно говоря о его европейской известности, Белинский и Чернышевский не вступали в противоречие с самими собой; напротив, второе положение для них естественно вытекало из первого.

---

[1] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 258.

Для ближайших современников Гоголя — в том числе и для Белинского — в признании за Гоголем великого значения на «поприще всемирно-исторического существования» было еще очень много трудностей, поскольку для них недостаточно ясно было, что обещала в будущем складывавшаяся на их глазах новая русская литература, что несли человечеству Россия и ее культура. Для Белинского Россия была прежде всего страной будущего; с этим связана была и его вера в пышный, мощный культурный ее расцвет, в бесспорное первенство ее в литературном мире. Белинский верил в счастливое грядущее русского народа, проникновенно свидетельствовал о том, что столетие спустя Россия будет стоять во главе образованного мира, «давая законы и науке и искусству», но порой он еще затруднялся сказать, «какую идею предназначено выразить России». «Определить это тем труднее, — писал он, — что Россия есть страна будущего». Гоголь, со своей стороны, также предвидел величайшие творческие возможности русской литературы. Еще в черновых набросках к статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах», столь хорошо известной Белинскому, Гоголь спрашивал своих читателей, чувствуют ли они уже «атомы каких-то новых стихий», зарождающихся в русской литературе. «Видите ли эту движущуюся, снующуюся [кучу] прозаических повестей и романов, еще бледных, неопределенных, но уже сверкающих изредка искрами света, показывающими скорее зарождение чего-[то] оригинального?». Гоголь явственно ощущал это, по его словам, «колоссальное, может быть, совершенно новое, неслыханное в Европе, поток, предвещающий будущее законодательство России в литературном мире, что, — прибавлял он, — должно осуществиться непременно, потому что стихии слишком колоссальны и рамы для картины сделаны слишком огромны».[2] И если для Гоголя не было еще ответа на вопрос, куда стремительно несется «птица-тройка», которой уступают дорогу «народы и государства», то и Белинский в своей статье о «Мертвых душах» 1842 г. высказывал мнение, что задача «истинной критики» должна будет заключаться в том, чтобы «раскрыть пафос поэмы, который состоит в противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения».[3]

Отсюда и происходили значительные колебания Белинского в оценке значения важнейших русских писателей на поприще «всемирно-исторической жизни», в первую очередь Пушкина и Гоголя; оттого и затруднялся он сразу же произнести единую, четкую, утверждающую формулу относительно роли их в мировой культуре.

В конце 1830-х — начале 1840-х гг. для Белинского было уже вполне ясно не только национально-русское, но и всемирное значение пушкинского творчества. Пушкин представлялся ему «в новом свете, как один из мировых исполинов искусства, как Гомер, Шек-

---

[2] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 8. С. 539.
[3] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 430—431.

спир и Гете» (письмо к Н. В. Станкевичу от 19 апреля 1839 г.).[4] В 1840 г., в письме к К. С. Аксакову от 10 января, Белинский писал, что он «радуется его новой классификации: Гомер, Шекспир и Гоголь», удивляясь лишь, «куда же девался Гете», но прибавлял: «...только у меня на месте Гоголя стоит Пушкин <...> Да, велик Гоголь, поэт мировой: это для меня ясно, как 2×2=4; но... Пушкин... Впрочем, надо еще подождать. Эти вещи трудны для выговаривания».[5]

В письмах Белинского начала 1840-х гг. есть много свидетельств о том, как долго и мучительно он решал эту проблему, в какие противоречия он порой вступал с самим собой. В том же 1840 г., в письме от 13 июня, делясь с В. П. Боткиным своими мыслями о разнице «между Пушкиным и Гоголем, как *национальными* поэтами», Белинский между прочим писал: «Гоголь велик, как Вальтер Скотт, Купер; может быть, последующие его создания докажут, что и выше их; но только Пушкин есть такой наш поэт, в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их». Гоголь «не русский поэт в том смысле, как Пушкин, который выразил и исчерпал собою всю глубину русской жизни», — утверждал Белинский в другом письме. Это писалось еще до появления «Мертвых душ», когда для Белинского повесть «Тарас Бульба» была «выше всего остального, что напечатано из сочинений Гоголя».[6]

Выход в свет первого тома «Мертвых душ» явился событием большого общественного значения в тогдашней России. Именно так понял и оценил это произведение Белинский. В обличительной, бичующей силе «Мертвых душ» он видел одно из условий подъема русской национальной культуры. Вот почему Белинский стал видеть теперь в Гоголе «более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный...».[7] Когда тот же К. Аксаков, в недавнем прошлом один из друзей Белинского по кружку Станкевича, перешедший в лагерь славянофилов, выпустил в свет свою апологетическую брошюру о «Мертвых душах», в которой он с умозрительных, отвлеченно-идеалистических позиций сопоставлял Гоголя с Гомером и Шекспиром, усматривая в «Мертвых душах» «новый характер создания», писал, что здесь «древний эпос восстает перед нами» и т. д.,[8] Белинский дал Аксакову горячую отповедь. В трактовке Аксакова «Мертвые души» совершенно утрачивали свой обличительный характер, поэтому Белинский вовсе отбрасывал теперь, как несостоятельные и ложные, утверждения Аксакова, например, о том, что «только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают великою, одною и тою же тайною искусства».[9] Белинский отстаивал «бесконечно великое значение» Гоголя для

---

[4] Там же. Т. 11. С. 367.
[5] Там же. С. 435.
[6] Там же. С. 528, 534.
[7] Там же. Т. 6. С. 259.
[8] Там же. С. 253.
[9] Там же. С. 258.

России и для русской жизни и в этом смысле готов был даже вовсе отрицать его мировое значение. В полемике с Аксаковым Белинский прямо утверждал: «Гоголь, при всей неотъемлемой великости его таланта, не имеет *решительно никакого* значения во всемирно-исторической литературе и велик только в одной русской...».[10] Полемическая острота этой формулировки в последующих писаниях Белинского вскоре сгладилась, но, по существу говоря, мнение Белинского о Гоголе 1842—1843 гг. только по видимости, только по своей словесной формулировке сильно отличалось от его мнений предшествующих лет. «„Мертвые души“, — писал он, — стоят „Илиады“, но только для России: для всех же других стран их значение мертво и непонятно».[11] Речь идет теперь о конкретной исторической роли произведения, а не о силе дарования Гоголя; Белинский решает теперь общественную проблему, а не выводит эстетическую формулу. Это подчеркивает и Чернышевский, рассказывая в своих «Очерках гоголевского периода» о полемике, возникшей вокруг «Мертвых душ» и брошюры Аксакова, полемике длительной и страстной, продолжавшейся, как известно, вплоть до 1860-х гг.

Белинский, естественно, должен был стать теперь на ту точку зрения, что «Мертвые души» — это действительно великое явление в русской литературе, но что по своему содержанию оно не идет в сравнение с вековыми всемирно-историческими творениями древних и новых литератур Западной Европы. «Гоголь, — писал теперь Белинский, — великий русский поэт, не более; „Мертвые души“ его — тоже только для России и в России могут иметь бесконечно великое значение. Такова пока судьба всех русских поэтов; такова судьба и Пушкина <...> Немногое, слишком немногое из произведений Пушкина может быть передано на иностранные языки, не утратив с формою своего субстанционального достоинства; но из Гоголя едва ли что-нибудь может быть передано <...>нечего и путать чужих в свои семейные тайны».[12]

2

«Скажите нам, — спрашивал Белинский в 1842 г., — что бы сталось с любым созданием Гоголя, если б оно было переведено на французский, немецкий или английский язык? Что интересного (не говоря уже о великом) было бы в нем для француза, немца или англичанина?».[13] Однако уже и до этого времени, с конца 1830-х гг., предпринято было несколько попыток ознакомить с произведениями Гоголя зарубежных читателей; за этими попытками с любопытством наблюдали и в России, задавая себе те же вопросы, какие ставил и Белинский; они действительно были в порядке дня:

---

[10] Там же. С. 259, 422.
[11] Там же. С. 259.
[12] Там же.
[13] Там же. С. 258.

поймут ли и в состоянии ли будут оценить по достоинству сочинения Гоголя те, кто принужден будет читать их в иностранных переводах, смогут ли справиться со своими задачами переводчики, которым придется передавать гоголевское слово на чужом для него языке? Вопрос о качествах перевода вставал с особенной настойчивостью не только потому, что в то время количество причастных к литературе людей, хорошо знакомых с русским языком, было на Западе еще невелико, но и потому, что переводить произведения Гоголя было неизмеримо труднее, чем произведения любого другого русского писателя его времени. Белинский чувствовал это острее других, но многие разделяли с ним это убеждение, исходя впрочем из разных мотивов, кто с искренним сожалением, а кто и с оттенком злорадства: реакционные критики, например, в неподатливости гоголевского слова для перевода видели не его неповторимое художественное своеобразие, а резкие и неправомерные отклонения от установившихся стилистических норм. До середины 1840-х гг. это были робкие и не всегда удачные попытки, но характерно, что большинство из них обязано было инициативе русских почитателей Гоголя, всячески старавшихся заинтересовать его произведениями и переводчиков и критиков.

Одним из первых европейских литераторов, сообщивших более или менее подробные данные о Гоголе, был немецкий писатель Генрих Кёниг. В своих «Русских литературных очерках», книге, получившей широкую известность в Западной Европе и вскоре переведенной на чешский, французский, голландский и др. языки, и вызвавшей также продолжительную полемику в России, Кёниг посвятил Гоголю несколько весьма сочувственных страниц.[14] Воспользовавшись сведениями, сообщенными ему его русскими собеседниками, главным образом и в первую очередь Н. А. Мельгуновым, Кёниг дал довольно полную для того времени характеристику творчества Гоголя, отозвавшись о нем как о писателе, который «не в одной лишь России, но и вообще» относится к «редкостно-самобытным и, так сказать, свежевозделанным талантам». Кёниг дал краткую характеристику «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Арабесок», подробнее остановился на «Миргороде» и составляющих его повестях и сообщил, впрочем еще очень краткие, сведения о его деятельности как драматурга. Повести «Вечеров» привлекли его поэтической оригинальностью, восходящей к народным преданиям и своим юмором, который «не походит не только на немецкий и английский, но и на русский» и «состоит в каком-то оригинальном способе понимать жизнь с веселой и забавной стороны»; в «Арабесках» — выделены «Записки сумасшедшего»; в «Миргороде» с большой похвалой он отозвался о каждой из четырех повестей, выделив особенно «Старосветских помещиков» («Сам Гоголь смотрел на эту картину как на творческое произведение») и «Тараса Бульбу»

[14] *Koenig H.* Literarische Bilder aus Rußland. Stuttgart; Tübingen, 1837. S. 211. Ср. русский перевод этой книги, сделанный Н. П. (Н. И. Поповым): *Кёниг Г.* Очерки русской литературы. СПб., 1862. С. 156—165.

(«Эта великолепная повесть, по обширности своей похожая на роман», «представляет ряд великолепных рассказов и картин»).[15]

Известно, что в 1839 г., с помощью того же Мельгунова, Кёниг перевел на немецкий язык «Записки сумасшедшего» (перевод напечатан в газете «Morgenblatt» 29 ноября 1839 г.), им же задуман был перевод «Тараса Бульбы», однако он не осуществился. Два года спустя Мельгунов признавался Н. М. Языкову, что «Тараса Бульбу» он «собирался переводить с Кёнигом, да меня уведомил Фарнгаген из Берлина, что эта повесть, как и весь „Миргород", там переводится».[16]

Известный немецкий критик Фарнгаген фон Энзе высоко ценил Гоголя — в статье 1841 г. «Новейшая русская литература» он утверждал, что Гоголь «писатель гениальный, глубоко своеобразный, основывающийся на природе и истории узкого отечественного круга, не обязанный никакому образцу, не затемняемый никаким подражателем <...> Простота и верность изображений Гоголя имеют замечательную привлекательность, для которой мы едва ли можем найти правильное выражение: в них есть и героическая и идиллическая жизнь, дикая природная сила, изящество, полное вкуса в сюжетах и изображениях, и часто встречает нас здесь широкий и мягкий юмор».[17]

В пражском немецком журнале Рудольфа Глазера «Ost und West», специально посвященном вопросам славянской литературы и науки, лужичанин Ян-Петер Йордан напечатал перевод «Майской ночи», а затем и «Тараса Бульбы». «...перевод хорош, если взять в соображение всю трудность перевести это чудное произведение, — сообщил о последнем М. Катков в «Отечественных записках» в своей корреспонденции из Берлина, — ...местами выдержан и гоголевский гумор, но колорит целого, разумеется, свеян большею частью». «Гораздо более удачно переведены „Старосветские помещики" Волковым (Wolkoff — немец, несмотря на русскую фамилию) и напечатаны в одном из берлинских журналов, которого имя не могу вспомнить в эту минуту», — говорит он в той же корреспонденции.[18] Вслед за тем в немецких переводах еще при жизни Гоголя появились и многие повести из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Миргорода» и петербургского цикла вплоть до «Записок сумасшедшего» и «Шинели».

---

[15] Там же.

[16] Литературное наследство. М., 1962. Т. 58. С. 598.

[17] *Varnhagen von Ense.* Neueste russische Literatur//Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland, hrsg. von A. Erman. Berlin, 1841. Bd 1. H. 1. S. 233—234.

[18] *Катков М.* Германская литература [с датой: Берлин, 14 февраля 1841 г.]// Отечественные записки. 1841. Т. 15, отд. 6. С. 17 Возможно, что Катков имеет в виду перевод, появившийся в «Blätter für Kunde der Literatur des Auslandes» (1840, № 127) под заглавием «Das Ehepaar aus der alten Zeit auf dem Lande». В следующем году «Старосветские помещики» появились в новом немецком переводе и под другим заглавием — «Die Gutsbesitzer von altem Schrot und Korn» — в книге «Europa. Chronik der gebildeten Welt», hrsg. von A. Lewald (1841, Bd 2). Следующий перевод повести Р. Липпетра появился в 1851 г. (в его «Aus Russischem Leben und Dichten». Leipzig, 1851. S. 313—356).

Ни один из указанных ранних переводов Гоголя не может сравниться по своему значению с тем, который появился в Париже в 1845 г. отдельной книгой «Русские повести Гоголя» и действительно сделал имя Гоголя широко известным всем европейским литературам. Переводчиком этих повестей считается Луи Виардо, муж известной певицы, имя которого как переводчика обозначено и на титульном листе книги (Nicolas Gogol. Nouvelles russes, traduction française publiées par L. Viardot. Paris, 1845). На самом деле идея этого издания, выбор текстов и самый перевод принадлежали И. С. Тургеневу, тогда еще малоизвестному поэту и литератору, всецело находившемуся под влиянием Белинского. Насколько можно судить по предисловию к этой книге, перевод выполнен был в 1844 г.; Белинский не мог не знать об этом замысле еще до его осуществления и был несомненно вполне посвящен в историю создания этой знаменитой французской книги. Луи Виардо в предисловии к переводу объяснил своим читателям, как случилось, что он, не зная ни слова по-русски, смог опубликовать перевод русской книги. «Этот перевод, сделанный в Петербурге, принадлежит мне в меньшей степени, чем двум моим друзьям: И. Т. (И. С. Тургеневу. — *М. А.*), молодому писателю, уже приобревшему себе имя поэта и критика, и С. Г.» (по-видимому, речь идет о второстепенном драматурге С. А. Гедеонове, роль которого в создании этого перевода, как можно думать на основании косвенных свидетельств, была самой незначительной). «Они, — прибавляет Виардо, — диктовали мне французский перевод с русского оригинала. Я же не сделал ничего иного, как только исправил некоторые слова и фразы». Далее в предисловии, также, по-видимому, продиктованном Луи Виардо Тургеневым, приводятся биографические данные о Гоголе и объясняются причины, определившие выбор тех или иных произведений для перевода на французский язык. «После смерти поэтов Пушкина и Лермонтова, погибших во цвете лет на роковых дуэлях, на первое место среди русских писателей, по общему мнению, становится Николай Гоголь <...> Гоголь дебютировал в литературе сборником повестей <...> последнее, третье издание которого состоит из трех томов в восьмую долю листа. Затем он упрочил свою рождающуюся популярность остроумной комедией „Ревизор" и еще больше своим знаменитым нравоописательным романом „Мертвые души", вторую часть которого он пишет в настоящее время за границей. Чтобы сделать известным Гоголя во Франции, мы из сборника его повестей, помимо наиболее знаменитых и разнообразных, выбрали те, которые имеют более общий характер и могут быть лучше переданы на другом языке и понятны в другой стране».

Какие же повести Гоголя с точки зрения переводчиков (собственно Тургенева, в выработке мнения которого по этому поводу нельзя не заподозрить ближайшего участия Белинского) легче поддавались переводу на иностранный язык, лучше могли быть усвоены и оценены за рубежом? Выбор этих повестей нельзя не признать характерным и довольно удачным. В указанный томик переводов, изданных под именем Виардо, вошли «Вий», «Тарас Буль-

ба», «Записки сумасшедшего», «Коляска» и «Старосветские помещики»; здесь, следовательно, представлены были три повести из «Миргорода», одна из петербургских повестей и рассказ, напечатанный в пушкинском «Современнике» («Коляска», 1836).

Выходу в свет этой книги предшествовало появление нескольких вошедших в нее переводов из Гоголя и статьи «О русской литературе: Пушкин, Лермонтов, Гоголь» в парижском журнале «Illustration». Статья эта не подписана, но очень вероятно, что и она принадлежала Тургеневу; она появилась в номере журнала от 19 июля 1845 г. (в то время Тургенев находился во Франции) и, вероятно, имела своей ближайшей целью подготовить французских читателей к выходу в свет отдельного томика гоголевских повестей: две из них, а именно «Старосветские помещики» и «Записки сумасшедшего» с именем Л. Виардо как переводчика напечатаны были в последующих номерах того же журнала. В статье давалась краткая биография Гоголя, перечислялись важнейшие его произведения и давалась общая его оценка. Гоголь назван был здесь «самым популярным и влиятельным писателем, которому подражают более всего», «первым и самым оригинальным из всех писателей русской литературы». «Отличаясь глубочайшим знанием страны и народа, описываемого им с поразительным талантом рассказчика, он обладает неотразимым комическим даром, которого не хватало Пушкину, — иронией, прикрываемой добродушием и отличающейся этим от иронии Лермонтова; своеобразный юмор, свойственный ему одному и отмеченный тем отпечатком глубокой грусти, которую всегда находишь в глубине сердца славянина». Статья кончалась следующими словами: «Все более возрастающее значение, которое приобретает Гоголь со времени появления своей первой книги, вместе с его неоспоримыми достоинствами заставляет желать, чтобы его произведения распространялись в Европе, где мы считаем возможным предсказать им благожелательный прием. Известие о том, что перевод его лучших повестей должен скоро появиться на свет на самом распространенном языке, было принято нами с удовлетворением и доверием. Мы надеемся, что французские читатели присоединятся к мнению русских о самом популярном из их писателей. Кроме умственного наслаждения, которое дает прекрасное произведение искусства, они найдут в нем еще самые верные сведения о жителях другой страны, сведения, какие можно получить, не покидая своей родины».[19]

---

[19] Эта статья обратила на себя внимание и в России. М. Г. Карташевская в письме от 30 августа 1845 г. писала В. С. Аксаковой, что она с удивлением прочла в «Illustration» статью о современной русской литературе. «Эта статья мне очень нравится, и меня очень интригует знать, кто мог написать ее. Француз — это невозможно. Самый характер статьи, ее тон, ее направление — не французское. И потом тут такое глубокое знание наших поэтов, какое мудрено предположить в иностранце, и такая тонкая им оценка, какой мало мы имеем и у нас. Гоголя он ставит выше всех. Говорит о его даре творчества, о том спокойном состоянии художника, который передает жизнь со всеми ее хорошими и дурными случайностями, не негодуя и не восторгаясь. Эта мысль одна уже не французская. Говорится еще, что переводятся повести

Однажды Гоголь в письме к Жуковскому (6(18) апреля 1837 г.) сам определил, какие из его произведений имели наибольший успех, вызывали наиболее единодушные похвалы. По его словам, это были «Тарас Бульба» и «Старосветские помещики». «Это те две счастливые повести, — писал Гоголь, — которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам. Все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметные были для всех, кроме вас, меня и Пушкина».[20] Любопытно, что обе эти «счастливые» повести не только были в издании Виардо 1845 г., но что именно они и вызвали во французской литературе наиболее восторженные отзывы. Во французских журналах и газетах 1845 г., в «Illustration», в «Journal des Débats», наконец, в «Revue des Deux Mondes», где, как известно, появилась наиболее обширная и, пожалуй, наиболее содержательная статья о Гоголе, принадлежавшая Сент-Беву, о произведениях русского писателя отзывались с полным сочувствием, выделяя, однако, «Тараса Бульбу» и «Старосветских помещиков» как превосходные образцы героической эпохи и идиллии. Сент-Бев с восторгом говорил о «Тарасе Бульбе», этой «запорожской Илиаде», особенно восхищаясь «диким, свирепым, грандиозным и вдохновенным характером старого казацкого атамана», отмечал в повести «естественные и глубокие черты, которыми привыкли восхищаться в сценах Шекспира». С похвалой отзывался Сент-Бев также о «Старосветских помещиках», очаровательную и утонченную живописность которых он считал столь же привлекательной, как и идиллии Чарльза Лема. В записках М. С. Щепкина рассказано о посещении им Гоголя вместе с Тургеневым, который «сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им (т. е. Тургеневым. — *М. А.*) на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление: Николай Васильевич заметно был доволен». Из свидетельств самого Гоголя явствует, что уже и до знакомства с Тургеневым он знал об этом из упомянутых выше статей французских журналов; в частности, Гоголь прочел статью о себе Сент-Бева. Знали о ней и в кругу его ближайших друзей. Осведомляясь у П. А. Плетнева, читал ли он критическую статью Сент-Бева о Гоголе, А. О. Смирнова писала ему: «Он славно разобрал Тараса для француза».[21]

Знал обо всем этом и Белинский, притом в подробностях из первоисточника — от того же Тургенева, который, несомненно, посвятил его во всю историю обсуждения французской прессой сделанного им от имени Виардо перевода «Русских повестей». Что теперь должен был сказать сам Белинский в ответ на вопрос, который он задавал в 1842 г.: «...что бы сталось бы с любым произведением Гоголя, если бы оно было переведено на французский, немецкий или английский язык?». Опыт приобщения Гоголя к фран-

---

на французский язык и что огромный талант автора ручается за прием публики даже иностранной. Однако, мне кажется, что Гоголь непереводим и они не будут иметь Гоголя в переводе» (Литературное наследство. Т. 58. С. 672).

[20] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 11. С. 98.

[21] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 931.

цузской литературе удался блистательно. Если в «Illustration» говорилось, что Гоголь — самый самобытный из трех крупнейших русских писателей (подразумевая под двумя другими Пушкина и Лермонтова), то это был не только отзвук мыслей предисловия к переводу 1845 г., внушенных Виардо Тургеневым, но в конечном счете это было убеждение самого Белинского, внушенное им Тургеневу. Гоголь, таким образом, победоносно входил во французскую литературу, переведенный Тургеневым и объясненный Белинским...

Вскоре в «Отечественных записках» за 1845 г. (т. XLIII, № 12) Белинский поместил статью «Перевод сочинений Гоголя на французский язык», в которой он сам дал ответ на вопрос, поставленный им за три года перед тем. О самом переводе Белинский писал, что он «удивительно близок и в то же время свободен, легок, изящен; колорит по возможности сохранен, и оригинальная манера Гоголя, столь знакомая всякому русскому, по крайней мере не изглажена». «Разумеется, — прибавлял Белинский, — в том и в другом отношении сделано было все, что можно было сделать; всего же сделать было невозможно... Но таково свойство оригинального и самобытного творчества, ознаменованного печатью силы и глубокости: повести Гоголя с честию выдержали перевод на язык народа, столь чуждого нашим коренным национальным обычаям и понятиям, и сохранили свой отпечаток таланта и оригинальности. Говорят, что этот перевод, обратив на себя большое внимание во Франции, имел там необыкновенный успех». Белинский откликнулся на это издание и в ряде других критических и полемических статей и заметок. Смело разоблачая Греча и Булгарина, жестоко напавших на «варвара-переводчика» и занесших руку и на самого Гоголя (мы «не дерзнем ставить его не только наравне с Пушкиным и с Лермонтовым, да и непосредственно после их...» — развязно заявлял Греч), Белинский с большой горячностью вставал на защиту этого перевода, считая его «прекрасным» и «превосходным», и лишний раз отмечал, что «все французские журналы, говорившие о Гоголе, говорили о нем с величайшими похвалами»; благодаря этому переводу, заключал он, «талант Гоголя получил европейскую известность». [22]

Эту формулировку следует признать совершенно точной. Дело здесь не только в том, что этот перевод с именем Виардо переиздавался во Франции много раз вплоть до начала XX в. [23] и что,

[22] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 369, 609, 567.

[23] Так, например, «Старосветские помещики» именно в этом переводе переиздавались во Франции несколько раз; последний раз — в конце XIX в. (см. заметку в русском журнале «Семья». 1893. № 51. С. 19); особенно популярен был в этом переводе «Тарас Бульба». Так, повесть эта была издана отдельно в 1853 г., затем шли издания 1872, 1875, 1882, 1892 и 1893 гг. (последнее, иллюстрированное, в серии «Библиотека для семьи и школы» в свою очередь перепечатывалось неоднократно; пятое издание вышло в 1908 г.). Последняя известная нам перепечатка этого перевода «Тараса Бульбы» относится к 1936 г. (в парижской книжной серии «Библиотека для юношества»). Эти данные безусловно подтверждают, что некоторые повести Гоголя в переводе Тургенева—Виардо стали любимыми в чтениях французских школьников и юношества вообще.

следовательно, по этому тексту с повестями Гоголя знакомились многие поколения французских писателей, среди них и такой восторженный почитатель Гоголя, как Альфонс Доде, а за ним и Мопассан и позднее Анатоль Франс. Дело в том, что именно этот перевод избранных повестей Гоголя ввел его также в немецкую, позднее английскую, испанскую и, может быть, итальянскую литературы, а затем и в ряд восточных литератур, где первые переводы произведений русских писателей делались не с оригиналов, а нередко именно с французских или английских переводов.

«Гоголь! Одна из ярчайших звезд на небосклоне русской литературы», — восклицал один из критиков в чешском журнале 1847 г. и прибавлял, что «творения его, вышедшие в прошлом году во французском переводе, стали достоянием всего просвещенного мира, а отныне будут украшением и в сокровищнице нашей переводной литературы».[24] Годом раньше, в 1846 г., в Лейпциге Генрих Боде издал «Russische Novellen» Гоголя «с французского перевода Л. Виардо»; первый томик этого издания целиком заполнен «Тарасом Бульбой». Еще в 1854 г. (в предисловии к своему немецкому переводу «Вия») Рудольф Минцлофф заявлял, что повести Гоголя, «снискавшие себе наибольшую популярность» в России, «нашли превосходного французского переводчика в лице Виардо» и что эти повести «с честью выдержали трудное испытание, не потеряв при этом присущего им своеобразия».[25] В Англии эти повести до 1870-х гг. знали только те, кто мог читать их по-французски. Даже еще в 1887 г. испанская писательница Эмилия Пардо Басан, читая лекцию о Гоголе в мадридском «Атенее» (в серии лекций о русской литературе), также отсылала своих слушателей к переводу Виардо и приводила отрывки из сочинений Гоголя в своем испанском переводе, сделанном с французского.[26] Таким образом, Белинский был вполне прав, утверждая, что перевод, «изданный Виардо», обеспечил Гоголю европейскую известность.

Из пяти повестей Гоголя, помещенных в издании 1845 г., наибольший успех выпал на долю «Тараса Бульбы». Предпочтение этой повести перед другими отдали почти все первые французские критики, писавшие о Гоголе. Им нравились героический пафос этой повести, экзотика ее колорита, ее эпический размах. Все европейские страны облетело суждение о «Тарасе Бульбе» крупнейшего представителя французской буржуазной историографии XIX в. Франсуа Гизо, полагавшего, что это «единственное произведение в

В 1850-е гг. имя Гоголя попало уже во французские биографические словари: Biographie universelle/Ed. Michaud. Paris, 1857. T. 17. P. 84—87 (статья Callet); Nouvelle Biographie générale/Publ. par. F. Didot. Paris, 1857. T. 21. P. 73—75 (статья Августина Голицына).

[24] *Францев В. А.* Гоголь в чешской литературе. СПб., 1902. С. 18.

[25] *Minzloff R.* Beiträge zur Kenntniss der poetischen und wissenschaftlichen Literatur Russlands. Berlin, 1854. S. 51.

[26] *Pardo Bazàn Emilia.* La Revolutión y la novela en Rusia. Madrid, 1887. P. 265—276, 456. Глава о Гоголе в этой книге, явившаяся первой серьезной критической работой о нем на испанском языке, в первой своей части посвящена главным образом подробной характеристике «Тараса Бульбы».

мировой литературе новейшего времени, вполне заслуживающее названия эпической поэмы».[27]

«Тараса Бульбу» читали во Франции без конца, находя в повести все новые красоты; ее приспособляли для сцены, писали к ней музыку; в начале 1890-х гг. Арман Сильвестр, большой почитатель Гоголя (которого он, впрочем, читал только по-французски), считавший его лучшим живописцем-колористом во всей европейской литературе XIX в., специально ездил на Украину для того, чтобы воочию увидеть пейзажи, солнце, степи, которые были описаны Гоголем.[28] В 1899 г. Арман Сильвестр поставил на парижской сцене свою драматическую переделку «Тараса Бульбы» («Kosak»), которая при всей своей нелепости и безвкусии имела блистательный успех».[29] В 1919 г. в Париже оперу «Тарас Бульба» написал французский композитор Руссо. И, вероятно, прав был Андре Лирондель, еще в 1909 г. писавший: „Гоголь — талант мировой. Франция давно усыновила его: я говорю не только о наших романистах, на которых он оказал свое влияние, не о знаменитых критиках, оценивших его, — Гоголя знают все, его читает французский народ. Из наградных книг, выдаваемых детям во французских народных школах, как „Айвенго“, „Робинзон Крузо“, „Дон-Кихот“, ни одна не читается с таким увлечением, как „Тарас Бульба“».[30] «Я недостаточно сведущий человек, — писал в свою очередь французский критик Жюль Леметр, — но если „Мертвые души“ представляются одним из шедевров всемирной литературы, то есть ли что-либо высшее, чем „Тарас Бульба“?».[31]

Любопытно, что именно повесть «Тарас Бульба» послужила однажды предметом переписки между Чарльзом Диккенсом и Бульвером. Это было в 1867 г., когда Эдвард Бульвер Литтон, все еще продолжавший пробовать свои силы в драматургии, написал пьесу «Пленники», представлявшую собой переделку знаменитой одноименной комедии Плавта («Captivi»). Бульвер был очень увлечен своей творческой задачей и, видимо, вполне удовлетворен, когда пьеса была им закончена. Рукопись своей комедии он, однако, послал на отзыв Диккенсу, с мнением которого он привык особенно считаться. К удивлению Бульвера, Диккенс отнесся явно неблагосклонно к его труду: это и было, вероятно, причиной того, что совершенно законченная пьеса, роли которой были уже распределены автором между лондонскими артистами, не была ни представлена на сцене, ни даже напечатана. Диккенс возразил прежде всего против «греческого колорита» пьесы Бульвера на том основании, что в

---

[27] Отзыв Гизо о «Тарасе Бульбе» привел Вогюэ в «Revue des Deux Mondes». См. «Французскую критику о Гоголе» в «Неделе» (1885. № 46. С. 1604—1607).

[28] *Silvestre A.* La Russie. Paris, 1892 (chap. «Souvenirs de Gogol»). P. 320—329.

[29] *Горленко В.* Тарас Бульба на французской сцене//Киевская старина. 1899. № 1. С. 27—29.

[30] Гоголевские юбилейные дни в Москве. М., 1909. С. 75.

[31] Французские писатели о Гоголе//Киевское слово. 1902. 23 февраля. № 5077.

сознании английских театральных зрителей 1860-х гг. этот колорит был неразрывно связан с «бурлескным жанром» (оперетты Оффенбаха как раз вошли в моду), а пьеса Бульвера в своем первоисточнике — у Плавта — имела серьезную общественную задачу, столь пленившую еще переводившего эту комедию Лессинга: привлечь сочувствие к пленникам войны, показать их героизм, их самоотверженную дружбу, их преданность родине даже в несчастье. Диккенс полагал, что для успеха пьесы Бульверу следовало придать ей не древнегреческий, а какой-либо новоевропейский колорит: «Позвольте вас спросить, — писал Бульверу Диккенс, — видели ли Вы когда-нибудь „Русские повести" Николая Гоголя, переведенные на французский язык Луи Виардо? Среди них есть одна повесть под заглавием „Тарас Бульба", в которой, как мне кажется, можно найти все необходимые условия для подобного перемещения действия. Изменив пьесу таким образом, Вы прежде всего привлечете всеобщее сочувствие к рабам или к военнопленным».[32]

Нас, естественно, может заинтересовать не столько совет Диккенса Бульверу, которым последний не смог воспользоваться, но повод, этот совет вызвавший. Письмо Диккенса написано 25 октября 1867 г., еще до того, как он мог познакомиться с гоголевской повестью в английском переводе. Первый английский перевод «Тараса Бульбы», сделанный Ю. В. Толстым, вышел в Лондоне в том же 1867 г. под заглавием «Cossack Tales», поэтому Диккенс и ссылался на французский перевод Луи Виардо 1845 г., который он прочел едва ли позже, чем в 1840-е гг. Если Диккенс помнил повесть Гоголя 15—20 лет спустя после того, как он познакомился с ней, притом не на родном для него языке, это значит, что она захватила его. Диккенс вспомнил «Тараса Бульбу» по ассоциации: речь шла о том, как привлечь общественное сочувствие к тем пленным воинам, которых античный мир полностью лишил и гражданских прав и человеческого достоинства, превращая в рабов, в имущество. Бульвер не догадался, что для того, чтобы эта проблема, поставленная еще в Риме Плавтом, стала понятной и для европейского театрального зрителя XIX в., нужно было приблизить к нему время действия, сделать для него более понятной историческую среду и «местный колорит» пьесы. Именно это и хотел внушить Бульверу Диккенс. Характерно, что во всей новоевропейской литературе в качестве образца, которому надо было следовать Бульверу, Диккенс мог вспомнить только «Тараса Бульбу» Гоголя. Именно в этой русской повести, которая должна была вдохновить драматурга, и заключались все «необходимые условия» для полного творческого пересоздания бульверовской пьесы, которое Диккенс считал обязательным.

Конечно, ни один иностранный читатель «Тараса Бульбы» не был в состоянии до конца понять огромный патриотический пафос этой повести, который и ныне делает ее живой и трепещущей для

---

[32] Letters of Ch. Dickens/Ed. Tauchnicz. Leipzig, 1882. Vol. 4. P. 221.

сердца русского человека; иностранному читателю далеко не всегда должны были быть близкими вдохновенные слова мужественных защитников отечества, запорожских казаков, с которыми они сражались и умирали за родину: «Пусть же цветет вечно русская земля!». Но героические темы «Тараса Бульбы» — ненависть к врагам отечества, к изменникам родины, беззаветная преданность народу, которой подчинено все — благосостояние, привязанность, сама жизнь, — допускали какие угодно применения, в любое историческое время, в любой стране, где только могли проявиться со страстью и силой всепоглощающая любовь к родине и ненависть к ее угнетателям. На этом именно и основана была поистине всесветная популярность этой гоголевской повести, вдохновенно звучавшей и продолжающей звучать на многих десятках языков.

Не случайно, конечно, что эта повесть первой переводилась на многие славянские языки. «Тарас Бульба» был первым произведением Гоголя, появившимся в чешском переводе (перевод К. В. Запа в журнале «Kwěty», 1839); еще ранее знаменитый чешский поэт Ф. Челяковский задумывал перевести ту же повесть Гоголя.[33] В той же чешской литературе рано осуществлена была и драматическая переработка «Тараса Бульбы». Автором этой инсценировки был Йозеф Фрич (1829—1890), один из видных радикально-демократических участников революционных событий 1848 г., незадолго перед тем вернувшийся из семилетнего тюремного заключения. Пятиактная драма Фрича, названная «Тарас Бульба, атаман казацкий, по роману Гоголя», представлена была в одном из пражских театров 15 февраля 1857 г. с участием лучших артистических сил; автор инсценировки, однако, принужден был скрыть свое имя под псевдонимом И. Гинека.[34] Огромный общественный смысл этой драмы, довольно близко следующей гоголевскому тексту (в основу своей пьесы Фрич положил новый чешский перевод «Тараса Бульбы» того же К. В. Запа, сделанный им по второй редакции повести Гоголя и изданный в 1846 г.), не подлежит никакому сомнению. В середине 1850-х гг., в период реакции, когда после некоторого расцвета национальной жизни и культуры чехи лишились почти всех с таким трудом завоеванных ими привилегий, чешская драма, основанная на гоголевской повести, имела характер смелого антиправительственного протеста; она звала продолжать борьбу за национальное дело, учила примерам мужества и героизма.[35] Так именно и поня-

---

[33] *Францев В. А.* Гоголь в чешской литературе. С. 9. Хотя намерение Челяковского не осуществилось, но слухи о его творческих планах достигли и России. Т. Н. Грановский, писал из Праги 4 мая 1838 г., что здесь «Гоголя знают только Миргород, откуда Челяковский перевел Бульбу» (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 337—338).

[34] *Пыпин А. Н.* Два месяца в Праге//Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910. С. 149. Особый этюд пьесе Фрича посвятил J. Horák. Этот этюд вошел в его книгу «Z dějin literatur slovanskych» (Praha, 1948. S. 293—305).

[35] *Никольский С. В., Соловьев А. П.* Гоголь и становление реализма в чешской литературе//Краткие сообщения ин-та славяноведения. М., 1952. Вып. 8. С. 12.

ли ее прогрессивные чешские зрители той поры; поэтому и осталась гоголевская повесть знаменитой в летописях чешского возрождения и искусства. Чешские «Národny Listy» еще в 1896 г. удивлялись этому «замечательному произведению», которое навсегда останется «величественным и могучим дубом на рубеже поэзии и прозы» и «огненной картиной бьющей ключом жизни, не знающей никаких уз», в сравнении с которой «любой образчик исторической беллетристики, процветавшей в тридцатых и сокоровых годах, например, в Германии, кажется бессодержательным и бесцветным», и указывали на «Тараса Бульбу» как на недосягаемый образец: «...приблизительно такую картину военного лагеря мы желали бы видеть у наших гуситов под Вышеградом или под Плезенью».[36] Не случайным поэтому кажется тот факт, что видный моравский композитор Леош Яначек (1854—1918), всегда являвшийся другом русской культуры и русского народа, еще в 1905 г., читая заново русский текст «Тараса Бульбы» и делая на полях книги музыкальные наброски, задумывал одно из лучших своих произведений — симфоническую рапсодию под этим заглавием. Закончена была эта рапсодия (в трех частях: «Смерть Андрея», «Смерть Остапа», «Пророчество и смерть Тараса Бульбы») лишь в 1918 г. Сам Л. Яначек признавался в одном из своих писем, что свое музыкальное произведение он написал из-за слов: «...не найдутся на свете такие огни, такие муки, которые сломали бы силу русского народа», — из-за этих слов, «падающих в горячие искры, в пламень костра, на котором закончил жизнь свою прославленный атаман казацкий».[37] «Тарас Бульба» Яначека замыкал собой длинную цепь разнообразных творческих откликов на повесть Гоголя и его пересозданий в чехословацком искусстве XIX—XX вв.

Болгарские переводы из Гоголя также начались «Тарасом Бульбой»: первым перевел эту повесть на болгарский язык Н. Бончов (1873). И в болгарской литературе «Тарас Бульба» имел важное общественное значение. Еще Любен Каравелов, столь тесно связанный с Россией (он жил здесь между 1857 и 1868 гг.), оценил это значение для его родины, угнетенной феодальной Турцией и болгарскими крепостниками. Именно «Тарас Бульба» натолкнул Каравелова на самостоятельную художественную разработку темы о страданиях болгарского народа под турецким и греческим игом и о гайдуках как борцах за национальное освобождение. Влияние «Тараса Бульбы» чувствуется уже в таких ранних литературных опытах Л. Каравелова, как «Воевода», и особенно в повести «Дончо. Рассказ болгарского атамана» (1864), этой героической эпопее народной борьбы. Болгарские критики 80-х гг. XIX в. (С. Бобчев, З. Стоянов) указывали влияние Гоголя на слог, способ изложения и даже на содержание повестей и рассказов Л. Каравелова. Позднее в Бол-

---

[36] *Францев В. А.* Гоголь в чешской литературе. С. 20.

[37] *Бэлза И.* 1) Русские классики и музыкальная культура западного славянства. М., 1950. С. 55; 2) Очерки развития чешской музыкальной классики. М.; Л., 1951. С. 472, 488—489.

гарии стали известны и все другие произведения Гоголя, оказавшие сильное и продолжительное влияние на всю историю реализма в болгарской литературе,[38] но повесть «Тарас Бульба» все же положила начало любви к Гоголю болгарских писателей, продолжающейся и поныне.[39]

Венгерская литература столь же рано приобщила «Тараса Бульбу» к своей литературе, в тот период ее истории, когда распространение русских писателей в венгерских переводах стало одним из действенных средств пассивного сопротивления венгерского народа, боровшегося против национального гнета Габсбургов. То же можно сказать и об итальянской литературе, где «Тарас Бульба» был особенно популярен в период борьбы за национальное освобождение.

В средней Европе после 1848 г., в которой, по словам Энгельса, происходило «восстановление угнетенных и раздробленных национальностей <...> поскольку они вообще были жизнеспособны и, в частности, созрели для независимости»,[40] не было такой страны, где повесть «Тарас Бульба» не сыграла бы большой общественной роли. В других странах, соответственно особенностям их исторического развития, эта роль сыграна была еще позже. Из множества относящихся сюда фактов, которые было бы невозможно здесь проанализировать, укажем лишь на то, что еще на рубеже XIX и XX вв. гоголевские образы Тараса и Остапа на разных концах земного шара продолжали еще вдохновлять народы на борьбу за родные земли против чужеземцев-угнетателей. Переводы из Гоголя на испанский язык были не очень многочисленны; тем не менее одним из первых его произведений, вышедших отдельным изданием в испанском переводе, была все же именно повесть «Тарас Бульба»: она составила особый 59-й томик книжной серии «Собрание лучших авторов, древних и современных», вышедших в Мадриде в 1906 г.[41] В 1895 г. в Аргентине композитор Артуро Беретти создал оперу «Тарас Бульба». В 1900 г. один из деятельных переводчиков произведений русских писателей на арабский язык — Халиль Бейдас — перевел «Тараса Бульбу» на арабский язык и напечатал в издававшемся в Бейруте журнале «Ливан».[42]

---

[38] *Копержинский К. А.* Беллетристические произведения Л. Каравелова, написанные в России//Известия Отделения русского языка и литературы АН СССР. 1948. Вып. 2. С. 175—176; *Велчев В.* Любен Каравелов и Гоголь//Ученые записки Московского гос. ун-та. Труды кафедры русской литературы. М., 1948. Кн. 3. С. 91—126; *Кравцов Н. И.* Гоголь и болгарская литература//Краткие сообщения Ин-та славяноведения АН СССР. М., 1952. Вып. 8. С. 22—42.

[39] Любопытное свидетельство о широкой популярности «Тараса Бульбы» в Болгарии в период борьбы с фашизмом мы находим в статье Г. Хубова «Болгарские очерки» (За рубежом: Сборник статей советских композиторов и музыкантов. М., 1953. С. 9).

[40] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 35. С. 219—220.

[41] Подробный разбор этого перевода см.: Русские ведомости. 1909. № 42 («К юбилею Гоголя»).

[42] *Крачковский И. Ю.* Русские писатели в арабской литературе//Вестник иностранной литературы. 1910. № 12. С. 40.

3

Таков был результат перевода Тургеневым лишь одной повести Гоголя. В длительном и сложном процессе распространения ее по всему миру приняли участие десятки и сотни переводчиков и истолкователей на разных языках, в том числе и на французском, на который она переводилась и после Тургенева; тем не менее Тургенев был первым, показавшим дорогу к Гоголю зарубежным переводчикам и критикам. Однако в сборнике «Nouvelles Russes» 1845 г. было пять повестей Гоголя, которые читались и переводились наравне с «Тарасом Бульбой», может быть, с меньшим восторгом и увлечением, но в некоторых отношениях с гораздо дальше идущими следствиями. Эти повести зарубежными читателями воспринимались с бóльшим усилием по обилию встречающихся здесь не всегда понятных для них подробностей повседневной жизни чужой страны, лишенных всякой героики, всякого ореола; с бóльшим затруднением воспринимались они также и по той читательской особенности, на которую метко указал сам Гоголь в его статье о Пушкине (1832—1835). «Никто не станет спорить, — писал Гоголь, — что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный, как воля, сам себе и судья и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя...». Несмотря на то, что этот воинственный герой, продолжал Гоголь, «зарезал своего врага, притаясь в ущельи, или выжег целую деревню, однако ж он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ». Если Гоголю в середине 1830-х гг. в той же статье приходилось убеждать русского читателя, что и тот и другой герой представляют собой «явления, принадлежащие к нашему миру», что «они оба должны иметь право на наше внимание», то легко понять, как трудно было убедить в этом отношении зарубежного читателя, для которого, в особенности в первой половине XIX в., романтизированный персонаж в экзотическом костюме, действующий в драме или исторической повести, представлял, конечно, бóльший интерес, чем заурядный человек чуждой ему житейской сферы.

Тем не менее тот же Гоголь, называя те свои произведения, которые «нравились решительно всем вкусам и всем различным темпераментам», наряду с «Тарасом Бульбой» упомянул и другую повесть из «Миргорода» — «Старосветские помещики». Мы, пожалуй, прибавили бы к ним и третью — из того же сборника — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Эти повести разделили с «Тарасом Бульбой» свою популярность во многих европейских литературах. И это неудивительно: несмотря на обилие житейских подробностей, резко отчетливые «местные краски», неповторимую скульптурную выпуклость действующих лиц, в этих повестях было то, что могло быть понятно и близко читателям во всех климатах и в разнообразной общественной среде. И раз-

ве была в то время такая страна, где не было «существователей», где не затягивала бы человека страшная тина мелочей обывательской жизни? Были, конечно, и за рубежом писатели, которые изображали такую жизнь по-своему верно и с меткой наблюдательностью; были и такие писатели, которые заставляли своих читателей сначала посмеяться над бессмысленной тупостью мещанской жизни, а затем с грустью безрадостно мечтать об иной человеческой судьбе, но Гоголь был едва ли не первый из европейских писателей, при чтении повестей которого, по слову Белинского, становилось «сначала смешно, потом грустно». Прогрессивный датский критик Георг Брандес, хорошо осведомленный во всех европейских литературах нового времени, еще в 1880-х гг. утверждал: «С Гоголем новое дуновение проносится из России в Европу».[43] Он же писал в 1909 г.: «Благодаря Гоголю, создателю реальной правдивой школы в вашей литературе, вы опередили остальную Европу... Когда Гоголь впервые выступил, он был еще только великим художником, но если сравнить его с его предшественниками и последователями, он остается единственным...». Не забудем, что во Франции еще в 1856 г. Шанфлёри в сборнике «Реализм», указывая виднейших представителей реализма в европейской литературе, среди немногих имен назвал два русских имени: Гоголя и Тургенева. Утверждение Брандеса едва ли грешит против истины. Дореволюционная русская критика, например, в полном противоречии с приведенными утверждениями Брандеса, много писала о Диккенсе и Гоголе, бесплодно доискиваясь, какие произведения Диккенса могли отозваться в творчестве Гоголя. Ближайшие друзья и современники Гоголя судили об этом гораздо основательнее. С. П. Шевырев писал еще в 1841 г., следовательно, в начальный период русского знакомства с Диккенсом: «У нас могли явиться подражатели Диккенсу — если бы в этом случае Россия не опередила Англию. Диккенс имеет много сходства с Гоголем, и если бы можно было предположить влияние нашей словесности на английскую, то мы могли бы с гордостью заключить, что Англия начинает подражать России». В полном согласии с этой точкой зрения и другие современники Гоголя, из того же славянофильского кружка, называли Диккенса «меньшим братом нашего Гоголя» (1845). Интересны в этом же смысле некоторые записи в дневнике Ф. В. Чижова (1855). Размышляя на тему о «значении Гоголя в литературе», Чижов писал: «Он первый ввел натуральную школу, не только у нас, но до него ее не было вообще... У Гоголя, как потом у Диккенса, явился человек, как он есть <...> общество явилось со всею мелочью, со всею ничтожностью, но живое, а не склеенное по заказу. По мне Гоголь выше Диккенса бóльшим углублением внутрь человека».[44] и т. д. Они еще не мог-

---

[43] *Брандес Г.* Литературные впечатления//Собр. соч. СПб., 1896. Т. 19. С. 158.

[44] Литературное наследство. Т. 58. С. 782—783. Любопытно, что И. С. Аксаков, живя в Германии и знакомясь с немецкой литературой, писал в 1860 г., что эта литература не может идти в сравнение с русской: «Требование прав-

ли знать, что в это время Диккенс знакомился с «Миргородом» по французскому переводу Тургенева, но для них было совершенно ясно, что Гоголь был одним из предшественников Диккенса; они могли заглянуть еще глубже, вспомнить учителя Гоголя — Пушкина, что «Станционный смотритель» или «Гробовщик» — это, так сказать, первые «диккенсовские» повести в русской литературе, которые написаны были еще до того, как Диккенс взялся за перо беллетриста, и задолго до того, как он создал сколько-нибудь значительные вещи. Может быть, длительная популярность самого Диккенса в русской литературе и вызвана была тем, что почву для его усвоения и понимания подготовил Гоголь.[45] Один из героев очерка Левитова «Петербургский случай» (1869) так рассуждал о Гоголе: «Он дал нам нравы!.. Или не то что дал, а научил нас подмечать в людях настоящие нравы. Это основатель русской литературы. Без него мы не поняли бы ни Диккенса, ни Теккерея...».[46]

На другой пример наталкивает нас тот же Брандес, однажды утверждавший, что в гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» «наблюдается и тот вид юмора, которым отличался *тридцать лет спустя* Готфрид Келлер, описывая слабости и комические стороны своих швейцарцев». Этому, может быть, случайному сопоставлению, смысл которого заключался прежде всего в установлении гоголевского приоритета, в утверждении неоспоримого права Гоголя считаться предшественником многих и многих явлений западноевропейских литератур XIX в., суждено было довольно любопытное будущее. Оно стало прочной традицией в буржуазном немецком и швейцарском литературоведении. Вокруг проблемы о Гоголе как о прямом предшественнике и даже предполагаемом образце Готфрида Келлера возникла особая литература. «Зельдвильские новеллы» Келлера были объявлены возникшими из «атмосферы» гоголевского «Миргорода». Один немецкий исследователь шел еще дальше, утверждая, что одна из повестей Келлера из зельдвильского цикла, а именно повесть «Платье делает людей», созданная Келлером в конце 1860-х гг. и напечатанная

ды у нас несравненно строже и переходит иногда в грубый реализм, но тем не менее мы с Гоголем перепрыгнули все литературы в этом смысле, кроме английской» (И. С. Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3. С. 383).

[45] См. «Русский Диккенс» — мое предисловие к книге Ю. В. Фридлендер «Чарльз Диккенс. Указатель важнейшей литературы на русском языке» (Л., 1946. С. 10—11).

[46] *Левитов А. И.* Сочинения. М.; Л., 1933. Т. 2. С. 297—298. Интересно сопоставить с этим замечанием наблюдения В. С. Аксаковой в письме к М. Г. Карташевской от 8 марта 1845 г.: «Удивительно, как Диккенс много имеет сходства с Гоголем! Я не говорю тут об том высоком, обширном значении Гоголя, которого, кажется, не достигает Диккенс, как он ни хорош, но в способе выражения, в обороте фраз, в приемах, в этих малозначащих, по-видимому, подробностях столько сходства, что, право, иногда кажется, как будто бы это перевод из Гоголя, а между тем, эти люди не могут даже читать друг друга в оригинале! Если б переводить Гоголя, то, конечно, только языком Диккенса можно его передать; Диккенс же в переводе, особенно в некоторых местах, требует совершенно гоголевских выражений» (Литературное наследство. Т. 58. С. 671—672).

в 1873 г., восходит к Гоголю и сюжетно, и в ряде подробностей, вплоть даже до этнографических (Келлер изобразил в своей повести бедного портного, которого простодушные зельдвильцы в силу комических случайностей приняли за польского графа).[47] С нашей точки зрения, это сюжетное сходство преувеличено и не может быть доказано ни документальными данными, ни текстуальными аналогиями, но ощущение некоторой родственности Келлера мастерству Гоголя действительно не покидает нас при чтении «Зельдвильских новелл». Зимой 1935 г. в Цюрихском народном университете прочтен был цикл лекций, в следующем году изданный в этом же городе под заглавием «Миргород — Зельдвила»,[48] основной задачей которого было показать, что «Зельдвила» должно значить для швейцарцев приблизительно то же самое, что русские ассоциируют с именем «Миргород». Против такого утверждения трудно было бы что-нибудь возразить по существу. Мы знаем, что обособленное положение Келлера в современной ему литературе объясняется прежде всего его кровной связью с судьбами швейцарской демократии, во многом сохранявшей в его время свой патриархальный характер. Будучи выходцем из кругов швейцарской радикальной демократии и принимая непосредственное участие в борьбе с феодальной и католической реакцией за объединенную республиканско-демократическую Швейцарию, Келлер не только сумел сохранить приверженность к идеалам радикальной демократии, но смог в значительной мере преодолеть идейное и эстетическое убожество, характерное для большинства его современников, собратьев по перу.

Что же касается понятия «Миргород», о котором говорят зарубежные буржуазные литературоведы, то любопытно, что из реального географического названия, место которого на карте мог определить далеко не всякий зарубежный читатель произведений Гоголя, оно стало для них чуть ли не философским термином, во всяком случае, типологическим определением некоей сферы общественной жизни, провинциальной по преимуществу, людей мещанского типа со скудными умственными запросами, не одаренных добродетелями и в моральном отношении. Приблизительно такое толкование давал этому понятию один итальянский исследователь Гоголя — L. P. Savoi, опубликовавший статью с характерным заглавием: «Mirgorod; villagio, cittá, mondo» («Миргород; деревня, город, мир»).[49]

Альфонс Доде, по его собственным словам всегда с восторгом перечитывавший Гоголя, также в состоянии был оценить по достоинству прежде всего именно миргородский цикл его повестей. Автор «Тартарена из Тараскона» и «Писем с моей мельницы» хорошо знал Гоголя (быть может, благодаря тому же Тургеневу) и усматривал черты явного сходства между земляками создателя «Миргорода» и любезными его сердцу провансальцами. Просмотр его произведений, вероятно, позволил бы открыть в них следы внимательного прочте-

---

[47] *Palgen R.* Keller und Gogol//Die Literatur. 1927.
[48] *Strasser Charlot.* Mirgorod — Seldwyla. Zürich, 1936.
[49] L'Europe Orientale. 1941. Fasc. 11—12.

ния Доде «Старосветских помещиков» и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Чтобы не быть утомительным в подобных слишком беглых сопоставлениях, ограничимся лишь одним-двумя примерами, имеющими целью показать, что стихия гоголевского юмора, как она проявилась в «Миргороде» с его гротескными преувеличениями, окрашенными то горечью, то мягким лиризмом, могла отражаться в самых неожиданных применениях в различных частях света. Так, например, среди «Калифорнийских рассказов» Фрэнсиса Брет-Гарта, в которых он является типичным мелкобуржуазным демократом-гуманистом и «диккенсианцем», есть рассказ, относящийся к лучшей поре его творческой деятельности, — «Илиада Сенди-бара» (1870). Калифорнийский поселок Сенди-бар — это вариация «Миргорода», а два неразлучных приятеля Йорк и Скотт, поссорившихся из-за пустяка, ставших заклятыми врагами и затеявших тяжбу, которой не будет конца, это новые варианты Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Таких же гоголевских героев можно узнать в повести болгарина Любена Каравелова «Българи от старо време».

В 1847 г. в чешском переводе Карла Гавличка Боровского была издана «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» («Povest o tom, kterak se rozhnévali pan Matěj a pan Matoušek»), а в 1859 г. эта же гоголевская повесть была переделана для сцены чешским режиссером и актером Йозефом Коларом. В повести Неруды «Пан Рышанек и пан Шлега» рассказывается о двух пражских домовладельцах, одиннадцать лет сидевших за одним столиком в трактире и «не замечавших» друг друга.[50]

Прямое и сильное влияние творчества Гоголя испытал на себе также датский писатель Герман Банг (1857—1912) еще в тот период своей деятельности, когда он принадлежал к кружку приверженцев Брандеса, разоблачал тупую и затхлую пошлость датского мещанства после несчастной датско-прусской войны 1864 г., когда в его творчестве еще не проявились вполне отчетливо упадочные черты, заставившие его в конце концов сомкнуться с группой писателей-декадентов. Г. Банг писал о Гоголе: «Каждый стремящийся описывать человека и человеческое общество должен смиренно, с благоговением склониться к его ногам». В предисловии к русскому изданию своих повестей Банг писал, что он радуется тому, что их «будут читать на том языке, на котором писал Гоголь». Впоследствии, вспоминая свои впечатления от произведений Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого, которых он изучал с большой любовью, Банг писал: «А все же Гоголь казался мне более великим». Гоголь «возвышается над всеми ними». Правда, Банг знал почти всего Гоголя, включая и «Мертвые души», а не только его ранние повести. Лишь одного писателя Банг решался поставить в один ряд

---

[50] Переводчик этого же произведения Гоголя на персидский язык, Константин Тагаев, переделал героев этой повести — одного в Хасана, другого — в Хосейна. Повесть эта вышла в Москве в 1943 г. под заглавием «Как поссорились Хаджи Хасан и Хаджи Хосейн» («Че гоне хаджи Хасан ва хаджи Хосейн ба хам кахр карданд»).

с автором «Мертвых душ» — Бальзака: «Когда я думаю о „Мертвых душах“ и о „Человеческой комедии“, у меня такое чувство, словно я стою у подножия зубчатого горного хребта».[51]

Было бы трудно объяснить в немногих словах, как случилось, что датский писатель конца XIX в., не имевший понятия о русском языке, мог стать восторженным почитателем гоголевского гения. Этому было много причин: близость Банга к Георгу Брандесу, от которого он мог перенять его увлечение русской литературой, хорошее знакомство Банга с французской литературой и критикой второй половины века, специальный интерес к Тургеневу, творчество которого, как известно, создало нечто вроде «школы» или «тургеневского периода» в датской литературе этого времени и т. д. Сыграло роль и то обстоятельство, что переводы Гоголя на датский язык имели уже прочную традицию: первый из них вышел еще в 1847 г., опередив многие другие европейские литературы,[52] следовательно, лишь через два года после того, как в Париже появились «Русские повести Николая Гоголя» во французском переводе Тургенева — Виардо.

Таковы были многозначительные результаты появления этой последней книги, действенная сила которой отозвалась во всех концах Европы. Тургенев предпринял еще немало других попыток, чтобы в различных европейских литературах насадить «культ Гоголя» наряду с «культом Пушкина». Тургенев делал это в продолжение всей своей жизни. Из письма его к Луи Виардо от 8 (20) августа 1849 г. видно, что Тургенев безуспешно разыскивал в Париже русский текст гоголевской «Шинели», чтобы издать перевод на тех же основаниях, что и «Русские повести»; он оставил этот замысел только после того, как «Шинель» появилась в переводе Ксавье Мармье. В старости Тургенев убеждал Мопассана написать для «Gaulois» серию статей о русской литературе, предлагая ее начать с «Пушкина или Гоголя». Эмиль Золя вспоминал в 1902 г.: «Мой великий друг Тургенев очень часто говорил мне, как глубоко почитал он автора „Мертвых душ“».

Казалось бы, что Тургенев мог быть вполне удовлетворен итогами своей пропаганды гоголевского художественного слова за рубежом. Мог быть доволен и Луи Виардо, считая свое предприятие вполне удавшимся. Но вот что писал Тургенев в письме к Полине Виардо (21 февраля (4 марта) 1852 г.), не предназначавшемся к печати. вскоре после смерти Гоголя: «Нас поразило великое несчастие: Гоголь умер в Москве... Вам трудно будет оценить всю огромность

---

[51] Северные сборники. СПб., 1907. Кн. 1. С. 141—145; *Банг Г.* Без родины. М., 1912 (Предисловие).

[52] Копенгагенский университет основал в 1859 г. доцентуру по славистике; ее занял Каспер Вильгельм Смит (1811—1881), первый датский филолог-славист, автор труда по истории русской литературы XVIII — начала XIX в. Из таблиц лекций и практических занятий Смита, приведенных К. Тиандером, видно, что в конце 1860-х — начале 1870-х гг. русский язык пользовался особым вниманием у датских студентов (*Тиандер К.* Датско-русские исследования. СПб., 1913. Вып. 2. С. 3—4). Другой здешний литератор Торсон издал на датском языке собрание повестей со славянских языков; в числе русских авторов главное место занимали произведения Гоголя (*Грот Я. К.* Труды. СПб., 1903. Т. 5. С. 79).

этой столь жестокой, столь полной утраты. Нет русского, сердце которого не обливалось бы кровью в эту минуту. Для нас он был более чем только писатель: он раскрыл нам нас самих... Быть может, эти слова покажутся Вам преувеличенными, внушенными горем. Но Вы не знаете его; Вам известны только самые незначительные из его произведений, и если б даже Вы знали их все, то и тогда Вам трудно было бы понять, чем он был для нас. Надо быть русским, чтобы это почувствовать. Самые проницательные умы из иностранцев, как, например, Мериме, видели в Гоголе только юмориста английского типа. Его историческое значение совершенно ускользнуло от них. Повторяю, надо быть русским, чтобы понимать, кого мы лишились...».[53]

Читая это письмо Тургенева, мы чувствуем себя в атмосфере идей Белинского. Всей своей деятельностью по пропаганде Гоголя за рубежом, начиная от 1845 г., Тургенев словно пытался опровергнуть эту точку зрения Запада, пытался, но не мог. В Гоголе действительно было нечто, что было непередаваемо ни на каком языке, что не могло быть до конца понято или истолковано ни одним зарубежным критиком. И это «нечто» в сильнейшей степени было заключено в двух величайших созданиях Гоголя — в «Ревизоре» и «Мертвых душах».

4

Зарубежные читатели и критики могли восторгаться Гоголем-эпиком, Гоголем-пейзажистом и жанристом, Гоголем-рассказчиком, Гоголем-изобразителем ограниченной обывательской среды, наконец, Гоголем как реалистом, правдиво рассказавшим о радостях и печалях простых, малозаметных людей, доля которых в капиталистическом мире в сущности мало чем отличалась от участи подобных им людей в условиях самодержавно-крепостнической России. На этом и зиждилась мировая слава таких его «петербургских повестей», как «Невский проспект», «Портрет» или «Шинель», обошедших почти все литературы не только Западной Европы, но и Востока. Однако историческое значение «Ревизора» или «Мертвых душ» действительно ускользало от зарубежных читателей прежде всего потому, что они плохо представляли себе самодержавно-крепостническую Россию и не могли оценить по достоинству обличительную силу той страшной картины, которую раскрывал перед ними Гоголь. Здесь и начинались их сомнения и колебания в оценке этих произведений; о «Ревизоре» и «Мертвых душах» высказывались суждения, невольно поражающие нас и своей непривычностью и своим полным безвкусием. Долгое время немногие из иностранцев могли оценить также новаторскую, самобытно-художественную форму этих его произведений.

Характерно, что первые переводы «Ревизора» и «Мертвых душ» на западноевропейские языки (в том числе и славянские) и первые

[53] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. М.; Л. 1961. Т. 2. С. 394.

истолкования их в зарубежной критике прямо или косвенно обязаны были русским писателям, критикам, просто путешественникам. Эти переводы делались либо непосредственно в России, либо с помощью русских, либо на основе тех впечатлений, какие вывозились из России после долговременного пребывания в этой стране.

Мы уже говорили о значении французского перевода повестей Гоголя, изданных Тургеневым—Виардо. Неизмеримо меньшее значение имели французские переводы «Ревизора», сделанные Проспером Мериме (1853), и два перевода «Мертвых душ», изданных Эженом Моро в 1858 г. и Эрнестом Шаррьером в 1859 г.

Качества Проспера Мериме как знатока русского языка и переводчика русских писателей были сильно переоценены критикой и исследователями. Превосходный стилист в своих оригинальных произведениях, он не вполне справился со своей задачей как переводчик. Потратив немало времени и труда на изучение русского языка, он все-таки не освоился во всех его тонкостях. Гоголя Мериме переводил особенно плохо, несмотря на то что он и на этот раз имел русских помощников, особенно в лице В. И. Лагрене, урожденной Дубенской.[54] В переводе Мериме «Ревизора», как известно, много курьезов. Держиморда едет тушить пожар, возникший в *«трубе»*, он не «ставит фонари под глазами и правому и виноватому», а *«подносит свой фонарь* к носу всех людей, честных и нечестных». Хлестаков не говорит: «Я, знаете, издержался в дороге», но утверждает, что его *«задержали в дороге»*, «столпотворение» переведено *«устроить обед»*. Эпиграф к «Ревизору» Мериме перевел так: «Ce n'est le miroir; c'est toi, qui fait le grimace». Но здесь дело не только в мелких курьезах, которых было достаточно и в последующих французских переводах того же «Ревизора», например Готи, который слова «приехал на Василия Египтянина» перевел *«его привез извозчик Василий Египтянин»* и поместил Хлестакова в «Hotel Vlasse», превратив тем самым трактирщика Власа в название гостиницы, и т. д.[55] Мериме

---

[54] «Я рассчитываю на Вас, сударыня, чтобы просмотреть места, которые мне придется переводить из «Мертвых душ» и из «Ревизора», — писал Мериме В. И. Лагрене 22 сентября 1851 г. (*Виноградов А.* Мериме в письмах к Дубенской. М., 1937. С. 72).

[55] Г. [Григорьев Аполлон] (Статья Проспера Мериме о Гоголе в «Revue des Deux Mondes»//Москвитянин. 1851. Т. 6, № 24, кн. 2. С. 607—614), отмечая, что Мериме «крайне односторонне определяет общественное значение комедии Гоголя: все в «Ревизоре» кажется ему слишком мрачным и сатирическим», далее замечает: «Что касается до перевода приводимых мест из „Ревизора" и „Мертвых душ" — то этот перевод от усилия быть буквально верным становится уморительно смешным». Вообще, внимательные русские читатели скоро заметили в переводе Мериме немало оплошностей (см.: Отечественные записки. 1852. Т. 82. Июнь. С. 96—97). На целую серию их указал А. И. Урусов в 1881 г. (см. его книгу: Статьи, письма, воспоминания. М., 1907. Т. 1); впоследствии Л. Леже прибавил к ним еще ряд других, обнаружив их на практических занятиях русским языком со слушателями «Коллеж де Франс», где каждая фраза Гоголя была сопоставлена с тем, что ей соответствует в переложениях Мериме (*Léger L.* Nicolas Gogol. Paris 1914. P. 204—220). См. также: *Mongault H.* Gogol et Mérimée//Revue de Littérature Comparée, 1930. P. 697—712,

не только плохо понимал Гоголя, Гоголь был ему органически чужд. В 1851 г. была опубликована (в журнале «Revue des Deux Mondes») статья Мериме о Гоголе, в которой чувствуется плохо скрытое предубеждение против автора «Мертвых душ». Хотя мы находим в статье ряд отрывков из этого романа и отдельные сцены из «Ревизора», но безусловно положительную оценку у Мериме получают только «Старосветские помещики»; ему не понравились ни «Тарас Бульба» — эту повесть он нашел слишком мелодраматической, ни «Записки сумасшедшего» — как относившиеся к «нелюбимому им жанру». Не менее несправедлив был Мериме и к «Мертвым душам», находя, что «комизм Гоголя граничит с фарсом, а веселость его не заразительна. Если он заставляет иногда смеяться читателя, то оставляет в душе его также чувство горечи и негодования; сатиры его не отомстили обществу, а только озлобили его». Несколько лет спустя Мериме снова вспомнил о Гоголе по поводу «Записок охотника» Тургенева. В статье «Литература и крепостное право в России» (1854) Мериме приветствует в Тургеневе склонность «избегать безобразного, которое автор „Мертвых душ“ ищет с таким любопытством» и осуждает в Гоголе его «фальшивый смех... часто более печальный, чем слезы». В своих опубликованных письмах Мериме еще откровеннее писал, что он не понимает и не любит Гоголя. Так, в письме к А. Сиркуру (от 8 мая 1852 г.) Мериме признавался, что он находит «преувеличенными похвалы, расточаемые Гоголю. Правда, я не в состоянии судить о достоинствах его стиля, но я предполагаю, что он очень замечателен. Что же касается его искусства композиции, то оно кажется мне весьма посредственным... Гоголь для меня — несколько диковатый Стерн... Он не отличает безобразного от смешного» [56] и т. д. Еще более откровенно Мериме писал Э. Шаррьеру в ответ на присланный последним перевод «Мертвых душ»: «Я не люблю Гоголя, который кажется мне продолжателем Бальзака, с его вкусом, склонным к безобразному. Жалею, что вы перевели его». [57]

О переводчиках и критиках Гоголя Э. Шаррьере и И. Ферри де Пиньи рассказывает В. А. Соллогуб в своих «Воспоминаниях». Он близко знал их обоих, когда они были еще гувернерами в России. Ферри (I. Ferry de Pigny, 1799—1880) был и остался до конца своих дней, прожитых им на парижском чердаке, большим и искренним почитателем Гоголя. Соллогуб рассказывает, что однажды, блуждая по Парижу, он с удивлением увидел афишу, объявлявшую о лекции Ферри, посвященной творчеству Гоголя, которая прошла не без успеха. «Лекция свидетельствовала об особом изучении нашего великого писателя и возбудила интерес», — вспоминал Солло-

---

[56] *Luppé Marquis de.* Mérimée. Paris, 1945. P. 151—152.

[57] *Parturier M.* Une amitié littéraire. P. Mérimée et I. Tourguénev. Paris, 1952. P. 14.

губ.[58] Перевод «Мертвых душ», сделанный в 1859 г. Э. Моро (E. Moreau), был весьма посредствен, как это утверждает, в частности, и М. Л. Михайлов, «от слова до слова» сверивший его с оригиналом. Смысл важнейших мест гоголевского текста был полностью утрачен, хотя Моро и утверждает в предисловии, что он «переводил поэзию Гоголя на месте, в России, с помощью иных источников, чем лексикон» и «тщательно отмечал все, что не могло перейти в другой язык, не утратив своей силы, а иногда и смысла».[59] Перевод драматурга и историка Шаррьера (E. Charriére, 1805—1870), напечатанный в 1859 г., был еще во много раз хуже, а комментарии переводчика были и совсем юмористическими: Коробочку он сопоставлял с «феей Карабас», а фамилию Чичикова, хвастаясь своим знанием русского языка, производил от глагола «чихать» или «чихнуть».

Недоброжелательный тон отзывов Мериме об авторе «Ревизора» был воспринят многими другими его французскими современниками. Неуспех «Ревизора» на французских сценах до конца XIX в. частично обязан тому же Мериме, отчасти и французскому критику Мельхиору де Вогюэ. С восторгом отзываясь о «Старосветских помещиках» и оценив «Мертвые души» как источник всей последующей русской реалистической литературы — романов Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, Вогюэ находил, что «Ревизор» отличается комизмом «довольно грубого свойства», который «не знает середины между фарсом и грубой насмешкой».[60]

«Ревизор» поставлен был первый раз в Париже в театре «Porte Saint-Martin» в апреле 1854 г. и имел скандальный неуспех. Но и о постановке «Ревизора» позднее, в декабре 1897 г., в парижском театре «L'oeuvre» в переводе Мериме русский обозреватель в «Вестнике иностранной литературы» (1898 г. № 2. С. 322—324) отзывался отрицательно: «По единогласному отзыву парижских корреспондентов многих русских газет, — пишет он, — как постановка пьесы, так и ее истолкование были ниже всякой критики». «Квартира городничего представляла из себя средневековую залу... вместо гостиницы во втором действии была деревенская изба». Городничего — «весьма странного краснорожего субъекта с огромным животом, делавшего бессмысленные жесты» одели в шутовской костюм; костюмы Хлестакова, Анны Андреевны и Марьи Антоновны были

---

[58] *Соллогуб В. А.* Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 203—204, 531—536. Р. М. Ферри, переводчику многих русских произведений, в частности «Мертвых душ», принадлежит и наиболее обстоятельная статья о «Ревизоре» в журнале «Revue hebdomadaire»: «...кроме литературных достоинств и вносимой им новизны, — писал Ферри, — чистота слова и свобода в выборе драматических средств являются исключительным и, если принять во внимание сюжет, который не решаются трактовать таким образом даже в наши дни во Франции».

[59] *Михайлов М. Л.* Парижские письма//Современник. 1858. Т. 71. С. 274—275.

[60] В «Неделе» (1885. № 46. С. 1604—1607) под заглавием «Французский критик о Гоголе» появился подробный разбор этой статьи Вогюэ о Гоголе, напечатанной в том же 1885 г. в «Revue des Deux Mondes». См. также: *Vogüé M. de.* Le roman russe. Paris, 1886.

по последней парижской моде, а Осип был представлен «нищим мужиком в лохмотьях <...> Исполнители совершенно не поняли своих ролей» — так же, как и французские критики в своих рецензиях на спектакль, не поняли классической русской комедии, называя «Ревизора» то водевилем, то фарсом. Об этом же спектакле как о «сплошной карикатуре», о чем-то «невообразимо диком, невиданном, небывалом» пишет русский очевидец этой постановки, театральный хроникер «Московских ведомостей» (1898. № 3).

Резко отрицательно отозвалась о современной постановке «Ревизора» во Франции О. Форш (Под куполом. 5-е изд. Л., 1933. С. 43—45). Описывая спектакль в «Champs Elysées», она рисует его персонажей: «городничий — одетый в мундир бегемот», «с арапником в руках», который «рычит зверским голосом все 5 актов» и «при всякой встрече Держиморде дает в зубы»; Хлестаков — «хлыщеватый балбес», «с виртуозностью в оттенках икает»; «чиновники однообразно звероподобны, с гримом партизана Дениса Давыдова» и т. д. «Никакого внутреннего понимания, одно утробное подражание чьим-то рассказам про псевдорусские нравы». Спектакль получился смехотворный, — заключает О. Форш, — по совершенной неспособности французов понять Гоголя».

Когда в конце века на английском языке появился «Ревизор» в переводе Гарт-Дэвиса, критик (The Academy. 1891. 11 april) решительно заявлял, что это произведение «не будет оценено в Англии, ибо изображенные в комедии общество и его нравы слишком для нас чужды». Характерно, что из всех действующих лиц гоголевской пьесы лишь один Осип вызвал симпатии ее английского рецензента. Вообще вплоть до XX в. Гоголь оставался в Англии одним из наименее популярных русских писателей.

Перевод на датский язык «Ревизора» был сделан проф. Benedictsen; в 1900 г. он же перевел и первую часть «Мертвых душ», о чем появилось известие в русской прессе,[61] так же как и о переводе в Финляндии: «„Ревизор" Гоголя, переведенный на финский язык, сделался, как нам сообщают из Гельсингфорса, сезонною пьесой в местном финском театре „Аркадия". Комедия выдержала 40 представлений и шла без суфлера; успехом пользовалась также и „Женитьба"».[62]

Хорошо был встречен польскими зрителями «Ревизор» в переводе Яна Хельмиковского, шедший в 1870 г. в Варшаве и в 1871 г. в Кракове «весьма удовлетворительно: как язык перевода, так и исполнение пьесы на сцене».[63]

Несколько иной была судьба «Ревизора» в Германии. Первое известие об успехе этой пьесы в России поместил уже немецкий писатель Генрих Кёниг в своих «Русских литературных очерках» (Штуттгарт; Тюбинген, 1837), где он отметил «необыкновенные способности Гоголя к комедии»: «...две из трех написанных комедий

---

[61] Новое время. 1900. № 87.
[62] Там же. 1887. № 94.
[63] Русские ведомости. 1870. № 75.

(имеются в виду, конечно, «Женитьба» и «Игроки») известны только его друзьям, третья же («Ревизор») была играна в прошлом году в Петербурге и в Москве и потрясла театр, как извещали нас, громким смехом зрителей». Однако, наиболее ранний немецкий перевод комедии Гоголя вышел в Берлине в 1854 г. Переводчик, Август Видерт (1829—1856) был москвич по рождению; он состоял в приятельских отношениях с И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым, М. Л. Михайловым и другими русскими литераторами, а в середине 1850-х гг. провел несколько лет в Германии, завязав и здесь довольно прочные связи в литературных кругах, в непосредственной близости к Фарнгагену фон Энзе и его друзьям, и усиленно пропагандируя произведения русских писателей (Кольцова, Тургенева) в своих превосходных переводах — стихотворных и прозаических. В письмах, писанных из Германии в Россию, Видерт подробно рассказывает о своих усилиях довести сочинения Гоголя до широкого немецкого читателя в максимально близком к оригиналу виде. Эти усилия не были безуспешными. Еще в 1852 г., т. е. в год смерти Гоголя, он напечатал интересную статью о Гоголе в лейпцигской «Illustrierte Zeitung», в сокращении перепечатанную потом в лейпцигском же «Энциклопедическом словаре». Статья Видерта подробно характеризует Гоголя как реалиста, останавливается на самобытных особенностях его юмора и подтверждает близкое знакомство со статьями о Гоголе Белинского, горячим поклонником которого был Видерт. Уже в этой статье Видерт говорит о «Ревизоре» как об «образцовом произведении русской литературы», «лучшей комедии этого рода, какую имеет русская сцена», и высказывает мнение, что «основная идея этой пьесы заключается в изображении эгоизма и корыстолюбия под маской рвения ко всеобщему благу». Свой перевод «Ревизора» Видерт издал отдельной книжкой два года спустя (Берлин, 1854); еще до выпуска ее в свет Видерт читал свой перевод в различных аудиториях, и «Ревизор» вызвал к себе большой интерес в немецких литературно-артистических кругах. Так, по свидетельству самого Видерта, перевод имел успех и у Фарнгагена фон Энзе, известного любителя русской литературы (увлекавшегося Гоголем и писавшего о нем в немецких журналах еще за десятилетие перед тем), и у Беттины фон Арним, которая жалела о том, что «Ревизора» не знал Гете, не доживший до появления этого «остроумнейшего фарса в мире». Но в особенный восторг пришел от «Ревизора» знаменитый в то время берлинский артист Т. Дёринг, который говорил, «что ни одна из его ролей в современных драмах и комедиях не может доставить ему такого наслаждения, как роль городничего в „Ревизоре“»; по его словам, только Гоголь «знал, как писать для нашего брата актера, а этого ни один из современных поэтов не знает».[64] Перевод обратил на себя внимание прогрессивных немецких писателей, например Теодора Фонтане, а во влиятельном лейпцигском еженедельнике Роберта Прутца «Дейчес Музе-

[64] Подробнее см. в моей статье «Первый немецкий перевод „Ревизора“» в сборнике «Гоголь: Статьи и материалы» (Л., 1954. С. 187—259).

ум» 1854 г. появилась весьма хвалебная рецензия, в которой перевод был назван «виртуозным», а самая пьеса Гоголя, по «остроте ее характеристик, живости и правдивости диалога», — «непревзойденной». Перевод Видерта действительно был очень удачен. Переводчик пытался не дословно копировать гоголевский текст, а максимально приблизить его к немецким читателям, передавая все специфические русские фразеологизмы гоголевского текста соответствующими разговорными немецкими, подыскивая удачные аналогии отдельным русским словам за пределами русско-немецких словарей, в живой практике немецкой речи своим, весьма колоритным, языком говорят в переводе Видерта и городничий, и Осип, и Хлестаков. О выдающихся качествах этого перевода в русской печати тогда же писал М. Л. Михайлов в статье «О некоторых переводах с русского языка на немецкий».[65] Тем не менее этот перевод был прочно забыт в немецкой литературе. Последующие немецкие переводы «Ревизора» — Л. Юнкельмана (1862), В. Ланге (1877), Ф. Фидлера (1894) и др. — значительно уступали достоинствам перевода Видерта, а порою и вовсе были плохи; тем не менее некоторые из них вызвали одобрение и много раз переиздавались.

Великая комедия Гоголя рано стала достоянием немецкого театра. Первый раз, по-видимому, она была играна в Берлине в 1858 г., затем с 1870-х гг. она нередко ставилась на различных немецких сценах (наиболее интересными были постановки Макса Рейнгардта, 1907—1908), везде вызывала смех, но чаще всего порождала противоречивые суждения. Любопытно, что еще в 1880-х гг. братья Генрих и Юлиус Гарты (H. Hart, J. Hart), ратуя в одном из своих литературных манифестов за создание такой литературы в Германии, которая правдиво отражала бы национальную действительность, ссылались на гоголевского «Ревизора». Гоголь, писали они, смело и мрачно изобразил «социальное зло», вызвал резкие нападки современников, но вполне был оправдан последующими поколениями читателей. По мнению бр. Гартов, пример Гоголя поучителен во всех отношениях: он иллюстрирует прежде всего право писателя на «раскрытие резких диссонансов действительности»; будущее оправдает его смелый почин.[66]

Тем не менее в последующей немецкой литературе «Ревизор» остался почти без подражаний. Немецкая критика, впрочем, не без оснований усматривает следы воздействий «Ревизора» на сатирическую комедию Г. Гауптмана «Бобровая шуба» (1893). Одно из главных действующих лиц этой пьесы, волостной начальник, окруженный плутами, ворами и пройдохами всех оттенков, по мнению некоторых немецких критиков,[67] обнаруживает явное родство с гоголевским городничим.

«Мертвые души» впервые перевел на немецкий язык в Лейпциге в 1846 г. Филипп Лёбенштейн (F. Löbenstein), харьковчанин ро-

[65] Отечественные записки. 1854. Март. Отд. 5. С. 12.
[66] Kritische Waffengänge. Leipzig, 1882. H. 2. S. 47.
[67] *Urban R.* Die literarische Gegenwart. 20 Jahre deutschen Schrifttums. Leipzig, 1908.

дом, знавший русский язык, но лишенный какого бы то ни было литературного или переводческого дарования.[68]

Известие об этом переводе дошло и до самого Гоголя. Вот что он писал по этому поводу Н. М. Языкову 2 января 1846 г.: «Известие о переводе „Мертвых душ" на немецкий язык мне было неприятно. Кроме того, что мне вообще не хотелось бы, чтобы обо мне что-нибудь знали до времени европейцы, этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае, до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих соотечественников, принявших „М. Д." за портрет России. Если тебе попадется в руки этот перевод, напиши, каков он и что такое выходит по-немецки. Я думаю просто ни то, ни се». Далее Гоголь вспоминает, что он уже читал кое-что из французских статей о нем, и добавлял: «Это еще ничего. Оно канет в Лету вместе с объявлениями газетными о пилюлях и о новоизобретенной помаде красить волоса, и больше не будет о том и речи».[69] Хотя о предисловии к этому изданию «Мертвых душ» Гоголь отозвался положительно: «Немец судит довольно здраво. Это лучший взгляд, какой может иметь на эти вещи иностранец» (письмо к П. М. Языкову от 5 мая 1846). Распространяемые в немецких землях «литературные толки» казались несколько более долговечными, но и к ним он в общем оставался равнодушным. Как не вспомнить здесь знаменитую гоголевскую сравнительную характеристику «недолговечного слова француза», которое «блеснет легким щеголем и разлетится», с «не всякому доступным, умнохудощавым словом немца». «Но нет слова, — говорил Гоголь, — которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово» (Мертвые души, т. 1, гл. V).

Точку зрения Гоголя на непереводимость и на нежелательность перевода его произведений «до времени» на иностранные языки разделяли и многие другие его современники разных лагерей. В сочинениях П. А. Вяземского есть диалог, в котором изображен спор его самого с «сотрудником одного из журналов». «„Ревизор", — утверждал Вяземский, — домашняя русская комедия и должна дома оставаться <...> черное белье должно мыть семейно и сора из избы не выносить». Тот же Вяземский вспоминает, что когда Видерт с рукописью своего перевода «Ревизора» приехал в Карлсбад и хотел познакомить с ним немцев на публичном чтении, комиссар вод, которому, по заведенному порядку, рукопись была представлена на просмотр, отказал ему в разрешении. «Как могли вы думать, что будет вам разрешено публичное чтение подобного пасквиля на Россию? — сказал ему комиссар. — Вы, вероятно, забыли, что Австрия находится в дружественных соотношениях с Россиею». «И скажу вам откровенно, — прибавлял Вяземский, — по мне

[68] *Михайлов М. Л.* О некоторых переводах с русского языка на немецкий//Отечественные записки. 1854. Март. Отд. 5. С. 13; *Тихонравов Н. С.* Сочинения. М., 1898. Т. 3, ч. 2. С. 215—216.

[69] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 30.

комиссар был прав. Гоголь, пожалуй, и не писал пасквиля, но хорошо, что комедия его показалась пасквилем иностранцу, и горе нам, если бы он признал в ней картину действительности».[70] До известной степени Вяземский был прав. Примерно на том же чувстве основывался и Гончаров, осуждавший замыслы переводов «Обломова» на европейские языки, и в начале XX в. Чехов, сильно огорчавшийся, что на французский язык в 1900 г. переведены были его «Мужики». По-видимому, то же имел в виду и Белинский, писавший по поводу аксаковской апологии «Мертвых душ»: «Нечего путать чужих в свои семейные тайны».

Во всех этих случаях речь шла о нежелательности произвольных, бесперспективных, неисторических толкований великих произведений русского художественного слова, о полной неосведомленности иностранного читателя относительно предмета, который он мог повернуть в любую сторону. Один из русских путешественников по Востоку рассказывает о встрече и беседе с неким турецким пашой, который, «прочтя Гоголя во французском переводе, хотя и смеялся много, но потом важно стал развивать ту мысль, что у всех этих комических героев Гоголя одно хорошо и очень важно. Это их почтение к высшим по чину и званию, к начальству». «Ваще государство очень сильно, — прибавил паша. — Если Чичиков таков, то что же должны представлять собою умные и хорошие люди?». Таков был Гоголь в восприятии старого турецкого сатрапа. Прав был один итальянский писатель, утверждавший, что Гоголя должны объяснить европейцам сами русские.

В свое время, например, в Гоголевские юбилейные дни 1902 и 1909 гг., казалось справедливым утверждение, что Гоголя вторично «открыли» на Западе лишь после того, когда по всем европейским литературам прокатилась мощная волна воздействия русских писателей, когда имена Тургенева, Достоевского и особенно Л. Толстого стали знаменитыми и родными во всех частях света. Гоголя наравне с Пушкиным будто бы оценили тогда как «отца» великих русских писателей, как одного из создателей великой русской литературы XIX в. Лишь один В. И. Ленин гениально объяснил тогда, что мировое значение Толстого заключалось в том, что он по-своему отразил в своем творчестве мировое значение русской революции. То, что Ленин говорил о Гоголе, ставя его в один ряд с Белинским, утверждая, что их идеи «должны быть дороги всякому порядочному человеку на Руси», позволяет нам думать, что ленинские оценки Толстого в известной мере могут быть применимы и к Гоголю.

Отсюда ясно, что истинное значение Гоголя для мировой культуры могло быть понято всем прогрессивным человечеством только после Великой Октябрьской социалистической революции. Только теперь за рубежами нашей Родины может стать вполне понятным, какую крупную роль творчество Гоголя сыграло в истории развития общественной мысли и освободительного движения. Только теперь,

---

[70] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 317—318.

когда русский язык стал мировым языком социализма, стал достоянием миллионов, во всем мире открылся ключ и к творениям Гоголя. Только теперь его творчество может получить действительно всесветную славу.

Еще Белинский и Чернышевский отстаивали типичность гоголевских героев, указывая на международное значение гоголевской сатиры. Решение Венской сессии Всемирного Совета Мира о том, чтобы отметить столетие со дня смерти Гоголя во всех странах земного шара, было воплощено в жизнь. Поистине невиданный размах получил этот праздник культуры, объединивший прогрессивные силы мира во всем мире в едином стремлении отдать благоговейную дань восхищения тому великому русскому писателю, которому столь обязана и советская социалистическая культура.

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ЗАПИСОК ОХОТНИКА»

1

Дореволюционное русское литературоведение оценивало великих русских писателей преимущественно с точки зрения местных интересов, личных вкусов, неточных и субъективных методов исследования. Вопрос о мировом значении русской классической литературы как целого комплекса идей, художественного метода, стиля, творческой направленности почти не ставился; говорилось лишь главным образом об «успехах» распространения русской литературы в различных зарубежных странах. О действительной исторической роли, которую играло за рубежом творчество многих русских писателей либо не догадывались вовсе, либо говорили неуверенно, робко, не улавливая еще закономерностей в разрозненных фактах, подобранных случайно, без строгого и обдуманного критерия. О действительно мировом значении Пушкина, Гоголя, даже Л. Н. Толстого, в сущности, знали немного, не обобщая известные данные, не пытаясь свести их в одну картину, которая имела бы общий идейный смысл и единый принцип своего построения. Впрочем, из всех упомянутых писателей Тургенев давно уже представлялся критикам одним из тех, значение которого было наиболее неоспоримым. Всесветная слава Пушкина раскрыта была лишь в недавнее время; относительно Гоголя у нас долго считалось, что он вполне может быть оценен только на его родине или только теми читателями, которые могут читать его в подлиннике; поэтому в течение многих лет у нас преувеличивали неизвестность многих лучших представителей русской литературы и невнимание к ним за пределами нашей страны. Такого рода ошибок не делалось как раз по отношению к Тургеневу. Напротив, у нас в свое время утвердилось мнение, что именно он «открыл» русскую литературу для многих зарубежных стран западного мира, что именно Тургенев в сильной степени содействовал распространению там произведений и Пушкина, и Гоголя, и Л. Толстого, являясь неустанным пропагандистом этих и многих других русских писателей во всех литературах Европы. Такое мнение, конечно, справедливо, но лишь до известной степени. Как ни много значит личный почин в литературном процессе, но не он определяет фазы развития в той или иной области

литературного творчества. Как ни плодотворны были усилия Тургенева в деле ознакомления зарубежных читателей с лучшими образцами русской литературы, как ни много значило для этих читателей собственное его творчество, действительно возбуждавшее охоту лучше и ближе узнать русских писателей, предшествовавших ему и ему современных, но личного примера Тургенева было еще недостаточно для того, чтобы на Западе мог утвердиться стойкий и долговременный интерес к русской литературе в целом. Этот интерес могли определить лишь общие исторические причины.

Мнение о том, что «открытие» русской литературы на Западе было исторической заслугой Тургенева, высказано было прежде всего западными же критиками и повторено было множество раз в статьях о нем на различных зарубежных языках. Источник этого суждения лежал прежде всего в том восторженном отношении к его собственному творчеству, которое проявилось повсеместно и с невиданной прежде силой. Восхищение, которое испытывали к Тургеневу писатели, критики, читатели разных стран, заставляло их ослаблять до некоторой степени значение других русских писателей, давно уже ставших известными в переводах за рубежом, — в какой-то мере изолировать его от них, ставить его в центре русского литературного движения (знакомого им, конечно, в неполном виде) на особо высокий пьедестал. Разногласия между зарубежными критиками начинались лишь тогда, когда они пытались определить, что именно в творчестве Тургенева вызвало у них столь восторженные оценки и столь очевидное для всех всеобщее его признание. Иные из них выдвигали на первый план в качестве решающих причин его популярности совершенство его как художника; другие в особенности настаивали на том, что его творчество заключает в себе особый, замкнутый в себе идейный мир, полный новизны и нравственной силы; третьи, наконец, считали, что Тургенев впервые показал русскую общественную жизнь и русских людей в таком освещении, которое позволило узнать их ближе, лучше и без всяких предубеждений.

Во всех этих суждениях было много справедливого, но заключалось и немало противоречий. Зарубежная литература о Тургеневе чрезвычайно обширна и исследована еще недостаточно; знакомясь с ней на ходу, по мере ее развития, выхватывая из нее отдельные отзывы, мнения и приговоры, дореволюционное русское литературоведение столь же недостаточно разобралось во всех этих противоречиях, как и многочисленные зарубежные исследователи творчества Тургенева. Несмотря на наличие в нашей научной литературе целого ряда работ о «международном значении» Тургенева, этот вопрос все еще нуждается в дальнейшем, более углубленном изучении.

В настоящее время мы уже не можем говорить о том, что «открытие» русской литературы за рубежом произошло благодаря творчеству Тургенева. В равной мере мы уже не можем утверждать, что историческое международное значение творчества ряда

русских писателей определилось на Западе только потому, что он сам принял деятельное участие в популяризации их среди зарубежных читателей. Напротив, мы должны объяснить, какие *исторические* причины вызвали за рубежом интерес к его собственному творчеству, составлявшему органическую часть русской литературы его времени, каковы были закономерные поводы и предпосылки для особой популярности его собственных сочинений, распространявшихся на самых разнообразных языках, а тем самым и для других памятников русского художественного слова.

С полным правом мы говорим теперь о мировом значении русской классической литературы вообще, о великой роли, которую сыграла она не только в истории русской общественной мысли и освободительной борьбы, но и в истории социальной жизни многих зарубежных стран, в их художественном развитии. Задача заключается лишь в том, чтобы в этом прочно установленном, закономерном процессе выделить ту его историческую часть, которая связана была с Тургеневым, действительно сыгравшим весьма важную роль в деле ознакомления зарубежных читателей с особенностями русского исторического развития, с условиями социальной борьбы в русском обществе в течение нескольких десятилетий, с особенностями освободительной борьбы русского народа в годы подъема революционного движения.

Важнейшими предпосылками международного значения передовой русской литературы, как мы твердо знаем сейчас, была ее неразрывная связь с русским освободительным движением на всех этапах его развития, ярко отраженные в ней протесты против крепостнических порядков и капиталистического гнета, страстная любовь к трудовому народу, неуклонная защита его нужд и интересов, ненависть к его угнетателям. Все это определило уже, как известно, мировое значение великих учителей Тургенева — Пушкина, Гоголя, Белинского. Пушкинский реализм окреп в атмосфере передовых освободительных идей его времени, был овеян их дыханьем. Восславивший свободу «вослед Радищеву», современник и друг декабристов, Пушкин и после поражения декабрьского восстания, в условиях тяжелой реакции, до конца своих дней мечтал о коренных социальных преобразованиях в своем отечестве. Гоголь потому именно внес неоценимый вклад в сокровищницу общечеловеческой культуры, способствовал своим творчеством развитию прогрессивного движения в зарубежных литературах, что в своих произведениях он бесстрашно показал затхлый, уродливый мир, порожденный крепостническим, самодержавно-помещичьим строем, и заклеймил его гневным смехом сатирика. Эти же причины определили всемирно-историческое значение критических истолкований этих писателей Белинским, его эстетической системы и провозглашенных им революционно-демократических лозунгов в области искусства. Знакомство с творчеством этих великих русских литературных деятелей за рубежом шло своими путями, не всегда прямыми, с запазданиями, неясностями, заблуждениями, но и с яркими вспышками ясного понимания и уверенных оценок. Неясности, заблуждения, недооцен-

ки порождались особыми причинами, которые не следует забывать, когда мы стремимся представить себе весь указанный процесс во всем его своеобразии и сложности. Свою роль играли здесь и сравнительная нераспространенность русского языка в Западной Европе в первой половине XIX столетия, и имевшая глубокие исторические корни враждебность или настороженность европейских правительств к увеличивавшемуся могуществу русского государства, распространяемая зависимой от них буржуазной прессой, и все возраставшие в реакционных кругах опасения относительно той силы, которая заключалась в русском революционном движении: его боялись на Западе в те периоды, когда в той или иной другой стране такое движение затухало, ослабевало, уходило в подполье; его призывали, им интересовались тогда, когда слепо надеялись, что оно подорвет мощь русской самодержавной монархии как соперницы других европейских держав. Тем не менее мировое значение русских писателей на первом «дворянском» этапе русского революционного движения раскрывалось последовательно и со все возрастающей отчетливостью.

На рубеже бурной революционной эпохи конца 1840-х гг. и глухого реакционного затишья в начале 1850-х в Западной Европе с еще большим вниманием, чем прежде, изучали русскую литературу, стараясь глубже проникнуть в существо тех исторических процессов, какие она анализировала, в картину той действительности, которую она отображала с такой яркостью. Совершенно закономерным было то, что чем с большей настойчивостью реакционные зарубежные журналисты старались утвердить своих читателей в справедливости своих отрицательных суждений о русском обществе, о русской крестьянской массе, о гнилости всей русской государственной системы и т. д., тем с большим вниманием прогрессивные литературные деятели изучали произведения русских передовых писателей как новый, не знакомый им ранее очаг передовых освободительных идей, разгоравшийся все более сильным пламенем. Это было начало того исторического закономерного перемещения центра революционного движения с Запада в Россию, которое окончательно совершилось в последней четверти XIX столетия. Закономерным поэтому был и рост сочувственного интереса к творчеству русских писателей, сказавшийся с разной силой и в разнообразных формах в передовых общественных кругах всех стран Западной Европы в середине XIX в. Именно к этому времени относится начало известности Тургенева на Западе, вызванной широким любопытством к тем его ранним произведениям, проникнутым любовью к Пушкину и Гоголю и вдохновленным его близостью к Белинскому, которые получили такое широкое общественное признание и в России.

Существенным было то обстоятельство, что декабристы первыми начали за рубежом посвящать иностранных читателей в подлинную историю русского народа, в его идеалы, стремления и запросы, как они отразились в русской литературе. Один из них, Николай Тургенев, родственник Ивана Сергеевича, оставшийся за границей, где застала его катастрофа 14 декабря, «одну Россию

в мире видя», по словам Пушкина, вновь взялся за перо в конце 1840-х гг. после долгих лет молчания для того, чтобы разъяснить народу, давшему ему убежище в изгнании, смысл русского исторического развития, как он его понимал (Россия и русские. Париж, 1847). Вскоре Герцен сменил старого декабриста в роли посредника между русской и западными культурами. В целом ряде работ, обращенных то к французским, то к немецким, то к английским читателям, Герцен разъяснял историческое значение русского освободительного движения и залог великого будущего своего отечества видел, в частности, в русской литературе, в творчестве и мысли русских писателей. Далеко не случайно поэтому, что именно Герцен один из первых указал в Европе на Тургенева, определив значение его «Записок охотника» в книге, которая вскрывала роль в революционном движении идейных и литературных течений в России того времени.[1]

Европейская и — шире — мировая слава Тургенева складывалась на протяжении десятилетий. В истории распространения его произведений по всему миру были свои приливы и отливы: не всякое его произведение приносило ему за рубежом неизменный успех, чаще всего издание произведения обозначало особую фазу отношений к нему читателей и критиков. Эти отношения, естественно, не всегда были однородны в пределах одной страны или литературы (достаточно вспомнить, например, о разноречивых толках, которые вызвали его «Дым», «Отцы и дети» или «Накануне»), но имели свою эволюцию даже у индивидуальных критиков, у многих убежденных его почитателей. Тем самым задача рассказать об истории развития его популярности в различных литературах представляется особо сложной и ответственной: речь идет о целой цепи фактов и явлений, которые не всегда легко отделяются друг от друга при попытках исследовать их по отдельности. Более выполнимой задачей является изучение истории проникновения в зарубежные литературы того произведения Тургенева, которое стало основой его популярности за рубежом и в значительной мере определило ее. Таковы были «Записки охотника». В истории отношений к этому произведению было гораздо больше цельности и единодушия; в этих отношениях впервые и с достаточной ясностью выявились те стороны, которые позднее стали основными, определяю-

[1] В книге «О развитии революционных идей в России» (1851), вышедшей одновременно на французском и немецком языках и возбудившей к себе широкое внимание в Европе, давая общую характеристику эволюции общественной мысли в России от Пушкина и декабристов до конца 1840-х гг., Герцен упомянул «Записки охотника», этот «шедевр Тургенева», как одно из тех произведений русской литературы, которые нельзя прочесть «без негодования и стыда» за изображенные в нем правдивые картины русской действительности (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 97). Второй раз, имея в виду уже специально немецких читателей, Герцен писал о «Записках охотника» в конце 1850-х гг. в предисловии к немецкому переводу «Рыбаков» Д. В. Григоровича (Гамбург, 1859); здесь идет речь о сильном впечатлении, которое «Записки охотника» произвели в России, об истории их возникновения и дается их тонкий художественный разбор (там же. Т. 13. С. 165—166).

щими; наконец, эта книга Тургенева всегда была особенно ценима всеми зарубежными читателями по той именно причине, которая всегда вызывала их специфический интерес к русской литературе: это было не только образцовое художественное произведение, но и яркий документ русской общественной мысли. Те художественные качества, с помощью которых она отобразила русскую общественную борьбу на определенном этапе русской исторической жизни, и сделали ее памятником мировой литературы. Интерес к этому памятнику возникал всюду, где она могла вызвать аналогии, способствовать сходной борьбе в другой общественной среде, где она будила мысли и чувства, имеющие непреходящее значение. Это были основные особенности «Записок охотника», сказавшиеся в этой его книге ярче, чем во многих других его произведениях; эти качества книги и позволяют выделить историю ее распространения в различных литературах в самостоятельный эпизод, входящий как часть в проблему мирового значения творчества Тургенева. Однако и этот эпизод еще нельзя считать разработанным во всех подробностях; многие из них еще ускользают от исследователя, так как подлежащий его вниманию материал очень велик, разбросан, не был еще собран воедино с достаточной полнотой и тщательностью.

2

История первых изданий «Записок охотника» в переводах на западноевропейские языки представляет значительный интерес во многих отношениях. Именно эти издания ввели Тургенева в мировую литературу, утвердили его популярность в разных странах Европы, в особенности содействовали последующему распространению его славы за рубежом. П. В. Анненков прямо свидетельствует об «единогласном, почти восторженном одобрении, каким были встречены на Западе рассказы Тургенева» (т. е. его «Записки охотника»).[2] «Популярность Тургенева во Франции началась с „Записок охотника“, — вспоминал Проспер Мериме в 1868 г. — Его первое произведение, являющееся рядом рассказов или скорее, маленьких, полных оригинальности эскизов, было для нас как бы откровением русских нравов и сразу дало нам почувствовать размеры таланта этого автора».[3] В Германии примерно то же самое утверждали Пауль Гейзе и Ф. Боденштедт; аналогичны были утверждения английских, итальянских, датских критиков. Наряду с некоторыми переводами произведений Пушкина и Гоголя и почти одновременно с ними первые переводы «Записок охотника» оказались теми книгами, которые более всего содействовали возникновению глубокого интереса зарубежных читателей к новой русской реалистической литературе, к русской действительности, к освободитель-

---

[2] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960. С. 337.
[3] Литературное наследство. М., 1937. Т. 31—32. С. 734.

ной борьбе русского народа. Даже и тогда, когда Тургенев стал прославленным писателем мирового масштаба, когда он находился в самом центре европейского литературного движения, а его книги выходили на всех западных языках почти одновременно с появлением их в русском подлиннике, — никогда и нигде не забывали, что он был автором «Записок охотника», книги, в первый раз заставившей зарубежных читателей полюбить его.

«Записки охотника» в целом и частями были изданы сотни раз на различных языках, но все эти издания в той или иной степени восходили к первым переводам произведения, к которым, как известно, далеко не безучастен был и сам Тургенев. Последующие издания либо просто воспроизводили эти переводы, либо совершенствовали их, либо отталкивались от них. В истории переводов на зарубежные языки русской художественной прозы ранним переводам «Записок охотника» также принадлежит весьма важное место: их многочисленность и наличие ряда близких по времени повторных переводов того же русского текста, сделанных разными лицами, позволили сразу же сделать подробные сопоставления этих переводов в пределах одного или даже нескольких языков (немецкие, французские и английские переводы «Записок охотника» появились почти одновременно) и тем самым глубже проникнуть в существо русского оригинала. Обилие критических отзывов и рецензий, вызванных этими изданиями, еще более способствовало возможности на основе изучения этих переводов сделать некоторые важные теоретические обобщения — о первоклассных качествах русского литературного языка, о лучших способах его передачи средствами иностранной речи. Тургенев пристально и с большим вниманием следил за всеми этими переводами, сверял их с русским текстом, давал советы переводчикам, протестовал против допущенных ими искажений. В результате основные европейские литературы едва ли не в первый раз получили образцовое произведение русской художественной прозы в возможно более близком к оригиналу виде. Последствия этого и для самого Тургенева, и для судьбы за рубежом русского художественного слова были очень значительны.

Немаловажными оказались эти издания и для истории русской литературы, в частности для истории распространения «Записок охотника» среди русских читателей. Еще не обращалось внимания на тот факт, что наиболее широкое распространение и популярность этой книги Тургенева в различных западноевропейских литературах пришлись на 1850-е гг., т. е. именно на то время, когда в России она фактически находилась под запретом после цензурных мытарств, сопровождавших ее выход в свет в 1852 г. В это время «Записки охотника» в форме книги вышли полностью во Франции в трех изданиях, в Германии — в двух, в Англии, Дании — по одному разу и, кроме того, в извлечениях различного объема перепечатаны были десятки раз в периодических изданиях всех этих и многих других стран. Вся европейская печать откликнулась на эти переводы статьями виднейших критиков и писате-

лей, и многие из этих статей получили отзвуки и в русской журналистике. Замалчивать книгу в России после того, как она получила повсеместное распространение во всей Европе, стало столь же бесполезным, как и препятствовать ее переизданиям в русском подлиннике. Не было никакого смысла скрывать дальше «Записки охотника» от русских читателей, если для них эта книга была доступна на любом другом языке и в самых разнообразных переводах. Публикация в русских прогрессивных журналах весьма сочувственных отзывов о «Записках охотника» западноевропейских критиков в известной мере могла внушать именно такую мысль. Когда Главное управление цензуры в конце концов решилось дать дозволение на выпуск второго издания «Записок охотника», одним из немаловажных аргументов в пользу такого решения было то, что «истинно художественные достоинства» произведения Тургенева признаны «русской и иностранной критикой»;[4] тем не менее фактическое дозволение на выпуск второго русского издания «Записок охотника» дано было лишь 5 февраля 1859 г., почти через три года после того, как возбуждено было ходатайство об этом в цензурных инстанциях.

Таким образом, для понимания той важной роли, которую «Записки охотника» сыграли во многих литературах мира, история первого появления этой книги в различных переводах на западноевропейские языки имеет особое значение; между тем мы еще довольно плохо представляем себе как самую последовательность ее распространения и усвоения в литературах Запада и Востока, так и в особенности важнейшие случаи тех многочисленных воздействий, которые оказала она в течение столетия на писателей разных стран и поколений.

Лучше разработана история первого знакомства с «Записками охотника» во Франции, но и в этой истории остается еще немало темных мест; гораздо менее известны нам ранние эпизоды из истории литературной жизни этого произведения в Германии или Англии, а между тем сам Тургенев не случайно очень интересовался впечатлением, которое произвели «Записки охотника» именно в этих странах, — по известности критиков, впервые обративших здесь на «Записки» свое сочувственное внимание, и благодаря возможности лично содействовать правильному истолкованию своей книги. Мы попытаемся ниже восполнить некоторые пробелы из истории быстрого и победоносного распространения «Записок охотника» за рубежом, не претендуя, однако, на исчерпывающую полноту; дальнейшее изучение этого вопроса, безусловно, необходимо, но оно потребует еще многих продолжительных совместных усилий, прежде чем интересующая нас сложная и оживленная картина сможет предстать перед нами во всей своей пестроте и яркости, но с четко выделившимися основными образами ее переднего плана.

---

[4] *Mazon A.* Un maître du roman russe. I. Gontcharow. Paris, 1914. P. 353.

В литературе о Тургеневе сложилось убеждение, что впервые его заметили во Франции. Бесспорно, что первым французским переводам «Записок охотника» принадлежала решающая роль в деле распространения этой книги по всему миру; это объяснялось не столько повсеместной распространенностью французского языка в середине XIX в., сколько центральным положением и той важной ролью, которую передовая французская литература этого времени играла в мировом литературном процессе, пока позднее она не уступила этой роли литературе русской. Книга, переведенная на французский язык и получившая одобрение французской критики, могла рассчитывать на то, что она всюду будет замечена; французские журналы читались в Старом и Новом свете; с французского нередко делались переводы иностранных книг и на другие языки на Западе и на Ближнем Востоке. Однако и английская литература, в которой сложилась к этому времени «блистательная» школа критических реалистов, в свою очередь пользовалась тогда широким вниманием всех «больших» и «малых» литератур Старого и Нового света, но она была менее богата хорошими переводами произведений иностранных литератур, в частности литературы русской, и шла в этом отношении позади литературы немецкой, бывшей, однако, значительно более скудной в это время в своем оригинальном художественном творчестве.

Взаимоотношения и сложные связи этих важнейших литератур Западной Европы в первой половине 50-х гг. XIX в. следует иметь в виду, когда мы стремимся представить себе историю распространения в ту пору в переводах какой-либо русской книги. Свое значение имели в этом смысле также культурные и политические взаимоотношения европейских держав и крепостнической самодержавной российской империи Николая I в последние годы его царствования, так как они предопределили многое в разноречивости тех суждений, высказывавшихся тогда на европейском Западе о русской литературе, которую знали еще мало и в которой разбирались еще неотчетливо, мешая в одном отзыве сочувствие к ней с ее осуждением, серьезную идейно-эстетическую оценку с сугубо политическими соображениями, имевшими временный тактический или дипломатический характер. Существенно, что «Записки охотника» появились в переводах на трех европейских языках почти одновременно — в 1854—1855 гг., в самый разгар Крымской войны, когда против России вели военные действия соединенные силы Франции и Англии; как уже отмечалось в литературе о Тургеневе,[5] это не могло не сказаться на весьма специфическом тоне первых откликов на «Записки охотника» во французской и английской печати, крайности и ошибочные приговоры которых были преодолены лишь в последующие годы.

Однако в европейской печати, в том числе и во французской, о «Записках охотника» начали говорить и до 1854 г. Особое значе-

---

[5] *Клеман М. К.* «Записки охотника» и французская публицистика 1854 г.//Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934. С. 305—314.

ние имело то обстоятельство, что книгу Тургенева заметили прежде всего в немецкой литературе и что ранее других появились первые немецкие переводы отдельных входивших в нее рассказов. В немецкой критике рано появились первые сочувственные отзывы об этих рассказах, дана была более беспристрастная и верная оценка всего их цикла, чем это в военные годы сделано было во Франции, отмечены были присущие этому произведению выдающиеся художественные качества, раскрыта одушевляющая его идейная направленность. Немаловажным обстоятельством был и тот факт, что первые немецкие переводы «Записок охотника», появившиеся по личному почину одного из приятелей Тургенева, быстро показали и автору и переводчику, что вся книга в целом вызовет несомненный интерес европейского читателя; к этому следует прибавить, что переводы были сделаны добросовестно, с ведома Тургенева, и отличались заметными литературными достоинствами. Они сохранили свое значение и тогда, когда вышли в свет французские и английские переводы «Записок».

По-видимому, в первый раз в качестве автора «Записок охотника» Тургенев упомянут был в немецкой печати еще 1849 г.: в журнале «Blätter für literarische Unterhaltung» (в статье «Русская беллетристика в 1849 году») с похвалой отмечены были напечатанные в России в «Современнике» «три его новых рассказа охотника-любителя».[6] Вскоре затем с переводами этих рассказов начал выступать Август Видерт. Сын учителя, москвич по рождению, «белокурый молодой немец, весьма удачно переводивший русские стихи и прозу на немецкий язык», как его аттестует А. Фет,[7] Видерт в начале 1850-х гг. был известен в литературных кругах Москвы и Петербурга. Он был хорошо знаком с Некрасовым, Григоровичем, М. Л. Михайловым, А. Майковым, Я. Полонским и многими другими русскими литераторами. Тургенев не только числил его среди хороших знакомых, но и состоял с ним в переписке; упоминается он также в письмах Некрасова к Тургеневу. В самом начале 1850-х гг., живя в Москве, Видерт занят был переводом на немецкий язык ряда рассказов из «Записок охотника» — еще до выхода их в свет отдельной книгой.

В письме от 24 февраля 1852 г. из Москвы Видерт сообщал Г. П. Данилевскому: «Я перевел из „Записок охотника" Тургенева: „Малиновая вода", „Уездный лекарь", „Бирюк", „Лебедянь", „Татьяна Борисовна и ее племянник", „Смерть", „Хорь и Калиныч" — и не входящий в эту категорию его же рассказ: „Петр Петрович Каратаев". Теперь у меня под руками „Бурмистр"».[8] Обра-

---

[6] *Eichholz I.* Turgenev in der deutschen Kritik bis zum J. 1883//Germanoslavica. Prag, 1931. Bd 1. S. 43. В 1853 г. в том же журнале («Blätter...») в статье «Национальные тенденции русской литературы» Тургенев упомянут был вновь как драматург и как автор «Записок охотника», вышедших уже отдельной книгой.

[7] *Фет А. А.* Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 1. С. 35.

[8] Письма Видерта цитирую по своей статье «Первый немецкий перевод „Ревизора"»//Гоголь: Статьи и материалы. Л., 1954. С. 188—259, где они

тим внимание на дату этого письма — 24 февраля; она свидетельствует, что переводы делались Видертом по журнальным текстам, опубликованным в разных книжках «Современника» за предшествующие годы. Вскоре Видерт уехал за границу по каким-то семейным делам, прожил ряд лет в Лейпциге, Мюнхене и Берлине, возвращаясь в Россию лишь на короткие сроки. В Германии Видерт сделался активным участником литературного движения, с успехом пропагандировал здесь Гоголя, Кольцова, Белинского, страстным почитателем которого он был еще в Москве; однако печататься в Германии Видерт начал как переводчик Тургенева. В письме к тому же Г. П. Данилевскому, уже из Лейпцига (от 21 октября 1852 г.), Видерт жаловался: «Тургенев обещался мне прислать через Языкова свои „Записки охотника", коль скоро они будут напечатаны; с тех пор уже много времени прошло, они должно быть уже давно вышли из печати». Следовательно, о готовящемся отдельном издании «Записок» Видерт знал от самого Тургенева, который обещал выслать ему это издание за границу, очевидно, заранее предупрежденный о том, что они переводятся на немецкий язык. К этому времени отдельное издание «Записок охотника» действительно появилось в Москве, но Видерт еще не знал, что выход этой книги, в связи с арестом Тургенева и высылкой его в Спасское, задержался до начала августа 1852 г.; в Петербург книга дошла только в конце этого месяца, а за границу первые ее экземпляры попали еще позже. Так, старому немецкому писателю и публицисту Фарнгагену фон Энзе, одному из первых пропагандистов в Германии Пушкина, Гоголя, Лермонтова, имевшему много друзей среди русских литераторов, которого Тургенев довольно близко узнал в период своей берлинской жизни, он послал «Записки охотника» только в 1853 г.: в записях дневника Фарнгагена от 21 и 23 мая этого года отмечено получение от Тургенева двух частей этой книги; вторая была доставлена Фарнгагену Полиной Виардо, возвращавшейся с гастролей из России.[9] Под 14 октября 1853 г. в том же своем дневнике Фарнгаген засвидетельствовал «посещение Августа фон Видерта из Москвы», и в частности беседу с ним о Тургеневе, «на полгода высланном в его имение».[10] Нам неизвестно, получил ли также и сам Видерт обещанный ему экземпляр «Записок охотника», но мы знаем зато, что в ожидании его Видерт принялся весьма энергично за публикацию своих переводов из этой книги в различных немецких журналах и газетах. Еще 28 октября (н. ст.) 1852 г. Видерт сообщил Г. П. Данилевскому, что рассказ «Петр Петрович Каратаев» был принят редакцией «Novellenzeitung» Спамера и «будет напечатан недели через полторы»; действительно, указанный рассказ в переводе Видерта

напечатаны впервые по оригиналам, хранящимся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде; в этой же статье приведена и подробная биография Видерта.

[9] *Varnhagen von Ense K. A.* Tagebücher. Hamburg, 1868, Bd 10. S. 159, 160—161.

[10] Ibid. S. 307.

появился в № 49 этой литературной газеты за 1852 г. В следующем году в той же газете (1853, № 14 и 18) он напечатал свои переводы еще двух рассказов из «Записок охотника»: «Смерть» и «Ермолай и мельничиха»; далее, в немецком журнале «Домашнее чтение» («Deutsche Familien-Blätter») был опубликован его перевод «Лебедяни» (под заглавием «Конная ярмарка в Лебедяни»), а в немецкой «Санкт-Петербургской газете» — перевод рассказа «Татьяна Борисовна и ее племянник».[11] Стоит отметить, что вскоре о большинстве этих переводов Видерта в русской печати весьма сочувственно отозвался его добрый знакомый — М. Л. Михайлов, литератор и поэт, будущий видный деятель русского революционно-демократического лагеря.[12] Не подлежит, таким образом, никакому сомнению, что еще в 1852 г., вскоре после выхода в свет первого отдельного издания «Записок охотника», Видерт собирался опубликовать в Германии и свой немецкий перевод этой книги, почти уже завершенный к этому времени. Однако это намерение ему удалось осуществить лишь позже, и то не в полной мере: он издал свой перевод в Берлине в 1854 г.;[13] но здесь опубликована была только первая часть русского издания; вторая часть вышла в переводе другого лица в следующем году. Кроме того, в это же самое время начали выходить один за другим переводы «Записок» на французский, английский и другие языки, и книга Тургенева сразу же стала в центре внимания всех европейских литератур. Многое изменилось тогда в оценке «Записок охотника» и в Германии: они привлекли к себе еще большее, чем прежде, внимание немецкой критики; немецкая пресса охотно воспроизводила отзывы об этом произведении французских и английских литераторов, проверяла

---

[11] В этой газете отдельные рассказы из «Записок охотника» начали публиковаться одновременно с появлением переводов Видерта в зарубежной немецкой прессе (Aus den Memoiren eines Jägers, von I. Turgenew. St. Petersburger; Zeitung, 1852. № 139, 140, 148, 149); большинство этих переводов принадлежало Т. Громану; прежде всего появились переводы «Ермолая и мельничихи», «Хоря и Калиныча» и «Моего соседа Радилова»; два первых перевода были изданы и отдельным оттиском (СПб., 1852), а затем перепечатаны в «Belletristische Blätter aus Russland» К. Ф. Мейера (СПб., 1853—1854). В петербургских цензурных инстанциях вскоре же обратили внимание на то, что «Записки охотника» вызвали оживленную переводческую деятельность; опасения по этому поводу высказывал один из цензоров петербургского цензурного комитета, рассматривавший «Записки охотника», только что вышедшие в свет, по специальному поручению. «Не думаю, чтобы все это могло принести какую-нибудь пользу или хотя бы удовольствие благомыслящему читателю», — писал он в своей докладной записке министру народного просвещения и прибавлял: «Несмотря на это, „Записки охотника“ переводятся на немецкий язык, и один отрывок, под заглавием „Сосед мой Радилов“ <...> рассказ, по содержанию противный нашей церкви, уже напечатан в „Санктпетербургских немецких ведомостях“, с некоторой, впрочем, переменою, сделанной цензором Пейкером, в конце повести» (*Оксман Ю. Г.* И. С. Тургенев: Исследования и материалы. Одесса, 1921. С. 19—20).

[12] *Михайлов М. Л.* О новых переводах с русского языка на немецкий//Отечественные записки. 1854. № 3. Отд. 5. С. 14.

[13] Aus dem Tagebuche eines Jägers, von I. Turghenew/Deutsch von A. Viedert. Berlin, 1854.

собственные суждения о нем, высказанные ранее, продолжала прежние споры. Видерт с особым вниманием следил за ростом европейской критической литературы о Тургеневе и собирал для передачи ему все отзывы о «Записках охотника», появившиеся в зарубежной печати. О появлении в Париже в 1854 г. первого французского издания «Записок охотника» в переводе Э. Шаррьера ранее других в русской печати сообщил тот же Видерт,[14] и нужно думать, что от него именно и сам Тургенев получил этот перевод. Сохранилось письмо Тургенева к Видерту из Петербурга, посланное в Берлин 5 апреля 1855 г.; это письмо удостоверяет, что Тургенев дорожил сведениями о судьбе «Записок охотника» за рубежом, которыми делился с ним Видерт: «Я еду завтра в деревню <...> и только вчера получил Ваше письмо, — писал Тургенев. — Благодарю за присылку рецензий, которые только уже слишком лестны — должно приписать это новости предмета и представляемого быта. Некрасов теперь у себя в деревне — в мае месяце будет у меня, а осенью непременно поедет за границу. С ним я перешлю Вам все обещанные книги. Оказия, на которую я надеялся, — лопнула, да и вообще теперь трудно что-нибудь переслать. Вот если мир сделаем — другое дело! Но это все в мраке будущности <...> Пишите ко мне и я буду писать к Вам. При оказии пришлите 2-ю часть Вашего перевода [«Записок охотника»] па имя Панаева (т. е. в редакцию «Современника»). Кланяйтесь всем добрым знакомым, не забывая Пича».[15] Дружеский тон этого письма, благодарность за оказанную Видертом услугу, упоминание общих друзей, интерес к немецкому переводу «Записок охотника» (Тургенев ожидал вторую часть, следовательно, первая была уже им получена ранее) подтверждают, что Тургенев был широко посвящен в литературные замыслы Видерта и хорошо знал историю давно подготовлявшегося им первого немецкого издания «Записок охотника». Больше того, есть все основания предполагать, что Тургенев был высокого мнения об этом переводе, отличавшемся действительно значительными литературными достоинствами.

Своими прекрасными переводами с русского языка, поэтическими и прозаическими, Видерт заслужил известность в немецкой литературе и приобрел немало друзей среди немецких писателей 1850-х гг. Он знал К. Гуцкова, Б. Ауэрбаха; у Теодора Фонтане Видерт жил на квартире в то время, когда печатался первый том «Записок охотника»; сохранилось известие, что именно этим переводом Видерт особенно заинтересовал писателей Теодора Шторма и Пауля Гейзе, ставших впоследствии друзьями и самого Тургенева.[16] Людвиг Пич рассказывает в своих воспоминаниях о Тургеневе: «Молодой русский немец Видерт, лично знакомый с Тур-

---

[14] Московские ведомости. 1854. 20 июля. № 86. С. 997.

[15] *Шляпкин И. А.* Берлинские материалы для истории новой русской литературы//Вестник Всемирной истории. 1900. № 6. С. 90. Ср.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 268.

[16] *Eichholz I.* Turgenev in der deutschen Kritik. S. 44.

гоневым, весьма увлеченный его талантом, тщательно перевел „Записки охотника" на немецкий язык. Первый том этого перевода вышел в 1854 году в издании Генриха Шиндлера в Берлине, издававшего в то время „Немецкий художественный листок" с литературными прибавлениями, под редакцией Ф. Эверса. Второй том, менее художественно переведенный учителем русского языка Больцем, вскоре последовал за первым. Большинство читающей публики в Германии не поняло сначала всех достоинств этих рассказов, которые сильно подействовали только на более развитых и образованных людей. Между прочим, молодой Пауль Гейзе был горячо увлечен ими и часто в вышеупомянутых литературных прибавлениях заступался за „Записки охотника" и их автора».[17]

Таким образом, Видерту Тургенев был обязан не только первым немецким и действительно удачным переводом первой части своих «Записок»; прекрасно знакомый с бытом русской крепостной деревни и горячий почитатель Белинского, хорошо понимавший общественные задачи передовой русской литературы, Видерт был в то же время одним из лучших истолкователей этой книги в самом центре литературного движения в Германии. «Споры» вокруг этой книги, о которых упоминает Л. Пич, это и были споры о социальном назначении искусства, о литературе и действительности, о правах писателя на вымысел и о границах художественности в литературном произведении — вопросах, весьма актуальных для немецкой литературы после 1848 г. Если все эти вопросы возникали вновь среди немецких писателей и критиков в связи с «Записками охотника», то это в значительной степени объяснялось как переводом Видерта, так и личным его участием в этих спорах. Видерт же ввел и самого Тургенева в среду первых немецких почитателей «Записок охотника». Когда Тургенев приехал в Германию в 1856 г., он совместно с Видертом посетил старика Фарнгагена фон Энзе. Из дневника последнего видно, что их общая беседа носила весьма откровенный политический характер; любопытно, что она прежде всего коснулась и «Записок охотника» и что Тургенев прибегнул даже к невинному, но сознательному извращению фактов, может быть, для того, чтобы сильнее подчеркнуть общественную роль этого своего произведения в России и те опасения, которые она вызвала у русского правительства. Запись от 6 августа 1856 г. в дневнике Фарнгагена гласит: «Иван Тургенев пришел ко мне в сопровождении Видерта — добро пожаловать! Он еще сегодня отправляется дальше, в Париж, затем в Рим. Рассказывал о себе, о своем месячном аресте и двухгодичной ссылке, вызванной появлением „Записок охотника". Дал подробные сведения о состоянии России. Два основных вопроса — рост сектантства и крепостное право... Император Николай, ограниченный и жестокий, был по природе своей сущим полицейским агентом. Характер его правления, мучительное распадение, гниение государства».[18] Сходные по-

[17] Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1884. С. 155—156.

[18] *Varnhagen von Ense K. A.* Tagebücher. Hamburg, 1870. Bd 13, S. 111—112.

яснения к «Запискам охотника», без сомнения, давал и сам Видерт своим немецким литературным друзьям.

Несмотря на все это, перевод «Записок охотника», сделанный Видертом, не сыграл той общеевропейской роли, на которую, по-видимому, надеялся переводчик: ведь как-никак Видерт первый осуществил перевод этой русской книги, и этот перевод удался ему и заслужил одобрение. Причины того, что этот перевод не был достаточно оценен, были общего свойства; они уже указаны были выше. Значение видертовского перевода, удерживавшееся ряд лет в немецкой литературе, было исключительно местное. Гораздо более сильное внимание к себе во всей Европе «Записки охотника» вызвали тогда, когда в том же 1854 г. в Париже они вышли во французском переводе. С немалой и вполне естественной досадой Видерт ознакомился с этим переводом Э. Шаррьера, которому уготована была более блистательная судьба: «Я рассматривал перевод Шаррьера и, к сожалению, на каждой странице должен был убедиться в том, что переводчик решительно не был в состоянии передать это сочинение», — писал Видерт в корреспонденции «Московских ведомостей», сообщая, кстати, и образцы из того «вздора», которые по поводу этого перевода писали некоторые французские литераторы.[19] Но этот «вздор» имел успех, потому что он пришелся ко времени и потому что невиданный успех выпал на долю самой книги Тургенева. Пока некоторые немецкие литераторы, пользуясь превосходным переводом Видерта, глубокомысленно задавали по поводу «Записок охотника» некоторые вопросы об общественной роли реалистического искусства, прежде чем провозгласить их литературным шедевром, французские журналисты, основываясь на искажающем, неточном, полном смешных ошибок переводе Шаррьера, подняли ее на щит, стремясь воспользоваться ею для целей военной пропаганды. И только участие в ее обсуждении в прессе видных французских писателей, вслед за которыми выступили также английские писатели, смогло обеспечить «Запискам охотника» справедливую оценку, вызвавшую широкое международное признание.

3

Во французской печати имя Тургенева как автора «Записок охотника» впервые упомянуто было в 1851 г. Сен-Жюльеном. Характеризуя русскую повествовательную литературу конца 1840-х гг. в статье о сочинениях В. А. Соллогуба, помещенной в одном из наиболее распространенных и влиятельных парижских журналов, Сен-Жюльен назвал здесь также имя Тургенева, молодого русского писателя, оставившего занятия поэзией и обратившегося к прозе. По-видимому, «Записки охотника» были известны Сен-Жюльену только понаслышке, так как, по его словам, «Тургенев показал в своих рассказах, в частности в „Записках охотника", — этом маленьком эскизе (!) сельских нравов, — талант, полный свое-

[19] Московские ведомости. 1854. 20 июля. № 86. С. 997.

образия»; все же Сен-Жюльен уже знал, что этот повествовательный цикл проникнут серьезной общественной мыслью; он говорит, что «эти симпатичные этюды» Тургенева оживлены «идеей справедливости и чувством естественного права».[20] Идея перевода «Записок охотника» на французский язык вскоре же возникла у другого французского литератора, И. Делаво, который, подобно Сен-Жюльену, прожил некоторое время в России. Делаво сам свидетельствует, что он перевел «Записки охотника» вскоре после появления отдельного издания книги Тургенева в Москве в 1852 г., но в Париже он долго не мог найти издателя для своего труда.[21]

Первый перевод «Записок охотника» на французский язык появился в Париже лишь в апреле 1854 г. под измененным заглавием и без имени Тургенева на обложке и титульном листе книги. Это был заслуживший печальную известность в России перевод Эрнеста Шаррьера: «Воспоминания знатного русского барина или Картина состояния дворянства и крестьянства в русских провинциях в настоящее время».[22] Имя Тургенева, впрочем, было названо переводчиком во Введении, где Шаррьер писал: «Предлагаемая читателю в переводе книга Ивана Тургенева была напечатана на русском языке в Москве в 1852 году под заглавием „Записки охотника“, которое мы сочли необходимым изменить. Если в нашем переводе книга стала называться „Воспоминаниями знатного русского барина“, то это сделано для того, чтобы этим заглавием придать ей характер свидетельства русской аристократии относительно действительной ситуации в стране, где она господствует». Э. Шаррьер несколько знал Россию 1820—1830-х гг., так как он провел здесь около десяти лет, но знакомство это было поверхностное, а знание им русского языка — только приблизительное; возвратившись в Париж около 1836 г., он жил здесь литературными трудами, не доставлявшими ему ни успеха, ни ощутительной материальной прибыли. Когда В. А. Соллогуб, знавший его еще в Петербурге (в доме Соллогубов Шаррьер провел недолгое время в качестве гувернера), много лет спустя посетил его в Париже, он нашел его в одинокой мансарде на улице Риволи, заваленного рукописями и книгами, с явными следами усталости и нищеты на всем его облике.[23] Его трактаты о будущности Европы и о «Политике истории» принесли ему так же мало популярности, как и его позднейшие издания французских исторических документов. Единственный раз он испытал нечто вроде действительного успеха, издав перевод «Записок охотника» (в 1859 г. он опубликовал также

---

[20] Revue des Deux Mondes. 1851. 1 octobre. T. 12. P. 74—75. Возможно, что Сен-Жюльен и лично знал Тургенева: он был штатным лектором французского языка в Петербургском университете с 1835 г. по август 1846 г.

[21] Делаво говорит об этом в предисловии к своему переводу «Записок», опубликованному в Париже в 1858 г.

[22] Mémoires d'un seigneur russe ou Tableau de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russe/Traduit du russe par Ernest Charrière. Paris, 1854.

[23] *Соллогуб В. А.* Воспоминания/Ред. С. П. Шестерикова. М.; Л., 1931. С. 203—204, 536. Э. Шаррьер умер в 1870 г.

перевод «Мертвых душ» Гоголя); книга сразу привлекла к себе большое внимание и вызвала много откликов во французских журналах и газетах разных направлений.

М. К. Клеман в статье «„Записки охотника" и французская публицистика 1854 г.» проанализировал ряд этих статей, вызванных переводом Шаррьера, доказал тенденциозный характер большинства из них и установил, в частности, что протест самого Тургенева против издания Шаррьера был вызван не столько неудовлетворительностью его перевода, сколько теми политическими выводами, которые извлекли из этой книги французская критика и публицистика в острый момент начинавшейся Крымской войны.[24] Действительно, «Воспоминания знатного русского барина» вышли в свет в Париже в апреле 1854 г., через месяц после объявления войны России правительствами Англии и Франции, и французская буржуазная публицистика тотчас же воспользовалась ими как злободневным политическим документом, тем более что и сам Шаррьер, как мы видели, прямо рассчитывал на то, что его перевод доставит необходимый для этой цели материал. Французские журналисты обратились к переводу «Записок охотника» прежде всего для того, чтобы провозгласить ряд отрицательных суждений о правительстве русского царя, о пороках русского дворянства, — подчеркнув глухое недовольство русской крестьянской массы, — в чем они видели признаки общей политической неустойчивости в русском государстве и залог его будущей военной неудачи. Их не интересовал еще ни сам Тургенев, ни с таким сочувствием изображенные им представители русского крестьянства. Тургеневу, как догадывается М. К. Клеман, необходимо было протестовать прежде всего в целях самозащиты; в противном случае его книга, уже в русском издании вызвавшая цензурные бури, могла быть вторично использована русским цензурным ведомством и даже правительственными кругами как обвинительный против него документ. Тургенев и действительно выступил с протестом против перевода Шаррьера, напечатанным первоначально в петербургской французской газете (Journal de St. Pétersbourg. 1854. № 475) и перепечатанным затем в ряде других изданий; кстати сказать, этот протест напечатан был в Петербурге 10(22) августа 1854 г., т. е. тогда, когда во французской прессе появилось уже наибольшее количество статей, вызванных переводом Шаррьера, и высказана была общая оценка «Записок охотника».[25]

[24] Сборник к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. С. 305—314.

[25] История этого протеста Тургенева подробно освещена М. К. Клеманом в указанной статье и в примечаниях к 12-му т. собрания сочинений Тургенева (Л., 1934. С. 374—375, 624). Остается, однако, неизвестным, из каких источников Тургенев узнал о выходе в свет перевода Шаррьера. Хотя непосредственных связей между Францией и Россией, в том числе почтовых, в то время, естественно, не было, но о своем впечатлении от этого перевода Тургенев писал С. Т. Аксакову уже 12 июня 1854 г., а самый текст перевода дошел до него не ранее августа (Вестник Европы. 1894. №2. С. 286). По уже высказанному выше предположению, первым оповестил Тургенева об этом переводе А. Видерт из Берлина; от него же, по-видимому, Тургенев получил и самую книгу.

Названная выше статья М. К. Клемана не до конца раскрыла один из ранних этапов в истории знакомства с произведениями Тургенева. Он учел далеко не все статьи, напечатанные во Франции в связи с появлением перевода Шаррьера,[26] и, кроме того, ограничил задачи своего анализа пределами одного 1854 г. Сколь ни бросается в глаза во всех указанных статьях их злободневный и тенденциозный характер, как ни трудно было французским литераторам, не зная русского языка и не имея под руками подлинника «Записок охотника», высказывать серьезную оценку этому произведению Тургенева на основании лишь неточного и на самом деле неудовлетворительного во многих отношениях перевода Шаррьера, но среди литераторов, выступивших по этому поводу во французской печати, было немало таких критиков, которые в состоянии были судить о действительных достоинствах произведения иностранной литературы. Так, Ипполит Риго, автор статьи о «Записках охотника» в «Journal des Débats» (1854), включил в нее несколько попутных замечаний о Тургеневе-художнике; другой видный литератор той поры, Леон де Вайи, приятель П. Мериме, в статье, опубликованной в другом журнале в том же году, сделал ряд еще более тонких замечаний о литературном мастерстве Тургенева (например, об его «искусстве намека», об его умении делать знаменательные и красноречивые паузы, высказывать мысли в такой форме, что читатель неминуемо доскажет их сам с доступными ему силой и убеждением), сумев разглядеть все это сквозь французский текст, полный искажений и амплификаций.[27]

Среди всех этих статей и рецензий, которые в целом способствовали известности и успеху книги Тургенева во Франции в течение нескольких месяцев, но едва ли могли содействовать укреплению его действительной популярности во французской литературе, было, однако, несколько критических работ, получивших более длительное значение. Одной из них была статья Проспера Мериме, видного писателя, в будущем ставшего другом Тургенева.

Некоторые новые данные о Мериме, недавно опубликованные, дают несколько любопытных штрихов к истории того, как была написана эта первая его статья о Тургеневе. Интересно отметить, что инициатором ее был именно Шаррьер. Выпустив свой перевод «Записок охотника», он тотчас же отправил экземпляр книги Ме-

[26] М. К. Клеману остались неизвестными несколько статей, вызванных переводом Шаррьера; к упомянутым им прибавим еще статьи Гастона де Сен-Вальри (напечатана в «Mousquetaire» 16—18 августа 1854 г.) и Барбе д'Оревильи (в газете «Le Pays» от 28 мая 1854 г.), впоследствии под заглавием «Тургенев» вошедшую в сборник его критических статей «Творения и люди» (Les oeuvres et les hommes. Littérature étrangère. Paris, 1890. P. 141—152). Барбе д'Оревильи по «Запискам охотника» в переводе Шаррьера все же угадал в молодом Тургеневе будущего крупного писателя европейского значения; его поразили в этой книге мастерство портретиста и в особенности пейзажи северной русской природы, полные описательной силы и лирического напряжения; общественный пафос книги Тургенева, однако, нисколько не увлек этого видного, но реакционного писателя, кичившегося своим аристократизмом и эстетическими склонностями.

[27] L'Athenaeum Français. 1854, 17 juin. С. 545—546.

риме с просьбой откликнуться на нее в печати; такую статью Шаррьер считал для себя не только лестной, но и особо важной для успеха его издания: Мериме уже пользовался широкой известностью во Франции не только как писатель, но и как переводчик Пушкина и Гоголя. Ответное письмо П. Мериме к Э. Шаррьеру датировано 20 мая 1854 г. «Я прочел с большим интересом Ваш перевод „Записок охотника“, — писал Мериме, — и благодарю Вас за то, что Вы дали мне возможность познакомиться со столь замечательным произведением... Лишь только я смогу располагать небольшим досугом, я предполагаю написать его критический разбор для „Ревю де дё Монд“ и сказать там все то хорошее, что я думаю об этом произведении».[28] Сдержать свое обещание Мериме смог лишь месяц спустя: в номере от 1 июля 1854 г. указанного журнала появилась его статья о «Записках охотника», озаглавленная «Литература и крепостное право в России». Статья эта принадлежала писателю, имя которого говорило само за себя, и не могла не привлечь к себе самое широкое внимание. Правда, и она не свободна еще от некоторых тенденциозных преувеличений военного года, поскольку автор хотел сделать ее острой и политически актуальной для современных ему французских читателей. На критических анализах ряда рассказов «Записок охотника» статья эта стремится показать прежде всего признаки разложения крепостнического строя в России накануне Крымской войны; это, однако, не помешало Мериме дать высокую оценку книге Тургенева как памятнику художественной литературы и, напротив того, предопределило в известной мере позднейшее отношение французских читателей к «Запискам охотника» как к литературному произведению, являвшемуся в то же время ярким документом русской общественной мысли. С первых же строк Мериме предупреждает читателя, что «Записки охотника» — «интересное и поучительное произведение, рассказывающее обо многом при своем малом объеме». Мериме пишет далее: «Эти двадцать две жанровых картинки, почти одинаково обрамленные, отличаются искусным разнообразием композиции и тона повествования. Они тщательно обработаны, иногда даже с излишнею кропотливостью, и дают в целом очень точное понятие о социальном состоянии России». В заключение Мериме выражал надежду, что литературная деятельность автора «Записок охотника» не прервется на этом удачном его опыте. «Я полагаю, — прибавлял Мериме, — что Тургенев, которого я не имею чести знать лично, — молодой писатель, и что его „Записки охотника“ являются только прелюдией к более серьезному и более значительному произведению».

---

[28] *Parturier M.* Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguéniev. Paris, 1952. P. 9—10. Из ответного письма Мериме явствует, что надежды Шаррьера, когда он посылал ему свой перевод «Записок охотника», простирались и дальше: зная о близости Мериме ко двору французского императора, Шаррьер просил исхлопотать ему «благодарность» Наполеона III за издание этой книги, но Мериме уклонился от каких-либо хлопот по этому поводу.

Статья Мериме впоследствии перепечатывалась неоднократно и не затерялась, подобно другим, упомянутым выше; опубликована она была в серьезном и влиятельном журнале, который не легко расточал любезности иностранным авторам; наконец, похвалы, исходившие от Мериме, были особенно авторитетными. Когда Тургенев поздней осенью 1856 г. приехал в Париж, его уже знали здесь именно как автора «Записок охотника»;[29] в известной степени это объяснялось также лестной оценкой книги, данной таким взыскательным критиком, каким был Мериме. Личная дружеская близость обоих писателей, как известно, возникла между ними значительно позже;[30] в пору их дружбы Мериме еще раз вернулся к «Запискам охотника» в большой статье о Тургеневе 1868 г., но эта статья только развила его первые впечатления от этого произведения, впервые высказанные Мериме в 1854 г., и подкрепила их немногими новыми соображениями, в справедливости которых в то время уже не могли сомневаться многочисленные французские почитатели Тургенева.

В 1854 г. Мериме не имел еще под руками русского оригинала книги Тургенева: он судил о ней только по переводу Шаррьера. Протесты Тургенева относительно этого перевода могли дойти до Мериме значительно позже, притом главным образом из уст самого Тургенева. В своей первой статье Мериме упрекнул Шаррьера только за произвольное изменение им заглавия книги. Но уже в конце 1850-х гг. Мериме полностью принял сторону Тургенева в вопросе о том, как должны были быть переведены «Записки охотника». Для истории переводов с русского языка во Франции этот спор имел некоторое значение. Задача, стоявшая перед французскими переводчиками «Записок охотника», разумеется, была не из легких. Дать читателям такой перевод, который был бы в состоянии передать русский оригинал этой книги, полный поэтической прелести, многих труднопередаваемых на любом другом языке особенностей устной, сказовой речи, с ее диалектальными формами и своеобразием ее синтаксиса, было особенно трудно в условиях французской переводческой практики XIX в. Перевод Шаррьера во всяком случае не отличался точностью, как это отмечал и сам Тургенев в своем печатном протесте против этого перевода, заявляя, что «вряд ли найдется много примеров подобной литературной мистификации». «Не говорю уже о бессмыслицах и ошибках, которыми он изобилует, — но, право, нельзя себе представить все изменения, вставки, прибавления, которые встречаются в нем на каждом шагу. Сам себя не узнаешь. Утверждаю, что во всех

[29] В. П. Боткин писал Тургеневу из Москвы 29 сентября 1856 г.: «На днях, гуляя с Григоровичем, встретили мы французского актера Верне, только вернувшегося из Парижа. Он объявил, что ему Ал. Дюма с братиею поручили передать тебе тысячу любезностей за твои „Записки охотника", которые они все читали с великим удовольствием» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.; Л., 1930. С. 93).

[30] Первое знакомство Тургенева с Мериме состоялось во второй половине февраля 1857 г. См.: *Клеман М. К.* Тургенев и П. Мериме//Литературное наследство. Т. 31—32. С. 710.

„Записках русского барина“ нет четырех строк, правильно переведенных. Г-н Шарриер в особенности позаботился об украшении моего слога, который должен был показаться ему слишком ничтожным и бедным».[31] Действительно, наряду со смысловыми ошибками, возникшими вследствие недостаточного знания русского языка, Шаррьер допускал в своем переводе сознательные изменения оригинального текста, имевшие целью «улучшить» стиль автора, отличавшийся — с его точки зрения — длиннотами в описаниях и пристрастием к мелким, несущественным подробностям; несмотря на это, Шаррьер делал в переводе собственные добавления, иногда довольно длинные, из которых только известная часть должна была иметь разъяснительный характер для французского читателя, посвящая его в особенности малоизвестного ему русского быта; что и в этом отношении Шаррьер не был достаточно последовательным, видно из того, что в его переводе без особой нужды сохранено было множество транскрибированных русских слов и что некоторые из них в свою очередь сопровождались специальными подстрочными примечаниями (во французском тексте остались, например, grivennik, tiaga, odnodvoretz, biteouk, domovoi, tavlinka и т. д.). Тургенева в особенности раздражили, однако, собственные прибавки Шаррьера, который дописывал фразы автора, «украшал» их стиль и т. д. «...с такой системой перевода, — жаловался Тургенев, — можно дать полный разгул своей фантазии, и Шарриер не преминул это сделать».[32]

Неудовлетворительными качествами этого перевода объясняется прежде всего решение Тургенева поддержать другого переводчика своих «Записок» — И. Делаво и оказать ему помощь в выпуске в свет нового перевода того же произведения. Около года, с ноября 1856 по декабрь 1857 г., продолжалась совместная работа Делаво и Тургенева над этим переводом, пока он не вышел в свет (1858). Этот перевод действительно неизмеримо ближе стоял к русскому подлиннику. Рецензент этого нового французского издания «Записок охотника» Латэ (в январском номере «Ревю де дё Монд»), сравнивая оба перевода — Шаррьера и Делаво, склонялся на сторону последнего, считая шаррьеровский «слишком вольным». Мериме, может быть, под воздействием Тургенева, также осуждал теперь первый перевод по той же причине. Это видно, в частности, из того письма (от 20 апреля 1859 г.), которое Мериме написал Шаррьеру по поводу изданного им перевода «Мертвых душ» Гоголя: «С большим интересом читал я ваше предисловие к „Мертвым душам“, — писал в этом письме Мериме, — но признаюсь вам откровенно, я не могу одобрить вашу систему перевода. Мне кажется, что вы тратите слишком много остроумия на защиту неправого дела. Французская публика не так закоснела в своих привычках, чтобы она не могла понять достоинства иностранной формы».[33]

[31] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Сочинения. Т. 15. С. 130.
[32] Там же. С. 131.
[33] *Parturier M.* Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguéniev. P. 13—14.

Любопытно, что в этой самой вступительной статье к переводу «Мертвых душ», которую осуждает Мериме, Шаррьер весьма обиженно вспоминает протесты Тургенева против его перевода «Записок охотника», выпущенного за пять лет перед тем. Заметив, что «ни один писатель никогда не бывает удовлетворен переводом его произведений», Шаррьер прямо ссылался на то, что Тургенев будто бы сводил с ним «личные счеты». Искусство переводчика, по мнению Шаррьера, заключается в умении произвести подходящую замену выражений подлинника, не поддающихся переводу, другими, однозначными с ними, но такими, которые освободили бы переводчика от необходимости давать комментарий к каждой строке.[34] Мы уже видели, насколько непоследовательно придерживался Шаррьер именно такого рекомендуемого им способа в своем переводе «Записок охотника»; с другой стороны, конечно, вовсе не это правило в «системе» перевода Шаррьера вызвало осуждение Мериме. Тем не менее, с точки зрения последующей французской критики, добросовестный и близкий к подлиннику перевод Делаво получился все же невыразительным, суховатым, недостаточно «французским», и защитники перевода Шаррьера, в последующих переизданиях исправленного и несколько улучшенного, находились вплоть до последнего времени.[35] Возможно, что в конце концов это вынужден был признать и сам Тургенев. В одном из писем к Максиму Дюкану Тургенев писал именно по поводу перевода Делаво в издании 1858 г.: «Я только что узнал от м-ль Маркс, что вы просили у нее „Записки охотника" и что она не смогла их вам достать. Посылаю вам свой экземпляр и прошу держать его сколько вам будет угодно, но при чтении не забывать того, что я вам говорил о тусклом и „протокольном" характере перевода».[36]

Таким образом, уже к концу 1850-х гг. французские читатели получили два перевода «Записок охотника», открывавшие возможность их сопоставления и дававшие достаточно полное представление об оригинале; наличие переизданий этих переводов в свою очередь свидетельствовало, что книга продолжала читаться, что интерес к ней не только не ослабевал, но повышался. Последнему содействовало также и то, что о книге все чаще и чаще по разным поводам говорили во французской печати и что самые лестные отзывы о ней давали один за другим крупнейшие представители французской литературы.

4

В поздних «Воспоминаниях об И. С. Тургеневе» М. М. Ковалевского есть несколько любопытных строк, которые не обращали на себя внимания исследователей и еще не были комментированы ни

[34] Les Ames Mortes. Paris, 1859. Vol. 1. P. V—VI.

[35] Tourguéneff. Récits d'un chasseur/Trad. par H. Mongault. Paris, 1929. P. 14.

[36] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 8. С. 164, 364.

с какой стороны: «Из разговоров с Иваном Сергеевичем я узнал, как сложилась его литературная репутация в Париже, — писал Ковалевский. — Более всего содействовал ей Мериме, а за ним Ламартин». В каком отношении ранней популяризации Тургенева во Франции содействовал Мериме, мы уже знаем; о личных же связях Тургенева с Ламартином не упоминает ни один из исследователей русского писателя. Вероятно, заинтересован был этим и автор названных «Воспоминаний», потому что он занес в свою статью несколько пояснительных строк к указанному выше свидетельству на основании той же своей беседы с Тургеневым. «О своем знакомстве с Ламартином, — вспоминает Ковалевский, — Тургенев рассказал мне следующий любопытный анекдот. Ламартин в последние годы своей жизни стал знакомить французскую публику с иностранными писателями; он издавал отрывки из их произведений, снабжал их своими предисловиями и послесловиями. Однажды очередь дошла и до Тургенева. Узнавши об этом, Мериме посоветовал Тургеневу заявить лично свою благодарность Ламартину. „Доро́гой я стал придумывать, что мне сказать ему, — рассказывал мне Иван Сергеевич, — и придумал следующее: как муха, попавши раз в янтарь, переживает столетия, так я обязан вам тем, что не сразу исчезну из памяти французских читателей". „Фраза-то придумана была недурно, — говорил по этому поводу Иван Сергеевич, — да мало было в ней правды. Ведь не муха же я, да и он не янтарь. И что же вышло? Как стал я говорить ему свою фразу, так и смешался; твердил: муха... янтарь... Но кто муха и кто янтарь — этого Ламартин так себе и не выяснил"».[37]

Из рассказа М. М. Ковалевского явствует, что Тургенев придавал некоторое значение статье о нем Ламартина, что он имел с ним личную беседу по этому поводу и что, наконец, инициатором его визита к Ламартину был Мериме. Однако ни обстоятельства этой встречи, ни время и место, когда она состоялась, ни самая статья Ламартина о Тургеневе нам до сих пор известны не были. А между тем такая статья, действительно, существует. Ламартин не только дает здесь характеристику русского писателя, но и рассказывает

---

[37] *Ковалевский М. М.* Воспоминания об И. С. Тургеневе//Минувшие годы. 1908. № 8. С. 14. Стоит обратить внимание на то, что «анекдот», рассказанный Тургеневым М. М. Ковалевскому, имеет все признаки стилизации и, кроме того, восходит к литературному источнику, который Тургенев, несомненно, хорошо знал и который в то же время мог быть известен и Ламартину. В написанной для французских читателей работе «К истории религии и философии в Германии» Г. Гейне писал о Лессинге: «Многих малюсеньких писателишек он обволок остроумнейшей насмешкой, восхитительнейшим юмором, и они сохранятся на веки вечные в сочинениях Лессинга, как насекомые, попавшие в кусок янтаря» (*Гейне Г.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1936. Т. 7. С. 94). Очень вероятно, что «анекдот» Тургенева восходит именно к этой известной цитате, однако у Тургенева было тем меньше оснований воспользоваться ею, что у Гейне она имеет иронический смысл: речь идет не о прославлении «малюсеньких писателишек» знаменитым критиком, но об его насмешке над ними. Нечто подобное Тургенев, действительно, мог думать о статье Ламартина по поводу «Записок охотника», но в момент знакомства с ее автором он, несомненно, был более учтив.

о знакомстве с ним, которое состоялось летом 1861 г. К этому же времени относится и самая статья Ламартина, озаглавленная «Иван Тургенев», в значительной своей части посвященная «Запискам охотника».

Ламартин (1790—1869) был уже стар и давно уже пережил свою некогда громкую славу: его поэтическое своеобразие не только определилось, но в известной мере даже исчерпало себя еще в двадцатые годы («сладкозвучным, но однообразным» называл Ламартина Пушкин в заметке 1830 г.). В шестидесятые годы у себя на родине Ламартин являлся каким-то воплощенным анахронизмом, обломком отдаленного прошлого. Его политическая роль закончилась еще с декабрьским переворотом 1852 г. во Франции, когда этот прежний легитимист, ненадолго вошедший в состав республиканского правительства 1848 г. и вскоре же скомпрометировавший себя в глазах и радикалов и консерваторов, принужден был окончательно и навсегда уйти с политического поприща. Последнее десятилетие его жизни было агонией медленного умирания. Прежняя его слава тускнела, литературное дарование иссякало. Обремененный огромными долгами и еще более беспомощный, чем прежде, в своих практических делах, но по-прежнему щедрый не по средствам ко всем своим многочисленным прихлебателям, великодушный к чужому горю, но бессильный что-либо изменить в собственных привычках или поправить в стесненных обстоятельствах. Ламартин сохранял, однако, и в нищете своих последних лет ореол своего прежнего величия. В его сердце до конца его дней сохранялась надежда на лучшее будущее. Он любил свои земли, «зеленые ковры» своих виноградников, старые деревенские дома своих имений, которые с неумолимой последовательностью продавались одно за другим, со всей их старой утварью, любимыми с детства вещами, мебелью, картинами и сувенирами. Но он все же не сдавался; продавался один дом — он в долг покупал другой и, зажатый в тиски банкирами, комиссионерами, посредниками всякого рода, темными дельцами Парижа и провинции, наживавшимися на его счет, он бежал от них в эти самые имения, уже предназначенные к близкой продаже, чтобы насладиться свежестью полей, ясностью весеннего неба, ароматом цветущих виноградников, которые должны были быть вскоре проданы и принести прибыль его кредиторам, их будущим владельцам. Когда в 1858 г. долг Ламартина достиг трех миллионов франков, он вынужден был согласиться на унизительную национальную подписку в его пользу. Она не достигла необходимой цифры. В 1861 г. за бесценок продано было заветное «Миии», с усадьбой, где он увидел свет и прошли его детские годы, за ним последовало «Монсо», последний уголок, где он находил пристанище своему уединению и целительные силы, чтобы противостоять полному нравственному оцепенению. Сюда, в Монсо, уходил он порой в одиночестве пешком из Парижа, в дождь и непогоду, чтобы бродить по полям.[38]

---

[38] *LatreilleC.* Les derniers années de Lamartine. Paris, 1925.

В более счастливые дни Ламартин продолжал работать, берясь за перо для осуществления разнообразных и многочисленных литературных предприятий. Одно за другим он выпускал свои «Новое путешествие на Восток», шеститомную «Историю революции», составлял серию жизнеописаний знаменитых людей, публиковал «Историю России» (1856), объявлял подписку на издание полного собрания своих сочинений, печатал, также по подписке, в 28 томах популярное пособие по истории литературы с древнейших времен («Cours familier de littérature») и т. д. Хотя иногда перо выпадало у него из рук от усталости и напряжения, Ламартин трудился неутомимо, правда, без столь необходимого ему материального успеха. Журналы его высмеивали, карикатуристы над ним издевались, изображая его, например, «Велизарием с моста искусств», умоляющего прохожих, как о милостыне, о подписке на его пухлые, но бессодержательные издания.[39] В одном из писем к своему другу, Гюберу-Саладену (от 24 октября 1862 г.), Ламартин писал: «За последние три месяца я уплатил 500 000 франков, теперь вновь нужно приниматься за работу».[40]

Именно к этому времени относится статья Ламартина о Тургеневе. Она вошла в XXII т. его вышеупомянутого «Общедоступного курса литературы» и составляет здесь целых три беседы. Характеристика Тургенева, написанная Ламартином, явилась, разумеется, случайным звеном в серии его бесконечных и безуспешных литературных предприятий накануне полного разорения. Она сбивчива, написана наспех, изобилует смешными и досадными для русского читателя фактическими ошибками и суждениями, но все же в ней есть и нечто вызывающее сочувствие — личная заинтересованность, волнующая искренность впечатления. Спешность работы и трудные обстоятельства личной жизни Ламартина помешали ему быть точнее в своей оценке и высказаться до конца; тем не менее то тут, то там в этой статье чувствуется рука художника и опытного ценителя. Недаром она была спасена от полного забвения, которого не избежала большая часть сочинений Ламартина поздних лет. Вскоре после его смерти статья о Тургеневе была переиздана в третьем томике его «Воспоминаний и портретов».[41]

«Я немного знаю Тургенева, — пишет в этой статье Ламартин. — В 1861 году задержавшись один в Париже во время знойного лета, я однажды в праздности открыл одну из его книг — „Русские охотники" («Les chasseurs russes»). Я провел много часов в одиночестве во время дневной жары, лениво растянувшись на диване в темной комнате, в ожидании, что солнце опустится к закату и позволит мне подышать на свежем вечернем ветерке в лесах Медона. Читая это первое произведение Тургенева, я старался насколько возможно продлить удовольствие, часто откладывая томик на колени; я наслаждался наивными нравами и очарователь-

[39] Revue d'Histoire littéraire de la France. 1929. T. 36. P. 117.
[40] *Fournet Ch.* Un genevois ami De Lamartine, Hubert-Saladin. Paris, 1932, P. 272, 274, 277.
[41] *Lamartine A.* Souvenirs et portraits. Paris, 1872. T. 3. P. 339—345.

ными картинами, восхитительное собрание которых давал мне каждый из входящих в него рассказов. Когда я кончил свое чтение, я постарался достать себе все сочинения Тургенева, какие существовали в переводах и какие могли мне помочь насладиться этим писателем. Я провел вместе с ними и благодаря ему целое лето в том же восторге воображения. Я узнал, что он живет в Париже. Вмешательство одной образованной женщины <...> доставило мне удовольствие познакомиться с ним.[42] Он дал мне все свои сочинения. Я увез их с собою в деревню; я бы хотел увезти их автора».

Биография Тургенева, рассказанная Ламартином, изобилует курьезами, но как ни очевидны его промахи и недосмотры, любопытно, что этот рассказ о жизни и деятельности «графа Тургенева», как его почему-то именует Ламартин, был все же, вероятно, первой французской биографией Ивана Сергеевича; к тому же в ней сообщен ряд таких подробностей, о которых Ламартин, скорее всего, мог узнать от самого Тургенева.[43]

В оценке же Ламартином произведений русского писателя, сквозь пустую и болтливую риторику кое-где пробиваются отдельные меткие суждения. Подробнее всего Ламартин останавливается на «Очерках» Тургенева, под которыми следует подразумевать «Записки охотника» (ранее названные Ламартином также «Русскими охотниками»);[44] эту книгу Ламартин называет «дагерротипом русской природы» (de la nature moscovite). Его восхищает здесь все: множество лиц, очерченных ярко и живо, хотя и столь непохожих друг на друга, — помещиков, старост, крестьян, «этих вчерашних рабов, сегодня уже находящихся на воле» (эта фраза свидетельствует, что статья писалась в середине 1861 г.), сохранивших всю прелесть нравственной чистоты посреди грубости и невежества; картины сельской жизни и природы, полные тонкой живописности. Этого «художника степей» можно читать без конца, не чувствуя никакого утомления, потому что под его пером все живет, все дышит, все полно поэтической правды: «Совершенная правдивость, трогательная наивность действующих лиц, естественная простота и, вероятно, полное правдоподобие происшествий остаются в памяти, покоряют вас свойственным автору очарованием без всяких притязаний. Его талант — свежий, оригинальный, тонкий, ясный <...> владеет формами и красками, которые не могло бы выдумать никакое искусство композиции. Здесь все на месте,

---

[42] По-видимому, речь идет здесь об Анастасии Семеновне Сиркур, урожд. Хлюстиной, хозяйке известного парижского литературного салона, находившейся в приятельских отношениях и с Ламартином и с Н. И. Тургеневым.

[43] Ламартин упоминает, например, о дочери Тургенева, рассказывает о берлинском периоде его жизни, уделяет место описанию его наружности и т. д.

[44] По-видимому, в руках Ламартина был не перевод Э. Шаррьера, а изданные в 1858 г. в переводе Делаво, редактированном Тургеневым, «Récits d'un chasseur» и «Scènes de la vie russe» в переводе Кс. Мармье. Кроме того, Ламартин говорит о «трогательной» истории «Муму» (первый франц. перевод этой повести появился в «Revue des Deux Mondes» в 1856 г.).

все — логика, все — списано с натуры». «Существует мало книг, которые настолько волновали бы меня, как эта, и заставляли бы мечтать <...> Здесь не чувствуется никакого искусства: искусство заключается в глазе художника, который позволяет ему различать все, и в его душе, которая дает ему все чувствовать». Вместе с тем, по мнению Ламартина, эта книга не могла быть написана нигде, кроме России; ее мог создать только русский писатель. Тургенев, по его словам, является «зарей» русской литературы, которая с его помощью «входит в мир» («s'introduit... au monde»).

Что бы ни говорил Тургенев впоследствии об этой статье Ламартина, она, несомненно, должна была польстить его самолюбию. Старый французский поэт говорил о нем в более сильных и категорических выражениях, чем это сделал Мериме в своей статье о «Записках охотника» 1854 г. Присущей Мериме сдержанности, сухости, трезвости у Ламартина противостоят взволнованность и лиризм. В некоторых отношениях Ламартин смог решительнее, чем до него это сделал Мериме, оценить художественное значение «Записок охотника», хотя от него была более скрыта глубокая общественная тенденция этой книги; некоторые определения Ламартина предвосхитили более поздние суждения о Тургеневе таких его французских почитателей, как И. Тэн, Флобер, Мопассан. Зная обстоятельства последнего десятилетия жизни Ламартина, нетрудно себе представить, как случилось, что этот старый романтик смог оценить по достоинству реалистическую манеру письма «Записок охотника» и ранних повестей Тургенева. В своих мечтах о землях, весенних лугах и тенистых аллеях старых усадеб Ламартин в состоянии был оценить по крайней мере одну сторону книги Тургенева. Лес и степь далекой северной страны оживали перед ним в тесноте его парижского кабинета, когда он грезил о своей близости к тем землям, которые постепенно становились для него чужими и запретными. Даже летний зной, заставший Ламартина в Париже и доставивший ему случай не торопясь, в полутемной комнате со спущенными шторами, вчитываться в каждую строку тургеневских рассказов, несомненно, им не выдуман. Нельзя было, однако, не заметить и другой стороны «Записок охотника», и Ламартин отдал должное гуманизму и гражданскому мужеству русского писателя, характеризуя изображенную им «горестную» долю крестьянства, хотя он едва ли понял до конца и весь этот чуждый ему мир социальных отношений, и, следовательно, всю силу общественного протеста этой книги.

Тургенев недолюбливал Ламартина как поэта. Еще в 1857 г. он высмеивал его «хилое хныканье» и весьма иронически отзывался о его пухлых прозаических сочинениях и компиляциях. О том, как Тургенев отнесся к статье о нем престарелого автора «Жослена», дает представление его переписка с П. В. Анненковым. Когда эта статья была перепечатана в 1872 г. в томике «Воспоминаний и портретов» Ламартина, она случайно попалась на глаза П. В. Анненкову, и он тотчас же написал об этом Тургеневу (14 октября 1872 г.): «Я своим глазам не верил, читая в последнем томе „Су-

венйров и портретов“ Ламартина статью „Иван Тургенев“. Должно быть, я уже отвык от французской фразеологии. Что это такое? Как еще ни приятно щекотал мое дружеское и даже национальное чувство восторженный тон статьи, но от восклицания: „Что это за гороховый шут Ламартин!“ я не мог удержаться, видит бог. И кто это давал ему биографические сведения о вас? В каком полку вы служили? Уж не адъютантом ли у Тимашева? А потом „он, Тургенев, соединяет воинственность и суровость скифа с мягкостью и податливостью славянина!“ А потом — „высокий лоб его, Тургенева, осененный густыми волосами, походит на древний храм в тени священной рощи!“ А потом оценка произведений и разительное сходство ваше с де-Местром! Какая досада, что не с кем было посмеяться, и принужден был я ограничиться глупейшим хихиканьем в одиночку и втихомолку. Но скажите ради бога, почему же это непременно надо быть ослом даже и гениальному французу, как только он потянет носом другой воздух, чем тот, который сам напустил?».[45] Тургенев тотчас же отвечал Анненкову. «Вы, — писал он ему 5(17) октября 1872 г., — злодейский Bücherwurm, откопали эту ламартиновскую нелепость, которую я полагал давно поглощенной волнами забвения». Тургенев рассказывает далее о том, как возникла эта статья о нем, и об обстоятельствах своей личной встречи с Ламартином, но в редакции, несколько отличной от той, которую привел в своих воспоминаниях М. М. Ковалевский. «Ламартин, — пишет Тургенев, — в последние годы своей жизни всячески разоренный, придумал следующую комбинацию: брал у какого-нибудь автора, своего или чужого, страниц 60 или 80 из его сочинений, предпосылал им в виде биографически-критической оценки безумные похвалы <...> вероятно, для того, чтобы обезоружить их и их издателей, — и продавал это под названием „Conversations littéraires“. В числе прочих попался и я — и я живо помню, как я был огорошен, когда я в один прекрасный день нашел эту чушь на моем столе. „Ну! — подумал я, — вот материал для «Искры»!“ Но ламартиновщина, к счастью, не проникла в Россию — и таким образом, все осталось шито и крыто, пока нашелся старинный приятель и распорол все швы. Но я знаю, что это дальше не пойдет».[46]

Несмотря на ряд неточностей, этот рассказ Тургенева в своей фактической части ближе к истине, чем его позднейший рассказ М. М. Ковалевскому, хотя оба они явно стилизованы; тем не менее, в общей оценке своих отношений с Ламартином Тургенев был более справедлив, когда он говорил об этом М. М. Ковалевскому. Похвалы, которые Ламартин не скупясь расточал «Запискам охот-

---

[45] Русское обозрение. 1898. № 5. С. 12—13. Позднее П. В. Анненков упомянул об этой статье в своих воспоминаниях о Тургеневе, рассказывая, как ценили его французские писатели: «Известно, что Тэн в своей „Истории революции" сослался однажды на те же „Живые мощи" <...> не менее известно также и то, что Ламартин при описании своей встречи с Тургеневым достиг такого пафоса, который близко стоял к комизму» (Литературные воспоминания. С. 379).

[46] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 9. С. 348.

ника», безусловно, содействовали популяризации этой книги во французской литературе в ранний период известности Тургенева во Франции.

Таким образом, имя Тургенева становилось все более знакомым во Франции, а его первая книга, переведенная на французский язык, завоевывала все больший читательский круг. Около того времени, когда свою статью публиковал Ламартин, стало уже возможным подвести первые итоги той роли, какую Тургенев со своими «Записками охотника» сыграл во французской литературе. Это сделано было в статье, помещенной в «La Gazette du Nord» в номере от 31 марта 1860 г. Статья эта была написана Н. И. Сазоновым, приятелем Герцена, подобно ему также находившемуся в эмиграции.[47] «Имя Тургенева, — писал Сазонов, — стало впервые известным во Франции во время гигантского севастопольского конфликта, когда переводчик „Записок охотника", который знал русский язык приблизительно и, путая арапник с арапом, издал замечательный сборник под поэтическим названием „Записки русского дворянина".[48] Сквозь вольные и невольные ошибки перевода публика все-таки разглядела и оценила несомненный талант автора. Сначала его читали, так как надеялись у него найти, доверяясь некоторым объявлениям, „разоблачение русских тайн" — тех ужасов, которые творились в этой варварской стране, безумной до такой степени, что она решилась противостоять соединенным силам Англии и Франции. Затем в Тургеневе нашли другое — поразительную правдивость в изображении нравов народа некультурного, но полного нравственной силы и природного ума, увидели воспроизведение картины злоупотреблений крепостного права во всей их безобразной наготе, увидели и близкую возможность освобождения. Книга эта, которая должна была, по расчетам, сыграть на руку кампании, поднятой против России, вместо этого заставляла любить эту страну, освещая ее полным светом, обнаруживая то, что до сих пор было неизвестно, — русский народ, т. е. существо, до тех пор известное лишь поверхностно. Тургенев оказал этим большую услугу своему отечеству».[49]

В этом отзыве чувствуется друг Герцена, русский публицист-демократ, знавший «Записки охотника» не по переводам, а в оригинале; однако статья Сазонова о Тургеневе написана им для французских читателей и, кроме того, она несомненно основана на отчетливых и многолетних парижских впечатлениях. Близко связанный с французскими журналистскими кругами, Сазонов имел возможность наблюдать, как постепенно менялось отношение к Тургеневу во Франции, как увеличивалось к нему здесь внимание,

---

[47] О Н. И. Сазонове (1813—1862), его французских статьях о русской литературе, переписке с К. Марксом и дружбе с Тардифом де Мелло см. в статье П. Е. Щеголева «Пушкин и Тардиф» (Звезда. 1930. № 7; Звенья. М., 1936. Сб. 6. С. 345—346).

[48] Речь идет о переводе Э. Шаррьера.

[49] Цитирую по русскому переводу: Литературное наследство. Т. 41—42. С. 88.

какую эволюцию, наконец, прошли «Записки охотника» в сознании французских читателей. Сазонов прекрасно понимал, что, сыграв первоначально недолгую роль острого политического памфлета, «Записки охотника» превратились в конце концов во Франции в образцовое произведение иностранной литературы, которое молодые французские литераторы готовы были поднять на щит как своего рода манифест реалистической школы. Он не мог также не знать, что ранний теоретик нового литературного направления во французской литературе, Шанфлёри, подбирая в предисловии к своему сборнику «Реализм» («Le Réalisme», 1857) имена европейских писателей-реалистов, называл Тургенева и Гоголя в одном ряду с Диккенсом, Теккереем, Ш. Бронте и И. Готгельфом.[50] В 1860 г., в тот же год, когда писалась статья Сазонова, Шанфлёри приглашал Тургенева к участию в намечавшемся им к изданию программном журнале.

Любопытно, что с «Записками охотника» Шанфлёри познакомился еще в 1854 г., вскоре же по выходе в свет их первого издания во французском переводе Э. Шаррьера; многие главы этого произведения Тургенева показались ему «необыкновенно замечательными» именно потому, что они как бы подтверждали складывавшуюся у него в то время теорию такого реалистического искусства, которое ставило бы перед собой серьезные общественные задачи. Прочтя «Записки охотника», Шанфлёри тотчас же поделился своими впечатлениями об этой книге со своими друзьями, участниками его кружка французских реалистов-демократов, в первую очередь с провинциальным поэтом Максом Бюшоном, выходцем из крестьян и автором стихотворений на темы из крестьянской жизни: Шанфлёри полагал, что «Записки охотника» могут служить хорошим примером для разработки теории реализма во французской литературе.[51]

---

[50] Шанфлёри был сотрудником журнала «L'Athenaeum Français», к которому был близок Н. И. Сазонов.

[51] См. недатированное письмо (относящееся к осени 1854 г.) Шанфлёри к Максу Бюшону, опубликованное Жюлем Бруба в журнале «La Revue» (1913. 15 ноября. № 22. С. 223). Шанфлёри в это время знал Тургенева только по первому французскому переводу «Записок охотника»; пользуясь данными, сообщенными Э. Шаррьером, Шанфлёри ошибочно считал, что Тургенев всего лишь «знатный барин», а вовсе не литератор, и что «Записки охотника» являются его первым произведением. К сожалению, остаются неизвестными ответы Макса Бюшона на письма к нему Шанфлёри; опубликованы они не были. Однако следует предположить, что Бюшон воспользовался случаем и познакомился с книгой Тургенева, указанной ему Шанфлёри: косвенным свидетельством в пользу такого предположения может служить предисловие Бюшона к его книге «Народные песни из Франш-Конте», написанное в мае 1863 г. (перепечатано в кн.: *Buchon Max.* Oeuvres choisies. Paris, 1878. T. 3. P. 2—3). В этом предисловии Бюшон писал с горечью, что «во Франции вошло в обычай отставать на двадцать—тридцать лет от интеллектуального развития других народов», что, например, романтизм еще держался во Франции в то время, когда он вовсе состарился в других литературах; «...в настоящее время, — продолжал Бюшон, — то же происходит по отношению к реализму. Взгляните на то, что происходит в России <...> повсюду, и вы поймете, как много знаменитых соратников имеют за рубежом те наши художники, кото-

5

К началу 1860-х гг., когда французские переводы произведений Тургенева стали уже многочисленными и выходили один за другим, утверждая его популярность во Франции как прославленного русского писателя, «Записки охотника» читали здесь вновь и вновь уже новыми глазами, без прежней настороженности, опасений или оговорок, сопровождавших первое знакомство с этой книгой, но спокойно и уверенно отдаваясь наслаждению, которое она доставляла. Каждое новое произведение Тургенева вызывало к себе теперь во Франции самое пристальное внимание, а он сам принят был в дружеский круг крупнейших французских писателей не только как равный, но и как первый среди них. Начались знаменитые в летописях французской культуры «литературные обеды» этих писателей, на которых Тургеневу принадлежал первый голос как ценителю, критику и рассказчику. Переводы повестей Тургенева, его романов («Рудин» переведен в 1862 г., «Отцы и дети» — в 1864 г. и т. д.), а затем и всех последующих его произведений усиленно читались и горячо обсуждались во Франции, но все же они не могли заслонить прежнего, устоявшегося интереса к его «Запискам охотника» во французских литературных кругах.

Первое письмо Гюстава Флобера к Тургеневу, в самом начале их дружбы, посланное из Круассе 16 марта 1863 г., дает наглядное представление о том сильном впечатлении, какое сочинения Тургенева производили на крупнейшего мастера французской художественной прозы XIX в., да и не только на него одного. Отзываясь на присылку ему Тургеневым двух недавно изданных в Париже переводов его книг,[52] Флобер писал: «Как благодарен я за подарок, который вы мне сделали! Я только что прочел оба ваших тома и не могу устоять против желания сказать вам, что я восхищен ими. Уже давно вы для меня — учитель. Но чем больше я вас изучаю, тем больше меня изумляет ваш талант. Я восхищаюсь этой манерой, одновременно пылкой и сдержанной, этим вашим сочувствием, которое нисходит до самых ничтожных существ и одухотворяет пейзаж. Видишь и грезишь... Как и при чтении „Дон-Кихота“ мне хочется ехать верхом по белой от пыли дороге и есть маслины и сырые луковицы в тени скалы, так и при чтении ваших „Сцен из русской жизни“ мне хочется трястись в телеге[53] среди

рые неустрашимо прилагают свои усилия к истолкованию современной жизни» (с. 2—3). Характерно, что русская реалистическая школа поставлена Бюшоном на первое место, как образец, — ранее английской, голландской и немецкой; более чем вероятно, что Бюшон при этом имеет в виду реалистическое изображение в литературе широкой народной массы; в этом смысле в представлении его о русской литературе должно было сыграть свою роль и знакомство с «Записками охотника».

[52] Это были «Сцены из русской жизни» в переводе Кс. Мармье 1858 г. и анонимный перевод «Рудина» 1862 г., в приложении к которому напечатаны также «Три встречи» и «Дневник лишнего человека».

[53] Русское слово «телега» оставлено Флобером без перевода и написано им во французской транскрипции — «tèlègue».

покрытых снегом полей и слушать завывание волков. Сильный и вместе с тем нежный аромат исходит из ваших произведений, пленительная грусть, проникающая до глубины моей души».[54]

Этот отзыв настоящего ценителя, тонкий и проникновенный, в котором верно схвачены многие существенные особенности дарования Тургенева, проявившиеся в его произведениях 1850-х гг., не является исключением. Сохранилось и много других отзывов французских писателей об авторе «Записок охотника», расходящихся лишь в индивидуальных особенностях восприятия его творчества, но неизменно столь же восторженных. «Я с глубоким восхищением прочел „Записки охотника“, — свидетельствует, например, Альфонс Доде, — и эта книга, на которую я набрел случайно, привела меня к близкому знакомству с другими его сочинениями. Прежде чем встретиться, мы уже были соединены нашей общей любовью к природе в ее великих проявлениях».[55] Но если Доде выделял в «Записках охотника» их пейзажи, говоря о совершенствах Тургенева как живописца природы (в этом отношении Доде имел много единомышленников среди французских писателей),[56] то иные из них восхищались искусством Тургенева как портретиста, той присущей ему сердечной теплотой, с которой рисовал он горестную долю самых простых людей. Уже Флобер, как мы видели, отметил это в ранних произведениях Тургенева («сочувствие <...> нисходящее до самых ничтожных существ»), в особенности же оно подчеркнуто было Ж. Санд, являвшейся, как известно, большой почитательни-

---

[54] *Flaubert Gustave.* Lettres inédites à Tourguéneff. Présentation et notes par Gérard Gailly. Monaco, 1946. P. 2—4. Еще до выхода в свет этой книги, по первой публикации отрывков из нее во французской печати, цитата из указанного письма приведена была в «Литературной газете» (1946. 14 декабря, № 50) с примечанием, что оно публикуется в качестве «свидетельства того огромного впечатления, которое произвели „Записки охотника“ на выдающихся мастеров художественной прозы». Отметим вкравшуюся сюда неточность. Книга Тургенева, озаглавленная переводчиком «Сцены из русской жизни», не была «Записками охотника»; Мармье озаглавил так — впрочем, с согласия Тургенева — сборник его повестей (Scènes de la vie russe, par I. Tourguéneff. Nouvelles russes, traduites avec l'autorisation de l'auteur par X. Marmier. Paris, 1858); эта ошибка нередко делалась в русской литературе начиная с «Библиографических записок» (1858. № 7. С. 218), где «Сцены из русской жизни» названы «переводом „Записок охотника“». Впрочем, в данном случае эта неточность не меняет существа дела. Говоря «уже давно вы для меня — учитель», Флобер, конечно, имел в виду прежде всего «Записки охотника», которые он несомненно читал задолго до своего первого письма к Тургеневу 1863 г. Ксавье Мармье также находился в приятельских отношениях с Тургеневым; описывая библиотеку этого французского литератора, Р. Мартель отметил, что в ней много книг Тургенева с дарственными надписями от автора (Mélanges... M. P. Boyer. Paris, 1925. P. 295).

[55] Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1884. С. 195.

[56] Весьма «замечательным» пейзажистом называл Тургенева Э. Гонкур (Journal des Goncourt. Paris, 1894. T. 7. P. 216), а И. Тэн, искренне считавший Тургенева «самым великим художником, явившимся в мире со времен древней Греции» («le plus grand artiste que le monde ait connu depuis la Grèce»), в особенности восхищался «сочностью, изысканным изяществом, поэтическим, высоким очарованием, которые превращают его в самого совершенного из живописцев» (Journal des Débats. 1875. 19 février).

цей Тургенева. В истории ее личных отношений к Тургеневу есть любопытный эпизод, связанный именно с «Записками охотника» и подтверждающий лишний раз, как высоко ценилась эта книга французскими писателями и насколько продолжительно было ее литературное влияние во Франции.

Дело было в 1872 г., вскоре после того, как Тургенев посетил Ж. Санд в Ноане в собственном доме писательницы.[57] «Вслед за отъездом Тургенева, — пишет В. Каренин (В. Д. Комарова-Стасова), — Ж. Санд, желая, очевидно, выразить чем-нибудь свое уважение к великому русскому писателю, свое восхищение его талантом, поместила в „Temps" в виде одной из глав, печатавшихся ею в этой газете „Воспоминаний и впечатлений", небольшой очерк под заглавием „Пьер Боннен" («Pierre Bonnin»)».[58] В этом очерке дана была сочувственная характеристика одного из ее давних знакомых, — плотника и столяра, большого чудака, но человека, интересного своим своеобразием и несомненно даровитого. Этот очерк Ж. Санд посвятила автору «Записок охотника». В посвящении Ж. Санд писала, обращаясь к Тургеневу: «Найдя в одном из ящиков своего письменного стола этот плохенький этюд, сделанный с никому неизвестного человека, умершего много лет назад, я спросила себя, достоин ли он того, чтобы появиться в свет? Я находилась под обаянием той обширной галереи портретов с натуры, которую Вы напечатали под заглавием „Воспоминания знатного русского барина".[59] Какая мастерская живопись! Как видишь их всех, как слышишь и знаешь этих северных крестьян, еще бывших крепостными в то время, когда вы их описывали, и всех этих деревенских помещиков из мещан и дворян, минутная встреча с которыми, несколько сказанных ими слов, были достаточны вам для того, чтобы нарисовать образ животрепещущий и яркий. Никто не мог бы сделать это лучше вас. Ваши крестьяне, ваши помещики предстают перед нами с исключительной рельефностью. Это — новый мир, в который вы позволили нам проникнуть; ни один исторический памятник не может раскрыть нам Россию лучше, чем эти образы, столь хорошо вами изученные, и этот быт, так хорошо увиденный вами. К тому же это чувство трогательной доброжелательности, которым, по-видимому, не обладали другие ваши поэты и романисты... Вам присуща жалость и глубокое уважение ко всякому человеческому существу, какими бы лохмотьями оно ни прикрывалось и под каким бы ярмом оно ни влачило свое существование. Вы — реалист, умеющий все видеть, поэт, чтобы все украсить, и великое сердце, чтобы всех пожалеть и все понять».[60]

---

[57] *Клеман М. К.* Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. Л., 1934. С. 211.

[58] *Каренин В.* Тургенев и Жорж Санд//Тургеневский сборник/Под ред. А. Ф. Кони. Пб., 1921. С. 114—115.

[59] Это заглавие свидетельствует, что «Записки охотника» читаны были Ж. Санд в переводе Шаррьера, в одном из его многочисленных переизданий.

[60] *Каренин В.* Тургенев и Жорж Санд. С. 115; в этой статье «посвящение» Ж. Санд приведено не полностью; вторую его половину я цитирую по перепе-

В портрете Пьера Боннена, нарисованном Ж. Санд, французские критики не без основания усматривают некоторое сходство с образом Касьяна из «Записок охотника», но и первые русские читатели этого очерка французской писательницы не могли не отметить, что он создан под непосредственным воздействием книги Тургенева. Когда Тургенев послал П. В. Анненкову тот номер газеты, в котором напечатан был «Пьер Боннен», то Анненков писал ему в ответ: «Какое милейшее посвящение написала вам мадам Санд! Только она умеет говорить так дельно, ласково и вместе прилично», но прибавлял все же, что самый очерк оставил его неудовлетворенным: «Ну а рассказец ее, навеянный, видимо, „Записками охотника“, не вытанцовался...».[61]

Почти два года спустя в той же самой парижской газете «Temps» напечатан был перевод рассказа Тургенева «Живые мощи». Как известно, этот рассказ представлял собой такую же позднюю обработку старого наброска (предназначавшегося для «Записок охотника»), как и «Пьер Боннен», найденный Ж. Санд среди ее старых рукописей. Перевод рассказа Тургенева был встречен во Франции с восторгом и имел чрезвычайный успех, еще раз обновивший внимание ко всему циклу «Записок охотника». «Здесь мои „Мощи“ появились в фельетоне „Temps“, — писал Тургенев М. М. Стасюлевичу из Парижа 4(16) апреля 1874 г., — и Вы не можете себе представить, какие я получаю комплименты, — так что даже недоумение берет. Письма от Ж. Занд, от Тэна и т. д. из-за такой безделки!».[62]

Ж. Санд 13 апреля 1874 г. писала Тургеневу: «Сколько души, глубины и правды, какой простой и очаровательный язык! Все должны учиться у Вас, все без исключения, даже великий лама В[иктор] Г[юго]».[63]

чатке А. Монго в предисловии к его переводу «Записок охотника» (Paris, 1929. С. 27). Отметим, кстати, еще один небезынтересный факт, свидетельствующий о популярности «Записок охотника» в кругу людей, с которыми Ж. Санд связывали дружеские отношения. В 1874 г. она приняла близкое участие в судьбе Шарля Роллина, брата одного из самых преданных ей друзей, и усердно хлопотала о нем у Виардо и Тургенева. Так как Шарль Роллина жил одно время в России и порядочно усвоил русский язык, Ж. Санд предположила, не может ли он оказаться полезным в качестве переводчика, так как он искал любого заработка. По просьбе Ж. Санд Тургенев согласился просмотреть его пробный перевод с русского и нашел его удовлетворительным (там же. С. 119—120). Любопытно, что это был перевод «Бирюка» из «Записок охотника», несомненно, самостоятельно избранный Ш. Роллина для предстоявшего ему испытания. Перевод этот, по-видимому, никогда напечатан не был, но рукопись его, посланная из Италии, где Роллина жил в то время, сохранилась в парижском архиве Тургенева; она имеет дату — 29 марта 1874 г. (*Mazon A.* Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénew. Paris, 1930. P. 95).

[61] Русское обозрение. 1898. № 5. С. 19.

[62] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 10. С. 226.

[63] Интернациональная литература. 1939. № 1. С. 227. Анненков приводит также отзыв о «Живых мощах» И. Тэна и замечает: «Мы слышали в последнее время, что старый Гизо, прочитав „Гамлета Щигровского уезда“ Тургенева, увидел в этом рассказе такой глубокий психический анализ общечеловеческого явления, что пожелал познакомиться и лично поговорить о предмете с его автором» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 338); впрочем,

В этом отзыве содержалось не только весьма экспрессивное свидетельство того сильного впечатления, которое произвел на Ж. Санд новый рассказ из старого цикла «Записок охотника»; Ж. Санд высказывала свою задушевную мысль, в менее отчетливой формулировке выраженную еще в посвящении Тургеневу в 1872 г. «Пьера Боннена» и имевшую глубокий общественный смысл. После поражения Парижской коммуны и кровавой расправы над рабочим Парижем, в период разгула реакции, когда значительная часть французских писателей отворачивалась от демократии или клеветала на нее, Тургенев, с его подлинной человечностью, исканием высокой нравственной правды и подчеркнутой любовью к обойденному счастьем простому трудовому человеку, действительно становился учителем для тех передовых французских писателей, которые искали выхода из реакционного тупика. Одних Тургенев удерживал от слишком пессимистических прогнозов и настроений, другим продолжал внушать прежнее сочувствие к горестной судьбе незаметных людей. Демократический пафос «Записок охотника» во Франции первой половины 1870-х гг. получал поэтому особое, усиленное звучание. Самое посвящение Тургеневу очерка о деревенском плотнике, написанное по инициативе французской писательницы, сыгравшей немалую роль в истории французского демократического движения, было фактом в высокой степени знаменательным именно для тех лет.

В статье о Тургеневе, напечатанной в 1880 г., Ги де Мопассан, тот французский писатель, который имел все права называть себя «учеником» Тургенева, высказывал мысль, что именно «Записки охотника» являются «основой его широкой популярности»; в этой же статье он подробно рассказывал, как была создана эта «историческая книга». «Тургенев,— писал Мопассан, — молодой, пылкий, свободолюбивый, выросший в самой гуще провинциальной жизни, в степях, где он наблюдал крестьянина в его домашнем быту со всеми его страданиями и ужасающим трудом, в рабстве и нищете, — был исполнен жалости к этому смиренному, терпеливому труженику, негодования к его угнетателям и ненависти к тирании. Он описал на нескольких страницах мучения этих обездоленных людей, но с такой силой, правдой, страстью и таким стилем, что вызвал волнение, распространившееся на все слои общества. Увлеченный этим быстрым и неожиданным успехом, он продолжал серию коротких этюдов, изображая все тех же деревенских обитателей; и как стрелы, бьющие в одну и ту же цель, каждая его страница разила в самое сердце помещичью власть и ненавистный принцип крепостного права».[64]

в другой раз Анненков отметил, что отзыв Гизо относился к другому произведению Тургенева — к «Дневнику лишнего человека», а не к рассказу из «Записок охотника» (там же. С. 379).

[64] *Мопассан Ги де.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 13. С. 65—66. Статья была напечатана в газете «Gaulois» 21 ноября 1880 г.

Мопассан хорошо знал «Записки охотника». Несомненно, сам Тургенев посвятил его в историю создания этой книги; действенную, революционную силу «Записок» Мопассан, подобно большинству своих соотечественников, склонен был даже преувеличивать (предполагая, что именно «Записки» оказались причиной отмены крепостного права в России). Мопассан испытал на себе мощное воздействие «Записок охотника» еще в 1870-е гг., в тот период, который был особенно важным, решающим в сложном и длительном процессе его развития. Высказывалась мысль, что возникший у Мопассана замысел создать цикл охотничьих рассказов под общим заглавием «Рассказы вальдшнепа» восходит к «Запискам охотника» в композиционном и стилистическом смысле,[65] но «уроки художественной правды», полученные им у Тургенева, были гораздо глубже. В тот реакционный период 1870-х гг., когда Франция, по словам Салтыкова-Щедрина, «перестала быть светочем человечества», Мопассан, реалист и обличитель буржуазной действительности, именно под влиянием «Записок охотника» обращается к «народной теме», для того чтобы показать «великие горести» «простых и честных людей». Именно под воздействием книги Тургенева Мопассан создал такие свои ранние рассказы, как «Кропильщик» и «Папа Симона» — с его образом кузнеца Филиппа Реми.[66]

Таким образом, на протяжении десятилетий «Записки охотника» закономерно превращались во французской литературе в одну из классических иностранных книг, любимых и широко известных читателям. Естественно, что французские издания «Записок охотника» чрезвычайно многочисленны; книга переводилась и переиздавалась много раз полностью и в отрывках; отдельные очерки цикла печатались в самых различных сборниках, с подлинными или измененными заглавиями, с комментариями и пояснениями разного рода и без них, приспособленные к читателям разного уровня или возраста; воспроизводились они, наконец, в десятках книг, иллюстрированных французскими художниками.[67] Мы можем привести здесь лишь несколько примеров, иллюстрирующих это общее положение. Стоит, например, отметить, что первый перевод «Записок», сделанный Э. Шаррьером, несмотря на негодующий отзыв Тургенева и наличие других переводов, издавался во Франции 13 раз (1854, 1855; дополненное и исправленное издание 1869 г. выходило в свет в 1873, 1880, 1883, 1886, 1890, 1891, 1896, 1901, 1908 и

[65] *Куроедова Н. Н.* Ги де Мопассан и Тургенев: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Харьков, 1952. С. 4—15.

[66] Особо выделила эти сближения Е. М. Горфейн в своей диссертации «Раннее творчество Ги де Мопассана как этап формирования его общественно-политических и литературных взглядов» (Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Л., 1953. С. 10—13). См. также: *Данилин Ю.* Мопассан и И. С. Тургенев// Мопассан Ги де. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 399.

[67] Библиография изданий «Записок охотника» на французском языке дана в книге: *Boutchik V.* Bibliographie des oeuvers littéraires russes traduites en français. Paris, 1949. P. 8—12, 20—24.

1912 гг.). Второй перевод «Записок охотника» И. Делаво, однако, издан был только дважды — в 1858 и 1878 гг.

Во второй половине XIX в. «Записки охотника» заново переведены были на французский язык *четырьмя* переводчиками, однако не в полном виде и зачастую со значительными искажениями подлинного текста. В последней четверти столетия эта книга Тургенева охотно издавалась во Франции различными издательствами, входила в состав всевозможных серий (так, в 1888 г. «Записки охотника» составили 55-й томик серии «Знаменитые писатели», выпускавшейся издательством Фламмариона, в 1892 г. вошли в библиотеку «Шедевры столетия с иллюстрациями», под № 20, и т. д.). Даже довольно ремесленные переводы И. Гальперина-Каминского, в основу которых положен был старый текст Шаррьера, кое-где подправленный и обновленный, опубликованы были в двух сборниках 1892 (2-е изд. 1893 г.) и 1913 гг., а частично и во многих других изданиях.

Уже в конце XIX в. «Записки охотника» сделались популярной книгой для французского юношества: в 1891 г. Эрнест Жобер издал свой перевод «Записок», приспособленный для «молодых читателей» Франции, с иллюстрациями Рене Мёнье (сюда вошли «Хорь и Калиныч», «Лебедянь», «Однодворец Овсяников», «Бежин луг», «Чертопханов и Недопюскин», «Льгов» и «Певцы»). Более полное издание избранных и «адаптированных для юношества» рассказов того же цикла И. Гальперин-Каминский выпустил в 1913 г. (с иллюстрациями И. Перельмана), и в качестве любимой детской книги она переиздавалась несколько раз в различном формате и обличии (в 1926 г., с ил. Р. Дезуша, дважды в 1927 г. и т. д.).

Такого рода «адаптации» не часто свидетельствовали и о хорошем вкусе переводчиков, и о достаточном знании ими русского языка и литературы, зато сделанный в этих изданиях выбор рассказов из «Записок охотника» был большей частью очень типичным. Иные из этих поздних переводчиков стремились не только к тому, чтобы приспособить рассказы Тургенева к уровню понимания французских школьников, опуская из текста некоторые, как им казалось, «излишние» подробности исторического, этнографического или географического характера, но и старались «обезвредить» «Записки охотника», вручаемые подрастающему поколению, с точки зрения типично буржуазных предрассудков, исключая из перевода «непристойные» места, любовные эпизоды — все то, что представлялось им слишком резким, вульгарным, «грубым», а на самом деле было общественно значительным. Тенденция по возможности ослабить в переводе яркую общественную направленность «Записок охотника» явственно сказывалась в ряде французских изданий книги в XX веке.[68] Но вытравить полностью социальный смысл шедевра Тургенева было едва ли возможно; в десятках своих пере-

---

[68] Характерно, что один из новых переводов «Записок охотника», выполненный М. Вимэ и изданный в Париже в 1939 г., был переиздан несколько лет спустя под заглавием «Сентиментальный охотник» (1942).

изданий и «адаптаций» книга по-прежнему звала вперед, к социальной правде, к лучшему будущему.

Характерно, что уже в наше время появились новые французские переводы «Записок охотника», сделанные с тонким пониманием подлинного текста и большим переводческим мастерством. Таковы прежде всего два полных перевода (оба — 1929 г.), сопровождаемые ценными комментариями, выполненные двумя прекрасными знатоками Тургенева — Анри Монго и Луи Жуссерандо.[69] Переводы эти не совпадают друг с другом, но каждый из них обладает значительными достоинствами. Этим переводчикам, знатокам русского языка и литературы, удалось не только избежать каких-либо смысловых ошибок и неясностей, но и передать средствами образцовой французской речи все отличия стилистической манеры Тургенева.

6

Сходную судьбу «Записки охотника» имели также в английской литературе. В Англии об этой книге Тургенева узнали почти одновременно с французскими читателями. Еще в августовской книжке журнала «Фрэзерс мэгезин»[70] за 1854 г. напечатана была анонимная статья под заглавием «Фотографии русской жизни»; здесь в первый раз в английской печати дана была общая характеристика «Записок охотника», сопровождавшаяся пятью отрывками из этой книги в английском переводе. Вероятнее всего, что источник и этой статьи, и включенных в нее переводов был французский: вспомним, что перевод Шаррьера вышел в Париже еще в апреле 1854 г. и что важнейшие статьи, вызванные этим изданием, появились во французской печати между июнем и августом того же года. Самое заглавие статьи в «Фрэзерс мэгезин» могло восходить также к французскому источнику, как и несколько раз повторенные в ее тексте термины «фотография» и «дагерротип»: мы уже видели, что ими пользовались и во Франции для характеристики реалистической манеры Тургенева. Следует, однако, иметь в виду, что содержание этих понятий было тогда глубоко отличным от того, которое вкладывается в них в настоящее время. Способ создавать «дагерротипические» изображения был в то время еще технической новинкой и вызывал всеобщее восторженное удивление; с конца 40-х гг. слово «дагерротипический» (а несколько позднее и «фотографический») начинает употребляться и как литературный термин (например, Мериме) в значении «верный действительности», «искусно

[69] Mémoires d'un chasseur//Traduction intégrale et conforme au texte russe, accompagnée d'une introduction et des notes, par H. Mongault. Paris; Bossard, 1929 (2 тома); Récits d'un chasseur. Recueil complet des esquises et récits publiées de 1847 à 1876/Traduction nouvelle et intégrale avec commentaire par Louis Jousserandot. Paris; Payot, 1929 (в одном томе).

[70] Frazer's Magazine. 1854. Vol. L. August. P. 209—222.

воспроизводящий действительность», притом с оттенком явной похвалы. Автор первой английской статьи о «Записках охотника» менее всего хотел внушить читателям впечатление, что Тургенев просто «воспроизводит» действительность с полным беспристрастием и без всякого авторского взгляда на вещи. Напротив, он ясно разобрался в намерениях Тургенева и в основной общественной мысли, одушевляющей «Записки охотника», но своеобразием его как художника считал то, что Тургенев заставляет говорить самые факты жизни, что он «морализует не на словах, но на примерах». Спокойная, сдержанная манера рассказчика, лишенная навязчивой риторики, но способная создавать картины большой эмоциональной силы, представляется английскому критику признаком дарования автора и свидетельством присущего ему художественного такта. Подобно своим французским предшественникам, критик «Фрэзерс мэгезин» снова сопоставляет «Записки охотника» с «Хижиной дяди Тома» Бичер Стоу — в пользу Тургенева;[71] он полагает, что книга русского писателя, при ее малом объеме и эпизодическом характере построения, дает более красноречивую и впечатляющую картину крепостничества, чем это могли бы представить «несколько томов» исследований. Характерен и самый выбор иллюстрирующих эти положения отрывков из «Записок охотника»: в статью включены страницы из «Хоря и Калиныча», «Двух помещиков», «Бурмистра», «Певцов», а «Бежин луг» рекомендуется читателям как рассказ, «полный поэзии» и особенно своеобразный по своему «национальному колориту». Таким образом, статья давала представление и о различных типах русских крестьян, с полным сочувствием изображенных Тургеневым, и о владельцах «крепостных душ» (из «Двух помещиков» приведен знаменитый эпизод о наказании «буфетчика Васи» по приказу Мардария Аполлоныча, из «Бурмистра» — портрет офранцуженного помещика Пеночкина, отдающего распоряжение высечь слугу за ненагретое красное вино). При всей своей неполноте эта первая английская статья о «Записках охотника» и о Тургеневе вообще, вводившая его в английскую литературу, представляется интересной во многих отношениях; однако всего примечательнее в ней то, что она провозглашала идейно-художественное значение «Записок охотника» как книги, выходящей за пределы одной лишь русской литературы, и что она делала это в Англии вопреки шовинистическому угару военного года.

В следующем году четыре рассказа из «Записок охотника» вновь появились в английском журнале, в новых и более полных переводах. Это был знаменитый журнал Чарльза Диккенса «Вседневные слова» («Household Words»). Хотя Диккенс привлек к участию в своем журнале ряд сотрудников, но все доставлявшиеся ими материалы публиковались здесь анонимно; с другой стороны, известно, что Диккенс основательно занимался своим журна-

---

[71] Это сопоставление мы находим в большинстве иностранных статей о «Записках охотника» 1850-х гг.; оно стало в литературе о Тургеневе одним из «общих мест».

лом и много писал для него сам. Таким образом, хотя и трудно утверждать с полной уверенностью, что как самый выбор для переводов из «Записок охотника», так и сопровождающие их пояснения принадлежат Диккенсу, но более чем вероятно, что все это было сделано с ведома редактора и его полного одобрения; очень возможно поэтому, что Диккенсу были известны и полный текст «Записок охотника», и вызванная книгой критическая литература. Источники и на этот раз были французские: русского языка Диккенс не знал, по-французски же он и читал и писал.

Отрывки из «Записок охотника» появились в четырех номерах журнала Диккенса, вышедших 3 марта, 7 апреля, 21 апреля и 24 ноября 1855 г. Здесь были помещены с сокращениями, под произвольными и не очень удачными заглавиями «Бурмистр», «Петр Петрович Каратаев», «Льгов» и «Певцы».[72] Введение к первому рассказу высказывает особое негодование по поводу жестокостей, творящихся в стране, считающей себя «цивилизованной и христианской»; «Записки охотника», по мнению критика, вполне подтверждают распространенные представления об ужасах крепостного режима, установленного «злейшим врагом человечества» — Николаем I. В выборе остальных отрывков из книги Тургенева чувствуется та же тенденция — внушить читателям ненависть к деспотизму русского императора и в то же время подчеркнуть гуманистический замысел «Записок охотника». Однако в последнем, как, впрочем, и в оценке художественных качеств книги Тургенева, критик все же не понял многого; он хвалил ее «правдивость» и «свежесть», относя их, однако, к «неопытности» автора; что же касается общественного пафоса книги, то ее призывы показались ему даже слишком «опасными»: не имея никакого представления ни о русском писателе, ни о социальной роли русской литературы, ни, наконец, о русской действительности 1840-х гг., он даже сравнил автора «Записок охотника» с «красным индийским оратором». Несмотря на эти преувеличения и несообразности, которые следует отнести в известной мере к весьма противоречивым и сложным англо-русским отношениям периода Крымской войны, и эта публикация четырех рассказов из «Записок охотника» имела некоторое значение для популяризации этой книги среди английских читателей;[73] благодаря авторитету и славе своего редактора журнал Дик-

---

[72] Household Words. 1855. Vol. 11. P. 108—114, 227—252, 286—288; Vol. 12. P. 404—405.

[73] Необходимо отметить, что все четыре рассказа Тургенева даны здесь в довольно полном виде и в оригинальном переводе, не совпадающем с другими ранними английскими переводами «Записок охотника». Из рассказа «Бурмистр» в журнале Диккенса исключены лишь некоторые незначительные подробности (например, то место, где описывается, как деревенские мальчишки в длинных рубашонках с воплем разбегались в избы при виде идущего по улице помещика); в рассказе «Петр Петрович Каратаев» опущен конец; более сильно сокращен «Льгов», из которого исчезло все, относящееся к «вольноотпущенному дворовому человеку» Владимиру; наконец, в «Певцах» исключены кое-какие детали, относящиеся к описанию Притынного кабачка, характеристики второстепенных действующих лиц, например целовальника Николая Ивановича, концовка с упоминанием Антропки и т. д.

кенса имел много подписчиков и пользовался широким распространением также за пределами Англии.

Не сохранилось данных о том, известны ли были Тургеневу указанные переводы из «Записок охотника», но мы знаем, что впоследствии он лично познакомился с Диккенсом и всегда высоко ценил его произведения. Дата их первой личной встречи остается неустановленной, но едва ли это могло произойти ранее 1863 г.;[74] тем интереснее отметить, что еще в 1862 г. Тургенев послал Диккенсу «Записки охотника» во французском переводе Делаво 1858 г. Эта книга сохранилась в составе библиотеки Диккенса; направляя ее знаменитому английскому писателю, Тургенев сделал на ней следующую надпись на английском языке: «Charles Dickens from one of his greatest admirers. Paris, 1862». (Чарльзу Диккенсу — от одного из его самых больших почитателей. Париж, 1862»).[75] Ближайшие поводы, вызвавшие этот дарственный акт со стороны Тургенева, к сожалению, также остаются нам неизвестными. Зачем Тургенев послал Диккенсу перевод Делаво, изданный за четыре года перед тем? Мы вправе предположить лишь то, что в это время Тургенев считал перевод Делаво, тщательно им самим отредактированный и «авторизованный», лучшим из существовавших в то время переводов «Записок охотника» на западноевропейские языки, в том числе и на английский; очевидно, Тургеневу хотелось, чтобы Диккенс имел под рукой «Записки охотника» в более точном и верном переводе, чем те, какими он мог располагать до того. В этой связи интересно подчеркнуть, что несколько ранее того времени, когда Диккенс печатал в своем журнале четыре рассказа из «Записок охотника», в Эдинбурге появился первый полный английский перевод «Записок охотника» и что впоследствии Тургенев в английском же журнале высказался об этом переводе крайне отрицательно. Перевод, который мы имеем в виду, принадлежал перу Джеймса Миклджона и назывался «Русская жизнь во внутренних областях страны, или Впечатления охотника. Сочинение Ивана Тургенева из Москвы».[76] Хотя на титульном листе этой книги и

---

[74] Н. Гутьяр, основываясь на свидетельстве П. В. Анненкова, полагает, что Тургенев познакомился с Диккенсом в 1863 г. в Париже, на «чтениях» английского романиста (*Гутьяр Н.* Поездки Тургенева в Англию//Труды Кубанского пед. ин-та. Краснодар, 1929. Кн. 2—3. С. 246); с другой стороны, как указывает А. В. Никитенко, в начале февраля 1864 г. в Петербурге Тургенев сам рассказывал «о сношениях своих с заграничными писателями, особенно с Диккенсом» (*Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 406). Известно, однако, что Диккенс был близко знаком с П. Виардо и бывал у нее в доме. Первое опубликованное письмо Диккенса к П. Виардо датировано 3 декабря 1855 г., следовательно, вскоре после того, как закончилась публикация отрывков из «Записок охотника» в журнале Диккенса. Можно предположить, что П. Виардо принадлежала и инициатива ознакомления Диккенса с этим произведением.

[75] The Dickensian 1945. Vol. 41. № 274. P. 60.

[76] Russian Life in the Interior; or the Experiences of a Sportsman. By Ivan Tourghenieff of Moscow/Ed. by James D. Meiklejohn. Edinburgh, 1855. 428 p.

стоит 1855 г., но она вышла в свет несколько ранее;[77] в кратком предисловии, датированном «9 декабря 1854 года, Эдинбург», переводчик прямо сослался на свой источник. «Эта книга, — пишет он, — вышла в Москве в 1852 г. под заглавием „Записки охотника". Несколько месяцев тому назад в Париже появился ее французский перевод, а недавно напечатан и немецкий. Настоящий перевод сделан с французского». Таким образом, не зная русского языка, Миклджон переводил «Записки охотника» с французского перевода Э. Шаррьера, следуя ему буквально и добавляя к нему лишь собственные искажения, в частности в транскрипции русских слов; только заглавие книги было им изменено по его собственному усмотрению. Сопоставление переводов Шаррьера и Миклджона подтверждает, что они полностью совпадают; английский переводчик не рискнул сделать никаких пропусков или добавлений даже в пояснительных примечаниях. Мы уже отмечали выше, насколько отрицательно Тургенев отнесся к переводу Шаррьера; поэтому он был вполне последователен, когда строго осудил также его английскую копию. Много лет спустя (в 1868 г.), протестуя в английской печати против неудовлетворительного перевода своего романа «Дым», Тургенев писал: «...мне не везет: уже мое первое произведение — „Записки охотника" — было совершенно искажено и урезано в переводе, вышедшем в Эдинбурге».[78] Дальнейшие английские издания «Записок охотника» были немногочисленны.[79] Когда с конца 1860-х гг. Тургенев приобрел в Англии в лице Вильяма Рольстона своего восторженного почитателя, переводчика и неутомимого популяризатора, известность его в английской литературе стала быстро возрастать, но в последнее десятилетие жизни Тургенева его знали здесь прежде всего как романиста, как автора «Дворянского гнезда», «Накануне», «Нови» и других произведений, выходивших в свет в английских переводах тотчас же после появления их в русском оригинале. Лишь на рубеже XIX и XX вв., когда слава и литературное влияние Тургенева достигли в Англии наибольшей силы, «Записки охотника» много читались в новом, полном и на этот раз очень удачном переводе Констанции Гарнетт в составе полного собрания его сочинений в 15 томах (1894—1899;

---

[77] Выход этой книги кратко отмечен в последнем, декабрьском, номере лондонского журнала «Атенеум» за 1854 г. (с. 1587), позднее несколько строк переводу Миклджона посвятил и другой журнал — «British Quarterly Review» (Vol. 21. April. P. 569).

[78] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Сочинения. Т. 15. С. 150. «Русский архив» (1868. С. 324—325), перечисляя некоторые имевшиеся к тому времени переводы «Записок охотника» на западноевропейские языки, прямо называет эдинбургский перевод Миклджона «переделкой».

[79] Если не принимать во внимание нескольких переводов отдельных рассказов из «Записок охотника», опубликованных в разное время в журналах, то следующее отдельное издание всей книги в целом появилось лишь сорок лет спустя в новом переводе Е. Рихтер: Tales from Note-Book of a Sportsman. London, 1895. Характерно, что для американского издания книги 1885 г. («Annals of a Sportsman») перевод Ф. Аббота сделан был с французского текста. См.: *Gettman R. A.* Turgenev in England and America. Urbana, 1941. P. 187—189.

оно дважды переиздавалось в Лондоне в 1906—1907 гг. и один раз в Нью-Йорке — в 1906 г.).[80] Тем не менее первые впечатления от «Записок охотника» в Англии и ранее не были забыты; эту книгу хорошо знали все многочисленные английские друзья Тургенева, немало писали о ней в различных критических статьях, ему посвященных, даже преувеличивали сыгранную ею общественную роль. Хорошо осведомленный М. М. Ковалевский с достаточным основанием высказывал предположение, что именно «Записки охотника» сыграли решающую роль в присуждении Тургеневу Оксфордским университетом в 1878 г. почетного звания «доктора гражданского права». «Этой чести, — замечает Ковалевский, — он был удостоен за ту роль, какую на Западе вообще приписывают ему в деле освобождения крестьян. Некоторые англичане и французы до сих пор не прочь думать, что крестьян освободили у нас потому, что Тургенев написал свои «Записки охотника"».[81] Такое заблуждение действительно не раз повторялось в Англии вплоть до недавнего времени.[82]

Пристальное внимание к творчеству Тургенева в Англии в конце XIX и начале XX в. и сила воздействия его на английских писателей этого времени не были случайными: здесь повторилось то, что с такой последовательностью обнаруживалось и во многих других европейских литературах. В тот период, когда в Англии империалистическая реакция повела решительное наступление на культуру, когда черты упадка проявлялись все отчетливее во всех областях ее идейной жизни, классическая русская литература приобретала особое значение как своего рода гуманистическое и демократическое противоядие силам реакции и декадентской опустошенности. Тургенев, наряду с некоторыми другими русскими писателями, сыграл в это время в Англии (и частично в Америке) именно такую роль. В нем искали опоры те старые и молодые писатели, которые старались найти выход из противоречий своего времени; он будил их критическую мысль, у Тургенева учились они напряженному интересу к правде жизни, любви к человеку, ненависти к жестокости, лицемерию и корысти. Творчеством Тургенева всецело захвачены были в это время такие видные мастера английской художественной прозы, как Д. Голсуорси, А. Беннет, Д. Мур и многие другие. «Русские идеи одушевляли тогда боль-

---

[80] Отметим, кстати, что когда в конце XIX в. в Англии усилился интерес к русскому языку, здесь начали появляться и специальные практические руководства для его изучения, в которых учебные тексты заимствовались из классических произведений русских писателей. В 1890 г. некий П. Мотти издал в Лондоне два таких руководства, где особенно широко пользовался для демонстрации переводов с русского на английский цитатами из «Записок охотника» (Исторический вестник. 1890. № 12. С. 839).

[81] И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969. Т. 2. С. 143.

[82] Ф. М. Форд, много говорящий в своих воспоминаниях об огромном значении, которое творчество Тургенева имело для английских писателей конца XIX в., прямо утверждает, что книги Тургенева «произвели целую революцию, содействовав освобождению крестьян» (*Ford F. M.* Portraits from Life. New York, 1937. P. 14, 124—134, 143).

шинство английских писателей, — вспоминает Ф. М. Форд. — Значительное место в этих влияниях принадлежало сначала Тургеневу <...> Для некоторых писателей, например для Генри Джеймса, Тургенев был, по его собственным словам, прекрасным гением его молодости. Для него Тургенев осуществлял совершенство во всем: в книгах, в манерах, отношениях. Влияние Тургенева на Генри Джеймса всегда было огромно; иначе его я и не помню. Зато какое беспокойство овладело мной, когда однажды утром Голсуорси тоже заговорил о Тургеневе <...> Он узнал муки сострадания и возмущения за страдания других <...> До этого Голсуорси был беззаботным молодым человеком, но явился Тургенев, самый опасный писатель для своих учеников, и Голсуорси потерял душевное спокойствие». Голсуорси действительно стал одним из наиболее преданных и восторженных почитателей творчества Тургенева. Характерно, что свой ранний роман «Остров фарисеев» (1904) Голсуорси посвятил Констанции Гарнетт «в благодарность за переводы произведений Тургенева». Утверждая, что Тургенев «гораздо больше повлиял на Запад, чем Запад на него»,[83] Голсуорси провозглашал его одним из самых совершенных художников слова, правдивым и гуманным, литературное мастерство которого усиливало глубокую идейную сущность и принципиальную общественную целеустремленность его творчества. В произведениях самого Голсуорси «Записки охотника» отразились в меньшей степени, чем романы Тургенева, но все же он высоко ценил портретное и пейзажное мастерство этой книги, «искусство отражения настроений действующих лиц в окружающей их поэтической атмосфере», а об идейно и тематически близкой к «Запискам охотника» повести Тургенева «Муму» он писал: «Никогда в искусстве не было нарисовано более волнующего протеста против тиранической жестокости». Однако в те же годы в английской литературе создано было произведение, всецело обязанное именно «Запискам охотника». Это была книга Джорджа Мура «Невспаханное поле» (1903).

Джордж Мур (1853—1933), ирландец по происхождению, свои юношеские годы провел в Париже, учась живописи и колеблясь еще, отдать ли свои силы мастерству художника или профессионального литератора. В Париже состоялось и его знакомство с Тургеневым. Джордж Мур сам рассказал о своей единственной встрече (в 1878 г.) с «великим русским писателем» в интересной статье о нем, содержащей в себе помимо личных воспоминаний довольно подробную характеристику творчества Тургенева, которое он знал хорошо и во всей полноте.[84] Мы находим здесь, в частности, довольно подробную характеристику «Записок охотника». Мур считает, что в этих рассказах «Тургенев стоит особняком, возвышаясь над всеми соперниками». «Что имеем мы, англичане, в своей

---

[83] *Galsworthy J.* Castles of Spain. Leipzig, 1928. P. 183.

[84] *Moore G.* Tourguenef//Fortnightly Review. 1888. Vol. 49. February. P. 237—251. (Эта статья перепечатана в книге Мура «Impressions and Opinions». London, 1891).

литературе, или что имеют французы такого, что хотя бы на мгновение могло бы быть сопоставлено с „Записками охотника“? Талант Тургенева в этих рассказах проявляется в полном своем блеске... При чтении их литература понимается нами как нечто совершенно новое, так как они совершенно новы по форме и содержанию и не имеют в прошлом никаких корней». «С первой же строки повествование стремится вперед; нет ни колебаний, ни остановок; читатель не предупрежден заранее, что произойдет дальше. Но в этом нет никакой необходимости, потому что события подобраны столь искусно, что они следуют друг за другом без всякой толкотни или нестройности, а каждое из них, доходя до сознания читателя, вызывает у него удивление своей естественностью и неожиданностью. Создается полная иллюзия. Каждая фраза соответствует самой жизни. Самым изумительным во всем этом, вероятно, является то, что простое, так сказать „обнаженное“ повествование заключает в себе такое же умственное очарование, как и психологический роман».[85] В качестве примера Дж. Мур пересказывает содержание одного рассказа из «Записок охотника», не приводя его заглавия; речь идет о «Касьяне с Красивой Мечи»: «Сюжет его очень прост. Из-за сломанной у экипажа оси охотнику пришлось остановиться в деревне, где он встречает карлика Касьяна. Они идут на охоту, но дичь не попадается им; они беседуют, лежа на траве. Вдруг появляется девочка, очень похожая на карлика... Это все; но рассказанное Тургеневым, это становится шедевром».[86] Мура восхищает в «Записках охотника» искусство Тургенева превращать в такие шедевры «самые незначительные случаи»; «...он никогда не навязывает свои идеи читателю, но сила его таланта такова, что он ведет его за собой». Мягкую, но уверенную манеру письма Тургенева Мур сравнивает с той, которая свойственна пейзажам французского художника Коро, но прибегает и к другим, близким к сфере его эстетических интересов того времени живописно-литературным сопоставлениям: «Герои Тургенева говорят и действуют с исключительной естественностью, но они скорее естественны своей фотографической натуральностью, чем натуральностью Рембрандта и Бальзака... Это не жизнь плюс художник, это просто жизнь... Он не Тициан и не Тёрнер, но все же его герои реальны. Они настолько реальны, что они учат вас так, как может учить только одна жизнь».[87] Естественно, что не все наблюдения Дж. Мура над творчеством Тургенева и его критические параллели следует принимать на веру или считать бесспорными; тем не менее приведенные цитаты хорошо иллюстрируют не только особенности восприятия Муром творчества столь любимого им русского писателя, и в частности его «Записок охотника», но прежде всего характеризуют силу его восторженного удивления художественными качествами этой книги.

---

[85] Ibid. P. 247—248.
[86] Ibid. P. 239.
[87] Ibid. P 248—249.

Собственное литературное творчество Мура шло извилистыми путями. Он пережил полосу сильного увлечения французским натурализмом, эстетическими течениями конца века и т. д., но любовь к Тургеневу не покидала его до конца жизни и, вероятно, удерживала от многих крайностей в его идейно-художественных блужданиях. В начале XX в., живя в Дублине, Мур захвачен был ирландским национальным движением и написал несколько книг, посвященных ирландскому народу, фермерам, ремесленникам, пытаясь вскрыть причины их горя и нужды. Одной из этих книг был сборник рассказов из ирландской сельской жизни «Невспаханное поле». Большинство исследователей Мура согласно утверждают, что эта книга написана под сильным воздействием «Записок охотника» Тургенева.[88] Впрочем, это утверждал уже и сам автор в посвящении этой книги другу своему Джону Эглинтону, датированном маем 1903 г. Рассказывая здесь об обстоятельствах, при которых она была создана, Мур напоминал Эглинтону: «...Я рассказал тебе небольшую историю об одной ирландской танцовщице, и ты предложил мне написать сборник рассказов из ирландской жизни, который был бы, по твоим словам, книгой воспоминаний, оживленной собственными наблюдениями и критикой человека, вернувшегося на свою родину. Ты сказал мне, что за образец я должен взять „Записки охотника" Тургенева. Сердце мое содрогнулось, и я, кажется, ответил, что это равносильно тому, чтобы просить меня быть таким же художником, как Коро. Хотя прекрасное мастерство Тургенева или Коро никогда не возникает вновь, но искусство по-прежнему будет развиваться, являясь то чистым, то мутным...».[89] В этой же связи Мур говорил о Тургеневе и в предисловии к другой своей книге — роману «Озеро».

«Невспаханное поле», по замыслу Мура, — это Ирландия с ее нераскрытыми человеческими силами и творческими возможностями, всеми забытая и пренебреженная. Книга состоит из цикла рассказов, повествующих об ирландской деревне, преимущественно о ее темных сторонах. Правдиво и живописно, с полным сочувствием к трудовому люду описывает здесь автор полунищих фермеров, отданных на произвол всемогущего католического священника, разжигающего в темной массе фанатизм, суеверие и вынуждающего крестьян к эмиграции за океан. Таким образом, едва ли подлежит сомнению, что и в замысле этой книги, и в особенностях ее построения, в портретных характеристиках действующих лиц и, наконец, в пейзажной технике «Невспаханного поля» Мур был действительно многим обязан «Запискам охотника». Влияние Тургенева чувствуется и в более поздних произведениях Мура. Так, в его «Озере» («The Lake», 1905), по наблюдениям английских критиков, все, что укра-

---

[88] Такое утверждение, впрочем, без развернутых сопоставлений, мы находим, например, в биографии Дж. Мура, написанной Хопом (*Hone Joseph.* The Life of George Moore. London, 1936. P. 470), в статье Джемса Кларка в журнале «Englische Studien» (Leipzig, 1915. Bd 49. S. 88) и во многих других работах о творчестве Мура.

[89] *Moore G.* The Untilled Field. Leipzig, 1903. P. 5—6.

шает эту книгу, не лишенную значительных художественных достоинств, — полное тонкой живописности и лиризма описание зеркальной глади озера, облаков, жемчужной дымки летнего дня, широкие картины ирландской жизни, народные предания, вся история любви Оливера к Норе, — восходит к Тургеневу — то к «Запискам охотника», то к «Дворянскому гнезду», то к «Накануне».[90]

Несколько позже, чем в Англии, сильное увлечение Тургеневым проявилось также в Америке. Одним из ранних популяризаторов русского писателя, кроме Генри Джеймса, был здесь критик Томас Перри, много писавший о Тургеневе еще в 1870-х гг. XIX в. В истолковании Т. Перри Тургенев представлен последовательным реалистом, и именно такое искусство в его совершенном образце Т. Перри считает достойным для подражания американских писателей в той литературе, которой приходилось еще бороться с литературными штампами, условностями и компромиссами всякого рода. Перри в особенности подчеркивал, что Тургенев «стоит обеими ногами на земле», что он дает в своих произведениях не «картинки, взятые с поверхности жизни», но «самую жизнь в ее течении». Мастера западноевропейского романа, с точки зрения Перри и его единомышленников, в значительно меньшей степени отвечали новым требованиям реалистического искусства, чем творчество Тургенева, потому что если эти писатели «описывали» жизнь, то Тургенев «воссоздавал» ее. Совместные усилия по истолкованию и популяризации творчества Тургенева в Соединенных Штатах критика Перри и таких видных американских романистов, как Генри Джеймс и Вильям Дин Гоуэллс, сказались очень быстро. Непосредственное и сильное воздействие творчества Тургенева на американскую литературу пришлось за последнюю четверть XIX в., на период борьбы за идейное реалистическое искусство.

Любопытно при этом, что в Америке, в особенности в ранние годы «культа Тургенева», такие его произведения, как «Записки охотника», ценились даже больше, чем в Англии: социальные отношения в русской деревне крепостнической эпохи были гораздо ближе и понятнее американским читателям той поры, чем английским, пережившим уже «смерть земли» на своей родине. Ценное свидетельство по этому поводу мы находим в «Воспоминаниях о Тургеневе» М. М. Ковалевского. «В Англии, как говорила мне Джордж Элиот, — рассказывает Ковалевский, близко знавший эту английскую писательницу, — Тургенева читали мало, хотя и ценили много. Слишком уж далека от нас ваша жизнь <...> Ценить в Тургеневе мы можем только его художественность, а эта сторона писателя понятна лишь немногим истинным любителям и знатокам дела. В Америке, наоборот, недавнее освобождение негров из неволи как бы породнило общество с тем из русских писателей, который всего громче подымал голос за свободу крестьян». «„Записки охотника“, — прибавляет Ковалевский, — как я сам имел случай убедиться в бытность мою в Соединенных Штатах, хорошо известны

---

[90] *Gettman R. A.* Turgenev in England and America. P. 151.

там читателям не только высшего, но и среднего общества. Тургеневу удалось даже создать нечто вроде маленькой школы в среде американских романистов».[91]

Западноевропейская критика еще в 1880-х гг., когда повсеместно получили широкую известность полные поэзии и гуманистического пафоса рассказы из быта калифорнийских «старателей» американского писателя-демократа Фрэнсиса Брет-Гарта, неоднократно связывала эти рассказы с «Записками охотника». Так, немецкий писатель Отто Брам в своей статье о Тургеневе, напечатанной в журнале Шпильгагена («Westermann's Monatshefte») в 1884 г., говоря о «Записках охотника», утверждал, что в разработанной Тургеневым форме короткого рассказа он не имел соперников и что «в этом отношении едва ли кто из европейских писателей может с ним сравниться»; «Записки охотника», — прибавлял О. Брам, — «имели, можно сказать, всемирно-литературное влияние и нашли себе отголосок даже на отдаленном конце света — в „Калифорнийских рассказах" Брет-Гарта».[92] Позднее английский критик Э. Брэйли Ходжеттс в статье «Место Тургенева в литературе» в свою очередь называл Брет-Гарта в числе американских писателей, попавших в орбиту воздействия творчества Тургенева.[93] Правда, это общее утверждение, считавшееся бесспорным, никогда не было подкреплено более подробными аргументами, хотя и представляется довольно правдоподобным.

Тот же М. М. Ковалевский в 1883 г. указал на другой, вполне достоверный пример воздействия творчества Тургенева на американского писателя Джорджа Кейбла, автора «Старых креольских дней» (1879), «Отверженного» и других произведений из быта южных штатов. В 1882 г., еще при жизни Тургенева, Ковалевский посетил Соединенные Штаты; он рассказывает, что, встретившись там с Хьяльмаром Бойезеном — выходцем из Скандинавии, ставшим американским профессором и писателем и в свою очередь восторженным почитателем Тургенева, он впервые услышал от него имя Кейбла. «Кто это такой? — спросил я, совершенно наивно. — Как кто! — отвечал Бойезен. — Кейбл, да это самый оригинальный наш рассказчик, автор наших таких же „Записок охотника", это наш реалист-художник, тот, которому всего лучше известен юг, кто там всех знает, и кого там всего менее любят. Познакомьтесь с ним и его повестями и вы увидите, как вам мало известно в Европе то, что поистине заслуживает звучания в нашей литературе». После такой рекомендации Ковалевский ездил в Новый Орлеан, на родину

---

[91] И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 142. Напомним, что первый раз извлечения из «Записок охотника», правда, в немецком переводе, были изданы в Соединенных Штатах еще в 1853 г.; они печатались в каком-то, точно не установленном немецком журнале. Герцен писал об этом М. К. Рейхель из Лондона 29 сентября 1853 г.: «В Америке в „Revue" немецком переведены Тургенева рассказы охот[ника]» (*Герцен А. И.* Собр. соч. М., 1961. Т. 25. С. 119).

[92] Неделя. 1885. № 5. С. 185—187.

[93] *Brayley Hodgetts E. A.* Turgenev's place in literature//Proceedings of Anglo-Russian Literary Society. 1896. № 13. P. 21.

Кейбла, чтобы лично познакомиться с автором американских «Записок охотника», и речь у них зашла действительно прежде всего о Тургеневе. Кейбла Ковалевский отнес, по отличающему его произведения «счастливому слиянию художественности и реализма», «к литературной семье Тургенева». «Сочинения последнего ему хорошо известны; он начал чтение их с „Дыма", который оставил его, впрочем, неудовлетворенным. Зато „Записки охотника", „Дворянское гнездо", „Отцы и дети"! Кейбл не знает достаточных похвал всем этим перлам в литературе не одних русских, но — всего человечества». Прочтя рекомендательную записку от Бойезена, врученную ему Ковалевским, Кейбл сказал ему: «Бойезен пишет мне, что вы знаете Тургенева. Как я рад видеть кого-нибудь, знакомого с ним! Ведь это величайший из современных писателей, первый художник и самый трезвый реалист. Мы все его здесь очень ценим. — Я имел случай убедиться в этом в Нью-Йорке, — отвечал я ему, — и, признаюсь, немало поражен этим. Ведь Тургенев прежде всего русский, который и описывает только русскую жизнь, а что вам в ней? Вы ее, вероятно, не знаете, да и знать не хотите. — Ну с этим последним я никогда не соглашусь, отвечал он шутя, а о том, что Тургенев — русский, я жалел не раз. Почему бы ему не приехать в Америку изучить богатство наших типов, и дать нам американские „Записки охотника"!». [94]

Мнение Бойезена о том, что сам Кэйбл создал нечто подобное этим «Запискам», было несомненным преувеличением; Кейбл не стал классиком американской литературы и довольно быстро исчерпал себя в однообразии наблюдений над привычной ему сферой действительности; лишь его ранние книги, созданные под непосредственным воздействием Тургенева, полные острых социальных конфликтов и достаточно красочных характеристик, сохранили к нему некоторое внимание; в старости он преимущественно занят был историческими работами.

В начале 1890-х гг., когда развернулась деятельная борьба за критический реализм в американской литературе, в сферу воздействия «Записок охотника» попал еще один писатель, в недавнем прошлом сам бывший фермером на Среднем Западе. Это был Хэмлин Гарленд (1860—1940), книга рассказов которого «Проезжие дороги» (1891) с гораздо большим правом, чем произведения Кэйбла, может быть сравнена с «Записками охотника» Тургенева. В своей книге Гарленд стремился правдиво изобразить безрадостное существование американского фермерства, полное лишений и горя, в период перехода Соединенных Штатов к империализму. В своих мемуарах Гарленд рассказывает, что замысел этой книги, в которой описана любовь к земле, отравленная нищетой и социальным гнетом, возникла у него тогда, когда он, после нескольких лет

---

[94] *М. К. (М. М. Ковалевский).* Мое знакомство с Кэйблем//Вестник Европы. 1883. № 5. С. 313—323. Во избежание недоразумений имя Джорджа Кэйбла (G. W. Cable, 1844—1925) мы всюду транскрибируем, как и имя Х. Бойезена (у Ковалевского — Бойсен), согласно установившейся в настоящее время традиции.

жизни в Бостоне в кругу демократически настроенных литераторов, навестил свои родные края в Дакоте. «Я пристально озирал землю вокруг, — рассказывает Гарленд, — и хотя я видел ее природную красоту, меня отталкивала безрадостность представлявшейся моему взору человеческой жизни. Одинокие, походившие на ящики, жилища фермеров на холмах вдруг показались мне похожими на логовища диких зверей. Серость, грубость жизни этих людей терзала меня. Я поразился, что раньше никогда не думал о беспросветной судьбе женщины на ферме... Я задал себе вопрос, почему эти суровые факты, о которых пишут русские и английские писатели, не находят своего отражения в нашей литературе».

Дневники и черновые рукописи Гарленда свидетельствуют, что он хорошо знал произведения Тургенева уже в конце 1880-х гг. Поэтому непосредственная зависимость «Проезжих дорог» от «Записок охотника» в настоящее время не вызывает сомнений и считается прочно установленной; напрасно, однако, зарубежные исследователи нередко сводят эту зависимость прежде всего к пейзажам обеих книг и вообще к чисто внешним особенностям их построения и стиля.[95] Создавая свой сборник рассказов, Гарленд почерпнул из книги Тургенева значительно большее: его искусство правдивого рассказа о природе и тяжелом крестьянском труде, сопоставления ее несравненной красоты и подневольного положения живущих среди природы людей, которым отравляет естественные чувства и радости ее созерцания сознание тяготеющего над ними рабского клейма; недаром фермеры-арендаторы Среднего Запада, изображенные Гарлендом, нередко заставляют читателя вспоминать тургеневских крепостных крестьян. Правда, даже лучшим ранним произведениям Гарленда, встреченным в штыки реакционной американской прессой («Проезжие дороги» также вызвали необоснованные и клеветнические обвинения Гарленда в «извращении» им фактов), присущи были натуралистические тенденции, получившие

---

[95] Сопоставление «Проезжих дорог» («Main-Travelled Roads») Хэмлина Гарленда с «Записками охотника» мы находим, например, в недавней работе шведского исследователя Ларса Онебринка, посвященной становлению реализма в американской художественной литературе на рубеже XIX и XX вв. Онебринк усматривает сходство описания американской прерии у Гарленда с таким очерком Тургенева, как «Лес и степь», и, кстати, обращает внимание на то, что в американских изданиях «Записок охотника» русское слово «степь» переводилось английским «prairie» (а не steppe), имевшим специфический местный колорит. Онебринку кажется в то же время знаменательным, что первый рассказ в «Проезжих дорогах», как и упомянутый очерк Тургенева, открывается весьма живописным описанием великолепного весеннего утра, но он не обратил внимания на то весьма существенное обстоятельство, что если Гарленд начинает свою книгу таким описанием, то у Тургенева «Лес и степь» завершает всю книгу, и что это сделано им сознательно и с тонким артистическим расчетом. Приведенные Онебринком параллельные сопоставления нескольких пейзажей Тургенева и Гарленда обнаруживают известное сходство литературной манеры обоих писателей, но имеют все же сугубо «технический» характер. См.: *Ahnebrink Lars.* The Beginnings of Naturalism in American Fiction (1891—1903). Uppsala, 1950. P. 320. Более существенны указания Онебринка на прямые и косвенные отзвуки «Отцов и детей» и «Накануне» в произведениях Гарленда (с. 321—328).

дальнейшее развитие в его творчестве, и это в конце концов привело его к творческому тупику.

Сильное влияние Тургенева на американскую литературу конца XIX и начала XX в. уже служило предметом специальных исследований и не подлежит спору. В числе писателей этой поры, находившихся в орбите этого воздействия, числились такие прозаики, как Стивен Крейн и Франк Норрис,[96] но к ним влияние Тургенева шло уже главным образом от его романов, с их житейскими конфликтами и особой общественной проблематикой. «Записки охотника» для этих почитателей Тургенева уже отходили в прошлое, все еще ценимые как одно из образцовых произведений русской литературы, но в жестоких условиях действительности новой Америки воспринимавшееся уже почти как идиллическое.

7

В середине XIX в. «Записки охотника» были уже широко распространены во всех странах Европы. С тех пор критическая литература об этом произведении Тургенева росла повсеместно; множились также и переводы книги на всевозраставшее количество языков. Конечно, в каждой национальной литературе и на каждом живом языке, в соответствии с местными особенностями социально-исторической жизни той или иной страны, ее литературными и языковыми традициями и возможностями, история усвоения «Записок охотника» слагалась своеобразно, имела свои специфические черты. В некоторых странах, где ярко проявлялись целые периоды увлечения творчеством Тургенева, создавалась даже его «школа», популярность «Записок охотника» могла быть лишь производной в общей заинтересованности и внимании к знаменитому русскому писателю; в тех литературах, в которых с творчеством Тургенева познакомились с запозданием или из чужих рук, иногда внимание к его ранним произведениям уступало интересу к более поздним, к тем из них, которые широко обсуждались современной европейской печатью.[97] В других странах, наоборот, «Записки охотника»

---

[96] В указанном выше исследовании Ларса Онебринка две особые главы посвящены влиянию Тургенева на Стивена Крейна (с. 104, 328—332) и на Франка Норриса (с. 332—342).

[97] Так, по-видимому, обстояло дело в испанской литературе, где, как это ни странно, «Записки охотника» были известны менее всех других произведений Тургенева. В 1870—1880-х гг. Тургенев имел горячих и преданных почитателей среди виднейших литературных деятелей Испании. Иные из них, например Перес Гальдос, крупнейший из прогрессивных испанских романистов XIX в., считали его своим «великим учителем» и заявляли о том, что они знают «все его сочинения» и «любят как друга» (см. мою статью «Тургенев и испанские писатели»//Литературный критик. 1938. № 11. С. 142—144), но все они знали поздние произведения Тургенева. Другая видная писательница, Эмилия Пардо Басан, издавшая в 1887 г. свои лекции о русской литературе, читанные ею в мадридском «Атенее» под заглавием «Революция и роман в России» (Pardo Bazán E. La revolucion y la novela en Rusia. Madrid, 1887), посвятила Тургеневу всю третью часть этой книги: разумеется, она говорит

выдвигались на первый план, заслоняя романы и прочие произведения Тургенева, определяли к нему интерес читателей, вызывали все новые и новые переводческие усилия, порождали опыты подражаний ему и творческого с ним соревнования.

Многосторонние факторы содействовали в каждом отдельном случае своеобразию восприятия книги Тургенева читателями разных стран, и некоторые из этих факторов должны быть изучены особо, прежде чем мы сможем раскрыть действительные причины той или иной силы ее воздействия, того или иного к ней отношения. Свое значение могли здесь иметь и степень знакомства с русским языком в той или другой стране (а следовательно, и возможности перевода «Записок» непосредственно с оригинала), и распространенность тех иностранных языков, с которых иногда делались переводы «Записок» на отдельные национальные языки, минуя оригинал, и лексические и стилистические ресурсы этих национальных языков, и, разумеется, в первую очередь уровень тех познаний о России и русской социальной жизни в середине XIX в., без которых трудно было обойтись любому переводчику и критику Тургенева, где бы он ни трудился. Сам Тургенев, по воспоминаниям П. В. Анненкова, с некоторым удивлением следил за ростом популярности своих «Записок охотника» и успех своих рассказов «постоянно объяснял новостью предметов, ими затрагиваемых, и тем, что в них своя и чужестранная публика встретили еще не ожидаемые и не подозреваемые ими начала морали и своеобычной красоты».[98] Но все это, включая этические и эстетические представления, чтобы быть правильно понятым иностранными читателями, нередко требовало своеобразной «транспортировки», приспособления в соответствии с разнообразными национально-историческими традициями, своеобычными навыками жизненного опыта и устоявшимся национально-своеобразным отношением к произведениям искусства. В этом отношении изучение судьбы произведений Тургенева, и в частности его «Записок охотника», в некоторых литературах (например, в арабской или индийской) представляет особые трудности.[99] В кратком очерке истории распространения «Записок

здесь и о его «Diario de un cazador», т. е. о «Записках охотника» (с. 316—317), но книга эта была ей известна по французским источникам, так как не существовало перевода ее на испанский язык. В существующих библиографических перечнях русской литературы на испанском языке зарегистрированы переводы только двух рассказов «Записок охотника», опубликованных в конце XIX в. Оба они появились в мадридском журнале «La España Moderna»; это были «Живые мощи» в июльском номере 1891 г. и «Хорь и Калиныч» в сентябрьском номере 1897 г.

[98] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 378—379.

[99] О произведениях Тургенева в различных литературах зарубежного Востока мы располагаем еще разрозненными и неточными сведениями. В большинстве этих литератур сочинения Тургенева стали известны поздно и не из русских, а из иноязычных источников. В Турции, например, Тургенева переводили с французских переводов, иногда даже без имени автора, как это случилось, например, с переводом «Дыма» (*Гордлевский В.* Очерки по новой османской литературе. СПб., 1912. С. 73; отметим в связи с этим, что первая статья о Тургеневе в Турции также напечатана была на французском языке

охотника» в важнейших литературах XIX в., какой представляет собой данная статья, имеющая своей ближайшей целью указать на мировое значение книги Тургенева и на ее действительно историческую роль в этом столетии, нет, разумеется, возможности охватить весь относящийся сюда огромный материал, подлежащий еще описанию, систематизации и многостороннему изучению. Мы остановимся еще лишь на нескольких характерных эпизодах из истории странствований «Записок охотника», без которых развернутая в предшествующих главах картина была бы недостаточно полной и убедительной.

Выше уже было указано, как рано познакомились с «Записками охотника» в Германии благодаря инициативе А. Видерта и его немецких друзей. Появление двухтомного немецкого перевода «Записок» (1854—1855) почти совпало с выходом в свет первых переводов этой книги на французский и английский языки и привлекло к себе внимание читателей. Однако в зарубежной литературе о Тургеневе установилось мнение, что вспышка интереса к «Запискам охотника» в Германии была сравнительно кратковременной и что он возродился вновь лишь в конце 1860-х гг. благодаря новым переводам его произведений и статьям о нем крупнейших немецких критиков тех лет.[100] Такое мнение следует считать справедливым лишь до известной степени. Действительно, рост популярности Тургенева в немецкой литературе становится заметным лишь в 1860-е гг., что в большей степени обязано появлению в переводах его романов и повестей, чем продолжающемуся вниманию к «Запискам охотника». В 1862 г, в переводе Пауля Фукса выходит «Дворянское гнездо», в 1864—1865 гг. появляются два томика повестей и рассказов в переводе Ф. Боденштедта; «Дым» переведен дважды в 1868 г.; наконец, в 1869 г. публикуются «Избранные произведения Тургенева» в переводе, одобренном им самим и с его предисловием, специально написанным для этого немецкого издания.[101] Между 1868 и 1880 гг. в немецкой печати появляется ряд статей о Тургеневе Ю. Шмидта, в которых он объявляет Тур-

---

в журнале «Revue Française de Constantinople». 1887. № 6). На языках Индии Тургенев стал первоначально известен преимущественно из английских переводов (*Баранников А. П.* Индийцы о русской литературе//Советское востоковедение. М.; Л., 1949. Сб. 6. С. 7—23); в Японии, где творчество Тургенева оказало сильное влияние на писателей, первые переводы его произведений на японский язык делались то с английского, то с немецкого (Литературный вестник. 1901. № 2. С. 240—241; Голос минувшего. 1913. № 8. С. 303—304). Лишь в XX в., в особенности после Великой Октябрьской социалистической революции, знакомство с русским языком и русской литературой повысилось повсеместно, вызвав новую волну переводов из русских классических писателей, в том числе и Тургенева, — уже непосредственно с русских оригиналов; в наше время появились и продолжают еще появляться новые переводы из «Записок охотника». Так, прогрессивному иранскому переводчику Казему Ансари принадлежит перевод на персидский язык «Хоря и Калиныча» (см.: Гоголь: Статьи и материалы. Л., 1953. С. 306).

[100] *Eichholz J.* Turgenev in der deutschen Kritik. S. 43—54.

[101] *Glagau Otto.* Die russische Literatur und Iwan Turgeniew. Berlin, 1872. S. 178—179.

генева «величайшей поэтической силой нашего времени»;[102] Шмидту вторят другие критики, число которых все возрастает, и литературная слава Тургенева как первого писателя Европы утверждается прочно и незыблемо. Тем не менее и в указанный период, т. е. между серединой 1850-х гг. и до начала 1880-х, и «Записки охотника» не теряют немецких читателей; «Записки» живут своей жизнью в переводах, неизменно увеличивают число своих почитателей, вызывают критические отклики и, что является особенно важным, в своем немецком обличии служат оригиналом для переводов на некоторые другие языки, как и немецкая критическая литература о Тургеневе — источником для истолкования его произведений в разных концах Европы, в той или иной мере находившихся в ту пору в сфере немецкого культурного влияния. Вот почему об этих переводах и отзывах необходимо сказать хотя бы несколько слов.

Ф. Боденштедт вспоминает, что когда весной 1860 г. Тургенев посетил Мюнхен, он с удовольствием узнал, «что его „Записки охотника" были уже известны в нашем кружке по переводам Больца и Фидлера и приобрели ему несколько искренних поклонников».[103] Одним из этих поклонников был Пауль Гейзе, входивший в мюнхенский литературный кружок, группировавшийся вокруг Боденштедта. Знакомство П. Гейзе с «Записками охотника» возбудило его живейший интерес как к России, так и к Тургеневу. В своих статьях о «Записках охотника» Гейзе восхвалял их глубокую этическую настроенность, определяющую и все эстетические качества книги, удивлялся тому ощущению интимной близости культурного русского человека к родной почве, к природе, которое отличает «Записки охотника» от всех произведений западноевропейских литератур, где якобы подобная близость к природе и простому крестьянину утрачена безвозвратно (в одном из своих позднейших романов Гейзе вкладывает в уста одного из персонажей такие знаменательные слова: «Я много сходился с русскими. В них, как в моем уважаемом друге Тургеневе, мне особенно нравилось редкостное слияние светского человека с простым крестьянским укладом души»), наконец, славит тонкое словесное мастерство Тургенева как художника, все то «искусство первоклассного мастера, которое из незатейливых очерков охотника создало живые памятники красоты». Вполне естественно поэтому, что четвертое собрание своих новелл 1861 г. Гейзе выпустил со следующим посвящением: «Ивану Тургеневу, русскому мастеру новеллы, с дружеским приветом посвящает эти страницы автор».[104] Вероятно, именно восторженные

---

[102] Письма И. С. Тургенева к его немецким друзьям//Вестник Европы. 1909. № 3. С. 256—257.

[103] Русская старина. 1887. Т. 54. С. 470. Боденштедт ошибся, называя первых немецких переводчиков «Записок охотника»: под Фидлером он безусловно разумел Видерта.

[104] *Petzet E.* Paul Heyse und Iwan Turgeniew//Westermann's Monatshefte. 1924. April. S. 185—195 (в этой статье приведено десять писем Тургенева к Гейзе 1862—1880 гг.).

статьи Гейзе о «Записках охотника» имели в виду те более настороженные к восходящей славе Тургенева и далеко не прогрессивные органы немецкой печати, вроде «Альгемайне цайтунг», которая по словам П. В. Анненкова, «ядовито и насмешливо говорила о поклонении немцев „московской" эстетике».[105] Конечно, такое «поклонение» было еще в значительной степени мнимым и внешним самообольщением. Мюнхенский кружок литераторов, к которому принадлежал Гейзе, свою литературную программу строил на эстетическом принципе, на отказе от социальной проблематики и политической борьбы. Не этой группе немецких литераторов могла принадлежать инициатива справедливого, верного критического истолкования «Записок охотника» как яркого общественного документа; они сумели разглядеть лишь первоклассные художественные качества Тургенева-рассказчика, но не пошли дальше.

И все же внимание, пробудившееся к «Запискам охотника» во всей Европе, непрерывно усиливало интерес к ним и в немецкой литературе. Еще в конце 1850-х гг. потребовалось второе издание их немецкого перевода; оно вышло в 1858 г. в одном томе, объединившем неравноценные переводы двух разных переводчиков;[106] книга Тургенева в этом переводе продолжала читаться во всех тех странах, где распространен был немецкий язык — в скандинавских государствах, в пределах тогдашней Австро-Венгерской империи и т. д.

Второе немецкое издание «Записок охотника», как указывают немецкие исследователи, не вызвало откликов в печати.[107] Лишь А. Видерт, к этому времени уже возвратившийся в Россию, в московском журнале выступил с резким протестом против того, что некогда переведенная им первая часть «Записок охотника» произвольно объединена была издателями в одной книге с другой частью, переводчиком которой был А. Больтц; оба эти перевода действительно резко отличались друг от друга и по качеству, и по тем принципам воспроизведения русского текста на немецком языке, которых придерживался каждый из них.[108]

[105] *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 378.

[106] Aus dem Tagebuche eines Jägers von Iwan Turghenew. 2. Aufl. Berlin, 1858.

[107] Незадолго до выхода его в свет старик Фарнгаген фон Энзе напоминал немецким читателям о значении книги Тургенева. В статье, помещенной в журнале «Jahreszeiten»(1857. № 52), давая общую характеристику русской литературы, он писал, что «в ней нет недостатка и в творениях, соединяющих в высшей степени общественное значение с художественными достоинствами. Германская публика недавно познакомилась с такою книгою в прекрасном переводе Видерта. Мы говорим о „Записках охотника"» (Библиографические записки. 1858. № 8. С. 241).

[108] Август Больтц считался в Германии знатоком русского языка, был его преподавателем и много переводил с русского на немецкий. Но переводы его, в особенности ранние, отличались буквализмом и изобиловали ошибками. А. Видерт справедливо обвинял его в том, что он переводил «слова», а не «дух подлинника» и, помимо того, уличал его в частом непонимании им самих этих слов, которые Больтц иногда безуспешно искал в словарях, а порою путал с другими, близкими им по звучанию. Так, заглавие «Касьян с Красивой Мечи» он перевел «Kassjan aus Schön-Schwerte», приняв название «Меча»

Когда в 1870-е гг. в связи с ростом популярности Тургенева в немецких землях потребовались новые издания «Записок охотника», то они уже выходили в свет в новых переводах, и за исполнением некоторых из них в то время наблюдал сам Тургенев.[109]

В последней четверти XIX в. в немецкой литературе, как и во всех важнейших литературах Европы, «Записки охотника» стали уже одной из классических книг русской литературы, выпускались в разнообразных изданиях во вполне точных и нередко образцовых переводах. Эта книга входила теперь в разнообразные серии лучших памятников иностранных литератур, дешевые «библиотечки» классиков, стала доступной самому широкому кругу читателей, и знакомство с ней считалось обязательным. Не только о популярности, но и о действительной общественной роли, которую сыграли «Записки охотника» в Германии, лучше всего свидетельствует тот факт, что отрывки из этой книги продолжали воспроизводиться в немецкой рабочей печати в конце XIX в.: в 1899 г. мы находим их, например, в журнале «Glichheit» — органе немецких работниц, выходившем под редакцией Клары Цеткин,[110] а в следующем, 1900 г. — в «Лейпцигской народной газете».[111] И если не сохранилось достоверных сведений о том, насколько хорошо знали произведения Тургенева великие основоположники научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс, изучавшие русский язык и внима-

за «меч»; «Бежин луг» назван у него почему-то «Taufels-grund»; «...вероятно, Больтц считает слово *бес* корнем названия Бежин», — догадывался по этому поводу Видерт. Не зная, что такое русское «лапти», Больтц перевел слово по аналогии с немецким словом Lappen, поэтому фраза «Калиныч ходил в лаптях» в его переводе значит «Калиныч ходил оборванный», а вместо «Орловский мужик носит лапти» у него стоит: «Орловский мужик носит лохмотья» и т. д. Особую трудность для Больтца, как, впрочем, и для всех переводчиков «Записок охотника», представляли речевые конструкции в диалогах, идиоматические выражения. В своей статье по поводу этого перевода (она напечатана в «Московском обозрении». 1859. № 1. С. 76—85) Видерт приводит много смешных ошибок, встречающихся в переводе Больтца и действительно искажающих текст. Печальные результаты сличения этого перевода с оригиналом Видерт довел также до сведения Тургенева, который долго помнил сообщенные ему примеры, цитируя их в своих письмах; так, его в особенности позабавило, что слова Ерофея про Мартына-плотника — «зашибал маленько» — переведены были Больтцем «однажды он забылся», а фраза «у мужика *овес* только скошен» получила такой вид: «мужик только что покончил со стрижкой *овец*». Ср.: *Ромм С. С.* Из далекого прошлого. Воспоминания об И. С. Тургеневе//Вестник Европы. 1916. № 12. С. 125.

[109] Один из таких немецких переводов «Записок охотника» под наблюдением Тургенева и при ближайшем участии Л. Пича в качестве организатора осуществлялся в 1874 г. Так как Л. Пич не знал русского языка, а немецкий переводчик в свою очередь испытывал затруднения в понимании русского текста, Тургенев послал им тот французский перевод «Записок охотника», который сделан был Делаво. Тем не менее перевод подвигался с трудом и на первых порах изобиловал досадными оплошностями, тщательно отмеченными Тургеневым (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 10. С. 238, 241, 321, 322).

[110] Очерк «Der Murrkopf. Aus den Memoiren eines Jägers» помещен в № 25—26 этого журнала за 1899 г.; ранее другие отрывки из произведений Тургенева появились здесь же в 1893 (№ 10—11), 1897 (№ 23) и 1898 (№ 17, 18) г.

[111] Die Lebendige Reliquie von Iwan Turgeniew//Leipziger Volkszeitung. 1900. № 24; см. здесь же: 1899. № 288; 1900. № 142—145.

тельно следившие за развитием русской литературы,[112] то указанные переводы из «Записок охотника» в немецкой социал-демократической печати хорошо иллюстрируют известное свидетельство Энгельса о том, что «знание русского языка, — языка, который всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им литературы, — теперь уж не такая редкость, по крайней мере, среди немецких социал-демократов».[113] О том, что думали о Тургеневе и, в частности, о «Записках охотника» вдохновленные идеями Маркса и Энгельса деятели рабочего движения в Германии, свидетельствуют яркие страницы, посвященные Тургеневу в книге Розы Люксембург «Душа русской литературы» и других ее статьях.[114]

Первые немецкие переводы «Записок охотника» читались и за пределами Германии, содействовали переводам книги и на другие языки. Так, вполне возможно, что они были косвенной причиной появления переводов «Записок» на скандинавские языки. Правда, в Дании, где такой перевод явился ранее других, уже интересовались русской литературой и основательно изучили русский язык: в Копенгагенском университете русский язык стал предметом преподавания на особой кафедре славяноведения уже в 1850-е гг. — ранее, чем в каком-либо другом университете Европы. Ряд датских переводов произведений Тургенева, впоследствии очень многочисленных, открылся именно переводом «Записок охотника»: эта книга вышла в Копенгагене еще в 1856 г. под заглавием «Русские очерки» («Russiske Skizzer») в анонимном переводе, с небольшим предисловием и объяснительными примечаниями, свидетельствующими, что переводчик имел некоторое представление о том быте и нравах, которые описывал Тургенев. Но перевод неполон; из двадцати двух очерков цикла в копенгагенское издание вошли лишь пять: «Бурмистр», «Смерть», «Свидание», «Мой сосед Радилов» и «Контора».

Эта первая попытка ввести Тургенева в датскую литературу оставалась единственной в течение ряда лет. Следующий перевод «Записок охотника» появился в Дании почти двадцать лет спустя; он принадлежал датскому литератору и журналисту Фредерику

---

[112] Мы не имеем точных данных, читал ли К. Маркс сочинения Тургенева, но мы знаем, что Маркс основательно проштудировал статью П. В. Анненкова «Замечательное десятилетие 1838—1848», напечатанную в «Вестнике Европы» 1880 г., в которой как раз много говорится о первых рассказах «Записок охотника», в частности о «Бурмистре», о глубоком идейном влиянии Белинского на Тургенева, о совместной их жизни в Зальцбрунне, наконец, об «единогласном, почти восторженном одобрении», с каким «Записки охотника» были встречены на Западе. К этой статье Анненкова внимание Маркса привлечено было тем обстоятельством, что в ней говорится о нем самом, о первых его русских знакомцах и корреспондентах, в числе которых был Анненков. Указанная статья Анненкова в ее первопечатном русском журнальном тексте была внимательно прочитана Марксом, о чем свидетельствуют многочисленные его пометы, сохранившиеся на принадлежавшем ему экземпляре «Замечательного десятилетия» (они кратко описаны в «Русской мысли». 1903. № 7. С. 61—63).

[113] *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 18. С. 526.

[114] *Люксембург Р.* Статьи о русской литературе. М.; Л., 1934.

Вильгельму Мёллеру, посвятившему много лет популяризации Тургенева в датской литературе. Шеститомное собрание сочинений Тургенева в датских переводах Мёллера выпущено им было между 1872 и 1877 гг.; «Записки охотника», на этот раз в полном и образцовом переводе и с подлинным заглавием («Skitzer af en Jaegers Dagbok»), изданы в 1875 г.[115] Переиздания 1891 и 1910 гг., последнее — массовым тиражом и общедоступное по цене, свидетельствовали, что и в Дании «Записки охотника» стали одной из широко распространенных и любимых читателями иностранных книг.[116] Впрочем, именно в Дании Тургенев был особенно любим; его именем обозначают целую литературную школу в датской литературе.[117] Славе Тургенева в скандинавских странах немало содействовал датский критик Георг Брандес, много писавший о Тургеневе и, в частности, о «Записках охотника». Г. Брандесу принадлежит наблюдение, делавшееся также и другими критиками: «Ни одного из современных русских писателей не читали так много в Европе, как Тургенева»; он же отметил, что силу воздействия, которое оказывали его произведения на читателей разных стран, не могли ослабить зачастую далеко не совершенные переводы этих произведений на различные языки: «Произведения его читались за границей в переводах, что, несомненно, извращало и ослабляло производимое ими впечатление, не давая ясного понятия об их истинных достоинствах; но совершенство оригинала проявлялось до такой степени сквозь различные более или менее удачные переложения, что можно было не обращать внимания на все, что им недоставало в смысле изящества и гибкости языка».[118]

Замечены были немецкие переводы «Записок охотника» также и в других странах, например в тогдашней Австро-Венгрии. Сильный интерес к Тургеневу, возникший в венгерской литературе уже в 1850-е гг., но еще ярче проявивший себя в следующие десятилетия, имел особые основания. После подавления революции 1848 г., когда Венгрия почти вовсе лишилась самостоятельности во всех областях своей политической и культурной жизни, испытывая тяжелый гнет австрийского правительства, венгерская литература становилась единственной трибуной, с которой можно было поднять голос протеста и с которой поддерживалось национальное движение вопреки всем притеснениям. Венгерские писатели должны были прибегать к «эзоповскому языку», популяризовать такие произведения иностранной литературы, в которых венгерские читатели могли бы усмотреть известные аналогии с положением в их соб-

[115] К этому же году относится и шведский перевод: *Turgeniew I.* Ur en Jägeres Dagbok. Stockholm, 1875.

[116] *Тиандер К.* Датско-русские исследования. СПб., 1913. Вып. 2. С. 156—157, 279.

[117] См. указанное исследование К. Тиандера (второй выпуск этого труда имеет и особое заглавие: «К вопросу о международном значении Тургенева»), а также статью В. П. Неустроева «Русская классическая и советская литература в скандинавских странах» (Ученые записки военного ин-та иностр. яз, 1948. № 5. С. 88—89).

[118] *Брандес Г.* Собр. соч. СПб., б. г. Т. 19. С. 187—188.

ственной стране. Интерес в Венгрии к свободолюбивой, проникнутой антикрепостническими тенденциями русской реалистической литературе тесно связан с этими настроениями венгерских писателей и переводчиков 1850—1860-х гг. В это время на страницах венгерских литературных журналов все чаще мелькают имена Пушкина, Гоголя и Тургенева. Любопытно, что одно из таких распространенных венгерских периодических изданий — «Сепьиродальми лапок» («Беллетристические листки») — еще в 1853 г. впервые знакомило своих читателей с «Записками охотника» Тургенева, подчеркивая, что немецкая критика очень хвалит это произведение. Тексты трех очерков из «Записок охотника», первых в венгерских переводах, появляются в 1858 г.: они сделаны с немецких и французских переводов. В 1870—1880-е гг., когда политические и общественные противоречия Венгрии особенно обострились, недовольная мелкая буржуазия, с одной стороны, и угнетенные рабочие и крестьянские массы — с другой, все еще вели свою борьбу с австрийской монархией, прежде всего в области литературы. В ходе этой борьбы и в значительной степени под воздействием русских писателей родился и утвердился реализм в венгерской литературе. Немалую роль в этом процессе сыграл и Тургенев. В 1880-е гг. «Записки охотника» изданы были уже полностью на венгерском языке в переводе с русского Ласло Чопея[119] и переиздавались несколько раз.

В то же время, в сходных условиях, интерес к Тургеневу и его «Запискам охотника» возник и в другой части тогдашней австрийской монархии, среди чешских литераторов, с той лишь разницей, что они не нуждались уже в немецких интерпретаторах Тургенева, связанные с Россией и племенным родством, и близостью языков, и давними историческими и культурными связями. История усвоения творчества Тургенева чешскими и словацкими литературными деятелями не служила еще предметом особого внимания исследователей, однако некоторые относящиеся к ней факты известны и могут быть здесь указаны. Первые чешские переводы отдельных рассказов из «Записок охотника» начали появляться в 1850-е гг.; первым их переводчиком был Я. Томичек. В переводах Томичка на страницах журнала «Lumír» были изданы «Льгов» (1858), «Свидание» (1858), «Татьяна Борисовна и ее племянник» (1858), «Бирюк» (1859), «Петр Петрович Каратаев» (1863), «Певцы» (1863).[120] После него в более полном виде «Записки охотника» в чешском переводе издал в Праге Ф. Мах в 1874 г. (в 1870 г. он перевел очерк «Ермолай и мельничиха»). Особо искусным и точным был чешский перевод, изданный в 1886 г.

[119] *Turgenjev Iwan.* Egy vadàsz iratai ikta... oroszbol fortitotta Czopey Laslo. Budapest, 1885.

[120] Неполный перечень чешских переводов Тургенева и литературы о нем на чешском языке опубликован в книге «Каталог выставки в память И. С. Тургенева» (СПб., 1909. С. 303—318). На «мáстерские» переводы Я. Томичка обратил внимание А. Н. Пыпин, будучи в Праге в 1860 г.; он приравнял их по значению к чешским переводам Бендля из Пушкина и Гавличка из Гоголя (*Пыпин А. Н.* Мои заметки. М., 1910. С. 215).

(«Lovcovy Zapiski») Павлом Дурдиком, человеком, имевшим весьма примечательную биографию. Будучи доктором медицины, Дурдик жил несколько лет в России, в Московской и Калужской губерниях, в качестве земского врача; затем он перебрался на Суматру, в голландские колонии, и служил здесь в должности военного врача. В 1880-х гг. он возвратился на родину, в Прагу, и напечатал здесь свои переводы произведений Тургенева, Островского, Л. Толстого. Русский язык он знал в совершенстве, так же, как и русский крестьянский быт: лучшего переводчика «Записок охотника» на его родной язык было не найти; перевод его и действительно отличался выдающимися качествами. П. Дурдик много и долго изучал Тургенева и литературу о нем на многих доступных ему языках; он трудился, в частности, и над биографией Тургенева, основательно штудируя все русские источники, как свидетельствуют неизданные письма его, хранящиеся в рукописном отделении Института русской литературы в Ленинграде.[121]

Приобщенные к чешской литературе, «Записки охотника» оставили глубокий след в чешской прозе. Их влияние испытал на себе плодовитый и многосторонний чешский писатель Витезслав Галек (1835—1874). Вдохновленный Тургеневым, Галек в 1870-х гг. создал несколько сборников из чешской деревенской жизни, но, тяготея к идиллии, не сумел еще раскрыть до конца тех глубоких национальных и социальных противоречий, которые сказывались в чешских селах той поры. К Тургеневу возводят также позднейшие новеллы Франтишка-Ксаверия Свободы; непосредственно связаны с «Записками охотника» «Письма из русской деревни» Яромира Грубого, жившего в России в 1880-х гг., знатока русского фольклора и переводчика на чешский язык многих русских писателей, в том числе и Тургенева.[122]

Сложно и порою противоречиво складывалась судьба «Записок охотника» в других славянских литературах, например в польской, где сталкивались различные оценки этой книги, шедшие и из России, и из западных стран,[123] но все же и в Польше «Записки охотника» распространены были в переводах, сделанных прогрессивными писателями-демократами,[124] и оказали немалое влияние на писателей «Молодой Польши».[125] Хорошо известны были «Записки охотника» также сербским, хорватским, болгарским читателям...

---

[121] Письма эти адресованы П. А. Кулаковскому (Ф. 572, № 120).

[122] *Harkins W. E.* The Russian Folk Epos in Czech Literature. New York, 1951. P. 143.

[123] Польские переводы «Записок охотника» начали появляться лишь с 1870-х гг., важнейшие из них перечислены у В. А. Лугаковского (Русские писатели в польской литературе. Вып. 3. Тургенев. СПб., 1913. С. 19—20).

[124] Таков был, например, изданный в 1897 г. перевод «Записок охотника» Клеменса Юноши (псевдоним Шанявского, 1849—1898), писателя, хорошо знавшего быт польской деревни конца XIX в. и в своем творчестве испытавшего сильные воздействия русской литературы — Гоголя и Тургенева.

[125] А. И. Яцимирский указал на очевидную близость рассказа Ст. Жеромского «Забвение» («Zapomnienie») к «Бирюку» Тургенева (Новейшая польская литература. СПб., б. г. Т. 2. С. 185).

Трудно было бы назвать такую страну, в которой «Записки охотника» не были бы известны в целом или частями, по переделкам или пересказам, по критической литературе на самых разнообразных языках. В разное время и при разных условиях эта книга Тургенева находила своих читателей и ценителей везде, где ее суровая правда и мужественное даровитое слово в состоянии были звать вперед, учить отношению к жизни и труду, вызывать ненависть к притеснению и гнету. Воздействия, какие оказала она на читателей всего мира, всех возрастов и поколений, поистине неисчислимы.

Великие книги мировой литературы имеют свою собственную судьбу, отличающую их от других книг той литературы, в которой они возникли, к которой они относятся, которую они представляют. Этим книгам не страшно время; для них не существует ни пространства, ни государственных границ, ни национальных отличий или языковых преград. Рано или поздно они найдут свое место на библиотечных полках во всех концах света и в сердцах читателей всех народностей. К числу именно таких исторических книг русской литературы, жизнь которых еще продолжается, роль которых еще не сыграна до конца, относятся и «Записки охотника» Тургенева.

ТУРГЕНЕВ — ПРОПАГАНДИСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ЗАПАДЕ

Среди многих и разнообразных заслуг Тургенева перед мировой литературой одна из заслуг, характерная для его деятельности, еще недостаточно обращала на себя внимание исследователей: Тургенев в огромной мере способствовал популяризации русской литературы среди западных читателей. По отношению к литературе французской это утверждал, например, Эдуард Род в статье «Русский роман и французская литература».[1] По отношению к читателям английским то же констатировал, например, Морис Беринг.[2] По его мнению, одна из причин громкой славы Тургенева в Западной Европе была та, что через него западноевропейские читатели ближе познакомились с русской литературой. Рост широкой известности русской литературы на Западе был естественным следствием признания Тургенева первоклассным мировым художником: интерес к его творчеству возбудил и обусловил любопытство к той литературе, представителем которой он выступал перед западными читателями.

Вследствие политических условий жизни в России XIX в., а также в силу известных обстоятельств своей биографии Тургенев много лет прожил за границей, но думы о родине, о судьбах и всемирном значении русской литературы никогда не оставляли его. «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись»,[3] — эти слова Тургенева характеризуют его настроения и во время пребывания на чужбине. С гордостью говорил он о том, что никогда, ни разу, не писал, в литературном смысле слова, иначе как на своем родном языке.[4] Этими чувствами было воодушевлено и стремление Тургенева всемерно пропагандировать на Западе русскую литературу, раскрыть для зарубежных читателей все ее величие. Постоянная забота Тургенева об адекватной, максимально точной передаче на иностранных языках произ-

[1] *Род Эдуард.* Русский роман и французская литература//Русский вестник. 1893. № 8. С. 207—227.

[2] *Беринг М.* Вехи русской литературы. М., 1913. С. 61.

[3] Слова Лежнева в романе «Рудин» (гл. XII).

[4] См. его письма редактору газеты «Le Temps» А. Эбрару от 6(18) мая 1877 г. и в редакцию «Нашего века» (май 1877 г.).

ведений русских писателей становится особенно понятной, если мы вспомним его поистине страстную любовь к «великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку», о котором он писал с таким вдохновением в своем знаменитом стихотворении в прозе.

Тема о Тургеневе как пропагандисте русской литературы на Западе существенна, таким образом, и с точки зрения подхода к другой, более широкой теме — о влиянии русской литературы на мировую, и с точки зрения разработки биографии самого Тургенева.

1

Любое произведение художественного слова, если оно возбудило к себе интерес иностранного читателя, естественно влечет за собой интерес к другим произведениям той же литературы. В этом смысле Тургенев действительно способствовал росту интереса и внимания к русской литературе вообще. Все его творчество было естественной пропагандой того высокого уровня, которого достигла русская литература в его время. Увлекаясь Тургеневым, причисляя его к крупнейшим художникам, немыслимо было не спросить себя, как и когда русская литература достигла этого уровня, этого безупречного искусства, не заинтересоваться связанными с ним вопросами литературной преемственности и творческого наследия, истоками его мастерства, обусловленности его творчества. Чтобы объяснить Тургенева, нужно было знать его предшественников. В каком смысле он связан с ними? Что отличает его от них?

Для внимательного критика творчество всякого художника уже в самом себе содержит ответы на подобные вопросы и подсказывает пути дальнейших поисков и наиболее закономерных сопоставлений. Но именно произведения Тургенева, в гораздо большей степени, чем творчество любого другого русского писателя, содержали в себе весь необходимый для этого материал. Прежде всего во всех его сочинениях, романах и повестях в равной степени, часто упоминаются имена русских писателей, их произведения, цитируются стихи, вплетаются в ткань повествования. В них неизменно чувствуется не только внимательный читатель и тонкий ценитель, но и действительный знаток русского прошлого. В прихотливом, но естественном беспорядке, т. е. вне какой-либо хронологической или логической последовательности, романы и повести Тургенева называют в сущности все важнейшие явления русской литературной жизни от конца XVIII и до 60-х гг. XIX в. включительно. По этим упоминаниям и цитатам можно было бы, вероятно, в какой-то мере воссоздать историю русской литературы в ее целом во все важнейшие периоды ее развития. Многие повести Тургенева прямо живут напоминанием о великих творениях русского искусства, вырастают из них, в них черпают источник своей творческой силы. Эта особенность его творчества уже не раз обращала на себя вни-

мание;[5] мы можем поэтому ограничиться здесь напоминанием лишь нескольких примеров, необходимых для последующего изложения.

Повесть «Затишье», как известно, первоначально должна была быть названа «Анчар» — заглавием, сохраненным в ряде ее иностранных переводов; недаром это стихотворение четыре раза упоминается на протяжении повествования не как случайная деталь, но как мотив, определяющий тему.[6] Повесть Тургенева «Фауст» даже в ее общей концепции невозможна не только без пушкинского «Фауста», но и без напоминаний о творчестве Пушкина. В ранней повести «Бретер» воспроизведена, с незначительными видоизменениями, ситуация Онегина, Татьяны и Ленского; бретер представляет собой также пародию на образ Сильвио из пушкинского «Выстрела» и одновременно вызывает в памяти страницы лермонтовской прозы. В «Асе» героиня цитирует стихи из «Онегина» и прибавляет: «А я хотела быть Татьяной». Своих героев Тургенев постоянно заставляет вспоминать пушкинские стихи («Андрей Колосов», «Дневник лишнего человека», «Два приятеля», «Первая любовь» и др.). Наряду с Пушкиным постоянно называются и другие писатели. В «Петушкове» поручик выбирает для чтения своей возлюбленной «Наталью Борисовну Долгорукую» И. Козлова; стихи Козлова «К другу Жуковскому» в слегка измененном виде читает Яков Пасынков.[7] В «Дворянском гнезде» (гл. XXXIII) Паншин у Калитиных «прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова»; «...тогда, — замечает Тургенев от себя, — Пушкин не успел еще опять войти в моду»; затем описан спор о «Думе» Лермонтова и упоминается Хомяков.

Итак, многие произведения Тургенева восходят к созданиям русской поэзии не только конструктивно или тематически — в их повествовательную ткань вплетены стихотворные строфы, литературные воспоминания, критические наблюдения. Современный Тургеневу русский читатель воспринимал их легко, естественно, без всяких усилий памяти или справок литературно-исторического характера. Однако как должен был поступать в данном случае читатель иностранный? Таинственная связь, например, «Бретера» с «Евгением Онегиным» и, более того, родство типа тургеневского романа с типом «онегинским», на которое указывал Л. В. Пумпянский, могли раскрываться иностранному читателю Тургенева лишь в том случае, если ему был знаком также и Пушкин. Однако и вне

[5] *Фишер В. М.* Повесть и роман у Тургенева//Творчество Тургенева. М., 1920. С. 9 и след.; см. мою статью «Тургенев и Марлинский» (Творческий путь Тургенева. Пг., 1923. С. 167—169); см. также: Русские писатели XIX в. о Пушкине/Под ред. А. С. Долинина. Л., 1938. С. 476.

[6] *Крестова Л. В.* И. С. Тургенев в работе над «Затишьем»//И. С. Тургенев/Под ред. Н. Л. Бродского. М., 1940. С. 165—166.

[7] *Эйгес Иосиф.* К переводам И. Козлова из Байрона//Звенья. Т. 5. С. 745. Когда Боденштедт для второго тома своих «Turgeniew's Erzählungen» (1865) выбрал, между прочим, «Якова Пасынкова», Тургенев предположил, что Боденштедт это сделал для того, чтобы процитировать здесь два своих старых лирических перевода из Пушкина и Лермонтова (Вестник Европы. 1909. № 4. С. 667).

этого условия имя великого русского поэта вставало со страниц Тургенева, окруженное таким ореолом, обаянием такой поэтической славы, что оно не могло не привлечь к себе особого внимания. Герой тургеневского «Фауста» постоянно помнит Пушкина, цитирует Тютчева. Так, самим своим творчеством Тургенев открывает западному читателю Пушкина, русскую поэзию, основные тенденции русской культуры вообще.

Однако, как мы пытались показать, страницы творчества Тургенева дают цитаты из русских авторов и факты литературной истории в таком изобилии и избытке, что для западных читателей они могли остаться непонятыми. Для того, например, чтобы суметь оценить всю тонкость исторического колорита тургеневских повестей, западный читатель должен был знать, что представляет собой «Покоящийся трудолюбец» 1773 г., эта единственная книга, которую читал русский король Лир. Мог или должен был он знать, кто такой Марлинский, на фоне произведений которого происходят события в «Стук... стук... стук!..», чувствовать разницу между «Московским телеграфом» и «Телескопом» («Первая любовь»)? Тургенев, лучше чем кто-либо представлявший себе западных читателей всех европейских стран, прекрасно понимал, что дойдет до них и что, напротив, окажется непонятным. Поэтому Тургенев сомневался в пригодности для перевода отдельных своих повестей и даже, внимательный до щепетильности и педантизма относительно всех переводов своих произведений, в большинстве случаев поступавших к нему на редакционный просмотр, допускал в них сознательное отступление от текстов их русских оригиналов. Кстати сказать, это обстоятельство еще недостаточно учтено текстологами; представило бы интерес систематически обследовать иностранные переводы Тургенева, им самим допущенные к печати: в ряде случаев это могло бы дать любопытные авторские варианты к «канонизированным» русским их текстам.[8]

---

[8] В этом удостоверяет, например, переписка Тургенева с кн. А. Голицыным (1867—1868) по поводу французского перевода романа «Дым», печатавшегося в «Correspondant». Тургенев внимательно следил за корректурами, значительно переделывал перевод, давал по этому поводу необходимые пояснения. Несколько мест, выпущенных М. Н. Катковым при печатании романа в «Русском вестнике», были восстановлены во французском переводе, например подробности в биографии Ратмирова. Известно также, что ближайшее отношение к окончательной выработке французского текста этого перевода имел П. Мериме. Из его писем к m-me Делессер и к графине Монтихо (от 23 сентября 1867 г.) видно, что по поручению Тургенева Мериме читал корректуры французского перевода «Дыма» и восстанавливал в них то, что смягчил или вовсе опустил переводчик, исходивший из ультра-католических тенденций издания («Correspondant»). См.: Lettres d Mérimée à la Famille Delessert. Paris, 1931. P. 171—172; Séménoff E. La vie douloureuse d'Ivan Tourguéneff. Paris, 1933. P. 205—206. 25 марта (6 апреля) 1872 г. Тургенев писал Э. Дюрану о переводе на французский язык повести «Вешние воды», конец которой он собирался «несколько смягчить <...>добавив новую сцену». «...какие из моих произведений войдут в первый том, выпускаемый вами, — обращался он к своему немецкому переводчику Ф. Боденштедту и просил, — ...сообщите мне заглавия, и я вам немедленно перешлю номера страниц французского перевода, где находятся сделанные мною небольшие добавления и вос-

2

Для истории первого знакомства Западной Европы с произведениями русского художественного слова огромное, может быть, решающее значение имел тот факт, что первыми переводчиками русских писателей на европейские языки были русские же литераторы, журналисты, путешественники. Эти переводы представляют интерес не только с точки зрения истории русской литературы. Они, несомненно, являлись также фактором международного культурного значения.

С произведениями русской литературы иностранцев знакомили сами русские во время пребывания своего за границей. Пушкина, например, многие современные ему французские поэты узнали впервые по рукописным переводам его близких друзей. Так, П. А. Вяземский переводил Пушкина для Шатобриана, А. И. Тургенев — для Ламартина или для своих английских друзей. В середине 1820-х гг. парижский салон гр. Г. В. Орлова превратился в настоящую академию переводчиков, осуществившую перевод басен Крылова на французский и итальянский языки. В огромной вышедшей из России литературе переводов на западные языки наряду с неудачными опытами находились также весьма удачные образцы переводческого искусства. Достаточно напомнить здесь хотя бы немецкие переводы русских поэтов Каролины Яниш (Павловой) в ее сборнике «Das Nordicht» (Dresden und Leipzig, 1833); ее же позднейшие и столь же удачные переводы на французский язык, изданные А. И. Тургеневым в Париже (Les préludes. Paris, 1839); французские антологии Элима Мещерского, заинтересовавшие Гюго и Сен-Бева; наконец, английские стихотворные переводы Анны Давыдовны Баратынской. Каролина Павлова, одна из искуснейших русских переводчиц, еще до того, как она выступила в печати со своими русскими стихами, с одинаковым совершенством переводила Шиллера — на французский, Пушкина и Языкова — на немецкий или тех же Пушкина, Языкова, Вяземского и Баратынского — на французский. С такой же легкостью Абамелек-Баратынская переводила на английский Шиллера, Гейне и Рюккерта, Пушкина, Лермонтова и Тютчева.

Тургенев почти с одинаковой свободой говорил и писал по-французски, по-немецки, по-английски, а также по-итальянски и по-испански; он изучал польский язык и писал по-латыни. Иностранные друзья Тургенева не раз удивлялись глубине и всесторонности его знания языков. Мопассан вспоминает: «Часто Тургенев носил с собой иностранные книги и бегло переводил стихи

становления текста» (письмо от 1(13) августа 1863 г.). В некоторых случаях, впрочем, Тургенев не был повинен в подобных изменениях. Так, А. Мазон обратил внимание на историю одного исправления в тексте «Дворянского гнезда», на которое натолкнул Тургенева просмотр английского перевода романа, сделанного В. Рольстоном. См. его книгу: Парижские рукописи И. С. Тургенева. М.; Л., 1931. С. 38—39.

Гете, Пушкина или Суинберна».[9] К роли Тургенева в деле сближения мировых литератур и выяснению значения устного общения с ним западноевропейских писателей мы еще вернемся. Сейчас нам важно подчеркнуть, что если многоязычие Тургенева позволило ему в зените его славы выступать в качестве устного популяризатора русской поэзии в кругах французской литературной молодежи, то в продолжение почти всей своей литературной деятельности он неутомимо трудился также и в качестве почти профессионального переводчика русских писателей на иностранные языки, продолжая то самое дело, которое начато было в первой половине века русскими литераторами-любителями.

Об этой стороне его деятельности в литературе о Тургеневе существуют лишь разрозненные указания; даже простой перечень напечатанных им переводов изобилует пропусками и неточностями.[10] Важнейшие из этих переводов Тургенева — французские и сделаны прозой.[11] Чаще всего они выполнены в сотрудничестве с другими лицами, и степень участия в этих работах каждого из переводчиков не может быть установлена с желательной точностью. Эти переводы довольно многочисленны и заслуживали бы специального стилистического анализа, который не может входить в задачу настоящей статьи.

Тургенев перевел на французский язык и издал ряд произведений Пушкина, Гоголя и Лермонтова; по количеству переводов Пушкин стоит в этом перечне на первом месте, но ранее других Тургеневым осуществлены были переводы из Гоголя. На последних стоит остановиться подробнее, так как они безусловно представляют собой немаловажный эпизод в творческой биографии раннего Тургенева; они вызвали удовлетворение самого Гоголя и русскую печатную полемику между Белинским и «Северной пчелой».

В 1845 г. Луи Виардо (1800—1883), муж певицы Полины Виардо, издал в Париже томик повестей Гоголя со своим именем как переводчика.[12] В предисловии к этой книге Виардо простодушно объяснил, как случилось, что он, не зная ни слова по-русски, публикует перевод русской книги: «Этот перевод, сделанный в Петербурге, принадлежит мне в меньшей степени, чем двум моим

---

[9] *Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff, d'après sa correspondance avec ses amis français. Paris, 1901. P. 436.

[10] Наиболее полный перечень их дает составленный М. К. Клеманом «Хронологический перечень работ и замыслов И. С. Тургенева» в ленинградском тургеневском сборнике 1934 г. Заметка И. Розенкранца «Тургенев как переводчик» (Slavia. 1939. XIV, 4. С. 595—597) почти не касается переводов его с русского на иностранные языки.

[11] Несколько немецких стихотворных переводов Тургенева из Пушкина и Фета сделаны были им ad hoc для романсов Полины Виардо, в помощь другим переводчикам (Боденштедт), и не могут идти в счет. См.: Русская старина. 1887. Т. 54. С. 485 и след.; Современный мир. 1911. № 12. С. 171—172.

[12] *Gogol N.* Nouvelles russes/Par L. Viardot. Paris, 1845. Сюда вошли: «Вий», «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска» и «Старосветские помещики».

друзьям: И. Т., молодому писателю, уже приобревшему себе имя как поэт и критик, и С. Г., который готовит „Историю славянских народов". Они были так любезны, что диктовали мне французский перевод с русского оригинала. Я же не сделал ничего иного, как только исправлял некоторые слова и фразы. И если стиль принадлежит отчасти мне, то передача смысла — исключительно им». «Молодой писатель» И. Т. («jeune écrivain déjà renommé comme poète et comme critique...») — Иван Тургенев, под инициалами же С. Г., как догадывается И. Н. Розанов,[13] скрывается Степан Александрович Гедеонов (1816—1878), автор пьесы «Смерть Ляпунова», хотя эта идентификация не представляется мне безусловной.

Этот томик французских переводов из Гоголя обратил на себя внимание не только французской, но и русской периодической печати. Находившийся в это время в Париже Н. И. Греч прислал корреспонденцию в «Северную пчелу» (1846, № 57), где отозвался об этом издании крайне неодобрительно: «Г. Виардо изданием перевода сочинений Н. В. Гоголя принес и нашей литературной репутации услугу очень сомнительную, похожую на ту, которою, в басне Крылова, медведь угодил спящему другу. Нельзя вообразить ничего карикатурнее и смешнее этого перевода. Наблюдательность автора, его искусство схватывать едва уловимые черты малороссийского быта, его мнимое простодушие, его наивная замысловатость — все это исчезло под губительным пером варвара-переводчика: остались нелепые вымыслы, уродливые сцены, отвратительные подробности, безвкусие и отсутствие всякого благородства и изящества литературного: вместо живого тела видим безобразный скелет». Но Греч шел и еще дальше: он издевался над Виардо за то, что тот, печатая первоначально перевод «Вия» в «Journal des Débats», снабдил эту «юродивую повесть» своим предисловием, в котором назвал Гоголя наследником Пушкина и Лермонтова в русской литературе. «Мы, — писал Греч о Гоголе, — ...не дерзаем ставить его не только наравне с Пушкиным и с Лермонтовым, да и непосредственно после них. У него нет главного, нет языка; он позаймет, позабавит публику своим рассказом, но не подвинет ее вперед на пути литературного образования». Статья Греча не прошла у нас незамеченной; негодующую отповедь дал ей Белинский в «Отечественных записках» (1846. Т. 45), где он писал, между прочим: «„Северная пчела“ вольна находить перевод г. Виардо варварским, как мы вольны находить его превосходным: на вкус товарища нет. Но чтобы французские журналы смеялись над творениями Гоголя в переводе и ставили их гораздо ниже действительного их достоинства, — это <...> чистая выдумка <...> Все французские журналы, говорившие о Гоголе, говорили о нем с величайшими похвалами».[14] В особенное негодование Белинского

[13] *Розанов И.* Тургенев — переводчик Гоголя//Литературная газета. 1937, 26 июля. № 40 (676).

[14] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 648.

привела, однако, даже не столько самая корреспонденция Греча, сколько то редакционное примечание, которым снабдил эту статью Булгарин. Булгарин возражал не против самого издания Гоголя на французском языке, но против участия в этом переводе русских литераторов; это был уже обычный для Булгарина гнусный донос: «...у нас есть люди, которые ловят каждого заезжего чужеземного литератора, чтоб внушить ему свои понятия о русской литературе и русских литераторах, т. е. похвальное мнение о своих собственных и приятелей своих сочинениях <...> Таким образом уловили г. Мармье и других; точно так же поймали и г. Виардо, уверили его, что первый писатель в России из всех бывших и будущих есть г. Гоголь, и пригласили перевесть его сочинения. Но как же переводить, когда г. Виардо, как мне весьма хорошо известно, не знает трех слов по-русски? *К нему отрядили одного из гениев новой натуральной школы, знающего французский язык (т. е. французские слова)*, и он стал надстрочно переводить для г. Виардо сочинения г. Гоголя, а г. Виардо долженствовал сообщить этому переводу слог и свойство французского языка, как говорится, офранцузить чужеземное слово. Встречая часто у г. Виардо этого гения новой натуральной школы, за бумагами, я однажды не мог вытерпеть, чтоб не изъявить моего удивления, и тогда г. Виардо сознался мне, что этот гений переводит для него сочинения г. Гоголя, с которыми он намерен познакомить Европу». Легко представить себе негодование Белинского и обиду его молодого друга Ивана Тургенева, которого Булгарин имеет в виду, говоря об «одном из гениев новой натуральной школы». Выпад Булгарина был тем более оскорбителен, что его указания на «частые встречи» с Тургеневым у Виардо были сплошным вымыслом и что Виардо нечего было «сознаваться» в сотрудничестве с «молодым русским писателем», поскольку он с благодарностью упомянул об этом и в своем предисловии к «Nouvelles russes». Булгарин недвусмысленно обвинял Тургенева и в своекорыстных целях его помощи Виардо («внушить... похвальное мнение о своих собственных и приятелей своих сочинениях»). Белинский не мог не вступиться не только за Гоголя, оклеветанного Гречем, но и за Тургенева, обруганного Булгариным; его полемическая статья представляет собой справедливую и красноречивую защиту обоих русских писателей.[15] Поэтому в своей рецензии на «Петербургский сборник» (СПб., 1846) Белинский, полемизируя с Булгариным, не случайно ставит рядом Тургенева и переводчика Гоголя на французский язык, не называя последнего по имени: это была двойная защита Тургенева, как поэта и как переводчика; весь смысл иронии Белинского может быть понят нами только на фоне рассказанного эпизода; современники же этих событий в таком комментарии не нуждались, прекрасно зная, что Белинский имеет в виду одно и то же лицо. Вся эта история произвела, по-видимому, некоторый шум в русском литературном мире; поздний отзвук ее мы находим еще в «Дневнике писателя» Досто-

---

[15] Там же. С. 647—649.

евского.[16] Белинский писал о Булгарине: «Что „Помещик" г. Тургенева может ему не нравиться, этому мы не удивляемся: у всякого свой вкус. Есть люди, которым, например, очень не нравится, что повести Гоголя переведены на французский язык (через что талант Гоголя получил европейскую известность); а нам нравится (и притом еще как!) и „Помещик" г. Тургенева и то, что повести Гоголя изданы в Париже в таком прекрасном переводе».[17]

В биографии Тургенева весь этот оставшийся до сих пор мало освещенным эпизод о переводе им Гоголя на французский язык примечателен и потому, что с ним в какой-то мере связано и личное знакомство Тургенева с Гоголем. В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев рассказывает о своем посещении Гоголя вместе со Щепкиным в 1851 г.; об этом же визите говорится и в воспоминаниях М. С. Щепкина, записанных его внуком. «Он [Гоголь], — рассказывал М. С. Щепкин, — встретил нас весьма приветливо; когда же Иван Сергеевич сказал Гоголю, что некоторые произведения его, переведенные им на французский язык и читанные в Париже, произвели большое впечатление, Николай Васильевич заметно был доволен и с своей стороны сказал несколько любезностей Тургеневу».[18]

Характерно, что и Булгарин, и полемические статьи Белинского, и воспоминания М. С. Щепкина называют Тургенева единственным сотрудником Виардо. В рассказе М. С. Щепкина Тургенев будто бы даже безоговорочно приписал этот перевод себе одному, не упоминая о Л. Виардо. Таинственный С. Г., второй из сотрудников Виардо по этому переводу, фигурирует только однажды, в предисловии к «Nouvelles russes», и больше нигде не упоминается; по-видимому, важнейшая, если не единственная, роль в этом переводе действительно принадлежала Тургеневу.[19] Этим, вероятно, можно

[16] Достоевский, между прочим, писал: «Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г. Виардо <...> француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева...» (Дневник писателя, 1873). Отзыв Достоевского об этом переводе был, впрочем, отрицательным. См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1980. Т. 21. С. 68; Т. 23. С. 81—82.

[17] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 567.

[18] *Щепкин М. С.* Записки его, письма и пр. Пгр., 1914. С. 373—374.

[19] О том, как происходил самый процесс перевода, дают представление указания Э. Дюрана в его статье о Тургеневе (Bibliothèque Universelle. 1890. Novembre et Décembre), относящиеся, впрочем, к переводу Л. Виардо произведений самого Тургенева: «Тургенев диктовал свой перевод, насколько возможно дословно, а Луи Виардо передавал его литературным языком, но под его редакцией. Каждая трудная фраза, каждое сомнительное слово они обсуждали вместе <...> Мы знаем также, что m-me Виардо участвовала в этих переводах» (*Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff, d'après sa correspondance avec ses amis français. P. 303). Отметим, кстати, что все последующие переводы Тургенева и Л. Виардо были исключительно прозаические. С. Ромм ошибается, утверждая, что «Иван Сергеевич сотрудничал в смысле дословного перевода, а Виардо облекал прозу в стихотворную форму французской речи» (Из далекого прошлого. Воспоминания об И. С. Тургеневе//Вестник Европы. 1916. № 12. С. 110). О Луи Виардо и его отношениях с Тургеневым см. также в статье А. А. Андреевой «И. С. Тургенев в кругу французских литераторов» (Почин: Сборник Общества любителей российской словесности на 1896 г. М., 1896. С. 563—566).

объяснить, что он всегда интересовался впечатлением, которое этот перевод производил на иностранцев. По-видимому, именно об этом переводе идет речь в письме Тургенева (12(24) мая 1853 г.) в Лондон к Полине Виардо: «...не забудьте спросить у Чорлея <...> отчего он не сообщет мне своего мнения о Гоголе».[20] Знал этот томик и Ч. Диккенс. Он спрашивал Э. Бульвер-Литтона в письме от 25 октября 1867 г.: «Видели вы когда-нибудь „Nouvelles Russes“ Николая Гоголя в переводе Луи Виардо? Там есть одна повесть под заглавием «Тарас Бульба“» и т. д. [21]

В истории творческого развития Тургенева перевод пяти повестей Гоголя имел немалое значение: середина 1840-х гг. — путь Тургенева к прозе, поиски собственного прозаического стиля. Труд над переводом Гоголя привлек внимание Тургенева к языку Гоголя, подчеркнул специфику его речевых конструкций, ввел во все тайны его стилистического мастерства. На пути от лирической поэмы к прозаической повести этот переводческий труд составил один из важных этапов; существенно, что вопросы о «переводимости» гоголевского текста на иностранные языки, о национальных и общеевропейских качествах прозаического стиля и т. п. занимали Тургенева несколько лет и не потеряли для него значения еще и тогда, когда созданы были многие рассказы «Записок охотника». Из письма Тургенева к Луи Виардо от 8(20) августа 1849 г. видно, что Тургенев хлопотал в это время о том, чтобы раздобыть в Париже русский текст «Шинели» Гоголя, который предполагал перевести совместно с ним (Письма. I, 372). Отметим, что «Nouvelles russes» — первый опыт отдельного издания русского прозаика на французском языке, и этот опыт вызвал отклик Белинского.[22]

3

Таким образом, пропаганда Тургеневым русской литературы во Франции началась еще до того, как он стал известен в России в качестве прозаика. И этой пропаганды и прежде всего переводческого дела Тургенев не оставлял уже до конца своей жизни. Как переводчик на французский язык русских писателей в сотрудни-

---

[20] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1961. Письма. Т. 2. С. 154. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием римской цифрой номера тома, арабской — страницы. Ф. Чорли — критик, близкий к лондонскому журналу «Атенеум».

[21] Letters of Charles Dickens/Ed. Tauchnitz. London, 1882. Vol. 4. P. 221.

[22] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 369—370. Белинский, между прочим, отмечал, что интерес, возбужденный к Гоголю во Франции изданием «Nouvelles russes» Виардо, объяснялся полной оригинальностью русского поэта для французских читателей: «Как живописец преимущественно житейского быта, прозаической действительности, он не может не иметь для иностранцев полного интереса национальной оригинальности уже по самому содержанию своих произведений. В нем все особенное, чисто русское; ни одною чертою не напомнит он иностранцу ни об одном европейском поэте». См. также «Литературные и журнальные заметки. Отзывы французских журналов о Гоголе» (С. 421—429).

честве с Луи Виардо, дружба с которым Тургенева продолжалась несколько десятилетий (оба они умерли в один год — 1883), он выступал несколько раз. Это были главным образом переводы из Пушкина. Десятилетие спустя после издания «Nouvelles russes» Гоголя Тургенев вместе с Виардо выпустил французский перевод «Капитанской дочки», который смог выдержать с 1854 по 1879 г. семь изданий.[23] С этих пор полное имя Тургенева уже стояло под этими переводами. В 1862 г. вместе с Виардо он издал в Париже отдельной книгой драмы Пушкина в прозаическом переводе, куда вошли «Борис Годунов», «Русалка» и все маленькие трагедии, кроме «Пира во время чумы».[24] Через год (1863) в «Revue Nationale» Тургенев напечатал прозаический перевод «Евгения Онегина».[25]

Между этими крупными переводами Тургенева из Пушкина, исполнение которых с перерывами продолжалось почти полвека, находится также ряд его мелких переводческих работ, прежде всего из того же Пушкина. Эмиль Золя, если верить И. Я. Павловскому, однажды рассказал ему, что он видел Тургенева у Гюстава Флобера, много вечеров подряд трудившегося над переводом нескольких стихотворений Пушкина. Флобер выправил эти переводы, придал им окончательный блеск французской речи, и они были напечатаны в небольшом парижском журнале «парнасцев» «La République des Lettres»,[26] к редакции которого близко стоял Катюлль Мендес.

---

[23] Когда в «Русском архиве» 1880 г. П. И. Бартенев опубликовал новонайденные страницы «Капитанской дочки», Тургенев тотчас же позаботился о немедленном переводе их на французский язык и напечатал их с собственным предисловием («La Revue Politique et Littéraire». 1881. 29 janvier. № 5. P. 131—135. Подпись: «Traduit par M. M. Ivan Tourguéneff et Louis Viardot»). Подробности см.: *Тургенев И. С.* Соч. М.; Л. 1933. Т. 12. См. также: Соч. Т. 15. С. 356—357.

[24] Poèmes dramatiques d'Alexandre Pouchkine. Traduits de russe par Ivan Tougruéneff et Louis Viardot. Paris, 1862. Предисловие Тургенева к этим переводам впервые опубликовано Н. О. Лернером (Красная газета: вечерний выпуск. 1926. 3 января. № 2). Об этом переводе см. статью A. Claveau в «Journal des Débats» (Эта статья реферирована у нас была Г. В. М—вым в «Еженедельном прибавлении» к «Русскому инвалиду». 1864. 9 ноября. № 40. С. 8—13). Отметим также, что разбор изданных Тургеневым и Виардо переводов из Гоголя и Пушкина дан был Adalbert Front de Fonpertuis (Etudes de littérature étrangère. Au Pays. 1859. P. 1—32, 117). Ср.: *Шульц В. К.* Пушкин в переводе французских писателей//Древняя и новая Россия. 1880. № 12. С. 737—798 и др.

[25] Revue Nationale et Etrangère. 1863. T. 13, livr. 48, 49, 50. Ср.: *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. СПб., 1909. С. 562.

[26] La République des Lettres. 1877. № 1. Пользуемся указанием И. Я. Павловского, так как самого издания нам видеть не удалось (*Pavlovsky I.* Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887. P. 154); здесь же (с. 154—156) перепечатаны и прозаические переводы стихотворений Пушкина: «Пророк», «Опричник», «Бессонница», «Поэту». Беловые автографы этих переводов (рукой Тургенева) хранились в парижской части архива Тургенева. Описавший их А. Мазон (см.: *Mazon A.* Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguéneff. Paris, 1930. P. 97) не называет издания, где они были напечатаны, указывая лишь, что они, вероятно, предназначались для какого-нибудь французского журнала или газеты и что в рукописи им предшествует небольшая заметка Тургенева о Пушкине, где отмечалось: «Имя Пушкина достаточно известно во Франции для того, чтобы можно было избавить читателя от подробностей сопроводительной

Другой рассказ, со слов самого Тургенева, передает нам М. М. Ковалевский. Тургенев будто бы однажды принес Флоберу одну из «Повестей Белкина», переведенную им на французский язык. «Прочитавши мой перевод, Флобер сказал мне: „Нет, так нельзя. Это все надо пересмотреть. Вы слишком часто употребляете одно и то же слово, а если не одно и то же, то однозвучное“, и тут же на моих глазах принялся за пересмотр рукописи. Он вычеркивал целые строчки, снабжая поля собственной редакцией; затем, недовольный своими поправками, вычеркивал все снова, восстанавливал прежний текст и на этот раз уже с озлоблением принимался за вторичную его переделку. „Нет, сегодня ничего не выйдет, — сказал он мне в заключение. — Нужно время. Дайте мне подумать“. Когда через две недели я зашел к нему за рукописью, я не узнал собственного перевода. Но что это был за слог! Нет, таким слогом во Франции никто не пишет...».[27]

Нельзя сказать с полной определенностью, насколько точно М. М. Ковалевским записан этот рассказ Тургенева. Можно, однако, предположить, что речь шла здесь не о выполненном Тургеневым переводе одной из «Повестей Белкина»: о подобных переводах Тургенева ничего не известно. Если бы такой перевод существовал в действительности, едва ли Тургенев не постарался бы его напечатать, в особенности после тех трудов, которых исправление этого перевода стоило его другу Флоберу. Не о стихотворениях ли Пушкина идет здесь речь, тех самых, над переводами которых Флобер с Тургеневым, по словам Золя, трудились «несколько вечеров подряд»? Однако в самом факте обращения Тургенева к его французскому собрату за помощью и советом в трудном переводческом деле нет ничего невероятного. Возможно, что в особо затруднительных случаях перевода помощь Л. Виардо казалась ему недостаточной и он искал совета и поддержки у наиболее блестящих французских стилистов. Так поступил Тургенев со своим переводом «Мцыри» Лермонтова.

В 1865 г. Мериме согласился просмотреть этот прозаический перевод Тургенева, и вскоре он был напечатан в «Revue Moderne».[28]

заметки (d'une notice); достаточно напомнить, что, родившийся в 1799 г. и убитый на дуэли в 1837 г., он может считаться самым высшим представителем поэтического гения в России» и т. д. (с. 97). В журнале «La République des Lettres»Тургенев выступил еще раз в том же 1877 г.: здесь был напечатан его «Рассказ отца Алексея». Тургенев согласился на его опубликование во французском издании еще до выхода в свет русского оригинала на том основании, что «этот журнальчик даже здесь [в Париже] не читают, — а в России он, чай, совершенно безвестен» (письмо к М. М. Стасюлевичу от 29 марта (10 апреля) 1877 г.), и потому, что редактор, «которому я давно обещал дать что-нибудь, вполне удовлетворился переводом этой вещицы» (письмо к Ю. Роденбергу, 30 апреля (2 мая) 1877 г.: Письма, XII, кн. 1, 131, 154). Но оказалось иное: перевод этого рассказа тотчас же был напечатан в «Новом времени», и это принесло Тургеневу много огорчений и хлопот (см.: Стасюлевич и его современники. СПб., 1912. Т. 3. С. 124).

[27] *Ковалевский М. М.* Воспоминания об И. С. Тургеневе//Минувшие годы. 1908. № 8. С. 15.

[28] Le Novice//Revue Moderne (suite de la Revue Germanique). 1865. T. 34. P. 31—43.

Хотя под этим переводом стоит подпись одного Тургенева, но ему предпослана вступительная заметка, устанавливающая сотрудничество Мериме. «Мериме, — пишет здесь Тургенев, — взял на себя труд просмотреть наш перевод. Подобное имя освобождает от необходимости каких-либо похвал, и нам остается лишь высказать ему нашу благодарность».[29] Доля участия в этом переводе каждого из этих писателей не поддается точному разграничению.[30] Сотрудничество Мериме в переводе из Лермонтова несомненно имело для Тургенева не только практическое, но и принципиальное значение, как впоследствии и работа его с Флобером над переводами стихотворений Пушкина: вопрос шел прежде всего о том, допустима ли прозаическая передача иностранного стихотворного текста. За два года перед публикацией «Мцыри» Тургенев напечатал в «Revue Nationale» прозаический перевод «Евгения Онегина». Нужно думать, что его знал и Мериме и что в короткие и нечастые встречи с ним в 1863—1865 гг.[31] Тургенев обсуждал этот вопрос и в связи с переводами из Пушкина, и по поводу лермонтовского «Мцыри». Во всяком случае в одном из своих писем к П. В. Анненкову (22 ноября (4 декабря) 1881 г.) Тургенев вспоминает, как однажды Мериме сказал ему про «Евгения Онегина», «что он не знает „aucun versificateur qui oserait le tenter!!"» (Письма, XIII, кн. 1, 149).

В своих статьях о Пушкине Мериме также доказывал, и из-за своего особого нерасположения к стихам, и по своей великой любви к Пушкину, что передать его на французском стихотворном языке невозможно: сделанные им сами переводы (отрывок из «Цыган», «Гусар» и др.) — прозаические; предельную сжатость «Анчара» Мериме смог воспроизвести даже не по-французски, а только по-латыни. В свое время то же доказывал у нас Белинский в хорошо известных Тургеневу статьях о Гоголе во французском переводе.[32] Таково же несомненно было и убеждение самого Тургенева. Его переводы «Евгения Онегина», драматиче-

---

[29] Имена обоих писателей фигурируют также в оглавлении этого журнала (на обложке). Вероятно, на этом основании Анри Монго включил этот перевод в изданные им работы Мериме о русской литературе (*Mérimée P.* Oeuvres Complètes. Etudes de littérature russe. Paris, 1931. T. 1. P. 133—154).

[30] Ibid. Introduction. P. XXXVIII—XXXIX. Все неточности и нелепости перевода «Мцыри» педантически отмечены здесь же, в примечаниях к его полной перепечатке. См. также по поводу этого перевода статью Ю. Никольского в издании, посвященном А. Беличу (Зборникъ филолошскихъ и лингвистичкихъ студнiа. Београд, 1921).

[31] *Клеман М. К.* Тургенев и Мериме//Литературное наследство. М., 1937. Т. 31—32. С. 718.

[32] «Басни Крылова непереводимы, и чтоб иностранец мог вполне оценить талант нашего великого баснописца, ему надо выучиться русскому языку и пожить в России, чтоб освоиться с ее житейским бытом. „Горе от ума" Грибоедова могло бы быть переведено без особенной утраты в своем достоинстве; но где найти переводчика, которому был бы под силу такой труд? То же должно сказать о Пушкине и Лермонтове: переводить их должно стихами, но какой же талант нужно иметь переводчику!» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 370).

ских произведений и стихотворений Пушкина, поэмы Лермонтова сделаны прозой не потому, что Тургенева могла затруднять французская метрика (мог же он написать хорошими французскими стихами либретто оперетт к музыке Полины Виардо и ряд текстов к ее романсам), но потому, что, по его мнению, переводить поэта мог только поэт. В 1870 г., в своей заметке об английском стихотворном переводе «Демона» А. Стифена, Тургенев писал, что «перевод в прозе имел бы на своей стороне важное преимущество бо́льшей точности и верности»; правда, «поэтическая физиономия утратила бы свои права», но такая утрата неизбежна и необходима, поскольку в стихотворных переводах одна поэтическая система не может быть заменена другой. Стифену, по словам Тургенева, «в иных местах своего переложения» Лермонтова пришлось «расплыться в ширину и прибегать к риторической фразеологии, освещенной байроновской традицией». Точно так же русские переводы Мольера делались у нас «грибоедовским» стихом. Одна поэтическая система заменяла собой другую. Тургенев предпочитал нарушить эту систему вовсе, но с максимальной полнотой передать все смысловые оттенки переводимого текста. Поздний отзвук тех же мыслей мы находим в любопытном и уже цитированном письме Тургенева к П. В. Анненкову от 22 ноября (4 декабря) 1881 г.: «Есть на свете храбрые люди!!! — писал Тургенев. — Михайлов переводит французскими стихами „Евгения Онегина“ <...> Впрочем, во время моей последней поездки в Англию мне давали читать один перевод „Онегина“, сделанный английскими рифмованными стихами <...> верности невероятной, изумительной — и такой же изумительной дубинности!» (Письма, XIII, кн. 1, 149).[33]

Н. Ф. Бельчиков, издавая это и последующие письма Тургенева к Анненкову, предположил, что автор этого стихотворного перевода «Евгения Онегина» — Шеллер Александр Константинович, писавший под псевдонимом А. Михайлов.[34] Но Тургенев имеет в виду совершенно другое лицо — Владимира Михайловича Михайлова (1811 — ум. в 1890-х гг.), друга В. С. Печерина по Петербургскому университету, близкого к кружку А. В. Никитенко, который подробно рассказывает о нем в своем дневнике. Впоследствии В. М. Михайлов сделал большую карьеру и совмещал обязанности крупного чиновника Государственного совета с неустанными литературными начинаниями, которых он не оставил до конца своей долгой жизни: он был и переводчиком, и беллетристом, и литератором, сотрудничал в «Библиотеке для чтения» и в «Энци-

---

[33] Английский перевод «Онегина», о котором говорит Тургенев, — это «Eugène Onéguine: a Romance of Russian Life in Verse. Translated from the Russian by Lieut. Col. Spalding» (London, 1888). Подробный анализ его, сравнительно с русским текстом, см.: *Morfill W.* A. Poushkine. The Westminster Review. 1883. Vol. 63. April. P. 443—444. При своей достаточной точности он действительно отличается непоэтическими качествами. См. также «Заграничный вестник» В. Корша (1881. Т. 1. С. 70—71).

[34] Красный архив. 1929. Т. 32. С. 198—199, 208.

клопедическом лексиконе» Плюшара, переводил Данте и Гейне.[35] Когда в 1865 г. В. М. Михайлов увлекся Гейне и перевел его «Германию» русскими стихами, Тургенев признал в его переводе «верность духу автора» и принял в его работе некоторое участие. «Я два раза вместе с переводчиком прошел всю поэму от стиха до стиха, сверяя ее с подлинником», — писал Тургенев М. М. Стасюлевичу 23 апреля (5 мая) 1873 г. (Письма, X, 94). Когда попытка пристроить этот перевод в «Вестнике Европы» не удалась по цензурным условиям, он был издан в Лейпциге отдельной книжкой (1875), причем переводчик, опасаясь репрессий со стороны русского правительства, скрыл свое имя под псевдонимом Заезжего.[36] Много лет спустя (в 1881 г.) В. М. Михайлов вновь обратился к Тургеневу с просьбой просмотреть и одобрить к изданию выполненный им французский стихотворный перевод «Евгения Онегина», но отношение Тургенева к переводчику было на этот раз совершенно иным и вызвало с его стороны даже необычную резкость. В письмах к П. В. Анненкову (1 (13) декабря 1881 г., 22 декабря 1881 г. (5 января 1882 г.), 20 января 1882 г.) Тургенев оправдывался в том, что написал Михайлову слишком резкое письмо по этому поводу («Да ведь и было из-за чего! Его перевод — нечто ужасное! <...> Он, конечно, рассердился; но я его избавил от бессмысленного труда и неизбежного посрамления») и высказал свои взгляды на задачи переводчика вообще и переводчика Пушкина в частности. «Совершенно справедливо, что Пушкина надо переводить стихами; на прозаический перевод никто не обращает внимания — ибо существует *необычайно верный* прозаический перевод „Онегина" на французском языке — именно перевод, сделанный *мною и Виардо* и помещенный в „Revue Nationale" лет 20 тому назад; и он до того остался незамеченным, что не помешал появиться тому безобразному переводу, из которого вы цитируете „поэта Банбурского".[37] Но зато и нужно, чтобы перевод в стихах был сделан тоже поэтом <...> Переводить *Пушкина* — человеку, незнакомому с грамматикой языка, на который он переводит, — воля Ваша, это преступление <...> Нет, любезный друг, нельзя, как вы говорите, допустить, чтобы все, сколько угодно, гуляли и возились около Пушкина; ставят же ограды около мраморных статуй» (Письма, XIII, кн. 1, 154, 170, 183).

Резкий отзыв Тургенева об этом переводе В. М. Михайлова, присланном ему в рукописи, не помешал, однако, выпуску в свет этого перевода в Париже — правда, уже после смерти Тургене-

---

[35] О В. М. Михайлове см.: Знакомые (Альбом М. И. Семевского. СПб., 1888. С. 299—301), а также статью А. А. Сабурова «И. С. Тургенев по неопубликованным материалам Печеринского архива» (И. С. Тургенев. Исследования и материалы/Под ред. Н. Л. Бродского. Орел, 1941. С. 55—58), в которой приведены выдержки из писем В. М. Михайлова к В. С. Печерину и П. В. Анненкова к Михайлову об И. С. Тургеневе.

[36] М. М. Стасюлевич и его современники. СПб., 1912. Т. 3. С. 34.

[37] Речь идет о книге: Pouchkine. Eugène Onéguine, traduit du russe par Paul Béesau. Paris. 1868.

ва[38] — и не воспрепятствовал дальнейшим опытам Михайлова в том же роде.[39] Однако Тургенев до конца остался при убеждении, что перевод в стихах может быть сделан только поэтом. Даже свои прозаические переводы из Пушкина он не решался печатать иначе, как после тщательной их ревизии первоклассными знатоками французской речи; вот почему Луи Виардо, товарища его первых переводческих досугов и раннего наставника по французской стилистике, в конце концов сменили Мериме и Флобер.

Переводы Тургенева прошли в общем малозамеченными широкой публикой, тем не менее значение их очень велико и многообразно. Прежде всего их нельзя не учитывать в творческом развитии самого Тургенева, поскольку они были одним из труднейших экспериментов не только над французским, но и над русским художественным словом и связаны были для него с отходом от поэзии к прозе. С другой стороны, эти переводы Тургенева сыграли немалую роль и в деле популяризации русской литературы на Западе, представив очень точные во всех оттенках своего смыслового значения воссоздания на французском языке ряда шедевров русской поэзии и прозы. Как ни узок был круг их распространения среди европейских читателей, но несомненен след, оставленный ими во французской литературе: читателями его переводов из Пушкина, Лермонтова и Гоголя были Мериме и Флобер, Тэн и Ренан, братья Гонкуры и Золя.

4

Печатные переводы произведений русских писателей, выполненные Тургеневым, составляли лишь малую часть в той разнообразной деятельности по популяризации русской литературы среди западноевропейских читателей, которой Тургенев отдался живя за границей. Не меньшее значение, чем печатные, имели также его устные переводы, не предназначавшиеся для опубликования и даже

[38] *Pouchkine.* Eugène Onéguine en vers. Traduit du russe par Wladimir Mikhaïlow/Ed. Auguste Ghio. Paris, 1884. В библиотеке Пушкинского Дома сохранился поступивший сюда из парижского собрания А. Ф. Онегина авторский экземпляр этого издания с многочисленными поправками, изменениями и пометой: «exemplaire corrigé pour la 2-e édition désirée, 1887». В предисловии автор стремится оправдать свой труд перед французскими читателями тем соображением, что точный перевод «Евгения Онегина» недоступен для иностранца по недостатку знакомства с русским бытом и всегда будет изобиловать ошибками. Книга эта вызвала отрицательную оценку в «Вестнике Европы» (1884. № 11. С. 439—441); рецензент находил, что в переводе В. М. Михайлова «сжатость пушкинского стиха почти везде уступает место расплывчатости, простота часто заменяется деланностью <...> тон перевода напоминает, по временам, псевдоклассическую манеру, т. е. нечто прямо и безусловно противоположное духу пушкинской поэмы». Ср. также отзыв «Русской мысли» (1884. № 11. С. 34—35).

[39] Следующий французский перевод В. М. Михайлова из Пушкина, также стихотворный, вышел в Петербурге: *Pouchkine.* Poltawa. Traduit du russe par Wl. Mikhaïlow. St.-Pétersbourg, 1888 (ср. рецензию: «Вестник Европы». 1888. № 6. С. 865—866).

не подвергшиеся письменной фиксации, а также связанные с ними беседы о русской литературе в товарищеском кругу иностранных писателей, наконец, и систематическая помощь, которую он неизменно и на протяжении долгих лет оказывал всем иноземным переводчикам с русского языка. Каждая из этих сторон его деятельности заслуживает специального рассмотрения: письма, дневники, воспоминания как самого Тургенева, так и ряда его западных друзей дают нам множество указаний по этому поводу и убеждают в том, как велика и плодотворна была его деятельность по пропаганде русской культуры за рубежом.

Значение «устных» переводов, бесед, разнообразных форм личного общения и воздействия для истории распространения на Западе русской литературы не приходится преуменьшать по крайней мере для трех четвертей XIX столетия. Обилие русских путешественников за границей, хорошо владевших иностранными языками, несомненно сыграло свою роль; нередко многие из этих путешественников, даже независимо от своего образования или литературных склонностей, стихийно превращались в переводчиков-любителей и истолкователей русской поэзии. Достаточно вспомнить здесь хотя бы роль русских гостей в парижских салонах 1820-х гг., немецкий кружок Н. А. Мельгунова в 1830-х гг. или русских знакомцев Фарнгагена фон Энзе в Берлине в 1830—1840-х гг. Лишь учтя действительную роль этого бытового фактора, мы в состоянии будем допустить, например, влияние произведений Пушкина или Лермонтова на западных читателей помимо существования в то время немногочисленных и несовершенных печатных переводов их произведений. Н. А. Мельгунов, как известно, был «суфлером» Кёнига при написании им «Очерков русской литературы»; Элим Мещерский в Париже устно знакомил своих друзей с русскими поэтическими текстами, и так некоторые из них, например Э. Дешан, сделались переводчиками с русского, не зная русского языка. У Фарнгагена, с помощью его русских посетителей, читали и толковали русские тексты Пушкина, тут же бегло переводившиеся на немецкий язык: переводчиками и толкователями выступали здесь и Станкевич, и Огарев, и тот же И. С. Тургенев. Аналогична была роль многочисленных русских знакомых Проспера Мериме; устные или письменные подстрочные переводы русских текстов, делавшиеся для него С. А. Соболевским или В. И. Дубенской, оказали ему немалую помощь. Естественно, что роль Тургенева как пособника переводчиков с русского, как истолкователя русской литературы на Западе, была неизмеримо более велика, в особенности с тех пор, как он завоевал себе здесь прочную славу как несравненный художник и непререкаемый критический авторитет. Без учета той роли, какую играл Тургенев в Баден-Бадене в 1860-х гг. среди немецких, в Лондоне — среди английских, в Париже — среди французских писателей, едва ли может быть написана история распространения русской литературы на Западе вообще.

Эдуард Род «одной из наиболее характерных и прекрасных черт» Тургенева как человека считал присущую ему «необычайную скром-

ность». Тургенев, по его словам, «говорил о себе только затем, чтобы похвалить своих соотечественников. Он постоянно принижал себя в их пользу. „Я, — говорил он, — ничто, но если бы вы читали Толстого, Гоголя, Достоевского!“».[40] Шарль Эдмон (Хоецкий) в свою очередь писал Гальперину-Каминскому, что в литературных симпатиях Тургенева «первое место, конечно, занимали его соотечественники, русские писатели. Он восторгался их талантом и даже иногда преувеличивал их заслуги. Он гордился ими, как будто дело касалось его близких или членов его семьи. Ни разу чувство зависти не смутило души славянского патриота. Он удивлялся Пушкину и восторгался Мицкевичем».[41] У Тургенева действительно было то, что он сам, в предисловии к изданным им письмам Пушкина к жене, признаваясь в глубоком благоговении к тому, «учеником которого он считал себя с младых ногтей», определил латинским стихом: «Vestigia semper adoro» («Я всегда поклоняюсь следам», т. е. тем, по следам которых иду). Но и по отношению к своим современникам Тургенев отличался достаточным беспристрастием; когда же дело шло об истолковании произведений современной ему литературы иностранцам, то патриотические увлечения и чувство народной гордости тотчас же отодвигали в нем на задний план все личное, все «слишком человеческие» чувства соперничества, несогласий или внутреннего недовольства, неудовлетворения, и он умел быть не только бескорыстным в полной мере, но и действительно увлеченным. В сильнейшей степени это сказалось, например, в отношениях Тургенева к Льву Толстому.

Для вопроса о том, что сделал Тургенев для популяризации русской литературы на Западе, имеет значение ряд фактов, которые еще не были собраны воедино и еще не подвергались самостоятельному изучению. На первом месте, конечно, и здесь стоят те писатели, по следам которых он шел, — Пушкин, Лермонтов, Гоголь; но этот избранный круг разрастается чрезвычайно, когда дело идет об его современниках. Поистине, в русской литературе с конца 1850-х и до начала 1880-х гг. не осталось ни одного сколько-нибудь заметного литературного явления, ознакомлению с которым на Западе Тургенев не содействовал в той или иной степени устным истолкованием, помощью в переводе, в критической оценке, в сношениях с иностранными издателями.

В начале 1863 г., при посредстве Шарля Эдмона, Тургенев знакомится с французскими писателями, посещающими артистические «обеды Маньи». «Растроганный, ободренный устроенной ему овацией, он увлекательно рассказывает нам о русской литературе, которая, по его словам, от романа до театра, решительно встала на путь реализма»,[42] — читаем мы о Тургеневе в «Дневнике бр. Гонкуров» за этот год. Все участники этих дружеских встреч, могучая

---

[40] Русский вестник. 1893. № 8. С. 208.

[41] *Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff, d'après sa correspondance avec ses amis français. P. 9.

[42] *Goncourt E. et J. de.* Journal édition définite, publ. sous la diection de l'Académie Goncourt. Paris, s. a. T. 11. P. 77.

«пятерка» — Флобер, Золя, бр. Гонкуры, Доде, — а также примкнувшая к ним впоследствии литературная молодежь (например, Мопассан) сохранили в своем творчестве, в своих письмах, в своих мемуарах отчетливые следы этих увлекательных рассказов Тургенева о тогда еще мало известных во Франции русских писателях. Десятилетие спустя после указанной даты, под 22 января 1873 г., в дневнике Гонкуров встречается такая запись о Тургеневе: «Он говорит, что когда он грустен, плохо настроен, ему довольно двадцати стихов Пушкина, чтобы вывести его из уныния, ободрить и возбудить; они внушают ему то восторженное умиление, которое он не испытывает ни от каких великих или великодушных дел». Проходит еще несколько лет, и в роман «Les frères Zemganno» (1879) Э. Гонкур включает перевод нескольких стихов из песни Земфиры пушкинских «Цыган» («Старый муж, грозный муж...»), вложив их в уста цыганки Этьеннеты, которую звали «русским уменьшительным Стеша»:

Vieux époux, barbare époux,
Egorge — moi! Brûle — moi!
. . . .
Je te hais!
Je te méprise.
C'est un autre que j'aime
Et je meurs en l'aimant.

И эта цитата, и весь этот образ цыганки (которую, в романе Гонкура, его герой Томмазо Бескапе вывез из южной России) ведут нас прямо к Тургеневу. Из писем Тургенева к Флоберу мы узнаем, что Э. Гонкур приходил 26 ноября 1878 г. к Тургеневу для того, чтобы «пропитаться немного местным колоритом — южная Россия, цыганские имена» (Письма, XII, кн. 1, 384). Но дело не ограничилось этой вечерней беседой: через несколько дней в письме к Гонкуру Тургенев сообщал будущему автору «Братьев Земганно» имена известных в России цыганок: в их числе, наряду со Стешей (от Степаниды) стоит также имя Мариулы, которая «была возлюбленной нашего знаменитого поэта Пушкина» (там же. С. 385). Это был личный домысел Тургенева, но тем более характерный, что он и на этот раз вел к стихам Пушкина: по-видимому, он основывался на стихе: «...И долго милой Мариулы я имя нежное твердил». В те же приблизительно годы, когда Э. Гонкур вплетал стихи Пушкина в текст своего романа, Флобер, благодаря тому же Тургеневу, несколько вечеров подряд мучился в поисках достойного французского прозаического эквивалента нескольким лирическим шедеврам Пушкина. Мы уже приводили воспоминание Мопассана о том, что среди своих французских литературных друзей Тургенев иногда появлялся с томиком Пушкина, Гете или Суинберна в руках и бегло переводил им оттуда целые страницы. У Мопассана это пример, иллюстрирующий редкое литературно-космополитическое образование Тургенева, предмет вечной зависти и стыда французских литераторов (его интересно было бы сопоставить с рассказами самого Тургенева о том, как он уличил Гюго, приписавшего шилле-

ровского «Валленштейна» перу Гете, или обнаружил, что Золя имеет слабое представление о Гейне). Тургенев стремился стимулировать всячески пропаганду русской литературы другими писателями. Это видно также из письма Тургенева к Мопассану по поводу неосуществившегося, к сожалению, замысла Мопассана написать для «Gaulois» серию статей о великих иностранных писателях: «Начните, — писал ему Тургенев, — в России с Пушкина или Гоголя» (Письма, XII, кн. 2, 327).

Внушенные Тургеневым впечатления о русских писателях были решающими и длительными. В письме, адресованном к русским писателям в дни пушкинского юбилея 1899 г., Эмиль Золя писал: «Я узнал его в особенности через посредство моего великого друга Тургенева, который часто говорил мне о славе Пушкина, о том, какой это был универсальный человек, какой превосходный, глубокий и жизненный писатель, друг свободы и прогресса, какой это был безупречный образец для ваших детей в искусстве писать и мыслить. И я полюбил его, как нужно любить все великие умы, национальное творчество которых составляет часть сокровища всего человечества».[43] В этом отзыве пробивается, вероятно, отголосок действительных бесед Золя с Тургеневым о Пушкине.

Известно, что Тургенев радостно откликался на всякую попытку содействовать популяризации русских поэтов во Франции. Мы знаем, например, что в 1876 г. петербургский издатель М. О. Вольф предложил первоклассному французскому рисовальщику Гюставу Доре сделать иллюстрации к изданию «Руслана и Людмилы» или лермонтовского «Демона». Доре отвечал, что не может дать окончательного согласия, прежде чем не познакомится с французским переводом русских поэм и не вынесет убеждения, что текст их «может его натолкнуть на оригинальную композицию». К этой мысли Тургенев «отнесся с восторгом» и даже предложил свои услуги: «...переговорить с французскими издателями, чтобы те одновременно выпустили данное произведение во французском переводе». Предполагавшееся издание, однако, не состоялось главным образом вследствие постигшей Доре болезни,[44] и поэмы Пушкина или Лермонтова не были иллюстрированы этим замечательным и неистощимым выдумщиком, столь мастерски содействовавшим у себя на родине популяризации таких иностранных классиков, как Данте или Мильтон.

Растолковать значение Пушкина Тургенев стремился не только во Франции, но и в других странах — в Италии, Германии, Англии. В парижской части архива Тургенева хранится еще неопубликованное письмо некоего итальянца Нигра (Nigra) с просьбой о разъяснениях по поводу пушкинского «Пророка»,[45] о Пушкине же не

---

[43] *Zola E.* Correspondance. 1872—1902. Notes et commentaires de M. Le Blond. Paris, s. a. P. 843.

[44] *Либрович С. Ф.* На книжном посту. Воспоминания, записки, документы. Пгр., 1916. С. 219—221.

[45] *Mazon A.* Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev. Paris, 1930. P. 107,

раз шла у Тургенева речь с его немецкими литературными друзьями, например Ф. Боденштедтом.[46] Однажды, навестив в Англии Теккерея, Тургенев читал ему «одно из самых музыкальных по слуху стихотворений Пушкина».[47] Оскар Браунинг вспоминает, что в октябре 1878 г. Тургенев был центром внимания в небольшом литературном кружке, собиравшемся в имении его приятеля м-ра Бёллок-Холла неподалеку от Ньюмаркета. Среди присутствовавших были Дж. Элиот, Дж. Льюис, Хьюг Мунро (филолог-классик и переводчик Лукреция). «Зашла также речь о русской литературе, и Тургенева просили прочесть что-нибудь из русской поэзии, на что Тургенев произнес нам стихотворение Пушкина».[48] В 1880 г. по поводу пушкинского юбилея Тургенев обращался к ряду европейских писателей, приглашая их откликнуться на этот юбилей (в том числе к Флоберу и Дж. Элиот).[49] И действительно, в торжественном заседании Общества любителей российской словесности в Москве 7 июня оглашены полученные на имя Тургенева приветствия от Б. Ауэрбаха, Виктора Гюго и Теннисона.[50]

Европейские литературные знакомства Тургенева были неисчислимы, и о его встречах и беседах на темы о русской литературе с западными писателями мы никогда не будем знать достаточно. Важно лишь то, что эта тема несомненно часто и настойчиво звучала в этих беседах. Публичных выступлений, вне интимного дружеского круга, Тургенев не любил, но, когда он соглашался выступать перед большой публикой, на этих выступлениях он всегда говорил об одном и том же — о русской литературе. Так, осенью 1871 г. на столетнем юбилее В. Скотта в Эдинбурге Тургенев произнес о русской литературе небольшую речь; в 1878 г. на первом Международном литературном конгрессе в Париже, избранный вице-президентом после В. Гюго, Тургенев говорил о том же, выясняя главным образом взаимоотношения русской и французской литературы.[51]

---

[46] И. С. Тургенев в его письмах к Ф. Боденштедту//Русская старина. 1887. Т. 54. С. 443—503. См. также: Письма. Т. 4—10.

[47] Нива. 1884. № 4. С. 90—91. Эта встреча Тургенева с Теккереем могла состояться только в 1857 г.

[48] *Browning Oscar.* Life of George Eliot. London, 1890. P. 130.

[49] Тургенев писал Флоберу 24 апреля (6 мая) 1880 г., что в Москву он вернется «к открытию памятника нашему великому поэту Пушкину», и замечал в скобках: «Комитет пришлет вам приглашение. Вы, разумеется, не приедете, но если вы пришлете телеграмму, она будет прочитана на банкете под восторженные аплодисменты присутствующих» (Письма, XII, кн. 2, 240). Но этой надежде не суждено было сбыться: Флобер умер 8 мая н. ст. этого же года, и письмо до него не дошло. По-видимому, по этому же поводу Тургенев писал к Дж. Элиот (Искусство. 1923. № 1. С. 335—336).

[50] Общество любителей российской словесности при Московском университете. Историческая записка за сто лет. М., 1911. С. 84—85; Ф. Б[улгаков]. Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880.

[51] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986. Т. 12. С. 330—334.

5

Помощь, оказанная Тургеневым парижским переводчикам с русского языка, была особенно значительной. Это были с его стороны не только доброжелательные профессиональные услуги, но прежде всего одно из следствий однажды поставленной им перед собой задачи — всеми силами содействовать распространению русской литературы за границей. К этим переводчикам он предъявлял те же требования, что и к самому себе. Об этом можно судить хотя бы по истории его отношений к переводчикам собственных произведений, истории достаточно занимательной, которая, надо надеяться, когда-нибудь послужит темой специального исследования. Печатные протесты Тургенева против искажений его повестей и романов от Шаррьера и до Тернера, письма его к переводчикам, с изложением принципов перевода и собственными поправками, всегда многочисленными и придирчивыми, — все это имеет значение не только для изучения восприятия творчества Тургенева за границей, но и представляет теоретический интерес. Подобная работа оказала бы немалую услугу и в разрешении интересующей нас проблемы; мы можем наметить сейчас лишь важнейшие ее контуры.

Собственная переводческая практика Тургенева могла ему показать, что передача по-французски произведений русской поэзии и прозы является задачей исключительной трудности, разрешение которой всегда будет лишь приблизительным. Не удовлетворившие Тургенева переводы его произведений должны были лишь усилить это впечатление. Трудности заключались не только в незнании переводчиками русского языка или в их лексических затруднениях: речь шла о специфике родной речи и о невозможности воспроизвести ее не свойственными ей средствами. Если Шаррьер при переводе «Записок охотника» путал «арапник» с «арапом», а Мериме выражение «затянулся» в значении «закурил трубку» переводил как «затянул свой пояс», это были простые ошибки против смысла и недопонимание; бывали же, однако, случаи, когда и сам Тургенев попадал в тупик. Мериме рассказывает анекдот о том, как Тургенев недоволен был французской передачей бранной реплики Биндасова в «Дыме»: «скряга, слизняк, каплюжник», но смог поставить на корректуре лишь предостерегающую «нотабену», с буквальной точностью воспроизведенную и в печатном тексте французского перевода романа.[52] Уже «Записки охотника» представляли для переводчиков почти непреоборимые затруднения своими сказовыми конструкциями и диалектальной окраской крестьянской речи.[53] Морис Беринг специально писал о трудностях ее английской передачи.[54]

---

[52] *Клеман М. К.* Тургенев и Мериме//Литературное наследство. М., 1937. Т. 31—32. С. 735.

[53] *Чернышев В. И.* Русский язык в произведениях И. С. Тургенева//Известия Академии наук СССР. Отделение общественных наук. 1936. № 3. С. 473—495.

[54] *Беринг М.* Вехи русской литературы. М., 1913. С. 62—63.

Тексты Тургенева не составляли в этом отношении исключения из общего правила. Между 1840 и 1860-ми гг. русская литературная речь сильно меняла свою окраску. Переводить русских писателей, например, на французский язык тем самым языком, которым переводили Пушкина, было уже невозможно. С другой стороны, и французский язык переводчиков русского произведения не годился для этой цели, как архаический и застывший в чужеродном ему языковом окружении. Уже французский язык Пушкина и дворянского круга его эпохи был не тот, на котором говорили и писали в его время в Париже: французский язык Пушкина или Вяземского был классической речью XVIII в., и он мог уже казаться старомодным младшему поколению французских романтиков. К середине XIX в. французский язык в России звучал не только еще более архаически, но и, строго говоря, представлял собой в некотором смысле французский диалект, окрашенный сильным воздействием русской разговорной речи. Зачастую это был почти макаронический диалект мятлевской «M-me де Курдюков», этой лингвистической пародии, метко схватившей суть того «французско-нижегородского» жаргона, на который намекнул еще Грибоедов. В первой половине XIX в., как мы уже указывали, наиболее удачными переводчиками с русского языка были сами русские; во второй половине века положение изменилось.

Во французской литературе в 1870-е гг. встала на очередь проблема переводчика с русского языка. В тот момент, когда во Франции возник более определенный интерес к произведениям русской словесности, этих переводчиков оказалось явно недостаточно. «Переводчиков, — вот кого недостает на Западе для того, чтобы оценить русский ум», — писал Анатоль Леруа-Болье в 1875 г. в своей рецензии на «Историю русской литературы» С. Курьера.[55] Подобные голоса раздавались не раз во французской критике этих лет, в период все увеличивающегося спроса французских читателей на книги, переведенные с русского; все чаще отмечали и отсутствие переводческих сил и неудовлетворительность существующих уже переводов. Именно в этот момент Тургенев выступил в качестве наставника французских переводчиков с русского. Почти ни один из них не обошелся без его советов, рекомендаций, воздействий; большинство из них прошло его переводческую школу. Все они охотно шли к нему на выучку. Иными словами, Тургенев создал школу переводчиков с русского языка во французской литературе, привил здесь свои навыки и воззрения на художественный перевод, обеспечил появление в печати переводов тонких, удачных, максимально приближенных к оригиналу. Но эту же тургеневскую школу прошли также переводчики и в других странах, например в Англии.

С достаточной резкостью писал Тургенев М. В. Авдееву (18(30) апреля 1868 г.) по поводу одного выполненного в России перевода романа Авдеева, который автор мечтал издать в Париже: «...перевод ваш сделан русским и, вероятно <...> написан тем мо-

[55] Le Temps. 1875. 18 мая. Укажем, кстати, и на отзыв Тургенева об этой книге, которую подарил ему автор (Письма, XI, 51).

сковско-французским языком, который французам просто ужасен: приходится решительно все переделывать, ибо мы, русские, и не подозреваем, какие они пуристы» (Письма, VII, 130). «Здешние издатели при одном упоминании „русской дамы-переводчицы" приходят в ярость — до пены у рта!» — писал Тургенев в другой раз тому же Авдееву (Письма, X, 97). «Дамы-переводчицы», дилетантки, встречались с недоверием и опаской. О том, как Тургенев оценивал предприятие В. М. Михайлова — стихотворный перевод «Евгения Онегина», мы уже упоминали. Когда И. Паскевич выпустила свой перевод «Войны и мира», Тургенев взялся за его популяризацию только лишь за неимением лучшего. Однако и французы-переводчики, слишком «вольно», по его мнению, обращавшиеся с русскими оригиналами, всегда вызывали его резкую отповедь.[56] Весьма показательным в этом смысле представляется тот спор, который возник у Тургенева с Шарлем Роллина, переводчиком «Двух гусар» Л. Н. Толстого. Этот спор тем более примечателен, что противными сторонами в нем оказались в конце концов Тургенев и Жорж Санд.

Шарль Роллина был братом одного из лучших друзей Жорж Санд, и она охотно приняла в нем участие, когда ему понадобилась ее помощь. Жизнь его была одиссеей неудачника; он жил некоторое время в России, потом попал в Италию и разорился там. Очутившись во Франции в 1874 г., он обратился к Жорж Санд с просьбой достать для него какую-нибудь литературную работу. Жорж Санд адресовала его к Полине Виардо и Тургеневу. Пробный перевод, выполненный Роллина по заданию Тургенева, вполне удовлетворил Тургенева,[57] и он рискнул рекомендовать его в качестве постоянного переводчика сначала в «Revue des Deux Mondes» и затем в фельетонах «Temps», посоветовав ему для перевода некоторые рассказы Л. Н. Толстого, Один из них, а именно помещенный в «Temps» от 10 февраля 1875 г. перевод «Двух гусар», послужил причиной их раздора и даже, если верить сообщению Жорж Санд, после отзыва о нем Тургенева закрыл Роллина доступ в «фельетоны».[58] Такова была бытовая подкладка интересующего нас эпизода; но возникшая по этому поводу переписка представляет не столько житейский и биографический, сколько литературный и принципиальный интерес. Роллина был именно тем переводчиком, который не прошел тургеневской переводческой школы; переводами с русского он занялся самостоятельно, воздействие же на него Тургенева сказалось только лишь в выборе объектов для перевода — рассказов Толстого. Эти переводы Тургенев нашел и неточными, и

---

[56] Любопытно, что еще в 1857 г. Тургенев писал Л. Толстому из Парижа о тех затруднениях, с которыми французы встречают всякое иноземное слово: «Французики мне не по сердцу <...> Все не ихнее им кажется дико — и глупо. «Ah, le lecteur français ne saurait admettre cela!» [О, французский читатель этого бы не принял!] Сказавши эти слова, француз даже не может представить себе, что Вы что-нибудь возразите» (Письма, III, 76—77).

[57] *Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff, d'aprés sa correspondance avec ses amis français. P. 160; Тургеневский сборник/Под ред. А. Ф. Кони. Пб., 1921. С. 120.

[58] Там же. С. 123.

небрежными. Роллина защищался, и его сторону приняла Жорж Санд.

«Что касается до его „Двух гусаров“, — писала Жорж Санд Плошю (25 апреля 1875 г.), — то вещь эта сама по себе шедевр, и если это не точно переведено, чего я знать не могу, то это в десять раз приятнее читать, чем ту форму, которую сочинениям Тургенева придают переводчики; часто их надо угадывать вместо того, чтобы понимать с первого раза. Ты можешь это сказать Тургеневу. Его вещи кажутся переведенными русским. Дух языка передается на другом языке равнозначащими словами, а когда придерживаются точности, то именно не передают этого духа».[59] Гораздо полнее та же точка зрения высказана Жорж Санд в письме к Шарлю Эдмону (9 июля 1875 г.). Писательница сетовала здесь на то, что Тургенев, вероятно, жаловался редактору «Temps» Эбрару по поводу «кое-каких ошибок в переводе» Роллина и тем привел Эбрара к недоверию и полному охлаждению к своему новому сотруднику. «С своей стороны, Роллина говорит, что Тургенев, пересматривая корректуру, заставил Роллина сделать ошибки с точки зрения французского языка». В вопросе о будущих переводах Роллина, поскольку последний не собирался складывать оружия, Ж. Санд полагает, что «если даже в них и встретятся кое-какие галлицизмы, в них будет то достоинство, что они будут написаны превосходным языком и лучше передадут дух подлинника, чем щепетильная точность». Но здесь Ж. Санд от защиты переводов переходит уже к принципиальному спору с Тургеневым и отстаивает в особенности интересные для нас теоретические позиции: «Я не согласна с Тургеневым, который требует, чтобы было переведено слово в слово, с тщательностью, которая, по его мнению, способна передать дух его языка на нашем. Выходит из этого то, что переводы, наиболее ценимые им, хуже всех для нашего французского литературного понимания. Он был бы прав, если бы дело шло о том, чтобы дать нам подлинный текст великих мастеров и учителей, но мы до этого еще не дошли. Нас, во Франции, нужно знакомить и просвещать мало-помалу; если бы у нас не было целой сотни прикрашенных, приноровленных и смягченных переводов иностранных великих писателей, мы их никогда бы не поняли. Лишь потому, что наше изумление и предвзятые мнения мало-помалу были уничтожены посредством равнозначащих переводов, мы ныне принимаем переводы подлинные и чувствуем их достоинство и пользу».[60]

Таким образом, разногласия Жорж Санд и Тургенева есть прежде всего разногласия исторически сложившихся переводческих систем. «Тургенев был бы прав», но «мы, французы, до этого еще не дошли». Французская переводческая традиция — не та, которой следует Тургенев. Его система, заметим мы кстати, ближе к немецкой, чем к французской традиции; буквальная близость к подлиннику для него важнее стилистических совершенств перевода,

---

[59] Там же. С. 122—123.
[60] Там же. С. 123—125.

сохранение «духа» оригинала существеннее, чем приверженность к привычным нормам языка, на который делается перевод. Французы — плохие переводчики; читатели требуют «des écrivains francisés», по терминологии Эннекена. Гете или Байрон, Диккенс или Мандзони, чтобы быть понятыми, должны быть не только переведены, но и истолкованы переводчиками с помощью доступных им стилистических средств в привычной для французского вкуса стилистической ориентации. Но как быть тогда с русскими писателями — с Островским, Писемским, Салтыковым-Щедриным? Допускают ли и они также такое приспособление без утраты своих национальных литературных качеств?

На этот вопрос, который сам собой вытекал из его споров с Жорж Санд, Тургенев ответил практическим делом: он стал переучивать французских переводчиков именно на русских текстах — текстах Островского, Писемского, Салтыкова, Толстого. Это была не только школа переводчиков с русского языка, но и внедрение во французскую литературную практику новых переводческих принципов и традиций. Еще раз приходится вспомнить рассказ Мопассана о Тургеневе в кружках французских литераторов с томиком Гете, Пушкина или Суинберна в руках. Тургенев учил французов не только переводам с русского, но и искусству перевода вообще. Это искусство, как свидетельствует и Жорж Санд в приводимых выше цитатах, было действительно не на высоте; исключения были редки; Бодлер со своими переводами Э. По памятен именно потому, что он был исключением из общего правила, а не нормой, исторической случайностью; удивляет совпадение литературных качеств двух иностранных писателей, разделенных между собой и временем и океаном. Французов в 1870-е гг. нужно было учить не только переводам из Пушкина, но и искусству перелагать во французские стихи Гете или Суинберна; проза любого писателя в этом отношении не составляла исключения.

В том же самом году, когда у Тургенева возник спор с Шарлем Роллина по вопросу о том, как надо переводить Толстого, Тургенев обратился с письмом к А. Н. Островскому (6(18) июня 1874 г.): «Есть на свете один французский писатель, по имени Э. Дюран, который весьма порядочно знает по-русски. Он занимается переводами — и я ему порекомендовал ваши пиэсы, начиная с „Грозы", как более доступной и понятной французам. Он ее и перевел — и очень недурно; мы вдвоем прошли ее тщательно — я все ошибки выправил <...> Теперь прошу у вас следующего разрешения: или Вы поверите мне на слово, что перевод хорош, и пришлете мне позволение ее печатать и отдать, если можно, на сцену <...> либо Вы пожелаете посмотреть-таки рукопись <...> познакомить Европу с Вами — мне вот как хочется!».[61] Дальнейшая история этого за-

---

[61] Письма. X. 246. Эмиль Дюран (1838—1900) был одно время преподавателем французского языка в Петербурге и многолетним сотрудником «Journal de St.-Pétersbourg». Он был женат на Алисе Флери (Alice-Marie-Céleste Duran, 1842—1902), дочери преподавателя французского языка в Петербургском уни-

мысла Тургенева хорошо известна: хлопоты его по напечатанию дюрановского перевода «Грозы» в «Revue des Deux Mondes» успехом не увенчались: рукопись была возвращена переводчику без всяких объяснений, несмотря на восхищение русской пьесой отдельных критиков (например, Ф. Сарсе), эту рукопись читавших. Быть может, причиной была на этот раз именно точность перевода: для академических традиций пуристической «Revue des Deux Mondes» он был слишком «экзотичен»; Бюлоз потребовал было сначала некоторых сокращений и переделок, но затем отказался печатать его вовсе.[62] Недаром и сам Островский, получив предложение Тургенева, принялся переделывать пьесу для французской сцены, находя, между прочим, что в печати «Гроза» может «оскорбить» французов неумелостью своего технического построения.

Эмиль Дюран был одним из учеников Тургенева в переводческом искусстве, и Тургенев давал ему трудные задачи. Перевод «Грозы» был одной из них; возможно, что в дальнейшем предполагались переводы его из Писемского. Во всяком случае, отправляя Дюрана в Россию в 1877 г. (в это время Дюран получил от редакции «Revue des Deux Mondes» поручение составить «биографические и литературно-критические монографии о выдающихся представителях русской словесности» и с этой целью направлялся в Россию), Тургенев снабдил его пачкой рекомендательных писем к русским писателям. Одно из них было адресовано к А. Ф. Писемскому. Вскоре Тургенев получил ответ Писемского из Москвы (19 апреля 1877 г.) с благодарностью за то, что он «радетель в Европе» русской беллетристической литературы.[63]

Переводы Дюрана из Писемского не состоялись, но зато у автора «Тысячи душ» тогда же нашелся во Франции другой ценитель и переводчик. Это был Виктор Дерели, в фельетонах парижских газет в конце 1870-х гг. напечатавший несколько переводов

верситете и автора книг о Рабле и баснях Крылова. Алиса Дюран под псевдонимом Henri Gréville (так называлась местность во Франции, откуда она была родом) написала много романов, в частности и из русской жизни, и помогала своему мужу в переводах с русского языка; оба они являлись частыми переводчиками произведений Тургенева (*Léger Louis.* Nouvelles études slaves. Paris, 1880. P. 107—139) и, когда выступали в печати не анонимно, подписывали свои совместные переводы именем Дюран-Гревиль. См. также: *Тургенев И. С.* Первое собр. писем. СПб., 1884. С. 314; Журнал Министерства народного просвещения. 1894. № 12. С. 173.

[62] *Кашин Н. П.* Отношение к Островскому западных сцены и научной литературы//Творчество А. Н. Островского: Юбилейный сборник, М.; Пг., 1923. С. 30. *Patouillet,* со слов Дюрана, сообщает, что «Гроза» в его переводе не была помещена Бюлозом в «Revue des Deux Mondes» после размолвки редактора с Тургеневым, вышедшей из-за того, что в печатавшемся им тогда в «Revue» переводе «Степного короля Лира» Тургенев отказался выпустить выражение «сукина дочь» (fille de chienne), которое Бюлоз нашел слишком грубым и предлагал заменить словом «несчастная» (misérable) как более «благородным»; это будто бы и решило участь перевода «Грозы»; рукопись была возвращена переводчику без всяких объяснений (Ostrovsky et son théâtre des moeurs russes. Paris, 1912. P. III).

[63] *Писемский А. Ф.* Письма/Под ред. М. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.; Л., 1936. С. 350.

его рассказов. Дерели знал русский язык, вступил с Писемским в переписку, писал ему забавные письма по-русски и задумывал переводы более крупных его вещей.[64] Здесь-то Тургенев снова выступил на сцену с обоюдного согласия автора и переводчика. Писемскому Тургенев обещал не только разъяснить Дерели «все труднопонимаемые слова в его (Писемского) романах и снабдить его всякого рода советами в отношении русского языка», но даже пристроить самые переводы в различные журнальные редакции и издательства. Письмо Тургенева к Писемскому от 5(17) мая 1879 г. удостоверяет, что и на этот раз помощь Тургенева превратилась в настоящую школу переводческого мастерства: «С г. Дерели я виделся уже три раза: мы проходили вместе с ним места в вашем романе (речь идет о «Взбаламученном море». — *М. А.*), которые представляли ему затруднения. Он очень порядочный малый, французским языком владеет вполне, русский понимает, питает великое к вам уважение; но задачу он взял на себя больно трудную, и перевод подвигается весьма медленно. Я и вперед готов ему помогать» (Письма, XII, кн. 2, 75). Эта школа не прошла для Дерели даром: он сделался одним из усерднейших французских переводчиков новейшей русской литературы. Кроме Писемского он переводил также Достоевского и в особенности памятен тем, что дал первый французский перевод из Н. С. Лескова («Очарованный странник» напечатан им отдельной книгой у Савена в Париже в 1892 г.).[65] Когда четырнадцать лет спустя с томиком переводов из русских писателей выступил Дени Рош (*N. Leskov.* Gens de Russie. Paris, Perrin, 1906), он шел лишь по следам Дерели, который ранее его не без внушений Тургенева пытался дать такие переводы русских авторов, которые не стремились бы к полной «денационализации» их языкового колорита. В переводах Дени Роша из Лескова, Короленко и Чехова эта тенденция приняла сознательную и законченную форму. «Мы, — писал он в предисловии к сборнику «Gens de Russie», — считали возможным сделать доступными для наших просвещенных читателей (nos lettrés) произведения решительно типические, резкого колорита, которые способны на то, чтобы на мгновение перенести нас в чужую страну (de nous dépayser)». Критика сдержанно отнеслась к этим его попыткам, находя, что это «не по-французски» (ce n'est pas français), и считая эти переводы не столько опытами «расширения вкуса», сколько объявлением войны французской академической грамматике; между тем это было лишь осуществлением тех же самых переводческих принципов, на которых в свое время настаивал Тургенев и которые оспаривала Жорж Санд, находя их для Франции преждевременными.[66] Но время взя-

---

[64] Там же С. 762, 764.

[65] Библиограф. 1892. № 3. С. 149.

[66] См. также статью Th. de Wizewa в «Revue Politique et Littéraire» (1904. 16 fevrier), который по поводу «Грозы», «Василисы Мелентьевой» Островского и «Власти тьмы» Толстого упрекал И. Павловского и О. Метенье за буквальность перевода и в этом видел причину неуспеха этих пьес на французских сценах.

ло свое; стал в конце концов возможен и французский Лесков, как это доказывает талантливый, сочный и поистине виртуозный перевод «Соборян», сделанный А. Монго.[67] Истоки этой конечной переводческой победы — в Тургеневе и его опытах содействия появлению во французской печати образцово переведенных произведений русских писателей.

Приведем еще один пример. В 1885 г. в «Revue Contemporaine» была помещена статья Лео Жубера о М. Е. Салтыкове-Щедрине. Лео Жубер был одним из его первых французских переводчиков. В своей статье Жубер рассказывает, что в мае 1879 г. в Париже, в доме Виардо, был дан литературно-музыкальный вечер с благотворительной целью[68] и что его привлекли на этот вечер не благотворительность и не музыка, но Тургенев, который должен был прочесть по-русски одно из произведений Салтыкова-Щедрина — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Передав ее содержание, Л. Жубер объяснил, почему Франция менее знакома с произведениями Щедрина, чем с творчеством Тургенева. По его мнению, причина заключается не только в том, что Щедрин все время имеет в виду обстоятельства жизни, якобы недоступной и непонятной иностранцу. У Щедрина «отличное оружие против непрошенного любопытства Западной Европы: это его слог. Трудно проникнуть сквозь эту крепкую броню. Никакой словарь не поможет совладать с нею. У Щедрина и термины и обороты речи совершенно особенные и отличаются причудливостью и оригинальностью. Зато он и считается непереводимым». Это была все та же проблема «непереводимости» французскими средствами русской сказовой речи, неизбежной «денационализации» оригинального текста щедринских сказок, которые, впрочем, и в условной, приблизительной передаче французы начала 1880-х гг. находили «странными и прелестными».[69] Для того чтобы суметь передать эту речь по-французски, нужно было не только читать ее в книге, в печатном тексте, но и выслушать. Для Лео Жубера как переводчика образцовая устная передача Тургеневым живой, звучащей речи Щедрина объясняла в ней многие смысловые оттенки, ее ритмическую структуру. Тургенев и на этот раз выступил толкователем перед французами русского художественного слова.

Эмиль Дюран, Виктор Дерели, Лео Жубер шли по путям, указанным им Тургеневым; к этой плеяде переводчиков можно было бы присоединить и ряд других, здесь не названных имен, например Делаво, бывшего одним из первых французских учеников Тургенева

---

[67] Gens d'église. Traduit par Henri Mongault. Paris, 1937.

[68] См. пересказ этой статьи в «Неделе» (1885. № 45. С. 1568—1569: «Француз о русском сатирике»). Очевидно, А. Жубер имеет в виду не «вечер», а «утро» в пользу русской колонии в Париже, состоявшееся 15 (27) мая 1879 г., на котором Тургенев действительно читал названную им сказку Щедрина и отрывок из «Записок охотника». В Пушкинском Доме сохранилась афиша этого утра. См.: *Клеман М. К.* Летопись жизни Тургенева. С. 281.

[69] Заграничный вестник. 1881. Декабрь. Современная летопись, с. 71—72.

в переводческом искусстве.[70] Тургеневская школа переводчиков, однако, существовала и за пределами Франции. Представителем ее в Англии был, например, Вильям Рольстон (1829—1889). По свидетельству современника, Тургенев «изо всех переводов своих произведений предпочитал английские, особенно когда брался за них Рольстон», и это происходило потому, что Рольстон «был не переводчик, а высокодаровитый копиист мысли и слова. Он почти не спал, обдумывая, как бы передать данное (иногда незначительное) русское выражение англичанам так, чтоб оно на них произвело бы такое же впечатление, как и на русских. Я помню, как Тургенев буквально умолял Рольстона перевести его «Живые мощи». Тот взялся, но просто болел переводом, а, закончив его, говорил мне, что ничего больше он переводить не посмеет, потому что он любит русское, ко всему русскому относится с глубокой симпатией и не желает невольно искажать впечатления, производимого на иностранцев великими произведениями русской литературы. В работе он был добросовестен и к себе строг, каковым в сущности и подо-

[70] Ипполит Делаво (Hippolyte Delaveau) был автором переводов с русского языка и многочисленных статей о русских писателях (Некрасове, Писемском, С. Т. Аксакове, Герцене и др.) во французских журналах 1850—1860-х гг. Подробную его характеристику мы находим в воспоминаниях А. Фета (М., 1897. Ч. 1. С. 148—149). А. Я. Головачева-Панаева (Русские писатели и артисты. СПб., 1980. С. 233—234) рассказывает о своих встречах с Делаво в Париже в середине 1850-х гг., когда он занят был переводом «Записок охотника» и будто бы вызывал неудовольствие Тургенева, который называл его «тупицей» и «дурындой». Н. В. Щербань, говоря о парижской жизни Тургенева в начале 1860-х гг., напротив, вспоминает, что в это время, когда Иван Сергеевич «еще плохо ладил с французами и не сходился с ними», «постоянно бывал у него один только Делаво, переводивший тогда его повести, и переводивший в высшей степени добросовестно, чуть не надоедая своею кропотливостью» (Русский вестник. 1890. Кн. 7. С. 9). Интересный отзыв о переводах Делаво находим в письме к Тургеневу В. П. Боткина от 21 сентября 1857 г.: «Делаво приносил было для тебя корректуры и я кое-что прочел — и странное впечатление оставило во мне это чтение: дух русского языка так несроден французскому, что точный перевод выходит по-французски угловат, сучковат; ни малейшей мелодии не чувствуется в фразе; каждый предмет покрыт словно туманом, — только с усиленным представлением доходит картина до воображения. Но зато оригинально и проч. Я думаю, что Делаво подлил всю эту сухость и деревянность: увы, поэтического чувства, к сожалению, этот смертный не имеет никакого» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.; Л., 1930. С. 137). Знаком был Делаво также и с Герценом; между прочим, Герцен предлагал ему перевести «Семейную хронику» С. Т. Аксакова; Делаво ограничился, однако, большой статьей в «Revue des Deux Mondes» (1857. № 6: «Les seigneurs d'Aksakow, chronique d'une famille sous Catherine II»). Именно об этой статье идет речь в письме И. С. Аксакова 1857 г. к отцу из Парижа: «Я видаюсь с ним довольно часто и видел у него некоего Delavary [т. е. Delaveau], который написал, но еще не напечатал статью о вашей книге...» (И. С. Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3. С. 324). Из письма же И. С. Тургенева к С. Т. Аксакову (Париж, 8 января 1857 г.) мы знаем и о его участии в этой работе: «Статью о ваших «Хрониках» написал некто Делаво, здешний литератор, хорошо знакомый с русским языком; я ему помог и кое-что истолковал» (Письма. Т. 3. С. 68). Знал Делаво также И. А. Гончаров, писавший о нем Достоевскому и Писемскому. См.: Из архива Достоевского. Письма русских писателей/Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1923. С. 14—15; Неизданные письма к Островскому. М.; Л., 1932. С. 688—689. Сборник Пушкинского Дома на 1923 г. Пгр., 1922. С. 193—194.

бает быть всякому переводчику».[71] Работая над английскими переводами русских народных песен и сказок, в чем существенную помощь Рольстону оказал именно Тургенев, он мучился над каждым словом, вчитывался в тексты до последней запятой и, для того чтобы лучше сосредоточиться, уезжал из Лондона в маленький приморский городок, чтобы там, вдали от шума и в полном уединении, получше обдумать переводимые им тексты. Когда однажды Рольстону пришлось перевести русское «ненаглядный», он перевел его термином, состоящим из шести отдельных слов: «never-enough-tobe-gazed-on». Именно Тургенев соблазнил Рольстона перевести на английский язык басни Крылова[72] (Kriloff's fables. London, 1869. 3-е изд., 1871) и, когда это предприятие было осуществлено, приветствовал его в своей небольшой английской статье (The Academy. 1871. № 18), в которой писал, между прочим, что «перевод Рольстона не оставляет желать ничего лучшего в смысле точности и колоритности». Тургенев же был инициатором многих других переводческих предприятий Рольстона и его критических статей о русских писателях.

Мы говорили преимущественно о характере переводческого метода всех этих французских и английских журналистов, постоянным советником которых был Тургенев. Но воздействие на них Тургенева сказывалось и в другом — в самом выборе для переводов произведений русской литературы: он указывал лучшие образцы, выступал в качестве их толкователя и критика. В особенности велика была его роль в этом отношении во Франции. Его вмешательству, советам и настояниям французские читатели обязаны были первыми переводами произведений многих русских писателей: помимо указанных уже Островского, Писемского или Щедрина также и С. Т. Аксакова, Алексея Толстого, Гаршина и т. д. Почти во всех случаях это был «великий почин» Тургенева. Он занят был этим всю свою жизнь. За год до смерти Тургенев писал, например, тому же Дюрану (31 июля (12 августа) 1882 г): «Посылаю вам сегодня по почте небольшую книжку под заглавием „Рассказы В. Гаршина". Г. Юнг поручил мне попросить вас перевести один из этих рассказов («Ночь», на с. 100) для „Revue Politiqueet Littéraire". Гаршин — из тех молодых писателей, талант которых подает наиболее надежд. Если вы сочтете нужным показать мне перевод, прежде чем передать его г. Юнгу, то я всецело к вашим услугам» (Письма, XII, кн. 1, 318). Известен и результат этого письма: перевод рассказа «Ночь» благодаря рекомендации Тургенева появился в журнале «Revue Bleu» (1882), другой рассказ («После битвы») напечатан был два года спустя в том же журнале. Большая часть прочих рассказов В. М. Гаршина была переведена тем же Э. Дюраном и вышла отдельным изданием в двух томах под заглавием «Война» и «Надежда Николаевна». Предисловие к переводу из них было написано Мопассаном.

---

[71] *Фирсов Н. Н.* [*Рускин Л.*] Англо-русские симпатии перед Берлинским конгрессом//Исторический вестник. 1909. Август. С. 589—540.

[72] Недра. М., 1924. Кн. 3. С. 185, 187—188 и др.

6

Тем русским писателем, которого Тургенев пропагандировал во Франции с особенной настойчивостью, с тревожной озабоченностью за успех своего предприятия, с горячностью, увлечением и полным бескорыстием, был Лев Толстой, «величайший романист нашего времени», как он его называл.

Начало популяризации Тургеневым творчества Толстого за границей относится к последним годам из продолжительного, семнадцатилетнего разрыва (1861—1878).[73] С середины 1870-х гг. Тургенев устраивает первые переводы Толстого во французских периодических изданиях, снабжает эти переводы своими предисловиями и пояснительными заметками, задумывает собственные переводы «Казаков», а затем и «Войны и мира», неустанно рассказывает о Толстом своим литературным друзьям и случайным собеседникам. Разнообразие и размах энергичной деятельности Тургенева во славу этого «великого писателя земли русской» поистине может вызвать полное уважение к его редкому беспристрастию и критической прозорливости. Еще в январе 1874 г. Тургенев из Парижа просил А. А. Фета получить у Толстого разрешение на право перевода его повестей на французский язык: обратиться к Толстому лично Тургенев, после стольких лет их вражды и взаимной неприязни, еще не считал тогда для себя удобным. Фет выполнил эту просьбу, но его ответ, с запиской Толстого, запоздал; очевидно, вследствие этого только в следующем, 1875 г., в февральском номере газеты «Temps» появился с предисловием Тургенева перевод «Двух гусар», сделанный Шарлем Роллина, о котором мы уже упоминали. 22 февраля того же года Толстой писал Фету, что Тургенев прислал ему перевод через третье лицо.[74] Сопровождавшее эту посылку письмо было несколько странным; оно было написано рукой Тургенева, но не от его имени, и на нем не стояло никакой подписи; однако в этом письме, между прочим, сообщалось, что Шарль Роллина окончил перевод также других рассказов Толстого («Набег», «Три смерти») и что вскоре все они выйдут отдельной книгой у Гетцеля в Париже (Письма, VII, 27). О том, при каких обстоятельствах в той же газете в апреле 1876 г. напечатан был рассказ Толстого «Севастополь», вспоминает Шарль Эдмон. Однажды Эдмон передал Тургеневу просьбу редактора «Temps» Леона Эбрара дать в газету что-либо из его вещей. «„Пойдемте, если хотите, ко мне, — ответил Тургенев после минутного размышления, — и я обещаю Эбрару и вам такой сюрприз, которым вы останетесь

[73] И. С. Тургенев писал П. В. Анненкову из Парижа (3 (15) января 1857 г.): «В какой восторг приходят здешние барыни от «Детства» Толстого — этого описать нельзя! Надобно будет перевести эту вещь через посредство унылого Делаво» (Наша старина. 1914. № 11. С. 988). Н. В. Щербань в своих воспоминаниях о Тургеневе относит к 1864 г. их совместные «мечты об издании перевода „Детства и юности" Л. Н. Толстого у парижского издателя Тургенева» (Русский вестник. 1890. № 8. С. 15).

[74] *Фет А.* Мои воспоминания. М., 1897. Ч. 2. С. 289; ср.: Литературное наследство. М., 1939. Т. 37—38. С. 212—213.

вполне довольны". Я в первый раз слышал, чтобы Иван Сергеевич хвалил собственное произведение. Придя к себе в дом, Тургенев вынул из письменного стола сверток бумаги. Привожу его подлинные слова: „Вот, — сказал он, — первоклассный материал для вашей газеты. Это значит, что не я являюсь его автором. Этот мастер, ибо это действительно мастер, почти неизвестен во Франции, но я уверяю вас своей душой и совестью, что я чувствую себя „недостойным развязать ремень на его обуви". Через два дня в „Temps" появились „Souvenirs de Sébastopol" Л. Толстого».[75]

В то же время Тургенев увлечен был мыслью познакомить французских читателей с «Казаками». Первый замысел перевести «Казаков», — «этот chef d'oeuvre Толстого и всей русской повествовательной литературы», как отзывался о них Тургенев в письме к Фету,— возник у него еще в 1875 г. «Гг. Виардо и Тургенев переведут в течение лета „Казаков"», — сказано в той же упомянутой выше собственноручной записке Тургенева, которую Фет должен был вручить Толстому. О своем намерении «познакомить французов с „Казаками", лучшим произведением Толстого в смысле цельности», Тургенев рассказывал также А. В. Половцову.[76] Дело, однако, замедлилось. Идея возобновилась через несколько лет, в то время, когда его переписка с Толстым вновь наладилась и старые их недоразумения были уже забыты. Поводом был на этот раз успех «Казаков» в английском переводе Юджина Скайлера, возникший, вероятно, также по инициативе Тургенева. По крайней мере именно об этом переводе, замолчав историю его возникновения, Тургенев писал Толстому 1(13) октября 1879 г., полагая, что наступило время поспешить и с французским переводом повести. Тургенев сообщал здесь, что по дошедшим до него слухам «Казаки» пользуются большим успехом в Англии и Америке, что они печатаются также во французском переводе в «Journal de St.-Pétersbourg», и прибавлял: «Мне это немного досадно — потому что я намеревался вместе с г-жою Виардо перевести их в течение нынешней осени — впрочем, если перевод хорош — то досадовать нечего. Не знаю, приняли ли Вы какие-либо меры для отдельного издания здесь в Париже <...> но во всяком случае предлагаю свое посредничество... Мне будет очень приятно содействовать ознакомлению французской публики с лучшей повестью, написанной на нашем языке» (Письма, XII, кн. 1, 361—362). Толстой отвечал: «Переведенных по-английски „Казаков" мне прислал Скайлер; кажется, очень хорошо переведено. По-французски же переводила бар. Менгден, которую Вы у нас видели, и, наверно, дурно».[77] Тургенев действительно знал эту переводчицу, баронессу Е. И. Менгден (ум. 1902 г.), урожд. Бибикову, в первом браке бывшую за Д. Н. Оболенским: это была одна из тех великосветских

---

[75] *Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff, d'après sa correspondance avec ses amis français. P. 312.

[76] *П-в А. В.* Воспоминания об И. С. Тургеневе//Календарь «Царь-колокол». 1887. С. 78.

[77] Толстой и Тургенев. Переписка. М., 1928. С. 82.

любительниц литературы и французского языка, которых, по уверениям Тургенева, как огня боялись французские издатели; следовательно, вопрос о новом переводе «Казаков» или о тщательном исправлении старого не снимался.

Тогда у Тургенева возникла мысль привлечь к сотрудничеству в этом деле Эмиля Дюрана, и он вновь адресовался к Толстому (письмо от 28 декабря 1878 г. (9 января 1879 г.)): «Пишу Вам по поводу „Казаков“. Здесь нашелся издатель, который желал бы напечатать отдельной книгой перевод, появившийся в „Journal de St.-Pétersbourg“. Но так как ему известно, что перевод слаб, то ему хотелось бы, чтобы французский литератор Дюран (известный своим знанием русского языка) и я — мы просмотрели бы тщательно этот перевод — на что мы, конечно, охотно согласились. (Я также напишу небольшое предисловие) <...> могу уверить Вас, что мы оба постараемся не ударить в грязь лицом и представим французской публике „Казаков“ в том виде, которого они заслуживают — и лучше, чем это сделал американский переводчик» (Письма, XII, кн. I, 413).[78]

Это предприятие, однако, не состоялось по причинам, нам неизвестным. Важно лишь то, что, как бы выполняя заранее намеченный план — познакомить французского читателя со всеми важнейшими произведениями Толстого, Тургенев не успокоился на этом, и поскольку «Казаки», плохо ли, хорошо ли, но уже были переведены на французский язык, он задумал перевод «Войны и мира». По этому поводу мы имеем несколько свидетельств, настолько сходных в своих основных подробностях, что они несомненно имеют в виду факт, действительно имевший место. Одно из этих свидетельств мы находим в воспоминаниях о Тургеневе Н. А. Островской. Ей Тургенев рассказывал: «Я сам хотел перевести „Войну и мир“ на французский язык, но с пропусками всех рассуждений... Несмотря на то, что мы с ним давно не видались, я через общих знакомых просил у него разрешения на перевод и на пропуски. Он отвечал, что пропустить ничего не позволит. Я хотел по крайней мере собрать все рассуждения, разбросанные в романе, и поместить в конце книги с умозрениями о войне и пр., чтобы таким образом роман был сам по себе. Он и на это не согласился, и я от перевода отказался. Перевел кто-то другой и, вероятно, французы читать не станут».[79] Многое неясно в этом известии и прежде всего — время, к которому относится этот замысел: было ли это в 1874 г., когда Тургенев через Фета просил у Толстого разрешения на право перевода его произведений в Париже («...я через общих знакомых просил у него» и т. д.), следовательно, еще в то время, когда Роллина переводил «Двух гусар» и «Набег». Косвенным подтверждением того, что перевод «Войны и мира» относится именно к этому раннему времени и что по этому поводу шла какая-то неизвестная нам сей-

[78] См. также письмо Тургенева к Дюрану от 29 июля (10 августа) 1879 г. (Письма. XII, кн. 2. 111).

[79] Воспоминания о Тургеневе Н. А. Островской//Тургеневский сборник/ Под ред. Н. К. Пиксанова. Пгр., 1915. С. 99.

час переписка через третьих лиц — может быть, того же Фета, — может служить воспоминание о встрече с Тургеневым в 1876 г. А. В. П-ва (Половцова), хотя в этом известии Тургенев и не называет себя предполагавшимся переводчиком этого романа; остальные подробности этого рассказа, в частности опасения, выраженные Тургеневым, что «Войну и мир» не поймет французский читатель, вполне совпадают с воспоминанием Н. А. Островской. По словам А. В. Половцова, Тургенев ему говорил: «„Войну и мир" хотели перевести, но с исключением всех стратегических соображений и философских рассуждений. Автор не согласился на эти условия, и дело затормозилось. Я показал Флоберу и другим французам отрывки из сочинений Толстого. Они приходили в восторг от талантливости письма, говорили: „un superbe pinceau" [превосходная кисть], но затем спрашивали: какие же картины написал он этой превосходной кистью...».[80]

Если правильно наше предположение, что замысел перевода Тургеневым «Войны и мира» относится к 1874—1875 гг. (что подтверждается и датой воспоминаний А. В. П-ва — 1876 г.), то, естественно, возникает другой вопрос. К этому самому времени относится тот спор Тургенева о принципах переводческого искусства, в котором приняла участие и Жорж Санд и поводом которого послужили именно переводы рассказов Толстого, сделанные Роллина. Был ли Тургенев последователен, если он, с одной стороны, отстаивал необходимость лексического приближения перевода к оригиналу, вплоть до сохранения в нем основных свойств его стилистической системы, а с другой стороны, в то же самое время просил у Толстого права на пропуски в тексте «Войны и мира» и устранение или выделение в особом приложении всех «рассуждений» и «умозрений» оригинала? Не было ли это изменой Тургенева его собственным убеждениям, переводческой практике, давно сложившимся привычкам? На первый взгляд дело обстояло именно так. Однако я позволю себе высказать другую догадку, в известном смысле оправдывающую Тургенева. Вспомним, что писала о нем Жорж Санд в споре о переводах Роллана: «Он [Тургенев] был бы прав, если бы дело шло о том, чтобы дать нам подлинный текст великих мастеров и учителей, но мы до этого еще не дошли...». Эти слова письма Ж. Санд к Плошю были обращены к Тургеневу и несомненно переданы были ему адресатом. Тургенев задумался над ними — ведь это было мнение столь ценимой им писательницы — и рассуждал: А что если испросить согласия Толстого на некоторые незначительные пропуски и переделки? А что если некоторые «рассуждения» и «умозрения» сохранить, но вынеся их в особое приложение, в конец книги? Тургенев знал, что иные из русских авторов охотно пошли бы на это: Островский, например, без всякого на то вызова со стороны Тургенева, узнав, что «Гроза» уже переведена и может быть поставлена на французской сцене, тотчас же изъявил готовность прислать особую, «французскую» редакцию своей пьесы.

80 Календарь «Царь-колокол». 1887. С. 78.

Толстой, однако, остался непреклонным и своего разрешения ни на какие изменения в «Войне и мире» не дал. Нужно думать, что и Тургенев не очень на этом настаивал, тем более что эти переговоры, если верить Н. А. Островской, велись через третьих лиц. Во всяком случае, когда через несколько лет, в конце 1879 г., сделан был французский перевод «Войны и мира» помимо Тургенева, он писал автору, что не теряет надежды на то, что французы его поймут: «Я на днях в 5-й и 6-й раз с новым наслажденьем перечел это Ваше поистине великое произведение. Весь его склад далек от того, что французы любят и чего они ищут в книгах; но правда в конце концов берет свое. Я надеюсь если не на блестящую победу — то на прочное, хотя медленное, завоевание» (Письма, XII, кн. 2, 197).

Когда была отброшена мысль о «приноровленном» французском издании этого романа, Тургеневу оставалось одно: стремиться не к блестящей победе, но именно к «прочному, хотя медленному, завоеванию».

В одной из статей Поля Бурже есть следующее место: «Я вспоминаю <...> как будто бы это было вчера, Тургенева, говорящего о Толстом в салоне Тэна... Там я в первый раз услышал это имя, тогда неизвестное у нас. Автор „Отцов и детей“ анализировал перед нами великолепие „Войны и мира“».[81] А вот рассказ Золя, записанный Е. П. Семеновым: «Никто из нас не знал в то время Толстого даже по имени. Но Тургенев всегда возвращался к Толстому. Он говорил нам о нем почти на каждом обеде, знакомя нас в сокращенном виде с его романами и рассказами, так много и так хорошо, что мы предложили ему однажды принести нам перевод одного из романов Толстого, который мы смогли бы опубликовать при помощи кого-либо из знакомых издателей. Тургенев только ждал этого случая, чтобы ввести Толстого во Францию — и под чьим покровительством — „пятерки“! Спустя некоторое время он представил нам перевод „Войны и мира“, который при нашем содействии и был принят Ашеттом».[82] А вот рассказ Эдуарда Рода, который как будто подтверждает, что первоначальные опасения Тургенева не были безосновательны: «Можно было ожидать, что русские романисты, указанные Тургеневым, встретят сразу радушный прием в небольшом мире литераторов, значительном не численностью, но авторитетом. Но этого не случилось. Когда фирма Ашетт рискнула напечатать три тома „Войны и мира“, это капитальное произведение Толстого не имело успеха. Из целого издания было продано только 16 экземпляров. Пресса не обратила внимания на это сочинение: оно не вышло за пределы маленького кружка друзей Тургенева. Помню прекрасно, что один экземпляр я видел на столе Золя. Он прочел это сочинение, точно так же, как и Гюйсманс, и оба говорили: „Это очень хорошо!“ Другие отвечали: „Мы прочтем“. Но было

---

[81] *Bourget P.* Pages de doctrine et de critique. Paris, 1912. P. 171.

[82] *Séménoff E.* Qui a introduit Tolstoi en France//Mercure de France. 1928. 15 septembre. P. 720 (поправки W. Bienstock: там же. 15 octobre. P. 50). О Тургеневе как популяризаторе Толстого во Франции пишет также Victor Charbonnel: Les mystiques dans la littérature présente. Paris, 1897. P. 14, 30.

целых три тома, и их не читали. Час этого произведения еще не пробил».[83]

Издание, о котором говорят и Э. Золя и Э. Род, — это выпущенный в Петербурге, под фирмой Ашетт, анонимный трехтомный французский перевод «Войны и мира»; переводчицей была кн. Ирина Ивановна Паскевич.[84] Часть экземпляров этого перевода была отправлена в Париж, и Тургенев «позаботился о рекламе», как он обещал это в одном из писем к Я. П. Полонскому (Письма, XII, кн. 2, 141). «Княгиня П[аскевич], переведшая Вашу „Войну и мир“, доставила сюда 500 экземпляров, из которых я получил 10, — писал Тургенев Толстому 28 декабря 1879 г. (9 января 1880 г.) — Я роздал их здешним влиятельным критикам (между прочими Тэну, Абу и др.). Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи. Перевод несколько слабоват — но сделан с усердием и любовью» (Письма, XII, кн. 2, 197).[85] Неясно, на каком основании Э. Род считает, что «роман не читали и что продано было только шестнадцать экземпляров. Данные, которые сообщены были Тургеневым Толстому через несколько дней после приведенного выше письма, совершенно иные: „Война и мир“ роздана мною здесь всем главным критикам. Отдельной статьи еще не появилось... но уже 400 экземпляров продано» (Письма, XII, кн. 2, 205). При этом же письме Тургенев приложил вырезку своей статьи из журнала «Le XIX-me siècle»; редактору его, Эдмону Абу, он послал один из первых экземпляров «Войны и мира» в переводе И. И. Паскевич со своим письмом, в котором указывал, что «Война и мир» — это «великое произведение великого писателя» и что «это — подлинная Россия». Э. Абу напечатал это письмо в своем журнале со следующей припиской: «Великий русский писатель Иван Тургенев сделал нам честь, прислав нижеследующее письмо, в котором объявляет нам о литературном событии, столь же интересном в своем роде, как и прекрасная выставка Верещагина».[86] К тому же времени (начало 1880 г.) относятся и два дошедшие до нас письма Тургенева к парижским литераторам — Андре Терье и Филиппу Бюрти, — несом-

---

[83] *Род Эдуард.* Русский роман и французская литература//Русский вестник. 1893. № 8. С. 208.

[84] La guerre et la paix. Roman historique. Traduit par une Russe. Paris, 1879. Ирина Ивановна Паскевич, кн. Эриванская, урожд. графиня Воронцова-Дашкова.

[85] Из письма В. В. Стасова к Толстому (из Петербурга от 12 августа 1879 г.) известно, что этот перевод «Войны и мира» был выправлен французом Hovyn-Tranchère («...это он подправляет слог княгини, которая и добрая и хорошая женщина, и хорошо по-французски знает, а все недовольно для печати...»). Отдельные места романа, из числа тех, которые были «темно и плохо» переведены, В. В. Стасову пришлось самому подправлять, «переводить и толковать. и мой перевод так, кажется, и пошел в печать» (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка/Ред. и прим. В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского. Л., 1929. С. 44—45).

[86] *Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff, d'après sa correspondance avec ses amis français. P. 291. Статья Тургенева перепечатана Гершензоном во втором томе «Русских пропилеев» (М., 1916. С. 259—261) и вошла в двенадцатый том сочинений Тургенева (изд-во ГИХЛ, 1934); см. также: Соч. Т. 15. С. 186—188.

ненно случайные образцы из целого ряда аналогичных посланий, напечатанных им по поводу «Войны и мира». «Вот дорогой M-r Терье, книга, о которой я вам говорил вчера (т. е. «Война и мир»). Прилагаю при сем номер „XIX siècle“, в котором я сказал о ней несколько слов. Надеюсь, что чтение романа Л. Толстого заставит вас разделить мое о нем мнение и заранее благодарю вас за те лестные слова, какие вы пожелаете сказать о нем» (Письма, XII, кн. 2, 203). А вот что писал Тургенев Филиппу Бюрти: «Не откажите в любезности сообщить мне, кто пишет рецензии на книги в „République Française“. Г. Арен (M. Arâne), не правда ли? Сообщите мне его адрес, и я пошлю ему роман графа Льва Толстого» (Письма, XII, кн. 2, 195).

Любопытно, что «несколько слов» Тургенева о «Войне и мире», опубликованные в журнале Э. Абу, были не единственным его печатным отзывом об этом романе, опубликованным во французском периодическом издании. По странной случайности от внимания русских библиографов и издателей сочинений Тургенева, вплоть до самых позднейших, ускользнула еще одна небольшая статья Тургенева о Толстом, напечатанная в «La Nouvelle Revue» за 1881 г. Это, собственно, не статья, но лишь вводная заметка к очерку А. Бадена «Один из романов Толстого», в которой анализируется «Война и мир».[87] Заметка Тургенева напечатана со следующим примечанием от редакции: «Наш выдающийся сотрудник, Иван Тургенев, хочет от себя представить нашим читателям графа Толстого и таким образом одобрить этот очерк о „Войне и мире“, что мы отмечаем с гордостью». Со своей фактической стороны эта небольшая статья Тургенева представляет сравнительно небольшой интерес: Тургенев знакомит в ней французского читателя с основными фактами жизни и творческой деятельности Толстого, как он это уже делал не раз в беседах и переписке со многими своими иностранными друзьями (с Рольстоном, например). Однако в этой заметке есть несколько общих суждений, которые интересно прибавить к тем отзывам Тургенева о Толстом, которые уже давно и хорошо известны. Тургенев пишет здесь, что «в настоящее время граф Толстой, несомненно, является наиболее популярным романистом в России», и так характеризует его творчество: «Высокая и простая поэзия, большая любовь к правде, сочетающаяся в нем с наиболее интимным восприятием всего, что является ложью или фразой, замечательная мощь психологического анализа, а также изысканное чувство природы, исключительная способность создавать типы, нечто живое и в то же время возвышенное, характеризует этот замечательный талант, который, оставаясь по преимущест-

---

[87] *Badin Ad.* Un roman de comte Tolstoi, avec préface de M. Ivan Tourguéneff//La Nouvelle Revue. 1881. 15 Août. T. 11. P. 820—822. Это предисловие Тургенева не вошло ни в третий том «Русских пропилеев» М. О. Гершензона, ни в двенадцатый том Сочинений Тургенева (1934); не отмечено оно и в библиографических справочниках М. К. Клемана. Впервые его обнаружил Ф. Я. Прийма.

ву русским, уже приобрел в Европе поклонников, число которых будет лишь возрастать» (Соч., XV, 119—121).

Эти слова написаны в 1881 г., два года спустя после того, как Тургенев занялся популяризацией «Войны и мира» в переводе И. И. Паскевич и шесть лет спустя после появления «Двух гусар» — первого редактированного им самим французского перевода из Толстого. За это время Толстой действительно уже приобрел поклонников в Европе, и это было в значительной степени именно делом Тургенева. Благодаря его настояниям Толстого прочли Флобер, Золя, Доде, Э. Гонкур. Известен тот восторженный отзыв Флобера о «Войне и мире», который Тургенев с «дипломатической точностью» скопировал в своем письме к Толстому (от 12(24) января 1880 г. Письма, XII, кн. 2, 205). Известны также другие отзывы об этом романе членов «пятерки», например А. Доде.[88] Начал интересоваться Толстым и средний французский читатель.

Таким образом, Тургенев не только «ввел» Толстого во французскую литературу, но и в значительной степени обеспечил в ней неуклонный рост его популярности. «Медленное завоевание» привело в конце концов к блестящей победе. Это произошло уже после смерти Тургенева. Быть может, он даже еще не предвидел всех результатов этой победы и ее всемирно-исторического значения.

Не суждено было предугадать Тургеневу и всемирно-исторической роли русской литературы вообще и ее грядущего распространения на Западе. Он умер накануне тех десятилетий, которые оказались в этом смысле решающими.

Наше исследование пришло к концу. Выводы напрашиваются сами собой. Говоря о литературных заслугах Тургенева, нельзя забывать и о той, которая верно и удачно подмечена была его западными современниками. У нас есть все основания говорить о Тургеневе как о пропагандисте русской культуры за рубежом. Формы этой популяризаторской и пропагандистской деятельности его были весьма разнообразны: его художественное творчество, целиком принятое западными читателями, служило показателем той зрелости

---

[88] Альфонс Доде, по словам его сына, поклонялся Толстому «Войны и мира», «Анны Карениной», «Севастопольских рассказов» и «Казаков» (*Daudet L.* A. Daudet. Paris, 1898. P. 187). Гюг Леру в 1888 г. вспоминал, что «пять или шесть лет тому назад, когда у нас еще и не подозревали, что имена Гоголя, Достоевского, Тургенева, Писемского станут известными широкой публике, А. Доде неоднократно твердил мне: вы должны прочитать „Войну и мир" Льва Толстого: это одна из моих постоянных книг: я возвращаюсь к ней каждый год во время моего летнего отдыха в деревне» (Revue politique et littéraire. 1888. T. 15. № 7. P. 215). Отзывы Доде о «Войне и мире» см. также в «Дневнике» А. С. Суворина (Пг., 1923) и в «Книжках Недели» (1886. № 2. С. 122—139). Напомним здесь, кстати, отзывы Мопассана о «Войне и мире». П. Боборыкин вспоминает: «Я очень хорошо помню горячие возгласы Мопассана о „Войне и мире". „Вот как нужно писать! <...> Это для нас откровение, целый «новый мир»"» (*Боборыкин П.* Эволюция русского романа//Под знаменем науки. М., 1902. С. 3).

и мастерства, которых достигла русская художественная литература: его романы и повести в отраженном свете впервые представили западным читателям многих русских поэтов; Тургенев не только сам трудился над переводами произведений русской литературы, но и создал целую школу переводческого искусства во Франции и частично в Англии; наконец, высокий авторитет Тургенева на Западе сделал бесспорными многие из его оценок произведений русских писателей. Мы не хотели бы, однако, сказать, что распространение русской литературы на Западе есть дело одного Тургенева. Тем не менее несомненно, что он содействовал этому распространению в сильнейшей степени, и его роль должна быть учтена в общей истории этого процесса.

ПО СЛЕДАМ РУКОПИСЕЙ ТУРГЕНЕВА ВО ФРАНЦИИ

1

Два летних месяца 1961 г. мне довелось провести во Франции. Я приехал в Париж благодаря любезному приглашению Institut d'études slaves, Парижского университета (Сорбонны) и других институтов и высших учебных заведений Франции. Поездка была интересной и плодотворной. Я имел полную возможность подробно ознакомиться с нынешним состоянием изучения русского языка и литературы во французских высших и средних школах, посетить важнейшие музеи, библиотеки, архивохранилища Парижа, Страсбурга, Дижона, беседовать с крупнейшими французскими филологами.

Путешествие мое во Францию имело, однако, и другую, особую цель. Мне предстояло произвести розыски затерянных подлинных рукописей И. С. Тургенева в связи с предпринятым Институтом русской литературы новым изданием — Полным собранием сочинений и писем И. С. Тургенева в 28 томах. Это издание, как известно, поставило своей задачей объединить на своих страницах все произведения писателя, как опубликованные им самим, так и оставшиеся в рукописях, а во второй серии («Письма») — все письма Тургенева, когда-либо им написанные, в подлинных текстах вышедших из-под его пера, тщательно проверенные по оригиналам и снабженные необходимыми пояснениями. Между тем мы не располагали еще полным и подробным перечнем всех этих первоисточников, в особенности тех, которые находятся за рубежом; разыскание их стало важной задачей, от решения которой зависела в значительной степени полнота указанного издания.

Рукописное наследие И. С. Тургенева рассеяно по всему миру. Большое количество его рукописей и прежде всего его писем, адресованных сотням корреспондентов на русском, французском, немецком и английском языках (на всех этих языках Тургенев говорил и писал), хранится в библиотеках и архивах всех континентов и с трудом поддается даже приблизительному учету, тем более что множество автографов Тургенева все еще находится в частных собраниях, в руках коллекционеров, чаще всего вовсе не заинтересованных в скорейшем опубликовании принадлежащих им рукописных материалов.

Наибольшее количество подлинных рукописей Тургенева находится во Франции, здесь их следует искать. В этой стране провел он всю вторую половину своей жизни, отлучаясь на родину и в другие страны лишь на короткое время; здесь он умер; в руках его душеприказчицы Полины Виардо остались его бумаги и огромный эпистолярный архив. Естественно, что к ним прежде всего и должно было быть привлечено пристальное внимание тургеневедов.

Судьба так называемого «парижского архива» Тургенева уже вскоре после смерти писателя стала обсуждаться в печати. И в то время, и позже неоднократно высказывались и возобновлялись различные предложения о желательности приобрести этот архив у владелицы для передачи его в одно из русских книгохранилищ. Осуществить это, однако, так и не удалось.

Из друзей Тургенева первым допущен был к разбору этих бумаг П. В. Анненков. Он приехал для этой цели в Париж по личной просьбе П. Виардо, но занят был их просмотром сравнительно недолгое время, к тому же он получил, вероятно, главным образом корреспонденцию писателя — множество писем, полученных им от разных лиц. Из автографических рукописей самого Тургенева в руках Анненкова побывали лишь очень немногие, поэтому, может быть, от отнесся к ним далеко не с той бережностью и вниманием, каких они заслуживали. В 1885 г. он извещал М. М. Стасюлевича еще из Парижа (в письме от 19 апреля н. ст.): «Удивительно, как покойник сберегал все записочки, тысячи просьб о пособиях, советах, брульоны своих повестей с помарками и поправками своими, и проч. и проч.», но прибавлял тут же с некоторой тревогой: «Г-жа Виардо собирается все просмотренные бумаги бросить в огонь (их держать негде, так как она уже продала свой дом на rue de Douai за 260 тыс. фр.). Не сыщете ли Вы покупщика бумаг в императорской библиотеке или между частными людьми? Обидно было бы подеревенски просто жечь то, что нам не нужно, хотя другим, может быть, и пригодилось бы».[1] О том же Анненков, по-видимому, известил и В. П. Гаевского; последний находился в Париже одновременно с Анненковым при начале просмотра тургеневских бумаг, был знаком с П. Виардо и продолжал с ней переписку по возвращении в Петербург, бесплодно добиваясь получения каких-либо писем для «Первого собрания писем Тургенева», которое выходило в свет под его редакцией от имени «Литературного фонда».[2] Ан-

[1] М. М. Стасюлевич и его современники. СПб., 1912. Т. 3. С. 438.

[2] Из дневника В. П. Гаевского (1883—1887 гг.)//Красный архив. 1940. № 3 (100). С. 230. Приводимые ниже письма Анненкова к Гаевскому находятся в архиве последнего в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде; частично они опубликованы в журнале «Печать и революция» (1925. Кн. 7. С. 63 и след.). В одном из писем к Гаевскому П. Виардо признавалась ему, что, к своему удивлению, обнаружила «среди <...> бумаг и вещей» в нераспечатанном виде его послание по поводу рукописей Тургенева, и прибавляла: «Я очень польщена просьбой, с которой вы ко мне обращаетесь. Будьте уверены, что по моем возвращении в город я непременно примусь за поиски среди драгоценной переписки нашего незабвенного друга нескольких писем, которые могут быть опубликованы» (с. 63).

ненков писал В. П. Гаевскому о П. Виардо: «Вы ей подали идею, за которую она крепко ухватилась, — это о продаже в Публичную библиотеку автографов, которых оказалась бездна. Выберите у себя свободную минуту и переговорите об этом с чиновником библиотеки». Не подлежит сомнению, что благодаря Гаевскому и рекомендации Анненкова и Стасюлевича вопрос об этой покупке серьезно обсуждался администрацией Публичной библиотеки, однако в том, что продажа не состоялась, повинны не только П. Виардо, не захотевшая уступить рукописи Тургенева, а старавшаяся сбыть с рук только его огромный эпистолярный архив, но и сам Анненков. Слово «автографы» в его письме к Гаевскому было истолковано в библиотеке в смысле «рукописи, писанные самим Тургеневым»; поэтому Анненков спешил разъяснить это недоразумение и снова писал В. П. Гаевскому: «Вот удивятся господа из библиотеки, когда вместо автографов Тургенева, которые ожидают, получат автографы Фета, Стечкиной, студентов, представляющих свои стихи и опыты. Для нас все это любопытно — ну, а для них это подтирочная бумага. Между тем из ваших слов об автографах можно заключить, что они возымели надежду иметь тургеневские строки. Ни одной строки до сих пор еще не встретил его руки. При случае разубедите их». Разъяснение это оказалось роковым: несомненно, что Публичная библиотека сразу же отказалась от приобретения этой части парижского архива, считая ее малоценной и ненужной; на этом переговоры и прервались. Тогда Анненков предпринял еще один шаг, чтобы уберечь эти бумаги от гибели, и писал тому же Гаевскому: «Я посоветовал г-же Виардо переслать вам кипу писем к Тургеневу, мне не нужных, но для интимной истории литературы нашей весьма любопытных. Она же скучает ими, так как они занимают много места в ее салонах. Согласны ли вы будете принять этих сирот под свой кров — без него им грозит одна и та же участь с предшественниками, а именно или кухонная плита или фейерверк в камине. А жаль. Богатый материал для истории русской культуры между 48 и 58 годами».

Была ли действительно уничтожена эта часть писем к Тургеневу, остается неизвестным, несмотря на приведенное, как будто недвусмысленное, свидетельство об этом Анненкова, но мы знаем, что не получил их и Гаевский, разумеется, поспешивший с уведомлением о готовности хранить их у себя; во всяком случае едва ли подлежит сомнению, что значительная их часть исчезла бесследно. Тем не менее это была только часть архива, к разборке которого был допущен Анненков; многие, даже эпистолярные, материалы показаны ему не были. Еще до передачи их Анненкову П. Виардо успела изъять из них все то, что относилось к ней самой, и прежде всего собственные письма Тургенева; Анненков же, пользуясь тем, что в ее доме явно тяготились этой частью тургеневского наследства, увез с собой из Парижа в Берлин огромные «кипы» этих бумаг и продолжал листать их здесь со все возрастающей усталостью и неохотой, так как такая работа требовала времени и усидчивости. В. П. Гаевскому он писал: «Я выжил весь срок мой

в Париже вполне, получив от г-жи Виардо громадные кипы бумаг и писем Тургенева, которые сравниваю с глыбами мрамора, которые и притащил сюда. Теперь сижу за ними и разбираю. Настоящая моя журнальная работа совсем остановилась и не знаю, когда возобновится. Я уже успел послать по почте к г-же Виардо целую массу разобранных пакетов, но остаются еще горы их». О тех же «бумагах» Анненков сообщал и Стасюлевичу (в письме от 12 ноября н. ст. 1886 г.): «...отправил целые обозы их обратно назад в Париж, удержав при себе те, которые почему-либо мне показались интересными».[3]

Возвращение «бумаг» Полине Виардо почтовой посылкой, если они действительно были доставлены ей в сохранности, сдержанные характеристики их в сопровождавших эти «кипы» письмах Анненкова, не скрывавшего неудачу своих попыток устроить их продажу, — все это едва ли могло содействовать убеждению П. Виардо, что они имеют какую-либо ценность. Что касается той их части, какую Анненков (в том же письме к Стасюлевичу) назвал «возами» «глупостей, в которых Тургенев постоянно является, однако же, гуманным европейцем»,[4] то не приходится удивляться, что она рассеялась и исчезла; в том составе парижского архива Тургенева, который сохранился доныне и о котором пойдет речь ниже, письма к нему представлены лишь в малом числе. С другой стороны, утрачено, конечно, и многое из того, что было «удержано» П. В. Анненковым в Берлине и перевезено затем в Россию,[5] так как вскоре умер и он сам (8 марта 1887 г.).

Бумагами Тургенева, оставшимися у нее на руках, П. Виардо распоряжалась полновластно; они оставались вовсе недоступными в течение нескольких десятилетий. Очень немногое за все это время она сама предоставила для опубликования, и то главным образом в первые годы после его смерти. Упомянем в этой связи известную историю публикации последнего рассказа Тургенева «Конец», записанного ею под диктовку писателя, лежавшего на смертном одре; П. Виардо настойчиво требовала, чтобы этот рассказ напечатан был одновременно в России и во Франции, и добилась этого. Он появился в «Ниве» (1886. № 1) и в «La Nouvelle Revue» (1886, Т. 38).[6] Несколько раз П. Виардо давала обещания своим русским корреспондентам предоставить для обнародования некоторые из рукописей Тургенева, но эти намерения оставались невыполненными. Об одном из таких обещаний мы знаем, например, из ее пе-

---

[3] М. М. Стасюлевич и его современники. Т. 3. С. 449.

[4] Там же.

[5] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1961. Письма. Т. 1. С. 113—115.

[6] *Гессен С.* Полина Виардо и посмертный рассказ Тургенева//Печать и революция. 1928. Кн. 7. С. 60—74.

реписки с почитателями Тургенева в Орле.[7] Хорошо известно также, что П. Виардо резко протестовала в тех случаях, когда оказывалось, что кое-какие из принадлежавших ей бумаг таинственным образом попадали в руки литераторов или антикваров (так произошло, например, со связкой писем к ней Тургенева, которая, вероятно, была потеряна или забыта ею при поспешном отъезде из Баден-Бадена в Лондон во время франко-прусской войны 1870—1871 гг.); через печать (в том числе и русскую), с помощью уполномоченных на это юристов, она объявила, что письма эти были у нее «украдены» и что появление их в печати она будет преследовать по суду.[8] В конце концов, может быть, для того, чтобы предупредить дальнейшее обнародование подобных документов, а отчасти и для того, чтобы освободить себя от докучных и навязчивых просителей, постоянно добивавшихся от нее получения неопубликованных материалов, П. Виардо передала избранные письма Тургенева для печати, предварительно тщательно их проредактировав.[9] На этот раз публикация состоялась с ведома владелицы; они печатались в нескольких странах Европы, но с пропусками и переменами отдельных мест; оригиналы же этих писем снова исчезли: местонахождение их неизвестно или сокрыто чьей-то заботливой рукой.[10] Так обстояло дело с письмами Тургенева. Что же касается основного фонда его руко-

---

[7] В конце 1890-х гг. на родине Тургенева, в г. Орле, образовалось «Общество любителей изящных искусств», проектировавшее различные мероприятия по увековечению памяти Тургенева в связи с юбилейной датой, приходившейся на 1898 г. Общество это обратилось к ряду близких свидетелей жизни Тургенева, еще находившихся в живых, в частности к П. Виардо. Письмо, ей направленное, содержало в себе просьбу пожертвовать г. Орлу книги из его личной парижской библиотеки. Вскоре в Орел пришло ответное письмо П. Виардо (от 27 марта 1897 г.). «Сожалею, что у меня нет библиотеки незабвенного Ивана Сергеевича, так как я была бы счастлива подарить ее музею, который вы основываете», — сообщала П. Виардо в этом письме (парижская библиотека Тургенева, состоявшая из 2852 томов, действительно была продана ею букинистам еще за десятилетие перед тем). «Но я, — продолжала П. Виардо, — могу предложить вам нечто более интересное — рукопись Тургенева! Рукопись одного из его произведений! Укажите мне самый надежный способ для пересылки ее вам, и я не замедлю отправить ее по точному адресу, который вы мне укажете». Все это письмо (во французском подлиннике) тотчас же напечатано было в «Орловском вестнике» (1897. № 85. 30 марта). О какой рукописи шла здесь речь, неизвестно; следует, однако, предположить, что посылка ее не состоялась, так как никаких упоминаний о ней в печати более не появлялось; не сохранилось также никаких следов дальнейшей переписки П. Виардо с орловским «Обществом».

[8] Исторический вестник. 1898. № 1. С. 415—416.

[9] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 1. С. 131—132.

[10] Старшая дочь Луи и Полины Виардо, Луиза (ум. в 1918 г.), в замужестве Эритт, всегда холодно и неприязненно относившаяся к Тургеневу, рассказывая об этой публикации в своих воспоминаниях (Une famille de grands musiciens. Mémoires de Louise Héritte-Viardot, rec. par Louis Héritte de la Tour. 3-me éd. Paris, 1923) и упомянув об исчезновении подлинников писем Тургенева, замечает: «Странная вещь! Переписка Тургенева с моей бабушкой Гарсией исчезла точно так же таинственным образом и никогда это собрание писем не найдется» (ср.: *Бродский Н. Л.* Новое о Тургеневе//Тургенев и его время. Первый сборник. М.; Пгр., 1923. С. 312). Публикация в Англии чрезвычайно интересных в биографическом отношении писем П. Виардо к музыканту Юлиусу Ритцу (см.: Pauline Viardot Garcia to Julius Rietz. Letters of

писей литературного характера, то они находились в личном владении П. Виардо в течение двадцати семи лет вплоть до ее смерти (18 мая 1910 г.), неопубликованные и недоступные для исследователей.

Дальнейшая судьба этих рукописей недостаточно ясна; история их перемещений пока еще не может быть установлена со всеми подробностями. Наследники П. Виардо, по-видимому, не удержали их в одних руках. В печать проникали сообщения, что весь архив Тургенева распался на «три отдельных собрания», но местонахождение их не указывалось, а объем и состав их по-прежнему оставались неопределенными и таинственными, тем более что рукописи Тургенева до их расчленения объединились с семейными бумагами супругов Виардо. Не исключена возможность, что отдельные части этого обширного архива находились в руках сына Луи и Полины Виардо — Поля Виардо, известного скрипача и автора «Воспоминаний» (умершего лишь в 1941 г.), а также у других членов этой разветвленной семьи;[11] едва ли подлежит сомнению и то, что важнейшая и наиболее обширная часть рукописей Тургенева принадлежала младшей дочери прославленной певицы — Марианне Виардо (в замужестве Дювернуа). Впрочем, и об этих рукописях вскоре после смерти Полины (и, вероятно, до их раздела между членами семьи) распространялись самые разноречивые слухи. Уверяли, например, что среди них находились многочисленные произведения Тургенева, написанные его рукой и не увидевшие света, в том числе неоконченные романы, повести и даже его «дневник», якобы подлежавший уничтожению и лишь случайно уцелевший; здесь же будто бы находилась еще (найденная после смерти П. Виардо в ее секретном ящике) большая повесть или «роман-исповедь» Тургенева, в которой он рассказывал о П. Виардо и о себе самом; в нескольких вариантах передавалось даже заглавие загадочной рукописи («Жизнь для искусства», «Все для искусства» или «Художник»), которая, по слухам, вложена была в запечатанный пакет с запиской П. Виардо, запрещавшей чтение и обнародование манускрипта ранее чем через десять лет, которые истекут со дня ее смерти.[12]

Friendship//Musical Quarterly. 1915. Vol. 1. P. 526—559; 1916. Vol. 2, P. 32—60) лишний раз засвидетельствовала, что пользование ее архивом, тем более за пределами Франции, было крайне затруднено. Еще в 1959 г. Тереза Марикс-Спир, выпуская в свет первый том переписки Ж. Санд с П. Виардо, высказывала удивление, как могло случиться, что ни одно из этих писем, свидетельствовавших о долголетней близкой дружбе писательницы и певицы, до тех пор не было обнародовано (Lettres inédites de George Sand et de Pauline Viardot (1839—1849). Recueillies, annotées et précédées d'une introduction par Thérèse Marix-Spire. Paris, 1959. Nouvelles éditions latines).

[11] Т. Марикс-Спир (с. 10) с благодарностью упомянула «драгоценные собрания», предоставленные ей для снятия копий «внучками Полины Виардо» — «Mesdames Decugis et Maupoil».

[12] Неизданная рукопись Тургенева//Речь. 1910. № 137; *Саводник В.* Забытые страницы И. С. Тургенева. М., 1915. С. 3. Во всех противоречивых известиях об этой рукописи, западноевропейских и русских, о которой и поныне неизвестно ничего достоверного, пытался разобраться немецкий ученый Клаус Дорнахер в статье «И. С. Тургенев и его „Жизнь для искусства"» (И. С. Тургенев. 1818—1883—1958: Статьи и материалы. Орел, 1960. С. 184—192).

Международные события первой половины нашего столетия, в особенности две продолжительные, кровопролитные и разрушительные мировые войны, затруднявшие и вовсе прекращавшие на длительное время культурные сношения между отдельными странами Западной Европы, немало способствовали тому, что о бумагах Тургенева, находившихся в частных руках и, следовательно, подверженных всяческим случайностям, забыли на долгие годы.

Первым оповестил о них профессор, впоследствии академик Андре Мазон, получивший к ним доступ еще в то время, когда они хранились в семьях наследниц Виардо в неразобранном виде. В 1920-е гг. А. Мазон, авторитетнейший из французских знатоков Тургенева и русской литературы, начал систематические занятия над этими рукописями, публикацию некоторых из них, а также своих исследований, выполненных на их основе. Еще в 1921 г. в только что основанном парижском научном журнале «Revue des études slaves» А. Мазон опубликовал несколько извлеченных из тургеневского архива писем к Тургеневу Ф. М. Достоевского,[13] а несколько лет спустя начал описание и печатание рукописей самого Тургенева из того же источника. Так, в 1925 г. появилась его большая статья о творческой истории «Нови»,[14] основанная на впервые прочтенных им черновых рукописях этого романа, а затем и другая, посвященная истории создания «Накануне», «Первой любви» и «Дыма».[15] Важное историко-литературное значение впервые обследованных А. Мазоном рукописей не подлежало спору; они привлекли к себе самое широкое внимание; более того, эти работы открыли новый этап в исследовании творчества Тургенева, положив прочное начало постепенному раскрытию его рукописного наследия.[16]

В 1927 г. А. Мазон известил о находке среди рукописей Тургенева того же архива «Стихотворений в прозе» (в том числе тридцати одного неопубликованного), существенно дополняющих ту их серию, которая была опубликована в «Вестнике Европы» (1883).[17] В 1929 г. «Новые стихотворения в прозе» были напечатаны во фран-

---

[13] *Mazon A.* Quelques lettres de Dostoievskiy à Tourguénev// Revue des études slaves. 1921. T. 1. Fasc. 1. P. 117—137.

[14] *Mazon A.* L'élaboration d'un roman de Tourguénev: Terres Vierges//Revue des études slaves. 1925. T. 5. Fasc. 1—2, P. 85—112.

[15] Ibid. Fasc. 3—4, P. 244—268.

[16] *Цейтлин А.* Тургеневские рукописи из парижского архива Виардо// Печать и революция. 1927. Кн. 2. С. 41—50; Кн. 3. С. 39—48. Характеризуя рукописные материалы Тургенева, принадлежавшие П. Виардо, А. Цейтлин впадал в явное преувеличение, когда говорил в начале своей статьи: «Русские ученые неоднократно возбуждали вопрос о перевозе (?) ее архива в Россию, но разные обстоятельства мешали этому. Теперь вопрос в значительной степени разрешен (?) исчерпывающим и палеографически точным их напечатанием А. Мазоном» (с. 41). На самом деле в 1920-х гг. указанные публикации весьма усилили надежды на возможность новых деловых переговоров с наследниками о приобретении всего собрания; но эти переговоры, несколько раз возобновлявшиеся, ни к чему не привели.

[17] *Mazon A.* Le texte original des Poèmes en prose d'Ivan Tourguénev. Sbornik praci, věnovanych Prof. Václavu Tillovi. Praha, 1927. P. 132—137.

цузском переводе с предисловием А. Мазона,[18] а в 1930 г. они вышли отдельной книгой в Париже в двух параллельных текстах — русском и французском,[19] в следующем году — переизданы в Ленинграде, воссоединенные с ранее известными, текст которых, однако, был заново сверен с оригиналами по парижским рукописям.[20]

Крупным вкладом в науку о русской литературе, в особенности ценным для исследователей Тургенева, явилась опубликованная в том же 1930 г. книга А. Мазона «Парижские рукописи Ивана Тургенева. Заметки и извлечения»,[21] сохраняющая свое значение и доныне. Наиболее важными разделами ее остаются те, в которых дано инвентарное описание рукописей Тургенева по рубрикам: произведения, биографические материалы и переписка писателя с разными лицами; кроме того, в книге даны большие отрывки из рукописей Тургенева и наблюдения над ними как над материалом для суждения о Тургеневе-писателе, о сложном и трудном «искусстве романиста», о его творческих приемах при создании крупных вещей, когда он стремился достигнуть последних пределов «артистической добросовестности». В предисловии к книге А. Мазон замечает, что в составленном им каталоге он объединил «три части» (les trois tronçons) тургеневского рукописного наследия, хранившегося у внучек П. Виардо. Для русского читателя этой книги, вскоре же переведенной на русский язык (но как раз без этой инвентарной описи),[22] оставалось, однако, неясным, все ли рукописи Тургенева, хранившиеся у потомков Виардо, могли быть им учтены в этом перечне, но на этот вопрос едва ли можно ответить с полной уверенностью и в настоящее время по причинам, изложенным выше.[23]

Благодаря хлопотам, заботливости и попечениям Андре Мазона весь описанный им фонд рукописей Тургенева вскоре после окон-

---

[18] *Mazon A.* Nouveaux poèmes en prose d'Ivan Tourguénev (Introduction)// Revue des Deux Mondes, 1929. 15 novembre. P. 289—295.

[19] *Tourguénev I.* Nouveaux poèmes en prose/Texte russe publ. par A. Mazon; Traduction de Ch. Salomon. Paris, 1930. А. Луначарский в статье «Неизданные стихотворения в прозе Тургенева» (Огонек. 1930. № 1), написанной еще до получения их русского текста, отмечал, что «находка всей серии черновиков стихотворений в прозе, сделанная известным исследователем А. Мазоном <...> заинтересовала не только русских литературоведов и ценителей художественного слова, но и мировых».

[20] *Тургенев И. С.* Стихотворения в прозе. М.; Л., 1931.

[21] *Mazon A.* Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev. Notices et extraits. Paris, 1930. Книга посвящена «памяти Жоржа Шамро» — мужа дочери П. Виардо — Клоди. Тотчас же по появлении этой книги подробную ее характеристику представил Е. В. Петухов в статье «Новое о Тургеневе» (Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1930. Т. 3. С. 599—612).

[22] *Мазон А.* Парижские рукописи И. С. Тургенева/Пер. с франц. Ю. Ган; Под ред. Б. Томашевского. М.; Л., 1931.

[23] Публикации последних лет засвидетельствовали неполноту перечня, составленного А. Мазоном. Так, в частности, только в 1984 г. стали известны подготовительные материалы к роману «Отцы и дети», опубликованные проф. П. Уоддингтоном по рукописи, хранящейся в архиве праправнучки П. Виардо М. Ле Сен. См.: New Zealand Slavonic Journal. 1984. P. 63—76; *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. М., 1986. Т. 12. С. 563—576.

чания второй мировой войны был приобретен Национальной библиотекой в Париже за два миллиона старых франков. Юридически покупка совершена была у Анри Больё (m-r Henri Beaulieu), библиотекаря французских театров (Bibliothécaire des Théâtres Français), женатого на Сюзанне Дювернуа — внучке Полины Виардо по прямой линии: матерью Сюзанны Дювернуа (m-me Henri Beaulieu) была родная дочь Полины Виардо — Марианна Виардо (в замужестве Дювернуа). Анри Больё умер в Париже несколько лет назад; просвященный любитель искусств и литературы, он сделал немало для сохранения этих рукописей и сумел убедить родственников, что этот архив не может далее оставаться в руках частных лиц и должен стать собственностью государственного книгохранилища Франции.

2

Процесс перевозки, разборки и размещения этих рукописей в Национальной библиотеке растянулся на несколько лет. Недавно обработка их закончилась, и доступ к ним был открыт. Они хранятся ныне в отделении рукописей Национальной библиотеки в Париже, заключенные в 28 кожаных переплетов, куда вплетены или вклеены и толстые тетради, и отдельные листки, писанные рукою Тургенева, и даже некоторое количество полученных им писем (Fonds Slave 74—97). Все собрание состоит из 4100 листов, по приблизительному подсчету, любезно произведенному по моей просьбе администрацией рукописного отделения, так как в инвентаре значатся под отдельными номерами только переплетенные тома, а путеводителями по этим томам остаются лишь описи, опубликованные А. Мазоном в упомянутой выше его книге 1930 г. Такой способ хранения рукописного наследия имеет, конечно, и свои выгоды в смысле экономии места, но и значительные неудобства: порядок расположения рукописных материалов в отведенных для них томах приблизительно одинакового объема был установлен заранее и не может быть изменен при дальнейшем их изучении, определениях и датировках. Расположение рукописных материалов остается условным: 1). Произведения; 2). Биографические документы; 3). Переписка, с двумя подотделами: а) Письма, написанные Тургеневым; б) Письма, полученные Тургеневым, — и, кроме того, нередко отступает от принятого порядка по вине переплетчика: ради сокращения объема томов, в поисках свободного места на чистых листах, он допустил произвольные перемещения рукописей, и некоторые из них отыскиваются не без труда, не говоря уже о неудобстве пользования огромными фолиантами для читателей и фотографов. С моей точки зрения, для устранения всех этих трудностей администрация рукописного отделения Национальной библиотеки должна была бы составить новый постраничный инвентарный каталог всех рукописей Тургенева по томам. Книга А. Мазона 1930 г. сохранит свое значение не только как их первый печатный каталог, но и благода-

ря большим извлечениям из самих рукописей, датировкам, ценным соображениям о творческом процессе писателя и т. д.

Получив допуск к этим рукописям вскоре после моего приезда в Париж (с разрешения и благодаря любезному содействию проф. А. Мазона), я имел полную возможность ознакомиться со всем собранием в целом de visu. Перелистывая огромные фолианты страница за страницей, я мог удостовериться лишний раз, какой поистине неисчерпаемый и драгоценный материал в них содержится. Более тридцати лет тому назад А. Мазон с полным основанием подчеркивал, что «русские ученые по справедливости могут позавидовать французским исследователям» Тургенева,[24] так как в распоряжении последних находятся не те большей частью «немые» беловые рукописи его произведений, которые довольно широко представлены в советских книгохранилищах, но рукописи черновые, «говорящие», хранящие на себе следы всех его творческих исканий и трудов, позволяющие установить, как созревали, видоизменялись и воплощались его замыслы и искания. Стоит отметить еще раз, что среди парижских рукописей находятся первые редакции таких его крупных вещей, как «Дворянское гнездо»,[25] «Накануне», «Первая любовь», «Дым» (с первоначальным, потом зачеркнутым заглавием «Две жизни»), «Новь», и ранние наброски к ним, кроме того — рукописи «Отцов и детей», «Вешних вод» и других произведений в промежуточных редакциях, близких к окончательным. Рукописей в парижском архиве много, и каждая из них нуждается в особом изучении. В печатном инвентаре рукописи произведений Тургенева обозначены под № 1—85 (в приблизительно установленном хронологическом порядке), и некоторые из них весьма объемисты (заключают в себе по нескольку сот листов). Здесь находятся, в частности (перечисляю для примера лишь ранние из них, в той последовательности, в какой они размещены ниже в переплетах): 1) черновой текст неоконченной пьесы 1842 г. «Искушение св. Антония»;[26] 2) начало одноактной комедии «Две сестры» (1844);[27] 3) вставка к «Петушкову» (гл. VIII, 1860—1862); 4) «Русский немец» (1847) — фрагмент неосуществленного замысла из цикла «Записок охотника»; 5) план романа «Два поколения» (конец 1840-х гг.); 6) «Степан Семёнович Дубков и мои с ним разговоры»

---

[24] *Mazon A.* Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev. P. 10; см. рус. перевод: *Мазон А.* Парижские рукописи И. С. Тургенева. С. 10—11.

[25] Над рукописями «Дворянского гнезда» последние годы работал проф. А. Гранжар. См. его книгу «Ivan Tourguénev, la comtesse Lambert et „Nid de seigneur"» (Paris, 1961) и статью«L'élaboration artistique de „Nid de seigneurs"» (Revue des études slaves. 1961. T. 35. P. 89—98).

[26] Впервые опубликован А. Мазоном с вводной статьей «La tentation de Saint-Antoine d'Ivan Tourguénev» (Revue des études slavas. 1953. T. 30. P. 7—40).

[27] Впервые опубликована А. Мазоном с предисловием «Début d'une comédie d'Ivan Tourguénev» (Revue des études slaves. 1954. T. 31. P. 88—100). По поводу этих двух публикаций см. статью Л. П. Гроссмана «Драматургические замыслы Тургенева» («Две сестры» и «Искушение святого Антония//Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1955. Т. 14. вып. 6. С. 547—555).

(неоконченный рассказ); 7) тетрадь 1852—1855 гг. с черновиками «Постоялого двора», «Двух приятелей», «Якова Пасынкова» и т. д. Мы не упоминаем особо множество оставленных замыслов Тургенева, на которые бросают свет его рукописные листки, незаконченных произведений (например, большой повести без заглавия, действие которой должно было сосредоточиться в Париже и окрестностях летом 1867 г.),[28] сценариев оперетт, не предназначавшихся к печати, и т. д.

Просмотр подлинной рукописи не всегда может быть заменен чтением сделанного с нее фотоснимка; равным образом даже тщательное ее описание не дает полного о ней представления. Составленная А. Мазоном инвентарная опись является пока единственным надежным ключом и путеводителем по четырем с лишним тысячам рукописных листов, порой крайне трудных для чтения из-за выцветших чернил и неразборчивости почерка, но она не могла отразить все богатство этого фонда в сжатых формулировках и по необходимости кратких определениях, да и не ставила себе такой задачи. Это еще дело будущего. Как много скрывается иногда за лаконической характеристикой инвентарного перечня, может показать следующий пример.

В пятый том (MSS Slave, 78, Manuscrits de Tourguénev. Vol. 5) между л. 172—173 вплетена небольшая тетрадь из 20 листов, из которых заполнены текстом лишь первые восемь; на первом Тургенев составил текст титульного листа задуманной им книжки, написав его печатными буквами, что неоднократно делал он в подобных случаях:

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ив. Тургенев

1. ПЕРЕПЕЛКА

Буживаль
1882

На л. 173—176 находится текст известного рассказа Тургенева «Перепелка» (черновой, с поправками); под последней строкой поставлена и дата: «четверг 5 окт. (23 сент.) 1882. Буживаль. Les Frênes». Все это указано и в описи А. Мазона (с. 99, № 84), отме-

[28] А. Мазон полностью напечатал в своей парижской книге 1930 г. довольно обширные приготовительные заметки Тургенева к этой повести (с. 120—139). См. также статью А. Мазона «Quelques personnages en quête d'un roman (à propos d'un projet de nouvelle d'Ivan Tourgenuénev)»//Revue de Paris. 1930. 1 septembre. P. 28—51; в особой заметке (Un modèle commun à Flaubert et à Tourguénev: Maurice Schlesinger//Revue des études slaves. 1934. T. 14.

тившего также, что в этой тетради находится еще «начало рассказа для детей (около пятнадцати строк)». Действительно, на отдельном листе (ныне л. 177) находится эта черновая запись, которая, по-видимому, должна была открывать задуманную книжку или служить ей предисловием. Приводим ее полностью по парижской рукописи: «Жил был у нас по соседству один старичок, одинокий, бездетный; превеселый старичок — и такой краснобай! Бывало [начнет] примется рассказывать — мы все так словно и замрем — не наслушаемся [целый день прослушал бы его, право]. Он и на войне [бывал] сражался, и в чужих краях бывал, и в больших городах живал подолгу... всего насмотрелся [!] [Но] И так все хорошо помнил! Но больше всего любил он рассказывать про свои приключения на охоте... Охотник он был страстный до самой старости. Удивительные с ним [бывали] случались приключенья! [Иногда он] Не знаешь, верить ли ему, или нет? Иногда такое скажет, что мы закричим: дедушка, ты это выдумал! — а он только посмеивается».

На этом запись обрывается; остальные страницы тетради остались пустыми.

Рассказ «Перепелка», как известно, написан был по просьбе С. А. Толстой, обратившейся к Тургеневу в январе 1881 г. от имени своего брата П. А. Берса, издававшего журнал «Детский отдых». Тургенев ответил ей письмом от 27 января 1881 г., в котором были такие строки: «С великим удовольствием готов написать что-либо для журнала Вашего брата — и постараюсь сделать это как можно скорее. Я, вероятно, воспользуюсь тем рассказом об умирающей перепелке, на который намекает граф [Лев Николаевич Толстой]». Осуществление этого обещания сильно замедлилось: написана «Перепелка» была уже 23 сентября (5 октября) 1882 г., но только месяц спустя Тургенев отправил основной текст в Ясную Поляну с письмом (Буживаль, 26 октября (7 ноября) 1882 г.): «Вот Вам, милый Лев Николаевич, тот небольшой рассказ, который я обещал графине для детского журнала, издаваемого ее братом. Если бы этот журнал уже прекратился, то Вы можете, буде рассказ окажется годным, отдать его в какой-нибудь другой детский журнал». Л. Н. Толстой распорядился иначе: «Перепелка» была напечатана вместе с его собственным рассказом «Чем люди живы» в сборнике, выпущенном П. А. Берсом и Л. Д. Оболенским, — «Рассказы для детей И. С. Тургенева и гр. Л. Н. Толстого» (М., 1883) с рисунками Васнецова, Репина, Маковского и Сурикова. Об этом готовящемся издании Тургенев был предупрежден своевременно и писал

Fasc. 3—4. P. 227—229) А. Мазон установил, что образу Абеля Прейсса — одного из персонажей этой повести — Тургенев собирался придать черты М. Шлезингера, известного парижского музыкального издателя, и что его же изобразил Флобер в «Сентиментальном воспитании» в лице Арну, мужа г-жи Фуко. Полный перечень всех книг и статей А. Мазона о Тургеневе можно найти в списке его печатных работ, опубликованном в сборнике «Mélanges A. Mazon», выпущенном к его 70-летию (Revue des études slaves. 1951. T. 27, P. 304—316).

Л. Н. Толстому: «Моей „Перепелке" Вы делаете слишком большую честь, снабжая ее рисунками таких художников, как Васнецов и Суриков. Она только тем и хороша, что послужила материалом для их таланта».[29]

Несмотря на все это, Тургенев, как видно из приведенных выше проекта титульного листа и записи, задумывал и другие «сказки и рассказы» в том же роде. В «Орловском вестнике» (1881. № 157. 6(18) сентября) сообщалось: «Говорят, И. С. Тургенев готовит к печати новое сочинение и „Сказки для детей"». Опубликованная выше запись не могла служить предисловием к «Перепелке», в которой рассказ ведется от первого лица («Мне было лет десять, когда со мною случилось то, что я вам сейчас расскажу...»), потому что в начальных строках дается портрет воображаемого рассказчика, не только охотника, но и бывалого человека, который должен был рассказывать детям «удивительные», неправдоподобные приключения. Очень возможно, что этот набросок связан с другим замыслом детского рассказа, который Тургенев обдумывал в то же самое время. Должен он был называться «Пустой Бочонок». Тургенев обещал написать его в подарок детям Я. П. и Ж. А. Полонских, проводивших лето 1882 г. в его доме в селе Спасском. Об этом рассказе несколько раз упоминается в письмах Тургенева к Полонским в августе — ноябре 1882 г., т. е. именно тогда, когда дописывалась «Перепелка» и о напечатании ее шла его переписка с Л. Н. Толстым.[30] Этим, может быть, и объясняется, что Тургенев задумал тогда целую серию «Сказок и рассказов для детей»; издавать их он предполагал отдельными выпусками, но замысел этот так и не осуществился из-за его тяжелой болезни.

А вот и другой, не менее характерный пример, подтверждающий необходимость дальнейшей экспертизы по подлинникам рукописей Тургенева, уже и ранее известных нам по описаниям или даже печатным текстам. Хорошо известно, с какой настойчивостью и заботливостью Тургенев в течение нескольких десятилетий пытался приблизить творчество Пушкина к пониманию французских читателей, с какой страстностью и восторгом рассказывал он о любимом поэте своим литературным друзьям, стараясь возможно лучше истолковать для них его прозаические произведения, поэмы, драмы. Между 1850—1880-ми гг. Тургенев (в сотрудничестве с Луи Виардо) издал в Париже «Капитанскую дочку», «Драмы», «Евгения Онегина» (1863) в полном прозаическом переводе. Переводы не-

---

[29] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 13. Кн. 2. С. 134.

[30] «Пустой Бочонок все еще не наполнился, хотя я и взялся за него», — писал Тургенев Ж. А. Полонской 13 августа 1882 г. и ей же 14 ноября того же года: «Пустому Бочонку придется еще откатиться на несколько недель после нового года. Будем надеяться, что он вместе со мною прикатится в Россию весною или летом, или к 1884, новому году» (см.: *Тургенев И. С.* Первое собр. писем. СПб., 1885. С. 462, 478, 481, 518; *Гревс Ив.* И. С. Тургенев в письмах к Полонским//Анатолий Федорович Кони, 1844—1924: Юбилейный сборник. Л., 1925. С. 136—161).

больших лирических произведений Пушкина Тургенев печатал также во французских журналах. Так, в 1877 г. в первом выпуске журнала «La République des Lettres» Тургенев поместил прозаические переводы нескольких стихотворений Пушкина: «Пророк», «Какая ночь» («Опричник»), «Бессонница», «Поэту». Именно об этих переводах Э. Золя рассказывал, что Тургенев принес рукописи их Г. Флоберу и что оба писателя совместно трудились над ними «несколько вечеров подряд». Рукописи этих переводов сохранились и находятся в Национальной библиотеке. Необходимо было проверить свидетельство Э. Золя и определить долю участия Г. Флобера в их литературной отделке. Рассказ Э. Золя полностью подтвердился; переводы, как это видно из рукописи, потребовали длительного и усиленного труда обоих великих писателей; поправки, сделанные рукою Флобера, недавно прочтены, а совместный их перевод послужил предметом тонкого сопоставительного анализа в специальной работе видного французского пушкиноведа Андре Меньё.[31]

Не подлежит сомнению, что изучение рукописей Тургенева в Национальной библиотеке в Париже — тщательное и систематическое — будет продолжаться еще долгое время. Фонд их слишком велик и разнообразен по содержанию, чтобы можно было рассчитывать на быстрое и окончательное решение всех тех вопросов, которые возникают при этом перед исследователями. Печатный их каталог, выпущенный в свет проф. А. Мазоном в 1930 г., потребовавший огромного труда по разбору, систематизации и определению четырех с лишним тысяч рукописных листов, еще долго будет оказывать существенную поддержку всем, кто их изучает; тем не менее этот каталог имел и сохранил значение прежде всего как предварительный свод, как первоначальный указатель, ориентирующий в массе рукописного материала, до того беспорядочного и плохо обозримого; поправки и уточнения к нему предвидимы и необходимы. Дальнейшее изучение многих десятков хранящихся в Национальной библиотеке рукописей Тургенева (в частности, ранних редакций его крупных произведений или замыслов, не получивших завершения), как и естественно предполагать, представит обособленные и не совпадающие друг с другом задачи, для которых потребуется многократное и долговременное обращение к подлинникам. Даже дешифровка наиболее трудно читаемых черновиков Тургенева и транскрибирование их в соответствии с общепринятыми текстологическими правилами требуют длительного, сосредоточенного и напряженного труда и, помимо того, целого ряда пособий (например, печатных текстов в журналах и изданиях разных лет), с трудом получаемых, а чаще и вовсе не находимых не только в Национальной библиотеке, но и в «русских книжных фондах» других

---

[31] *Meynieux André.* Trois stylistes, traducteurs de Pouchkine. Mérimée — Tourguénev — Flaubert. Essai de traduction comparée. Paris, 1962. В книге даны полная транскрипция и фотоснимки рукописи Тургенева. Об этой книге см. также заметку П. Р. Заборова «Новые тургеневские материалы» в журнале «Русская литература» (1962. № 4. С. 223—224).

библиотек Франции. Зачастую крайне необходимая сверка чернового рукописного текста того или иного произведения Тургенева, находящегося в Париже, с беловым рукописным текстом, хранящимся в каком-либо из советских книгохранилищ (или наоборот), практически осуществима только при условии постоянного и хорошо организованного всеми этими библиотеками взаимообмена фотоснимками или микрофильмами с принадлежащих им рукописей. Наконец, как это уже было отмечено выше, фотоснимки далеко не всегда заменяют подлинник. При необходимости определить дату рукописи, если она отсутствует, или в особенности представить себе хронологическую последовательность нескольких пластов ее разновременной правки автором, фотоснимки не оказывают никакой помощи исследователю, так как они не воспроизводят именно те признаки рукописи, на которые можно было бы опереться, имея в руках подлинник: особенности бумаги, цвет чернил и т. д.

Стоит, кстати, отметить, что именно в этом отношении рукописи Тургенева предоставляют исследователям весьма обильные данные, которыми в таком количестве редко обладают «неопалеографы», изучающие рукописания других русских писателей XIX в.[32]

Описывая парижские рукописи Тургенева как опытнейший филолог-палеограф, А. Мазон тщательно и методически отметил в изданном им каталоге формат бумаги каждого рукописного листка в миллиметрах, ее сорт и цвет и даже, когда это оказывалось возможным, ее происхождение.[33] «Обычно Тургенев писал на хорошей бумаге различного цвета и формата, тщательно подобранной для

---

[32] Употребляю этот неуклюжий терминологический неологизм за неимением лучшего (хотя он заключает в себе такую же этимологическую бессмыслицу, как и обиходное выражение «красные чернила») для обозначения той вспомогательной дисциплины, которая составляет и распределяет по историческим признакам свод практических сведений об особенностях письма, его материалах и технических средствах в применении к изучению рукописей XVIII—XIX вв. Для текстологического анализа и датировки рукописей эти сведения бывают крайне необходимы. «Палеография», давно уже превратившаяся во вспомогательную историческую науку, выработавшая свою методику и достигшая огромных результатов при изучении древних рукописей, делает еще первые робкие шаги применительно к рукописям сравнительно недавнего времени. С. А. Рейсер в интересной статье, представляющей первую попытку систематизации данных в этой области на русском материале по разделам: материал письма, орудия, способы записи, графика, — пользуется старым, привычным обозначением и утверждает: «Поскольку термин „палеография" применяется в настоящее время не в своем этимологическом значении, а в качестве определения вспомогательной исторической дисциплины об особенностях письма и его материале, кажется правильным применение его и по отношению к памятникам письменности нового времени» (Некоторые вопросы палеографии нового времени//Проблемы источниковедения, X. М., 1962. С. 393—437).

[33] Оказывается, например, что для тетради черновиков 1852—1855 гг. Тургенев воспользовался бумагой, купленной в «Papeterie de Luxe Houliez...»; черновики 1857—1863 гг. написаны им на бумаге, приобретенной в «Papeterie fine Maquet», черновики рукописей 1871—1879 гг. — на бумаге, продававшейся в Баден-Бадене у Арнольда, и т. д. (*Mazon A.* Manuscrits parisiens... P. 55, 57, 60, 88).

каждого произведения <...> — пишет А. Мазон в своей книге, в главе «Тургенев за работой», — прекрасно переплетенные тетради, часто с отметкой руки владельца, указывают дату покупки, название магазина и даже мнение о достоинстве бумаги».[34] Извлеченные им из рукописей Тургенева примеры подобных записей, делавшихся в самом начале работы в качестве «приступа» к ней, действительно очень показательны. Перед началом «Странной истории» мы находим такую помету: «Эта бумага мною взята у Фредро 17 февраля 1869 г. в Баден-Бадене»; на рукописи «Довольно»: «Эта книга куплена мною в Париже, перед отъездом в Баден в апреле 1863 г. <...> Бумага мягкая, перо по ней пишет хорошо». Однако, исписав почти два десятка страниц, Тургенев пришел к заключению, что слишком поторопился со своей оценкой: «Что это хорошая бумага? Нет» (л. 18). Сходные пометы сделаны на рукописях «Несчастной» («бумага хорошая»), «Нови» («бумага недурная»), «Речи о Шекспире» («перо пишет отлично, хотя бумага немного мягка») и многих других. На начальных страницах той тетради, в которой писалось «Дворянское гнездо», обозначено: «Бумага порядочная, перо доброе. Тургенев. Перо доброе», но для двенадцатой главы понадобилась уже новая тетрадь; взяв ее, Тургенев тут же отметил с досадой: «Перо хорошо, бумага дурная».

«Эта „проба пера" является для Тургенева как бы ритуалом, следы которого находим в большей части рукописей», — заключает А. Мазон, усматривая в этой привычке писателя своего рода приготовление к труду перед началом творческого акта. Но на все эти пометы можно взглянуть и с другой точки зрения — «палеографической»; в этом случае они могли бы служить прямым или косвенным аргументом в пользу датировки той или иной рукописи произведения, относящейся к неизвестному для нас времени, либо — если дата известна — всяческого другого рукописания, нанесенного на ту же бумагу за тем же рабочим столом (например, письма, деловой записки). Самые даты писем, которые Тургенев нередко проставлял с ошибкой, устанавливаются или проверяются экспертизой цвета и качества бумаги, на которых они написаны, наличием на ней монограмм (IT) нескольких типов, специально заказывавшихся им время от времени на бумаге особых сортов, и т. д. К сожалению, никакого методического единообразия в описании рукописей Тургенева, широко рассеянных по разным странам, до сих пор не соблюдалось, а характеристика их «вещественных» признаков давалась случайно, без учета их возможной пригодности для различных изысканий и сопоставлений. Поэтому ценные вспомогательные данные этого рода, обильно предоставляемые парижским собранием рукописей Тургенева, все еще остаются недостаточно использованными.

Задачи, которые я поставил себе во время пребывания в Париже, не могли ограничиться просмотром рукописного фонда Тургенева в Национальной библиотеке, по необходимости кратким, по-

---

[34] Ibid. P. 12—13.

верхностным и только предварительным.[35] Предстояло начать розыски других его рукописей, гораздо менее известных или неизвестных вовсе, вести эти розыски в направлениях, не определенных заранее, пытаясь напасть на их следы с помощью случайных печатных указаний и в особенности устных расспросов. Особое значение придавал я необходимости расширить наши сведения о письмах Тургенева, отыскать автографы уже опубликованных для сверки, попытаться найти еще неизвестные: последних, как можно предположить, найдется еще немало и в книгохранилищах, и в частных собраниях.

Заманчивой и сулящей всяческие неожиданности представлялась мне прежде всего перспектива личной встречи и беседы с представителями той семьи, в руках которой столько лет сосредоточено было рукописное наследие Тургенева. Благодаря истинно дружеской инициативе проф. А. Мазона и неизменной поддержке, которую он оказывал всем моим начинаниям, встреча эта состоялась. Однажды, к концу своего пребывания в Париже, я получил приглашение от г-жи Анри Больё посетить ее на ее парижской квартире. О г-же Больё — родной внучке П. Виардо, дочери Марианны Виардо-Дювернуа — уже упоминалось выше. В назначенный день я явился к ней с визитом. Г-жа Больё живет на Авеню Моцарта, в одном из тихих и живописных кварталов Парижа, где многие улицы носят имена прославленных музыкантов, а дома, скрытые за большими деревьями, растущими на затемненных тротуарах, сохранили все признаки давности своей постройки. Поместительная, красивая квартира, в которой г-жа Больё живет вместе с дочерью, m-lle Мишель Больё, научной сотрудницей Лувра, находится на первом этаже с выходом непосредственно из столовой в небольшой сад, окруженный высокой стеной, густо заросшей плющом. Все в этой квартире свидетельствует, что живущие в ней потомки великой фран-

[35] Администрация Национальной библиотеки в лице ее директора г. Жюльена Кэна, ученые хранители отдела рукописей во главе с г. Жаном Порше, главный библиотекарь Жан Брюно, заведующая славянскими книжными фондами г-жа Софи Лафитт и многие другие лица чрезвычайно облегчили мои занятия в библиотеке, сократив сроки, требующиеся для выполнения обычных формальностей и получения необходимых разрешений и пропусков, предоставляя мне полную возможность быстро получать те книги и рукописи, которые были нужны. Хранитель отдела рукописей О. Б. Туцевич, участвовавший в свое время в приведении в порядок рукописей Тургенева перед отдачей их в переплет, по моей просьбе любезно взял на себя труд пересчета общего количества их рукописных листов и выдал мне об этом официальную справку. Не могу не выразить здесь всем названным лицам мою живейшую благодарность. Особо признателен я за то, что с ведома и согласия неофициального «куратора» тургеневского архивного фонда проф. А. Мазона, а также благодаря его активной поддержке они своевременно передали фотолаборатории при библиотеке указанные мною материалы; еще до своего отъезда из Парижа я смог получить довольно большое количество превосходно исполненных фотоснимков с рукописей Тургенева. Эти снимки переданы ныне в рукописное отделение Пушкинского Дома, в особый фонд, в котором собираются микрофильмы и снимки с рукописей Тургенева, находящихся за рубежом. Фонд этот непрерывно пополняется, являясь одним из первоисточников для академического издания произведений и писем Тургенева.

цузской актрисы проникнуты артистическими традициями прошлого и свято чтут ее память.

Г-жа Анри Больё находится уже в преклонном возрасте (род. в 1882 г.). Она хорошо помнит свою бабушку, умершую в 1910 г., когда она сама была уже взрослой. Тургенева же помнит только по семейным преданиям, хотя он стоял у ее колыбели и был ее восприемником, но его не стало, когда ей исполнился только год. Любопытно, что о рождении маленькой Сюзанны говорится и в письмах Тургенева. Ж. А. Полонской он писал об этом 22 и 26 февраля 1882 г. «Здоровье Марианны и ее ребеночка в наилучшем виде — это великое счастье», — говорится во втором из них. Г-жа Больё долгие годы была известной в Париже преподавательницей музыки и только с недавнего времени живет на покое, став пенсионеркой из-за тяжелой болезни глаз. В ее памяти еще свежи семейные предания, и никто лучше ее не мог бы объяснить происхождение тех реликвий, которые ее окружают.

На стенах много портретов, и некоторые из них представляют для нас особый интерес. Большой портрет Полины Виардо кисти русского художника А. А. Харламова хорошо известен по описаниям и письмам Тургенева, но, насколько знаем, у нас никогда не воспроизводился. Это — тот самый портрет, который и заказан был по просьбе Тургенева, находившегося в самых приятельских отношениях с молодым художником. В середине 1870-х гг. А. А. Харламов был постоянным посетителем «четвергов» в салоне Виардо, участником литературно-артистических «утренников», устраивавшихся Тургеневым, а также лотерей, выставок и т. д., которые организовывались в Париже «Обществом для поощрения русских художников», где тот же Тургенев считался секретарем.

При взгляде на этот портрет невольно вспоминались те бурные похвалы, которые Тургенев щедро расточал автору в своих многочисленных письмах. «К вашему приезду в Париж, — писал он своему приятелю Л. Пичу, — будет уже готов портрет г-жи Виардо, написанный моим соотечественником Харламовым. Он обошелся всего в 3 тысячи франков. Тем не менее я решительно утверждаю: в настоящее время на всем земном шаре нет художника, который был бы способен создать что-либо подобное...». Вскоре он писал об этом также Я. П. Полонскому (письмо от 13(25) декабря 1874 г.): «Харламов написал удивительный портрет г-жи Виардо», — и М. А. Милютиной (письмо от 10(22) февраля 1875 г.): «Живописец Харламов, здесь проживающий, написал удивительные портреты г-на и г-жи Виардо».

Впечатления Тургенева от этой картины были настолько сильны и длительны, что он внушал их всем своим друзьям. Когда в 1875 г. оба портрета — Полины и Луи Виардо — экспонировались в парижском «Салоне», Э. Золя в своем третьем парижском письме, присланном в «Вестник Европы», дал о них отзыв, явно преувеличивая значение этого художника вообще, скорее всего, под воздействием неумеренных похвал Тургенева. Э. Золя писал здесь о Харламове: «Он выставил портреты Луи и Полины Виардо. Оба порт-

рета великолепны. Харламов, никому не известный месяц тому назад, теперь приветствуется как один из замечательнейших живописцев. Оба портрета несколько темны. Вот единственный упрек, который я им сделаю. Но зато какая правда! Мне больше нравится портрет m-me Виардо. Великая певица одета в черном, на плечах у нее накинута черная тюлевая косынка... Руки ее сложены на коленях. Все это очень просто, без лживой элегантности, скорее несколько жестко. Тело живое; поворот головы энергичный; словом — это дебют крупного таланта».[36] Портрета Луи Виардо в настоящее время в квартире г-жи Больё нет, и она не знает, в чьих руках он находится, но на другой стене, напротив портрета П. Виардо, висит другой (работы того же Харламова) — Марианны Виардо, еще девушки, писанный, очевидно, в те же годы, когда художник был близок к этой семье.[37] И это не единственные реликвии, которые мне пришлось увидеть у г-жи Больё во время оживленной беседы. Мне показали, например, чудесный рисунок — портрет Малибран — оригинал, с которого сделаны были известные литографии, портрет Гарсиа — отца Полины Виардо, принадлежавшие ей вещи. Наиболее интересным был для меня большой альбом, наполненный большей частью рисунками П. Виардо, бывшей также одаренной художницей. Альбом начат в 1847 г. Есть в нем несколько рисунков, сделанных пером и карандашом, воспроизводящих известные картины (например, Гойи) или пейзажи (романтический вид Интерлакена в Швейцарии); остальное — зарисовки, сделанные дома, в гостиной, перемежаемые веселыми карикатурами, возникшими во время беседы, или искусными портретами гостей и домашних. Здесь находятся, например, портреты Мануэля Гарсиа, Дезире Арто, г-жи Сичес, два или три портрета Луи Виардо — карандашом, Мюллера-Штрюбинга того времени, когда он жил у Виардо в качестве репетитора детей, несколько зарисовок Гуно, молодого Сен-Санса. Есть среди них и карандашные портреты Тургенева, из которых издан только один,[38] и три портрета его дочери Полины разных лет. Разговор наш многократно касался Тургенева, то возвращаясь к нему, то отвлекаясь от него благодаря новым страницам перелистываемого альбома...

---

[36] *Золя Э.* Парижские письма. Выставка картин в Париже//Вестник Европы. 1875. № 6. С. 895.

[37] Как известно, в 1875 г. А. А. Харламов написал также портрет И. С. Тургенева (ныне хранится в Русском музее); картина Харламова «Молодая цыганка» (1876) долго висела в парижском кабинете Тургенева и была продана вместе со всем его собранием в 1878 г. (см.: Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома. IV. И. С. Тургенев. М.; Л., 1958. С. 54—55, 219).

[38] Это тот самый портрет Тургенева («Карандашный рисунок Полины Виардо»), который приложен к русскому изданию книги А. Мазона «Парижские рукописи И. С. Тургенева» (М.; Л., 1931) с ошибочной и непонятной датой: «22 сент. 1879». Он воспроизведен из парижского издания той же книги, где под текстом подписи отмечено: «non daté». В подлиннике альбома, где он находится, действительно не стоит никакой даты, но по содержанию альбома и в соответствии с соседними рисунками он относится к концу 1850-х гг.

Вопрос, который я задал г-же Больё, коснулся, наконец, самого существенного, хотя и подготовлен был всей предшествующей, более чем часовой беседой: нет ли среди семейных реликвий и переписки также писем Тургенева? «О, вы спрашиваете меня о том, что не заслуживает вашего внимания», — тотчас же ответила мне г-жа Больё, и я почувствовал в ее голосе ту жесткость и непреклонность, которую трудно было ожидать после веселых и радостных интонаций, сопровождавших ее рассказы о житье-бытье семьи Виардо в те годы, когда заполнялся рисунками лежавший перед нами альбом. «У нас есть кое-какие письма Тургенева и к моей бабушке, и к моей матери, — продолжала г-жа Больё, — но это короткие деловые записки или письма, посвященные личным делам; они не заключают в себе ничего такого, что представляло бы общественный интерес, и никогда изданы не будут».

Грустно было услышать этот решительный ответ; бесполезно было излагать напрашивавшуюся просьбу — предоставить их для печати для полного собрания писем Тургенева, хотя я пытался сказать что-то в этом роде, ссылаясь на то, что всякая строчка великого писателя драгоценна для потомства, как Пушкин говорил по поводу Вольтера... Разговор о Тургеневе на этом пресекся и не возобновлялся более. Альбом был унесен в соседнюю комнату, может быть, в ту самую, где хранится заветная пачка автографических писем, которую мне так и не довелось увидеть... Впоследствии мне не один раз приходилось испытывать подобное же ощущение — огорчение, смешанное с досадой, когда удавалось прослышать о рукописях Тургенева, существующих, но пока недоступных, существовавших, но ныне потерянных, для достижения которых нужно преодолеть множество препятствий, действительных и мнимых, которые воздвигают интересующимся ими самые разнообразные поводы — семейные традиции, непредвиденные обстоятельства, господствующие страсти коллекционеров, равнодушие к историческим исследованиям, опасения доставить себе излишние беспокойства, корыстные планы и многое, многое другое.

Не могу не вспомнить в связи с этим горькое чувство, которое я испытал, узнав, что недавно г-жа Натали Биндер (урожд. Павловская) передала в Национальную библиотеку вместе с бумагами своего отца, И. Я. Павловского, связку писем к нему И. С. Тургенева, с тем, однако, непременным условием, чтобы они не читались и не публиковались ранее, чем через двадцать лет со времени поступления их в библиотеку; на этом основании и я не мог видеть эти письма, хранящиеся в запечатанном пакете. Трудно сказать, какими мотивами руководствовалась Н. Биндер, назначая столь длительный срок, в течение которого эти письма останутся недоступными биографам Тургенева. Едва ли в этих письмах конца 1870-х гг. есть что-либо такое, что могло бы нанести ущерб памяти обоих корреспондентов или упоминаемых ими людей, которых давно уже нет в живых. И. Я. Павловский (1853—1924) и его отношения к Тургеневу и без того хорошо известны историкам русской литературы. Тургенев принял в нем живое участие, когда Павловский

появился в Париже летом 1879 г. в русских эмигрантских кружках после бегства своего из Пинеги (Архангельской губернии), куда был выслан под надзор полиции. Тургенев содействовал появлению во французской печати очерков Павловского «В тюремной камере» и предпослал им свое предисловие, вызвавшее возмущенные отклики и наветы на него в русской реакционной печати. Однако после смерти Тургенева Павловский одним из первых нанес серьезный ущерб его памяти, напечатав сначала в «Русском курьере», а затем в Париже отдельной книгой свои «Воспоминания о Тургеневе» (1887), имевшие скандальный успех и вызвавшие полемику среди обиженных Павловским от имени русского писателя французских друзей Тургенева — А. Доде, Э. Гонкура;[39] в ту пору этот юный «нигилист», каким он, вероятно, представлялся Тургеневу, успел уже сильно поправеть и стал деятельным корреспондентом петербургского «Нового времени».

Решение Н. Биндер скрыть письма Тургенева тем более непонятно, что она сама незадолго перед тем опубликовала письма А. П. Чехова к И. Я. Павловскому из тех же отцовских бумаг.[40]

Недоступными для меня — и не для меня одного — оказались также те таинственные рукописи, которыми якобы доныне владеет Алиса Виардо (дочь Поля Виардо, следовательно, также внучка Полины Виардо). Впрочем, она окружила тайной и свое местожительство (в одном из маленьких городков в Провансе), и свои намерения; в течение нескольких лет в Париже распространялись слухи, что она готовит книгу о Тургеневе по семейным воспоминаниям, где

---

[39] В литературе о Тургеневе эта полемика освещена недостаточно; любопытно, что в самый ее разгар в ней принял участие молодой Анатоль Франс (см. его статью, подписанную A. F., «L'incident Daudet — Tourguéneff» в газете «Temps», 1888, 12 février); все ее фактические основания изложены в редком памфлете: Camille Blanc. Incident Daudet — Tourguéneff, tous documents réunis. Paris, 1888. С русской стороны любопытные соображения по этому поводу высказал Д. В. Григорович в письме к Л. Б. Бертенсону (Русская мысль, 1916. Кн. 6. С. 80—81). Сходные ощущения испытал Эдмон Гонкур, прочтя в «Liberté» отчет о «Воспоминаниях» И. Павловского; он был раздражен не менее, чем Доде: согласно свидетельству мемуариста, Тургенев о романе Э. Гонкура «Les frères Zemganno» отзывался как о «нелепой» (inepte) книге, а о «La Faustin» как о «галиматье». Записи дневника Гонкура (от 10 и 12 октября 1887 г.) дают представление о том, как им восприняты были эти суждения; с этих пор отношение Э. Гонкура к памяти Тургенева резко изменилось. (*Fosca François*. Edmond et Jules de Goncourt. Paris. 1941. P. 433; *Billy André*. Les frères Goncourt. La vie littéraire pendant la seconde moitié du XIX s. Paris, 1954. P. 357).

[40] Тридцать одно письмо А. П. Чехова к И. Я. Павловскому опубликовано в «Oxford Slavonic Papers» (Oxford, 1960. Vol. 9. P. 112—129) со вступительной заметкой Н. Биндер. Любопытно, что в одном из писем (от 13 октября 1896 г.) Чехов, знавший Павловского с юных лет еще по Таганрогу, убеждал его оказать посильное содействие устраивавшемуся при его близком участии «маленькому подобию музея» при Таганрогской городской библиотеке: «Не найдется ли у Вас чего-нибудь подходящего, с чем не жалко бы расстаться? Нет ли писем Тургенева, Золя, Доде? Нет ли фотографий с факсимиле? Нет ли рисунков и проч. и проч.» (с. 114). Н. Биндер утверждает (с. 111), что Павловский откликнулся на эту просьбу и послал просимое, но она ошибается: ни письма Тургенева, ни автографы французских писателей в Таганрог посланы не были.

будут опубликованы также принадлежащие ей документы и письма, но в последние годы слухи эти прекратились: книга Алисы Виардо не появилась, и ничто не свидетельствует о том, что она когда-либо увидит свет.[41]

Не удалось мне также напасть на следы писем Полины Тургеневой к отцу. Письма к ней самого Ивана Сергеевича в основном сохранились (за исключением 17) и в настоящее время находятся в Центральном государственном архиве литературы (327) и в Библиотеке им. В. И. Ленина (12). Ответные же письма дочери к И. С. Тургеневу до сих пор, к сожалению, неизвестны, кроме двух, хранящихся в Пушкинском Доме.

Горестная история жизни Полины (Пелагеи) Тургеневой (1842—1919) — внебрачной дочери его от Авдотьи Ермолаевны Ивановой — рассказана была неоднократно по тем данным, которые можно было собрать о ней из документов, мемуарной литературы, писем И. С. Тургенева ко многим лицам.[42] Правда, и в первой части ее биографии, до 1882 г., как она устанавливалась преимущественно по свидетельствам ее отца и близких к нему людей — П. В. Анненкова, А. А. Фета, Л. Н. Толстого и других, было немало темных мест, относившихся к наиболее драматическим переменам ее судьбы; но вторая половина ее жизни, после смерти Тургенева, которую она прожила в полной безвестности, оставалась таинственной долгое время. Неясными были даже сложные и противоречивые отношения к ней Тургенева. Он несомненно любил свою «Полинетту» и шел на многие жертвы ради нее с тех пор, как в 1850 г. из Спасского, где она жила на положении Золушки на барском дворе, отправил ее в семью П. Виардо. Потом Полинетта, или «Полина маленькая», как ее звали здесь в отличие от хозяйки дома, училась в пансионе, жила несколько лет вместе с отцом и гувернанткой-англичанкой на отдельной парижской квартире. В 1865 г. Тургенев выдал ее замуж за Гастона Брюэра, владельца стекольной и фарфоровой фабрики в Ружмоне, неподалеку от Клуа, ездил в гости к дочери и зятю, заботился о них. В 1872 г. у Брюэров родилась дочь — Жанна (Полина хотела дать ей имя «Иваны», в честь деда, но сельский кюре наотрез отказался дать ей это «нехристианское» имя и крестил под именем Жанны), через три года — сын Жорж-Альберт. Эти семейные события были, однако, омрачены быстро назревавшей катастрофой. После франко-прусской войны дела Гастона Брюэра сильно пошатнулись, и он был накануне разорения. В июне 1877 г. Тургенев писал своему брату: «Зять мой, муж моей доче-

---

[41] В розысках А. Виардо и принадлежавших ей бумаг — к сожалению, безрезультатных — существенную поддержку оказывала мне m-me Batault (младшая дочь Г. В. Плеханова, Евгения Георгиевна), лично ее знавшая. Пользуюсь случаем, чтобы высказать ей мою искреннюю благодарность за гостеприимство и за интересные беседы, обогатившие меня многими ценными фактами.

[42] *Гутьяр Н. М.* И. С. Тургенев и его дочь Полина Брюэр//Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев. 1907. С. 117—129. См. также: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 2. С. 692—693.

ри, до последнего сантима просадил приданое моей дочери, и, вероятно, в скором времени принужден будет объявить себя банкротом, так что дочь моя и все ее семейство очутится на моих руках и я должен буду заботиться об их пропитании». Как ни старался Тургенев предотвратить несчастье, продавая свои земли, имущество, картины для уплаты долгов зятя, опасения его сбылись. В начале 1882 г. он писал Ж. А. Полонской (22 февраля): «Моя дочь вместе со своими двумя детьми принуждена была убежать от своего мужа, я должен был ее здесь прятать» — и ей же (26 февраля): «...пошла возня с адвокатами, стряпчими и т. д. — Процесс может длиться год и слишком; она с детьми должна скрываться — все, что она имела, пропало безвозвратно — может быть, ей даже придется убежать навсегда из Франции. Точно колесо меня схватило и начинает втягивать в машину». В марте 1882 г. Полина Брюэр скрылась в Швейцарию и больше с отцом не виделась. Тургенев знал ее местожительство и изредка переписывался с ней. Как случилось, что он не вспомнил о ней в своем завещании? Действительно ли она не могла претендовать на долю в наследстве только потому, что была узаконена в правах дочери только во Франции, а в России, как «незаконная», не имела никаких прав наследования? [43]

После 1883 г. никто более не вспоминал о ней... Лишь в начале 1930-х гг. в Париже отыскалась Жанна Тургенева — ее дочь и внучка Ивана Сергеевича. Французско-русский литератор Е. П. Семенов [44] нашел к ней дорогу, и она показала ему семейные реликвии — более 300 писем Тургенева к ее матери и к ней самой, его бюст работы М. Антокольского, пианино, подаренное дедом, семейные фотографии. «Ведя скромную, трудовую жизнь, она свято берегла это дорогое для нас наследие, — писал Е. П. Семенов, — а издателям и переводчикам, просившим у нее письма Ивана Сергеевича для напечатания отдельным изданием, она отвечала решительно отказом, не желая выносить семейные дела на публичное торжище — особенно при жизни некоторых живых свидетелей этих семейных дел». Но «свидетели эти постепенно уходили из жизни... Оставался один глубокий интерес историка, литературный и биографический — этих писем к дочери и внучке, и Жанна Тургенева согласилась доверить мне эту переписку... для опубликования ее с комментариями сначала в оригинальном тексте (французском), а потом и по-русски». [45]

Е. Семенов начал публикацию этих писем в «Mercure de France», в 1933 г. они вышли отдельной книгой (где увидело свет только

---

[43] *Арзуманова М. А.* Завещание И. С. Тургенева//И. С. Тургенев. 1818—1883—1958. Орел, 1960. С. 267, 276.

[44] Евгений Семенов (псевдоним Семена Когана, 1858—1944), эмигрировал из России в 1882 г.

[45] *Семенов Е.* Отец и дед (новая скорбная глава из биографии Тургенева)//Иллюстрированная Россия. Париж, 1933. № 23 (421). С. 4. В этом же номере журнала помещена статья Саккара «У внучки Тургенева» (с. 14—15); обе статьи иллюстрированы фотоснимками (портреты Полины Брюэр, Жанны — у бюста Тургенева работы М. М. Антокольского и др.).

около половины всех писем),[46] но обещанная вторая часть, куда должны были войти письма Тургенева 1870-х гг., так и не появились. Жанна Брюэр-Тургенева умерла в 1952 г. Почти все подлинники писем к ней И. С. Тургенева сейчас, как сказано, находятся в Советском Союзе. Все они будут напечатаны в академическом издании писем Тургенева.

Рассказывая в своей книге печальную историю жизни дочери и внучки Тургеневых, Е. Семенов с крайним огорчением отмечал, что мы не располагаем ответными письмами Полины Тургеневой-Брюэр к Ивану Сергеевичу: «Что случилось с письмами Полины Тургеневой (и маленькой Жанны) к ее отцу? Эта тайна наследников г-жи Виардо».[47]

3

Настойчивые поиски мои продолжались с переменным успехом. Иногда они приводили к удачам, о которых стоит упомянуть. Во Франции существует немало архивов и книгохранилищ, не пользующихся широкой известностью, или таких, доступ в которые несколько затруднен. Счастливый случай и благоприятно сложившиеся обстоятельства доставили мне возможность побывать в некоторых из них.

Еще в конце прошлого века среди книголюбов и специалистов по французской литературной истории пользовался немалой популярностью Шарль Спельберк де Лованжуль (Vicomte Charles de Spoelberch de Lovenjoul, 1836—1907), страстный бельгийский коллекционер. С юных лет в родной Бельгии, во Франции и во многих других странах Европы он начал собирать письма, рукописи и различные документальные материалы, связанные с любимыми им писателями — Бальзаком, Теофилем Готье, Ж. Санд, Сент-Бевом. Ему удалось создать огромную автографическую коллекцию, в которой широко представлены рукописи не только этих писателей, но и многих их современников. Вся эта коллекция помещалась сначала в его доме на Boulevard du Régent в Брюсселе. Перед смертью Лованжуль завещал свое драгоценное собрание Франции; оно вскоре было перевезено в Париж и поступило в ведение Французского института (Institut de France). Для хранения обширной коллекции наконец найдено было и подходящее помещение — в Шантийи (Chantilly) — небольшом старинном городке в 40 км от Парижа, знаменитом своим замком, окруженным каналом, прудами и парками. В Шантийи удалось воссоздать знаменитую галерею брюссельского дома Лованжуля с серой деревянной обшивкой стен и шкафами, в которых он хранил собранные им книги и рукописи. Спельберк де Лованжуль и сам опубликовал многие из принадлежавших ему автографов и ценные книги архивно-библиографического характера по истории произведений Бальзака и Т. Готье; тем не менее

[46] *Séménoff E.* La vie douloureuse d'Ivan Tourguéneff. Avec les lettres inédites de Tourguéneff à sa fille. Paris, 1933.

[47] Ibid. P. 15, 25—26.

огромное количество собранных им рукописей оставалось необнародованным и неизвестным. Первым хранителем коллекции Лованжуля во Франции был опытный библиограф Жорж Викер: он составил рукописный ее каталог, законченный лишь в 1921 г., в год его смерти, и опубликованный (с дополнениями) лишь в 1960 г.[48] После него хранителем собрания в Шантийи был Марсель Бутрон, затем профессор «College de France» и член Французского института Жан Поммье. Ему «Библиотека Лованжуля» — как официально называется это учреждение в настоящее время — обязана многими улучшениями: при нем начата новая инвентаризация рукописей с занесением каждой из них на карточку; но создаваемая картотека еще не закончена; пока обработаны лишь фонды Бальзака, Жорж Санд и А. де Мюссе. Профессору Поммье обязан и я: именно благодаря его просвещенному содействию я был допущен к описаниям фондов, чтобы установить, нет ли среди рукописей также автографов Тургенева, и, когда они были обнаружены, получил тотчас же разрешение на изготовление с них фотоснимков, которые в конце концов и были пересланы в Ленинград.

Автографы Тургенева, здесь находящиеся, помог мне обнаружить напавший на их след молодой французский ученый-бальзаковед и архивист Андре Лоран (A. Lourant), сотрудник Национального центра научных исследований, работающий в Шантийи и отлично знающий все фонды этого хранилища, их историю и расположение. Рукописи Тургенева, как оказалось, не принадлежат к основной коллекции Лованжуля, но происходят из другого собрания (так называемый Fond m-me Franklin Grout), присоединенного к ней, по-видимому, довольно поздно, — чем, очевидно, и объясняется его относительно малая известность. Здесь оказались: 91 письмо Тургенева к Гюставу Флоберу (написанных между февралем 1863 г. и концом апреля 1880 г.), письмо Эмиля Золя к Тургеневу (1879) и несколько других, менее примечательных документов.[49] Впрочем, и в коллекции самого Лованжуля оказался беловой автограф предисловия Проспера Мериме к французскому изданию «Отцов и детей» с поправками рукой Тургенева и его запиской (шифр: 1098. B. 401).[50]

Значительная часть писем Тургенева к Г. Флоберу (71 письмо) уже была издана более шестидесяти лет тому назад И. Д. Гальпериным-Каминским (но неточно, с пропусками и в ряде случаев с неустановленными датами) по копиям, предоставленным ему той самой m-me Franklin Grout — родной племянницей Флобера, которую Тургенев знал еще под именем m-me Commanville. Именно ей Гальперин-Каминский и посвятил свое издание, в котором эти письма были напечатаны, в знак благодарности «за ее драгоценный

---

[48] *Vicaire Georges*. Chantilly, Bibliothèque Spoelberch de Lovenjoul. Paris, 1960 (Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France. T. LII). Книга эта вышла в свет уже после моего отъезда из Франции и была мне любезно прислана из Парижа.

[49] *Vicaire Georges*. Chantilly. P. 188—189.

[50] Ibid. P. 159.

вклад в эту книгу»[51] и за ту помощь, которую она оказала ему в разыскании многих других писем Тургенева к французским писателям. В заметке, предпосланной публикации писем к Флоберу, Гальперин-Каминский отметил также, что «г-жа Комманвиль — ныне г-жа Franklin Grout — благоговейно собрала и обнародовала всю переписку своего выдающегося дяди; благодаря ей мы можем теперь сделать известными все письма [toute la série des lettres] Тургенева к Флоберу и к ней самой».[52] Отсюда обычно заключали, что 71 письмо Тургенева к автору «Мадам Бовари», опубликованное Гальпериным-Каминским, исчерпало всю их коллекцию. Находка подлинников писем в Шантийи устанавливает, что г-жа Комманвиль предоставила ему не все из тех писем, которые были ею обнаружены в бумагах Флобера или адресованы русским писателем лично ей.[53] В 1937 г. А. Мазон (в сотрудничестве с М. Горлиным) опубликовал обнаруженные им в библиотеке Французской Академии (Bibliothéque de L'Institut) еще 24 письма Тургенева к Флоберу (с 19 ноября по 6 мая 1880 г.) — из числа тех, которые ныне находятся в Шантийи; однако эти новые письма увидели свет лишь в русском переводе, в оригинале же не издавались.[54]

Возможность опубликования всех этих писем (в академическом издании) в полном и неповрежденном виде представляется тем более заманчивой, что они принадлежат к числу наиболее значительных среди тех, которые Тургенев писал французским писателям. Г. Флобер был одним из наиболее близких ему друзей; их связывали многообразные литературные и житейские интересы. Тургенев был вполне искренен, когда писал г-же К. Комманвиль (15 (27) мая 1880 г.): «Смерть вашего дяди была для меня одной из самых великих скорбей, которые я испытал в жизни», — и на несколько дней раньше (11 (23) мая 1880 г.) Эмилю Золя: «Флобер был человеком, которого я любил более всех на свете». Стоит отметить, что ответные письма Флобера Тургеневу впервые изданы не так давно,[55] почти на полстолетия позже, чем тургеневские; мы имеет теперь, таким образом, всю переписку обоих писателей в полном виде и можем разобраться во всех подробностях их великой, «редкой», по словам Мопассана, дружбы.

4

Не менее плодотворными оказались мои занятия в другой библиотеке, на этот раз в самом Париже. На Рю де Севр, в одном из многолюдных кварталов, в центре довольно оживленной торговой

[51] *Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff, d'aprés sa correspondance avec ses amis français.

[52] Ibid. P. 43.

[53] В одной частной коллекции автографов в Париже мне пришлось видеть письмо Тургенева г-же Комманвиль из Буживаля с датой: среда, 19 августа 1873 г. (на конверте штемпель: «15 (17) Bougival»).

[54] Литературное наследство. М., 1937. Т. 31—32. С. 676—694.

[55] *Flaubert Gustave.* Lettres inédites à Tourguéneff/Présentation et notes par Gérard Gailly; Ed. Rocher. Monaco, 1946. Здесь воспроизведены 136 писем Флобера, из них 127 до тех пор не издавались.

деятельности, посреди множества магазинов с яркими завлекательными витринами, находится малозаметная, как бы сжатая со всех сторон наступившими на нее высокими домами, небольшая церковь, состоявшая в ведении ордена иезуитов. Из полутемного дворика, который с нею соседствует, ведут лестницы в жилые помещения. Перед входной дверью на одну из лестниц висит маленькая табличка: «Славянская библиотека» («Bibliothéque Slave»). Именно в эту библиотеку мне хотелось найти доступ. По слухам, при ней находится довольно обширный архив, в котором, как можно было надеяться, найдется что-либо новое и неизвестное об И. С. Тургеневе.

«Славянская библиотека» имеет любопытную и мало кому известную историю. Она была основана кн. Иваном Сергеевичем Гагариным (1814—1882), человеком весьма примечательным и своеобразным, имя которого в той или иной связи можно встретить в биографиях многих выдающихся русских писателей XIX в. — от Пушкина и до Н. С. Лескова.

Происходя из родовитой дворянской семьи, И. С. Гагарин начал свою деятельпость на дипломатическом поприще. В 1831—1832 гг. он служил в Московском архиве Министерства иностранных дел, следующие годы (1833—1835) — в русских заграничных миссиях, сначала в Вене, потом в Мюнхене; здесь он свел близкое знакомство с Ф. Шеллингом и Ф. И. Тютчевым. Именно И. С. Гагарин, вернувшись в конце 1835 г. в Петербург, привез с собою тетрадку стихотворений Тютчева и показал их Пушкину, который и напечатал их в своем «Современнике». «Пушкин ценит ваши стихи как должно и отзывался мне о них весьма сочувственно. Я отменно рад, что могу передать вам эти известия», — писал Гагарин Ф. И. Тютчеву в это время. В Петербурге он пробыл, причисленный к Министерству иностранных дел, до апреля 1838 г. Молва называла тогда Гагарина в числе лиц, разославших Пушкину пасквили, ускорившие его гибель, но эти обвинения были несправедливы, что неопровержимо доказано новейшими биографами поэта; тем не менее слухи об участии Гагарина в распространении пасквилей получили значительное распространение, и это обвинение тяготело над ним в течение нескольких десятилетий. «Оправдание» Гагарина напечатал Герцен в «Колоколе»; оно появилось также в 1865 г. в «Биржевых ведомостях» и «Русском архиве». Гагарин писал здесь: «В то время, как случилась вся эта история, кончившаяся смертью Пушкина, я был в Петербурге и жил в кругу, к которому принадлежали и Пушкин и Дантес, и я с ними почти ежедневно имел случай видеться. С Пушкиным я был в хороших отношениях...».[56] Большое влияние оказал на Гагарина П. Я. Чаадаев; сближение с автором «Философических писем» в значительной мере определило

[56] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 гг.//Вступ. статья и прим. М. Цявловского. М., 1925, с. 104—105; *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина: Исследования и материалы. Пгр., 1916. С. 340—350 («Князья И. С. Гагарин и П. Д. Долгоруков в деле Пушкина»).

драматизм его последующей жизненной судьбы. В конце 1830-х гг. Гагарин примкнул к оппозиционному «кружку шестнадцати», к которому принадлежал также и Лермонтов,[57] являясь противником крепостного права и весьма критически относясь к николаевскому режиму.

В 1838 г. Гагарин был назначен на должность секретаря русского посольства в Париже и уехал во Францию, где и остался до конца жизни. В 1842 г. он принял католичество, обращенный приятелем его по «кружку шестнадцати» гр. Ксаверием Браницким, а в следующем — принял обет в ордене иезуитов.

Неожиданная развязка дипломатической карьеры Гагарина вызвала шумные толки в Петербурге и Москве. Яркие страницы, посвященные этим событиям, сохранил нам дневник А. И. Герцена. Под 8 января 1843 г. мы находим в его дневнике рассуждение о католицизме на Западе и сожаление о той «откровенности, с которой бросаются в эти мертвые путы». «Таков князь Гагарин, он считает Чаадаева отсталым», — замечает Герцен и продолжает: «Понять можно, — аристократ, вероятно, не получивший серьезного образования, ни сильного таланта, — между тем ум и горячее сердце, бог привел взглянуть на Францию, на Европу. Дома-то черно, страшно. Путь человечества неизвестен. Основные краеугольные начала современного взгляда, автономия разума, история — terra incognita. А тут случайная встреча с иезуитом, с безумным католиком; перед непривычным взглядом развертывается в первый раз учение, мощно развитое из своих начал (которое вперед втесняет своим авторитетом), — и удивленный человек предается вымершему принципу».[58] Под 2 ноября 1844 г. Герцен вновь записал в свой дневник: «Гагарин-католик сделался иезуитом, он хочет натурализоваться во Франции и потом, сделавшись священником, возвратиться в Россию». Нелепость и невозможность этих, по-видимому, чистосердечных намерений и заблуждений вызвали не столько резкое осуждение Герцена, сколько весьма противоречивые мысли его по этому поводу. «Всякое убеждение, заставляющее человека пренебречь всем временным, особенно русского, почтенно не само в себе, а в человеке», — записывает Герцен. Но «за что идет он, понукается на мученичество — из-за идеи мертвой, погибшей? Русский, развивающийся до всеобщих интересов, готов схватиться за всякий вздор, чтоб заглушить только страшную пустоту». Неделю спустя Герцен горячо спорил о Гагарине с А. С. Хомяковым: «Да как же он отказался от отечества?» — восклицал Хомяков. «Не от отечества, а для своего спасения от каторги принял он вид француза», — отвечал ему Герцен. Этого Хомяков «понять не мог».[59] В неоконченной повести «Долг прежде всего» (1847—1851) Герцен вывел

---

[57] Самарин — Гагарину//Новое слово. 1894. Кн. 2. С. 44—47; *Герштейн Эмма.* Лермонтов и «кружок шестнадцати»//Литературный критик. 1940. № 8—10. С. 222—249. См. также: Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сборник 1. Исследования и материалы. М., 1941. С. 77—124.

[58] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В. 30 т. М., 1954. Т. 2. С 257—258.

[59] Там же. С. 387—390.

молодого, богатого дворянина Анатолия Столыгина, испытывающего именно такую «пустоту», который должен был погибнуть бесцельно и безвестно на далекой чужбине, после того как был обращен в католичество польским иезуитом; едва ли подлежит сомнению, что в образе А. Столыгина многие черты личности и биографии И. С. Гагарина отразились гораздо сильнее и ярче, чем история жизненной судьбы В. С. Печерина, как это обычно утверждается.[60]

В 1870-х гг. в Париже с Гагариным познакомился Н. С. Лесков, впоследствии напечатавший об этом целый рассказ; здесь представлена цельная и тонкая характеристика Гагарина в последние годы его жизни. «Он не был человек хитрый и совсем не отвечал общепринятому вульгарному представлению об иезуитах, — пишет Лесков. — В Гагарине до конца его жизни неизгладимо сохранялось много русского простодушия и барственности, соединенного с той острой и „кадетской" легкомысленностью, которую часто можно замечать во многих русских великосветских людях, не расстающихся с нею даже на значительных высотах занимаемого ими ответственного положения. И. С. Гагарин был положительно добр, очень восприимчив и чувствителен... Но он не был ни хитрец, ни человек скрытный и выдержанный, что можно было заключить по тому, как относились к нему некоторые из лиц его братства, в котором он, по чьему-то удачному выражению, не состоял иезуитом, а при них содержался».[61] Гагарин не был затворником, любил встречи с соотечественниками, интересовался литературой и искусством. Он много писал и печатал не только по религиозным вопросам, но и по истории России.

В 1862 г. он выпустил в свет «Избранные сочинения» П. Чаадаева по рукописям, которые ему принадлежали (Oeuvres choisies de Pierre Tchadaieff, publ. pour la premiére fois <...> Paris — Leipzig), издавал «Кирилло-Мефодиевские сборники» на русском языке, трудился над изучением русского сектантства и т. д. Он обладал замечательной библиотекой русских книг, постоянно пополнявшейся из России, в особенности благодаря Ю. Ф. Самарину.

В середине 1850-х гг. Гагарин добился разрешения ордена на образование в Париже особой библиотеки, в которой предполагалось собрать печатные источники «по истории славян и главным образом России». Основу ее составили книги самого Гагарина, и она быстро увеличилась благодаря усилиям двух других его собратьев и соотечественников, Е. Балабина и особенно Ив. Мартынова, историка и филолога, находившегося в оживленной перепис-

---

[60] Там же. Т. 6. С. 525; догадку о том, что И. С. Гагарин является возможным прототипом героя повести Герцена, высказал уже Н. П. Анциферов, публикуя письма Гагарина к Герцену (Литературное наследство. 1955. Т. 62. Ч. 2. С. 61—63).

[61] *Лесков Н.* Иезуит Гагарин в деле Пушкина//Исторический вестник. 1886. Т. 25. С. 269—273.

ке с русскими учеными — Ф. Буслаевым, Я. Гротом, А. Афанасьевым.[62]

Это и есть та самая библиотека, которая существует до сих пор под именем «Bibliothèque Slave» в том самом помещении бывшего иезуитского коллегиума, где она была основана более ста лет тому назад. Судьба «Славянской библиотеки» за этот период была, однако, полна превратностей, чем, может быть, и объясняется ее относительно малая известность. Ее перевозили с места на место, несколько раз закрывали. В конце 1860-х гг. она, например, ютилась в Версале, потом возвращена была в Париж, в 1880 г. по закону о ликвидации иезуитских учреждений она подлежала закрытию и сохранялась некоторое время парижским «Библиографическим обществом», потом открыта была вновь, пока новый закон 1901 г. о конгрегациях снова едва не прекратил ее существование; книги «Славянской библиотеки» нашли себе тогда приют у братьев-болландистов в Брюсселе. Только в начале 1920-х гг. нашего века она вновь возвратилась из Бельгии в Париж.[63]

После смерти Гагарина к ней присоединен был весь обширный, оставшийся после него архив. После того сменилось несколько поколений ее хранителей; среди них некоторые (например, П. Пирлинг, много писавший по вопросам русской истории в течение почти 45 лет) весьма заботились о пополнении библиотеки русскими книгами. Ныне, однако, ее рост остановился, чему препятствует, конечно, не только стесненность помещения. Тем не менее для французских историков-славистов ее фонды, заключающие в себе свыше двадцати тысяч томов, исключительно драгоценны. Только здесь можно найти полные комплекты «Актов» Археографической комиссии, собрания русских летописей, «Русского архива» и т. д. Все прочие парижские библиотеки значительно беднее всеми этими старыми источниками. И все же «Славянская библиотека» почти пуста. Официально она открыта несколько дней в неделю, в положенные недолгие часы, но при отсутствии посетителей она бывает закрыта и в это время.

Мне удалось получить доступ в это интересное книгохранилище. В настоящее время «Славянская библиотека» находится в ведении аббата Руэ де Журнеля (R. P. M. J. Rouet de Journel, S. J.), историка России, со своей специфической точки зрения, но добросовестно и со знанием материала изучающего идейные движения древней Руси[64] по печатным первоисточникам, в изобилии представлен-

---

[62] Ив. Мартынов был автором первого известного и доныне не потерявшего своего значения описания славянских рукописей национальной библиотеки (в то время именовавшейся еще «Императорской»): «Les Manuscrits slaves de la Bibliothèque Impériale de Paris» (Paris, 1858).

[63] *Полонский Як.* Книгохранилище русских иезуитов//Временник Общества друзей русской книги. Вып. 2. Париж, 1928. С. 65—72.

[64] Некоторые из его работ опубликованы в «Revue des études slaves» за последние годы; ранее он издал «Un collège des jésuites à Petersbourg» (Paris, 1922), очерк «M-me Swétchine et les conversions russes» (Paris, 1927), где неоднократно идет речь также об И. С. Гагарине, приходившемся С. П. Свечиной (урожд. Соймоновой) родным племянником.

ным в этой библиотеке; при ней состоят еще два сменных библиотекаря, работающих в ней не каждый день и короткое время.

Аббат Руэ де Журнель подробно и не торопясь показал мне библиотеку и все ее редкости (здесь хранятся, например, редчайшие издания XVII в. о Лжедимитрии), но меня больше всего влекли к себе ее рукописи. Необходимо отметить, что их очень много и что среди них несомненно имеется множество примечательных документов исторического и литературного характера. Так, например, хотя большая часть рукописей Ф. И. Тютчева была И. С. Гагариным возвращена наследникам поэта еще в 1875 г.,[65] но в библиотеке находятся еще и его письма и автографы поэтических набросков, не замеченные ранее, как об этом свидетельствуют недавние находки Леона Робеля.[66] То же можно сказать относительно рукописей П. Я. Чаадаева, из которых время от времени извлекались ценные фрагменты, неопубликованные письма[67] и т. д.; полное научное описание их не составлено; не существует также описания бумаг самого И. С. Гагарина, между тем среди них находятся письма Жуковского, И. Киреевского, С. Шевырева, А. Майкова, Герцена и многих других, из которых только некоторые увидели свет в редких и мало известных у нас изданиях.[68]

Большой эпистолярный архив Гагарина хранится в твердых картонных коробках небольшого формата, стоящих у окна на низком простом деревянном стеллаже: письма, адресованные Гагарину, заключены в эти папки без всякого хронологического порядка, по алфавиту корреспондентов. Никакого инвентарного перечня их не существует; поэтому и пользование ими весьма затруднено. «Нет ли среди них писем Тургенева?» — спросил я. «Есть много писем разных Тургеневых, — отвечал мне хранитель. — Смотрите коробку на букву Т.».

---

[65] *Пигарев К.* Судьба литературного наследства Тютчева//Литературное наследство. 1935. Т. 19—21. С. 408—409, 413; *Тютчев Ф. И.* Стихотворения. Письма. М., 1957. С. 493; Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1928. Т. 1, Вып. 2. С. 525—526.

[66] *Robel L.* Tjutchev et la nausée. Histoire et philosophie d'un quatrin// Cahiers du monde russe et soviétique. 1961. Vol. 2. № 3. P. 386—394. Знакомству с рукописными фондами «Славянской библиотеки» и их расположением я также обязан любезности автора этой статьи, работавшего здесь над своей диссертацией о Тютчеве. Не могу не выразить живейшей признательности Л. Робелю и за многие полезные советы во время совместного посещения нами этой библиотеки.

[67] Краткое описание бумаг П. Чаадаева, хранящихся в «Славянской библиотеке», дано в приложении к книге: *Quenet Ch.* Tchaadaev et les lettres philosophiques. Contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie. Paris, 1931. P. IX. Письмо Чаадаева к Гагарину (1840) опубликовано Я. Полонским в указанном выше «Временнике Общества друзей русской книги» (вып. 9. С. 71—72).

[68] Два письма Герцена к Гагарину опубликовал Я. Полонский в статье «Архив кн. Гагарина в Париже» (Последние новости. 1929. 14 ноября); он же опубликовал письмо С. П. Шевырева (Из литературного архива//Там же. 1931. 21 мая); неизданными до сих пор остаются письма М. И. Жихарева, А. Бахметевой (письмо ее от 4 ноября 1874 г. о Тютчеве в отрывках приведено в кн.: *Stremooukhoff D.* La poésie et l'idéologie de Tioutchev. Paris; Strasbourg, 1937. P. 15, 16, 18, 73, 169).

Действительно, в коробке № VI, на корешке которой написано: «Tourguéniev Nicolas etc. — Nathalie Narychkine» оказалось несколько сот писем 1850—1860-х гг., адресованных Гагарину весьма многочисленными лицами, носившими фамилию Тургеневых. Только с этими письмами, большая часть которых писана по-французски, мне и удалось ознакомиться подробно.

С братьями А. И. и Н. И. Тургеневыми И. С. Гагарина связывали долголетние дружеские отношения. А. И. Тургенев был, вероятно, одним из первых соотечественников, навестивших Гагарина в «Ахеоланской обители [l'acheul]» вскоре после его «обращения»; если он и не оправдывал его поступок, то и не бросил в него камень. «Мы долго с ним разговаривали про былое время, — вспоминал Гагарин в своем «Оправдании», — он мне тут впервые признался, что имел на меня подозрение в деле этих писем [пасквилей на Пушкина], и рассказывал, как это подозрение рассеялось». В дневниках и переписке А. И. Тургенева конца 1830-х — начала 1840-х гг. встречается много упоминаний Гагарина, свидетельствующих, что в Париже они виделись довольно часто. В последующие годы Гагарин очень сблизился с изгнанником — «декабристом» Н. И. Тургеневым и его семьей. В бумагах Н. И. Тургенева, хранящихся в Пушкинском Доме, можно найти немало тому подтверждений. П. Пирлинг в биографии И. С. Гагарина также пишет об этом: «И. С. пережил почти всех своих лучших друзей. Особенно его огорчила кончина Н. И. Тургенева, в семействе которого он был желанным гостем».[69] Лучше всего все эти старинные приятельские связи демонстрируются в упомянутой выше объемистой пачке писем Гагарину, находящихся в «Славянской библиотеке». Здесь есть и письма А. И. Тургенева начала 1840-х гг., но в особенности много писем Н. И. Тургенева и всех членов его семьи: жены — Клары Тургеневой (1814—1891), дочери его, Фанни-Александры (1835—1890); нередко здесь идет речь также о его сыновьях Альберте (1843—1892) и Петре (1853—1912). Все эти письма не изданы. Только письма самого Николая Ивановича зачастую написаны по-русски, все остальные — французские. Именно в этой папке мне и удалось найти несколько новых данных об И. С. Тургеневе.

С семьей Н. И. Тургенева Иван Сергеевич был связан долгие годы; он нередко навещал его и на парижской квартире, на Рю де Лилль; в особенности часто виделись они тогда, когда жили неподалеку друг от друга: вилла Николая Ивановича «Вербуа» (Vert Bois), или «Зеленая роща», как ее называл сам хозяин, находилась возле Буживаля. Опубликовано около ста писем И. С. Тургенева к этой семье, среди них 11 писем к самому Николаю Ивановичу (с 1858 по 1867 г.), 39 — к Кларе Тургеневой (с 1859 по 1882 г.), 17 — к Фанни Тургеневой (с 1862 по 1882 г.) и т. д.[70] «Вчера я обедал у милого Николая Тургенева, — писал Иван Сер-

---

[69] Русский биографический словарь. Гаага; Гербель. М., 1914. С. 73.

[70] *Фомин А. А.* Письма И. С. Тургенева к декабристу Н. И. Тургеневу и его семье с 1858 по 1883 г.//Тургенев и его время: Сб. 1. С. 203—288.

геевич П. Виардо, — у него в доме мною гордятся, мои слова принимаются как изречения евангелия; меня это озадачивает и смущает. Что же! они думают, что я прославляю их имя, наше имя, — оставим им эту мечту...».[71]

Когда Н. И. Тургенев умер (29 октября (10 ноября) 1871 г.), Иван Сергеевич написал о нем некролог для «Вестника Европы», напечатанный в двенадцатой книжке журнала за этот год и открывавшийся словами, в которых покойный был назван «одним из замечательных — и прибавим смело, как бы отвечая перед нелицемерным судом потомства, — одним из благороднейших русских людей». История замысла и написания этого некролога освещена в переписке Тургенева с М. М. Стасюлевичем.[72] Некролог писался в Париже между 22(10) и 29(17) ноября, в начале этой недели сыновья Николая Ивановича — Альберт и Петр — привезли Ивану Сергеевичу «некоторые документы», но работа над некрологом все же, очевидно, не ладилась;[73] в письме к Флоберу, не имеющем точной даты, но несомненно написанном 28(16) ноября,[74] Тургенев просил перенести на один день назначенное свидание по той причине, что ему необходимо съездить в Буживаль с некрологом своему «дяде» и ознакомить с ним семью покойного, получить на месте кое-какие справки. М. К. Клеман определил точные даты поездки Тургенева из Парижа в Вербуа, а вместе с тем и письма́ Тургенева Флоберу, исходя прежде всего из даты, стоящей под некрологом, напечатанным в «Вестнике Европы»: «Париж, 17(29) ноября»; в этот день состоялась поездка в Вербуа, а письмо к Флоберу написано накануне.[75] Эти даты вполне подтверждаются неопубликованным письмом Фанни Тургеневой к И. С. Гагарину из Вербуа от 30 ноября 1871 г., в котором есть следующие строки:

«Ivan Tourguéneff a passé la journée d'hier avec nous, ici; il nous a lu l'article qu'il envoie ce matin à M-r Stassoulevitch. A mesure qu'il le lisait, Albert le traduisait, en partie, pour Maman, et nous en avons été contents. Si vous n'avez pas l'occasion de voir le Messager de l'Europe, je vous l'enverrai aussitôt qu'il nous parviendra».[76]

---

[71] Русская мысль, 1912. № 1. С. 115. В рукописном отделе Института русской литературы хранится неопубликованный дневник Фанни Тургеневой, в котором И. С. Тургенев упоминается неоднократно; публикация выдержек из этого дневника представляется весьма желательной. (Такая публикация была осуществлена в 1967 г. М. П. Султан-Шах (см.: Литературное наследство. Т. 76. С. 359—414). — *Ред.*).

[72] М. М. Стасюлевич и его современники. Т. 3. С. 15—16.

[73] Беловой текст некролога (наборная рукопись) находится в рукописном отделе Института русской литературы (ф. 93, оп. 3, № 1266); черновик мне пришлось видеть в Национальной библиотеке. Именно эта рукопись, очень отличающаяся от окончательного текста и весьма трудно читаемая, и создает впечатление о затруднениях, которые И. С. Тургенев испытал при работе над ней.

[74] *Halpérine-Kaminsky E.* Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis francais. P. 62—63; письмо помечено «ноябрем 1871»; под текстом его стоит: «вторник 11 1/2 [часов утра]».

[75] *Клеман М. К.* Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. М.; Л., 1934. С. 204.

[76] Перевод: «Иван Тургенев провел с нами здесь (в Вербуа) вчерашний день; он читал нам статью, которую он отправляет сегодня утром г. Стасю-

Просматривая папку далее, я натолкнулся на записку к И. С. Гагарину от Клары Тургеневой без даты, но с обозначением: «суббота, утро». Вот эта записка:

«9/7, Rue de Lille
Ce Samedi matin.

Voici, mon cher Révérend Père, le billet que Fanni recoit à l'instant de I. Tourguéneff. Elle lui a écrit hier soir pour s'assurer si vos compatriotes trouveraient à se caser. Pierre a un billet et ne compte pas profiter et si vous étiez le moins du monde désireux d'entendre la lecture des «Reliques vivantes» il serait très heureux de vous offrir sa place. Dans ce cas passez Rue de Lille où vous trouverez à votre disposition — et les compliments de

Clara Tourguéneff». [77]

Повод, вызвавший эту записку, проясняется подлинным письмом И. С. Тургенева, действительно к ней приложенным:

«Chère Mademoiselle Fanny,

Tous les billets sont vendus. Nous avons peur de ne pas pouvoir caser tout le monde et rien ne se vendra à la porte. Je vous envoie un programme — vous verrez qu'on y a fait des changements à la suite de la répétition d'hier — pour ne pas trop donner dans la note triste.

Le «Стучит!» a été traduit dans le «Temps» sous le titre: «Ca fait du bruit» — De l'indulgence! (pour nous) — et mille amitiés, — pour vous.

Iv. Tourguéneff

50, Rue de Douai

Samedi». [78]

левичу. По мере того как он читал, Альберт переводил отрывки, для мамы, и мы были очень довольны. Если вы не имели случая видеть „Вестник Европы", я вам пришлю его, как только он дойдет до нас».

[77] Перевод: «Вот, мой дорогой достопочтенный отец, билет, который Фанни только что получила от И. Тургенева. Она писала ему вчера вечером, чтобы удостовериться, смогут ли разместиться там ваши соотечественники. Пьер имеет билет и не рассчитывает им воспользоваться; поэтому если по крайней мере вы сами находитесь среди тех, кто желал бы послушать „Живые мощи", он был бы очень рад предоставить вам свое место. В последнем случае приходите на Рю де Лилль, где вы найдете билет в вашем распоряжении — и привет от

Клары Тургеневой».

[78] Перевод:

«Дорогая Фанни,

Все билеты проданы. Мы боимся, что не сможем разместить всех желающих, а при входе никакие билеты продаваться не будут. Посылаю вам программу. Вы увидите, что в результате вчерашней репетиции в нее внесли изменения — чтобы не впадать в слишком грустный тон.

Рассказ „Стучит!" помещен в переводе в „Temps" под заглавием „Ca fait du bruit". — Снисходительности! (к нам) и приветы — вам

Ив. Тургенев

50, Рю де Дуэ
Суббота».

Хотя письмо Тургенева, написанное в тот же субботний день, что и приведенная выше записка, не имеет ни числа, ни года, они могут быть определены: 13 мая 1875 г. Речь идет в обоих письмах о втором литературно-музыкальном утре в пользу русской читальни, которое должно было состояться и состоялось в действительности на следующий день, в воскресенье 14 мая 1875 г., при участии Полины Виардо, ее сына Поля, скрипача, А. Ф. Писемского и Тургенева. О планах устройства этого второго утра, после успеха первого (состоявшегося 15(27) февраля 1875 г.),[79] Тургенев писал А. В. Топорову еще в апреле того же года: «Так как теперь в Париже находятся Писемский и Рубинштейн, то весьма вероятно, что мы опять рискнем составить литературно-музыкальное утро. Первое нам очень удалось».[80] Программа этого второго утра, по-видимому, не сохранилась; в бумагах Гагарина она во всяком случае отсутствует; тем интереснее данные, которые можно извлечь из публикуемых писем.

Тургенев первоначально предполагал прочесть свой рассказ «Стучит!», оконченный летом 1874 г. и впервые напечатанный осенью того же года в первом томе его «Сочинений» в издании братьев Салаевых; отказался же он от этого намерения по двум причинам: отчасти потому, что вся программа утра, как это выяснилось на репетиции 12 мая, составлена была в слишком минорных тонах; отчасти же потому, что именно этот рассказ незадолго перед тем появился в переводе в распространенной парижской газете и ни для кого из посетивших литературно-музыкальное утро, устроенное Тургеневым, не мог бы уже представить интерес новизны.[81] Вместо «Стучит!» Тургенев читал «Живые мощи» (этот рассказ, написанный в январе 1874 г., также был уже напечатан в петербургском сборнике «Складчина», но в Париже его еще не знали); Клара и Фанни Тургеневы и хлопотали о том, чтобы И. С. Гагарин мог выслушать «Живые мощи» (вскоре столь прославленные именно во Франции) в артистическом исполнении самого автора.

В письмах Тургеневых к Гагарину более поздних лет есть еще несколько упоминаний об Иване Сергеевиче; это — новости об его отъездах и приездах, об его делах или суждениях, предложения и уговоры о ближайших с ним встречах, дающие кое-какие дополнительные даты для хронологической канвы его жизни и вместе с тем характеристические черточки для понимания отношений к нему этой семьи. В парижском доме Тургеневых и на вилле в Вербуа его любили, им интересовались и восхищались, в особенности молодежь во главе с Фанни; отношение к нему ее матери, Клары Тургеневой, было менее восторженным, но все же неизменно сочувственным;

---

[79] Вестник Европы. 1914. № 3. С. 228.

[80] Литературный архив. Кн. 4. М.; Л., 1953. С. 219.

[81] Добавим к этому, что рассказ «Стучит!» появился в России в обратном переводе с французского перевода, напечатанного в «Temps», и что Тургенев в письме к Стасюлевичу от 31 января (12 февраля) 1875 г. уполномочивал его заявить протест против этой контрафакции (М. М. Стасюлевич и его современники.' Т. 3. С. 49—50).

проскальзывавшие порой в ее эпистолярных отзывах об Иване Сергеевиче едва уловимые иронические интонации тут же уравновешивались почтительным признанием его превосходства и заслуженной славы. Так, например, в письме к Гагарину от 5 октября 1880 г. Клара Тургенева рассказывает о впечатлении, какое произвел на нее Иван Сергеевич, недавно вернувшийся из России, где он провел продолжительное время: он долго жил в Петербурге и Москве, принимал участие в пушкинских торжествах, почувствовал, что не утратил любви к себе русских читателей, надышался воздухом родных полей и лесов в Спасском... Клара Тургенева пишет в этом письме (привожу цитату в русском переводе): «Иван Тургенев вернулся в полном восторге (enthousiaste) от своей дорогой Родины. Но я не могу следовать за ним: он идет слишком быстро и слишком часто меняется для моего слабого разумения — и я всегда остаюсь сбитой с толку (je reste toujours toute déroutée), так как хотелось бы придерживаться его взглядов: мы ведь знаем, что он превосходит нас в столь многих отношениях!». В более ранних письмах она именует «Несравненный Жан» (l'incomparable Jean), прозвищем, под которым он, по-видимому, известен был в семье старого декабриста.[82] Некоторые из вновь найденных писем проясняют отдельные подробности в переписке самого Ивана Сергеевича с этой семьей и удостоверяют, в частности, что не все его письма на Рю де Лилль или в Вербуа дошли до нас.[83]

Просмотром писем к Гагарину в шестой картонной коробке мне пришлось ограничить свои занятия в «Славянской библиотеке»; возможно, что сведения об И. С. Тургеневе найдутся со временем и в других картонах этого обширного архива.

5

С огорчением приходится вспомнить о неудаче, постигшей меня в розысках писем Тургенева к Ксавье Мармье. Ни одного из этих писем в печати не появлялось, а между тем они существуют и могут иметь значительный литературный интерес. Это утверждал, например, Р. Мартель, одним из первых вспомнивший Мармье как «предвестника» начавшегося изучения русской литературы во Франции. Упомянув о замечательной библиотеке К. Мармье и, в частности, о большом отделе, который составляют в ней книги на русском языке, Р. Мартель писал, что среди них имеется много книг И. С. Тургенева с дарственными надписями, и прибавил тут же: «Мармье и Тургенев были большими друзьями и переписка их, еще

---

[82] Это письмо не имеет года (вторник, 24 марта). К. Тургенева извещает Гагарина, что она хотела бы видеть его у себя «вместе с Жаном, несравненным Жаном, сегодня утром вернувшимся из Бадена — более оживленным и в ударе, чем всегда; он должен пообедать у нас вместе с вами».

[83] В записке к Тургеневой от 9 января (б. г.) говорится, что она только что получила письмо от Ивана Сергеевича, который приезжает в среду из Бадена; это письмо не сохранилось.

неизданная, представляет интерес».[84] Трудно было бы пройти мимо этого указания и, находясь во Франции, не попытаться его проверить.

Напомню, что Ксавье Мармье (1809—1892) был автором нескольких книг о России, из которых первая появилась вскоре после возвращения его из путешествия (Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne. Paris, 1843), во время которого он усовершенствовал свои познания в русском языке и свел многочисленные знакомства с русскими литераторами (П. А. Плетневым, В. Ф. Одоевским, Гоголем, П. А. Вяземским и другими).[85] В середине 1850-х гг. он издал свои переводы из Пушкина, Н. Ф. Павлова, З. Ган (Le Perce-Neige, nouvelles du Nord. Paris, 1854), за которыми последовали его переводы «Героя нашего времени» Лермонтова, «Шинели» Гоголя, «Аптекарши» В. А. Соллогуба (Au bord de la Neva. Paris, 1856) и, наконец, двухтомный сборник повестей и рассказов Тургенева (Scénes de la vie russe. Paris, 1858); в первом томе помещены «Муму», «Фауст», «Бреттер», «Три портрета» в авторизованном переводе Мармье; во второй вошли другие повести Тургенева, переведенные им самим в сотрудничестве с Л. Виардо; доля участия в них К. Мармье остается неизвестной. Этот сборник пользовался широкой известностью и заслужил одобрение Тургенева, считавшего переводы Мармье «прекрасными».[86] Последнее его издание (9-е) появилось в Париже в 1919 г. Фактические данные о личном знакомстве и встречах Тургенева с Мармье, извлеченные из неизданных писем Мармье к его русским корреспондентам, в частности к П. А. и А. В. Плетневым,[87] еще сильнее настораживает исследователя: мы узнаем из них, что первая встреча их состоялась, вероятно, 9 марта (25 февраля) 1857 г., что неделю спустя Мармье устроил завтрак, на котором присутствовали Тургенев, Л. Н. Толстой, П. А. Плетнев и многие видные французские литераторы. Если у нас нет пока оснований говорить о «большой дружбе» Мармье и Тургенева, то нет сомнения во всяком случае, что их литературные отношения не принадлежали к числу заурядных или случайных. Тургенев неохотно и всегда со строгим выбором давал «авторизацию» переводов своих произведений, следовательно, Мармье как переводчик удовлетворил его вполне; Мармье, со своей стороны, писал о Тургеневе: «Немногие люди в моей жизни внушали мне такую внезапно возникшую и глубокую симпатию». Мармье утверждал также, что он «с наслаждением трудился над переводом его рассказов, стараясь выполнить его как можно лучше» (письмо к А. В. Плетневой от 24 августа 1857 г.).[88] С полным основанием утверждают, что Мармье и как беллетрист в своих романах конца 1850-х — начала

---

[84] *Martel Rene.* Xavier Marmier: un précurseur ignoré des études slaves en France//Mélanges publiés en l'honneur de M. Paul Boyer. Paris, 1925. P. 295.

[85] *Лернер Н. О.* Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 125—131.

[86] Тургенев//Под ред. Н. Л. Бродского. М., 1940. С. 89.

[87] *Прийма Ф. Я.* Ксавье Мармье и русская литература//Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958. С. 151—153.

[88] Цит. по: *Прийма Ф. Я.* Ксавье Мармье и русская литература. С. 153.

1860-х гг. («Обрученные на Шпицбергене», 1859; «Елена и Сюзанна», 1862) «обнаружил заметную зависимость от Тургенева-романиста».[89]

Отсюда неопровержимо следует, что переписка Мармье и Тургенева обещала быть крайне интересной. Письма Мармье к Тургеневу, по-видимому, не сохранились; в тургеневских бумагах не обнаружено их следов. Где же письма Тургенева видел Р. Мартель? Свою библиотеку Мармье, бывший известным и страстным библиофилом,[90] завещал своему родному городу Понтарлье (Pontarlier, Doubs), неподалеку от франко-швейцарской границы; в этой библиотеке, где Р. Мартель видел книги с дарственными надписями Тургенева, и надлежало навести первоначальные справки. Существенную помощь в получении их оказал мне проф. Анри Гранжар, без дружеского содействия которого все длительные поиски этих материалов были бы крайне затруднительными. В ответ на запрос по этому поводу, адресованный в «Bibliothéque Municipale de Pontarlier», М. Кордье (*Cordier M.* Museé du Chateau de Joux) в письме от 10 июня 1961 года сообщил: «Действительно, библиотека нашего города Понтарлье получила в свое время наследство Ксавье Мармье. Этот дар состоял главным образом из его личной библиотеки, насчитывавшей около 5 тысяч томов; при ней находится лишь одно его собственноручное письмо, точно определяющее его волю и указывающее на те условия, при соблюдении которых библиотека могла принять этот дар завещателя. Что же касается его переписки, которую вы разыскиваете, то она была направлена в секретариат университета в Безансоне». М. Кордье прибавлял также, что книги Тургенева, подаренные Мармье, вероятно, находятся в библиотеке в Понтарлье, но что для того чтобы это установить, необходимо иметь их точные заглавия.

Оставалось проверить правильность его указаний в самом Безансоне. В этом городе существует «Академия наук, литературы и искусств» (Académie des sciences, belles-lettres et arts) — ученое общество, объединяющее местных деятелей литературы и искусства и имеющее при себе небольшой архив (Hôtel des Sociétés savantes, 20, rue de Chifflet). В этом архиве действительно находятся бумаги Кс. Мармье, переплетенные в 9 небольших томиков, — его рукописные заметки, статьи из журналов; все это было описано М. Ламбером в брошюре, изданной Безансонской Академией.[91] Однако писем Тургенева в Безансоне не оказалось; по полученным мною сведениям кое-какие рукописи Мармье имеются еще в городской библиотеке (Bibliothéque Municipale de Besançon); здесь, однако, нашлись только письма самого Мармье: 2 письма к Ch. Thurich, 11 писем к Castan (1857—1860), 44 письма к Weiss (1835—1861),

---

[89] Там же. С. 153.

[90] *Roux Roger.* Xavier Marmier bibliophile. Besançon, 1910; здесь приведены подробные данные о «библиотеке Мармье» — завещательные акты, история ее размещения, открытия (27 февраля 1895 г.) и т. д. (с. 22).

[91] *Lambert Maurice.* Les manuscrits inédits de Marmier (отт. из «Bulletin de l'Académie de Besançon»). Besançon, 1909. P. 1—22.

Результаты длительной переписки, как видим, оказались явно разочаровывающими. Где же все-таки эти письма? По той ли причине они не разысканы, что действительно были перемещены в неизвестное для нас место хранения, или потому, что они еще не описаны и не определены? Эти вопросы продолжали меня тревожить еще и тогда, когда срок моего пребывания во Франции истекал. Я, конечно, учитывал, что поиски производились в летнее время, когда в отсутствии были постоянные хранители библиотек и архивов, куда пришлось обратиться; что письма Тургенева к Мармье могли быть написаны на русском языке, недостаточно известном архивистам Понтарлье и Безансона; что, наконец, справка, присланная М. Кордье из Понтарлье, направляла поиски в университет Безансона, а ответы были получены из Безансонской Академии... В дальнейших поисках любезно согласился принять участие ассистент Страсбургского университета Кл. Робер (Cl. Robert), имевший связи с Безансоном. Уже вернувшись в Ленинград, я получил следующую выписку из письма Ф. Бернара, «административного секретаря» Безансонской Академии к Кл. Роберу в Страсбург от 24 октября 1961 г.: «Мы не нашли ни одного письма Тургенева в бумагах, которые Ксавье Мармье завещал Безансонской Академии». И все же письма существовали и, может быть, когда-либо найдутся.[92]

Было бы затруднительно и, может быть, не столь существенно рассказывать обо всех моих попытках пополнить наши сведения о письмах Тургенева, находящихся во Франции. Мои усилия были не столь продолжительны, поэтому они, вероятно, и не могли внушить уверенность, что для розысков их было сделано все возможное. Найденные мною письма в свое время увидят свет в академическом издании; из попыток, которые не принесли никаких результатов, я остановился лишь на тех, какие могут и должны быть возобновлены. Сферой почти безграничной для усилий этого рода остаются, конечно, частные автографические коллекции, в которых безусловно имеется еще множество относящихся к Тургеневу документов: об этом можно судить хотя бы по тому, что имя Тургенева нередко еще мелькает в различных антикварных каталогах. Собрать справки о местах хранения его автографов, приобретенных антикварным путем, довольно затруднительно; появившись на аукционах, они большей частью на долгие годы исчезают из поля зрения исследователей и редко появляются в печати.

Не могу не вспомнить здесь в заключение о тех просвещенных собирателях, знакомства и встречи с которыми останутся для меня

---

[92] Я полагаю что, несмотря на полученные справки, их следует все же искать в Понтарлье. R. Roux (Xavier Marmier bibliophile. P. 23—24), описывая «Библиотеку Мармье» утверждает, что кое-какие рукописи его еще в 1910 г. хранились именно здесь (renfermés dans cette bibliothèque); среди них он видел рукописи его шести романов, переплетенные в 8 томиках, записную книжку от 7 июня 1861 по 26 января 1962 г. с записями многочисленных лиц (не его рукой), альбом (Album amicorum) «с автографами писателей, находившихся в сношениях с Мармье» и т. д.

приятным воспоминанием о днях моей парижской жизни: их советы и указания были весьма полезными и часто неожиданными.

Встреча с известным знатоком Проспера Мериме и ученым издателем его сочинений доктором Морисом Партюрье, автором ценной книги о «литературной дружбе» Мериме и Тургенева,[93] осветила для меня многие сложные вопросы из истории их общения. Д-р Партюрье показал мне подлинники 20 писем Тургенева к В. Делессер, из которых только отрывки опубликованы им самим в указанной книге, и с готовностью обещал предоставить их полностью для публикации; д-р Партюрье помимо ряда интересных справок вручил мне также копии нескольких «открытых» писем Тургенева, напечатанных в газетах, комплекты которых отсутствуют в советских книгохранилищах; от него же я получил составленный им перечень исправлений, дополнений или заново установленных дат в некоторых ранних французских публикациях писем Тургенева.

С благодарностью вспоминаю длительные и оживленные беседы в гостеприимном доме Леона Бернстайна, собравшего замечательную библиотеку, полную первоклассных редкостей, и очень интересный литературный архив. Рассказы Л. Бернстайна были всегда увлекательны, шла ли речь о русских рукописях во Франции и их владельцах или о тех книгах и документах, которые удалось приобрести ему самому. Запомнился рассказ о бывшей у него в руках книге — французско-русском «разговорнике», напечатанном при самоучителе русского языка, по которому Тургенев учил русскому языку Полину Виардо; по словам Л. Бернстайна, в «разговорник» внесены были существенные улучшения карандашом — характерным почерком самого Тугенева.

Одна из достопримечательностей архива Л. Бернстайна в один из вечеров служила предметом нашей совместной экспертизы. Это были несколько тетрадей с листами рукописи французского перевода «Записок охотника» 1858 г. (Récits d'un chasseur). Было ясно сразу, что это наборная рукопись, имеющая все следы своего пребывания в типографии; на отдельных листках карандашом метранпажа отмечены имена и фамилии наборщиков, производивших набор (M. Leroy, Michel, Mouette); очевидным казалось также, что это должен быть перевод И. Делаво, изданный в 1858 г. и особенно интересный тем, что в нем близкое участие принимал сам Тургенев.[94] В конце концов тщательный просмотр рукописи подтвердил эту догадку: на л. 17 перевода первого рассказа «Бурмистр» («Le Bourgmestre») И. Делаво указан как переводчик. Рукопись неполная (сохранились лишь переводы рассказов «Бурмистр», «Ермолай и мельничиха», «Бирюк», «Контора», «Петр Петрович Каратаев», «Лебедянь», «Бежин луг», «Малиновая вода»); часть текста в нескольких очерках отсутствует, тем не менее все сохранившееся (129

---

[93] *Parturier Maurice.* Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguénev. Paris, 1952.

[94] *Прийма Ф. Я.* «Записки охотника» Тургенева во французском переводе И. Делаво//Записки охотника: Сборник статей и материалов. Орел, 1955. С. 331—351.

листов) заслуживает специального изучения. Л. Бернстайн вручил мне рукопись для передачи в Пушкинский Дом со словами, что ей место именно в этом хранилище.[95] Весной 1962 г. до меня дошла весть о кончине Л. Бернстайна (8 мая) в возрасте 84 лет. Я узнал об этом с чувством глубокой горести: покойный был страстным любителем русской книги, русского искусства, русской культуры и уже в преклонные годы сумел собрать в своей библиотеке замечательную по своей полноте коллекцию советских изданий.

Во Франции я пробыл два месяца. Впечатления мои были яркими и разнообразными. Поиски рукописей Тургенева входили только как часть в программу моих научных занятий; тем не менее они составили особый цикл в тех воспоминаниях об этой поездке, с которыми я вернулся на родину. Рассказать о некоторых из них и поделиться первоначальными результатами моих изысканий и было целью этой статьи.

---

[95] Рукопись эта находится в рукописном отделе Института русской литературы (шифр: Р. 1, оп. 29, № 168).

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ*

1

Русскую литературу издавна охотно привлекают к разного рода сопоставлениям с литературами других стран и языков. В этом нет ничего удивительного — она безусловно принадлежит к числу литератур обширных, богатых произведениями художественного слова, разнообразными по темам, жанрам, форме; не менее важно также и то, что лучшие ее образцы переведены на многочисленные языки, что благодаря этому они имеют поистине международную читательскую аудиторию и что лучшие из них действительно уже получили повсеместное признание.

Едва ли я ошибусь, сказав, что имена таких, например, русских писателей, как Тургенев, Лев Толстой, Достоевский или Чехов, — если оставаться в пределах одной лишь второй половины XIX в., т. е. того периода, когда за рубежом возник особенно активный интерес к русской литературе, — известны сейчас не только филологам-специалистам, но и каждому рядовому европейскому читателю. Даже родоначальник блестящей плеяды русских литературных светил прошлого века и основоположник русского литературного языка нового времени — Пушкин, с его тончайшей лирикой, или Гоголь, казавшийся когда-то вовсе непереводимым ни на какой язык, хотя и медленнее, чем другие писатели, неуклонно становились все более известными читателям, не знающим русского языка.

Процесс ознакомления с русской классической литературой в различных странах продолжается; он еще далеко не закончился и, смею надеяться, не закончится никогда, ибо продолжают совершенствоваться методы восприятия русского художественного слова иноязычными читателями, для чего предпосылок становится все больше. Однако вначале знакомство иностранных читателей с русской литературой происходило в особых условиях и имело весьма характерные признаки, которые в известной мере представляют теоретический интерес. Поэтому о них стоит сказать несколько слов.

На пути знакомства читателя с любым произведением иностранной литературы всегда много трудностей. Важнейшие из них пред-

* Доклад, читанный в Москве на Юбилейной сессии Академии наук СССР, посвященной 250-летию Академии наук СССР, 14 октября 1975 г.

определены тем, что основными объектами восприятия в данном случае служат произведения словесного искусства, освоение которых предполагает не только логические процессы научных умозаключений и выводов, но и проявление художественной интуиции, эстетического чувства.

Различие между «простым» и «ученым» читателем литературного произведения зачастую состоит не столько в качественной, сколько в количественной разнице их опыта: «ученый» читатель от читателя рядового отличается лишь своим профессиональным литературным кругозором, количеством им прочтенных и усвоенных памятников художественного творчества и более высокой степенью осознанности своих наблюдений; однако над тем и над другим читателями почти в равной степени тяготеют некоторые затруднения общего порядка, вытекающие непосредственно из свойств исследуемого или пассивно воспринимаемого материала: его эстетической природы, особенностей его формы, бесконечного разнообразия воздействий, которые он может оказать на читательское сознание. Эти трудности увеличиваются, когда сопоставлению и сравнительному анализу подвергаются произведения литератур различных народов.

Еще более устойчивый, постоянный характер имеют затруднения, так сказать, внутреннего порядка, обусловленные разноязычием сопоставляемых памятников и вытекающими отсюда особенностями восприятия их в различной языковой среде. Затруднения этого рода еще чаще ведут к ошибочным оценкам, недопониманию, противоречиям в суждениях. Житейский читательский опыт в подобных случаях чаще отстает от умозаключений читателей-специалистов; последним в отличие от первых требуется и бо́льшая практика и бо́льшая степень осознанности логического акта. И все же абсолютная свобода и полнота суждений едва ли возможны — ограничения неизбежны: всеми языками, на каких написаны литературные произведения, подлежащие сопоставлению и сравнительной оценке, можно овладеть в той же незначительной степени, как и всеми эстетическими традициями других народов, и полнота реального восприятия памятников художественного слова достижима лишь для читателей той народности или того языкового единства, в среде которых эти произведения возникли. Отсюда и парадоксальные несоответствия в оценках одних и тех же произведений читателями разных стран.

Можно сделать также наблюдение, что всякое произведение литературы, переведенное на другой язык, подвергаясь своего рода изоляции от родной почвы и родственных произведений и приобретая «чужое», не свойственное ему ранее звучание, теряет коекакие из своих качеств и прежде всего признак *времени* своего создания. Особенности возникновения и развития этих произведений, их преемственность, теснейшая связь с историческими условиями, которые их породили, — все эти признаки стираются в чужеземной их оболочке, становятся малозаметными, различимыми лишь для ученых критиков; даже обширные комментарии (языкового

или реального характера) здесь не всегда могут помочь читателю. Вместе с тем, однако, эти переводные произведения получают новые функции, которых они ранее не имели. Иными словами, постепенный процесс усвоения всякой иностранной литературы в иноязычной среде в высшей степени сложен и протекает в формах, очень индивидуальных для каждой литературы в отдельности. Все это относится, естественно, и к произведениям русской литературы, и к тому, как складывалась ее репутация за рубежами нашей страны. Хотя общие контуры истории ее распространения в настоящее время довольно ясны, в деталях тут еще много спорного, заслуживающего специальных и многосторонних исследований.

2

Художественная литература играет исключительную роль в распространении представлений о тех или иных государствах, обществах или географических территориях. Человек всегда с трудом проникает в далекий для него мир жизни иных народов, даже при условии физического с нею соприкосновения и возможности ее чувственного восприятия. Для того, кто знакомится с какой-либо страной, не покидая своего отечества, лучшим, наиболее полным и действенным источником правильных представлений являются созданные ее народом произведения искусства и в особенности литература. Это утверждение справедливо и в отношении нас самих. Так, например, общее представление об Англии наших соотечественников, по крайней мере широкого читателя, в XIX в., даже еще и в начале нашего столетия часто находилось в зависимости от тех впечатлений, какие в свое время внушало русским чтение произведений Диккенса или Теккерея. На всех англичан у нас долго смотрели глазами их старых классических писателей, сочинения которых были известны в России издавна и часто перечитывались. В создании нашего общего представления о Франции участвовали Бальзак, Флобер и Золя. Россию же во Франции, Англии и США долгое время знали по произведениям Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова. Сведения же, почерпнутые иностранным читателем из газеты, очерка, научного трактата или даже из описания реально совершенного путешествия, бывали, как правило, случайны, сбивчивы, противоречивы, не всегда достаточно убедительны в эстетическом и эмоциональном отношениях и потому имели неизмеримо меньшее значение.

Можно утверждать, что в конце XIX и начале XX в. европейский читатель знал Россию преимущественно по произведениям русских беллетристов. В этом признавались А. Доде, Э. Золя, Дж. Мередит, Т. Гарди и многие другие западноевропейские писатели. Недаром еще в 1908 г. Герберт Уэллс писал в предисловии к русскому переводу его собрания сочинений: «Когда я думаю о России, я представляю себе то, что читал у Тургенева и у друга

моего М. Беринга» (т. е. у великого русского писателя и у одного из его английских истолкователей. — *М. А.*).[1]

Следует указать и на то, что образы русских в западных романах второй половины XIX в., например образ русского «революционера-нигилиста»,[2] в обязательном порядке восходили сначала к

---

[1] См.: *Уэллс Г.* Собр. соч.: В 15 т. М., 1964. Т. 14. С. 293. Ср.: *Baring M.* Landmarks in Russian Literature, London, 1910 (русский перевод: *Беринг М.* Вехи русской литературы. М., 1913). Далее, в том же предисловии Г. Уэллс поясняет свою мысль, откуда следует заключить, что и произведения Тургенева он воспринял крайне субъективно: «Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойно и ярко; где тянутся вширь и вдаль пространства небрежно возделанных полей; где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками; где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых; много икон и бородатых попов, где безлюдные плохие дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так; хотел бы я знать, так ли». Кстати, в романе того же Г. Уэллса «Мир Вильяма Клиссольда» (1926. Кн. 4. Гл. 9) описан спор о русских крестьянах на обеде у представителей лондонских финансовых кругов; при этом автор заставляет одного из действующих лиц подать такую реплику: «Я сужу по произведениям русских писателей... главным же образом по романам Достоевского». В подобных случаях бросается в глаза почти закономерная хронологическая отдаленность или несовместимость возникновения произведения — источника читательского восприятия образа некоей страны — и того времени, когда подобное представление может возникать у читателей. Множество таких примеров можно почерпнуть из произведений о России во французской литературе XVIII—XIX вв. Об этом см., например, в работе *Langer G.* Zur Entwicklung des Russlandbildes in Frankreich von Diderot bis Mérimée//Wissenschaftliche Zeitschrift des Universität Rostock. 1959. H. 2. S. 251—294 — и для сопоставления с этими данными во многом спорную статью: *McNally R. M.* Das Russlandbild in der Publizistik Frankreichs zwischen 1814 und 1843//Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Berlin, 1963. Сошлемся также на имеющую некоторый теоретический интерес книгу *Peyre H.* Writers and their critics. A study of Misunderstanding Ithaca. Cornell University Press, 1944. Хотя это исследование не касается русской литературы и посвящено оно анализу роковых несоответствий оценок критикой различных произведений литературы и авторских замыслов этих произведений, но в книге приводится много данных о хронологических разрывах между самими произведениями и непониманием их замыслов последующей критикой, примеров, подтверждающих высказанные выше наблюдения о заблуждениях зарубежных истолкователей, смещающих историческую перспективу при понимании изображаемой ими реальной действительности той или иной страны.

[2] Слово «Nihilist», с обязательной ссылкой на И. С. Тургенева (как автора «Отцов и детей» и «Нови»), переосмыслившего старый европейский философский термин, встречается во многих словарях, начиная с «Крылатых слов» Г. Бюхмана (*Büchmann G.* Geflügelte Worte. Der Citatenschats d. deutschen Volkes. Berlin, 1895. S. 270; *Ladendorf O.* Historisches Schlagwörterbuch. Strassburg; Berlin, 1905. S. 225—226; *Hoffmeister J.* Wörterbuch der philosophischen Begriffe 2-te Aufl. Hamburg, 1955. S. 493). В 1870—1880-х гг. XIX в. «в Европе <...> не было той газеты, которая не считала бы нужным посвятить «нигилистам» ряд статей или напечатать фельетонный роман из жизни русских революционеров» (Минувшие годы. 1908. № 8. С. 40). К. Ольденбург (Der Russische Nihilismus von seinen Anfangen bis zur Gegenwart. Leipzig, 1888. S. 189—200) приводит внушительный, хотя и не полный перечень основных книг «о русском нигилизме», в том числе и беллетристических, не всегда отрицательно освещающих образы русских революционеров той поры; напомним здесь хотя бы роман Э. Золя «Жерминаль» с русским героем Суварином, или юношескую драму О. Уайльда «Вера или нигилисты» (1881), действие кото-

тургеневской «Нови», а затем к романам Достоевского; все типы дореформенных русских крестьян — к тому же Тургеневу, послереформенных — к Льву Толстому; русских «интеллигентов» (термин этот, как известно, вошел в западные языки, и прежде всего в английский, из русского обиходного словаря) [3] — к тем же Тургеневу, Толстому, Достоевскому, Чехову; наконец, идейного рабочего, борца за новое будущее — к «Матери» М. Горького.

Для многих западноевропейских читателей Тургенев, Толстой, Чехов впервые открыли Россию их времени; вероятно, немало зарубежных читателей и сейчас еще знают нашу страну по этим же самым произведениям, вошедшим в мировую сокровищницу культуры.

О значении, роли, силе впечатлений, полученных западноевропейскими читателями от произведений русского художественного слова, достаточно ярко свидетельствует факт, неоднократно отмечавшийся и в русской и в зарубежной критике. Историки международных отношений давно уже обратили внимание на то, что в той перемене тона и характера суждений европейцев о русском народе, которая столь явственно проявилась в конце XIX в., особо важное значение, а по мнению некоторых даже решающее, сыграла именно русская литература. Вопреки сложным международным отношениям недоверие, которое ранее периодически выражалось России западными европейцами, их высокомерные сомнения в прочности и закономерности русской культурной эволюции, их настороженное отношение к особенностям русского психического склада и т. д. неожиданно сменились участием, сочувствием к русскому народу и восхищением созданной им культурой.

В одной из своих статей 1894 г. историк В. О. Ключевский, современник и свидетель совершившейся перемены, писал: «Европа призналась, что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на ее страже, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов; она признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава, кровным, природным членом семьи своих народов». [4]

Современники Ключевского, быть может, не вполне отдавая себе отчет во всей многосложности отмеченного им процесса и в особенности в его действительных исторических корнях, все же чаще всего связывали причину радикальных изменений в отноше-

---

рой сосредоточивается в Москве (правда, довольно фантастической). Историко-семантическую характеристику употребляемого историками русской общественной мысли термина «нигилизм» см.: *Новиков А. И.* Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики. Л., 1972.

[3] О русском происхождении английского слова «intelligentsia» см.: *Wyld H. C.* The Universal Dictionary of the English Language. London, 1936. P. 613, а также: *Мирский Д. С.* Интеллидженсиа. М., 1934. С. 5—6, эпиграфом к которой автор взял цитату из «Краткого Оксфордского словаря»: «Intelligentzia —часть нации, (особ. русской), которая стремится к самостоятельному мышлению».

[4] Чтения в императорском обществе истории и древностей российских, 1894. Кн. 4. С. 6.

ниях Запада к русской культуре с подлинно широким и мощным воздействием русской художественной литературы на мировое общественное мнение. «В деле этого сближения России и Западной Европы главную роль сыграла русская литература, ставшая одним из элементов умственного движения на Западе и тем упрочившая за Россией репутацию культурной державы».[5]

В петербургском журнале «Вестник Европы» в 1899 г. можно было прочесть следующие строки: «Русская литература, с ее беспощадным исканием жизненной правды, с ее чуткостью к высшим человеческим идеалам и стремлениям, внушила иностранцам новый взгляд на характер русского народа, на его чувства, мечтания и порывы. Призраки варварства и казачества, отделявшие Россию от остальной Европы, незаметно рассеялись. Скрытый психологический процесс, вызванный включением русской литературы в общее умственное движение Запада, повлиял неотразимо на международное положение России и изменил коренным образом ее общую репутацию в культурном мире».[6]

Иные из западных критиков констатируют тот же факт. Закрывая глаза на многие стороны русской культуры XIX в., например на прогрессивный характер ее общественной мысли или на быстрое развитие и расцвет ее науки, они объявляли Россию «культурной нацией первого ранга именно с точки зрения литературного творчества»[7] — иначе говоря, исключительно благодаря ее художественной литературе.

Все это лишний раз свидетельствует о том, как значительна, существенно важна, животрепещуща и полна исторического смысла проблема исследования мировой роли русского художественного слова и как много еще остается сделать для того, чтобы она представилась нам в тех четких границах и очертаниях, которые может обеспечить ее научный анализ.

3

Рассматриваемая нами проблема, таким образом, не нова. Бросив самый беглый взгляд на предшествующие опыты, мы легко заметим, что она обострялась, вызывала к себе повышенное внимание в особенности в те периоды русской истории, которые наталкивали на

[5] *Жигарев С. А.* Россия в среде европейских народов по данным истории международного общения и права в XVIII и XIX вв. Историко-юридические очерки. СПб., 1910. С. 311—313.

[6] Вестник Европы, 1899. № 11. С. 353—354.

[7] *Meyer Richard E.* Die Weltliteratur im zwanzigsten Jahrhundert. Berlin, 1913. S. 69. В 1915 г. английский журналист Дж. Макэйль от имени ряда опрошенных им английских ученых сказал, между прочим, следующие слова: «Тургенев, Достоевский и Толстой причисляются всеобщим мнением к величайшим писателям всех времен и народов. Было бы излишне доказывать положение, которое никем не оспаривается. Эти три великих писателя, взятые вместе, дают совокупность произведений, которые по многосторонности, силе и жизненной правде можно сравнить разве только с писателями Англии времени Елизаветы или Виктории» (*Mackail J. W.* Russia's Gift to the World,

раздумья всемирно-исторического масштаба, строго говоря, это — вся русская история со времени Петра I, весь бурный рост русской культуры, весь процесс ее становления и национального самоопределения. Следовательно, речь может идти главным образом об оттенках, о временах большей или меньшей злободневности или интенсивности обсуждений данной проблемы. Но русская литература — неотделимая часть русской культуры, значит, вопрос о ее мировом значении есть в то же время вопрос о всемирно-исторической роли русской культуры вообще; в различные периоды он решался различно — и у нас, и на Западе. В наших связях с Западом сменяли друг друга периоды сближений и разрывов, столкновений и взаимопонимания; и отношение иностранцев к русской литературе испытывало аналогичные резкие колебания — от полного отрицания до безоговорочного признания, даже восхищения: кривая этих колебаний постепенно выравнивалась, пока наконец общее убеждение не стало прочным и незыблемым. Но характерно, что именно в вопросах сравнительной, в европейском масштабе, оценки русского литературного творчества наша точка зрения определилась очень рано; кроме того, она не всегда зависела от иностранных суждений.

Новой русской литературе послепетровского периода почти с первых ее самостоятельных шагов была свойственна вера в свое будущее, в свое великое предназначение, особый просветительский пафос, объяснимый, быть может, не только хронологическим совпадением ее возникновения в новых европейских формах с просветительской эрой на Западе, но и древностью ее основ и той высокой морально-дидактической принципиальностью, какой отличалась она во все предшествующие века ее самостоятельного бытия.

Заявления деятелей русской культуры еще в тот период, когда завершалось устроение русской державы на европейский образец, полны горделивого самоутверждения и уверенности, что чужеземные народы отныне не могут не считаться с новым, реформированным на европейский лад государством и созидаемой в нем новой русской культурой.

В одной из своих лучших речей, «Слове похвальном о флоте российском» (1720), один из сподвижников Петра I Феофан Прокопович, упоминая о великих его победах, писал, что следствием их было полное изменение отношения иноземных народов к России: «Ныне же, которые нас гнушалися, яко грубых, ищут усердно братства нашего, которые бесчестили — славят, которые грозили — боятся и трепещут, которые презирали — служити нам не стыдятся».[8]

Современники Феофана в первые десятилетия XVIII в. уже знали, что вслед за порой политического утверждения российского государства в общей системе европейских держав и эпохой укреп-

---

London, 1915; цит. по русскому изданию: *Макэйль И. В.* Русский дар миру. Русский вклад в мировую культуру в оценке 20 английских ученых/Пер. с англ. И. Д. Пгр., 1915. С. 15).

[8] Цит. по: *Морозов П.* Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880. С. 173.

ления военного могущества как основы его международного авторитета российская земля быстро начнет рождать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» и сделает гигантские шаги вперед на пути культурного, в частности литературного, развития. И предчувствие их не обмануло.

Разные русские писатели XVIII в. были теснейшим образом связаны с научным центром страны — петербургской Академией наук, основанной в 1724 г., и этот факт имел огромное значение для славного будущего русской литературы. Русская поэзия XVIII в. довольно широко отразила процесс становления и быстрого развития русской науки в этом столетии — от Ломоносова до Радищева включительно. В этом, в частности, получили свое выражение просветительские тенденции русской литературы того времени. Уже Антиох Кантемир был сатириком-просветителем своеобразного склада: стихотворство стало для него одним из средств популяризации научных знаний. В его сатирах заключена весьма красноречивая апология «точных наук», объяснены научные термины, рассказано об инструментах для научных экспериментов. В 1735 г. Кантемир пишет оду «В похвалу наук», где прославляет благодетельную силу знания и набрасывает целую историю наук в круговороте времен, в связи с перемещением очагов цивилизации: от древнего Египта, Греции и Рима до возрождения наук в Италии и обратного движения их эволюции с запада на северо-восток.

Еще более наглядный пример — колоссальная фигура Ломоносова, совместившего в своем творчестве ученого и поэта, ставшего предметом удивления и внимательного изучения для Пушкина, его современников и потомков. В своих поэтических произведениях Ломоносов дал картину значения отдельных наук и практического их применения в отечественных условиях, и эти произведения служат подлинными образцами своеобразной русской «научной поэзии», имеющей яркую национальную окраску.

Мысли Ломоносова о русском языке, художественном слове, стихосложении сыграли огромную преобразующую роль в истории русской литературы. И, может быть, ни в одной другой стране нерасторжимый союз науки и поэзии на ранней стадии их параллельного развития не имел столь далеко идущих последствий, как именно в России XVIII в.: их слияние превратило слово в воспитательное, просвещающее орудие, в точный инструмент, повысило в сознании пользующихся им людей его самодовлеющую ценность. И, может быть, именно поэтому Кантемир и Ломоносов первыми из русских писателей заслужили международное признание: известно, что сатиры Кантемира были изданы с помощью Монтескье во французском переводе в 1749 г., а Ломоносов явился едва ли не первым русским поэтом, произведения которого вызвали подражания во французской поэзии.[9]

---

[9] Имеется в виду французский поэт Лемьерр (Lemierre Antoine, 1723—1793), поместивший в «Альманахе муз» 1766 г. свое стихотворение «Восход солнца» — переложение «Утреннего размышления» Ломоносова (сделанное по французскому прозаическому переводу этого стихотворения А. П. Шувалова,

Многого иностранные наблюдатели русской жизни и искусства в XVIII в. еще не знали, как, например, того, что Д. Дидро был, вероятно, одним из первых писателей французского Просвещения, который во время пребывания в Петербурге изучал русский язык по учебнику Шарпантье, по текстам трактатов Ломоносова и комедий Сумарокова.[10] Но они знали, что проснулся интерес к русской литературе: русские книги обсуждаются в зарубежной печати, множатся переводы с русского языка, русская литература быстрыми шагами идет к своему расцвету. Знали они также, что русская литература должна занять подобающее ей место среди литератур Западной Европы. Когда придет это время, они еще не могли сказать, но их всех воодушевляла мысль, что это не может не совершиться.

У К. Н. Батюшкова есть изящный и тонкий опыт в жанре «воображаемых разговоров»; в этом произведении изображен Кантемир, русский посол во Франции, в его парижском кабинете, беседующий с французскими друзьями-литераторами о русской культуре и будущности русской литературы. «Вечер у Кантемира» был проекцией в прошлое и воплощением в образах оживленной беседы на философские и исторические темы мыслей, волновавших самого Батюшкова и его современников. Тени Монтескье и Кантемира понадобились Батюшкову для того, чтобы ответить на вопрос: достигло ли русское просвещение европейской культурной ступени? Батюшков ответил утвердительно и не ограничился этим. Он заставил Кантемира в воображаемом споре с Монтескье произнести следующие замечательные слова: «Может быть, через два или три столетия, может быть, и ранее, благие небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра, и обширнейшая земля в мире по творческому гласу его учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законов, хранилищем просвещения, и как знать? Может быть, на

1765 г.). Лагарп, прочтя стихотворение Лемьерра, вступился за русского поэта и напечатал протест по поводу того, что в парижском альманахе опубликовано «подражание одному стихотворению покойного Ломоносова под именем Лемьерра, но без малейшего указания на автора оригинала», тогда как Ломоносова «считали лучшим поэтом, лучшим историком и лучшим критиком его страны». Этот протест Лагарпа вошел в его «Oeuvres» (vol. VI. Paris, 1773. P. 108) и возымел свое действие: когда «Восход солнца» Лемьерра был перепечатан в 1782 г. в его «Pièces Fugitives», это стихотворение было названо здесь «вольным подражанием русскому поэту» (ср.: Литературное наследство. 1937. Т. 29—30. С. 210). Письмо Лагарпа не было забыто и у нас. С. А. Порошин привел его полностью в русском переводе в журнале «Утренняя заря. Труды воспитанников университетского благородного пансиона» (кн. 1. 1800. С. 73—81) с таким примечанием: «Это письмо показывает, что литература наша известна в чужих краях». Ср.: *Вольтер*. Статьи и материалы. Л., 1947. С. 48—49.

[10] См.: XVIII век. Сб. 3. М.; Л., 1958. С. 416—431; *Proust J*. La grammaire russe de Diderot//Revue d'histoire de la France. 1954. Juillet-Septembre. P. 329—331; *Basanoff A*. La bibliothèque russe de Diderot//Association des bibliothècaires français. Bulletin d'information. 1959. № 29. Juin. P. 71—86.

диких берегах Камы или величественной Волги возникнут великие умы, редкие таланты...».[11]

Нечто подобное еще в 1787 г. в стихотворении «Поэзия» писал юноша Карамзин:

О, Россы! Век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В**** блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать...[12]

Это прорицание носит еще довольно абстрактный характер. Но по мере того, как развивалось творчество Карамзина, по мере того, как он сам становился тем русским писателем, который, по отзыву современников, «сроднил Россию с Западом», эта его юношеская уверенность конкретизировалась, подкреплялась рядом фактических наблюдений. В своем журнале «Вестник Европы» в 1803 г. Карамзин поместил статью «Об известности литературы нашей в чужих землях», и она начиналась следующими словами: «Прежде в иностранных газетах писали только о наших победах и завоеваниях; ныне пишут о новых успехах просвещения и литературы в России. Первое славнее, второе утешительнее для миролюбивых друзей человечества. Нашим авторам должно быть приятно, что их имена и творения делаются известными в чужих землях и что они получают таким образом *право гражданства* в европейской республике литераторов».[13] Об этом же Карамзин писал в своей знаменитой речи «О любви к отечеству и народной гордости» (1802). Из этого круга мыслей проистекали и его удивление быстроте достигнутых успехов, и его уверенность в грядущем торжестве русской культуры. «У французов, — размышлял он, — еще в XVI веке философствовал и писал Монтень: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас? Не чудно ли, напротив того, что некоторые наши произведения могут стоять наряду с их лучшими как в живости мыс-

---

[11] *Алексеев М. П.* Монтескье и Кантемир//Вестник Ленингр. гос. ун-та. Сер. обществ. наук. 1955. № 6. С. 55—78; *Алексеев М. П.* Сравнительное литературоведение Л., 1983. С. 119—146.

[12] Комментаторы этого стихотворения по традиции, идущей от В. В. Сиповского в его издании «Стихотворений» Карамзина (ч. 1. Пгр., 1917. С. 400), уверенно объясняли, что четвертый стих указанной строфы («В**** блестит») следует читать: «В Москве...». Немецкий исследователь Р. Кейль в специальной статье обосновывает другое предположение: по его мнению, данный стих следует читать не «В Москве», а «В Хераскове блестит» (или «В Державине...»), что как будто подсказывают не три звездочки, а четыре, стоявшие в первопечатном тексте стихотворения (1792); Херасков, вероятно, имелся здесь в виду как автор «Россияды», первые пять песен которой были переведены на немецкий язык Якобом Ленцем (*Розанов М. Н.* Якоб Ленц, его жизнь и произведения. М., 1901. С. 481). См.: *Keil R. D.* Ergänzungen zu russischen Dichter-Kommentaren//Zeitschrift für slavische Philologie. 1962. Bd 30, H. 2. S. 380—383.

[13] Вестник Европы. 1803. Ч. 10. № 15. С. 195.

лей, так и в оттенках слога? Будем только справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену собственного».[14]

После войны 1812 г. русским читателям уже не было нужды доказывать, что суждения о русской литературе имеют для них действительный интерес. Не подлежало спору, что, удивив Европу силой русского оружия и широтой патриотического порыва, русский народ удивит ее также силой творческого дара и качествами своего литературного мастерства. Для Карамзина по крайней мере в этом не могло быть никаких сомнений. Он писал к И. И. Дмитриеву: «Мы победили Наполеона: скоро удивим свет и нашим разумом. Жаль, что я из могилы не услышу рукоплесканий Европы в честь наших гениев словесности».[15]

Известно, какое внимание Пушкина и литераторов его круга привлекли вещие слова *m-me* де Сталь, приезжавшей в Россию изгнанницей Наполеона в 1812 г. и наблюдавшей из окна своей дорожной кареты на пути между Киевом, Москвой, Новгородом и Петербургом героические усилия народа, ковавшего свою победу над врагом. «Гений русских, — говорит французская писательница в книге «Десять лет изгнания», — воплотится в искусстве и особенно в литературе, когда они научатся выражать словом свою природную сущность, как они выражают ее делом».[16]

---

[14] Вестник Европы. 1802. Ч. 1. № 4. С. 66. И как бы вторя ему, «Северный вестник» (автор статьи Я. А. Галинковский) убеждал в необходимости пристальнее следить за развитием европейских суждений о русской литературе; речь шла на этот раз о сочинениях самого Карамзина: «Скажите, например, кто рассматривал у нас критически „Письма русского путешественника", „Аглаю", „Наталью" и пр., между тем как их критикуют от Шотландии до Парижа? Между тем как в чужих землях дают цену нашим книгам, мы молчим законопреступно» (Северный вестник. 1805. № 6. С. 292). Слова «от Шотландии до Парижа» заключали в себе совершенно конкретные указания; в парижском «Journal de litterature étrangère» (1801. № 3), а позднее в «Edinburgh Review» (1804. № 6) появились рецензии на «Письма русского путешественника» Карамзина; последняя была весьма критической и принадлежала перу Генри Брума. Более объективная и благожелательная рецензия появилась в другом английском журнале, «Monthly Review» (1804. Vol. XLIY. P. 262—272). См.: *Арзуманова М. А.* Перевод английской рецензии на «Письма русского путешественника» из бумаг А. С. Шишкова//XVIII век: Сб. 8. Л., 1969. С. 309—323; *Быкова Т. А.* Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе//Там же. С. 324—342; *Cross A. G.* Karamzin and England//Slavonic and East European Review. 1964. Vol. 43. № 100. P. 110—111.

[15] Письма Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 183.

[16] *Staël m-me de.* Dix années d'exil. Paris, 1904. P. 363. Об интересе к этому произведению Пушкина и его соратников см.: *Ржига В. Ф.* Пушкин и мемуары m-me de Staël о России//Известия Отделения русского языка и словесности. 1914. Т. XIX. Кн. 2. С. 47—67. Отрывки из книги Сталь в вольном русском переводе появились в 1822 г. в «Новостях литературы» (кн. 1). По поводу одного из высказываний писательницы переводчик заметил: «Сочинительница имела, как кажется, весьма поверхностные сведения о русской литературе. Как жаль, что у нас не было своего Шлегеля, который познакомил бы ее с сокровищами оной, столь же многочисленными, как и разнообразными» (с. 179—180). Сталь присутствовала на представлении трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» и нашла, что в ней почти все — французское: ритм стиха, декламация, группировка сцен, за исключением, впрочем, одной черты, находившейся в связи с русскими нравами, — страха молодой девушки перед

В 1819 г. будущий декабрист Н. И. Тургенев в проспекте задуманного им с друзьями журнала («Архив политических наук и российской словесности») писал: «Мало-помалу Россия взошла наконец в состав великого европейского семейства во всех отношениях. Не один только звук оружия российского обращает ныне на Россию внимание Европы: успехи гражданственности в нашем отечестве разделяют сие внимание с тех пор, как они для нас самих соделались важными».[17] Два года спустя в издававшемся в Петербурге на французском языке полуофициальном журнале Н. И. Греч утверждал то же самое — очевидно, мнение это было всеобщим и распространенным в русском обществе: «Слава русского оружия привлекла внимание Европы к нашей родине. Иностранцы, побуждаемые любопытством, начинают внимательно изучать Россию в разных отношениях; они стали заниматься нашим языком, нашей литературой и с удовольствием, с признаками изумления, заметили, что Россия и в других родах славы не остается позади Европы... Нужно надеяться, что мы затем и еще более сблизимся с литераторами остальной Европы и они с нами».[18]

Прошло еще два десятилетия. Развился язык русской художественной прозы, от которой те же французы и Пушкин ждали стилистической выразительности и улучшения возможностей его воспроизведения на языках иностранных; сильнее и ярче обозначились очертания русской повести и романа, и Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», написанной для журнала Пушкина «Современник», спрашивал своих читателей, заметили ли они «атомы каких-то новых стихий», зарождавшихся в этой сфере русской литературы. «Видите ли, — писал Гоголь, — эту движущую[ся], снующуюся [кучу] прозаических повестей и романов, еще бледных, неопределенных, но уже сверкающих искрами света, показывающими скорое зарождение чего-то оригинального?». Однако Гоголь видел яснее других, его критический взгляд был более зорким, а убежденность — более твердой. Ему чудилось, по его собственным словам, «колоссальное, может быть, совершенно новое, неслыханное в Европе» явление, «что должно осуществиться непременно, потому что стихии слишком колоссальны и рамы для картины сделаны слишком огромны».[19] А еще через не-

---

проклятием отца. Любопытно, что «Дмитрий Донской» Озерова был одной из тех русских пьес, которые во французском переводе читал другой великий французский писатель — Стендаль, в итальянский период своей жизни. В 1812 г. он в качестве интенданта наполеоновской армии видел пылающую Москву и сохранил навсегда интерес к русскому государству и русскому народу. «Дмитрий Донской» входил в состав XVIII томика парижского издания «Шедевров иностранного драматического репертуара» (Paris, 1822—1828); в этот томик в переводах графа Сен-При входили также «Недоросль» Фонвизина и «Казак-стихотворец» Шаховского (Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 3. С. 527). Именно эта книга стояла на полке библиотеки Стендаля в Риме и Чивитавеккье («Revue de littérature comparée». 1924. P. 328).

[17] *Фомин А.* К истории вопроса о развитии в России общественных идей в начале XIX века//Русский библиофил. 1914. № 7. Отд. 2. С. 16—17.

[18] Le Conservateur impartial (St.-Pétersbourg). 1821. № 8.

[19] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 8. С. 539.

сколько лет в сходных словах это предчувствие Гоголя облек в форму пророческого видения Белинский в целом ряде своих статей, где он с такой «зрительной» ясностью представил себе, что непременно должно осуществиться с русским государством, культурой, искусством, поскольку и он, подобно Гоголю, многократно и настойчиво возвращался к вопросам об их будущем мировом значении. Белинский писал в 1840 г.: «Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940-м году (сто лет спустя, — *М. А.*) <...> дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».[20]

В статье 1846 г. «Мысли и заметки о русской литературе», задумываясь о европейском будущем русской культуры, Белинский оглядывал пройденный Россией исторический путь, путь быстрого роста ее могущества и военной славы, и делал отсюда вывод о неизбежности ее будущего преуспевания в различных областях, в том числе и в области литературного творчества. Он писал: «Только сто тридцать шесть лет прошло с того вечно памятного дня, как Россия громами Полтавской битвы возвестила миру о своем приобщении к европейской жизни, о своем вступлении на поприще всемирно-исторического существования», а между тем в столь короткий период времени она прошла поистине блестящий путь; уже через сто лет после Полтавской битвы Россия «решила судьбы современного мира», выиграв войну 1812 г.; «...заняв по праву принадлежавшее ей место между первоклассными державами Европы, она вместе с ними держит судьбы мира на весах своего могущества». Это показывает, продолжает Белинский, что «мы ни от кого не отстали, а многих и опередили». Но «наше политическое величие есть несомненный залог нашего будущего великого значения и в других отношениях, — прибавлял Белинский. — В будущем мы кроме победоносного русского меча положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль... Тогда будут у нас поэты, которых мы будем иметь право равнять с европейскими поэтами первой величины...»[21]

Еще через несколько десятилетий все, о чем Белинский мечтал и во что он верил, стало реальным фактом, полностью воплотилось в жизнь. Общеевропейское значение приобрел друг и ученик Белинского — Тургенев, голос Герцена звучал по всей Европе и на всех европейских языках, за ними шли Лев Толстой и Достоевский, получившие всемирное признание.

4

Естествен вопрос: что обеспечивало русской литературе все возраставшую популярность и силу воздействия? Если бы речь шла только о том, что она достигла уровня европейской, стала рядом

[20] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953, Т. 3. С. 488.
[21] Там же. Т. 9. С. 441, 442.

с ней, дальнейший рост этого влияния едва ли мог быть особенно значительным. Но уже Белинскому было ясно, что русская литература обладает особыми чертами, что ее отличает яркое национальное своеобразие. Впоследствии это стало еще более очевидным. Чернышевский, например, пытаясь понять происходивший на его глазах расцвет русской литературы и ее исключительное значение в истории нашего общественного сознания, писал в «Очерках гоголевского периода», что в России нового времени литература имела особую функцию, не похожую на ту, которую она выполняла в других странах Западной Европы, и что это и поставило ее в исключительное положение по отношению ко многим другим. «Как бы ни стали мы судить о нашей литературе по сравнению с иноземными литературами, но в нашем умственном движении играет она более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская литература в умственном движении своих народов».[22] Добавим к этому, что речь шла о чем-то принципиально новом, о новом типе культуры и формах ее словесного выражения, которые только и могли обеспечить русской литературе очень важное место в литературе общеевропейской и мировой вообще. Дело заключалось не в простом интересе читателей западных стран к литературе соседнего могущественного народа, а следовательно, к его быту и нравам, характеру мышления, особенностям его истории или специфическим чертам его словесного мастерства; эта литература должна была обладать свойством властно захватывать сердца, заставлять их биться тревожнее и чаще, многозначно и разносторонне влиять на умы, притом в такой степени, чтобы этого могучего воздействия не могли бы избежать все наиболее творчески одаренные мыслители и писатели западного мира, — а именно такой и стала русская литература в конце XIX и начале XX в.

Некое постоянное внутреннее убеждение в особых свойствах русского художественного слова, крепкая вера в то, что русская литература не может не стать великой литературой, не может не получить мирового значения, как мы видели, сопровождали размышления о ней многих крупнейших русских писателей, от Ломоносова и Карамзина до Гоголя и Белинского. Всего законнее поэтому искать ответа на поставленный вопрос в определениях самих же русских писателей. Для иностранного взора многое было скрыто и в русском литературном процессе, и в социально-историческом развитии русской государственности и национального самосознания. Именно это оказалось истолкованным в вольном слове русских политических эмигрантов, находившихся в Европе в конце 40-х гг. XIX в., особенно Герцена.

Истина рождалась в споре: объяснение «своеобразия» русской литературы началось с возражения иностранным критикам. Приведем лишь несколько примеров.

Почти столетие назад (это было в июне 1878 г.) в Париже под председательством В. Гюго состоялся Международный литера-

[22] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1947. Т. 3. С. 303.

турный конгресс, созванный по инициативе французского «Литературного общества». В составе русской делегации был Иван Тургенев, избранный вице-президентом конгресса. Он произнес краткую речь, посвященную взаимоотношениям русской и европейских литератур. Поскольку дело происходило в Париже, речь шла преимущественно о русско-французских литературных связях, но, разумеется, то, что говорил русский писатель, относилось также к литературам других стран Европы. Выступая от лица своих соотечественников, Тургенев назвал три даты, показавшиеся ему достойными сопоставления: 1678, 1778 и 1878-е гг. «Два столетия тому назад, — говорил Тургенев, — у нас не было еще своей литературы. Наши книги писались на старославянском языке, и Россия с полным основанием считалась страной полуварварской, относящейся столько же к Европе, сколько и к Азии». Но «царь Алексей, уже тронутый дуновением цивилизации, построил в московском Кремле театр, на котором давались духовные драмы вроде мистерий, а также „Орфей" — опера итальянского происхождения», а позже, при Петре I, у нас ставили уже «Лекаря поневоле» Мольера. «В 1778 году, — продолжал Тургенев, — автор наших первых действительно самостоятельных комедий, Фонвизин, присутствовал при торжестве Вольтера в театре Французской комедии и описал его <...> Миновало еще столетие. За Мольером последовал у вас Вольтер, за Вольтером — Виктор Гюго. Русская литература наконец существует; она приобрела права гражданства в Европе. Мы можем не без гордости назвать здесь не безызвестные вам имена наших поэтов Пушкина, Лермонтова, Крылова, имена прозаиков Карамзина и Гоголя... Двести лет тому назад еще не очень понимая вас, мы уже тянулись к вам; сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете как своих товарищей...».[23]

В анналах русской литературной истории сохранилось множество свидетельств, какую бурю негодования вызвала эта речь среди русских литераторов и в русской печати всех направлений. В особенности неоправданными показались тогда процитированные нами хронологические исчисления Тургенева. Сейчас мы не можем не признать, что упреки и обвинения, посыпавшиеся на Тургенева со всех сторон, были в значительной степени им заслужены. Дело шло не только о некоторых фактических ошибках, им допущенных, но о чем-то гораздо более существенном. Почему, говорили критики Тургенева, мерилом ценности русской литературы он избрал ее близость к европейским образцам? В самом деле, три этапа, на которые Тургенев разбил всю историю отношений литератур России и Европы, едва ли соответствовали истине, и прежде всего потому, что своей искусственной схемой он укорачивал жизнь русской литературы на несколько веков, с известным пренебрежением отзываясь даже о русской литературе XVIII в., литературе, как известно, уже носившей на себе очевидные, бьющие в глаза признаки

---

[23] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Сочинения. М.; Л., 1968. Т. 15. С. 53—56, 265—266, 305—308.

европеизма. Куда же, однако, в этом случае пришлось бы поместить большую, создававшуюся в течение нескольких столетий русскую средневековую литературу?

Конечно, в эпоху Тургенева эта литература была еще и мало изучена и даже еще мало известна, оставаясь в своей значительной части неизданной, рукописной и отчасти сохраненной устной традицией. В сущности его утверждение было равносильно признанию, что в течение всего средневекового периода своего существования и развития русская литература находилась как бы за пределами европейских литератур. Между тем новейшие советские исследования как раз стремятся подчеркнуть, с одной стороны, типично европейский, а не восточный характер русской средневековой литературы, а с другой — гораздо более сильную и крепкую преемственность между древнерусской и новой русской литературой XVIII и XIX вв. У нас охотно говорят теперь о недавно прослеженных в русских литературных произведениях XV—XVII вв. явлениях гуманизма и Ренессанса, о том, что «европеизация» русской литературы была процессом постепенным и длительным, растянувшимся на много веков, имеющим античные и византийские истоки и основы, традиции, представляющие прямые аналогии с процессом литературного развития в странах Западной Европы. С другой стороны, историки русской литературы в настоящее время охотно подчеркивают генетические связи между древнерусской литературой и русскими писателями не только XVIII, но и XIX в. — Пушкиным, тем же Тургеневым, Герценом, Толстым, Лесковым и т. д.

Другая роковая ошибка, допущенная Тургеневым в упомянутой речи, заключалась в том, что в числе писателей, которые, по его словам, не являлись неизвестными в Европе, он назвал Пушкина, Лермонтова и Крылова. Хотя их имена действительно упоминались в то время в печати Франции, Англии, Германии, Италии, но не эти писатели создали европейскую известность русской литературе, вызвали пристальное внимание к ней. На самом деле именно сам Тургенев был тем русским писателем, которого следовало назвать в первую очередь, а за ним следовали еще более громкие имена Толстого, Достоевского, Чехова и других. Знакомству же с упомянутыми Тургеневым русскими писателями Европа была обязана в значительной мере ему самому.[24]

Стоит, кстати, подчеркнуть, что на указанной схеме Тургенева, при всей ее призрачности и условности, основывались европейские критики русской литературы вплоть до недавнего времени.

Скажем также и о том, что история знакомства Европы с русской литературой имеет свою хронологию, совершенно отличную от реальной исторической последовательности развития русской литературы. Пушкин, например, или Гоголь стали известны в Европе (если говорить об известности, а не о первоначальном более или

---

[24] Труды Отдела новой русской литературы Института литературы АН СССР. 1948. Кн. 1. С. 38—80; Творчество И. С. Тургенева: Сборник статей. М., 1959. С. 69—140.

менее случайном знакомстве с их произведениями) только после того, как там утвердилась слава Тургенева, а затем — Толстого и Достоевского. Имена многих из современных им русских писателей доныне известны в Европе лишь понаслышке. Интерес к отдельным русским писателям, восхищение, которое они вызывали, ослаблял интерес к другим крупным литераторам, способствовал изоляции данных писателей от их современников, разрушал представление об историческом процессе развития русской литературы, вносил в него хронологическую путаницу. Слава, например, того же Пушкина была славой одного только имени и объяснялась лишь тем, что и Тургенев, и Толстой, и Достоевский постоянно ссылались на Пушкина как на своего родоначальника и свой великий образец. Через несколько лет после названной речи Тургенева ситуацию еще более осложнила книга Э. М. де Вогюэ «Русский роман» (Le roman russe. Paris, 1886), которая обошла все страны и стала классической. Эта знаменитая книга также объявила роман единственным жанром, достигшим в России полного национального своеобразия, и в известной мере узаконила возможность высказывать произвольные внеисторические суждения о произведениях русского художественного слова, существенные, однако, для тех литератур, которые воспринимали их в переводах. Нам ясно, что эта книга — прежде всего полемическая, тенденциозная: Вогюэ мечтал о победе «русского идеализма» над французским натурализмом, т. е. о победе идейного реализма русских писателей над «экспериментальным» романом. В талантливой книге Вогюэ много невольных и сознательных искажений русской литературной действительности, тем не менее в ней кое-что угадано верно, и потому ее выводы и формулировки надолго остались господствующими в западной критике: их повторяли во Франции, Англии, Америке, Италии, Испании.[25] Быть может, автор слишком односторонне понял то, что называет «русским идеализмом», т. е., по существу говоря, русский критический реализм, высокую идейную принципиальность русской литературы, ее постоянную направленность к добру и справедливости; может быть, он недооценил демократическую обусловленность русской литературы, не увидел ее тесной связи с развитием русской общественно-политической мысли, но исторический смысл его труда заключался в том, что в нем

---

[25] *Mazon A.* E. M. de Vogüé et les études russes//Revue des études franco-russes. 1910. № 4. P. 137—144; *Lirondelle A.* Le roman russe en France à la fin du XIX s.//Revue de cours et de conferences. 1925. T. 2. P. 722—727; *Tillmann E.* Eugene-Melchior de Vogüé. Seine Stellung in der Geistesgeschichte der Zeit. Bochum, 1934. Одной из лучших зарубежных работ о восприятии русского романа во Франции в конце XIX и XX в. является книга: *Hemmings F. W.* The Russian Novel in France. 1884—1914. Oxford, 1950. Интересные наблюдения и сопоставления содержатся также в недавней статье: *Barry Catharine A.* The Role of the Roman Russe Articles of the «Revue des Deux Mondes» in French Literary Polemics of the 1800's//Revue de littérature comparée. 1975. № 1. P. 122—128.

правильно показана равноправность русской литературы с западноевропейскими, а также те ее особенности, которые обеспечили ей возможность длительного и разностороннего воздействия на них.

5

Советские историки русской литературы накопили весьма обширный материал по истории взаимоотношений русской и западноевропейских литератур. Но он пока еще мало известен за пределами нашей страны.[26] Есть все основания надеяться, что совместными усилиями ученых затруднения, которые встречаются на этом пути, будут в конце концов преодолены. Русский язык становится все более распространенным, превращаясь в ключ, с помощью которого может быть в полном объеме раскрыто мировое значение русской литературы. На Западе все больший интерес проявляется к истории, которая делает более понятными закономерности развития русской литературы и ее связей с литературами Европы. Еще в 1901—1902 гг. в книге «Что делать?» В. И. Ленин писал, что русская литература приобрела мировое значение. Более подробно Ленин коснулся этого вопроса в своих статьях о Толстом. В 1910 г. в статье, написанной по поводу смерти Толстого, Ленин писал, что «Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе».[27]

Анализ классической русской литературы во всем ее объеме убеждает нас в том, что каждый из русских писателей в меру своего таланта и творческих сил отразил присущие русской литературе этические устремления и вольнолюбивый дух. Именно просветительские тенденции, воспринятые новой русской литературой в ее младенчестве от европейской литературы и сохраненные благодаря особенностям исторического развития России вплоть до нашего времени, всегда внушали русским писателям убеждение, что создаваемая ими литература обязана сказать новое слово миру. Об этом говорили уже Гоголь, Герцен, Белинский, в начале XX в. на этом настаивал Горький, когда писал (1908 г.): «Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром признанных книг... при таких неописуемо тяжких условиях... нигде на протяжении неполных ста лет не появлялось столь яркого созвездия великих имен, как в России, и нигде не было такого обилия писателей-мучеников, как

[26] В русской литературе все еще сохраняет значение библиографический указатель К. Муратовой и Е. Приваловой «Мировое значение русской литературы и русского искусства» (1945), но его необходимо пополнить весьма многими работами, вышедшими за последние три десятилетия. Ряд новых существенных данных о распространении русской классической литературы за рубежом во второй половине XIX в. (в частности, о Достоевском) помещен в сборнике под редакцией А. Л. Григорьева «Русская литература и мировой литературный процесс» (1973).

[27] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 20. С. 19.

у нас». Одну из исторических особенностей русской литературы тот же Горький видел в том, что в России литература создавалась при «молчаливой помощи народа» и в его интересах, русские писатели как бы говорили: «Народ вдохновлял нас, любите его!». В нашей литературе, по его словам, «чаще <...> чем в других, возглашалось общечеловеческое, — значение русской литературы признано миром, изумленным ее красотою и силою...».[28] Эти традиции продолжают развиваться и в советской литературе.

На эти самые особенности русской литературы, свидетельствующие о ее действительном своеобразии, обращали внимание и наиболее дальновидные и чуткие из европейских критиков. Идейное богатство русской литературы, ее демократический колорит и гуманистическая направленность отчетливо сознавались также многими ее европейскими читателями. Свои впечатления они выражали различными понятиями, сущность которых родственна, несмотря на их словесное различие. Для иных, например, своеобразие русской литературы заключалось в свойственном ей чувстве жалости и сострадания, для других — в уважении к человеку, в стремлении к социальной справедливости, в полной искренности; третьи видели источник ее очарования — в ее героическом характере, в неустанном искании правды. Суть не в этих частных определениях, а в покрывающем их более общем суждении: русская литература действительно отразила общеевропейское значение русского исторического развития. Установление закономерностей этого процесса на европейском и мировом фоне, в связи с общим ходом мировой культуры, составляет весьма привлекательную научную задачу, которая, я надеюсь, будет решена совместно усилиями ученых как в нашей стране, так и в других странах современного мира.

---

[28] *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 64, 65.

ЮБИЛЕЙНЫЕ РЕЧИ

СЛОВО О ТУРГЕНЕВЕ

Исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Наша страна, а с ней вместе и все просвещенное человечество отдают дань благодарной памяти и уважения великому художнику русского слова, ставшему выдающимся и прославленным мастером всей европейской литературы XIX столетия. Нас охватывает при этом чувство особой народной гордости: Тургенев был одним из первых русских писателей, заслуживших поистине мировую известность. Именно он вывел русскую литературу на широкий простор международного признания.

За ним по той же восходящей дороге славы вскоре пошли другие русские писатели, быстрее завоевавшие еще более ярко сияющие венцы и получившие более громкие имена, — Лев Толстой, Достоевский, Чехов, позже — Горький, но Тургенев был их общим предтечей на этом пути, и от понимания его и любви к нему зависело многое в приятии всех тех, кто шел за ним следом. Кроме того, именно он сумел увлечь зарубежных читателей произведениями тех русских авторов, которых считал своими учителями и перед которыми преклонялся сам: так, свободно владея всеми европейскими языками, он деятельно знакомил Западную Европу с Пушкиным, Гоголем, Белинским, Лермонтовым; не говорим уже о его успешных стараниях представить читателям европейских стран и младшее поколение современных ему русских писателей.

Деятельность Тургенева по ознакомлению Европы с нашей отечественной литературой, старой и новой, была длительна, обширна и плодотворна. Он сообщил богатырскую силу русскому литературному языку, могучему, правдивому, свободному, и сумел превратить его в орудие тончайшей артистической мысли. Целую толпу разноплеменных переводчиков он научил пользоваться им и воспринимать его во всем его богатстве, все время хлопоча о переводах на разные языки собственных или чужих произведений русского художественного слова, стихотворных и прозаических, во всех литературных жанрах, заново претворенных и усовершенствованных им самим. Это был целый новый мир русских образов, дотоле оста-

вавшийся недосягаемым, неведомым, недостаточно оцененным, открытие которого сулило неизведанную радость.

Читатели разных концов Европы ответили на это чувствами признательного восхищения, увидев в Тургеневе представителя поистине великой литературы. Его же собственные произведения, от «Записок охотника» до повестей и романов включительно, они восприняли особенно сочувственно, справедливо усматривая в Тургеневе не только изобразителя нравов, приоткрывшего для них неизвестный ранее уголок чужой жизни и человеческих отношений, но и мыслителя и выдающегося художника, которому в высокой степени присущи были особая мягкая доброжелательность и не столь часто встречавшееся у писателей этой эпохи полноводье гуманистических чувств.

Мы называем бессмертными произведения мировой литературы, против которых бессильно и время, и пространство, произведения, которые смогли преодолеть расстояния, государственные границы, национальные отличия, языковые преграды. Именно такими оказались книги Тургенева и прежде всего «Записки охотника», все романы, многие пьесы, повести, речи и очерки, «Стихотворения в прозе». Они стяжали всемирную славу, потому что трепетно отозвались в сердцах миллионов читателей разных стран. Ими зачитывались, их любили на всем протяжении обитаемой земли; кажется, не оставалось такого уголка, куда бы не проникли они рано или поздно, — от Исландии и Норвегии до Пиренеев и африканских пустынь, от балканских гор и средиземноморских берегов до островов Японского моря или многолюдных городов американского континента. Когда-нибудь мы будем знать полнее и подробнее, чем знаем в настоящее время, весь сложный, а подчас и противоречивый процесс постепенного распространения произведений Тургенева по всему миру. Но и сегодня мы ощущаем, уже весьма явственно, что этих произведений не коснулось время, что их литературная жизнь будет еще продолжаться и продолжаться.

В эти торжественные дни, когда вспоминается прожитая Тургеневым жизнь и подводится некоторый итог изучению творческого наследия этого поистине «знаменитого» русского писателя, естественным представляется вопрос о том, как же сложилась его всесветная слава, чем была она вызвана, как и почему стала возможной столь долгая жизнь его произведений во многих поколениях разноязычных читателей.

Мы еще не в состоянии осветить все стадии этого процесса — слишком широко раздвинулись рамы открывающейся нам картины и слишком изобильны относящиеся сюда факты, требующие раздельного и подробного истолкования. Но многое для нас уже ясно и бесспорно. Кое-что объяснил нам и сам писатель.

Задумываясь над тем, почему заслужил он такое сочувствие и признательность современников, Тургенев неоднократно применял к себе, лишь слегка их видоизменяя, известные стихи из пролога к драме Шиллера «Валленштейн»:

Кто жил для лучших людей своего времени,
Тот жил для всех времен!

В самом деле, все его интересы и замыслы всегда и всецело были сосредоточены на важнейших задачах времени, шли навстречу самым жгучим проблемам злободневности. Он изучал действительность в самых характерных и типических ее проявлениях, быстро и зорко улавливая в ней новые черты социальной жизни, стремясь понять ее в движении, во всех ее противоречиях, в борьбе.

Характерную особенность творческой личности Тургенева составляло не раз отмечавшееся критиками уменье быстро отозваться на все то новое в текущей действительности, в чем усматривал он зерно будущего развития, на всякую благородную мысль, только начинавшую проникать в общественное сознание; именно это «чувство нового» в его зорких наблюдениях делало все его произведения «злободневными» в самом лучшем и всеобъемлющем значении этого слова. Историческое значение его литературного творчества, ответившего на все основные вопросы и задачи своего времени, не могли поэтому не признать наиболее проницательные из его современников. И в некрологе Тургеневу Салтыков-Щедрин имел полное право отметить: «Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение». В написанном позже письме к П. В. Анненкову тот же Щедрин вспоминал слова Михайловского по поводу смерти Тургенева: «...если он даже ничего больше бы не написал, то и в таком случае он был нужен для литературы, имя его было нужно, присутствие».

После смерти Ивана Сергеевича московское Общество любителей российской словесности предполагало устроить открытое заседание, посвященное оценке его деятельности, и обратилось к Л. Н. Толстому с просьбой прочесть посвященный Тургеневу доклад. Московские власти, однако, не разрешили этого заседания — слишком сильна была ненависть к покойному писателю правящей клики и самого царя, так явственно высказанная в облетевшей всю мыслящую Россию презрительной фразе самодержца при известии о кончине Тургенева: «Одним нигилистом меньше!».

Выступление Толстого не состоялось, хотя он долго готовился к нему. Но многое из того, что он думал о Тургеневе, Толстой высказал позже: «Главное в нем — это его *правдивость*... Тургенев хорошо говорит всегда то самое, что он думает и чувствует... И потому воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в произведениях своих высказывал то, что он нашел, — все, что он нашел». Правдивость, веру в красоту, любовь и самоотвержение — вот что Толстой увидел в произведениях Тургенева. И нет необходимости сейчас лишний раз упоминать о том, что столько раз справедливо вменялось ему в общественную заслугу современниками и потомками. Самоотверженная борьба против крепостничества, против всего строя жизненных отношений, крепостничеством порожденных; горячее искреннее со-

чувствие обездоленным крестьянам, впервые в «Записках охотника» показанным во всех особенностях и привычках, во всем многообразии их чувств и переживаний; взволнованное внимание ко всем идейным движениям русского общества снизу доверху — все это давно и неоспоримо обеспечило Тургеневу почетное место среди русских писателей.

Конечно, и ему, как и многим другим его современникам, свойственны были противоречия в идейном и творческом плане. Но сказать это все о Тургеневе, значило бы сказать общеизвестные вещи и в то же время не сказать о том, что отличало его от других художников той эпохи. Его современники и сами порой не знали, как определить это ему одному присущее свойство, неизгладимой печатью отметившее каждую написанную им страницу. М. Е. Салтыков-Щедрин писал П. В. Анненкову по прочтении «Дворянского гнезда»: «Я давно не был так потрясен, но чем именно — не могу дать себе отчета». Испытанное им волнение внушило ему тут же написанные им строки, вступившие, казалось бы, в противоречие с мироощущением самого великого русского сатирика: «Что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора? Но ведь это будут только общие места, а это, именно это впечатление оставляют после себя эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это начало любви и света, во всякой строке бьющие живым ключом». Нет, заключал писатель, «чтобы и эти общие места прилично высказать, надобно самому быть поэтом и впадать в лиризм».

Речь шла, таким образом, об индивидуальных особенностях Тургенева, писателя-художника, о которых нельзя забывать, рассуждая, почему так сильно воздействовали его сочинения на читателей. Английский писатель Джон Голсуорси, испытавший в своем творчестве неотразимое обаяние произведений Тургенева, считал его величайшим поэтом, писавшим прозой. Высказывая эту мысль, Голсуорси не знал, что она уже была высказана за полвека до того русским поэтом Н. А. Некрасовым. «Ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе. И ты одним из новых владеешь формой — другие дают читателю сырой материал, где надо уметь брать поэзию», — писал Некрасов Тургеневу еще в 1850-е гг., в ту пору, когда только что появился «Рудин». Сходные суждения высказывал также Герцен. Вдохновенно разъясняя западным читателям в своей книге «О развитии революционных идей в России» историческое значение русского освободительного движения, Герцен, как все помнят, залог великого будущего своего отечества видел, в частности, в русской литературе, в творчестве и мыслях русских писателей, и упомянул здесь о «Записках охотника» как о «шедевре Тургенева». Позже, но еще до выхода «Отцов и детей», он назвал Тургенева «величайшим современным русским художником». Такую же оценку высказал и другой видный революционный деятель, П. А. Кропоткин, встречавшийся с Тургене-

вым в Париже незадолго до его смерти. Вернувшись в Россию из эмиграции, П. А. Кропоткин писал в дни празднования столетия со дня рождения великого писателя: «Мало сказать, что Тургенев был величайший художник среди романистов своего века. Такого совершенства архитектуры романа не достиг, если не ошибаюсь, ни один из романистов». Только великие художники, по словам Кропоткина, обладали равной ему способностью «при помощи поразительной скромности средств и с удивительной интимностью и лиризмом характеризовать целую полосу в развитии исторической жизни страны».

Таким образом, величие Тургенева как писателя его современники усматривали не только в том, что он затрагивал важнейшие, злободневнейшие вопросы своей стремительной и кипучей эпохи, но и изобразил то, что видел, с неповторимой художественной силой: о родине, о своей стране, о своем народе он писал с таким мастерством и проникновенностью, как это удавалось лишь очень немногим. Недаром его произведения неотразимо действовали и на тех, кто никогда не бывал в России, кто не видел ее природы, изображенных им русских крестьян, представителей городской интеллигенции. Для западных читателей прочесть Тургенева значило иногда больше, чем побывать в России и увидеть ее собственными глазами. Недаром же по Тургеневу долго представляли себе нашу страну во многих других краях земли, как потом это было по Толстому, по Достоевскому, по Чехову и по Горькому. Достаточно напомнить здесь некоторые ранние письма Флобера к русскому писателю или те страницы, которые посвятили Тургеневу в своих воспоминаниях А. Доде или Мопассан. Э. М. Вогюэ в своей знаменитой книге о русском романе приводил не раз высказанное ему суждение И. Тэна: «Тургенев был одним из самых совершенных художников, какими обладал мир после художников Греции».

Все это в достаточной мере объясняет широкую популярность творчества Тургенева во всем мире. Иные из критиков прямо искали в нем ответы на многие вопросы об историческом пути и грядущих судьбах его родины. «Он ввел совершенно новый, чуждый элемент в европейскую литературу: от него ожидали объяснений той загадки, которая называется Россией», — утверждал Юлиан Шмидт, стараясь понять причины успеха Тургенева среди зарубежных читателей. Иные подчеркивали в особенности то, что Тургенев ввел в мировое общественное сознание образы русского крестьянина, русского революционного деятеля, образы русских образованных людей, в частности, образованных женщин. Чаще всего зарубежные критики Тургенева говорили, однако, о художественном совершенстве его созданий. Французская писательница Ж. Санд писала Г. Флоберу о Тургеневе: «Какой талант! И до чего своеобразный и могучий! Я нахожу, что за рубежом пишут лучше, чем мы!». Прочтя «Вешние воды», она заключала: «...кажется, что находишься в прекрасном, залитом солнцем саду». Самому же Тургеневу, которого она знала близко, та же Ж. Санд писала: «Все должны учиться у вас, все без исключения...».

Таких учеников — прямых и косвенных — среди писателей Запада было много во всех странах света: официально признали себя ими француз Ги де Мопассан, испанец Перес Гальдос, американец Г. Джеймс и другие, но последний, в частности, при всем своем благоговейном отношении к Тургеневу долго не мог понять, почему учителю не нравились произведения его ученика: «Русский писатель ставил выше всего дух правдивости, а то, о чем я писал, не соответствовало этому принципу. Очевидно, он не считал мои произведения подходящей пищей для человека. В них форма превалировала над содержанием <...> Уж очень много было в них <...> цветочков и бантиков».

Действительно, в своем искусстве повествователя Тургенев поражал всех своим чувством соразмерности, простоты и гармоничности, которые воспитаны были им долговременным изучением всех искусств, в особенности музыки и живописи. В юношеском дневнике Ромена Роллана среди записей о прочтенных им книгах русских писателей — Герцена, Достоевского и в особенности любимого им Толстого — есть следующий интересный отзыв о «Записках охотника»: «Взволнованная, свежая, блистательная любовь к природе. Все виды лесов и птиц. Чудесная галерея современных портретов. Это материал для тех душ, которые Толстой бросает в необъятное, всемирное действие. Большая точность, никогда не рассеивающаяся, всегда сосредоточенная с большим уменьем, из каждого рассказа мог бы выйти целый роман Толстого». Трудно было бы что-нибудь возразить против этого тонкого суждения.

Европейская и — шире — мировая слава Тургенева складывалась на протяжении десятилетий. В истории распространения его произведений по всему миру были свои приливы и отливы: не всякое произведение приносило ему за рубежом (как и на родине) неизменный успех и чаще всего обозначало особую фазу отношений к нему критиков и читателей. Но в отдельных литературах были зато целые периоды, отмеченные его именем. Так, например, в датской литературе под воздействием критика Г. Брандеса сформировалась целая «школа Тургенева» из молодых беллетристов, учившихся у него искусству письма; так было в Японии, где стараниями критика и переводчика Хасэгавы Фтабатэя начали появляться реалистические романы, созданные под влиянием Тургенева и Гончарова. Фтабатэй был первым переводчиком «Рудина» на японский язык и сам написал роман о «лишнем человеке» в Японии «Плывущее облако», безусловно стоявший в прямой зависимости от романов Тургенева. Во многих литературах мира появились собственные романы о своих «отцах и детях», о передовых деятелях национального освобождения,— вспомним, с какой любовью в Болгарии читали «Накануне» Тургенева; почти в каждой из этих литератур можно найти своих Лаврецких, Базаровых или Нежданов, целую галерею женских образов во главе с Еленой и Марианной. Книги Тургенева находили своих читателей и ценителей везде, где

их суровая правда и мужественное даровитое слово в состоянии были звать вперед, учить новому отношению к жизни и труду, вызывать ненависть к притеснению и гнету.

Неудивительно, что такое воздействие произведений Тургенева продолжалось долго и продолжается и доныне. Американский писатель Синклер Льюис в предисловии к новому изданию «Отцов и детей» Тургенева в английском переводе, вышедшем в 1943 г., писал, что, с его точки зрения, в духовном облике Базарова нет ничего, что представлялось бы архаичным или наивным для нашего времени, и что для него самого роман Тургенева столь же современен, как и произведения О'Нила или Хемингуэя.

А вот еще один, последний пример. Когда в Каире в 1945 г. появился роман «Новь» на арабском языке, переводчик-египтянин упомянул, что «этот роман лучше всех показывает наши пороки и недостатки, он открывает нам глаза на то, что принесет пользу в нашем национальном движении». Поэтому переводчик пошел даже на целый ряд изменений русского текста, чтобы еще больше приблизить его к египетской действительности того времени.

Будучи сам человеком мягким, податливым, даже нерешительным, Тургенев, однако, как нередко бывает, в особенности ценил не пассивное, а героическое начало в человеке. Тургенев признавался, что он придает особое значение умению чутко улавливать и воспроизводить «мгновенья перелома, мгновенья, в которые прошедшее умирает и зарождается нечто новое; горе тому, кто не умеет их чувствовать — и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело». Об этом нельзя не вспомнить, когда мы пытаемся определить отношение Тургенева к революции и к русскому революционному движению, которое он наблюдал в последнее десятилетие своей жизни.

Стоит подчеркнуть, что представление о революции ассоциативно связывалось у него с молодостью и чувством любви. В своих «Вешних водах» он писал: «Первая любовь — та же революция — однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, — и что бы там впереди ее ни ждало, — смерть или новая жизнь — всему она шлет свой восторженный привет». Сам Тургенев не был революционером в прямом значении этого слова, но он ближе многих других писателей подошел к пониманию русского революционного деятеля своего времени. Не забудем, что это он создал знаменитое стихотворение в прозе «Порог», где изображена героическая русская девушка, готовая отдать свою жизнь революционному делу, и что это небольшое произведение в русской легальной печати могло увидеть свет только в 1905 г. В написанной П. Ф. Якубовичем прокламации от имени революционеров-народовольцев, распространявшейся в Петербурге ко дню похорон Тургенева, отмечалось, что покойный писатель «был правдивым и честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений,

певцом их беспримерного, чисто русского идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы, то страшных сомнений, то беззаветной готовности на жертву. Образы Рудина, Инсарова, Елены, Базарова, Нежданова и Маркелова — не только живые и выхваченные из жизни образы, но, как ни странным это покажется с первого взгляда, — это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь».

В заключительной сцене последнего романа Тургенева «Новь» Марианна над бездыханным телом Нежданова соединяет свою руку с рукой Соломина. Этот жест некоторые критики справедливо не только считали символическим, но причисляли его даже к одному из самых глубоких и проникновенных художественных обобщений Тургенева. Марианна соединяла свою жизнь не только с сознательным борцом за будущее, но и с морально здоровым, не изломанным человеком. «Такие как он — они-то вот и суть настоящие, говорил о Соломине Паклин. Их сразу же раскусишь, а они настоящие, поверьте, и будущее им принадлежит. Теперь только таких и нужно! Вы смотрите на Соломина — умен как день и здоров — как рыба... Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием — так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше, а ненавидит он то, что мы ненавидим, да нервы у него молчат — и все тело повинуется как следует... Значит молодец». В этих словах не только заключено объяснение развязки романа; представляется, что когда писатель создавал ее, он смотрел далеко вперед и прозревал будущее.

Но, пожалуй, еще более удивительной представляется нам другая, побочная, лишь слегка намеченная Тургеневым фигура — друга и помощника Соломина — фабричного рабочего Павла. Самостоятельный, энергичный, трезво, но широко смотрящий на жизнь, Павел тоже мечтает о лучшем будущем: «Хорошо, кабы не было господ и земли все были бы наши — чего бы лучше».

В одном из писем Тургенева, посланных из Парижа в конце декабря 1876 г., есть такое признание писателя об этом лишь эскизно намеченном им лице: «Быть может, мне бы следовало резче обозначить фигуру Павла, соломинского фактотума, будущего народного революционера: но это слишком крупный тип — он станет со временем (не под моим, конечно, пером, — я для этого слишком стар, и слишком долго живу вне России) — центральной фигурой нового романа». К этим словам нельзя не прислушаться, они содержали в себе удивительное историческое предвидение. И кстати, надо добавить, что мы лишь недавно прочли эти слова в подлинном виде.

В письме, из которого мы привели цитату и которое впервые напечатано было только в 1892 г., цензура не допустила слов «народного революционера» и заменила их другими — «будущего деятеля», отчего они и потеряли смысл. Таким образом, Тургенев уже в 1876 г. был уверен, что центральной фигурой нового романа станет народный революционер. Этот роман действительно был напи-

сан, но лишь в ходе первой русской революции 1905 г., и появился он из-под пера Горького.

Тургенев принадлежит к числу тех писателей, без которых немыслима история русской литературы. Он прожил долгую и трудную жизнь и знал всех выдающихся людей своего времени. Он начал свою деятельность как современник Пушкина, которого он лишь однажды видел живым, и кончил ее, думая о будущем России и грядущих поколениях. Наследие Тургенева принадлежит советскому народу. Оно живо и нужно нашему народу, потому что оно бессмертно. Провозгласим же дружно вечную славу великому русскому писателю!

ДОСТОЕВСКИЙ И ПУШКИН

Различия, возникающие в восприятии любого художника слова его соотечественниками и читателями другого языка, заключаются прежде всего в том, что у тех и других находятся перед глазами разноязычные тексты какого-нибудь художественного произведения, не всегда совпадающие друг с другом. Это существенная, но, вероятно, не главная причина расхождения в критических оценках тех или иных художественных произведений читателями, говорящими и думающими на разных языках. Причины этого явления многочисленны и разнообразны. Различие культурной среды, породившей памятник литературы, и воспринимающего его иноземного читателя (заставившее еще Гете сказать, что для понимания поэтического произведения необходимо побывать в стране, где оно создалось), противоречивые ощущения исторического опыта, органические недостатки критического метода, власть национальных эстетических вкусов или традиций и т. д. — все это, порой в очень сложных сочетаниях, предопределяет своеобразные искажающие оценки иноземного художественного слова и во всяком случае иногда довольно резкие несовпадения в восприятиях выдающихся писателей на их родине и за ее пределами. В особенности же важно то, что любой писатель воспринимается его иностранными читателями в некоей искусственной изоляции от создавшей его исторической и литературной среды, получает значение вневременного явления, сопоставляемого не с его современниками или предшественниками, но с писателями близкими, знакомыми для данного читательского круга. В иностранных восприятиях такой писатель похож на горную вершину, которой можно любоваться издали, но к которой трудно найти настоящие пути.

Я имею основания думать, что в несходных и даже парадоксально несходных восприятиях Достоевского читателями различных стран немалую роль играет именно это обстоятельство. Эти читатели обладают различной мерой идейного и эстетического опыта для сопоставления Достоевского с другими русскими писателями и оценок его на общем фоне истории русской литературы, потому что и эта история складывается в их понимании не одинаково. Конечно, русская литература XIX в. в настоящее время довольно хорошо известна читателям Достоевского в разных странах, но соотношения между ним и другими русскими писателями, например, Тургеневым

или Львом Толстым, представляются нерусским читателям иными, чем для соотечественников Достоевского. Удивительно при этом, что в данном случае наиболее непонятным, чужим, недостаточно истолкованным является то, что важнее и прежде всего следовало бы сопоставить с Достоевским, то, что он сам считал настоящими истоками своего творчества и школой своего мастерства. Так представляется мне проблема: Достоевский и Пушкин — одна из важнейших, с моей точки зрения, для правильного понимания того, что такое Достоевский в истории русской и советской литературы.

Художник в Достоевском был неизмеримо важнее, гениальнее, чем публицист. Стремительный рост самого Достоевского, а также его преобразующее воздействие на русскую и всемирную литературу нельзя объяснить без учета творческого усвоения им наследия Пушкина.

Знаменательно, что среди всех старших своих современников — Пушкина, Лермонтова, Гоголя — писателей, сыгравших крупную роль в его писательском воспитании, во главе всех своих учителей Достоевский ставил именно Пушкина. Это было одно из немногих душевных увлечений Достоевского, сохранивших над ним свою силу в продолжение всей его жизни. Это был благоговейный культ, поклонение, которому он не изменил ни разу.

В отрочестве Достоевский знал наизусть целые поэмы Пушкина. Пушкин был убит, когда Достоевскому исполнилось 16 лет, — и юноша Достоевский хотел носить траур по умершему поэту. Одним из первых написанных Достоевским драматических произведений была не дошедшая до нас трагедия «Борис Годунов», от которой ясно различимые нити тянутся к основной проблеме «Преступления и наказания». В первой повести его, обратившей на себя внимание русских читателей, «Бедные люди», создавая своего героя, униженного и оскорбленного, он воздал хвалу Пушкину как автору повести о «Станционном смотрителе» и подчеркнул эту зависимость рассказа о станционном смотрителе в самом тексте своего произведения. Вообще следует сказать, что произведения и образы Пушкина не только часто цитируются и упоминаются в текстах самого Достоевского всех жанров — повестях, романах, статьях, письмах, — но что из всех русских писателей XIX в. Достоевский говорит о Пушкине чаще, чем кто-либо другой, даже больше, чем Тургенев, также считавший Пушкина своим великим учителем, и неизмеримо чаще, чем Толстой. Нужно прямо признать, что Достоевский был одним из величайших русских толкователей Пушкина и что из всего того, что Достоевский написал о Пушкине, можно было бы составить одну из увлекательных книг, которая говорила бы о самой сути, о самом сердце русской литературы.

В герое «Игрока» — отчасти и в Раскольникове в «Преступлении и наказании» имеются прямые соответствия образу Германна в «Пиковой Даме». Образ князя Мышкина в «Идиоте» связан с истолкованием одного из стихотворений Пушкина о бедном рыцаре, и это удивительное русское стихотворение Достоевский вписал полностью в свой роман. Заметим, кстати, что это один из тех слу-

чаев, когда Пушкин становился известен зарубежным читателям через посредство Достоевского. Еще удивительнее, что Достоевский совмещал в себе увлечение этим замечательным пушкинским стихотворением, в котором, по его словам, «поэту хотелось совокупить в один чрезвычайный образ все огромное понятие средневековой рыцарской платонической любви какого-нибудь чистого высокого рыцаря и напряженную заинтересованность „Египетскими ночами" Пушкина — произведением, в котором сплетены в одно жуткие сцены тайно исступленной и жестокой страстности, героического пренебрежения к жизни и страшной власти красоты». Один из критиков заметил, что Пушкин сумел сосредоточить в стройных ямбах «Египетских ночей» настоящую раскаленную атмосферу «карамазовщины». Споры, развернувшиеся по поводу «Египетских ночей», заставили Достоевского взглянуть на пушкинскую поэму совершенно иначе, чем ее трактовали раньше нечуткие и близорукие критики. Для выяснения импульсов, полученных Достоевским-художником от нового прочтения Пушкина, краткие страницы, посвященные «Египетским ночам», не менее важны, чем и знаменитая речь на пушкинских торжествах. А в набросках своей речи о Пушкине, произнесенной, как известно, незадолго до своей смерти, Достоевский писал: «Не было бы Пушкина — не было бы и последовавших за ним талантов»; вся русская литература от него идет и к нему стремится.

Можно сослаться здесь еще на одно заслуживающее внимания наблюдение, сделанное новейшими советскими исследователями Достоевского. Все читатели Достоевского хорошо знают его повесть «Двойник». Она появилась в печати в 1846 г., но пятнадцать лет спустя Достоевский задумал исправить ее текст, переписать и издать заново в новом виде. При этом писатель сообщил брату, что «это исправление, снабженное предисловием, будет стоить нового романа». «Серьезнее этой идеи я никогда не проводил». Рукописи «Двойника» в исправленном виде сохранились, но слова Достоевского оставались загадкой, тем более что впоследствии Достоевский признал, что исправления ему не удались. В чем же заключалась новизна, которую ставил перед собой писатель? Ключ, вероятно, нашелся в измененном подзаголовке «Двойника» — «Петербургская поэма»: оказалось, что «Двойник» в новой редакции сблизил героя повести Достоевского Голядкина с героем поэмы Пушкина «Медный всадник» Евгением. Как раз в это время, в конце 1850-х и начале 1860-х гг., Достоевский усиленно думал о Петербурге, о петербургском периоде русской истории, о Петре I, о «Медном всаднике», о Пушкине. На страницах романа «Униженные и оскорбленные» в 1861 г. на фоне туманных улиц Петербурга, над сердитыми, поливаемыми дождями прохожими, над черным куполом петербургского неба встает «памятник, освещенный снизу газовыми рожками» — «Медный всадник», и воспринимается он у Достоевского в повести не так, как того хотел создатель памятника, скульптор Фальконе, — не как добрый гений, простирающий десницу для благословения города и страны, а так, как он был изображен Пушки-

ным, как символ грозной, немилостивой силы, враждебной бедным людям. Достоевский как раз в это время заметил, что конфликт, изображенный им в «Двойнике», который он переделывал, родствен тому конфликту, который лежит в основе «Медного всадника» Пушкина. Именно это, вероятно, имел в виду Гроссман, когда он в 1918 г. писал, что психологические нити, различные по густоте, тянутся от безумца-Евгения Пушкина к Голядкину, от «Скупого рыцаря» Пушкина к Долгорукому, от Троекурова к Федору Карамазову, — все это — превращение первоначальных пушкинских образов в трагические маски Достоевского. Идейный убийца Сальери (в драме Пушкина «Моцарт и Сальери») с его нерешенной проблемой о гении-злодее так же возвещает Раскольникова как пушкинский Пимен из Бориса Годунова — Зосиму Достоевского.

В первой книжке своего нового журнала «Время» в январе 1861 г. по поводу споров, возникавших тогда о Пушкине в русском обществе, Достоевский писал малоизвестные и не часто цитируемые слова, из которых видно, что в своих творческих планах и исканиях он уделял Пушкину все большее внимание. Достоевский писал: «Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он — живое уяснение во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы и какой именно идеал русского человека». «Мы поняли в нем, что русский идеал — всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились им во всей полноте, явились как факт законченный и целый <...> С общечеловеческим элементом, к которому так жадно склонен русский народ, он, мы уверены, наиболее познакомится через Пушкина».

Удивительно, что цитированные слова выражают главные тезисы знаменитой речи о Пушкине, произнесенной в Москве при открытии памятника Пушкину 8 июня 1880 г., т. е. двадцать лет спустя. В известном смысле они для нас важнее и показательнее, чем эта речь: в последней были преувеличения, лишние, спорные слова, сказанные по поводу боровшихся политических партий бурной эпохи начала 1880-х гг. Приведенные же слова Достоевского из его журнальных статей начала 1860-х гг. были объективны и, кроме того, обнаруживают, что, давая свою оценку Пушкину, он вдохновлялся также мыслями таких русских критиков, как Белинский и Аполлон Григорьев. Говоря, что мы поняли в Пушкине, что русский идеал — «всецелость, всепримиримость, всечеловечность», Достоевский повторял Белинского. Прав был Белинский, когда он говорил о Пушкине как о нашем величайшем европейце, сумевшем перевоплотить в своем творчестве гении всех народов. А до Достоевского только Ап. Григорьев сказал: «Пушкин — это наше все. Это единственный полный очерк нашей народной личности».

Я не буду касаться знаменитой речи Достоевского о Пушкине, так как она достаточно хорошо известна. Я хотел бы лишь подчер-

кнуть несколько деталей. В июне 1880 г. Достоевский писал (Софье Толстой), что речь его была понята превратно и неполно, и называл две главные ее идеи: 1) «всемирная отзывчивость Пушкина и способность совершенного перевоплощения его в гении других наций — способность, не бывшая еще ни у кого из самых великих всемирных поэтов, и 2) то, что способность эта исходит совершенно из нашего народного духа, а стало быть, Пушкин в этом-то и есть наиболее народный поэт. Как раз накануне моей речи Тургенев даже отнял у Пушкина в своей опубликованной речи значенье народного поэта».

Таким образом, Достоевский по-своему считал, что Тургенев, объявлявший себя учеником великого Пушкина, на самом деле его не понимал. Другой великий современник Достоевского — Л. Толстой, как известно, на пушкинском празднике не присутствовал, отрицая подобные публичные торжества вообще. Достоевский также утверждал, что поскольку «Пушкин дал нам все формы искусства», и Л. Толстой является лишь учеником Пушкина. Он писал Н. Страхову (24 марта 1870 г.): «Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно сказать! Явиться с „Арапом Петра Великого" и „Повестями Белкина" — значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до сих пор не было нигде и никогда сказано. Явиться же с „Войной и миром" — значит явиться после этого нового слова — уже сказанного Пушкиным». Речь Достоевского на пушкинском торжестве была встречена с энтузиазмом. Восхищенные слушатели к концу заседания венчали лавровым венком победителя этого трудного состязания. Вечером на заключительном концерте Достоевский декламировал знаменитое стихотворение Пушкина «Пророк» — с такой напряженной восторженностью, что жутко было слушать, когда он призывал:

Глаголом жги сердца людей!

В ту же ночь Достоевский положил поднесенный ему венок к памятнику Пушкина. Жена писателя вспоминает то, что рассказывал об этом сам Достоевский: «Он был один. Ночь была теплая, но на улицах никого не было. Подъехав к площади, на которой стоял памятник, Федор Михайлович с трудом поднял поднесенный ему на утреннем заседании, после его речи, громадный лавровый венок, положил его к подножию памятника своего великого учителя и поклонился ему до земли».

Несколько месяцев спустя Достоевский умер.

Чем можно объяснить эту, на первый взгляд, загадочную, необъяснимую привязанность, любовь, страсть — назовите ее как хотите — к Пушкину, которую Достоевский пронес сквозь всю свою жизнь непоколебленной и неповрежденной? Скорее всего, Пушкин привлекал его как недостижимая противоположность по духу. По существу своему дисгармоничный, противоречивый, фатально-раздвоенный, вечный двойник и человек из подполья, он прежде всего ценил в Пушкине недосягаемые для него высоты земного спокойствия,

воздушной ясности и гармонической цельности. Быть может, прозрачными потоками живой воды пушкинского родника он часто стремился излечиться от всех воспаленных недугов своего воображения и мысли. Этим может объясняться также и то, что Достоевский считал Пушкина поэтом будущего, вспоминал, вероятно, то, что о Пушкине сказал однажды Гоголь: «Пушкин — это русский человек в его конечном развитии, каким он может быть явится через двести лет».

В 1930 г. Горький, говоря, что «старая русская литература объединяет весь культурный мир», и сославшись на влияние Достоевского, «все более растущее в Европе», между прочим говорил: «Я предпочел бы, чтобы культурный мир объединен был не Достоевским, а Пушкиным, так как колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоровляющий». Мои мечты и надежды не идут столь далеко, поскольку пока не исполнимы и поскольку я вовсе не хочу подменить одного писателя другим. Пусть оба они останутся живыми в нашем Пантеоне. Но пусть критики и читатели чаще изучают, чем Достоевский близок Пушкину. Без этого мы никогда не поймем по-настоящему, чем столь велик для нас Достоевский-художник.

ВСЕСВЕТНАЯ СЛАВА ТОЛСТОГО

Лев Толстой оставил двадцатому веку великое художественное наследие, вошедшее в сокровищницу мировой мысли и искусства еще при его жизни. Едва ли в предшествующем столетии, к которому он принадлежал по своему рождению и по основной части всего им написанного, существовал другой писатель, который мог бы сравниться с ним по той быстроте, с которой европейская известность Толстого, возникшая на рубеже двух веков, превратилась во всемирную славу: голос замечательного писателя, сказавшего свое яркое, острое, бесстрашное слово, продолжал звучать еще несколько десятилетий, все громче и призывнее, пока не стал слышен во всех концах земли. С тех пор всесветная слава его творческой мысли и воли не имела себе равных.

Как совершилось это превращение русского писателя в одного из величайших писателей человечества? Почему не ослабевал, но непрерывно усиливался интерес к его произведениям, когда бы они ни были напечатаны, восхищение и увлечение всеми созданиями его пера? В чем заключалась тайна их бессмертия и неувядаемости? Нельзя сказать, что подобные вопросы не задавали себе его младшие современники, на глазах которых росла его международная известность и возрастал его авторитет как проповедника и борца; многие из них, в первую очередь писатели и критики, оставили об этом многочисленные и ценные свидетельства, признания, размышления и догадки. Все это продолжают собирать и изучать их потомки, но работа их еще не закончена; слишком велики и всеобъемлющи оказались рамы для открывающейся наблюдателям яркой картины, слишком противоречивы казались также ответы на предлагавшиеся вопросы.

В самом деле, понятия международной известности или процесса сложения устойчивой литературной репутации могут быть недостаточно ясными и противоречивыми, если мы не знаем, о чем преимущественно идет речь: о произведениях ли писателя, или о нем самом как об их создателе. Именно такую неясность ощущали в различное время и толкователи Толстого, не умея или не будучи в состоянии объяснить, что создает ему славу — художественное ли совершенство его произведений или гневные слова обличителя, пророка и проповедника, художника и мыслителя-публициста. Но именно эту ошибку не делали по отношению к нему русские пи-

сатели, его младшие современники, которые шли по предуказанной им дороге. Примерами могут служить такие русские писатели, как А. Чехов и Горький, в отношениях которых к Толстому-писателю и человеку было много общего. Чехов хотя и не разделял некоторых утверждений Толстого, но всегда был полон интереса к нему как к человеку, мыслителю и художнику. Для Чехова Толстой был «не Человек, а Человечище» — с большой буквы и в превосходной степени, рядом с которым «не страшно» было жить и творить. Но в то же время Чехов тонко и прозорливо ценил Толстого как великого мастера и художника, учителя литературы его поколения. Для Горького Толстой также был всеобъемлющим существом. Он называл его «не по человечески умным и жутким» — «человеком человечества». «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней», — думал Горький вслед за Чеховым. Когда же Толстой умер, Горький писал, что никогда не случалось ему «плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю, — любил ли я его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное ими, принимало формы, которые не подавляли, а как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой».

На глазах Чехова и Горького Толстой, «взрывая душу», из великого русского художника превращался в великого русского Человека, воспитанного, взлелеянного русским народом, прошедшего тяжелую жизненную школу русского писателя. Глубокую народность гения Толстого, как широко известно, понял и раскрыл В. И. Ленин, утверждая, что тесная внутренняя связь Толстого с русским освободительным движением не только явилась источником его творческой силы, но и сделала его крупнейшим писателем мира. По словам Ленина, Толстой, продолжая великую освободительную традицию русской литературы, «сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе» и должны рассматриваться как «шаг в художественном развитии человечества». Этого долго не могли понять многие зарубежные истолкователи Толстого, его поклонники и хулители, друзья и враги.

Для понимания того, как укрепилась мировая известность Толстого, существенно не только то, что деятельность его как писателя продолжалась шесть десятилетий; на многочисленных примерах из мировой критики легко было бы показать, что нередко наиболее известным становится не то, что вызывает единодушные похвалы и восхищение, а то, что порождает всеобщие споры, полемику, несогласия, но «взрывает» душу до самого ее основания.

Деятельность Толстого — это большая эпоха русской и мировой истории. «60 лет звучал суровый и правдивый голос, обличавший всех и все, — писал Горький. — Он рассказал нам о русской жизни почти столько же, сколько рассказала и вся наша остальная литература... Толстой — это целый мир... Не зная Толстого — нельзя счи-

тать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком <...> Весь мир, вся земля смотрит на него... Его душа — для всех и навсегда». Для русских читателей Толстой, наряду с Пушкиным, это как бы мерило вещей.

Новыми и передовыми были не только художественные открытия Толстого, умение показать правду живой жизни, новыми были его требования к подлинным писателям — быть учителями жизни, наставниками в познании истины средствами искусства. Это была вершина русского классического реализма — совершенство его художественной формы при полной искренности и правде писателя по отношению к изображаемым им явлениям действительности. «Писать надо только тогда, — говорил Толстой, — когда каждый раз, что обмакивается перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса». Так ставилась им проблема совести и ответственности перед читателем. Для первых зарубежных читателей Толстого, воспринимавших его произведения еще сквозь тусклые и беспомощные переводы, эти произведения были все же полны новизны и предвидимого значения; они явились даже мерилом художественного совершенства, образцами литературного мастерства в создании романа, невиданного ранее. Таковы были, например, восторженные отзывы Флобера о «Войне и мире» — произведении, о котором французский писатель узнал с помощью Ивана Тургенева. Впервые читая это произведение, Флобер вскрикивал от внезапно охватывавшего его волнения и восторга; на страницах этого русского романа ему чудилась всеохватывающая мощь, глубина и творческая сила Шекспира. Это была высшая похвала, и она долго повторялась писателями и критиками более поздних эпох, полагавших, что создатель «Войны и мира» — величайший из романистов, а это его произведение — лучший из романов, написанный по сей день, и во всяком случае наиболее совершенный из всех, созданных на тему о войне. И хотя такая оценка стала в конце концов устойчивой и бесспорной, но она была не единственной: и во Франции, и в Англии, и в других странах находились писатели и критики, которые, исходя из сугубо эстетических признаков и предвзятых суждений, находили в великой эпопее русского художника своеобразную «рыхлость», нарушения традиционных и привычных композиционных норм. И то же повторялось в отношении к другим его романам — к «Анне Карениной», которую считали одним из шедевров реалистического психологического романа, но в котором все же обнаруживали неожиданные упущения и недостатки в области формы, и даже с романом «Воскресение». После идейного перелома в творческой биографии Толстого и отказа от создания художественных произведений — по велению его совести и ради великой нравственной проповеди — отрицание его художественной силы у критиков Западной Европы становилось увереннее и чаще, утверждая миф о «двух Толстых», совмещенных в одной его творческой личности и якобы враждебных друг другу, — художнике и моралисте.

Лишь постепенно, но закономерно, в полном соответствии с общественной и государственной эволюцией зарубежных стран Ев-

ропы, их различной оглядкой на шедшую к революции Россию, с взаимодействием демократических и социалистических идей, преодолевали миф о «двух Толстых» и утверждали мысль о нем как о человеке более счастливого будущего.

Наиболее чуткие и зоркие истолкователи и последователи Толстого за пределами его отечества, например Э. Золя, Р. Роллан или А. Франс, Т. Гарди или Б. Шоу, уже в 80-е гг. прошлого века догадывались о том, какой великий *общественный* смысл имеют его художественные открытия, как неразрывны они и как дополняют и совершенствуют друг друга. Сила и мощь его правдивой мысли выдвигались постепенно на первый план. Все большее количество людей, где бы они ни жили, на Западе или на Востоке, стали прислушиваться к его бесстрашным и независимым разоблачениям великой неправды в действительности или в области идей. Иные принимали суровую критику Толстого, направленную против общества и искусства привилегированных общественных слоев, другие были увлечены его непоколебимым и бескомпромиссным решением этических проблем.

Хотя Л. Толстой-публицист в последние десятилетия своей жизни касался всех важнейших вопросов своего времени — их было бы даже затруднительно перечислить здесь, но едва ли не важнейшее значение среди них всех имела проблема уничтожения войны, истребления человека человеком и призывы ко всеобщему миру и братству.

В долгой жизни самого Толстого эта проблема имела особый, никогда не ослабевавший смысл. Он происходил из старинной русской семьи, в нескольких поколениях которой было много военных. В молодости сам Толстой принял участие в войне на Кавказе и в крымском Севастополе, отобразив личные впечатления в циклах ранних произведений, где он пытался разобраться в различии таких понятий, каковы «справедливые» и несправедливые войны. Важнейшие из написанных им после того произведений, в частности «Война и мир», величайшая из эпопей XIX в., подняли все эти проблемы на высочайший уровень теоретических, философских и художественных обобщений. Но и позже на глазах Толстого войны всех родов продолжали возникать в разных частях земного шара. Эти войны становились все более кровавыми и неистовыми, так как все время производились усовершенствования технического характера в их истребительной силе. Толстой был современником франко-прусской войны, итало-австрийской, абиссинской, освободительных войн на Балканах, англо-бурской, русско-японской (1904 г.) и целого ряда других. Это была длинная кровавая цепь братоубийственных войн и международных конфликтов.

Молчать он не мог. Его голос звучал на весь мир. «Казалось, Толстой метал камни, а не слова, собрав воедино все высказывания против войны всех времен», — писал итальянский критик в годы русско-японской войны после появления статьи Толстого «Одумайтесь!», провозглашая русского писателя «самым яростным врагом войны».

«Неужели никогда не опомнятся народы от того ужасного обмана, в котором их поддерживают для своих выгод правительства и правящие классы?» — писал Толстой 82 года тому назад, в 1896 г., и продолжал: «Ведь придет же время, и очень скоро, когда после ужасных бедствий и кровопролитий, изнуренные, искалеченные, измученные народы скажут своим правителям: да убирайтесь вы к дьяволу или богу, к тому, от кого вы пришли!.. деритесь, взрывайте друг друга, как хотите, и делите на карте Европу и Азию, Африку и Америку, но оставьте нас в покое — тех, которые работали на этой земле и кормили вас». Задача уничтожения войн, которую уже тогда ставил Толстой перед всем миром, удивительно близка и нашему времени, как задача, к несчастью, все еще не решенная. Толстой писал: «Нам важно то, чтобы беспрепятственно пользоваться плодами своих трудов; еще важнее обмениваться плодами этих трудов с дружественными, того же самого желающими другими народами, и важнее всего на свете подвигаться в одинаковом, соединяющем всех нас просвещении, — а не коснеть в том патриотическом сепаратизме — незнании других народов и ненависти к ним».

Этот голос вызвал сочувственный отклик во многих тысячах человеческих сердец. Б. Шоу провозглашал, что гуманист Толстой «возглавил Европу», а А. М. Горький писал: «Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки, отовсюду к нему протянуты живые трепетные нити».

Конечно, пути и формы связей наследия Толстого с борьбой нашего времени за гуманизм, процесс разоружения и мир были и очень разнообразны, и в то же время противоречивы. Но важнее всего было то, что они непрерывно обновлялись и укреплялись. Это привело к тому, что на рубеже 50—60-х гг. нашего столетия, по данным ЮНЕСКО, Л. Толстой занимал первое место как по числу переводов его книг, так и по количеству языков, на которые они переведены.

Отмечаемое VIII Международным съездом славистов 150-летие со дня рождения великого русского и славянского писателя несомненно еще более утвердит его важное место во всей мировой культуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

В настоящую книгу включены работы академика М. П. Алексеева, посвященные истории русской литературы и проблемам ее мирового значения. Написаны они в 1921—1975 гг. и при жизни автора не перепечатывались, хотя и сохранили свое научное значение до наших дней.

В книгу вошли не все работы М. П. Алексеева, названных проблем касающиеся, а лишь главнейшие, которые наиболее глубоко и полно раскрывают как литературный процесс эпохи на примере его выдающихся и сложнейших явлений, так и творческую лабораторию ученого, методы и приемы его исследования. Кроме того, редакция стремилась отразить многосторонность интересов ученого, обращенных в разные исторические эпохи: средневековье («Явления гуманизма в литературе и публицистике Древней Руси»), XVIII век («К истолкованию поэмы Радищева „Бова"»), период романтических исканий в литературе («Этюды о Марлинском»), наконец, наивысший расцвет критического реализма в России (работы о Тургеневе и Достоевском).

Все работы М. П. Алексеева печатаются в томе по их первым публикациям с проверкой, упорядочением, в некоторых случаях с дополнением, а также с переводом на современную систему их справочно-библиографического аппарата. В статье «Мировое значение Гоголя» сделано несколько вставок по рукописи. Такое добавление обусловлено тем, что при первой публикации издательство сделало в статье ряд произвольных сокращений, авторским замыслом не оправданных.

Юбилейные речи, составляющие небольшой раздел тома, в полном виде печатаются впервые. М. П. Алексеев часто выступал на конференциях, торжественных собраниях и юбилейных вечерах, но не все эти выступления сохранились. В томе печатаются наиболее значительные речи М. П. Алексеева, посвященные Пушкину, Тургеневу, Толстому.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИССЛЕДОВАНИЯХ АКАДЕМИКА М. П. АЛЕКСЕЕВА

В своем научном творчестве академик М. П. Алексеев обращался к литературам многих стран и народов, к самым разным эпохам в мировом литературном развитии, но главное место в его работах занимала все же литература русская. Она рассматривалась им с точки зрения ее истории и мирового значения, изучалась во взаимосвязях с литературами зарубежными, составляла основу текстологических, лингвистических, источниковедческих разысканий ученого. Представление о том, что М. П. Алексеев был прежде всего специалистом по истории западных литератур, не совсем точно. Историей западных литератур он занимался и уделял им немало внимания, особенно в те годы, когда читал лекции по зарубежным литературам в вузах, но русская словесность всегда определяла направление, характер и содержание его научной деятельности. Творческая мысль М. П. Алексеева развивалась исходя из отечественной среды и направлялась событиями, фактами, явлениями российской действительности и порожденным ею литературным, культурным и научным движением. Самые существенные открытия, сделанные им, — будь они связаны с английской, немецкой, французской, испанской или славянской литературной средой, — прежде всего свидетельствуют о величии и громадном нравственном авторитете русской литературы, о ее высоком международном признании и подлинно мировом значении.

Заниматься исследованием истории русской литературы М. П. Алексеев стал еще в студенческие годы. На историко-филологическом факультете Киевского университета в 1914—1918 гг. он выполнил под руководством профессоров А. М. Лободы, И. В. Шаровольского, В. М. Базилевича ряд работ, затрагивавших сложные и ранее не решавшиеся проблемы, введя при этом в научный оборот многие неизвестные факты и материалы. В это время М. П. Алексеев охотно обращался к разным темам из истории русской литературы и театра, интересовался фольклором и этнографией. Среди его студенческих работ — оставшиеся в рукописях статья «К вопросу о стихотворении Лермонтова „Дубовый листок оторвался от ветки родимой"» (1916), сообщение «Неизданное стихотворение Лермонтова», представляющее собою подготовленную к печати публикацию обнаруженного в альбоме Н. А. Альбрехт стихотворения, известного сейчас как посвящение А. А. Углицкой («ma

chère Alexandrine, Простите же ву при...»), сочинение на тему «Андре Шенье и некоторые русские переводчики» (1916—1917). На последнем курсе М. П. Алексеев написал и представил на конкурс большую и сейчас сохранившуюся в рукописи работу «Романтический культ сильной личности в русской литературе» (1917). Оценивая исследование своего ученика, профессор А. М. Лобода писал: «Особенно интересны главы, посвященные Марлинскому: автор здесь сжато намечает сделанное его предшественниками, внося несколько собственных поправок и дополнений, а затем характеризует отношение к Марлинскому современных ему и последующих русских писателей, критики, сцены, где, оказывается, не раз ставились пьесы, переделанные из повестей Марлинского, и, наконец, отношение различных слоев русского общества, по разным воспоминаниям, мемуарам того времени и литературным изображениям этого периода. Таким образом, получается разносторонняя, цельная картина так называемой Марлиновщины».[1] По отзыву А. М. Лободы и присоединившегося к нему профессора И. В. Шаровольского работа М. П. Алексеева была удостоена золотой медали. Несколько позднее М. П. Алексеев выделил из этой работы главы о Бестужеве-Марлинском, намереваясь издать их отдельной книгой. Однако осуществить это в первые годы революции было очень трудно. В 1923 г. удалось, правда, напечатать статью «Тургенев и Марлинский», основная же публикация была осуществлена лишь в 1928 г. в Иркутске. Это была небольшая книжка «Этюды о Марлинском», включавшая далеко не все из того, что было собрано и написано М. П. Алексеевым. Все же в ней довольно полно была раскрыта легенда о Марлинском, источники повести «Аммалат-Бек» и впервые дано представление о сценической интерпретации произведений писателя.

В студенченский период и в первые годы после окончания университета М. П. Алексеев написал ряд работ по истории русской литературы и фольклору, которые остались ненапечатанными. Среди них публикация народной драмы «Царь Максимилиан», сохраняющие до сих пор свое источниковедческое значение «Материалы для биографии и литературной характеристики Н. Г. Цыганова», критико-библиографический очерк «Наука русской литературы за годы 1921—1923» и другие.

В начале 1920-х гг. в научном творчестве М. П. Алексеева на первый план выдвигаются исследования, связанные прежде всего с жизнью и творчеством двух великих представителей отечественной словесности — Пушкина и Тургенева. Первая статья о Пушкине, посвященная брюсовскому изданию «Гавриилиады», была напечатана в 1919 г., и с тех пор пушкинская тема никогда не исчезала из исследовательской деятельности М. П. Алексеева, завершившись

---

[1] Сведения о студенческих работах приводятся на основании материалов из архива М. П. Алексеева, сохранявшегося его семьей, а сейчас переданного в Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

статьей «Пушкин и повесть Ф. М. Клингера „История о Золотом Петухе"», сданной в печать в сентябре 1981 г. [2]

Тургеневская проблематика, как и пушкинская, также сопутствует всем этапам научной деятельности М. П. Алексеева. Однако в начале творческого пути пушкинско-тургеневская линия просматривается в его исследованиях не очень отчетливо, заслоняемая работами о Бестужеве-Марлинском, А. К. Толстом, Достоевском, Островском.

В литературной науке была замечена и по сей день сохранила свое значение брошюра М. П. Алексеева «Ранний друг Ф. М. Достоевского», в 1921 г. изданная в Одессе. В ней он впервые заинтересовался личностью мыслителя и поэта Ивана Николаевича Шидловского, в 1840-х гг. дружившего с Достоевским и оказавшего на него влияние. Опровергая сложившиеся вокруг имени И. Н. Шидловского легенды, М. П. Алексеев попытался понять внутренний мир и романтичность его мировоззрения, выяснить причины, приведшие этого незаурядного человека к религиозным исканиям и наконец в монастырскую келью.

В 1921 г. к столетию со дня рождения Ф. М. Достоевского в Одессе был подготовлен сборник статей и материалов «Творчество Достоевского» под редакцией Л. П. Гроссмана. М. П. Алексеев, принимавший самое деятельное участие в литературной и научной жизни города, поместил в этом сборнике статью «О драматических опытах Достоевского», обратившись в ней к тем сторонам творчества писателя, которые ранее не привлекали к себе внимания. Рассматривая ранние драматические опыты («Мария Стюарт», «Борис Годунов») и драматургические элементы в повести «Село Степанчиково и его обитатели», он выясняет характер и степень воздействия на Достоевского творчества Пушкина, Шиллера, Мольера. Статья «Ф. М. Достоевский и книга Де-Квинси „Confessions of an English Opium-Eater"» напечатана была годом позже в сборнике, посвященном профессору Б. М. Ляпунову (Одесса, 1922). [3] Все посвященные Достоевскому работы М. П. Алексеева относятся к одесскому периоду его жизни, и все они связаны с юбилеем 1921 г. Позднее М. П. Алексеев специально к Достоевскому почти не обращался, если не считать небольшого фрагмента о влиянии Виктора Гюго на Достоевского в статье «Виктор Гюго и его русские знакомства» [4] да скромной статьи об эпиграфе к повести «Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже». [5]

---

[2] Временник Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 59—95. В настоящей статье пушкиноведческая деятельность ученого не рассматривается, так как ей посвящена обстоятельная статья В. Э. Вацуро в кн.: *Алексеев М. П.* Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 581—592.

[3] В юбилейные дни М. П. Алексеев поместил в одесском «Театральном бюллетене» (1921. 15 ноября. № 6) две небольшие статьи — «Ф. М. Достоевский и русский театр» и «Инсценированный Достоевский».

[4] Литературное наследство. Т. 31—32.

[5] *Алексеев М. П.* Об одном эпиграфе у Достоевского//Проблемы теории и истории литературы. М., 1971. С. 367—372.

В 1923 г. в связи со столетием со дня рождения А. Н. Островского М. П. Алексеев принимает участие в посвященном ему сборнике под редакцией Б. В. Варнеке и пишет для него исследование о пейзаже и жанре у Островского.[6] В этом же сборнике напечатаны еще две статьи М. П. Алексеева: в одной из них освещается история пребывания Островского в Одессе в 1860 г. (вместе с А. Е. Мартыновым), в другой — на основе архивных материалов сообщается о запрещении одесской постановки «Грозы». В том же году М. П. Алексеев напечатал в одесском журнале «Силуэты» статьи «Островский и наука русской литературы» и «А. Н. Островский в Одессе». В дальнейшей своей научной работе М. П. Алексеев к творчеству Островского не обращался.

Изучением биографии и творчества Тургенева М. П. Алексеев стал заниматься еще в годы учебы в Киевском университете. В 1918 г. он публикует в киевской газете «Русский голос» (№ 132) письмо Тургенева к Щепкину от 10 августа 1881 г., а несколько дней спустя в том же «Русском голосе» появляется его письмо с просьбой к читателям о присылке ему материалов, касающихся тургеневского юбилея. 28 октября, в день столетия со дня рождения Тургенева, М. П. Алексеев выступает на торжественном заседании соединенных обществ при Университете св. Владимира (Историческое общество Нестора Летописца, Историко-литературное общество и Общество исследования искусств). Этот доклад в том же году был издан отдельной брошюрой. Тургеневская же библиография, которую собирал М. П. Алексеев, была подготовлена отдельной книжкой и предполагалась к изданию в 1919 г. в Черкасах. Однако в то время напечатать ее не удалось. Значительную часть ее материалов М. П. Алексеев использовал при составлении тургеневской библиографии за 1918—1919 гг., напечатанной им в сборнике «Тургенев и его время» под редакцией Н. Л. Бродского (М.; Л., 1923). Особенность тургеневедческих исследований ученого заключалась в том, что посвящались они биографии писателя, его деятельности как пропагандиста русской литературы на Западе, а также проблемам тургеневского эпистолярного наследия, в то время несобранного и неизученного. Недаром первой публикацией М. П. Алексеева в этой области было письмо Тургенева.

Напечатав в 1925 г. в журнале «Былое» (№ 1) три письма Тургенева к М. Л. Веллеру, М. П. Алексеев долгие годы с тургеневедческими исследованиями в печати не выступал. Однако это не значило, что он оставил тургеневскую тему. Наоборот, интерес к Тургеневу нарастал непрерывно, накапливался материал, формировалась в библиотеке ученого уникальная тургеневиана, устанавливались и постоянно поддерживались творческие контакты с исследователями жизни и наследия Тургенева в нашей стране, а после Великой Отечественной войны с тургеневедами многих зарубежных стран.

---

[6] Позднее статья была перепечатана в сборнике: А. Н. Островский. М.; Л., 1930. С. 179—189.

Посвященные Тургеневу работы М. П. Алексеева, печатавшиеся в 1938—1940 гг., принадлежат к области сравнительного литературоведения. В них раскрываются связи и отношения русского писателя с его испанскими современниками и коллегами. В послевоенные годы М. П. Алексеев много занимается изучением роли и значения русской литературы в мировом литературном и культурном развитии. Одним из первых результатов его работы в этой области стала напечатанная в 1948 г. в Трудах Отдела новой русской литературы Пушкинского Дома статья «И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе». Исследователи и раньше интересовались зарубежными связями Тургенева и восприятием его произведений за пределами России, но аргументированное и разработанное на основе широкого круга источников представление о писателе как пропагандисте национальной культуры впервые создано именно М. П. Алексеевым. Параллельно он занимается исследованием значения «Записок охотника» в мировом литературном развитии, подтверждая на примере отдельного произведения ранее уже высказывавшееся им положение о необычайной широте процесса восприятия тургеневского творчества на Западе и воздействии его на разные сферы зарубежной культуры.

Работ, посвящённых Тургеневу, в научном наследии М. П. Алексеева не так много, но роль, которую он сыграл в развитии тургеневедения, огромна. Собирание и исследование тургеневских материалов М. П. Алексеев вел в Киеве и Одессе, в Иркутске и Ленинграде. Особенно интересовала его эпистолярная часть наследия Тургенева. Он разыскивал его письма, изучал их, некоторые публиковал. Однако эта работа, по сути дела представлявшая собой подготовительный этап к созданию академического собрания сочинений и писем Тургенева, оказалась очень сложной и продвигалась вперед медленно и трудно: ведь письма Тургенева (а в очень значительной части и автографы произведений) рассеяны по всему свету, по частным собраниям, по библиотекам и архивам, оказываясь порою в самых неожиданных местах. Чтобы подготовить условия для академического издания, надо было посвятить этому многие десятилетия упорного труда, труда кропотливого и для окружающих незаметного, но обязательного и определяющего успех будущего издания.

Завершающим звеном в подготовке к изданию Полного собрания сочинений и писем Тургенева стала поездка М. П. Алексеева во Францию летом 1961 г. За два месяца ученый познакомился с рядом архивохранилищ и частных собраний, изучил сохранившиеся в них рукописи произведений и писем Тургенева. Итоги поездки Михаил Павлович подвел в статье «По следам рукописей И. С. Тургенева во Франции», в которой рассказал об истории тургеневского рукописного фонда в этой стране, о своих занятиях в Национальной библиотеке Франции, где сосредоточена значительная часть автографов писателя, о знакомстве с коллекцией Лованжуля, содержащей письма Тургенева к Г. Флоберу и Э. Золя, о встречах с потомками П. Виардо, о рукописных материалах в основанной кня-

зем И. С. Гагариным «Славянской библиотеке». Связи и контакты, установленные М. П. Алексеевым во Франции, оставались действенными на протяжении всего издания Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева (1960—1968), в котором были использованы почти все рукописи из Национальной библиотеки и ряда частных собраний. Впрочем, сложившиеся взаимоотношения Пушкинского Дома с литературоведами Франции продолжают сохраняться и сегодня, когда осуществляется второе, дополненное и пересмотренное издание Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева, начатое под редакцией и по инициативе М. П. Алексеева в 1978 г. Около четырехсот писем, ранее известных в неполных и неточных копиях или неизвестных совсем, печатается в этом издании, и большинство из них обнаружено и предоставлено редколлегии издания французскими литературоведами, привлеченными к сотрудничеству еще М. П. Алексеевым.

В работе над Полным собранием сочинений и писем И. С. Тургенева Михаил Павлович был и вдохновителем, и деятельным руководителем: он задумал и организовал издание, собирал материалы, сам комментировал многие произведения (в том числе роман «Дворянское гнездо» и «Стихотворения в прозе») и письма, выступал редактором отдельных томов. Ничто не ускользало от внимательного взгляда ученого, а его огромные знания и опыт обусловили успех издания, его высокий научный уровень и быстроту, с которой оно было осуществлено.

Многолетние тургеневедческие занятия М. П. Алексеева нашли свое выражение не только в академическом издании наследия писателя, но и в созданной при нем интересной и разнообразной по содержанию серии «Тургеневские сборники» (они имели подзаголовок «Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева»). Появилось пять «Тургеневских сборников», первый из которых вышел в 1964, последний в 1969 г. В этом издании Михаил Павлович выступал не только как организатор и редактор, но и помещал на его страницах многие свои тургеневедческие исследования. Среди них обстоятельная статья о стихотворении «Кнут», часто приписываемом Тургеневу: после выступления М. П. Алексеева стихотворение «Кнут» было включено в раздел «Dubia» второго академического издания сочинений писателя. Новизна постановки проблем и свежесть историко-литературного материала отличают печатавшиеся в «Тургеневских сборниках» статьи М. П. Алексеева «Тургенев и Джеймс Лонг», «В. П. Гаевский и В.-Р. Рольстон» (вып. 1), «Тургенев в спорах о пьесе Э. Ожье» (вып. 3), «Стихотворные тексты для романсов Полины Виардо» (вып. 4), «„Мирович". Сценарий Тургенева» (вып. 5). В этих же сборниках М. П. Алексеев поместил несколько заметок комментаторского характера к произведениям Тургенева («Затишье», «Рудин», «Бригадир», «Записки охотника» и др.). Пушкинский Дом, редакторы и текстологи тургеневского издания отметили роль М. П. Алексеева, посвятив ему второй выпуск «Тургеневского сборника», приуроченного к 75-летию ученого.

Изучая мировое значение русской литературы, М. П. Алексеев во многом опирался на Тургенева и его деятельность как пропагандиста отечественной словесности на Западе. Однако исследование этой проблемы творчеством Тургенева не ограничивалось, распространяясь на многие выдающиеся явления русской литературы XIX в., на весь литературный процесс эпохи. Особенно важно было выяснить характер и широту восприятия за рубежами нашей страны наследия Пушкина и Гоголя, определить их роль в мировом литературном развитии.

Круг гоголевских исследований М. П. Алексеева в значительной мере связан с юбилеем 1952 г. Тогда М. П. Алексеев был редактором гоголевского сборника, в котором напечатана и его статья «Первый немецкий перевод „Ревизора"». К тому же времени относится и статья «Гоголь в Италии», написанная, видимо, для какого-то зарубежного конгресса да так и оставшаяся в рукописи. Завершающей в цикле работ о Гоголе стала вышедшая в 1954 г. большая статья М. П. Алексеева «Мировое значение Гоголя», впервые раскрывшая характер и особенности воздействия русского писателя на европейские литературы и творчество отдельных зарубежных писателей.

В послевоенные годы проблема мирового значения русской литературы волновала Михаила Павловича постоянно: он то и дело обращался к конкретным явлениям этого процесса или к широким историко-литературным и теоретическим обобщениям в интересующей его области. Завершающим в изучении мирового значения отечественной литературы стал доклад М. П. Алексеева в 1975 г. на юбилейной сессии, посвященной 250-летию Академии наук. Написанная на основе этого доклада и изданная отдельной брошюрой работа «Русская классическая литература и ее мировое значение» до сих пор привлекает к себе внимание широтой постановки проблемы, глубочайшим знанием взаимосвязей русской и мировой словесности, аргументированностью выводов.

Заключая обозрение трудов М. П. Алексеева по истории русской литературы, необходимо несколько слов сказать о его интересе к эпохе русского средневековья и XVIII в. Зародился он еще в студенческие годы, но профессиональные обращения к культурному и литературному развитию этих исторических периодов относятся к более позднему времени, к иркутским годам жизни ученого. Связаны они с известным его исследованием «Сибирь в известиях западноевропейских путешественников в XIII—XVII вв.» (Иркутск, 1932, 1936, 1941). Эпохой средневековья Михаил Павлович интересуется и позднее, но все его обращения к ней относятся к области сравнительного литературоведения: «Русский язык у немецкого поэта XVI века» (1934), «О связях русского театра с английским в конце XVII — начале XVIII века» (1948), «Англия и англичане в памятниках московской письменности XVI — XVII веков» (1947) и многие другие. В работах из области сравнительного литературоведения М. П. Алексеев порой выходит за стеснявшие его рамки сопоставительного исследования литератур и обращается к изучению

закономерностей и судеб литературного развития средневековья в широком плане. К числу таких работ прежде всего следует отнести доклад М. П. Алексеева на IV Международном съезде славистов в Москве в 1958 г. В этом докладе — он назывался «Явления гуманизма в литературе и публицистике Древней Руси (XVI—XVII вв.)» — М. П. Алексеев связал гуманистическую культуру эпохи Возрождения с русской культурой и обосновал право говорить о явлениях гуманизма на русской почве в этот период.

Все названные труды М. П. Алексеева, а также многие оставшиеся вне пределов настоящего обозрения продолжают сохранять свое научное значение и сейчас, не утратили его даже работы, написанные в 1920-х гг. Они и сейчас читаются с интересом и во многих своих положениях остаются непревзойденными. Обусловлено это широтой их проблематики, обширностью привлекаемого к исследованию материала, глубиной и совершенством анализа, которые характеризовали творчество ученого на протяжении всей его долгой научной деятельности.

В. Н. Баскаков

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПУБЛИКАЦИЯХ ТРУДОВ, ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ

I. Статьи

Явления гуманизма в литературе и публицистике Древней Руси//Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике: Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов. М.: АН СССР, 1960. С. 175—207.

К истолкованию поэмы Радищева «Бова»//Радищев. Статьи и материалы. Л.: Ленингр. гос. ун-т, 1950. С. 158—213.

Этюды о Марлинском//Сборник трудов Иркутского государственного университета. Иркутск, 1928. С. 113—174; отд. оттиск.

Тургенев и Марлинский. (К истории создания «Стук... стук... стук!..»)// Творческий путь Тургенева: Сборник статей/Под ред. Н. Л. Бродского. Пгр.: Сеятель, 1923. С. 167—201.

Ранний друг Ф. М. Достоевского. Одесса, 1921. 26 с.

Мировое значение Гоголя//Гоголь в школе: Сборник статей/Под ред. В. В. Голубкова, А. Н. Дубовикова. М.: Академия пед. наук, 1954. С. 126—154.

Мировое значение «Записок охотника»//«Записки охотника» И. С. Тургенева (1852—1952): Сборник статей и материалов. Орел, 1955. С. 36—117.

И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе//Труды Отдела новой русской литературы. Л., 1948. Кн. 1. С. 39—80.

По следам рукописей И. С. Тургенева во Франции//Русская литература. 1963. № 2. С. 58—85.

Русская классическая литература и ее мировое значение//Русская литература. 1976. № 1. С. 6—20.

II. Юбилейные речи

Слово о Тургеневе//Правда. 1968. 13 ноября. № 318; Известия, Моск. веч. вып. 1968. 12 ноября. № 266; Лит. газета. 1968. 13 ноября. № 46 и др.

Достоевский и Пушкин. Речь на Международной конференции «Достоевский в сознании современного человека» в Венеции 10 апреля 1972 г.//Nuova antologia. Roma, 1972. Maggio. № 2057. P. 34—36. Краткое изложение, полностью печатается впервые.

Всесветная слава Л. Н. Толстого. Речь на пленарном заседании VIII Международного конгресса славистов в Загребе 4 сентября 1978 Svjetska slava L. N. Tolstoja//Viesnik. 1978. 12 сентября. Полностью на русском языке печатается впервые.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* Составлен Л. А. Тимофеевой.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

TABLE DF MATIERES

APPENDICE

Научное издание

Михаил Павлович Алексеев

**РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ЕЕ МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ**

*Утверждено к печати
Отделением литературы и языка АН СССР*

Редактор издательства В. Н. Немнонова
Художник О. М. Разулевич
Технический редактор Н. Ф. Соколова
Корректоры Л. М. Егорова и Г. В. Семерикова

ИБ № 33379

Сдано в набор 06.09.88. Подписано в печать 23.06.89.
М-36314.
Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 26. Усл. кр.-отт. 26.06. Уч.-изд. л. 31.68.
Тираж 3450. Тип. зак. 390. Цена 4 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука». Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1

2-я типография Воениздата
191065, Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ КНИГИ:

Res philologica. Филологические исследования памяти Г. В. Степанова (1919—1986). — 37 л. 4 р. 60 к. План 1989 г.

Сборник охватывает круг проблем, соответствующих широчайшему диапазону научных интересов Г. В. Степанова. Авторами статей являются видные советские и зарубежные ученые, специалисты в области языкознания и литературоведения. Публикуются материалы, посвященные актуальным проблемам романистики, русистики, общего языкознания; исследования по поэтике, теории и истории культуры.

Для филологов, специалистов по истории культуры и семиотике.

К. Н. Григорьян. Пушкинская элегия. — 12 л. 90 к. План 1989 г.

В монографии пушкинская элегия изучается на широком фоне исторического развития лирических жанров в русской поэзии, в их зависимости от художественных направлений. В поле зрения автора — национальные истоки пушкинской элегии; судьба элегического жанра в русской поэзии и предпосылки его зарождения в XVII в.; развитие и становление его в конце XVIII в., в период формирования русского сентиментализма. Книга содержит также характеристику Пушкина как элегического поэта.

Восприятие и изучение русской литературы за рубежом (XX в.). — 20 л. 1 р. 70 к. План 1989 г.

В сборнике рассматриваются аспекты современного восприятия русской литературы в зарубежных странах Европейского и Американского континентов. Большое место отводится также вопросам изучения русской литературы XVIII—XIX вв. в зарубежной славистике XX в. В книге впервые анализируется и обобщается большой фактический материал, подтверждающий растущее мировое значение русской литературы.

Для специалистов по русской и зарубежной литературе, всех интересующихся международными связями русской литературы.